

Зарубежная фантастическая проза
прошлых веков

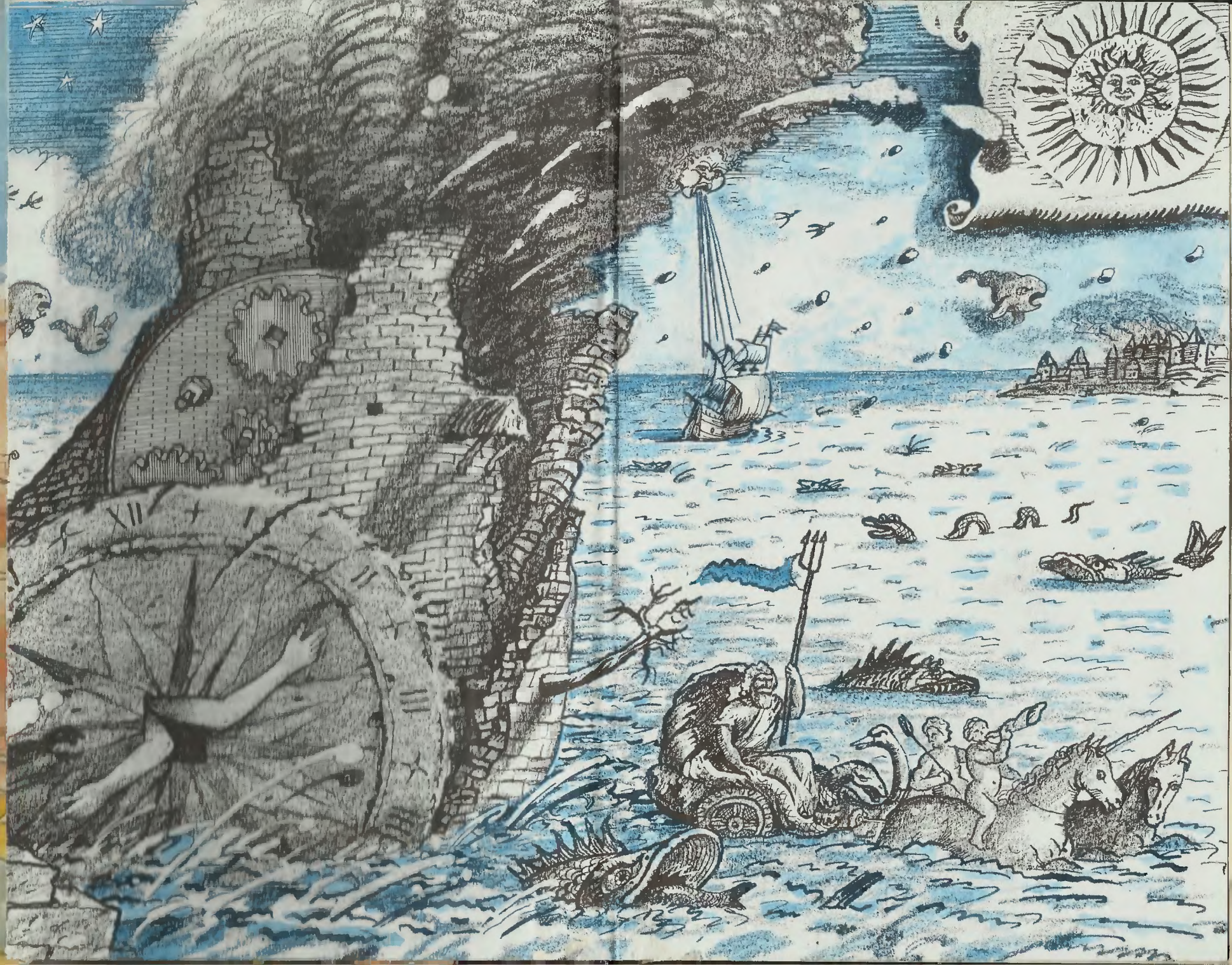
БИБЛИОТЕКА
ИИИ
ФАНТАСТИКИ

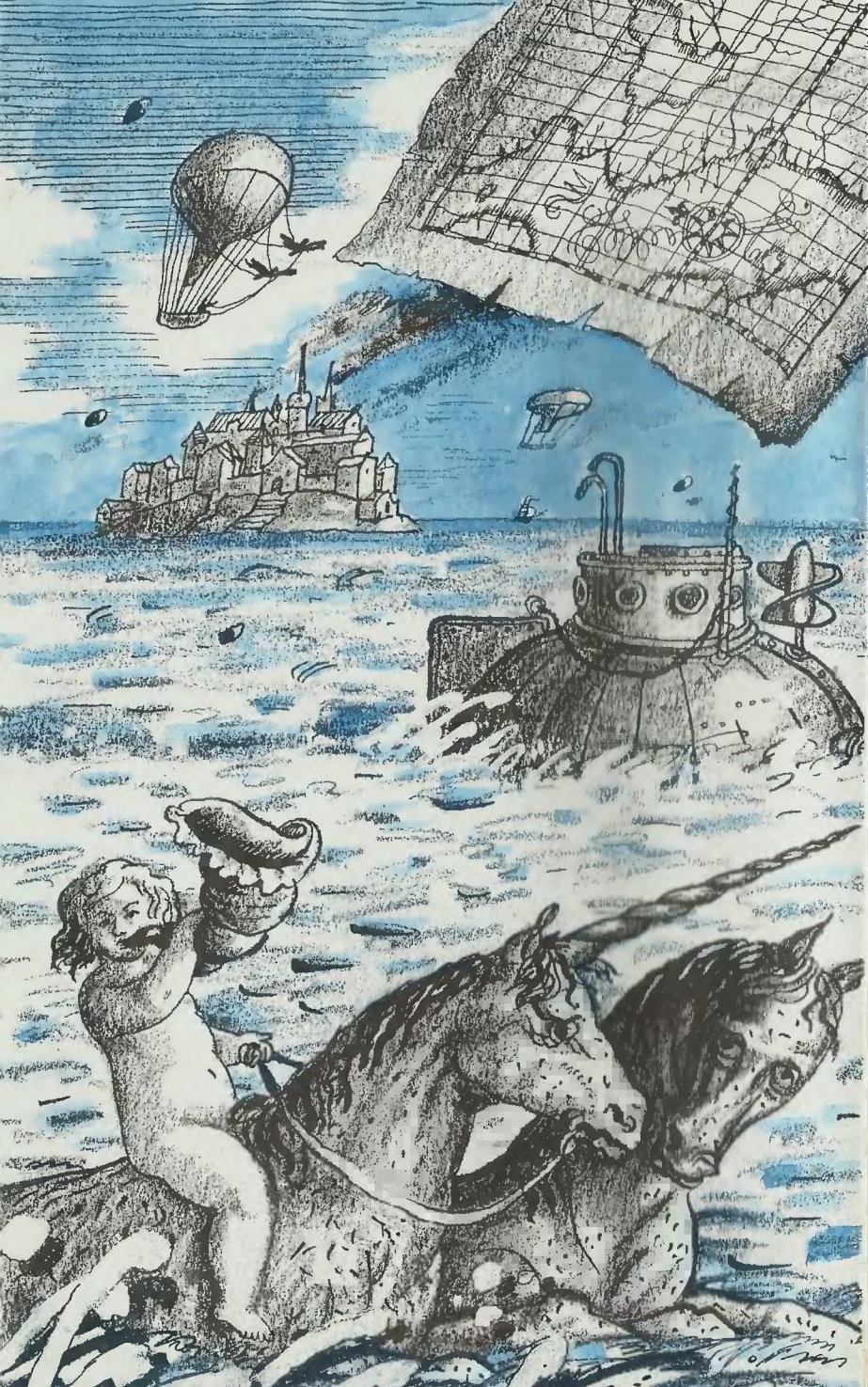
ЗАРУБЕЖНАЯ

15

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА прошлых
веков







„Библиотека фантастики“ в 24 томах

БИБЛИОТЕКА
ФИАНТИКИ
5

Редакционная
коллегия серии
«Библиотека фантастики»

А. П. Казанцев

(председатель)

Ю. Т. Грибов

Д. А. Жуков

В. П. Карцев

А. П. Кулешов

А. А. Леонов

Н. П. Машовец

Е. И. Парнов

Л. В. Ханбеков



ЗАРУБЕЖНАЯ
ВАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПРОЗА прошлых веков

Социальные утопии

Москва. Издательство «Правда». 1989

*Переводы с латинского,
английского, французского*

Составление, вступительная статья,
примечания
И. Семibrатовой

Иллюстрации
С. Михайлова

$\frac{4703000000-1758}{080(02)-89}$ 1758—89 (подписное)

© Издательство «Правда», 1989.
Составление. Вступительная статья.
Примечания. Иллюстрации.

Путешествие по странам Мечты

На карту Земли, на которой не обозначена утопия, не стоит смотреть, так как эта карта игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество. Прогресс — это реализация утопий.

Оскар Уайльд

«Утопия есть слово греческое: «у» по-гречески значит «не», «топос» — место, которого нет, фантазия, вымысел, сказка»¹. Таково классическое определение, данное В. И. Лениным.

Описания никогда не существовавших стран, областей, краев, где человек счастлив и беззаботен, земля щедра и изобильна, образ жизни правилен, здоров и разумен, существовали издревле. В фольклоре и в памятниках письменности разных народов нашло свое отражение изначально присущее людям стремление к Золотому веку всеобщего равенства, братства, любви и благоденствия. Утопические идеалы, которые влекли за собой воображение безымянных или известных авторов, зачастую лежали в прошлом, таили смутное воспоминание о первобытнообщинном строе, где не было господ и слуг, хозяев и рабов, угнетателей и угнетенных. Греки Гесиод, Платон, Ямбул, Аристотель, Эпикур, римляне Лукреций, Цицерон, Сенека и другие творили свой миф о «поколение людей золотом».

Мечты о совершенном устройстве общества пронизывают творчество многих великих писателей средневековья, Возрождения и последующих эпох. «Рай» из «Божественной комедии» Данте, где воплощен идеал автора — патриархальная Флоренция прошлого, Телемская обитель в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле, «Сон в летнюю ночь» и «Буря» Шекспира, утопия из «Дон Кихота» Сервантеса, страна гунгнумов в «Путешествиях Гулливера» Свифта — все это свидетельства поисков страны мира, счастья и справедливости.

На развитие утопической мысли всегда влияла общественно-историческая обстановка. В средние века — прежде всего волнения крестьянской и городской бедноты, выступавшей с требованиями, наиболее отчетливо сформулированными вождем и идеологом крестьянских масс Томасом Мюнцером (1490—1525), который предлагал уничтожить сословные привилегии, частную собственность, само-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22, с. 117.

стоятельную государственную власть и достичь всеобщего равенства с помощью разума и труда, то есть практически осуществить программу утопическую. Приблизительно к тому же призывали творцы английских политических баллад и передовые мыслители Возрождения. И все-таки для появления классической социальной утопии должны были сложиться определенные условия.

В XV—XVI веках, с зарождением класса буржуазии, сформировалось новое, гуманистическое мировоззрение — первая форма буржуазного просвещения¹. Гуманисты верили в прогресс человечества, отвергали пессимистические взгляды «отцов церкви» на возможность счастья лишь в загробном мире, отстаивали самоценность личности и право каждого на свободное бытие. Они не учитывали, однако, что буржуазия — прогрессивный по сравнению с феодальным обществом класс — все же была эксплуататором и несла народу новое бремя угнетения.

Сложный, противоречивый характер эпохи отразился в творении английского гуманиста, государственного деятеля и писателя Томаса Мора (1478—1535) — его знаменитом сочинении «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии» (1516). По словам Энгельса, «прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли»² способны в этой книге даже спустя века поразить читателя.

Согласно существовавшим образцам, повествование было построено как диалог двух персонажей — самого Мора и неустоимого путешественника, объездившего много стран, Рафаила Гитлодея, чья фамилия подчеркивает вымышленность этого лица (в переводе с греческого она означает «опытный говорун»). Личное мнение Мор, опасавшийся цензуры, вкладывает в уста Гитлодея, а от своего лица выступает его оппонентом.

Первая и вторая книги «Утопии» контрастируют между собой, ибо в первой содержится резкая критика современной автору Англии, а во второй — описание идеальной Утопии, образцовым и правильным устройством которой Мор восхищается.

«Ненасытная алчность немногих лиц», праздная толпа дармоедов, несправедливость законов, лишающих жизни человека «за отнятие денег», жестокость ограблений³, разорвавших крестьян, которых сгоняли с полей, чтобы обратить последние в пастбища, нищета народа, разбой — все эти губительные язвы английского общества смело и гневно порицает Гитлодей. Он отчетливо видит корень всех бед: «...где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-нибудь возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногим, да

¹ См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22, с. 21.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20, с. 269.

³ Этот процесс был охарактеризован столь верно и образно, что К. Маркс использовал описание Мора в качестве источника для XXIV главы первого тома «Капитала» — см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 730, 731, 746.

и те получают отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют»¹.

Последовательно и резко высмеивает автор господствующие классы феодального общества: кичливых «знатных аристократов», дворян, паразитирующее духовенство — монахов, священников, аббатов. Он осуждает агрессивную политику захватнических войн, обличает королевский произвол и тиранию, сочувствует страданиям угнетенных. Для него, как и для других гуманистов, не богатство и знатность, не занимаемое в обществе положение, но сам человек важнее всего на свете, о чем Мор заявляет афористически кратко и точно: «Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира»².

Нужно сказать, что произведение английского гуманиста не просто для чтения и требует серьезного осмысления, а порой и обращения к другим материалам эпохи. Мор был человеком разносторонне образованным, другом многих выдающихся людей своего времени, включая Эразма Роттердамского, посвятившего ему свою знаменитую «Похвалу Глупости».

Во второй книге «Утопии», представляющей собой монологическое повествование Гитлодея, автор подробно знакомит с тщательно разработанной моделью общественного строя, при котором нет частной собственности, труд обязателен для всех, блага распределяются по потребностям. Это позволяет многим ученым отнести самого Мора к предшественникам научного коммунизма³. «Утопийцы гнушаются войною, как деянием поистине зверским»⁴, — рассказывает Мор. В религии они проявляют большую терпимость и сходятся на почитании божественной природы и строгом соблюдении разумных норм морали. Выведя из употребления деньги, они уничтожили алчность, накопительство, воровство, тем самым разрешив ряд этических проблем на основах социальной справедливости и братства. «И наш век, и последующие века сочтут его историю школой верных и полезных начал, из которой каждый сможет брать и приспособлять перенятые установления к собственному своему государству, ведь в книге своей Мор показал нам образец блаженной жизни и дал наставление, как жить»⁵, — писал один из современников Мора. Слова эти оказались пророческими. По предложению В. И. Ленина имя Томаса Мора высечено на памятном обелиске, установленном в Александровском саду у Кремлевской стены. «Утопию» с момента ее публикации читали, перечитывали, заучивали наизусть. Невозможность немедленного воплощения идеалов в действительность не удерживала полета воображения. Идеи, изложенные Мором, получили международное распространение. С ними соглашались, полемизировали, их отвергали. Растревоженная человеческая мысль искала выхода из далеко не прекрасного бытия, писатели предлагали свои варианты утопий.

Так, французский образец идеального общества создал Франсуа Рабле (1494—1553) в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», полном народно-

¹ Мор Т. Утопия — В кн.: «Утопический роман XVI—XVII веков», М., 1971, с. 73.

² Мор Т. Утопия, с. 58.

³ См. О с и н о в с к и й И. Н. Томас Мор и его «Утопия». В кн.: Мор Т. Утопия, М., 1978, с. 63.

⁴ Мор Т. Утопия, с. 95.

⁵ Вступительные письма. В кн.: Мор Т. Утопия. М., 1978, с. 93, 94.

го юмора, карнавального веселья, сатирической буффонады. Утопична картина Телемской обители, где в отличие от умеренных, аскетичных, сдержанных в своих желаниях утопийцев Мора выведены полной чашей черпающие удовольствия люди, живущие по принципу: «Делай что хочешь». Изображение роскошной, насыщенной наслаждениями жизни телемитов — гимн человеку эпохи Возрождения, ценящему красоту во всех ее проявлениях и при этом не слишком задумывающемуся о средствах для своего великолепного времяпрепровождения.

Немалый вклад в развитие жанра литературной социальной утопии внес итальянский философ и писатель Джованни Доменико Кампанелла (1568—1639), принявший в монашестве имя Томмазо. Написанная в 1602 и опубликованная в 1623 году его книга «Город Солнца, или Идеальная Республика», по словам академика В. П. Волгина, «как источник распространения коммунистических представлений... должна быть поставлена рядом с «Утопией» Томаса Мора»¹.

Безграничная вера в мощь разума, способного по представлению автора, путем убеждения, показа наиболее удачного и перспективного общественного устройства подтолкнуть человечество к воплощению в жизнь исконной мечты о справедливости и счастье, позволила Кампанелле в переживающей упадок, раздробленной политически, ослабленной экономически Италии XVII века создать удивительно светлую, мажорную книгу, прославляющую Город Солнца, расположенный, согласно традиции, «за горами, за долами», на острове в Индийском океане.

Все общее в этой островной республике, система управления которой несколько напоминает государства древних инков. Автору необходимо показать, что только преодолев чувство собственности и эгоизм, люди достигнут гармонических отношений, а потому все здесь не только ходят в одинаковых одеждах, но и живут в общих домах, спят в общих спальнях на общих кроватях, имеют общих жен и общие украшения.

Питание в общественных столовых, контроль над деторождением, одинаковое общественное воспитание мальчиков и девочек, сначала с помощью игр получающих знания, а позже соединяющих обучение и труд и овладевающих различными ремеслами, — все это призвано поставить людей в одинаковые условия, благодаря чему им становится чужда жадность, неведомы богатство и бедность. Кампанелла вслед за Платоном раскрепощает женщину, освобождает ее от семейных уз. Свободная во всем, она занимается трудами и науками наравне с мужчинами, не выполняя разве что самых тяжелых работ.

Некоторые исследователи творчества Кампанеллы, видящие в нем одного из предтеч утопического коммунизма, считают, что «Город Солнца» значительно слабее «Утопии», а сам Кампанелла скорее популяризатор идей Томаса Мора. Это не совсем так. Итальянский автор не только продолжает и развивает идеи великого английского гуманиста, но и добавляет к ним свое. Правда, философские взгляды Кампанеллы зачастую противоречивы и во многом обусловлены его сложной судьбой:

¹ Волгин В. П. Коммунистическая утопия Кампанеллы. — В кн.: Кампанелла. Город Солнца. М., 1954, с. 5

монашеством, двадцатисемилетним тюремным заключением за подготовку восстания в Южной Италии (Калабрии) против испанского владычества. В тюрьме и написал он книгу, где светлые, лучезарные картины жизни Соляриев, обитателей Города Солнца, соседствуют с аскетичным, суровым, порой безжалостным порядком регламентируемых государством человеческих отношений, презрением к любви и отрицанием семьи. И все это сочетается у Кампанеллы с интересными идеями в области образования, гармонического развития человека, формирования его творческих способностей.

Автор убежден, что изображенное им общество с его установлениями наиболее близко естественной природе человека, чья главная потребность — труд. Мысль эта, впервые высказанная Кампанеллой, сыграла важную роль в последующем развитии представлений людей о своей деятельности.

Особое внимание уделяет писатель проблеме воспитания гражданственности и патриотизма у жителей Города Солнца, подчеркивая важность становления именно таких чувств. С восторгом замечает он, что Солярии «пылают такой любовью к родине, какую и представить себе трудно».

И Томас Мор и Кампанелла создавали свои утопии, руководствуясь строгой логикой замысла, требующего сдержанного, скупого в отношении художественной образности тона повествования, продуманности и обоснованности экономических деталей и подробностей.

Однако их произведения, во многом напоминающие политические и научные труды, все же принадлежат к области художественной литературы, ибо в основе этих книг лежит мечта о справедливой жизни, образ движущейся человеческой мысли, опирающейся на богато развитую фантазию.

Своеобразный вариант утопии представлен в «Новой Атлантиде» (1623) буржуазного философа, родоначальника английского материализма Фрэнсиса Бэкона (1561—1626), истинной стихией которого, по его собственному признанию, была политика. Изображенное Бэконом процветающее государство Бенсалем напоминает современную автору Англию, хотя и избавленную от пороков, голода и нищеты, но сохранившую иерархический монархический строй, неравенство людей, частную собственность, деньги, золото. Самое ценное в этом произведении — не в имеющемся противопоставлении буржуазного идеала жизни социалистическим идеалам Мора и Кампанеллы, а в прославлении разума и знания, воспевании сил науки и техники, сосредоточенных в Доме Соломона, где ученые, мыслители, изобретатели не только совершают богослужения, но и постигают тайны природы, учатся управлять ею, самоотверженно трудятся на благо общества, совершают открытия. Множество научно-фантастических идей Бэкона, среди которых — создание подводных лодок и летательных аппаратов, искусственных металлов и новых сортов растений, пород животных, улучшенной природной пищи и многое другое, послужило отправной точкой позднейших изобретений, повлияло на развитие научно-технического прогресса. От идей английского писателя отталкивались авторы фантастических романов, для которых образ ученого-интеллектуала, фанатично влюбленного в процесс

познания тайн природы, стал ведущим, так же как и тема воспевания достижений науки, суливших в грядущем неограниченные блага.

Не лишена черт научного предвидения изданная в 1657 году утопия французского писателя Сирано де Бержерака (1619—1655) «Иной свет, или Государства и империи Луны», продолжением которой должна была стать книга «Государства и империи Солнца», не оконченная автором. Это веселая, остроумная фантазия, продолжающая карнавальную традицию Рабле, но Сирано включает сюда антирелигиозную и научную тематику. До сих пор остается загадкой, как мог он предвосхитить позднейшие достижения человеческой цивилизации, описав принцип движения в межпланетном пространстве с помощью многоступенчатых ракет, парашютирующий спуск, миниатюрные аппараты для записи текстов, передатчики изображения, а также передавая читателю представления о невесомости, притяжении, клеточном строении организма, мире микробов и прочее.

Его путешествие много фантастичнее предыдущих: ведь рассказчик отправляется не просто к неизведанным островам, а покидает Землю, устремившись к Луне. Правда, и на этом пути у автора были предшественники — римский сатирик Лукиан (II в. н. э.), написавший «Правдивую историю» о посещении лунного мира, и английский епископ Френсис Годуин, сочинивший книгу «Человек на Луне» (издана в 1638 году в Шотландии и 1648 году во Франции). Однако описания этих странствий не несли в себе мощного социального заряда утопии, не содержали глубоких научных мыслей. Сирано же создал именно утопический трактат, где философские и научные идеи органично включены в ткань занимательного повествования, приправленного изрядной долей юмора.

В предисловии к первому посмертному изданию книги Сирано его школьный товарищ Николай Лебре писал: «Это фантастическое произведение вовсе не лишено всякого правдоподобия, ибо среди великих людей как древности, так и нашего времени многие верили, что Луна может быть обитаема, другие — что она действительно обитаема, третьи, более сдержанные, — что она кажется им таковой»¹.

Книге Сирано присущи ироничность стиля, занимательность фабулы, глубина философской мысли. Увлекательно описан полет автора, обвешанного склянками с росой, которая, испаряясь от солнца, поднимает его на воздух, переносит в Новую Францию (современную Канаду). Там рассказчик, избегая расправы иезуитов за якобы совершенное колдовство, хитроумно использует систему ракет и достигает Луны, где, оказывается, расположено земной рай.

Встречи с обитающими на Луне праведниками и патриархами, весьма вольные беседы с пророком Илией повлекли за собой изгнание Сирано из рая, комически пародирующее легенду об изгнании Адама и Евы. «Глумление над священными вещами» присутствует и в «научном» объяснении вознесения Илии на небо с помощью легкой железной колесницы и магнитного шара, который пророк подбрасывал вверх, следуя за ним.

¹ Предисловие Николая Лебре. — В кн.: Сирано де Бержерак. Иной свет, или Государства и империи Луны. М. — Л., 1931, с. 105.

Автор издевается над религиозным мистицизмом своих современников и, показывая не верующих по природе жителей Луны, приходит к мысли о ненужности религии, к отрицанию бессмертия человеческой души. Ироничными рассуждениями о «мыслящей» капусте, якобы ни в чем не уступающей людям и даже превосходящей их, Сирано наносит сокрушительный удар антропоцентризму. Как бы выворачивая наизнанку веками установленные земные порядки, он показывает их косность и смехотворность. Ни на что не похож образ жизни на Луне. Здесь ходячая монета — не презренные деньги, а стихи; питаются лунные жители не грубой пищей, а лишь запахами; старики почитают молодых и повинуются им, ибо на Земле «отцы насильно присвоили себе авторитет», но только юным дано право действовать благородно и справедливо. Некоторые обычаи вызывают улыбку: для устойчивости лунные люди ходят на четырех ногах, а результат весьма своеобразно ведомых войн зависит от победы на диспуте между учеными и умными людьми, представителями повздоривших государств.

Разобраться в этих необычных порядках и установлениях помогает покровительствующий Сирано спутник — Демон Сократа, дававший когда-то, во время своего пребывания на Земле, советы древнегреческому философу. В уста этого персонажа и вложено объяснение автора, почему именно Луна, невзирая на многие странности быта ее обитателей, предпочтительнее всего для обитания Демона. «Я продолжаю здесь жить потому, — говорит Демон, — что люди здесь любят истину, что нет здесь педантов; что философы здесь руководствуются только разумом и что ни авторитет ученого, ни авторитет большинства не преобладает здесь над мнением какого-нибудь молотильщика зерна, если этот молотильщик рассуждает умно»¹.

В этих словах выражен утопический идеал Сирано. Действительно, подобной свободы мысли нет нигде на Земле. Но как невозможно перенести на нее лунные обычаи и нравы, так нельзя и воплотить в жизнь, следуя логике автора, подобный идеал интеллектуальной раскрепощенности личности. По мнению одного из исследователей творчества писателя, в труде Сирано наблюдается несомненный кризис утопии, так как «наглядно демонстрируется неосуществимость утопических желаний... В известном смысле здесь подводится художественный и логический итог всему развитию ранних утопий»².

Можно перечислить еще целый ряд утопий, созданных в XVII веке, среди которых «Христианополис» И. В. Андре, «Океания» Дж. Гаррингтона, «Описание сказочного королевства Макария» С. Хартлиба, «Закон свободы» Дж. Уинстенли, «История севарамбов» Дени Вераса и другие. Мечта о гармоническом, совершенном человеке, для которого основой поведения — в противовес тупой алчности, злобе, закабаленности сознания — являются трудолюбие, гуманизм, свободомыслие, проходит сквозь всю мировую литературу. Отражение этой мечты обнаруживается и в книгах, содержащих явно утопические мотивы, и в, каза-

¹ Сирано де Бержерак. Иной свет, или Государства и империи Луны. с. 175.

² Воробьев Л. Утопии и действительность. — В кн.: Утопический роман XVI—XVII веков. М., 1971, с. 30

лось бы, далеких от утопии произведениях. Ее можно увидеть в философских повестях Вольтера «Кандид, или Оптимизм» и «Микрометас», в социально-утопических работах Дидро, трактатах Руссо, У. Годвина, публицистике социалистов-утопистов Оуэна, Фурье, Сен-Симона, утопических сценах из «Фауста» Гете, отдельных картинах светлого будущего в «Королеве Маб» и «Освобожденном Прометее» Шелли, поэмах и стихах Блейка и Байрона.

Прослеживая историю социальных утопий, следует также упомянуть первую материалистическую утопию Морелли «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов», труд его современника Мабли «Беседы Фокиона», содержащий черты аскетического коммунизма, «2440-й год» Л. Мерсье, где впервые действие было отнесено в будущее, книгу последователя Руссо Ретифа де Ла Бретона «Южное открытие» с приложением «Писем обезьяны», помимо описания идеальной республики поставившую проблему человека и животного. Любопытные утопические и научно-фантастические идеи содержали произведения Т. Эрскина «Армата», Дж. Лаудона «Мумия! Сказание о XXII столетии» и Э. Сувестра «Грядущий мир». С необычайно популярным в Америке романом Э. Беллами «Через сто лет» полемизировал У. Моррис в романе «Вести ниоткуда».

Особое место в ряду этих произведений занимает вышедший в 1840 году философский и социальный роман «Путешествие в Икарию» Этьена Кабе (1788—1856), французского публициста и писателя, которого К. Маркс назвал «самым популярным, хотя и самым поверхностным представителем коммунизма»¹. Стремясь наиболее доходчиво изложить идеи, выработанные сторонниками этого учения, критикуя капиталистический строй и пропагандируя преимущества коммунистического общества, Кабе отмечал в предисловии ко второму изданию: «Написанное в форме романа «Путешествие в Икарию» представляет настоящий трактат о морали, философии, социальной и политической экономике, плод долгих трудов, обширных исследований и постоянных размышлений. Чтобы хорошо с ним ознакомиться, мало прочесть его — надо его перечитывать, перечитывать часто и изучать»².

Кабе предложил читателю дневник путешественника-англичанина, попавшего в фантастическую страну Икарию — новый земной рай — и описавшего не только трогательную историю своей любви к икарийской девушке, но и господствующие там удивительные порядки, общественные и политические учреждения, нравы жителей — словом, представившего полную картину совершенного общества и вполне счастливого народа, который живет в коммунистической республике.

Коммунизм в Икарии — результат революции, когда у власти оказался мудрый законодатель, а конституция страны была принята всеобщим голосованием. Соседние государства пытались восстановить монархию в Икарии, и лишь завершив ожесточенную борьбу с ними, граждане республики смогли приступить к мирному труду, своим энтузиазмом

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2, с. 146.

² Кабе Э. Путешествие в Икарию. М.—Л., 1948. Т. 1, с. 79.

сократив срок прихода полного торжества коммунизма с пятидесяти до тридцати лет.

Что же обрели они? Свободу и равенство для всех в сочетании с порядком и дисциплиной, причем для женщин не предусмотрены политические права, а отношения в семьях носят патриархальный характер. Автор описывает жизнь героя в одной из таких семей — процесс постижения неизведанного мира, включающий знакомство с историей Икарии, описание города, деревень и т. д. Кабе подробно объясняет организацию снабжения пищей, одеждой, жилищем, указывает принципы выработки законов, основы брака и семьи, поясняет организацию воспитания, лечебного дела, труда, промышленности, сельского хозяйства, изящных искусств и даже колоний. Таким образом, Кабе постепенно подводит читателя к мысли, что царящие в Икарии изыток и богатство, изящество и великолепие, согласие и счастье — естественный результат общности.

Пути установления подобной общности мирным образом — через убеждение, использование общественного мнения — автор раскрывает, рисуя переходный порядок демократии, постепенно воспитывающий людей в духе коллективизма, уважения к правам каждого, обеспечения всех посильной работой. Говоря о необходимости незамедлительного уничтожения нищеты, Кабе подчеркивает, что бедные в Икарии обогащаются «без ограбления богатых».

Законодательная власть, принадлежащая народным собраниям и национальному правительственному собранию, упрощение судебной процедуры и ненужность полиции, до мелочей продуманная рациональная организация хозяйства, полное отсутствие бездельников и увлеченность каждого человека трудом, выбранным по душе, активное изобретательство, использование машин, участие в уборке урожая граждан и школьников — эти и ряд других деталей (общественное питание, одинаковые жилища, мебель, одежда, предметы домашнего обихода) разработаны автором в соответствии с его представлениями о коммунизме, кое в чем верными, но порою поверхностными и огрубленно-примитивными. Особенно это касается закона о браке, прямо восходящего к платоновской идее государственного контроля в данной сфере.

Большое значение придает Кабе воспитанию — моральному, физическому и интеллектуальному, подразумевающему владение элементами всех знаний. Коммунистическая мораль братства гарантирует порядок, а упрочить его, привить любовь к законам помогают театр, искусство, пресса. Икарийцы сохраняют религию, но без обрядов и суеверий, отделенную от государства, причем священники избираются народом — такая еще одна своеобразная деталь коммунистического общества у Кабе. По сути, он не внес в теорию коммунизма ничего нового, однако живое изображение коммунистического порядка в действии, неустанный призыв изучать преимущества коммунистического строя имели большой успех среди его современников. Книга Кабе интересна и для читателя наших дней — как определенный этап в развитии социальной утопической литературы, как пример активной позиции автора, который страстно желал «счастья для всех», верил в победу над собственническими интересами, целеустремленно рисовал порой наивную, но красочную картину жизни при коммунизме.

Роль литературной утопии, опирающейся в основном на воображение, выглядит не столь значительной на фоне стройной теории, разработанной основоположниками научного коммунизма К. Марксом и Ф. Энгельсом и доказывающей историческую неизбежность смены капитализма коммунизмом. Но для развития литературы утопия сделала немало. К этому жанру обращались Э. Золя («Четыре Евангелия»), А. Франс («На белом камне»), Г. Уэллс («Современная утопия», «Люди как боги») и др. В творчестве многих писателей благодаря утопии усилилось критическое начало, возникли даже так называемые «негативные утопии», в которых говорилось не об идеальных, лежащих в отдаленном пространстве или времени государствах, а рисовалась безрадостная картина грядущего в том мире, где мы живем. Родиной «негативных утопий» стала Англия. «Эревуон» С. Батлера, «Через Зодиак» П. Грега, «Машина останавливается» Э. М. Форстера и т. д. предлагают читателям такие варианты будущего общественного устройства, которые могут быть объяснены лишь одним: полным крушением надежд на всеобщее счастье исключительно благодаря достижениям науки и техники. О возможных последствиях развития буржуазного общества, близких к кошмару, предупреждают М. Конрад («В пурпурной мгле»), Д. Лондон («Железная пята»), Г. Уэллс («Война миров», «Машина времени»), сатирические утопии К. Чапека, а позже — антиутопии О. Хаксли («Прекрасный новый мир») и Дж. Оруэлла («Скотный двор», 1984).

Среди первых «негативных утопий» начала XX века часто упоминают роман английского писателя Гилберта Честертона (1874—1936) «Наполеон из Ноттинг-Хилла» (1904), представляющий интерес для современного читателя как один из своеобразных итогов путешествий по странам Мечты.

Фантазия Честертона устремляется не в далекую страну, а в хорошо известный Лондон, изображаемый, правда, через восемьдесят лет. В зарисовке будущего склонный к парадоксальному мышлению писатель утверждает, что его город спустя десятилетия «будет выглядеть почти так же, как он выглядит сегодня», ибо англичане разувсерились в революционных преобразованиях и страна не просто остановилась в развитии, но погрузилась в рутину, за ненужностью упразднив армию и полицию и предпочтя новым сомнительным истинам старые понятия и привычки. Мудрецы и пророки, предрекавшие перемены, просчитались, их прогнозы рухнули. Демократия умерла, существует деспотия, но не наследственная: король назначается из чиновничества, он — «всеобщий секретарь, и ничего больше». Лондонцы ежедневно монотонно вершат привычные дела, наслаждаясь стабильностью, покоем, миром и тишиной. Таким образом, время на страницах честертоновского романа сначала как бы застывает на месте, а потом и вовсе обращается вспять.

По жребии королевское звание достается чиновнику Оберону Квину, обладателю специфического чувства юмора, одержимому безумной идеей превратить славные пригороды Лондона в подобие средневековых городов и вдоволь посмеяться над результатом. Внешне жизнь после этого волшебного преображается: пестрые, красочные наряды, смеявшиеся серые и черные одежды, радуют глаз, а ворчанье лавочников, неохотно облачающихся в костюмы предков, искренне веселит зачинщика. И вот уже по воле полусумасшедшего шутника, оказавшегося у

власти, под влиянием средневековой оболочки перестраивается психология людей, а затея, начавшаяся как игра короля, приводит к действительной, совершенно фантастической реставрации средневековых нравов.

В центре причудливой картины возникает соответствующая фигура — своего рода «Наполеон из пригорода» (таков, кстати, не дословный, но точный по смыслу перевод заглавия романа в издании 1925 года). Это рыжеволосый Адам Вэйн, своевольный правитель Ноттинг-Хилла, который всерьез принимает затянувшуюся королевскую шутку и с оружием в руках отстаивает мифические права на суверенитет своего предместья. Жестокая сеча на улицах города уже не развлекает короля, с ужасом взирающего на зверства вооруженных средневековыми пиками и алебардами латников, ибо покров цивилизации быстро слетает с соратников честолобивого молодого человека и его противников. Рассказ обретает черты притчи: Честертон как бы приоткрывает завесу будущего, набрасывая пророческую картину еще не родившегося в ту пору фашизма.

Возможно, сам писатель не подозревал о предупреждающей роли своего произведения. Не только он, но и английские критики вплоть до недавнего времени склонны рассматривать его книгу как своеобразную шутку, объясняя этим и обилие юмористических сцен, и несколько легкомысленный, буффонадный финал. В самом деле, повествовательная манера Честертона остроумна и увлекательна, полна неистощимой выдумки, неподдельного мастерства, хотя и несколько романтически наивен взгляд автора на историю. Однако читатель сумеет разглядеть в его романе серьезнейшие социальные и психологические проблемы, уловить глубокий философский смысл.

Обильна и многообразна мировая утопическая литература. Почти каждая страна вносила и продолжает вносить в эту сокровищницу самобытный вклад. Идеал жизни воплощается то в вавилонской легенде или древнеегипетской сказке, то в картине библейского Эдема, то в описании волшебной страны Кокейн в Англии и Кокань во Франции, то в изображении царства всеобщего счастья в Беловодье или невидимом граде Китеже. При этом с каждым витком времени границы мечты расширяются — от абсолютно земного идеала страны всеобщего изобилия, расположенной на далеких островах, до выхода за пределы Солнечной системы, на просторы Вселенной. И здесь возникает вопрос: в какой мере эта литература, рожденная потребностью в совершенствовании человека и общества, тягой людей к прекрасному, связана с действительностью? Существует ли, говоря современным языком, «обратная связь» между литературой и жизнью?

Знаменитый социально-утопический роман Чернышевского называется «Что делать?» вовсе не случайно. «Делать» жизнь по законам разума и справедливости пытались и читатели, и сами писатели. Среди таких попыток превратить в реальность утопическую модель идеального государства можно назвать фабрики Роберта Оуэна, созданные под несомненным влиянием книг Т. Мора и Кампанеллы, общину «Икаррия», организованную Э. Кабе в одном из американских штатов, утопические об-

щины в России. Многие из проблем, поднимаемых в тех произведениях, что составили настоящий том, не потеряли своей актуальности и в наши дни, взять хотя бы проблему воспитания подрастающего поколения. А разве утратили остроту «негативные» утопии, предупреждающие человечество от трагических вариантов будущего? Ведь такие варианты весьма и весьма возможны. Но жизнь идет вперед, и люди не склонны сидеть и ждать, пока все беды свалятся на их головы, человеческой природе это просто несвойственно. Ищут выход политические деятели, ученые, писатели, и потому не умирает и не выдыхается утопия, воспевающая светлое, доброе, разумное, потому создаются и будут создаваться основанные на законах гуманизма модели утопического общества. А книги, подобные настоящей, помогут узнать историю мечтаний, историю споров о грядущем, дадут возможность сравнить прошлое и настоящее, чтобы лучше подготовиться к будущему.

И. Семibrатова

Томас МОР

Золотая книга, столь же полезная, как забавная,
о наилучшем устройстве государства
и о новом острове Утопии





*Томас Мор шлет привет
Петру Эгидию*

Дорогой Петр Эгидий, мне, пожалуй, и стыдно посылать тебе чуть не спустя год эту книжку о государстве утопийцев, так как ты, без сомнения, ожидал ее через полтора месяца, зная, что я избавлен в этой работе от труда придумывания; с другой стороны, мне нисколько не надо было размышлять над планом, а надлежало только передать тот рассказ Рафаила, который я слышал вместе с тобою. У меня не было причин и трудиться над красноречивым изложением, — речь рассказчика не могла быть изысканной, так как велась экспромтом, без приготовления; затем, как тебе известно, эта речь исходила от человека, который не столь сведущ в латинском языке, сколько в греческом, и чем больше моя передача подходила бы к его небрежной простоте, тем она должна была бы быть ближе к истине, а о ней только одной я в данной работе должен заботиться и забочусь.

Признаюсь, друг Петр, этот уже готовый материал почти совсем избавил меня от труда, ибо обдумывание материала и его планировка потребовали бы немало таланта, некоторой доли учености и известного количества времени и усердия; а если бы понадобилось изложить предмет не только правдиво, но также и красноречиво, то для выполнения этого у меня не хватило бы никакого времени, никакого усердия. Теперь, когда исчезли заботы, из-за которых пришлось бы столько попотеть, мне оставалось только одно — просто записать слышанное, а это было уже делом совсем нетрудным; но все же для выполнения этого «совсем нетрудного дела» прочие дела мои оставляли мне обычно менее чем ничтожное количество времени. Постоянно приходится мне то возиться с судебными процессами

(одни я веду, другие слушаю, третьи заканчиваю в качестве посредника, четвертые прекращаю на правах судьи), то посещать одних людей по чувству долга, других — по делам. И вот, пожертвовав вне дома другим почти весь день, я остаток его отдаю своим близким, а себе, то есть литературе, не оставляю ничего.

Действительно, по возвращении к себе надо поговорить с женою, поболтать с детьми, потолковать со слугами. Все это я считаю делами, раз это необходимо выполнить (если не хочешь быть чужим у себя в доме). Вообще надо стараться быть возможно приятным по отношению к тем, кто дан тебе в спутники жизни или по предусмотрительности природы, или по игре случая, или по твоему выбору, только не следует портить их ласковостью или по снисходительности из слуг делать господ. Среди перечисленного мною уходят дни, месяцы, годы. Когда же тут писать? А между тем я ничего не говорил о сне, равно как и обеде, который поглощает у многих не меньше времени, чем самый сон, — а он поглощает почти половину жизни. Я же выгадываю себе только то время, которое краду у сна и еды; конечно, его мало, но все же оно представляет нечто, поэтому я хоть и медленно, но все же напоследок закончил «Утопию» и переслал тебе, друг Петр, чтобы ты прочел ее и напомнил, если что ускользнуло от меня. Правда, в этом отношении я чувствую за собой известную уверенность и хотел бы даже обладать умом и ученостью в такой же степени, в какой владею своей памятью, но все же не настолько полагаюсь на себя, чтобы думать, что я не мог ничего забыть.

Именно, мой питомец Иоанн Клемент, который, как тебе известно, был вместе с нами (я охотно позволяю ему присутствовать при всяком разговоре, от которого может быть для него какая-либо польза, так как ожидаю со временем прекрасных плодов от той травы, которая начала зеленеть в ходе его греческих и латинских занятий), привел меня в сильное смущение. Насколько я припоминаю, Гитлодей рассказывал, что Амауротский мост, который перекинут через реку Анидр, имеет в длину пятьсот шагов, а мой Иоанн говорит, что надо убавить двести; ширина реки, по его словам, не превышает трехсот шагов. Прошу тебя порыться в своей памяти. Если ты одних с ним мыслей, то соглашусь и я и признаю свою ошибку. Если же ты сам не припоминаешь, то я оставляю, как написал, именно то, что, по-моему, я помню сам. Конечно, я приложу все старание к тому, чтобы в моей книге не было никакого обмана, но, с другой стороны, в сомни-

тельных случаях я скорее скажу невольно ложь, чем допущу ее по своей воле, так как предпочитаю быть лучше честным человеком, чем благоразумным.

Впрочем, этому горю легко будет помочь, если ты об этом разузнаешь у самого Рафаила или лично, или письменно, а это необходимо сделать также и по другому затруднению, которое возникло у нас, не знаю, по чьей вине: по моей ли скорее, или по твоей, или по вине самого Рафаила. Именно, ни нам не пришло в голову спросить, ни ему — сказать, в какой части Нового Света расположена Утопия. Я готов был бы, разумеется, искупить это упущение изрядной суммой денег из собственных средств. Ведь мне довольно стыдно, с одной стороны, не знать, в каком море находится остров, о котором я так много распространяюсь, а с другой стороны, у нас находится несколько лиц, а в особенности одно, человек благочестивый и по специальности богослов, который горит изумительным стремлением посетить Утопию не из пустого желания или любопытства посмотреть на новое, а подбодрить и развить нашу религию, удачно там начавшуюся. Для надлежащего выполнения этого он решил предварительно принять меры к тому, чтобы его послал туда папа и даже чтобы его избрали в епископы утопийцам; его нисколько не затрудняет то, что этого сана ему приходится добиваться просьбами. Он считает священным такое домогательство, которое порождено не соображениями почета или выгоды, а благочестием.

Поэтому прошу тебя, друг Петр, обратиться к Гитлодею или лично, если ты можешь это удобно сделать, или списаться заочно и принять меры к тому, чтобы в настоящем моем сочинении не было никакого обмана или не было пропущено ничего верного. И едва ли не лучше показать ему самую книгу. Ведь никто другой не может наравне с ним исправить, какие там есть, ошибки, да и сам он не в силах исполнить это, если не прочтет до конца написанного мною. Сверх того, таким путем ты можешь понять, мирится ли он с тем, что это сочинение написано мною, или принимает это неохотно. Ведь если он решил сам описать свои странствия, то, вероятно, не захотел бы, чтобы это сделал я: во всяком случае, я не желал бы своей публикацией о государстве утопийцев предвосхитить у его истории цвет и прелесть новизны.

Впрочем, говоря по правде, я и сам еще не решил вполне, буду ли я вообще издавать книгу. Вкусы людей весьма разнообразны, характеры капризны, природа их в

высшей степени неблагодарна, суждения доходят до полной нелепости. Поэтому несколько счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живет в свое удовольствие, чем те, кто терзает себя заботами об издании чего-нибудь, могущего одним принести пользу или удовольствие, тогда как у других вызовет отвращение или неблагодарность. Огромное большинство не знает литературы, многие презируют ее. Невежда отбрасывает как грубость все то, что не вполне невежественно; полужанки отвергают как пошлость все то, что не изобилует стародавними словами; некоторым нравится только ветошь, большинству — только свое собственное. Один настолько угрюм, что не допускает шуток; другой настолько неостроумен, что не переносит остроумия; некоторые настолько лишены насмешливости, что боятся всякого намека на нее, как укушенный бешеной собакой страшится воды; иные до такой степени непостоянны, что сидя одобряют одно, а стоя — другое. Одни сидят в трактирах и судят о талантах писателей за стаканами вина, порицая с большим авторитетом все, что им угодно, и продергивая каждого за его писание, как за волосы, а сами меж тем находятся в безопасности и, как говорится в греческой поговорке, вне обстрела. Эти молодцы настолько гладки и выбриты со всех сторон, что у них нет и волоска, за который можно было бы ухватиться. Кроме того, есть люди настолько неблагодарные, что и после сильного наслаждения литературным произведением они все же не питают никакой особой любви к автору. Они вполне напоминают этим тех невежливых гостей, которые, получив в изобилии богатый обед, наконец сытые уходят домой, не принеся никакой благодарности пригласившему их. Вот и затевай теперь на свой счет пиршество для людей столь нежного вкуса, столь разнообразных настроений и, кроме того, для столь памятливых и благодарных.

А все же, друг Петр, ты устрой с Гитлодеем то, о чем я говорил. После, однако, у меня будет полная свобода принять по этому поводу новое решение. Впрочем, покончив с трудом писания, я, по пословице, поздно хватился за ум; поэтому, если это согласуется с желанием Гитлодея, я в дальнейшем последую касательно издания совету друзей, и прежде всего твоему. Прощайте, милейший Петр Эгидий и твоя прекрасная супруга, люби меня по-прежнему, я же люблю тебя еще больше прежнего.

Первая

книга

беседы, *которую вел выдающийся муж
Рафаил Гитлодей,
о наилучшем состоянии государства,
в передаче знаменитого мужа
Томаса Мора, гражданина и виконта
славного британского города Лондона*

У непобедимейшего короля Англии Генриха, восьмого с этим именем, щедро украшенного всеми качествами выдающегося государя, были недавно немаловажные спорные дела с пресветлейшим государем Кастилии Карлом.

Для обсуждения и улажения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненно-го мужа Кутберта Тунсталла, которого недавно, к всеобщей радости, король назначил начальником архивов. В похвалу ему я не скажу ничего, но не из боязни, что дружба с ним не будет верной свидетельницей моей искренности, а потому, что его доблесть и ученость стоят выше всякой моей оценки; затем повсеместная слава и известность его настолько исключают необходимость хвалить его, что, поступая так, я, по пословице, стал бы освещать солнце лампой.

Согласно предварительному условию, в Бругге встретились с нами представители государя, все выдающиеся мужи. Среди них первенствовал и был главою губернатор Бругге, а устами и сердцем посольства был Георгий Темзиций, настоятель собора в Касселе, красноречивый не только в силу искусства, но и от природы. К тому же он был превосходным знатоком права и выдающимся мастером в ведении переговоров благодаря своему

уму, равно как и постоянному опыту. После нескольких встреч мы не пришли к полному согласию по некоторым пунктам, и потому они, простившись с нами, поехали на несколько дней в Брюссель, чтобы узнать волю их государя. А я на это время, по требованию обстоятельств, отправился в Антверпен.

Во время пребывания там наиболее приятным из всех моих посетителей был Петр Эгидий, уроженец Антверпена, человек, пользующийся среди сограждан большим доверием и почетом и достойный еще большего. Неизвестно, что стоит выше в этом юноше — его ученость или нравственность, так как он и прекрасный человек и высокообразованный. К тому же он мил со всеми, а к друзьям особенно благожелателен, любит их, верен им, относится к ним так сердечно, что вряд ли найдешь где другого человека, которого можно было бы сравнить с ним в отношении дружбы. Он на редкость скромен, более всех других ему чужда напыщенность; ни в ком простодушие не связано в такой мере с благоразумием. Речь его весьма изящна и безобидно-остроумна. Поэтому приятнейшее общение с ним и его в высокой степени сладостная беседа в значительной мере облегчили мне тоску по родине и домашнему очагу, по жене и детям, к свиданию с которыми я стремился с большой тревогой, так как тогда уже более четырех месяцев отсутствовал из дому.

Однажды я был на богослужении в храме девы Марии, который является и красивейшим зданием, и всегда переполнен народом. По окончании обедни я собирался вернуться в гостиницу, как вдруг случайно вижу Петра говорящим с иностранцем, близким по летам к старости, с опаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с плащом, небрежно свесившимся с плеча; по наружности и одежде он показался мне моряком. Заметив меня, Петр тотчас подходит и здоровается. Я хотел ответить ему, но он отводит меня несколько в сторону и спрашивает:

— Видишь ты этого человека? — Одновременно он показывает на того, кого я видел говорившим с ним. — Я собирался, — добавил он, — прямо отсюда вести его к тебе.

— Его приход был бы мне очень приятен, — ответил я, — ради тебя.

— Нет, — возразил Петр, — ради тебя, если бы ты знал этого человека. Нет ведь теперь никого на свете, кто мог

бы рассказать столько историй о неведомых людях и землях, а я знаю, что ты большой охотник послушать это.

— Значит,— говорю,— я сделал неплохую догадку. Именно, сразу, с первого взгляда, я заметил, что это — моряк.

— И все-таки,— возразил Петр,— ты был очень далек от истины. Правда, он плавал по морю, но не как Палинур, а как Улисс, вернее — как Платон. Ведь этот Рафаил — таково его имя, а фамилия Гитлодей — не лишен знания латыни, а греческий он знает превосходно. Он потому усерднее занимался этим языком, чем римским, что всецело посвятил себя философии, а в области этой науки, как он узнал, по-латыни не существует ничего сколько-нибудь важного, кроме некоторых сочинений Сенеки и Цицерона. Оставив братьям имущество, которое было у него на родине (он португалец), он из желания посмотреть на мир примкнул к Америго Веспуччи и был постоянным его спутником в трех последующих путешествиях из тех четырех, про которые читают уже повсюду, но при последнем не вернулся с ним. Ибо Рафаил приложил все старание и добился у Веспуччи быть в числе тех двадцати четырех, кто был оставлен в крепости у границ последнего плавания. Таким образом, он был оставлен в угоду своему характеру, более склонному к странствиям по чужбине, чем к пышным мавзолеям на родине. Он ведь постоянно повторяет следующие изречения: «Небеса не имеющих урны укроют» и: «Дорога к всевышним отовсюду одинакова». Не будь божество благосклонно к нему, такие мысли его обошли бы ему очень дорого.

В дальнейшем, после разлуки с Веспуччи, он с пятью своими товарищами по крепости объездил много стран, и напоследок удивительная случайность занесла его на Тапробану; оттуда прибыл он в Каликвит, где нашел, кстати, корабли португальцев, и в конце концов неожиданно вернулся на родину.

После этого рассказа Петра я поблагодарил его за услужливость, именно — за усиленную заботу о том, чтобы мне насладиться беседой с тем лицом, разговор с которым, как он надеялся, будет мне приятен. Затем я поворачиваюсь к Рафаилу. Тут после взаимных приветствий и обмена теми общепринятыми фразами, которые обычно говорят при первой встрече лиц незнакомых, мы

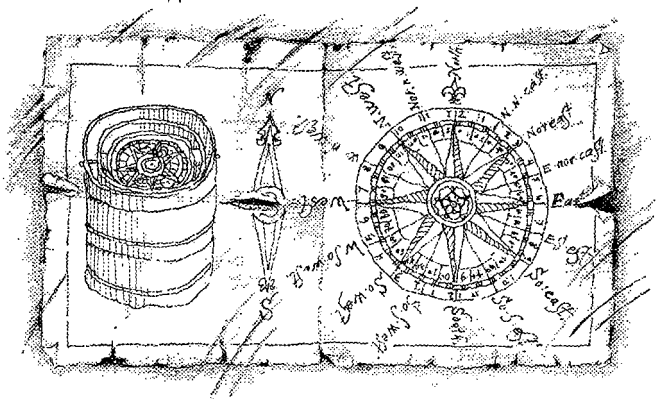
идем ко мне домой и здесь в саду, усевшись на скамейке, открытой зеленым дерном, начинаем разговор.

Рафаил рассказал нам, как после отъезда Веспуччи он сам и его товарищи, оставшиеся в крепости, начали мало-помалу, путем встреч и ласкового обхождения, приобретать себе расположение жителей той страны. В результате они не только жили среди них в безопасности, но чувствовали себя с ними по-приятельски; затем они вошли в милость и расположение к одному государю (имя его и название его страны выпали у меня из памяти). Благодаря его щедрости, продолжал Рафаил, как сам он, так и его товарищи получили в изобилии продовольствие и денежные средства, а вместе с тем и вполне надежного проводника. Он должен был доставить их — по воде на плотах, по суше на повозках — к другим государям, к которым они ехали с дружескими рекомендациями. После многодневного пути Рафаил, по его словам, нашел малые и большие города и густонаселенные государства с отнюдь не плохим устройством.

Действительно, под экваториальной линией, затем с обеих сторон вверх и вниз от нее, почти на всем пространстве, которое охватывает течение солнца, лежат обширные пустыни, высохшие от постоянного жара; в них повсюду нечистота, грязь, предметы имеют скорбный облик, все сурово и невозделано, заселено зверями и змеями или, наконец, людьми, не менее дикими, чем чудовища, и не менее вредными. Но по мере дальнейшего продвижения все мало-помалу смягчается: климат становится менее суровым, почва — привлекательной от зелени, природа живых существ — более мягкой. Наконец открываются народы, города, большие и малые; в их среде постоянные торговые сношения по суше и по морю не только между ними и соседями, но даже и с племенами, живущими в отдалении.

По словам Рафаила, он имел возможность осмотреть многие страны во всех направлениях потому, что он и его товарищи весьма охотно допускались на всякий корабль, снаряжавшийся для любого плаванья. Он рассказывал, что корабли, виденные им в первых странах, имели киль плоский, паруса на них натягивались из сшитых листьев папируса или из прутьев, в иных местах — из кож. Далее находили они кили заостренные, паруса пеньковые, наконец — во всем похожие на наши. Моряки оказались достаточно сведущими в знании моря и погоды.

Но, как он рассказывал, он приобрел у них огромное влияние, сообщив им употребление магнитной иглы, с которой они раньше были совершенно незнакомы и потому с робостью привыкали к морской пучине, доверяясь ей без колебаний не в иную пору, как только летом. Ныне же, крепко уповаю на эту иглу, они презирают зиму. Результатом этого явилась скорее их беззаботность, чем безопасность; поэтому можно опасаться, как бы та вещь, которая, по их мнению, должна была принести им большую пользу, не явилась, в силу их неблагоразумия, причиной больших бедствий.



Слишком долго было бы излагать его рассказы о том, что он видел в каждой стране, да это и не входит в план настоящего сочинения и, может быть, будет передано нами в другом месте. Особенно полезным будет, конечно, прежде всего знакомство с теми правильными и мудрыми мероприятиями, которые он замечал где-либо у народов, живущих в гражданском благоустройстве. Об этом и мы расспрашивали его с большою жадностью, и он распространялся охотнее всего. Между тем мы оставили в стороне всякие вопросы о чудовищах, так как это представляется отнюдь не новым. Действительно, на хищных Сцилл, и Целен, и пожирающих народы Лестригонов и тому подобных бесчеловечных чудовищ можно наткнуться почти всюду, а граждан, воспитанных в здравых и разумных правилах, нельзя найти где угодно.

И вот, отметив у этих новых народов много превратных законов, Рафаил, с другой стороны, перечислил немало и таких, из которых можно взять примеры для исправления заблуждений наших городов, народов, племен

и царств; об этом, как я сказал, я обещаюсь упомянуть в другом месте. Теперь я имею в виду только привести его рассказ об обычаях и учреждениях утопийцев, но предварительно все же передам тот разговор, который послужил как бы путеводной нитью к упоминанию этого государства.

Именно, Рафаил стал весьма умно перечислять сперва ошибки наши и тех народов, во всяком случае, очень многочисленные с обеих сторон, а затем мудрые и благоразумные распоряжения у нас, равно как и у них. При этом он излагал обычаи и учреждения каждого народа так, что казалось, будто, попадая в какое-либо место, он прожил там всю жизнь. Тогда Петр в восхищении воскликнул:

— Друг Рафаил, почему ты не пристроишься при каком-либо государе? Я убежден, что ты вполне угодишь каждому из них, так как в силу такой своей учености и такого знания мест и людей ты способен не только позабавить, но привести поучительный пример и помочь советом. Вместе с тем таким способом ты сможешь отлично устроить и собственные дела, оказать большую помощь преуспеянию всех твоих близких.

— Что касается моих близких, — возразил Рафаил, — то я не очень волнуюсь из-за них. Я считаю, что посильно выполнил лежавший на мне долг по отношению к ним. Именно, будучи не только вполне здоровым и бодрым, но и молодым человеком, я распределил между родственниками и друзьями свое имущество. А обычно другие отступаются от него только под старость и при болезни, да и тогда даже отступаются с трудом, будучи не в силах более удержать его. Думаю, что мои близкие должны быть довольны этой моей милостью и не будут требовать и ждать того, чтобы ради них я пошел служить царям.

— Не выражайся резко! — заметил Петр. — Я имел в виду не служить царям, а услужить им.

— Но это, — ответил Рафаил, — только один лишний слог по сравнению с служить.

— А я, — возразил Петр, — думаю так: как бы ты ни называл это занятие, именно оно является средством, которым ты можешь принести пользу не только тесному кругу лиц, но и обществу, а также улучшить свое собственное положение.

— Улучшится ли оно, — спросил Рафаил, — тем путем, который мне не по сердцу? Ведь теперь я живу так, как хочу, а я почти уверен, что это — удел немногих порфиноносцев! Разве мало таких лиц, которые сами ищут дружбы с владыками, и разве, по-твоему, получится большой урон, если они обойдутся без меня или без кого-либо мне подобного?

Тогда вступаю в беседу я:

— Друг Рафаил, ты, очевидно, не стремишься ни к богатству, ни к могуществу, и, разумеется, человека с таким образом мыслей я уважаю и почитаю не менее, чем и каждого из тех, кто обладает наивысшим могуществом. Но, как мне кажется, ты поступишь с полным достоинством для себя и для твоего столь возвышенного и истинно философского ума, если постарайшься даже с известным личным ущербом отдать свой талант и усердие на служение обществу; а этого ты никогда не можешь осуществить с такой пользой, как если ты станешь советником какого-либо великого государя и, в чем я уверен, начнешь внушать ему надлежащие честные мысли. Не надо забывать, что государь, подобно неиссякаемому источнику, изливает на весь народ поток всего хорошего и дурного. Ты же всегда, даже без большой житейской практики, явишься превосходным советником для всякого из королей благодаря твоей совершенной учености и даже без всякой учености, благодаря твоей многосторонней опытности.

— Друг Мор, — ответил Рафаил, — ты дважды ошибаешься: во-первых, в отношении меня, во-вторых, по сути дела. У меня нет тех способностей, которые ты мне приписываешь, а если бы они и были, то, жертвуя для дела своим бездействием, я не принес бы никакой пользы государству. Прежде всего все короли в большинстве случаев охотнее отдают свое время только военным наукам (а у меня в них нет опытности, да я и не желаю этого), чем благим деяниям мира; затем государи с гораздо большим удовольствием, гораздо больше заботятся о том, как бы законными и незаконными путями приобрести себе новые царства, нежели о том, как надлежаще управлять приобретенным. Кроме того, из всех советников королей нет никого, кто действительно настолько умен, чтобы не нуждаться в советах другого, однако каждый представляется самому себе настолько умным, что не желает одоб-

рять чужое мнение. Впрочем, есть исключение: советники льстиво и низкопоклонно потворствуют каждому нелепому мнению лиц, пользующихся у государя наибольшим влиянием, желая подобной лестью расположить их к себе. И, во всяком случае, природой так устроено, что каждому нравятся его произведения. Так и ворону мил его выводок, и обезьяне люб ее детеныш.

Поэтому, если в кругу подобных лиц, завидующих чужим мнениям и предпочитающих собственные, кто-нибудь приведет факт, вычитанный им из истории прошлого или замеченный в других странах, то слушатели относятся к этому так, как будто вся репутация их мудрости подвергается опасности и после этого замечания их сочтут круглыми дураками, если они не сумеют придумать чего-нибудь такого, чем можно опорочить чужую выдумку. Если других средств нет, то они прибегают к следующему: это, говорят они, нравилось нашим предкам, а мы желали бы равняться с ними в мудрости. И на этом они успокаиваются, считая, что подобным замечанием прекрасно себя защитили. Как будто великая опасность получится от того, если кто в каком-либо деле окажется умнее своих предков. А между тем всему, что ими удачно установлено, мы с полным спокойствием предоставляем существовать. Но если по какому-либо поводу можно придумать нечто более благоразумное, то мы тотчас страстно хватаемся за этот довод и цепко держимся установленного ранес. С подобными высокомерными, нелепыми и капризными суждениями я встречался неоднократно в других местах, а особенно однажды столкнулся с ними в Англии.

— Скажи, пожалуйста, — спрашиваю я, — так ты был в нашей стране?

— Да, — ответил он, — и провел там несколько месяцев после поражения западных англичан в гражданской войне против короля, которая была подавлена безжалостным их избиением. В это время я многим обязан был досточтимому отцу Иоанну Мортону, архиепископу Кентерберийскому и кардиналу, а тогда также и канцлеру Англии. Этот муж, друг Петр (я обращаюсь к тебе, так как Мор знает, что я имею в виду сказать), внушал уважение столько же своим авторитетом, как благоразумием и добродетелью. Стан у него был средний, но не согбенный от возраста, хотя и преклонного. Лицо внушало почтение,

а не страх. В обхождении он был не тяжел, но серьезен и важен. У него появлялось иногда желание слишком сурового обращения с просителями, впрочем без вреда для них; он хотел этим испытать, какую находчивостью, каким присутствием духа обладает каждый. В смелости их, но отнюдь не связанной с нахальством, он находил большое удовольствие, так как это качество было сродни и ему самому, и он признавал такого человека пригодным для служебной деятельности. Речь его была гладкая и проникновенная. Он обладал превосходным знанием права, несравненным остроумием, на редкость дивной памятью. Эти выдающиеся природные качества он развил учением и упражнением.

Король вполне полагался на его советы; в мою бытность там находило в них опору и государство. С ранней юности, прямо с школьной скамейки, попал он ко двору, провел всю жизнь среди важных дел и, постоянно подвергаясь превратностям судьбы, среди многих и великих опасностей приобрел большой государственный опыт, который, будучи получен таким образом, нескоро исчезает.

По счастливой случайности я присутствовал однажды за его столом; тут же был один мирянин, знаток ваших законов. Не знаю, по какому поводу он нашел удобный случай для обстоятельной похвалы тому суровому правосудию, которое применялось в то время по отношению к ворам; их, как он рассказывал, вешали иногда по двадцати на одной виселице. Тем более удивительным, по его словам, выходило то, что, хотя незначительное меньшинство ускользало от казни, в силу какого-то злого рока, многие все же повсюду занимались разбоями. Тогда я, рискнув говорить свободно в присутствии кардинала, заявил:

«Ничего тут нет удивительного. Такое наказание воров заходит за границы справедливости и вредно для блага государства. Действительно, простая кража не такой огромный проступок, чтобы за него рубить голову, а с другой стороны, ни одно наказание не является настолько сильным, чтобы удержать от разбоев тех, у кого нет никакого другого способа снискать пропитание. В этом отношении вы, как и значительная часть людей на свете, по-видимому, подражаете плохим педагогам, которые охотнее бьют учеников, чем их учат. В самом деле, вору назначают тяжкие и жестокие муки, тогда как гораздо скорее следовало

бы позаботиться о каких-либо средствах к жизни, чтобы никому не предстояло столь жестокой необходимости сперва воровать, а потом погибать».

«В этом отношении,— отвечал тот,— приняты достаточные меры, существуют ремесла, существует земледелие: ими можно поддержать жизнь, если люди сами не предпочтут быть дурными».

«Нет, так тебе не вывернуться,— отвечаю я.— Оставим, прежде всего, тех, кто часто возвращается домой калеками с войн внешних или гражданских, как недавно у вас после битвы при Корнуэлле и немного ранее — после войн с Францией. После потери членов тела ради государства и ради короля убожество не позволяет им вернуться к прежним занятиям, а возраст — изучить новые. Но, повторяю, оставим это, так как войны происходят через известные промежутки времени. Обратимся к тому, что бывает всякий день.

Во-первых, существует огромное число знати: она, подобно трутям, живет праздно, трудами других, именно — арендаторов своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть или этим слугам заболеть, как их тотчас выбрасывают вон. Хозяева охотнее содержат праздных, чем больных, и часто наследник умершего не в силах содержать отцовскую челядь. И вот они усиленно голодают, если не начинают усиленно разбойничать. Действительно, что им делать? Когда в скитаниях они поизносят несколько платье и поизносятся сами, то подкошенных болезнью и покрытых лохмотьями не благоволят принять благородные и не посмеют крестьяне. Эти последние прекрасно знают, что человек, деликатно воспитанный среди праздности и наслаждений, со шпагой на боку и со щитом в руке, привык только хвастливо бросать гордые взгляды на соседей и презирать всех по сравнению с собою, а отнюдь не пригоден для того, чтобы с заступом и мотыгой за скудное вознаграждение и скромный стол верно служить бедняку.

На это мой собеседник возразил:

«А нам, однако, надо особенно поддерживать людей этого рода; в них ведь, как в людях более возвышенно-

го и благородного настроения, заключается, в случае если дело дойдет до войны, главная сила и крепость войска».

«Отлично,— отвечаю я,— с таким же основанием ты мог бы сказать, что ради войны надо поддерживать и воров, от которых, несомненно, вы никогда не избавитесь, пока у вас будут эти дворовые. Почему, с одной стороны, разбойникам не быть вполне расторопными солдатами, а с другой, солдатам — самыми отъявленными трусами из разбойников,— до такой степени эти два занятия прекрасно подходят друг к другу. Впрочем, этот порок, несмотря на свою распространенность у вас, не составляет, однако, вашей отличительной особенности: он общий у всех почти народов. Так, что касается Франции, то ее сверх этого разоряет другая язва, еще более губительная: вся страна даже и во время мира (если это можно назвать миром) наполнена и осаждена наемными солдатами, призванными в силу того же убеждения, в силу которого вы признали нужным держать здесь праздных слуг. Именно, эти умные дураки решили, что благо государства заключается в том, что оно должно иметь всегда наготове сильный и крепкий гарнизон, состоящий главным образом из ветеранов: эти политики отнюдь не доверяют новобранцам. Поэтому им приходится искать войны даже и для того, чтобы дать опыт солдатам и вообще иметь людей для резни; иначе, по остроумному замечанию Саллюстия, руки и дух заколенеют в бездействии.

Франция познала собственным бедствием, насколько гибельно содержать чудовищ такого рода, а с другой стороны, то же доказывают примеры римлян, карфагенян, сирийцев и вообще многих народов. Постоянные войска всех этих народов уничтожили по разным поводам не только их владычество, но поля и даже самые города. В какой степени, однако, это не вызывается необходимостью, видно хотя бы из следующего: даже и французские солдаты, вполне от молодых ногтей закаленные в боях, при столкновении с вашими призывными не могут слишком часто похвастаться победами. Впрочем, я не буду дальше распространяться об этом в вашем присутствии, чтобы не оказаться льстецом. Но нельзя думать, чтобы и у вас праздные телохранители аристократов внушали большой страх вашим городским ремесленникам или простым и грубым земледельцам, кроме разве как тем из

них, кто по своему телосложению не отличается особой физической силой и отвагой или чья бодрость надломлена имущественными недостатками. Поэтому нет никакого основания опасаться, что эти сильные и крепкие физически люди (ведь только отборные устаиваются развращенного внимания аристократии), теперь слабеющие в праздности или в занятиях чуть ли не женских, станут недостаточно мужественны, если получают подготовку для жизни в полезных ремеслах и мужских трудах. Во всяком случае, мне отнюдь не представляется полезным для государства содержать на случай войны, которой у вас никогда не будет без вашего желания, беспредельную толпу людей такого рода; они вредят миру, о котором, во всяком случае, надо заботиться гораздо больше, чем о войне.

Впрочем, это не единственная причина для воровства. Есть другая, насколько я полагаю, более присущая специально вам».

«Какая же это?» — спросил кардинал.

«Ваши овцы, — отвечаю я, — обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно, во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свинные стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами для дичи и зверинцами.

Таким образом, с тех пор как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их — или опутанных обманом, или подавленных насилием — даже их собственного достояния или, замучив обидами, вынужда-

ет к продаже его. Во всяком случае, происходит переселение несчастных: мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, родителей с малыми детьми и более многочисленными, чем богатыми, домочадцами, так как хлебопашество требует много рук. Они переселяются, повторяю, с привычных и насиженных мест и не знают, куда деться; всю утварь, стоящую недорого, даже если бы она могла дожидаться покупателя, они продают за бесценок при необходимости сбыть ее. А когда они в своих странствиях быстро потратят это, то что им остается другое, как не воровать и попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать? Впрочем, и тут, как бродяги, они попадают в тюрьму за свое праздное хождение, — никто ведь не нанимает их труд, хотя они самым пламенным образом предлагают его. А хлебопашеству, к которому они привыкли, нечего делать там, где ничего не сеют. Ведь достаточно одного овчара или пастуха вообще, чтобы пустить под пастбище ту землю, для надлежащей обработки которой под посев требовалось много рук.

От этого также сильно поднялась во многих местах цена на хлеб. Мало того, и сама шерсть возросла в цене настолько, что покупать ее стало совершенно не под силу более бедным людям, занимавшимся приготовлением из нее одежды, и потому большинство из них от дела должно переходить к праздности. Дело в том, что после умножения пастбищ бесчисленное количество овец погибло от чумы, как будто этот мор, посланный на овец, был отмщением свыше за алчность их владельцев, хотя справедливее было бы обратить эту гибель на собственные головы владельцев. Но если даже количество овец сильно возрастет, то цена на шерсть все же несколько не спадет, потому что если продажу ее нельзя назвать монополией, так как этим занято не одно лицо, то, во всяком случае, это — олигополия. Ведь это дело попало в руки немногих и притом богатых людей, которых никакая необходимость не вынуждает продавать раньше, чем это им заблагорассудится, а заблагорассудится им не раньше, чем станет возможным продать за сколько им заблагорассудится. Та же причина вызывает одинаковую дороговизну и прочих пород скота, и даже в тем большей степени, что с разрушением поместий и сокращением хлебопашества нет лиц, которые бы заботились о приплоде. Упомянутые богачи не выращивают ни ягнят, ни телят, но, купив их

в других местах за дешевую цену, они откармливают их на своих пастбищах и перепродают дорого. Позволяю себе думать, что все неудобство такого положения дел еще не ощущается. Именно, до сих пор эти лица создают дороговизну скота только там, где продают его. Но когда они будут вывозить его с места покупки несколько быстрее, чем он может рождаться, то и там также запас его будет мало-помалу уменьшаться, и здесь по необходимости недостаток его будет очень ощутителен.

Таким образом, ненасытная алчность немногих лиц обратила в гибель вашему острову то самое, от чего он казался особенно счастливым. Эта дороговизна хлеба служит причиной того, что каждый отпускает от себя возможно большее количество челядинцев, но, спрашивается, на что, как не на нищету или — к чему можно легче склонить благородные натуры — на разбой?

Далее, к этой жалкой нищете и скудости присоединяется неуместная роскошь. Именно, и у слуг знати, и у ремесленников, и почти что у самих крестьян, одним словом, у всех сословий заметно много чрезмерной пышности в одежде, излишняя роскошь в еде. Разве не посылают прямо на разбой своих поклонников, после предварительного быстрого опустошения их кошельков, все эти харчевни, притоны, публичные дома и еще раз публичные дома в виде винных и пивных лавок, наконец, столько бесчестных игр — кости, карты, стопка, большие и малые мячи, диск?

Уничтожьте эти губительные язвы, постановите, чтобы разрушители ферм и деревень или восстановили их, или уступили желающим восстановить и строить. Обуздайте скупки, производимые богачами, их своеволие, переходящее как бы в их монополию. Кормите меньше дармоедов. Верните земледелие, возобновите обработку шерсти, да станет она почетным делом! Пусть с пользой занимается им эта праздная толпа: те, кого до сих пор бедность сделала ворами, или те, кто является теперь бродягами либо праздными слугами, — то есть в обоих случаях будущие воры. Если вы не уврачуете этих бедствий, то напрасно станете хвастаться вашим испытанным в наказаниях воровства правосудием, скорее с виду внушительным, чем справедливым и полезным. В самом деле, вы дадите людям негодное воспитание, портите мало-помалу с юных лет их нравственность, а признаете их достойны-

ми наказания только тогда, когда они, придя в зрелый возраст, совершат позорные деяния; но этого можно было постоянно ожидать от них начиная с детства. Разве, поступая так, вы делаете что-нибудь другое, кроме того, что создаете воров и одновременно их караете?»

Во время этой моей речи упомянутый правовед сосредоточенно приготовился к возражению. Он решился прибегнуть к тому обычному способу рассуждения, когда с большим старанием повторяют доводы противника, чем отвечают на них; такие возражатели вменяют себе в заслугу прежде всего свою хорошую память.

«Ты, конечно, — начал он, — сказал красиво; но легко догадаться, что ты иностранец, который мог скорее кое-что слышать об этих делах, чем иметь о них какие-либо точные сведения; это я и выявлю в немногих словах. Именно, прежде всего я перечислю по порядку твои доводы; затем покажу, в каких пунктах ты ошибся в силу незнания наших обстоятельств; наконец, разобью и опровергну все твои положения. Так вот, начиная, согласно обещанию, с первого, ты, как мне показалось, в четырех пунктах...»

«Молчи, — перебил кардинал, — раз ты начинаешь так, то собираешься отвечать не в немногих словах. Поэтому мы освободим тебя в настоящее время от этого тягостного ответа. Но сохраним за тобою такую задачу целиком во второй вашей встрече; ее мне желательно было бы устроить завтра, если ничто не помешает ни тебе, ни Рафаилу. А пока, друг Рафаил, я очень охотно услышал бы от тебя, почему ты не признаешь нужным карать воровство высшей мерой наказания и какую кару за него, более полезную для общества, назначаешь ты сам; ведь и ты также не признаешь воровство терпимым. А если теперь люди рвутся воровать, несмотря на смерть, то, раз устранен будет страх ее, какая сила, какой страх может отпугнуть злодеев: смягчение наказания они, пожалуй, истолкуют как поощрение и приглашение к злодеянию?»

«Во всяком случае, всемилостивейший владыка, — отвечаю я, — по моему мнению, совершенно несправедливо отнимать жизнь у человека за отнятие денег. Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира. А если мне говорят, что это наказание есть возмездие не за деньги, а за попрание справедливости, за нарушение законов, то почему тогда не

назвать с полным основанием это высшее право высшею несправедливостью? Действительно, нельзя одобрить, с одной стороны, достойные Мантлия законы, повелевающие обнажать меч за малейшее нарушение дисциплины; с другой стороны, порицания заслуживают и стоические положения, признающие все прегрешения до такой степени равными, что, по их мнению, нет никакой разницы между убийством человека и кражей у него гроша; а на самом деле между этими преступлениями, рассматривая их сколько-нибудь беспристрастно, нет никакого сходства и родства. Бог запретил убивать кого бы то ни было, а мы так легко убиваем за отнятие ничтожной суммы денег. Если же кто-нибудь стал бы толковать это так, что данное повеление божие запрещает убийство во всех случаях, кроме тех, когда оно допускается человеческими законами, то что же мешает людям точно таким же образом согласиться между собой о допустимости разврата, прелюбодеяния и клятвопреступления? Бог отнял право лишать жизни не только другого, но и себя самого, так неужели соглашение людей об убийстве друг друга, принятое при определенных судебных условиях, должно иметь такую силу, чтобы освобождать от применения этой заповеди сто исполнителей, которые без всякого указания божия уничтожают тех, кого велел им убить людской приговор? Не будет ли в силу этого данная заповедь божия правомочной только постольку, поскольку допустит ее право человеческое? В результате люди таким же образом могут принять общее постановление о том, в какой мере следует вообще исполнять повеления божии. Наконец, и закон Моисеев, несмотря на все его немилосердие и суровость (он дан был против рабов, и притом упрямых), все же карал за кражу денежным штрафом, а не смертью. Не будем же думать, что в новом законе милосердия, где бог повелевает, как отец детям, он предоставил нам больший произвол свирепствовать друг против друга.

Вот причины, по которым я высказываюсь против казни. А насколько нелепо и даже губительно для государства карать одинаково вора и убийцу, это, думаю, известно всякому. Именно, если разбойник видит, что при осуждении только за кражу ему грозит не меньшая опасность, как за уличение еще и в убийстве, то этот один расчет побуждает его к убийству того, кого при других обстоятельствах

он собирался только ограбить. Действительно, в случае поимки опасность для него нисколько не увеличивается, а при убийстве она даже уменьшается, так как с уничтожением доказчика преступления можно иметь большую надежду скрыться. Поэтому, стремясь чересчур сильно уstrasить воров, мы подстрекаем их к уничтожению хороших людей.

Что же касается обычного дальнейшего вопроса, какое наказание может быть более подходящим, то ответить на это, по моему мнению, несколько легче, чем на то, какое наказание может быть еще хуже. Зачем нам сомневаться в пользе того способа кары за злодеяния, который, как мы знаем, был так долго в ходу у римлян, весьма опытных в управлении государством? Именно уличенных в крупных злодеяниях они присуждали к каменоломням и рудникам, держа их, кроме того, постоянно в кандалах.

Впрочем, в этом отношении я ни у одного народа не нахожу лучшего порядка, чем тот, какой я наблюдал и заметил, путешествуя по Персии, у так называемых полилеритов: это — народ не маленький и вполне разумно организованный. За исключением дани, платимой им ежегодно персидскому царю, он в остальных отношениях свободен и управляется по своим законам. Живя далеко от моря и будучи почти со всех сторон окружены горами, они довольствуются плодами своей земли, отнюдь ни в чем не скупой, и сами не часто посещают других, не часто и посещаются: по старинному национальному обычаю, они не стремятся к расширению своих границ, которые в их теперешнем виде легко защищены от всякого несправедливого посягательства горами и платой, вносимой могущественному властелину. Вполне свободные от военной службы, они живут не столько блестяще, сколько благополучно, и скорее счастливо, чем пышно и славно; даже самое имя их известно только ближайшим соседям.

Так вот, у полилеритов пойманные при краже возвращают утащенное хозяину, а не государю, как это обычно делается в других местах: по мнению этого народа, у государя столько же прав на украденную вещь, как у самого вора. Если же вещь пропадет, то после оценки стоимость ее выплачивается из имущества воров, остальное же отдается целиком их женам и детям, а сами воры осуждаются на общественные работы. Если совершение кражи не

осложнено преступлением, то похитителей не сажают в тюрьму, избавляют от кандалов, и они свободно и беспрепятственно занимаются общественными работами. Если же преступники уклоняются от них или производят их слишком вяло, то их не столько наказывают кандалами, сколько поощряют ударами. Работающие усердно избавлены от оскорблений; только почью, после поименного счета, их запирают по камерам. Кроме постоянного труда, их жизнь не представляет никаких неприятностей. Питаются они не скудно: работающие для государства — на казенный счет, в других случаях — по-разному. Иногда траты на них собираются путем милостыни; хотя это путь очень ненадежный, однако, в силу присущего данному народу милосердия, он дает результат, лучший всякого другого; в других местах назначаются для этого известные общественные доходы. В иных местах для этой потребности устанавливают определенный поголовный налог. Наконец, в некоторых местностях преступники не исполняют никаких общественных работ; но если то или иное частное лицо нуждается в наемных рабочих, оно нанимает на рынке любого из них за определенную плату, несколько дешевле по сравнению со свободным человеком; кроме того, раба за его леность позволено наказывать бичом.

В результате эти люди никогда не бывают без работы, и, помимо заработка на свое содержание, каждый вносит еще нечто в государственную казну. Все вместе и каждый в отдельности одеты они в один определенный цвет, волос им не бреют, а подстригают немного выше ушей, одно из которых слегка подрезают. Друзья могут давать каждому пищу, питье и платье надлежащего цвета; но дать деньги считается уголовным преступлением как для дающего, так и для получающего; не менее опасным является для человека свободного получать по какой бы то ни было причине монету от осужденного, равно как рабам (так называют осужденных) запрещается касаться оружия. Каждая область различает своих рабов особой отметкой, бросить которую считается уголовным преступлением, равно как показаться вне своих пределов и вести какой-либо разговор с рабом другой области. Замысел бегства является столь же опасным, как и самое бегство. За соучастие в таком решении рабу полагается казнь, свободному — рабство. С другой стороны, доносчику назначе-

ны награды: свободному — деньги, рабу — свобода, далее, обоим прощение и безнаказанность за соучастие; таким образом, приведение в исполнение дурного намерения ни в каком случае не может доставить большую безопасность, чем раскаяние в нем.

Законы и порядки насчет воровства таковы, как я сказал. Легко можно видеть, насколько они человечны и удобны. Гнев проявляется настолько, чтобы уничтожить пороки; но люди остаются в целости и встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, какое они причинили раньше.

Далее, не может быть никакого опасения за то, что они вернутся к прежним нравам. Мало того, путешественники при своем отправлении куда-либо считают себя в наибольшей безопасности, когда их проводниками являются именно эти рабы, которых они неоднократно меняют в каждой области. Действительно, для совершения разбоя рабы не видят ни в чем никакой подмоги: руки у них безоружны, деньги явятся только донощиком злодеяния, в случае поимки кара наготове, и нет абсолютно никакой надежды убежать куда бы то ни было. В самом деле, как сделать незаметным и скрыть свое бегство человеку, несколько не похожему платьем на остальных? Разве только уйти голому? Да и в этом случае беглеца может выдать его урезанное ухо. Но, наконец, может, пожалуй, еще явиться опасение, что они вознамерятся составить заговор против государства. Как будто какая-нибудь отдельная округа может возыметь такую надежду, не опросив и не подговорив предварительно рабов многих областей! Они не только лишены возможности устраивать заговоры, но им нельзя даже собраться вместе побеседовать и обменяться приветствиями: тут же надо признать, что они бесстрашно вверят своим сотоварищам такой план, умолчать о котором, как известно, опасно, а выдать его будет очень выгодно. С другой стороны, никто из рабов отнюдь не лишен надежды на то, что если он будет послушен, скромен и подаст доказательства своего стремления исправиться в будущем, то он может под этими условиями рассчитывать на обратное получение свободы; это и делается ежегодно для нескольких лиц из уважения к их терпеливости».

Вот что я сказал и прибавил, что не вижу основания, почему бы этот образ действия не мог принести и в Англии гораздо большие плоды, чем та справедливость, которую так превозносил упомянутый правовед. Тогда этот последний заметил:

«Никогда ничего подобного нельзя установить в Англии, не подвергая государство величайшей опасности».

При этих словах он покачал головою, скривил презрительно губы и замолчал. Все присутствовавшие охотно согласились с его словами. Тогда кардинал заметил:

«Нелегко угадать, будет ли это иметь успех или нет, раз не сделано никакого предварительного опыта. Но если по произнесении смертного приговора государь велит отложить казнь, то можно применить обычай полилери-тов, уничтожив привилегию заповедных мест; и вот тут, если результат дела докажет его пользу, правильно было бы ввести это установление; в противном случае заслуженная казнь тех, кто уже подвергся осуждению, будет так же полезна для государства и так же справедлива, как если бы она была совершена ранее; между тем опасности от этого не может быть никакой. Мало того, по-моему, подобный образ действия можно было бы с значительным успехом применить и к бродягам, а то в отношении их мы до сих пор не добились никаких результатов, несмотря на издание многочисленных законов».

Как только кардинал сказал это, все наперерыв осыпали похвалами его мысль, к которой раньше, в моих устах, отнеслись с пренебрежением; особое же одобрение заслужил пункт о бродягах, так как это была его собственная прибавка.

Не знаю, не лучше ли умолчать о том, что произошло далее, так как это было смешно; но все же я расскажу: это было недурно и имело некоторое отношение к настоящей теме.

Случайно тут стоял один блюдолиз, который, по-видимому, хотел строить из себя дурака, но, притворяясь таковым, был очень близок к настоящему. Шутки его, которыми он старался насмешить, были настолько плоски, что сам он вызывал смех гораздо чаще, чем его слова. Но иногда все же у него вырывалось нечто совсем неглупое, что могло оправдать правильность поговорки: «При частой игре добьешься и выигрыша». Именно, один из гостей сказал, что я в своей речи говорил о надлежащих мерах

против воров, кардинал подумал о бродягах, и теперь государству остается только позаботиться о тех, кого довела до нищеты болезнь или старость и сделала их непригодными к труду для снискания себе пропитания. Тогда упомянутый блюдолиз заметил:

«Позволь мне, я и это устрою правильно. Я страстно желаю удалить куда-нибудь с глаз долой людей этого рода. Они мне сильно и часто надоедали своим требованием денег, сопровождаемым жалобными воплями, но никогда все же причитания их не имели такого успеха, чтобы вытянуть у меня монету. Выходило как-то всегда одно из двух: или мне не хотелось давать, или даже и нельзя было, так как не было ничего. Поэтому теперь они стали умнее; когда они видят, что я иду, то не тратят своего труда и пропускают молча: они совершенно не ждут ничего от меня, как будто бы я был священником. Так вот я и вношу закон, чтобы всех этих нищих разместить и распределить по бенедиктинским монастырям и сделать из них так называемых монахов-мирян, а женщинам я велю стать монахинями».

Кардинал улыбнулся и одобрил это как шутку, а другие приняли ее и всерьез.

Но замечание о священниках и монахах сильно развешило одного из этих последних, ученого богослова, так что он и сам захотел пошутить, хотя в общем был серьезен до свирепости.

«Но и в этом случае, — заметил он, — ты не отделаешься от нищих, если не подумаешь и о нас — монашествующей братии».

«Да это уже предусмотрено, — ответил паразит. — Ведь кардинал прекрасно позаботился о вас, когда выносил постановление о задержании и привлечении к работе бродяг, ведь вы-то и есть главные бродяги».

При этих словах все взглянули на кардинала и, заметив, что он не отрицает этого, очень охотно подцепили это замечание, все, кроме монаха. Он (что и не удивительно), пораженный такой колкостью, пришел в негодование и до того раскипятился, что не мог удержаться от ругательств: он назвал противника негодем, подлецом, клеветником и сыном погибели, приводя вместе с тем страшные угрозы из Священного писания. Тогда шут вошел в свою роль всерьез и почувствовал себя вполне как дома.

«Не гневайся, добрый брат,— ответил он,— сказано в Писании: «В терпении вашем овладеете душами вашими».

На это монах (приведу его подлинные слова) ответил:

«Я не гневаюсь, висельник, или, по крайней мере, не грешу, и псалмопевец говорит: «Гневайтесь и не согрешайте».

Затем, в ответ на мягкое внушение кардинала удерживать свои страсти, монах заметил:

«Я говорю, как должен, по доброму усердию. Ведь у святых людей было доброе усердие; отсюда и сказано: «Усердие по дому твоему съело меня». И в церквях поют: «Над Елисеем кто смеялся, когда в храм тот направлялся», усердие плешивого почувяли,— как почувет, вероятно, и этот насмешник, шут, грубиян».

«Ты,— ответил кардинал,— поступаешь, может быть, с наилучшими побуждениями, но поступишь, по-моему, еще благочестивее, во всяком случае разумнее, если поведешь себя так, что не будешь вступать в смешное состязание с человеком глупым и смешным».

«Нет, владыка,— ответил тот,— я не поступил бы разумнее. Ведь сам премудрый Соломон говорит: «Отвечай глупому по глупости его», как я теперь и делаю и указываю ему яму, в которую он упадет, если не побережется как следует. Ведь если многие насмешники над Елисеем, который был только один плешивый, почувствовали усердие плешивого, то насколько сильнее почувствует это один насмешник над многими братьями, среди которых есть много плешивых? И вдобавок у нас есть папская булла, по которой все осмеивающие нас подлещат отлучению».

Кардинал, увидев, что этому не будет конца, отослал кивком головы паразита и свел удачно разговор на другую тему, а затем немного спустя встал из-за стола и занялся делами своих подчиненных, отпустив нас.

Вот, друг Мор, каким длинным рассказом я замучил тебя; мне было бы очень стыдно так долго передавать это, но ты, с одной стороны, пламенно желал этого, а с другой, казалось, слушал так, как будто не желал ничего упустить из этого разговора. Но, во всяком случае, мне, хотя бы и в сжатом виде, надо было передать это, потому что те же лица, отвергнув высказанную мною мысль, сейчас же сами одобрили ее, услышав одобрение ей от кар-

динала. Они угождали ему до такой степени, что льстили даже выдумке его паразита, которую кардинал не отверг как шутку, и чуть не приняли ее всерьез. Отсюда ты можешь определить, какую цену имели бы в глазах придворных я и мои советы.

— Конечно, друг Рафаил,— отвечаю я,— ты доставил мне большое удовольствие, до такой степени разумна вместе и взячна была вся твоя речь. Кроме того, во время ее мне представлялось, что я не только нахожусь на родине, но даже до известной степени переживаю свое детство, предаваясь приятным воспоминаниям о том кардинале, при дворе которого я воспитывался мальчиком. Друг Рафаил, хотя ты вообще очень дорог мне, но ты не согласишься, насколько стал ты мне дороже оттого, что с таким глубоким благоговением относишься к памяти этого мужа. Но все же я никоим образом не могу еще переменить своего мнения, а именно: если ты решишься не чуждаться дворцов государей, то своими советами можешь принести очень много пользы обществу. Исполнить это ты обязан прежде всего как человек честный. Ведь и твой Платон полагает, что государства будут благоденствовать только в том случае, если философы будут царями или цари философами; но как далеко будет это благоденствие, если философы не соблаговолят даже уделять свои советы царям?

— Нет, они не настолько неблагодарны, чтобы не делать этого с охотой,— возразил он,— наоборот, многие уже и выполнили это изданием своих книг; только бы носители верховной власти были готовы повиноваться добрым советам. Но Платон, без сомнения, отлично предвидел, что если цари не станут сами философами, то, совершенно пропитанные и зараженные с детства превратными мнениями, они никогда не одобряют планов философов: это Платон испытал и сам при дворе Дионисия.

Как по-твоему, если я при дворе какого-нибудь короля предложу проекты здравых распоряжений и попытаюсь вырвать у него злые и губительные семена, то разве я не подвергнусь немедленно изгнанию и не буду выставлен на посмешище?

Ну вот, предположи, что я нахожусь при дворе французского короля, состою в его Совете, и тут на самом секретном совещании, под председательством самого короля, в кругу умнейших людей, усиленно обсуждается во-

прос, какими средствами и ухищрениями король может удержать Милан, привлечь к себе обратно беглый Неаполь, а затем разорить Венецию, подчинить себе всю Италию, далее, захватить власть над Фландрией, Брабантом, наконец, над всей Бургундией и, кроме того, над другими народами, на королевства которых он давно уже нападал мысленно. Тут один советник предлагает заключить союз с венецианцами, имеющий силу на столько времени, на сколько это будет удобно королю, сообщить им свои планы, даже оставить у них некоторую часть добычи, чтобы потребовать ее обратно при удовлетворительном окончании дела. Другой подает мысль о найме германцев, третий о том, чтобы задобрить деньгами швейцарцев, четвертый о том, чтобы умилостивить золотом, как жертвой, гнев августейшей воли его величества императора; пятому представляется необходимым уладить дела с королем Арагонии и, в залог мира, отказаться от чужого, не французского, королевства Наваррского; шестой предлагает опутать какими-нибудь брачными надеждами короля Кастилии и привлечь, за определенную ежегодную плату, на свою сторону несколько знатных его царедворцев. Тут встречается главнейшее затруднение, — какое решение принять касательно Англии, во всяком случае, надо вести с ней переговоры о мире и закрепить наиболее прочными узами всегда непрочный союз с ней; надо называть англичан друзьями, а рассматривать как недругов. Поэтому следует всегда держать наготове, как на карауле, шотландцев, имея их постоянно в виду для всяких случайностей, и тотчас выпустить на англичан, если те чуть-чуть зашевеливаются. Для этого надо тайно (открытому осуществлению этого мешают союзные договоры) поддерживать какого-нибудь знатного изгнанника, который утверждает, что это королевство принадлежит ему, и таким средством обуздывать подозрительность короля Франции. Так вот, повторяю, если бы в такой напряженной обстановке, когда столько выдающихся мужей предлагают наперерыв свои планы для войны, встал вдруг я, ничтожный человек, и предложил повернуть паруса обратно, посоветовал оставить Италию и сказал бы, что надо сидеть дома, так как и одно Французское королевство слишком велико, чтобы им мог надлежаще управлять один человек, а потому пусть король откажется от мысли и расчетов на приобретение других земель, как ко мне отнеслись бы? Затем

я мог бы предложить их вниманию постановления ахорийцев, народа, живущего к юго-востоку напротив острова Утопии. Именно эти ахорийцы вели когда-то войну, чтобы добыть своему королю другое королевство, которое, как он утверждал, должно было принадлежать ему по наследству в силу старинных уз свойства.

Добившись наконец этого королевства, ахорийцы сразу увидели, что удержать его стоит отнюдь не меньше труда, чем сколько они потратили для его приобретения: новые подданные были постоянно недовольны ахорийцами или подвергались иноземным набегам, поэтому надо было все время воевать или за них, или против них, и никогда не представлялось возможности распустить войско, а между тем собственная страна ахорийцев подверглась разграблению, деньги уплывали за границу, они проливали свою кровь ради ничтожной и притом чужой славы, мир не делался нисколько крепче, война испортила нравы внутри государства, жители прониклись страстью к разбоям; убийства укрепили в них наглую дерзость; законы стали предметом презрения. Между тем царь, внимание которого развлекалось между двумя царствами, не мог сосредоточиться на каком-нибудь одном из них. Напоследок ахорийцы, видя, что этим сильным бедствиям не предвидится никакого конца, в результате совещания очень вежливо предложили своему королю удержать за собою одно, какое он хочет, царство, так как на два у него не хватит власти. Они говорили, что их слишком много для того, чтобы ими могла управлять половина короля, а с другой стороны, никто не согласится на то, чтобы даже погонщик мулов у него был общий с другим хозяином. Таким образом, этот благодушный монарх принужден был предоставить новое царство одному из друзей, который в скором времени был изгнан, а сам удовольствовался старым.

Так вот, если бы после истории об ахорийцах я указал королю, что все эти воинственные предприятия, которые по его вине вносят замешательство в жизнь стольких народов, истощают его казну, разоряют подданных, а могут в силу какой-либо случайности кончиться ничем, и предложил бы ему заботиться о своем унаследованном от дедов королевстве, насколько возможно украшать его, привести его в самое цветущее состояние, любить своих подданных, снискать их любовь, жить одною с ними жизнью,

управлять ими мягко и оставить в покое другие государства, раз то, которое ему досталось, более чем достаточно по своей величине, — как ты думаешь, друг Мор, с каким настроением принята была бы подобная речь?

— Разумеется, не очень благосклонно, — отвечаю я.

— Ну так пойдем дальше, — продолжает он. — Допустим, что советники какого-либо короля в беседе с ним обсуждают и измышляют средства, как ему увеличить казну. Один советует повysить стоимость монеты, когда надо будет платить деньги, и, с другой стороны, понизить ценность ее ниже нормы, когда надо будет собирать капитал, — таким образом можно будет заплатить большую сумму малым количеством денег и за малую сумму приобрести много. Другой внушает притворно готовиться к войне и под этим предлогом собирать деньги, а устроив это, заключить торжественный мир с религиозными обрядами и создать этим в глазах жалкой черни такое впечатление, что вот, мол, благочестивый государь из жалости к человечеству прекратил кровопролитие. Третий приводит ему на мысль какие-то старинные, съеденные червями законы, устаревшие от долгого неприменения их; так как никто не помнит об их издании, то они нарушены всеми, за что следует взыскивать штраф; доход от этого будет обильнее и почетнее всякого другого, так как на этом будет лежать личина справедливости. Четвертый предлагает запретить, под угрозой больших штрафов, многое, особенно такое, что идет вразрез с народными интересами, а потом поделиться полученными деньгами с теми, чьим выгодам наиболее пренебрегает этот указ; таким образом можно снискать расположение народа и получить двойную выгоду: с одной стороны, штрафам подвергаются только те, кого загнала в эти сети алчность к наживе, а с другой — дорогая цена на привилегии стоит в полном соответствии с прекрасными нравственными качествами государя, который с трудом дарует какому-нибудь частному лицу что-либо, идущее вразрез с выгодами народа, да и то не иначе, как по высокой цене. Пятый убеждает привлечь на свою сторону судей, чтобы они в решении всякого дела принимали во внимание права короля, кроме того, их следует позвать во дворец и приглашать разбирать дела в королевском присутствии; тогда ни одно дело короля не будет настолько несправедливым, чтобы кто-нибудь из судей — или из желания противоре-

чить, или из стыда повторить то же самое, или с целью снискать милости властелина — не нашел в этом процессе какой-нибудь щели, через которую могла бы проскользнуть какая-нибудь кляуза; таким образом, при разногласии судей дело, само по себе вполне очевидное, возбуждает обсуждение, и истина вызывает споры, а это как раз предоставляет королю повод для истолкования закона в свою пользу; остальные присоединятся к этому или из стыда, или из страха; поэтому в результате с трибунала бестрепетно произносится соответственный приговор; ведь при подаче голоса за государя предлог всегда найдется: для этого достаточно, чтобы на его стороне были или справедливость, или слова закона, или запутанность смысла документа, или, наконец, то, что в глазах благочестивых судей стоит выше законов, — неоспоримая прерогатива государя. Все эти советники вполне единодушно и согласны признают следующие положения: правильность изречения Красса, что никакого количества золота не достаточно для государя, которому надо содержать войско; затем король даже при самом сильном своем желании ни в чем не может поступать несправедливо, потому что все и у всех принадлежит ему, как и самые люди, а у каждого имеется собственность лишь настолько, насколько ее не отняла у него королевская милость; при этом для государя очень важно, чтобы такой собственности было возможно меньше, потому что главный оплот его власти заключается в том, чтобы не дать народу избаловаться от богатства и свободы, когда люди не очень-то мирятся с жестокими и несправедливыми приказаниями, между тем как, наоборот, нищета и недостаток притупляют настроение, приучают к терпению и отнимают у угнетенных благородный дух восстания. И вот тут опять поднимусь я и стану спорить, что все эти советы для короля и бесчестны и губительны, так как не только честь его, но и его безопасность заключаются скорее в благосостоянии народа, чем в собственной казне короля. Затем я покажу, что они выбирают короля для себя, а не для него самого, именно — чтобы, благодаря его труду и расположению, жить в благополучии и безопасности от обид, и королю подобает больше заботиться о том, чтобы хорошо было народу, а не ему самому; таким же образом на обязанности пастуха, поскольку он является овчаром, лежит скорее питать овец, чем себя самого. Если, далее, советники

полагают, что нищета народа служит охраной мира, то они жестоко ошибаются по самой сути дела. Действительно, где можно найти больше ссор, как не среди нищих? Кто интенсивнее стремится к перевороту, как не тот, кому отнюдь не нравится существующий строй жизни? У кого, наконец, проявятся более дерзкие порывы привести все в замешательство с надеждой откуда-нибудь поживиться, как не у того, кому уже нечего более терять? Поэтому если какой-нибудь царь вызывает у своих подданных такое презрение или ненависть, что может удерживать их в повиновении, только действуя оскорблениями, грабежом и конфискацией и доводя людей до нищенства, то ему, конечно, лучше будет отказаться от королевства, чем удерживать его такими средствами, при которых если он и удерживает свой титул властелина, то, во всяком случае, теряет свое величие. Несовместимо с королевским достоинством проявлять свою власть над нищими, а скорее над людьми достаточными и зажиточными. Это именно и отметил муж ума высокого и благородного, Фабриций, в своем ответе, что он предпочитает управлять богачами, а не быть богачом. И, конечно, допускать, чтобы кто-нибудь один жил среди изобилия удовольствий и наслаждений, а другие повсюду стонали и плакали — это значит быть сторожем не королевства, а тюрьмы. Наконец, как полным неучем является тот врач, который умеет лечить болезнь только болезнью же, так и тот, кто не может исправить жизнь граждан другим путем, как только отнимая у них блага жизни, должен признаться в своем неумении управлять людьми свободными; мало того, ему следует отказаться от своей косности или высокомерия: этими пороками он вызовет у народа или презрение, или ненависть; он должен, никому не вредя, жить на свои средства, сводить расход с приходом, обуздывать злодеяния, правильным наставлением подданных скорее предупреждая их, чем давая им усиливаться с целью потом карать их; не следует зря возобновлять законы, отмененные обычаем, особенно такие, которые давно устарели и никогда не были желательными; никогда под предлогом штрафа не следует брать ничего такого, чего судья не позволил бы получить ни одному частному лицу, как добытого несправедливо и обманно. Наконец, я мог бы предложить на этом совещании закон макарийцев, которые также живут не очень далеко от Утопии. Именно,

их король в первый день по вступлении на престол, после торжественных жертвоприношений, дает клятвенное обязательство не иметь никогда в казне одновременно свыше тысячи фунтов золота или серебра, равного по цене этому золоту. Говорят, что этот закон установил один превосходный король, больше заботившийся о благе родины, чем о своих богатствах. Закон должен был служить преградой для таких огромных накоплений денег, которые могли бы вызвать недостаток их в народе. Король видел, что этого капитала будет достаточно, если ему придется бороться с мятежниками или его королевству с вражеским нашествием, но этой суммы не хватит, чтобы создать соответственное настроение для нападения на чужие владения. Это было главной причиной для издания закона, вторая, по мнению короля, заключалась в предупреждении недостатка в деньгах для повседневного обращения их в народе; а так как король обязан выплачивать все то, чторосло в казне выше указанного законного размера, то в силу этого ему не надо будет искать повода к причинению обид подданным. Такой король будет внушать страх злодеям и приобретет любовь хороших граждан. Так вот, если эти и подобные положения я буду навязывать людям, сильно склонным к совершенно обратному образу мыслей, то не выступлю ли я в роли проповедника перед глухими?

— Несомненно, даже и перед сильно глухими, — отвечаю я. — Я, право, нисколько не удивлюсь этому, да, говоря по правде, мне и не представляется необходимым навязывать подобные разговоры и давать такие советы, которые, ты уверен, никогда не примут. Действительно, какую пользу может принести или каким образом может повлиять такая необычная речь на настроение тех, в чьем сердце заранее поместилось и засело совершенно противоположное убеждение? В дружеской беседе среди близких приятелей подобные схоластические рассуждения не лишены привлекательности, но в Советах государей, где обсуждаются дела важные и с полным авторитетом, для них нет места.

— Это, — возразил он, — то самое, что я говорил: у государей нет места для философии.

— Да, — отвечаю я, — для той схоластической, которая считает, что она пригодна везде и всюду. Но есть и другая философия, более житейская, которая знает свою сцену действия и, приспособляясь к ней в той пьесе, которая

у нее в руках, выдерживает свою роль стройно и благопристойно. Вот ее-то тебе и надо применять. Иначе допустим, что играют какую-нибудь пьесу Плавта, где жалкие рабы говорят вздор друг с другом, а ты вдруг выйдешь в философском одеянии на сцену впереди всех и начнешь декламировать из «Октавии» то место, где Сенека рассуждает с Нероном; разве не лучше будет изобразить лицо без речей, чем, декламируя неподходящее, устраивать подобную трагикомедию? Действительно, ты испортишь и исказишь данную пьесу, припутывая к ней противоположный материал, даже и в том случае, если твои прибавки будут лучше оригинала. Играй возможно лучше ту пьесу, которая у тебя под рукою, и не приводи ее в совершенный беспорядок тем, что тебе приходит на память из другой, хотя бы и более изящной.

Так обстоит дело в государстве, так и на совещаниях у государей. Если нельзя вырвать с корнем превратные мнения, если ты по своему искреннему убеждению не в силах излечить прочно вошедшие в житейский обиход пороки, то из-за этого не следует покидать государственных дел, как нельзя оставлять корабля в бурю, раз ты не можешь удержать ветров. Но нельзя насильно навязывать новые и необычные рассуждения людям, держащимся противоположных убеждений, так как эти рассуждения не будут иметь у них никакого веса; тебе же надо стремиться окольным путем к тому, чтобы по мере сил все выполнить удачно, а то, чего ты не можешь повернуть на хорошее, сделать, по крайней мере, возможно менее плохим. Ведь нельзя, чтобы все было хорошо, раз не хороши все люди, а я не ожидаю, что это случится всего через несколько лет в будущем.

Рафаил ответил:

— Из этого не может выйти ничего другого, как то, что, стремясь вылечить бешенство других, я сам с ними сойду с ума. Ведь раз я хочу говорить правду, мне и необходимо так говорить. Впрочем, я не знаю, дело ли философа говорить ложь: но, во всяком случае, это не мое дело. Правда, это моя речь, может быть, будет неприятна и тягостна моим противникам, но я все же не вижу, почему она должна казаться необычной до нелепости. Допустим, что я говорил бы то, что воображает Платон в своем «Государстве» или что делают утопийцы в своем; хотя это и было бы лучше, как оно и есть на самом деле, но все же могло бы показаться чуждым для нас, потому что

здесь у каждого есть частная собственность, а там все общее.

Что касается моей речи, то она предостерегает от опасностей и указывает на них; поэтому она может быть неприятной только для тех, кто, идя по противоположной дороге, решил сбросить вместе с собою в пропасть и других; иначе — что в моих словах было такого, что бы нельзя было или не следовало сказать везде? Действительно, если надо опускать, как чуждое и нелепое, все то, чему порочные нравы людей придали вид необычного, то и у христиан надо скрывать многое из учения Христова, а он не только запретил скрывать это, но велел даже открыто на крышах проповедовать своим то, что нашептал им на ухо. Огромная часть этого гораздо более чужда современным нравам, чем была моя речь. Правда, проповедники, люди хитрые, следуя, думаю, твоему совету и видя, что для людей затруднительно приспособить свои нравы к правилам Христовым, приладили его учение к нравам, как свинцовую линейку, чтобы, разумеется, хоть каким-нибудь образом сочетать их. Я вижу, что они добились этим только того, что дурным людям живется беззаботнее; и я, конечно, добьюсь в Советах государей столь же больших результатов. Или я буду держаться мнений, противоположных высказываемым, а это будет все равно, как если бы у меня не было никаких, или я буду думать то же самое и стану, по словам Теренциева Микиона, помощником их безумия. Я не постигаю, что значит тот окольный путь, которым, по-твоему, надо стремиться к тому, чтобы если нельзя всего сделать хорошим, то хоть удачно повернуть это и превратить, насколько возможно, в наименьшее зло. Там нет места для того, чтобы прятаться или смотреть сквозь пальцы; надо открыто одобрять самые скверные мнения и подписываться под самыми губительными решениями. Но даже скупая похвала бесчестным постановлениям была бы достойна только шпиона и почти что предателя.

Далее, попадая в такую среду, которая легче может испортить даже прекрасного человека, чем исправиться сама, ты не можешь встретить ничего такого, где ты мог бы принести какую-нибудь пользу. Извращенные обычаи такого общества или испортят тебя, или, оставаясь непорочным и невинным, ты будешь служить прикрытием чужой злобы и глупости; нечего и говорить тут о каких-либо достижениях путем упомянутой окольной дороги.

Поэтому Платон в очень красивом сравнении поясняет правильность воздержания философов от занятий государственными делами. Именно, философы видят, что, высыпав на улицы, народ попал под проливной дождь, и не могут уговорить его укрыться от дождя — зайти под крышу; и вот, зная, что если они выйдут на улицу, то ничего не добьются, кроме того, что промокнут сами, они остаются в доме, довольствуясь тем, что если не могут вылечить чужую глупость, то, по крайней мере, находятся в безопасности.

Впрочем, друг Мор, если сказать тебе по правде мое мнение, так, по-моему, где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногим, да и те получают отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют.

Поэтому я, с одной стороны, обсуждаю сам с собою мудрейшие и святейшие учреждения утопийцев, у которых государство управляется при помощи столь немногих законов, но так успешно, что и добродетель встречается надлежащую оценку и, несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие. С другой стороны, наоборот, я сравниваю с ними столько других наций, которые постоянно создают у себя порядок, но никогда ни одна из них не достигает его; всякий называет там своей собственностью то, что ему попало; каждый день издаются там многочисленные законы, но они бессильны обеспечить достижение, или охрану, или отграничение от других того, что каждый, в свою очередь, именует своей собственностью, а это легко доказывают бесконечные и постоянно возникающие, а с другой стороны — никогда не оканчивающиеся процессы. Так вот, повторяю, когда я сам с собою размышляю об этом, я делаюсь более справедливым к Платону и менее удивляюсь его нежеланию давать какие-либо законы тем народам, которые отвергли законы, распределяющие все жизненные блага между всеми поровну. Этот мудрец легко усмотрел, что единственный путь к благополучию общества заключается в объявлении имущественного равенства, а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, где у каждого есть своя собственность. Именно, если каждый на определенных законных основаниях старается присвоить себе сколько может, то, каково бы ни было имущественное изоби-

лие, все оно попадает немногим; а они, разделив его между собою, оставляют прочим одну нужду, и обычно бывает так, что одни вполне заслуживают жребия других: именно, первые хищны, бесчестны и никуда не годны, а вторые, наоборот, люди скромные и простые и повседневным трудом приносят больше пользы обществу, чем себе лично.

Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она останется, то и у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. Я, правда, допускаю, что оно может быть до известной степени облегчено, но категорически утверждаю, что его нельзя совершенно уничтожить. Например, можно установить следующее: никто не должен иметь земельной собственности выше известного предела; сумма денежного имущества каждого может быть ограничена законами; могут быть изданы известные законы, запрещающие королю чрезмерно проявлять свою власть, а народу быть излишне своевольным; можно запретить приобретать должности подкупом или продажей; прохождение этих должностей не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удобный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путем обманов и грабежей, и возникает необходимость назначать на эти должности людей богатых, тогда как люди умные выполнили бы эти обязанности гораздо лучше. Подобные законы, повторяю, могут облегчить и смягчить бедствия точно так же, как постоянные припарки обычно подкрепляют тело безнадежно больного. Но пока у каждого есть личная собственность, нет совершенно никакой надежды на выздоровление и возвращение организма в хорошее состояние. Мало того, заботясь об исцелении одной его части, ты растравляешь рану в других. Таким образом, от лечения одного взаимно рождается болезнь другого, раз никому нельзя ничего прибавить без отнятия у другого.

— А мне кажется наоборот, — возражаю я, — никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на личную прибыль, а, с другой стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? А когда людей будет подстрекать недостаток в продуктах

и никакой закон не сможет охранять как личную собственность приобретенное каждым, то не будут ли тогда люди по необходимости страдать от постоянных кровопролитий и беспорядков? И это осуществится тем более, что исчезнет всякое уважение и почтение к властям; я не могу даже представить, какое место найдется для них у таких людей, между которыми «нет никакого различия».

— Я не удивляюсь, — ответил Рафаил, — этому твоему мнению, так как ты совершенно не можешь вообразить такого положения или представляешь его ложно. А вот если бы ты побыл со мною в Утопии и сам посмотрел на их нравы и законы, как это сделал я, который прожил там пять лет и никогда не уехал бы оттуда, если бы не руководился желанием поведать об этом новом мире, — ты бы вполне признал, что нигде в другом месте ты не видал народа с более правильным устройством, чем там.

— Разумеется, — заметил Петр Эгидий, — ты с трудом можешь убедить меня, что народ с лучшим устройством находится в новом мире, а не в этом, известном нам; по-моему, здесь и умы несколько не хуже, и государства постарше, чем там, да и долгий опыт придумал у нас много удобств для жизни людей; я не распространяюсь уже о некоторых случайных наших открытиях, для измышления которых не могло бы хватить никакого ума.

— Что касается древности их государств, — возразил Рафаил, — то ты мог бы судить правильнее, если бы прочитал историю тех стран; если ей следует верить, то у них города были раньше, чем у нас люди. Далее, и там и тут могло возникнуть все то, что до сих пор изобрел ум или добыл случай. Впрочем, я, во всяком случае, полагаю, что как мы превосходим их талантливостью, так они все же оставляют нас далеко позади своим усердием и трудолюбием. По свидетельству их летописей, до прибытия туда нашего корабля они ничего никогда не слыхали о наших делах (они называют нас «живущими за линией равенства»). Правда, некогда, лет тысяча двести тому назад, один корабль, который занесла туда буря, погиб от крушения у острова Утопии; были выброшены на берег какие-то римляне и египтяне, которые никогда потом оттуда не вернулись. Посмотри теперь, как умело воспользовалось этим удобным случаем их трудолюбие. От выброшенных чужестранцев утопийцы научились всякого рода искусствам, существовавшим в Римской империи и могущим принести какую-нибудь пользу, или, узнав

только зародыши этих искусств, они изобрели их дополнительно. Столько хорошего принесло им то обстоятельство, что некоторые от нас всего один раз были занесены к ним. А если бы какой-нибудь подобный случай загнал ранее кого-нибудь оттуда к нам, то это так же изгладилось бы из памяти, как исчезнет, вероятно, у потомков то, что я когда-то был там. И как они сразу после одной встречи усвоили себе все то, что нами было хорошо придумано, так, думаю, пройдет много времени, прежде чем мы узнаем какое-либо из их учреждений, превосходящее наши. Причиной этого, полагаю, служит одно то, что, хотя мы не стоим ниже их ни по уму, ни по средствам, все же их государство имеет более разумный по сравнению с нами способ правления и процветает среди большего счастья.

— Поэтому, друг Рафаил,— говорю я,— убедительно прошу тебя — опиши нам этот остров; не старайся быть кратким, но расскажи по порядку про его земли, реки, города, жителей, их нравы, учреждения, законы и, наконец, про все, с чем ты признаешь желательным ознакомить нас, а ты должен признать, что мы желаем знать все, чего еще не знаем.

— Исполню это с особой охотой,— ответил он,— так как хорошо все помню. Но этот предмет потребует свободного времени.

— Так пойдем,— отвечаю,— в дом пообедать, а потом распорядимся временем по своему усмотрению.

— Хорошо,— сказал он.

Таким образом, мы вошли в дом и стали обедать.

После обеда мы вернулись на то же место, уселись на той же скамейке и приказали слугам, чтобы нам никто не мешал. Затем я и Петр Эгидий уговариваем Рафаила исполнить его обещание. Когда он заметил наше напряженное внимание и сильное желание послушать, то, посидев некоторое время молча и в раздумье, начал следующим образом.

Вторая
книга
беседы, *которую вел Рафаил Гитлодей,
о наилучшем состоянии государства,
в передаче лондонского гражданина
и виконта Томаса Мора*

Остров утопийцев в средней своей части, где он всего шире, простирается на двести миль, затем на значительном протяжении эта ширина немного уменьшается, а в направлении к концам остров с обеих сторон мало-помалу суживается. Если бы эти концы можно было обвести циркулем, то получилась бы окружность в пятьсот миль. Они придают острову вид нарождающегося месяца. Рога его разделены заливом, имеющим протяжение приблизительно в одиннадцать миль. На всем этом огромном расстоянии вода, окруженная со всех сторон землей, защищена от ветров наподобие большого озера, скорее стоячего, чем бурного; а почти вся внутренняя часть этой страны служит гаванью, рассылающей, к большой выгоде людей, по всем направлениям корабли. Вход в залив очень опасен из-за мелей с одной стороны и утесов — с другой. Почти на середине этого расстояния находится одна скала, которая выступает из воды, вследствие чего она не может принести вреда. На ней выстроена башня, занятая караулом. Остальные скалы скрыты под волнами и губительны. Проходы между ними известны только утопийцам, и поэтому незря устроено так, что всякий иностранец может проникнуть в залив только с проводником от них. Впрочем, и для самих утопийцев вход не лишен опасности без некоторых сигналов, направляющих путь к берегу. Если перенести их в другие места, то легко можно погубить какой угодно по численности неприятельский флот.

На другой стороне острова гавани встречаются довольно часто. Но повсюду спуск на берег настолько укреплен природою или искусством, что немногие защитники со стороны суши могут отразить огромные войска.

Впрочем, как говорят предания и как показывает самый облик земли, эта страна когда-то не была окружена морем. Но Утоп, чье победоносное имя носит остров (раньше этого он назывался Абракса), сразу же при первом прибытии после победы распорядился прорыть пятнадцать миль, на протяжении которых страна прилегала к материку, и провел море вокруг земли; этот же Утоп довел грубый и дикий народ до такой степени культуры и образованности, что теперь они почти превосходят в этом отношении прочих смертных. Не желая, чтобы упомянутая работа считалась позорной, Утоп привлек к ней не только жителей, но, кроме того, и своих солдат. При распределении труда между таким множеством людей он был закончен с невероятной быстротой. Этот успех изумил и поразил ужасом соседей, которые вначале смеялись над бесполезностью предприятия.

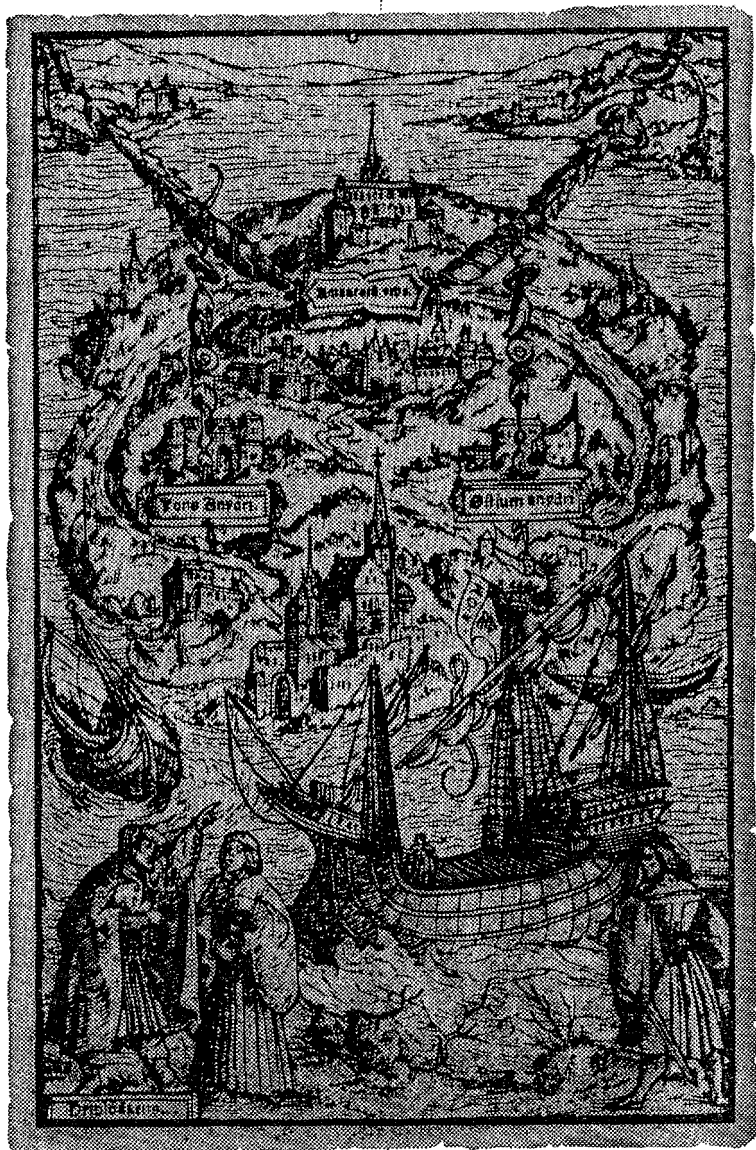
На острове пятьдесят четыре города, все обширные и великолепные; язык, нравы, учреждения и законы у них совершенно одинаковые. Расположение их всех также одинаково; одинакова повсюду и внешность, насколько это допускает местность. Самые близкие из них отстоят друг от друга на двадцать четыре мили. С другой стороны, ни один город не является настолько уединенным, чтобы из него нельзя было добраться до другого пешком за один день.

Из каждого города три старых и опытных гражданина ежегодно собираются в Амауроте для обсуждения общих дел острова. Город Амаурот считается первым и главенствующим, так как, находясь в центре страны, он по своему расположению удобен для представителей всех областей. Поля распределены между городами так удачно, что каждый в отдельности не имеет ни с какой стороны менее двадцати миль земли, а с одной стороны даже и значительно больше, именно с той, где города дальше всего разъединены друг с другом. Ни у одного города нет желания раздвинуть свои пределы, так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений.

В деревне на всех полях имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими орудиями.

В домах этих живут граждане, переселяющиеся туда по очереди. Ни одна деревенская семья не имеет в своем составе менее сорока человек — мужчин и женщин, кроме двух приписных рабов. Во главе всех стоят отец и мать семейства, люди уважаемые и пожилые, а во главе каждого тридцати семейств — один филарх. Из каждого семейства двадцать человек ежегодно переселяются обратно в город; это те, что пробыли в деревне два года. Их место занимают столько же новых из города, чтобы их обучали бывшие в деревне год и потому более опытные в сельском хозяйстве; эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы никому не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет. Земледельцы обрабатывают землю, кормят скот, заготавливают дрова и отвозят их в город каким удобно путем — по суше или по морю. Цыплят они выращивают в беспредельном количестве, с изумительным умением. Они не подкладывают под курицу яиц, но согревают большое количество их равномерной теплотой и таким образом оживляют и выращивают. Едва лишь цыплята вылупятся из скорлупы, как уже бегают за людьми, словно за матками, и признают их. Лошадей они держат очень немногих, при этом только ретивых и исключительно для упражнения молодежи в верховой езде. Весь труд по земледелию или перевозке несут быки. Утопийцы признают, что они уступают лошадям в рыси, но, с другой стороны, берут над ними верх выносливостью; кроме того, они не считают быков подверженными многим болезням, и содержание их стоит меньших затрат и расходов.

Зерно они сеют только ради хлеба, а вино пьют или виноградное, или грушевое, или, наконец, иногда чистую воду, часто также отвар меда или солодкового корня, которого у них немалое количество. Хотя они определяют (и делают это весьма точно), сколько хлеба потребляет город и прилегающий к нему округ, однако они и посевы



делают, и скот выращивают в гораздо большем количестве, чем это требуется для их нужд, имея в виду поделить-ся остатком с соседями. Все, что им нужно и чего нет в деревне, все подобные предметы они просят у города и получают от тамошних властей очень легко, без какого-либо обмена. В город они сходятся каждый месяц на праздник. Когда настанет день уборки урожая, то филархи земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан надо им прислать; так как эта толпа раб-ботников является вовремя к самому сроку, то они почти в один ясный день справляются со всей уборкой.

*О городах
и преимущественно об Амауроте*

Кто узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой степени сильно похожи все они друг на друга, поскольку этому не мешает природа местности. Поэтому я изображу один какой-либо город (да и не очень важно, какой именно). Но какой же другой предпочтительнее Амаурота? Ни один город не представляет-ся достойнее его, так как остальные уступают ему, как место-пробыванию сената; вместе с тем ни один город не знаком мне более его, потому что я прожил в нем пять лет подряд.

Так вот, Амаурот расположен на отлогом скате горы и по форме представляет почти квадрат. Именно, начина-ясь несколько ниже вершины холма, он простирается в ширину на две мили до реки Анидра, а вдоль берега ее длина города несколько больше.

Анидр начинается в восьмидесяти милях выше Амау-рота, из небольшого родника; но, усиленный от притока других рек, в числе их двух даже средней величины, он перед самым городом расширяется до полумили, а затем, увеличившись еще более, он протекает шестьдесят миль и впадает в океан. На всем этом протяжении между горо-дом и морем и даже на несколько миль выше города на быстрой реке каждые шесть часов чередуются прилив и отлив. Во время прилива море оттесняет реку назад и заполняет все русло Анидра своими волнами на три-дцать миль в длину. Тут и несколько дальше оно портит соленой водой струи реки; затем она мало-помалу стано-вится пресной, протекает по городу неиспорченной и, бу-

дучи чистой и без примесей, почти у самого устья догоняет, в свою очередь, сбывающую воду.

С противоположным берегом реки город соединен мостом не на деревянных столбах и сваях, а на прекрасных каменных арках. Мост устроен с той стороны, которая дальше всего отстоит от моря, так что корабли могут без вреда проходить мимо всей этой части города. Есть там, кроме того, и другая река, правда, небольшая, но очень тихая и привлекательная. Зарождаясь на той же самой горе, на которой расположен город, она протекает по склонам посредине его и соединяется с Анидром. Так как она начинается недалеко за городом, жители Амаурота соединили ее с ним, охватив укреплениями, чтобы в случае какого-либо вражеского нашествия воду нельзя было ни перехватить, ни отвести, ни испортить. Отсюда по кирпичным трубам вода стекает в различных направлениях к нижним частям города. Там, где местность не позволяет устроить этого, собирают в объемистые цистерны дождевую воду, приносящую такую же пользу.

Город опоясан высокой и широкой стеной с частыми башнями и бойницами. С трех сторон укрепления окружены сухим рвом, по широком, глубоком и заросшим оградой из терновника; с четвертой стороны ров заменяет сама река. Расположение площадей удобно как для проезда, так и для защиты от ветров. Здания отнюдь не грязны. Длинный и непрерывный ряд их во всю улицу бросается в глаза зрителю обращенными к нему фасадами. Эти фасады разделяет улица в двадцать футов ширины. К задним частям домов на всем протяжении улицы прилегает сад, широкий и отовсюду загороженный задми улиц. Нет ни одного дома, у которого бы не было двух дверей: спереди — на улицу и сзади — в сад. Двери двустворчатые, скоро открываются при легком нажиме и затем, затворяясь сами, впускают кого угодно — до такой степени у утопийцев устранена частная собственность. Даже самые дома они каждые десять лет меняют по жребью.

Сады они ценят высоко. Здесь имеются виноград, плоды, травы, цветы; все содержится в таком блестящем виде и так возделано, что нигде не видал я большего плодородия, большего изящества. В этом отношении усердие их разжигается не только самым удовольствием, но и взаимным соревнованием улиц об уходе каждой за своим са-

дом. И, во всяком случае, нелегко можно найти в целом городе что-либо более пригодное для пользы граждан или для удовольствия. Поэтому основатель города ни о чем, по-видимому, не заботился в такой степени, как об этих садах.

Именно, как говорят, весь этот план города уже с самого начала начертан был Утопом. Но украшение и прочее убранство, — для чего, как он видел, не хватит жизни одного человека, — он оставил добавить потомкам. Поэтому в их летописях, которые они сохраняют в старательной и тщательной записи начиная с взятия острова, за период времени в 1760 лет, сказано, что дома были первоначально низкие, напоминавшие хижины и шалаши, делались без разбора из всякого дерева, стены обмазывались глиной, крыши сводились кверху острием и были соломенные. А теперь каждый дом бросается в глаза своей формой и имеет три этажа. Стены построены снаружи из камня, песчаника или кирпича, а внутри полые места засыпаны щебнем. Крыши выведены плоские и покрыты какой-то замазкой, ничего не стоящей, но такого состава, что она не поддается огню, а по сопротивлению бурям превосходит свинец. Окна от ветров защищены стеклом, которое там в очень большом ходу, а иногда также тонким полотном, смазанным прозрачным маслом или янтарем, что представляет двойную выгоду: именно, таким образом они пропускают больше света и менее доступны ветрам.

О должностных лицах

Каждые тридцать семейств избирают себе ежегодно должностное лицо, именуемое на их прежнем языке сифогрантом, а на новом — филархом. Во главе десяти сифогрантов с их семействами стоит человек, называемый по-старинному транибор, а ныне протофиларх.

Все сифогранты, числом двести, после клятвы, что они выберут того, кого признают наиболее пригодным, тайным голосованием намечают князя, именно — одного из тех четырех кандидатов, которых им предложил народ. Каждая четвертая часть города избирает одного и рекомендует его сенату. Должность князя несменяема в течение всей его жизни, если этому не помешает подозрение в стремлении к тирании. Траниборов они избирают еже-

годно, но не меняют их зря. Все остальные должностные лица избираются только на год. Траниборы каждые три дня, а иногда, если потребуют обстоятельства, и чаще, ходят на совещания с князем. Они совещаются о делах общественных и своевременно прекращают, если какие есть, частные споры, которых там чрезвычайно мало. Из сифогрантов постоянно допускаются в сенат двое, и всякий день различные. Имеется постановление, чтобы из дел, касающихся республики, ни одно не приводилось в исполнение, если оно не подвергалось обсуждению в сенате за три дня до принятия решения. Уголовным преступлением считается принимать решения по общественным делам помимо сената или народного собрания. Эта мера, говорят, принята с тою целью, чтобы нелегко было переменить государственный строй путем заговора князя с траниборами и угнетения народа тиранией. Поэтому всякое дело, представляющее значительную важность, докладывается собранию сифогрантов, которые сообщают его семействам своего отдела, а затем совещаются между собою и свое решение сообщают сенату. Иногда дело переносится на собрание всего острова. Сенат имеет сверх того и такой обычай, что ни одно из предложений не подвергается обсуждению в тот день, когда оно впервые внесено, но откладывается до следующего заседания сената, чтобы никто не болтал зря первое, что ему взбредет на ум, ибо потом он будет более думать о том, как подкрепить свое первое решение, а не о пользе государства; извращенный и ложный стыд заставит его пожертвовать скорее общественным благом, нежели мнением о себе, что якобы вначале он мало позаботился о том, о чем ему надлежало позаботиться, а именно — говорить лучше обдуманно, чем быстро.

О занятии ремеслами

У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие — земледелие, от которого никто не избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в школе путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения также и работают.

Кроме земледелия (которым, как я сказал, занимаются все), каждый изучает какое-либо одно ремесло, как специальное. Это обыкновенно или пряжа шерсти, или выделка льна, или ремесло каменщиков, или рабочих по металлу и по дереву. Можно сказать, что, кроме перечисленных, нет никакого иного занятия, которое имело бы у них значение, достойное упоминания. Что же касается одежды, то, за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состоящих в супружестве, покрой ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре. И вот эту одежду каждая семья prepares себе сама. Но из других ремесел всякий изучает какое-либо, и притом не только мужчины, но также и женщины. Впрочем, эти последние, как более слабые, имеют более легкие занятия: они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, более трудные. По большей части каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу: к нему большинство питает склонность от природы. Но если кто имеет влечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь; при этом не только отец этого лица, но и власти заботятся о том, чтобы передать его солидному и благородному отцу семейства. Кроме того, если кто, изучив одно ремесло, пожелает еще и другого, то получает на это позволение тем же самым способом. Овладев обоими, он занимается которым хочет, если государство не нуждается скорее в каком-либо одном.

Главное и почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев. А они делят день на двадцать четыре равных часа, причисляя сюда и ночь, и отводят для работы только шесть: три до полудня, после чего идут обедать; затем, отдохнув после обеда в течение двух послеполуденных часов, они опять продолжают работу в течение трех часов и заканчивают ее ужином.

Так как они считают первый час начиная с полудня, то около восьми идут спать; сон требует восемь часов. Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лени, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слушания подобных лекций, одни — одних, другие — других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу, — а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку, — то в этом никто ему не мешает; мало того, такое лицо даже получает похвалу, как приносящее пользу государству.

После ужина они проводят один час в забавах: летом в садах, а зимой в тех общих залах, где совместно кушают. Там они или занимаются музыкой, или отдыхают за разговорами. Что касается игры в кости и других нелесных и гибельных забав подобного рода, то они даже не известны утопийцам. Впрочем, у них имеются в ходу две игры, более или менее похожие на игру в шашки: одна — это бой чисел, где одно число ловит другое; другая — в которой пороки в боевом порядке борются с добродетелями. В этой игре в высшей степени умело указывается и раздор пороков между собою, и согласие их в борьбе с добродетелями, а также то, какие пороки каким добродетелям противопоставляются, с какими силами они оказывают открытое сопротивление, с какими ухищрениями нападают искоса, с помощью чего добродетели ослабляют силы пороков, какими искусствами уклоняются они от их нападений и, наконец, каким способом та или другая сторона одерживает победу.

Но тут, во избежание дальнейших недоразумений, необходимо более пристально рассмотреть один вопрос. Именно, если только шесть часов уходят на работу, то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в пред-

метах первой необходимости. Но в действительности этого отнюдь нет; мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но дает даже известный остаток. Это будет понятно и вам, если только вы поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела: во-первых, почти все женщины — половина общей массы, а если где женщины заняты работой, то там обычно взамен их храпят мужчины. Вдобавок к этому, какую огромную и какую праздную толпу представляют священники и так называемые чернецы! Прикинь сюда всех богачей, особенно владельцев поместий, которых обычно именуют благородными и знатью; причисли к ним челядь, именно — весь этот сброд ливрейных бездельников; присоедини, наконец, крепких и сильных нищих, предающихся праздности под предлогом какой-либо болезни, и в результате тебе придется признать, что число тех, чьим трудом создается все то, чем пользуются смертные, гораздо меньше, чем ты думал. Поразмысли теперь, сколь немногие из этих лиц заняты необходимыми ремеслами; именно, раз мы все меряем на деньги, то неизбежно должны находить себе применение многие занятия, совершенно пустые и излишние, служащие только роскоши и похоти. Действительно, если бы эту самую толпу, которая теперь занята работой, распределить по тем столь немногим ремеслам, сколь немного требуется их для надлежащего удовлетворения потребностей природы, то при таком обильном производстве, которое неизбежно должно отсюда возникнуть, цены на труд, понятно, стали бы гораздо ниже того, что нужно рабочим для поддержки своего существования. Но возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этих продуктов; так вот, повторяю, если всю совокупность этих лиц поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требуют принципы пользы или удобства (прибавь также — и удовольствия, но только настоящего и естественного).

Очевидность этого подтверждается в Утопии самой действительностью. Именно, там в целом городе с прилегающим к нему округом из всех мужчин и женщин, годных для работы по своему возрасту и силам, освобождение от нее дается едва пятистам лицам. В числе их сифогранты, которые хотя имеют по закону право не работать, однако не избавляют себя от труда, желая своим примером побудить остальных охотнее браться за труд. Той же льготой наслаждаются те, кому народ под влиянием рекомендации духовенства и по тайному голосованию сифогрантов дарует навсегда это освобождение для основательного прохождения наук. Если кто из этих лиц обманет возложенную на него надежду, то его удаляют обратно к ремесленникам. И наоборот, нередко бывает, что какой-нибудь рабочий так усердно занимается науками в упомянутые выше свободные часы и отличается таким большим прилежанием, что освобождается от своего ремесла и продвигается в разряд ученых.

Из этого сословия ученых выбирают послов, духовенство, траниборов и, наконец, самого главу государства, которого на старинном своем языке они именуют барзаном, а на новом адемом. Так как почти вся прочая масса не пребывает в праздности и занята небесполезными ремеслами, то легко можно рассчитать, сколько хороших предметов создают они и в какое небольшое количество часов.

К приведенным мною соображениям присоединяется еще то преимущество, что большинство необходимых ремесел берет у них гораздо меньшее количество труда, чем у других народов. Так, прежде всего постройка или ремонт зданий требуют везде непрерывного труда очень многих лиц, потому что малобережливый наследник допускает постепенное разрушение воздвигнутого отцом. Таким образом, то, что можно было сохранить с минимальными издержками, преемник должен восстанавливать заново и с большими затратами. Мало того, часто человек с избалованным вкусом пренебрегает домом, стоившим другому огромных издержек, а когда этот дом, оставленный без ремонта, в короткое время разваливается, то владелец строит себе в другом месте другой, с не меньшими затратами. У утопийцев же, у которых все находится в порядке и государство отличается благоустройством, очень редко приходится выбирать новый участок для постройки домов; рабочие не только быстро исправляют

уже имеющиеся повреждения, но даже предупреждают еще только грозящие. Поэтому при малейшей затрате труда здания сохраняются на очень долгое время, и работники этого рода иногда с трудом находят себе предмет для занятий, если не считать того, что они получают приказ временно рубить материал на дому и обтесывать и полировать камни, чтобы, если случится какое задание, оно могло быстро осуществиться.

Далее, обрати внимание на то, какое небольшое количество труда нужно утопийцам для изготовления себе одежды. Во-первых, пока они находятся на работе, они небрежно покрываются кожей или шкурами, которых может хватить на семь лет. Когда они выходят на улицу, то надевают сверху длинный плащ, прикрывающий упомянутую грубую одежду. Цвет этого плаща одинаков на всем острове, и притом это естественный цвет шерсти. Поэтому сукна у них идет не только гораздо меньше, чем где-либо в другом месте, но и изготовление его требует гораздо меньше издержек. На обработку льна труда уходит еще меньше, и потому этот материал имеет гораздо большее применение. Но в полотне они принимают во внимание исключительно чистоту. Более тонкая выделка не имеет никакой цены. В результате этого у них каждый довольствуется одним платьем, и притом обычно на два года, в других же местах одному человеку не хватает четырех или пяти верхних шерстяных одежд, да еще разноцветных, а вдобавок требуется столько же шелковых рубашек, иным же неженкам мало и десяти. Для утопийца нет никаких оснований претендовать на большее количество платья: добившись его, он не получит большей защиты от холода, и его одежда не будет ни на волос наряднее других.

Отсюда, так как все они заняты полезным делом и для выполнения его им достаточно лишь небольшого количества труда, то в итоге у них получается изобилие во всем. Вследствие этого огромной массе населения приходится иногда отправляться за город для починки дорог, если они избиты. Очень часто также, когда не встречается надобности ни в какой подобной работе, государство объявляет меньшее количество рабочих часов. Власти отнюдь не хотят принуждать граждан к излишним трудам. Учреждение этой повинности имеет прежде всего только ту цель, чтобы обеспечить, насколько это возможно с точки

зрения общественных нужд, всем гражданам наибольшее количество времени после телесного рабства для духовной свободы и образования. В этом, по их мнению, заключается счастье жизни.

О взаимном общении

Однако, по моему мнению, пора уже изложить, как общаются отдельные граждане друг с другом, каковы взаимоотношения у всего народа и как распределяются у них все предметы. Так как город состоит из семейств, то эти семейства в огромном большинстве случаев создаются родством. Женщины, придя в надлежащий возраст и вступив в брак, переселяются в дом мужа. А дети мужского пола и затем внуки остаются в семействе и повинуются старейшему из родственников, если только его умственные способности не ослабели от старости. Тогда его заменяет следующий по возрасту.

Во избежание чрезмерного малолюдства городов или их излишнего роста принимается такая мера предосторожности: каждое семейство, число которых во всяком городе, помимо его округа, состоит из шести тысяч, не должно заключать в себе меньше десяти и более шестнадцати взрослых. Что касается детей, то число их не подвергается никакому учету. Эти размеры легко соблюдаются путем перечисления в менее людные семейства тех, кто является излишним в очень больших. Если же переполнение города вообще перейдет надлежащие пределы, то утопийцы наверстывают безлюдье других своих городов. Ну, а если народная масса увеличится более надлежащего на всем острове, то они выбирают граждан из всякого города и устраивают по своим законам колонию на ближайшем материке, где только у туземцев имеется излишек земли, и притом свободной от обработки; при этом утопийцы призывают туземцев и спрашивают, хотят ли те жить вместе с ними. В случае согласия утопийцы легко сливаются с ними, используя свой уклад жизни и обычаи; и это служит ко благу того и другого народа. Своими порядками утопийцы достигают того, что та земля, которая казалась раньше одним скупой и скудной, является богатой для всех. В случае отказа жить по их законам утопийцы отгоняют туземцев от тех пределов, которые избирают себе сами. В случае сопротивления они

вступают в войну. Утопийцы признают вполне справедливой причиной для войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает все же в пользовании и обладании ею другим, которые по закону природы должны питаться от нее. Если какой-нибудь несчастный случай уменьшает население собственных городов утопийцев до такой степени, что его нельзя восстановить из других частей острова при сохранении надлежащих размеров для каждого города (а это, говорят, было только дважды за все время — от свирепой и жестокой чумы), то такой город восполняется обратным переселением граждан из колонии. Утопийцы дают лучше погибнуть колониям, чем ослабнуть какому-либо из островных городов.

Но возвращаясь к совместной жизни граждан. Как я уже сказал, во главе семейства стоит старейший. Жены прислуживают мужьям, дети родителям и вообще младшие старшим. Каждый город разделен на четыре равные части. Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и отдельные виды их распределяются в розницу по складам. В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у человека только, от гордости, вменяющей себе в достоинство превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев.

К упомянутым мною рынкам присоединены рынки для съестных припасов, куда свозятся не только овощи, древесные плоды и хлеб, но также рыба и все съедобные части четвероногих и птиц, для чего за городом устроены особые места, где речная вода смывает гниль и грязь. Оттуда привозят скот, после того как слуги убьют его и снимут шкуру. Утопийцы не позволяют своим согражданам

свежевать скот, потому что от этого, по их мнению, мало-помалу исчезает милосердие, самое человеческое чувство нашей природы. Затем они не дают ввозить в город ничего нечистого и грязного, гниение чего портит воздух и может навлечь болезнь.

Кроме того, на всякой улице имеются поместительные дворцы, отстоящие друг от друга на равном расстоянии; каждый из них известен под особым именем. В них живут сифогранты. К каждому из этих дворцов приписаны тридцать семейств, именно — по пятнадцати с той и другой стороны. Тут эти семьи должны обедать. Заведующие кухней каждого дворца в определенный час собираются на рынок и получают пищу согласно указанному ими числу своих едоков.

Но в первую очередь принимаются во внимание больные, которые лечатся в общественных госпиталях. У утопийцев имеются четыре больницы за стенами города, в небольшом от них расстоянии, настолько обширные, что их можно приравнять к стольким же слободам. Цель этого, с одной стороны, та, чтобы не размещать больных, в каком бы большом количестве они ни были, тесно и вследствие этого неудобно, а с другой — та, чтобы одержимые такой болезнью, которая может передаваться от одного к другому путем прикосновения, могли быть дальше отделены от общения с другими. Эти больницы прекрасно устроены и преисполнены всем нужным для восстановления здоровья; уход в них применяется самый нежный и усердный; наиболее опытные врачи присутствуют там постоянно. Поэтому хотя никого не посылают туда насильно, но нет почти никого в целом городе, кто, страдая каким-либо недугом, не предпочел бы лежать там, а не у себя дома. Когда заведующий кухней больных получит пищу согласно предписанию врачей, то затем все лучшее распределяется равномерно между дворцами сообразно числу едоков каждого. Кроме этого, принимаются во внимание князь, первосвященник, траниборы, а также послы и все иностранцы (если таковые находятся, а они бывают вообще в малом количестве и редко; но когда появляются, то для них также готовят определенные и оборудованные жилища). В эти дворцы в установленные часы для обеда и ужина собирается вся сифогрантия, созываемая звуками медной трубы. Исключение составляют только больные, лежащие в госпиталях или

дома. Правда, никому не запрещается по удовлетворении дворцов просить с рынка пищу на дом. Утопийцы знают, что никто не сделает этого зря. Действительно, хотя никому не запрещено обедать дома, но никто не делает этого охотно, потому что считается непристойным и глупым тратить труд на приготовление худшей еды, когда во дворце, отстоящем так близко, готова роскошная и обильная. В этом дворце все работы, требующие несколько большей грязи и труда, исполняются рабами. Но обязанность варки и приготовления пищи и всего вообще оборудования обеда лежит на одних только женщинах, именно — из каждого семейства поочередно. За обедом садятся за тремя или за большим количеством столов, сообразно числу купающих; мужчины помещаются с внутренней стороны стола, у стены, а женщины напротив, чтобы, если с ними случится какая-либо неожиданная беда (а это бывает иногда с беременными), они могли встать, не нарушая рядов, и уйти отсюда к кормилицам.

Эти последние сидят отдельно с грудными детьми в особой назначенной для того столовой, где всегда имеются огонь и чистая вода, а иногда и люльки, чтобы можно было и положить туда младенцев, и, в случае их желания, при огне освободить их от пеленок и дать им отдохнуть на свободе и среди игр. Каждая мать сама кормит ребенка, если не помешает смерть или болезнь. Когда это случается, то жены сифогрантов разыскивают кормилицу, да это и не трудно: женщины, могущие исполнить эту обязанность, берутся за нее охотнее, чем за всякую другую, потому что все хвалят такую особу за ее сострадание, и питомец признает кормилицу матерью. В убежище кормилиц сидят все дети, которым не исполнилось еще пяти лет. Что касается прочих несовершеннолетних, в числе которых считают всех лиц того или другого пола, не достигших еще брачного возраста, то они или прислуживают сидящим, или, если не могут этого по своим летам, все же стоят тут, и притом в глубоком молчании. И те и другие питаются тем, что им дадут сидящие, и не имеют иного отдельного времени для еды. Место в середине первого стола считается наивысшим, и с него, так как этот стол поставлен поперек в крайней части столовой, видно все собрание. Здесь сидят сифогрант и его жена. С ними помещаются двое старейших, так как за всеми столами сидят по четверо. А если в этой сифогрантии

есть храм, то священник и его жена садятся с сифогрантом, так что являются председательствующими. С той и другой стороны размещается молодежь; затем опять старики; и, значит, таким образом во всем доме ровесники соединены друг с другом и вместе с тем слиты с людьми противоположного возраста. Причина этого обычая, говорят, следующая: так как за столом нельзя ни сделать, ни сказать ничего такого, что ускользало бы от повсеместного внимания старцев, то, в силу своей серьезности и внушаемого ими уважения, они могут удерживать младших от непристойной резкости в словах или движениях. Блюда с едой подаются не подряд, начиная с первого места, а каждым лучшим кушаньем обносят прежде всего всех старейших, места которых особо отмечены, а потом этим блюдом в равных долях обслуживают остальных. А старцы раздают по своему усмотрению сидящим вокруг свои лакомства, если запас их не так велик, чтобы их можно было распределить вдоволь по всему дому. Таким образом, и за пожилыми сохраняется принадлежащий им почет, и тем не менее их преимущества постольку же доступны всем.

Каждый обед и ужин начинается с какого-либо нравоучительного чтения, но все же краткого, чтобы не надоесть. После него старшие заводят приличный разговор, однако не печальный и не лишенный остроумия. Но они отнюдь не занимают все время еды длинными рассуждениями; наоборот, они охотно слушают и юношей и даже нарочно вызывают их на беседу. Они хотят через это узнать способности и талантливость каждого, проявляющиеся в непринужденном застольном общении. Обеды бывают довольно кратки, а ужины — подольше, так как за первым следует труд, а за вторыми сон и ночной покой, который, по мнению утопийцев, более действителен для здорового пищеварения. Ни один ужин не проходит без музыки; ни один десерт не лишен сладостей. Они зажигают курения, распыскивают духи и вообще делают все, что может создать за едой веселое настроение. Они особенно охотно разделяют то мнение, что не нужно запрещать ни один род удовольствия, лишь бы из него не вытекало какой-либо неприятности.

Так устроена их совместная жизнь в городах; а в деревнях, где семьи удалены дальше друг от друга, каждая из них ест дома. Никто не испытывает никаких продовольственных затруднений, так как из деревни идет все то, чем питаются горожане.

Если у кого появится желание повидаться с друзьями, живущими в другом городе, или просто посмотреть на самую местность, то такие лица легко получают на это дозволение от своих сифогрантов и траниборов, если в них не встречается никакой надобности. Они отправляются одновременно с письмом от князя, свидетельствующим о позволении, данном на путешествие, и предписывающим день возвращения. Они получают повозку и государственного раба, чтобы погонять волов и ухаживать за ними. Но если среди путешественников нет женщин, то повозка, как бремя и помеха, отсылается обратно. Хотя на весь свой путь они ничего с собой не берут, у них все же ни в чем нет недостатка: они везде дома. Если они останавливаются в каком-либо месте более одного дня, то каждый занимается там своим ремеслом и встречает самое радужное отношение со стороны работающих по тому же ремеслу. Если кто преступит свои пределы по собственному почину, то, пойманный без грамоты князя, он подвергается позорному обхождению: его возвращают, как беглого и жестоко наказывают. Дерзнувший на то же вторично — обращается в рабство.

А если у кого появится охота побродить по окрестностям своего города, то он не встречает на то запрета, раз у него есть позволение отца и разрешение его супружеской половины. Но в какую бы деревню он ни пришел, он не получает никакой пищи, раньше чем не закончит предварительно полуденного рабочего задания (или вообще сколько там обычно делают до ужина). Под этим условием можно отправляться куда угодно в пределах владений своего города. Таким образом, он будет не менее полезен городу, чем если бы был в городе.

Вы видите теперь, до какой степени чужды им всякая возможность бездельничать, всякий предлог для лени. У них нет ни одной винной лавки, ни одной пивной; нет нигде публичного дома, никакого случая для разврата, ни одного притона, ни одного противозаконного сборища; но присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или в благопристойном отдыхе.

Неизбежным следствием таких порядков у этого народа является изобилие во всем, а так как оно равномерно простирается на всех, то в итоге никто не может быть ну-

ждающимися или нищим. Как только в амауротском сенате, который, как я сказал, ежегодно составляется из трех лиц от каждого города, станет известным, где и каких продуктов особенно много и, наоборот, что и где уродилось особенно скудно, то недостаток в одном месте немедленно восполняют обилием в другом. И утопийцы устраивают это бесплатно, не получая, в свою очередь, ничего от тех, кому дарят. Но то, что они дают из своих достатков какому-либо городу, не требуя от него ничего обратно, они получают в случае нужды от другого города без всякого вознаграждения. Таким образом, весь остров составляет как бы одно семейство.

Но когда они достаточно позаботятся о себе,— а это они признают выполненным не раньше, чем будет сделан запас на два года, ввиду неизвестности урожая следующего года,— из остающегося они вывозят в другие страны большое количество зерна, меда, шерсти, льна, леса, червеца и пурпура, руна, воска, сала, кож и вдобавок еще животных. Седьмую часть всего этого они дарят неимущим жителям тех стран, а остальное продают за умеренную цену. В итоге этой торговли они увозят на родину не только те товары, в которых нуждаются дома (а таковых почти нет, кроме железа), но, кроме того, и большое количество золота и серебра. В силу продолжительности такого обычая утопийцы имеют повсюду эти драгоценности в превышающем вероятие количестве. Поэтому они теперь обращают мало внимания на то, как им продавать: на наличные деньги или в кредит, и держат гораздо большую часть денег в долговых обязательствах; при заключении их, однако, они, по окончании установленных обычаем формальностей, не требуют никогда поручительства частных лиц, но только всего города. Этот последний, как только настанет день уплаты, требует долг с частных лиц, вносит деньги в казну и пользуется процентами на этот капитал, пока утопийцы не попросят его обратно, а они в огромном большинстве случаев никогда не просят. Они не считают справедливым отнимать совершенно ненужную им вещь у тех, кому она нужна. Впрочем, они требуют деньги только в тех случаях, когда по стечению обстоятельств желают дать известную часть капитала другому народу или когда приходится вести войну. Для этого одного они берегут все те сокровища, которые держат дома, чтобы иметь в них поддержку или в крайней, или во

внезапной опасности, а главным образом для того, чтобы за непомерную цену нанять иноземных солдат, которых они выставляют для борьбы охотнее, чем своих граждан. Утопийцы знают, что за большие деньги можно обычно купить самих врагов, которые готовы на измену и даже на то, чтобы вступить в открытый бой друг с другом. В силу этого они хранят неоцененное сокровище, но, впрочем, не как таковое, а обходятся с ним так, что мне стыдно и рассказывать; к тому же я боюсь, что словам моим не поверят. Это опасение мое тем более основательно, что я сознаю, как трудно было бы заставить меня самого поверить этому, если бы я не видел этого лично, а только слышал от другого. Но это уже неизбежно: чем более какое-нибудь явление чуждо нравам слушателей, тем менее оно у них может вызвать доверия. Правда, и остальные учреждения утопийцев очень резко разнятся от наших; поэтому тот, кто благоразумно оценивает положение, будет, вероятно, меньше удивляться тому, что употребление золота и серебра приспособлено у них скорее к их собственным, чем к нашим обычаям. Действительно, они сами не пользуются деньгами, а хранят их на упомянутые нужды, которые могут случиться, а могут и никогда не случиться.

Между тем с золотом и серебром, из которых делают деньги, они обходятся так, что никто не ценит их дороже, чем того заслуживает природа этих металлов. Кто не видит, насколько они ниже железа? Без него действительно люди не могут жить, так же как без огня и воды; между тем золоту и серебру природа не дала никакого применения, без которого нам трудно было бы обойтись, но людская глупость наделила их ценностью из-за редкости. Мало того, природа, как самая нежная мать, все наилучшее, например, воздух, воду и самую землю, поместила открыто, а суетное и не приносящее никакой пользы убрала очень далеко. Поэтому допустим, что утопийцы спрячут эти металлы в какую-нибудь башню; тогда, вследствие глупой изобретательности толпы, князь и сенат навлекут на себя подозрение, что хотят плутовски обмануть народ и сами извлечь отсюда какую-нибудь выгоду. Предположим далее, что они станут искусно чеканить из этих металлов чаши и другие произведения в том же роде, а потом случайно понадобится опять расплавлять их и потратить на жалованье солдатам; тогда, разумеется,

можно предвидеть, с каким трудом они позволили бы оторвать у себя то, что однажды начали считать своей утешой.

Для противодействия этому они придумали некое средство, соответствующее остальным их учреждениям, но весьма далекое от нас, которые так высоко ценят золото и так тщательно хранят его. Поэтому подобный образ действия может заслужить доверие только у испытавших его на опыте. Именно, утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изящных, но все же дешевых, а из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь, и, наконец, голова окружена золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре. В итоге другие народы дают на растерзание эти металлы с не меньшей болью, чем свою утробу, а среди утопийцев, если бы обстоятельства потребовали удаления всех этих зараз, никто, по-видимому, не почувствовал бы от этого для себя ни малейшего лишения.

Кроме того, они собирают на морских берегах жемчуг, а также кое-где по скалам алмазы и карбункулы, но, впрочем, не ищут их, а обдeldывают, когда те попадутся случайно. Такими камнями утопийцы украшают малолеток; эти последние в первые годы детства кичатся и гордятся подобными украшениями; но лишь только придут в возраст и заметят, что этими безделушками пользуются одни дети, так, без всякого внушения родителей, сами по чувству стыда оставляют их, совершенно так же, как наши дети, подрастая, бросают орехи, амулеты и куклы. Такое различие порядка утопийцев по сравнению с другими народами создает и различное мировоззрение. Это стало особенно ясно для меня из того, что произошло с анемолийскими послами.

Они приехали в Амаурот при мне, и так как целью их прибытия были важные дела, то их приезду предшествовало собрание трех граждан из каждого города. Но все

послы соседних племен, приезжавшие туда раньше, обычно являлись в самой скромной одежде, так как им были известны обычаи утопийцев, у которых не придавалось никакого почета пышному одеянию, шелк служил предметом презрения, а золото было даже позорным. Анемолийцы же жили особенно далеко и имели с утопийцами мало общения. Поэтому послы, узнав, что все утопийцы ходят в одной и той же одежде, и притом грубой, пришли к убеждению, что у утопийцев совсем нет того, чем они пользуются; поэтому анемолийцы, будучи скорее гордыми, чем умными, решили предстать в возможно блестящей обстановке, изображая из себя каких-то богов, и ослепить глаза несчастных утопийцев пышностью своего наряда. Таким образом, вступили три посла со ста спутниками, все в разноцветном одеянии, большинство в шелковом. Сами послы, принадлежавшие на родине к знати, имели златотканые плащи, большие цепи, золотые серьги, вдобавок золотые кольца на руках, и, сверх того, пляпы их были обвешены золотыми ожерельями, блиставшими жемчугом и дорогими камнями. Говоря короче, они были украшены всем тем, что у утопийцев служило или наказанием для рабов, или признаком бесчестия для опозоренных, или безделушками для ребят. Поэтому стоило посмотреть, как анемолийцы петушились, когда сравнили свой наряд с одеянием утопийцев, которые массой высыпали на улицы. С другой стороны, не меньшим удовольствием было видеть, как сильно обманулись они в своих надеждах и ожиданиях и как далеки были они от того уважения, которого рассчитывали достигнуть. Именно, на взгляд всех утопийцев, за исключением весьма немногих, посещавших по какой-либо подходящей причине другие народы, вся эта блестящая обстановка представлялась позорной, и потому, почтительно приветствуя вместо господ всех низкопоставленных, они сочли самих послов по употреблению ими золотых цепей за рабов и пропустили их, не оказав им никакого уважения. Мало того, можно было наблюдать, как дети бросали жемчуг и дорогие камни, когда увидали их прикрепленными на шапках послов, и, толкая мать в бок, обращались к ней с такими словами:

— Вот, мама, какой большой остолец, а все еще возится с жемчугом и блестящими камушками, как будто мальчишка!

А родительница отвечала также вполне серьезно:
— Молчи, сынок, это, думаю я, кто-нибудь из посольских шутов.

Другие осуждали упомянутые золотые цепи, говоря, что они ни на что не пригодны, так как настолько тонки, что раб может их легко разбить, а с другой стороны, настолько просторны, что, когда ему захочется, он может страхнуть их и убежать куда угодно, развязанный и свободный.

Но пробыв день-другой, послы увидели там огромное количество золота и заметили, что оно ценится утопийцами весьма дешево и находится у них в таком же презрении, как у них самих в почете, и что, сверх того, на цепи и оковы одного беглого раба потрачено больше золота и серебра, чем сколько стоила вся пышность их троих. Поэтому у послов опустились крылья, и они со стыдом убрали весь тот наряд, которым так надменно кичились, особенно когда более дружески поговорили с утопийцами и узнали их обычаи и мнения. Именно, у утопийцев вызывает удивление следующее: как может кто-нибудь из смертных восхищаться сомнительным блеском небольшой жемчужинки или самоцветного камушка, раз такому человеку можно созерцать какую-нибудь звезду или, наконец, само солнце; затем может ли кто-нибудь быть настолько безумным, что вообразит себя более благородным из-за нитей более тонкой шерсти, раз эту самую шерсть, из каких бы тонких нитей она ни была, некогда носила овца и все же не была ничем другим, как овцой. Удивительно для утопийцев также и то, как золото, по своей природе столь бесполезное, теперь повсюду на земле ценится так, что сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле золота; и дело доходит до того, что какой-нибудь медный лоб, у которого ума не больше, чем у пня, и который столько же бесстыден, как и глуп, имеет у себя в рабстве многих умных и хороших людей исключительно по той причине, что ему досталась большая куча золотых монет; ну, а если судьба или какой-нибудь подвох законов (который нисколько не меньше самой судьбы способен поставить все вверх дном) перенесет эту кучу от упомянутого господина к самому презренному бездельнику из всей его челяди, то в результате, несколько позже, господин переходит в услужение к слуге, как привесок

и придаток к деньгам. Но гораздо большее удивление и ненависть вызывает у утопийцев безумие того, кто воздаст чуть не божеские почести богачам, которым он ничего не должен и ничем не обязан; он поступает так только из уважения к их богатству и в то же время признает их в высшей степени жадными и скупыми и вернее верного понимает, что при жизни этих богачей из такой огромной кучи денег ему никогда не перенадет ни одного грошика.

Подобные мнения утопийцы отчасти усвоили из воспитания, так как выросли в такой стране, учреждения которой очень далеки от упомянутых нелепостей, а отчасти из учения и литературы. Правда, в каждом городе имеется лишь немного лиц, которые освобождены от прочих трудов и приставлены только к учению, — это именно те, у кого с детства обнаружились прекрасные способности, выдающийся талант и призвание к полезным наукам, — но дети учатся все, и значительная часть народа, мужчины и женщины, проводит в учении те часы, когда, как сказано было раньше, они свободны от работ. Учебные предметы они изучают на своем языке. Он не беден словами, не лишен приятности для слуха и превосходит другие более верной передачей мыслей. Этот же язык, только везде в более испорченном виде, в разных местах по-разному, распространен в значительной части того мира.

До нашего прибытия они даже и не слыхивали о всех тех философах, имена которых знамениты в настоящем известном нам мире. И все же в музыке, диалектике, науке счета и измерения они дошли почти до того же самого, как и наши древние (философы). Впрочем, если они во всем почти равняются с нашими древними, то далеко уступают изобретениям новых диалектиков. Именно, они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок, которые здесь повсюду изучают дети в так называемой «Малой логике», об ограничениях, расширениях и подстановлениях. Далее, так называемые «вторые интенции» не только не подвергались у утопийцев достаточному обследованию, но никто из них не мог видеть так называемого «самого человека вообще», хотя, как вы знаете, это существо вполне колоссальное, больше любого гиганта, и мы даже пальцем на него можем показать. Зато утопийцы очень сведущи в течении светил и движении небесных тел. Мало того, они остроумно изобрели прибо-

VTOPHENSIUM ALPHABETVM.
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tetrastichon vernacula Vtapiensium lingua.

Vrepos ha Boccas preu la
 ΘΩΛΓΛΕCΘ ΘΛΩΘΘΒ ΓΘΒΒΘ
 charna polta charnaan
 ΘΘΔΘ ΓΛΣΘΘ ΘΘΔΘΘΛ
 Bargol he maglomi haccan
 ΘΘΠΩΛΒ CΘ ΔΘΘΒΛΑΘ ΘΘΠΘΘΛ
 fema gymmu fophaon
 ΗΛΔΘ ΘΗΔΛΛ ΗΛΓCΘΛΛ
 Agrana gymnophphon labarzemhachia
 ΘΩΘΘΔΘ ΘΗΔΛΛΕΛΓΛΛ CΘΔΘΓΘΔΘΘCΘ
 bodanilomin

𐌸𐌹𐌳𐌰𐌳𐌰𐌽𐌰𐌹𐌳𐌰𐌹
 Voluola narehim herman la
 𐌸𐌹𐌳𐌰𐌳𐌰𐌽𐌰𐌹𐌳𐌰𐌹 · 𐌸𐌹𐌳𐌰𐌳𐌰𐌽𐌰𐌹 · 𐌸𐌹𐌳𐌰𐌳𐌰𐌽𐌰𐌹 · 𐌸𐌹𐌳𐌰𐌳𐌰𐌽𐌰𐌹
 lauluola dramme paglone

30EL3EL30 · 000ΔΔΘ · Γ003LJΩ
 Horum verborum id verbum hanc est sententia,

Vt opus me dux ex non intulit fecit intulam
Vna ego terrarum cranium labiq; philosophia
Civilitatem philosophicam expressi mortalibus
Libeter in partio mea, nō grauatum accipio meliora,

ры различных форм, при помощи которых весьма точно уловляют движение и положение Солнца, Луны, а равно и прочих светил, видимых на их горизонте. Но они даже и во сне не грезят о содружествах и раздорах планет и о всем вздоре гадания по звездам. По некоторым приметам, полученным путем продолжительного опыта, они предсказывают дожди, ветры и прочие изменения погоды. Что же касается причин всего этого, приливов морей, солености их воды и вообще происхождения и природной сущности неба и мира, то они рассуждают об этом точно так же, как наши старые философы; отчасти же, как те расходятся друг с другом, так и утопийцы, приводя новые причины объяснения явлений, спорят друг с другом, не приходя, однако, во всем к согласию.

В том отделе философии, где речь идет о нравственности, их мнения совпадают с нашими: они рассуждают о благах духовных, телесных и внешних, затем о том, присуще ли название блага всем им или только духовным качествам. Они разбирают вопрос о добродетели и удовольствии. Но главным и первенствующим является у них спор о том, в чем именно заключается человеческое счастье, есть ли для него один источник или несколько. Однако в этом вопросе с большей охотой, чем справедливостью, они, по-видимому, склоняются к мнению, защищающему удовольствие; в нем они полагают или исключительный, или преимущественный элемент человеческого счастья. И, что более удивительно, они ищут защиту такого щекотливого положения в религии, которая серьезна, сурова и обычно печальна и строга. Они никогда не разбирают вопроса о счастье, не соединяя некоторых положений, взятых из религии, с философией, прибегающей к доводам разума. Без них исследование вопроса об истинном счастье признается ими слабым и недостаточным. Эти положения следующие: душа бессмертна и по благодати божией рождена для счастья; наши добродетели и благодеяния после этой жизни ожидает награда, а позорные поступки — мучения. Хотя это относится к области религии, однако, по их мнению, дойти до верования в это и признания этого можно и путем разума. С устранением же этих положений они без всякого колебания провозглашают, что никто не может быть настолько глуп, чтобы не чувствовать стремления к удовольствию дозволенными и недозволенными средствами; надо остерегаться

ся только того, чтобы меньшее удовольствие не помешало большему, и не добиваться такого, отплатой за которое является страдание. Они считают признаком полнейшего безумия гоняться за суровой и недоступной добродетелью и не только отстранять сладость жизни, но даже добровольно терпеть страдание, от которого нельзя ожидать никакой пользы, да и какая может быть польза, если после смерти ты не добьешься ничего, а настоящую жизнь провел всю без приятности, то есть несчастно. Но счастье, по их мнению, заключается не во всяком удовольствии, а только в честном и благородном. К нему, как к высшему благу, влечет нашу природу сама добродетель, которой одной только противная партия усвоит счастье. Добродетель они определяют как жизнь, согласную с законами природы; к этому мы назначены богом. Надо следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму в решении вопроса, к чему надо стремиться и чего избегать. Разум прежде всего зажигает у людей любовь и уважение к величию божью, которому мы обязаны и тем, что существуем, и тем, что можем обладать счастьем. Во-вторых, разум настойчиво внушает нам и самим жить в возможно большем спокойствии и радости, и помогать всем прочим, по природной связи с ними, в достижении того же самого. Не было никогда ни одного столь сурового и строгого приверженца добродетели и ненавистника удовольствия, который бы советовал тебе только труды, бдения и суровость, не предлагая в то же время посильно облегчать нужду и неприятности других и не считая этого похвальным во имя человеколюбия. Нет добродетели, более присущей человеку, и ему особенно свойственно, чтобы один служил на благо и утешение другому, смягчал тягости других и возвращал их, уничтожив печаль, к приятности жизни, то есть к удовольствию. Если это так, то почему природе не внушать каждому делать то же самое и для себя?

Действительно, одно из двух: или приятная жизнь, то есть соединенная с удовольствием, дурна; если это так, ты не только не должен никому помогать в ней, но по мере сил исторгать ее у всех, как вредную и смертоносную; или, если советовать такую жизнь другим как хорошую тебе не только можно, но и должно, то почему этого не применить прежде всего к себе самому?

Тебе приличествует быть не менее благосклонным к себе, чем к другим. Ведь если природа внушает тебе быть добрым к другим, то она не предлагает тебе быть суровым и немилосердным к себе самому. Поэтому, по их словам, сама природа предписывает нам приятную жизнь, то есть наслаждение как конечную цель всех наших действий; а добродетель они определяют как жизнь, согласную с предписаниями природы. Она же приглашает смертных к взаимной поддержке для более радостной жизни. И в этом она поступает справедливо: нет никого, стоящего настолько высоко над общим жребием человеческого рода, чтобы пользоваться исключительными заботами природы, которая одинаково благоволит ко всем, объединенным общностью одного и того же облика. Поэтому та же самая природа постоянно предлагает тебе следить за тем, чтобы содействовать своим выгодам постольку, поскольку ты не причиняешь этим невыгод другим.

Следовательно, утопийцы признают необходимым соблюдать не только договоры, заключенные между частными лицами, но и общественные законы о распределении удобств жизни, то есть материала удовольствия, которые, руководясь правилами справедливости, опубликовал добрый государь или утвердил единодушным согласием народ, не угнетенный тиранией и не обманутый коварством. Заботиться о своей выгоде, не нарушая этих законов, есть требование благоразумия, а иметь в виду также и интересы общественные — твой долг. Похищать чужое удовольствие, помогаясь своего, несправедливо. Наоборот, отнять что-нибудь у себя самого, чтобы придать другим, есть исключительная обязанность человеколюбия и благожелательности; эта обязанность никогда не уносит нашей выгоды в такой мере, в какой возвращает ее. Подобная выгода возмещается взаимностью благодеяний, и самое сознание благодеяния и воспоминание о любви и расположении тех, кому ты оказал добро, приносят твоему сознанию больше удовольствия, чем то телесное наслаждение, от которого ты воздержался. Наконец, религия легко убеждает наше сознание, и оно охотно соглашается с этим, что за краткое и небольшое удовольствие бог воздает огромной и никогда не преходящей радостью. На этом основании, тщательно взвесив и обдумав предмет, утопийцы признают, что все наши действия, и в числе их са-

ми добродетели, имеют в виду как конечную цель удовольствия и счастье.

Удовольствием называют они всякое движение и состояние тела и души, пребывая в которых мы получаем наслаждение по указанию природы. Прибавку о природном стремлении утопийцы делают не без основания. Приятным от природы считается все нижеследующее: то, к чему стремятся не путем обиды; то, ради чего не теряется другое, более приятное; то, что не причиняет страдания; то, чего ищут не только чувства, но и здравый разум. С другой стороны, есть удовольствия, несогласные с природой, которые люди в силу какого-то суетного общего соглашения представляют себе сладкими, как будто бы от человека зависело изменять одинаково предметы и их названия. Но утопийцы признают, что подобные удовольствия нисколько не содействуют счастью. Наоборот, результатом их является то, что, у кого они раз укрепились, у того не остается места для истинных и неподдельных наслаждений, а вся духовная сущность его всецело подчинена ложному пониманию удовольствия. Есть, наконец, очень многое, что по своей природе не заключает никакой сладости и, наоборот, в значительной части содержит даже много горечи, но в силу извращенного соблазна безнравственных желаний считается не только высшим удовольствием, а даже признается главною основою жизни.

К числу подобных поддельных удовольствий утопийцы относят мнение тех людей, про которых я упомянул раньше: чем лучше на них одежда, тем лучшими людьми они себя воображают. В этом одном отношении они ошибаются вдвойне. Не менее лгут они и оттого, что считают свое платье лучшим, чем себя. Действительно, если стать на точку зрения полезности одежды, то почему более тонкая шерсть выше более толстой? Но эти люди все же петушатся и, как будто бы их превосходство имело под собою действительную основу, а не ошибку, считают, что и личная их оценка от этого несколько повышается; вследствие этого, словно с полным правом, они требуют для более изящного платья почета, на который никогда не дерзали бы одетые хуже, и приходят в негодование, если на них не обращают достаточного внимания.

Далее, не является ли признаком того же самого безумия и стремление к суетному и не приносящему никакой пользы почету? Действительно, какое естественное и ис-

тинное удовольствие может доставить то обстоятельство, что другое лицо обнажает пред тобою голову или преклоняет колена? Что ж, это излечит страдание твоих колен? Или исцелит безумие твоей головы? На этом же фоне поддельного удовольствия удивительно видеть, с каким наслаждением безумствуют те, кто заносится и гордится в силу мнения о своей знатности, так как этим людям выпало на долю родиться от таких предков, длинный ряд которых считался богатым, особенно земельной собственностью, — ведь знатность теперь только в этом и заключается. Эта знатность в их глазах ни на волос не уменьшится, хотя бы предки ничего не оставили им из своих богатств или они сами промотали оставленное.

К этому же разряду утопийцы причисляют тех, кто, как я сказал, увлекается жемчугом и камушками и считает себя чуть не богом, если ему удалось заполучить какой-нибудь выдающийся экземпляр, особенно такого рода, который в его время и в его среде имеет наибольшую стоимость. Ведь не у всех и не во всякое время ценятся одни и те же породы. Но они приобретают этот экземпляр не иначе, как без золотой оправы и в натуральном виде. Да и тут продавец должен дать клятву и представить залог, что эти жемчуг и камень настоящие. До такой степени эти покупатели озабочены тем, что их зрение будет обмануто фальшивым камнем вместо настоящего. Но почему твоему взгляду искусственный камень доставит меньшее наслаждение, раз твой глаз не различает его от настоящего? Честное слово, оба они должны представлять для тебя такую же ценность, как для слепого. Далее, воспринимают ли настоящее удовольствие и не испытывают ли скорее обман от ложного те, что хранят излишние богатства, нисколько не пользуясь ими, а только наслаждаясь их созерцанием? Или те, что в силу противоположного порока прячут золото, которым никогда не собираются пользоваться и которого, может быть, никогда больше и не увидят? Тревожась, как бы не потерять его, они его теряют на самом деле. Действительно, как иначе назвать твой поступок, если ты отнимаешь у себя лично, а может быть, и у всех людей пользование этим золотом и вручаешь его земле? И вот, запрятав сокровище, ты вполне успокаиваешься и ликуешь от радости. Ну, а допустим, что кто-нибудь украдет это богатство и ты, не зная об этой краже, через десять лет умрешь; в течение десяти

лет, которые ты прожил после воровства, какое тебе дело было до того, похищено ли твое золото или цело? И в том и в другом случае тебе от него была одинаковая польза.

К этим столь нелепым наслаждениям утопийцы присоединяют игру в кости (это безумие известно им по слуху, а не по опыту), далее — охоту и птицеловство. Именно, они спрашивают: в чем состоит удовольствие бросать кости на доску? Ты столько раз делал это, что если бы с этим было связано какое-нибудь удовольствие, то от неоднократного повторения могло бы все же возникнуть пресыщение? Или какую приятность, а не отвращение скорее, можно найти, слушая лай и вой собак? Или почему получается большее ощущение удовольствия, если собака гонится за зайцем, а не собака за собакой? В том и другом случае дело идет об одном и том же: они бегут, если бег тебе доставляет наслаждение. А если тебя привлекает надежда видеть убийство, ожидание, что у тебя на глазах произойдет мучительная травля, то зрелище того, как собака раздерет зайчишку, более сильный — более слабого, свирепый — робкого и трусливого, наконец, жестокий — невинного, должно скорее вызывать сострадание. Поэтому все это занятие охотой, как дело, недостойное свободного человека, утопийцы подкинули мясникам, а мы сказали выше, что это искусство у них исполняют рабы. Утопийцы считают, что охота есть самая низменная сторона этого занятия, а остальные его стороны и более практичны, и более благородны, так как они приносят большую пользу и губят животных исключительно по необходимости; между тем охотник ищет в убийстве и травле бедного зверька только удовольствие. По мнению утопийцев, это неудержимое желание смотреть на убийство даже настоящих зверей или возникает в силу природной жестокости, или, при постоянном пользовании таким свирепым удовольствием, окончательно ожесточает человека. В этом и во всех подобных случаях — а их бесчисленное множество — толпа видит удовольствие, а утопийцы, не признавая в природе подобных явлений ничего приятного, решительно считают, что они не имеют ничего общего с истинным удовольствием. Если эти явления в общем доставляют чувству приятность, что составляет задачу удовольствия, то это отнюдь не вынуждает утопийцев менять свое мнение. Они говорят, что причина этого кро-

ется не в природных свойствах явления, а в извращенной привычке людей: по вине ее они принимают горькое за сладкое, уподобляясь беременным, испорченный вкус которых признает смолу и сало слаще меда. Однако ничье суждение, искаженное или болезнью, или привычкой, не может изменить природных свойств как других вещей, так и удовольствия.

Утопийцы допускают различные виды удовольствий, признаваемых ими за истинные; именно, одни относятся к духу, другие к телу. Духу приписываются понимание и наслаждение, возникающие от созерцания истины. Сюда же присоединяются приятное воспоминание о хорошо прожитой жизни и несомненная надежда на будущее блаженство. Телесные удовольствия разделяются на два вида. Первый — тот, который доставляет чувствам явную приятность. Это бывает при восстановлении того, что истощала находящаяся внутри нас теплота, — оно достигается пищей и питьем. Другой случай, когда удаляется то, обилие чего переполняет тело: это бывает, когда мы очищаем внутренности испражнениями, совершаем акт деторождения, успокаиваем зуд какого-либо органа трением или почесыванием. Иногда же удовольствие возникает без всякого возмещения того, чего требуют наши члены, и без освобождения их от страданий, но все же при очевидном движении оно щекочет, поражает и привлекает к себе наши чувства какой-то скрытой силой; это, например, доставляет нам музыка.

Другой вид телесного удовольствия заключается, по их мнению, в спокойном и находящемся в полном порядке состоянии тела: это — у каждого его здоровье, не нарушаемое никаким страданием. Действительно, если оно не связано ни с какою болью, то само по себе служит источником наслаждения, хотя бы на него не действовало никакое привлеченное извне удовольствие. Правда, оно не так заметно и дает чувствам меньше, чем ненасытное желание еды и питья; тем не менее многие считают хорошее здоровье за величайшее из удовольствий. Почти все утопийцы признают здоровье большим удовольствием и, так сказать, основой и базисом всего: оно одно может создать спокойные и желательные условия жизни, а при отсутствии его не остается совершенно никакого места для удовольствия. Полное отсутствие боли без наличия здоровья, во всяком случае, называется у них бесчувственностью.

стью, а не удовольствием. После оживленного обсуждения вопроса утопийцы давно уже отвергли мнение тех, кто предлагал не считать крепкое и безмятежное здоровье за удовольствие на том основании, что наличие его можно будто бы заметить только при противоположном ощущении. Но теперь почти все они, наоборот, пришли единодушно к тому выводу, что здоровье особенно содействует удовольствию. Они рассуждают так: если с болезнью связано страдание, которое является таким же непримиримым врагом удовольствия, как болезнь — здоровья, то почему удовольствию, в свою очередь, не заключаться в безмятежном здоровье? По их мнению, в этом вопросе нисколько не важно сказать, является ли болезнь страданием или страдание присуще болезни, так как в том и другом случае результат получается один и тот же. Поэтому, если здоровье есть само удовольствие или неизбежно порождает удовольствие, как огонь создает теплоту, то в итоге, в том и другом случае, удовольствие не может отсутствовать у тех, кто обладает крепким здоровьем. Рассуждают они и так еще: что происходит во время нашей еды, как не борьба здоровья, которое начало колебаться, против голода в союзе с пищей? Пока здоровье в этой борьбе набирается мало-помалу сил, этот успех его доводит до прежней живости то удовольствие, которое так подкрепляет нас. Так неужели же здоровье, которое находит веселье в борьбе, не будет радоваться, достигнув победы? Неужели после счастливого достижения в конце концов прежней силы, к которой исключительно оно стремилось во всей борьбе, оно немедленно оцепенеет, не познает своих благ и не будет ценить их? Кто, спрашивают они, находясь в бодрственном состоянии, не чувствует себя здоровым, если это действительно есть? Неужели кто-нибудь может находиться в таком оцепенении или летаргическом состоянии, что не будет признавать для себя здоровье приятным и усадительным? А что есть улада, как не другое название удовольствия?

Утопийцы особенно ценят духовные удовольствия, их они считают первыми и главенствующими; преимущественная часть их исходит, по их мнению, из упражнения в добродетели и сознания беспорочной жизни. Из удовольствий, доставляемых телом, пальма первенства у них отдается здоровью. Сладкая еда и питье и все, что может доставить подобное наслаждение, по их мнению, конеч-

но, заслуживает стремления, но только ради здоровья. Все это приятно не само по себе, а в той мере, в какой оно противится подкрадывающемуся исподтишка недугу. Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них, будет скорее бороться с страданиями, чем принимать утешения по поводу их. Поэтому лучше будет не нуждаться в физических удовольствиях, чем испытывать наслаждение от них. Если кто испытывает полное удовлетворение от удовольствия такого рода, тот неизбежно должен признать свое полное счастье в том только случае, если ему выпадет на долю жизнь, которую надо проводить в постоянном голоде, жажде, зуде, еде, питье, чесании и натирации; но кто не видит, как подобная жизнь не только безобразна, но и несчастна? Разумеется, эти удовольствия, как наименее чистые, — самые низменные из всех. Они никогда не возникают иначе, как в соединении с противоположными страданиями. Например, с удовольствием от еды связан голод, и притом не вполне равномерно. Именно, страдание является как более сильным, так и более продолжительным: оно и возникает раньше удовольствия, и утоляется только одновременно с отмиранием удовольствия. Так вот подобные удовольствия утопийцы не считают заслуживающими высокой оценки, но признают их только в той мере, в какой это требуется необходимостью. Но все же утопийцы рады и им и с благодарностью признают доброту матери-природы, которая привлекает с самой ласковой приятностью свои творения даже к тому, что приходится делать постоянно в силу необходимости. Действительно, как отвратительна была бы жизнь, если бы, подобно прочим недугам, беспокоящим нас реже, и ежедневные болезни голода и жажды приходилось прогонять ядами и горькими лекарствами?

Утопийцы любят и ценят красоту, силу, проворство как особые и приятные дары природы. Затем, кроме человека, нет других живых существ, которые благоговеют пред красотой и изяществом мира, получают впечатление от приятного запаха (у зверей это имеет место только применительно к пище) и различают согласие и рознь в звуках и тонах. Поэтому утопийцы признают как приятную приправу жизни и те удовольствия, которые входят к нам через слух, зрение и обоняние и которые природа пожелала закрепить за человеком как его особое преимуще-

щество. Во всем этом они держатся такого правила, что меньшее удовольствие не должно мешать большему и вообще порождать когда-нибудь страдание, которое, по их мнению, есть неизбежное следствие удовольствия бесчестного. Но они считают признаком крайнего безумия, излишней жестокости к себе и высшей неблагодарности к природе, если кто презирает дарованную ему красоту, ослабляет силу, превращает свое проворство в леность, истощает свое тело постами, наносит вред здоровью и отвергает прочие ласки природы. Это значит презирать свои обязательства к ней и отказываться от всех ее благодеяний. Исключение может быть в том случае, когда кто-нибудь пренебрегает этими своими преимуществами ради пламенной заботы о других и об обществе, ожидая, взамен этого страдания, большего удовольствия от бога. Иначе совсем глупо терзать себя без пользы для кого-нибудь из-за пустого призрака добродетели или для того, чтобы иметь силу переносить с меньшей тягостью несчастья, которые никогда, может быть, и не произойдут.

Таково их мнение о добродетели и удовольствии. Они верят, что если человеку не внушит чего-нибудь более святого ниспосланная с неба религия, то, с точки зрения человеческого разума, нельзя найти ничего более правдивого. Разбирать, правильна ли эта мысль или нет, нам не позволяет время, да и нет необходимости. Мы приняли на себя задачу рассказать об их уставах, а не защищать их.

Во всяком случае, каковы бы ни были эти постановления, я убежден в том, что нигде нет такого превосходного народа и более счастливого государства. Природа наделила их проворством и бодростью. Они обладают большей физической силой, чем обещает их рост, в общем все же довольно высокий. И, хотя почва у них не везде плодородна и климат недостаточно здоров, они прекрасно укрепляют себя против превратностей атмосферы умеренностью в пище, а землю успешно врачуют обработкой. В результате ни у одного народа нет более обильных урожаев и приплода скота, люди отличаются значительной жизнеспособностью и подвержены наименьшему количеству болезней. Поэтому там можно видеть, во-первых, тщательное выполнение обычных земледельческих работ, а именно: помощь искусством и трудом земле, не очень-то податливой от природы. Во-вторых, там можно наблюдать зрелище еще более поразительное: лес выкор-

чевывается руками народа в одном месте, а насаждается в другом. В этом отношении принимается в расчет не плодородие, а удобство перевозки, именно — чтобы дрова были ближе к морю, рекам или к самим городам. Доставка сухим путем хлеба из более отдаленной местности сопряжена с меньшим трудом, чем доставка дров. Это — народ общительный, остроумный, способный, умеющий наслаждаться покоем, достаточно привычный, в случае надобности, к физическому труду. Впрочем, в других отношениях они не стремительны, а в умственных интересах неумомимы.

Они узнали от нас об античных народах. Что касается латинян, то там, кроме истории и поэзии, не было ничего, что представлялось утопийцам могущим заслужить особое одобрение; но после ознакомления с литературой и наукой греков они с огромным и изумительным усердием приложили старание к тому, чтобы изучить это при нашем объяснении. Поэтому мы начали читать с ними греков, не желая прежде всего подавать учащимся мысль, будто мы отказываемся от такой работы, и не надеясь особенно ни на какой успех от этого. Но стоило нам немного подвинуться вперед, как прилежание утопийцев заставило нас тотчас сообразить, что нам не придется напрасно тратить таковое и с своей стороны. Они начали с большой легкостью воспроизводить формы букв, с большой легкостью произносить слова, с огромной быстротой запоминать их и с замечательной точностью переводить; поэтому успехи утопийцев вызывали у нас положительное удивление. Правда, большинство тех, кто прииhsлся за это изучение не только из добровольных побуждений, но и по приказу сената, принадлежало к числу избраннейших по своим способностям ученых и к людям зрелого возраста. Поэтому менее чем через три года для них не оставалось никаких трудностей с точки зрения языка; классических писателей они могли читать без всяких затруднений, за исключением искажений в тексте.

Утопийцы усвоили эту литературу тем более легко, что, по моему, по крайней мере, предположению, она им несколько сродни. Именно, я подозреваю, что этот народ ведет происхождение от греков, так как их язык, в остальных отношениях почти напоминающий персидский, в названиях городов и должностных лиц сохраняет некоторые следы греческой речи. Отправляясь в плавание

в четвертый раз, я взял с собою на корабль вместо поваров порядочную кипу книг, потому что принял твердое решение лучше не возвращаться никогда, чем скоро. Поэтому у утопийцев имеется от меня значительное количество сочинений Платона, еще больше Аристотеля, равно как книга Феофраста о растениях, но, к сожалению, в очень многих местах неполная. Именно, во время нашего плавания книга эта оставалась без достаточного надзора и попалась обезьяне, которая, резвясь и играя, вырвала здесь и там несколько страниц и растерзала их. Из составителей грамматик у них есть только Ласкарис; Федора я не привозил с собою, а также ни одного словаря, кроме Гесихия и Диоскорида. Они очень любят мелкие произведения Плутарха и восхищаются также изяществом и остроумием Лукиана. Из поэтов у них есть Аристофан, Гомер и Еврипид, затем Софокл, напечатанный мелким шрифтом Альда, из историков Фукидид, Геродот, а также Геродиан. Мало того, мой товарищ Триций Апинат привез с собою также из области медицины некоторые мелкие произведения Гиппократа и так называемое «Малое искусство» Галена. Эти книги у них очень ценятся. Хотя, по сравнению с прочими народами, утопийцы менее всего нуждаются в медицине, однако нигде она не пользуется большим почетом, хотя бы потому, что познание ее ставят наравне с самыми прекрасными и полезными частями философии. Исследуя с помощью этой философии тайны природы, они рассчитывают получить от этого не только удивительное удовольствие, но и войти в большую милость у ее виновника и создателя. По мнению утопийцев, он, по обычаю прочих мастеров, предоставил рассмотрение устройства этого мира созерцанию человека, которого одного только сделал способным для этого, и отсюда, усердного и тщательного наблюдателя и поклонника своего творения любит гораздо более, чем того, кто, наподобие неразумного животного, глупо и бесчувственно пренебрег столь величественным и изумительным зрелищем.

Поэтому способности утопийцев, изощренные науками, удивительно восприимчивы к изобретению искусств, содействующих в каком-либо отношении удобствам и благам жизни. Но двумя изобретениями они все же обязаны нам, а именно: книгопечатанием и изготовлением бумаги; но и тут, впрочем, помогли не столько мы,

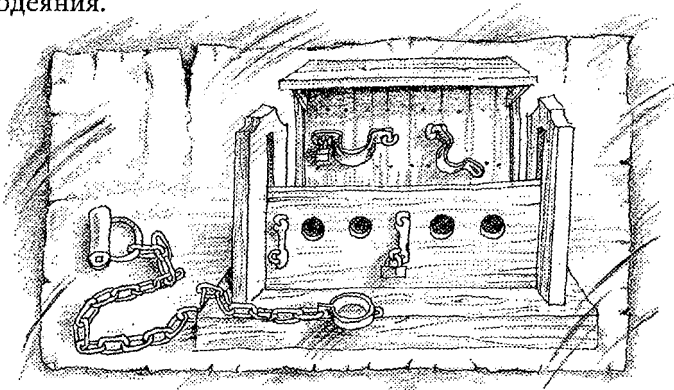
сколько они сами себе. Именно, мы могли только показать им буквы, напечатанные Альдом в бумажных книгах, и скорее толковали кое-что, чем объясняли о материале для изготовления бумаги и об умении оттискивать буквы, так как никто из нас не был достаточно искусен ни в том, ни в другом. Но они тотчас с большим остроумием смекнули, в чем дело; раньше они писали только на коже, коре и папирусе, а теперь тотчас стали делать попытки изготовлять бумагу и оттискивать буквы. Сначала это им не очень удавалось, но после неоднократных и настойчивых попыток они в скором времени постигли то и другое. Успехи их так велики, что, будь у них экземпляры греческих авторов, они не ощущали бы никакого недостатка в книгах. Теперь у них имеется из литературы несколько не больше того, что упомянуто мною раньше; но эту наличность они распространили уже путем печатных книг во многих тысячах экземпляров.

Утопийцы благосклонно принимают всякого приезжающего посмотреть их страну, особенно если это лицо отличается какими-либо выдающимися талантами или знанием многих земель, полученным в результате продолжительных путешествий; с этой последней точки зрения им был приятен и наш приезд. Они охотно слушают о том, что творится везде на земле. Но ради торговли в Утопию приезжают не очень часто. В самом деле, что ввозить к ним, кроме железа да еще золота и серебра? Но эти два металла каждый предпочел бы вывозить от них. Далее, то, что подлежит экспорту от них, они считают более благоразумным вывозить самим, чем предоставлять это другим. Причиной этого служит их желание приобрести более близкое знакомство с окружающими их другими народами и не забыть опыта и навыка в мореплавании.

О рабах

Утопийцы не считают рабами ни военнопленных, кроме тех, кого они взяли сами в бою с ними, ни детей рабов, ни, наконец, находящихся в рабстве у других народов, кого можно было бы купить. Но они обращают в рабство своего гражданина за позорное деяние или тех, кто у чужих народов был обречен на казнь за совершенное им преступление. Людей этого второго рода гораздо больше,

так как многих из них утопийцы добывают иногда по дешевой цене, а чаще получают их даром. Рабы того и другого рода не только постоянно заняты работой, но и закованы в цепи; обхождение с рабами, происходящими из среды самих утопийцев, более сурово на том основании, что они усугубили свою вину и заслужили худшее наказание, так как прекрасное воспитание отлично подготовило их к добродетели, а они все же не могли удержаться от злодеяния.



Иной род рабов получается тогда, когда какой-либо трудолюбивый и бедный батрак из другого народа предпочитает пойти в рабство к утопийцам добровольно. К таким людям они относятся с уважением и обходятся с ними с не меньшей мягкостью, чем с гражданами, за исключением того, что налагают несколько больше работы, так как те к ней привыкли. Если подобное лицо пожелает уехать, что бывает не часто, то утопийцы не удерживают его против воли и не отпускают с пустыми руками.

Как я сказал, утопийцы ухаживают за больными с большим усердием и прилагают решительно все меры, чтобы вернуть им здоровье путем или тщательного лечения, или питания. Даже страдающих неизлечимыми болезнями они утешают постоянным пребыванием около них, разговорами, наконец, оказанием какой только возможно помощи. Но если болезнь не только не поддается врачеванию, но доставляет постоянные мучения и терзания, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими уговорами: он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в тягость себе

самому и, так сказать, переживает уже свою смерть; поэтому ему надо решиться не затягивать долее своей пагубы и бедствия, а согласиться умереть, если жизнь для него является мукой; далее, в доброй надежде на освобождение от этой горькой жизни, как от тюрьмы и пытки, он должен сам себя изъять из нее или дать с своего согласия исторгнуть себя другим. Поступок его будет благоразумным, так как он собирается прервать смертью не житейские блага, а мучения, а раз он хочет послушаться в этом деле советов священников, то есть толкователей воли божией, то поступок его будет благочестивым и святым. Те, кто даст себя убедить в этом, кончают жизнь добровольно или голодовкой, или, усыпленные, отходят, не ощущая смерти. Но утопийцы не губят никого помимо его желания и нисколько не уменьшают своих услуг по отношению к нему. Умереть в силу подобного рода убеждения считается почетным, а если кто причинит себе смерть, не доказав причины ее священникам и сенату, то его не удостоивают ни земли, ни огня, но без погребения позорно бросают в какое-нибудь болото.

Женщина вступает в брак не раньше восемнадцати лет, а мужчина — когда ему исполнится на четыре года больше. Если мужчина или женщина будут до супружества уличены в тайном прелюбодеянии, то оба пола подвергаются тяжкому наказанию и им совершенно запрещается вступление в брак, но князь по своей милости может отпустить им вину. Отец и мать того семейства, в чьем доме был совершен позор, навлекают на себя сильное бесчестие, как небрежно выполнившие лежавшую на них обязанность. Утопийцы подвергают этот проступок столь суровой каре потому, что если не удерживать старательно людей от беспорядочного сожителства, то в их супружеской жизни редко возможно полное единение, а между тем об этом надо заботиться, так как всю жизнь придется проводить с одним человеком и, кроме того, переносить все возникающие отсюда тягости.

Далее, при выборе себе супружеской пары утопийцы серьезно и строго соблюдают нелепейший, как нам показалось, и очень смешной обряд. Именно, пожилая и уважаемая матрона показывает женщину, будь это девица или вдова, жениху голой, и какой-либо почтенный муж ставит, в свою очередь, перед молодой гогого жениха. Мы со смехом высказывали свое неодобрение по поводу

этого обычая, считая его нелепым, а утопийцы, наоборот, выражали свое удивление по поводу поразительной глупости всех прочих народов. Именно, при покупке жеребенка, где дело идет о небольшой сумме денег, люди бывают очень осторожны: хотя лошадь и так почти голая, они отказываются покупать ее иначе, как сняв седло и стацив всю сбрую, из опасения, что под этими покровами таится какая-нибудь болячка. Между тем при выборе жены, в результате чего человек получит на всю жизнь удовольствие или отвращение, они поступают очень неосмотрительно: окутав все тело одеждами, они оценивают и соединяют с собою женщину на основании пространства величиною чуть не в ладонь, так как, кроме лица, ничего не видно; этим они подвергают себя большой опасности несчастного сожительства, если впоследствии окажется какой-либо недостаток. Не все настолько благоразумны, что обращают внимание исключительно на характер: даже в браках самих мудрецов к душевным добродетелям придают известную прибавку также и физические преимущества. Во всяком случае, под этими покровами может прятаться самое позорное безобразие, которое способно совершенно отвратить от жены сердце, когда физически от нее отделаться уже нельзя. Если в силу какого-нибудь несчастного случая это безобразие выпадет на долю после заключения брака, то каждому необходимо нести свой жребий, а чтобы кто не попался в ловушку ранее, от этого надо оградиться законами. Заботиться об этом надлежало тем усерднее, что утопийцы — единственные из обитателей тех стран, которые довольствуются одной женой; брак у них расторгается редко, не иначе как смертью, исключая случаи прелюбодеяния или нестерпимо тяжелого характера. В обоих случаях сенат представляет оскорбленной стороне право переменить супружескую половину, но другая обречена навеки на одновременно позорную и одинокую жизнь. Иначе же они никоим образом не допускают бросать жену против ее воли и без всякой ее вины, а только за то, что у нее появится какой-либо телесный недостаток. Они признают жестоким покидать кого-нибудь тогда, когда он всего более нуждается в утешении; это же, по их мнению, будет служить неопределенной и непрочной опорой для старости, так как она и приносит болезни, и сама является болезнью. Впрочем, иногда бывает так, что если характеры му-

жа и жены недостаточно подходят друг к другу, а обе стороны находят других, с которыми надеются прожить приятнее, то с обоюдного согласия они расстаются и вступают в новый брак. Но это возможно только с разрешения сената, который не допускает разводов иначе, как по тщательном рассмотрении дела в своем составе и со своими женами. Да и в этом случае дело проходит нелегко, так как утопийцы сознают, что возможность легкой надежды на новый брак отнюдь не содействует укреплению супружеской привязанности.

Оскорбители брачного союза караются тягчайшим рабством, и если обе стороны состояли в супружестве, то понесшие обиду, в случае желаяния, отвергают половину, уличенную в прелюбодеянии, и сами сочетаются браком между собою или с кем захотят. Но если один из оскорбленных упорствует в любви к своей так дурно поступившей половине, то ему все же не препятствуют оставаться в законном супружестве, если он пожелает последовать за своей половиной, осужденной на рабство. При этом иногда случается, что раскаяние одного и услужливое усердие другого вызывает у князя сострадание, и он возвращает виновному свободу. Но вторичное грехопадение карается уже смертью.

За прочие преступления никакой закон не устанавливает никакого определенного наказания, но за всякий ужасный и злодейский проступок кару назначает сенат. Мужья наставляют на путь жен, родители — детей, если только они не совершат такого преступления, за которое, по правилам общественной нравственности, требуется публичное наказание. Но обычно все наиболее тяжкие преступления караются игом рабства. По мнению утопийцев, оно является достаточно суровым для преступников и более выгодным для государства, чем спешить убить виновных и немедленно устранить их. Труд этих лиц приносит более пользы, чем их казнь, а, с другой стороны, пример их отпугивает на более продолжительное время других от совершения подобного позорного деяния. Если же и после такого отношения к ним они станут опять бунтовать и противиться, то их закалывают, как неукротимых зверей, которых не может обуздать ни тюрьма, ни цепь. Но для терпеливо сносящих рабство надежда отнюдь не потеряна. Если продолжительное страдание укротит их и они обнаружат раскаяние, свидетельствующее, что пре-

ступление тяготит их больше наказания, то иногда власть князя или голосование народа может или смягчить их рабство, или прекратить его. Стремление вовлечь женщину в прелюбодеяние утопийцы считают несколько не меньшей дерзостью, чем самое прелюбодеяние. Вообще во всяком позорном поступке определенную и решительную попытку они приравнивают к самому деянию. По их мнению, неудача в этом отношении не должна принести никакой пользы тому, по чьей вине она произошла.

Дурачки служат у них предметом забавы; оскорбительное обращение с ними считается весьма позорным, но наряду с этим не запрещается забавляться их глупостью. Именно, утопийцы полагают, что это особенно служит на благо самим дурачкам. Если кто настолько суров и угрюм, что ни одно действие, ни одно слово дурачка не вызывает у него смеха, то такому человеку они никогда не доверяют заботу о нем. Они боятся, что дурачок не встретит достаточно ласкового ухода со стороны того, куму он не только не принесет никакой пользы, но и забавы, а это последнее — его единственное преимущество.

Смеяться над безобразием и уродством они считают позором и поношением, но не для того, кто подвергается осмеянию, а для насмешника: глупо упрекать кого-нибудь как за порок за то, избежать чего было не в его власти. Не поддерживать естественной красоты служит, по их мнению, признаком косности и вялости, равно как искать ей опору в притираниях есть позорное бесстыдство. Они познают непосредственно на опыте, что никакой красотой наружности жены не могут приобрести расположение мужей в такой мере, как своей нравственностью и почтительностью. Правда, некоторые пленяются одной только красотой, но привязывают мужа лишь добродетель жены и ее повиновение.

Утопийцы не только отвращают людей наказаниями от позора, но и приглашают их к добродетелям, выставляя напоказ их почетные деяния. Поэтому они воздвигают на площади статуи мужам выдающимся и оказавшим важные услуги государству на память об их подвигах. Вместе с тем они хотят, чтобы слава предков служила для потомков, так сказать, шпорами поощрения к добродетели.

Кто путем происков добивается получить какую-либо должность, лишается надежды на достижение всех.

Между собою они живут дружно, так как ни один чиновник не проявляет надменности и не внушает страха. Их называют отцами, и они ведут себя достойно. Должный почет им утопийцы оказывают добровольно, и его не приходится требовать насильно. Даже и сам князь выделяется не одеянием или венцом, а тем, что несет пучок колосьев, равно как отличительным признаком первосвященника служит восковая свеча, которую несут перед ним.

Законов у них очень мало, да для народа с подобными учреждениями и достаточно весьма немногих. Они даже особенно не одобряют другие народы за то, что им представляются недостаточными бесчисленные томы законов и толкователей на них.

Сами утопийцы считают в высшей степени несправедливым связывать каких-нибудь людей такими законами, численность которых превосходит возможность их прочтения или темнота — доступность понимания для всякого. Далее они решительно отвергают всех адвокатов, хитроумно ведущих дела и лукаво толкующих законы. Они признают в порядке вещей, что каждый ведет сам свое дело и передает судье то самое, что собирался рассказать защитнику. В таком случае, и околичностей будет меньше, и легче добиться истины, так как говорить будет тот, кого никакой защитник не учил прикрасам, а во время его речи судья может умело все взвесить и оказать помощь более простодушным людям против клеветнических измышлений хитроумцев. У других народов при таком обилии самых запутанных законов это соблюдать трудно, а у утопийцев законоведом является всякий. Ведь, как я сказал, у них законов очень мало, и, кроме того, они признают всякий закон тем более справедливым, чем проще его толкование. По словам утопийцев, все законы издаются только ради того, чтобы напоминать каждому об его обязанностях. Поэтому более тонкое толкование закона вразумляет весьма немногих, ибо немногие могут постигнуть это: между тем более простой и доступный смысл законов открыт для всех. Кроме того, что касается простого народа, который составляет преобладающее большинство и наиболее нуждается во вразумлении, то для него безразлично — или вовсе не издавать закона, или издавать его в таком изложении, что до смысла его никто не может добраться иначе, как при помощи большого

ума и продолжительных рассуждений. Простой народ с его тугой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, да ему и жизни на это не хватит, так как она занята у него добыванием пропитания.

Эти добродетели привлекают к утопиям внимание их свободных и независимых соседей, многих из которых они давно уже освободили от тирании. И вот эти народы просят себе у них должностных лиц, одни ежегодно, другие на пять лет. По окончании срока иноземцы провожают этих лиц с почетом и похвалою и привозят с собою на родину новых. Разумеется, эти народы выражают подобной мерой прекрасную и тщательную заботливость о пользе своего государства: если и благоденствие и гибель его зависят от характера должностных лиц, то на ком можно с большим благоразумием остановить свой выбор, как не на тех, кого ни за какую плату нельзя отклонить от честного исполнения долга? Этот подкуп бесполезен для утопийцев, так как им предстоит в скором времени вернуться обратно; с другой стороны, гражданам они совершенно чужды и потому не могут дать решения под влиянием дурно направленного лицепрятия или вражды. Как только заведутся в судах эти два бедствия, пристрастие и корыстолюбие, они тотчас нарушают всякую справедливость, этот крепчайший нерв государства. Те народы, которые просят себе у утопийцев должностных лиц, называются у них союзниками, а прочих, кто ими облагодетельствован, они именуют друзьями.

Утопийцы не вступают ни с одним народом в договоры, которые остальные народы столько раз взаимно заключают, нарушают и возобновляют. К чему договор, спрашивают они, — как будто природа не достаточно связует человека с человеком? Неужели можно думать, что тот, кто пренебрежет ею, будет заботиться об исполнении слов? К этому мнению они приходят главным образом потому, что в тех странах договоры и соглашения государей соблюдаются не особенно добросовестно. Вот в Европе, особенно в тех частях ее, где распространена христианская вера и религия, повсюду величие договоров свято и нерушимо. Причиной этого служат, с одной стороны, справедливость и доброта государей, а с другой — уважение и страх перед папами. Они как сами не берут на себя ничего без самого тщательного исполнения, так повелевают всем прочим государям всячески держать

ся своих обещаний, а уклоняющихся побуждают своим пастырским судом и строгостью. Они вполне справедливо признают величайшим позором отсутствие веры в договорах тех людей, которые по преимуществу называются верными.

А в том новом мире, который экватор отделяет от нашего не столько дальним расстоянием, как разницей в жизни и обычаях, нет никакой уверенности в договорах. Чем большими и святейшими церемониями сопровождается заключение каждого из них, тем скорее его нарушают. Именно, легко найти каверзу в словах, которые иногда умышленно диктуют так хитро, что ими нельзя сковать никакие узы, и открывается известная лазейка для одинаковой увертки и от договора и от верности. И вот лица, которые дали государям подобный совет, с похвалюбою называют себя виновниками его. А окажись такое лукавство, или скорее обман и коварство, в соглашении частных лиц, то эти же самые лица стали бы весьма высокомерно кричать, что это святотатство и заслуживает виселицы. Из этого можно сделать двоякий вывод: или вся справедливость представляется только презренной и низменной, сидящей далеко ниже высокого трона царей, или существуют, по крайней мере, две справедливости: одна из них приличествует простому народу, ходящая пешком и ползающая по земле, спутанная отовсюду многими оковами, чтобы она нигде не могла перескочить ограды; другая — добродетель государей; она — величественнее предшествующей, народной, а вместе с тем и значительно свободнее ее, потому ей все позволено, кроме того, что ей не угодно.

Эти нравы тамошних государей, так плохо соблюдающих договоры, служат, по-моему, причиною того, что утопийцы не заключают никаких договоров; но если бы они жили с нами, то, может быть, переменили бы мнение на этот счет. Правда, с точки зрения утопийцев, укоренившаяся привычка заключать договоры в общем противодействует надлежащему выполнению их. Именно, в силу этой привычки, народы, которые отделены один от другого только небольшим холмиком или ручейком, забывают, что их соединяют узы природы, а считают, что родились врагами и недругами друг другу, и законно идут губить одни других, если этому не препятствуют договоры. Мало того, даже после заключения их народы не сли-

ваются в дружбе, а оставляют за собою ту же возможность грабить друг друга, поскольку в условиях договора, при его заключении, не включено решительной оговорки, запрещающей это. Между тем, по мнению утопийцев, нельзя никого считать врагом, если он не сделал нам никакой обиды; узы природы заменяют договор, и лучше и сильнее взаимно объединять людей расположением, а не договорными соглашениями, сердцем, а не словами.

О военном деле

Утопийцы сильно гнушаются войною, как деянием поистине зверским, хотя ни у одной породы зверей она не употребительна столь часто, как у человека; вопреки обычаю почти у всех народов, они ничего не считают в такой степени бесславным, как славу, добытую войной. Не желая, однако, обнаружить, в случае необходимости, свою неспособность к ней, они постоянно упражняются в военных науках. Они никогда не начинают войны зря, а только в тех случаях, когда защищают свои пределы, или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-либо народ, угнетенный тиранией, и своими силами освобождают его от ига тирана и от рабства; это делают они по человеколюбию. Правда, они посылают помощь друзьям не всегда для защиты, но иногда также с целью отплатить и отомстить за причиненные обиды. Но они поступают так только в том случае, если, когда еще все было по-хорошему, к ним обращались за советом, они проверили дело, требовали и не получали удовлетворения. После всего этого они решают напасть на зачинщиков войны. Так поступают они во всех тех случаях, когда враги произвели набег и угнали добычу. Но особенно яростно действуют они тогда, когда их купцы, где бы то ни было, подвергаются, под предлогом справедливости, несправедливому обвинению на основании поддельных законов или злостного подмена настоящих. Именно таково было происхождение той войны, которую незадолго до нашего времени утопийцы вели в защиту нефелогетов против алаополитов. Купцы нефелогетов были обижены алаополитами, которые, по их мнению, стояли на точке зрения права. Но было ли это право или несправедливое, во всяком случае, возмездием за него явилась жесточайшая война, во время которой к силам и ненависти той

и другой стороны присоединили свою помощь и средства окрестные племена. В результате одни из цветущих народов испытали значительное потрясение, а другие были сильно разорены, и, так как утопийцы боролись не для себя, основанные на зле бедствия алаополитов кончились их рабством и сдачей, в силу чего они перешли во власть нефелогетов. Этот народ, когда дела алаополитов были в цветущем положении, не мог идти ни в какое сравнение с ними.

С такой жестокостью мстят утопийцы за обиды, даже денежные, причиненные их друзьям. К собственным обидам они менее чувствительны. Если они потерпят в силу обмана имущественный ущерб, но при этом дело обошлось без физического насилия, то до получения удовлетворения они выражают свой гнев только тем, что воздерживаются от сношений с этим народом. Это зависит не от того, что они заботятся о своих гражданах меньше, чем о союзниках, но отобрание у последних денег приводит утопийцев в большее негодование, чем если бы это случилось с ними самими. Дело в том, что купцы их друзей теряют часть своей личной собственности и потому ощущают от урона тяжелую рану; а у граждан Утопии гибнет только часть государственного достояния, и притом такая, которая являлась в своей стране избытком и, так сказать, лишним остатком,— иначе она не подлежала бы вывозу за границу. Таким образом, урон ни для кого не является ощутительным. Поэтому они считают чересчур жестоким мстить смертью многих за убыток, невыгода которого прошла не замеченной для их жизни и ее потребностей. Но если какой их гражданин где бы то ни было получит от обиды увечье или смерть, то, произошло ли это по вине государства или частных лиц, они отправляют послов для расследования дела и успокаиваются только с выдачей виновных, а иначе немедленно объявляют войну. Выданных виновных они карают смертью или рабством.

Победы, соединенные с кровопролитием, вызывают у них не только чувство отвращения, но и стыда. Они приравнивают это к безумию покупать за чрезмерно дорогую цену хотя бы и редкостные товары. Наоборот, победа и подавление врага искусством и хитростью служит для них предметом усиленной похвальбы; они устраивают по этому поводу триумф от имени государства и, как после геройского подвига, воздвигают памятник. Они с гордо-

стью заявляют, что только подобная победа должна быть признана действительно мужественной и доблестной, так как ее не могло таким способом одержать никакое другое животное, кроме человека, а именно — силою таланта. Действительно, физическою силою борются, по их словам, медведи, львы, вепри, волки, собаки и прочие звери; большинство их превосходит нас силой и свирепостью, но, с другой стороны, все они уступают нам в отношении талантливости и разума.

Во время войны утопийцы имеют в виду исключительно одно: добиться осуществления той цели, предварительное достижение которой сделало бы войну излишнею. Если же обстоятельства запрещают это, они требуют для врагов особо сурового возмездия, наводя на них такой ужас, который не даст им дерзнуть на то же самое впоследствии. Эти свои цели и намерения они намечают ясно и стремятся осуществить возможно скорее, но все же на первом плане стоит у них забота о том, чтобы избежать опасностей, а не о том, чтобы добиться похвалы и славы. Поэтому сразу по объявлении войны они стараются тайно и одновременно развесить в наиболее заметных местах вражеской страны воззвания, скрепленные своей государственной печатью. Здесь они обещают огромные награды тому, кто погубит вражеского государя; затем меньшие, хотя также очень хорошие награды, назначаются за каждую отдельную голову тех лиц, чьи имена объявлены в тех же воззваниях. Эти лица, с точки зрения утопийцев, стоят на втором месте после государя как виновники раздора с ними. Награда, обещанная убийце, удваивается для того, кто приведет к ним живым кого-нибудь из внесенных в упомянутые списки. Наряду с этим и сами внесенные в списки приглашаются действовать против товарищей, причем им обещаются те же самые награды и вдобавок безнаказанность.

В результате враги утопийцев начинают быстро заподозреть всех прочих людей, не могут ни на кого положиться и не верят друг другу, а пребывают в сильном страхе и ожидании опасностей. Неоднократно известны такие случаи, когда значительную часть внесенных в списки лиц, и прежде всего самого государя, выдавали те, на кого эти лица особенно надеялись. Так легко подарки склоняют людей на любое преступление. А утопийцы не знают никакой меры в обещании этих подарков. Вместе

с тем они не забывают, на какой решительный шаг они толкают людей, а потому стараются силу опасности возместить громадностью благодеяний; именно, они обещают не только неизмеримую кучу золота, но и очень доходные имения, которые назначают в полную и постоянную собственность в наиболее безопасных местностях, принадлежащих их друзьям; эти обещания они осуществляют с полнейшей добросовестностью.

Другие народы не одобряют такого обычая торговли с врагом и его покупки, признавая это жестоким поступком, основанным на нравственной низости; утопийцы же вменяют это себе в огромную похвалу, считая подобное окончание сильнейших войн совершенно без всякого сражения делом благоразумия. Вместе с тем они называют такой образ действий и человечным и милосердным. Действительно, смерть немногих виновных искупает жизнь многих невинных, обреченных на смерть в сражении, как из среды самих утопийцев, так и их врагов. Массу простого народа утопийцы жалеют почти не меньше, чем своих граждан. Они знают, что эти люди идут на войну не по своей воле, а гонимые безумием государей.

Если дело не подвигается путем подкупа, то утопийцы начинают разбрасывать и выращивать семена междоусобий, прельщая брата государя или кого-нибудь из вельмож надеждой на захват верховной власти. Если внутренние раздоры утихнут, то они побуждают и натравливают на врагов их соседей, для чего откапывают какую-нибудь старую и спорную договорную статью, которые у королей всегда имеются в изобилии. Из обещанных собственных средств для войны утопийцы деньги дают весьма щедро, а граждан очень экономно; ими тогда они особенно дорожат и вообще настолько ценят друг друга, что никого из своих граждан не согласились бы променять на вражеского государя. Что же касается золота и серебра, то их они тратят без всякого затруднения, так как хранят эти металлы целиком исключительно для подобных надобностей, тем более что и в случае совершенного израсходования этих средств жизнь утопийцев должна протекать с не меньшими удобствами. Вдобавок, кроме богатств, хранящихся дома, у них есть еще неизмеримое сокровище за границей, в силу которого, как я сказал раньше, очень многие народы у них в долгу. Таким образом, они посы-

лают на войну солдат, нанятых отовсюду, а особенно из среды заполетов. Этот народ живет на восток от Утопии, на расстоянии пятисот миль, и отличается суровостью, грубостью и свирепостью. Они предпочитают всему непроходимые леса и горы, которые их вскормили. Это — племя дикое, привычное к жаре, холоду и труду, чуждое всякой изнеженности; земледелием они не занимаются, на свои жилища и платье не обращают никакого внимания, а имеют попечение только о скоте. Живут они по большей части охотой и грабежом, рождены исключительно для войны, усердно ищут возможности вести ее, а когда найдут, с жадностью хватаются за это и, выступив в большом числе, за дешевую плату предлагают себя всякому ищущему солдат. В жизни они знают только то искусство, которым добывается смерть. У кого они служат, за того они борются энергично и с неподкупной верностью. Но они не связывают себя никаким определенным сроком, а берутся за дело под тем условием, что на следующий день готовы стать на сторону врагов, если те предложат им большее вознаграждение, через день же могут вернуться обратно, если их пригласить с надбавкой цены. Редкая война начинается без того, чтобы в войске обеих сторон не было значительной доли заполетов. В силу этого ежедневно бывает, что люди, связанные узами кровного родства, которые, служа по найму на одной и той же стороне, жили в самом тесном дружеском общении, немного спустя разделяются по неприятельским войскам и встречаются как враги и в самом неприязненном настроении; они забывают о происхождении, не помнят о дружбе, а наносят раны друг другу, и к этой взаимной гибели их гонит только та причина, что различные государи наняли их за крохотные деньжонки. Заполеты ведут такой точный счет им, что за прибавку к ежедневной плате одного гроша легко склонны перейти на другую сторону. Таким образом, они быстро впитали в себя алчность, которая, однако, не приносит им никакой пользы. Именно, что они добывают кровью, то немедленно тратят на роскошь, и притом жалкого свойства.

Этот народ сражается на стороне утопийцев против кого угодно, потому что получает за свою работу такую высокую плату, как нигде в другом месте. Именно, утопийцы ищут не только хороших людей на пользу себе, но

и этих негодяев, чтобы употребить их на зло. В случае надобности они подстрекают заполетов щедрыми посулами и подвергают их величайшим опасностям, из которых обычно большая часть заполетов никогда не возвращается за обещанным. Но тем, кто уцелеет, утопийцы добросовестно выплачивают, что посулили, желая разжечь их на подобный же риск. Поступая так, утопийцы имеют в виду только гибель возможно большего количества их, так как рассчитывают заслужить большую благодарность человечества в случае избавления вселенной от всего сброда этого отвратительного и нечестивого народа.

После заполетов утопийцы берут войска того народа, в защиту которого поднимают оружие, затем вспомогательные отряды прочих друзей. Напоследок они присоединяют собственных граждан, одного из которых, мужа испытанной доблести, они ставят во главе всего войска. К нему назначаются два заместителя, которые, однако, остаются частными людьми, пока с начальником ничего не произошло. В случае же его плена или гибели его замещает, как по наследству, один из двух упомянутых помощников, а его, глядя по обстоятельствам, — третий. Причиной этого служит опасение, что, ввиду превратности жребиев войны, несчастный случай с полководцем может привести в замешательство все войско. В каждом городе производится набор из числа тех, кто записывается добровольно. Утопийцы не гонят никого на военную службу за границу против его воли, так как убеждены, что если кто робок от природы, то не только сам не совершит каких-либо храбрых подвигов, но внушит еще страх товарищам. Но если война обрушится на их отечество, то подобные трусы, при условии обладания физической силой, распределяются по кораблям попеременно с лучшими гражданами или расставляются там и сям по стенам, откуда нельзя убежать. Таким образом, стыд перед согражданами, враг под рукою и отсутствие надежды на бегство уничтожают страх, и часто из храбрецов поневоле они обращаются в настоящих.

Повторяю, утопийцы не тянут никого из своей среды против его воли на войну за границу, но, с другой стороны, если какая женщина пожелает пойти с мужем на военную службу, то она не только не встречает препятствия в этом, а, наоборот, поощрение и похвалу; в строю вся-

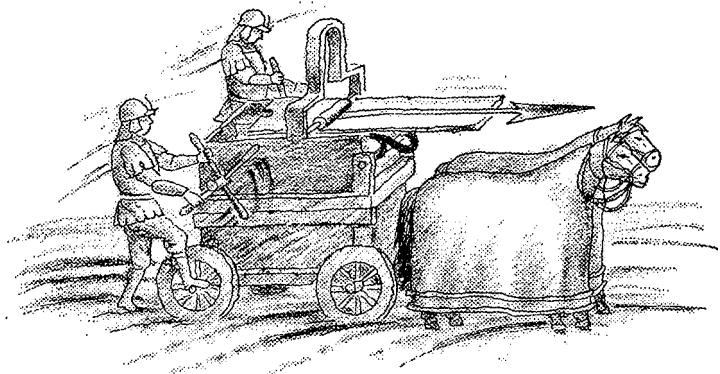
кую из выступивших ставят рядом с ее мужем, затем каждого окружают его дети, свойственники и родственники. Таким образом, ближайшей и непосредственной поддержкой друг другу служат те, кого сама природа всего сильнее подстрекает приносить помощь друг другу. Огромным позором считается, если один из супругов вернется без другого или сын придет обратно, потеряв отца. Поэтому, если самим утопийцам приходится вступить в рукопашный бой, то, в случае упорного сопротивления врагов, сражение затягивается надолго, ведется с ожесточением и заканчивается полным уничтожением противника. Понятно, что утопийцы всячески стараются избежать необходимости бороться, но, с другой стороны, когда вступить в битву им представляется неминуемым, то их бесстрашие в этом отношении равняется тому благоразумию, с каким ранее, пока была возможность, они уклонялись от боя. Отвага их проявляется не сразу с первым натиском, но они набираются сил и крепнут медленно и мало-помалу доходя до такого упорства, что их можно скорее уничтожить, чем заставить повернуть тыл. Подъем настроения и презрение к поражению создаются у них твердой надеждой на то, что у каждого из них имеется дома все необходимое для пропитания; кроме того, им не надо тревожиться и думать о своем потомстве, а такая забота везде губит порывы благородного мужества. Далее, их уверенность в себе создается осведомленностью в военных науках; наконец, храбрость их усиливается от правильных воззрений, которые внушены им с детства и образованием, и прекрасным государственным строем. В силу этого они не ценят жизнь настолько дешево, чтобы тратить ее зря, но вместе с тем и не дорожат ею с таким бесстыдством, чтобы жадно и позорно цепляться за нее, когда долг чести внушает расстаться с ней.

В то время как везде кипит ожесточенная битва, отборные юноши, связанные клятвой и присягой, намечают себе в жертву вражеского вождя. Он подвергается открытому нападению и ловле из засады; его преследуют издали и вблизи; его атакует длинный и непрерывный клин, утомленные борцы которого постоянно заменяются свежими. Если этот вождь не спасется бегством, то дело редко обходится без его гибели или без того, что он живым попадает во власть врагов. Если победа остается на

стороне утопийцев, то они отнюдь не продолжают кровопролития; бегущих они охотнее берут в плен, чем убивают. Вместе с тем они никогда не увлекаются преследованием беглецов настолько, чтобы не удержать все же одного отряда под знаменами и в полном боевом порядке. Поэтому если все прочие части их армии терпели поражение и утопийцам удавалось одержать победу только при помощи их последнего отряда, то они позволяли скорее уйти всем врагам, чем себе преследовать беглецов, приведя свои ряды в замешательство. Они припоминают при этом такие случаи из своей практики: вся масса их войск бывала разбита наголову, враги, радуясь победе, преследовали отступавших по всем направлениям, а немногие из утопийских граждан, помещенные в резерве и выжидавшие удобного случая, внезапно нападали врасплох на бродивших вразброд и забывших всякую осторожность неприятелей. Это меняло исход всего сражения; вполне верная и несомненная победа исторгалась из рук, и побежденные, в свою очередь, побеждали победителей.

Что касается военных хитростей, то трудно сказать, в чем тут утопийцы проявляют больше ловкости — в том, чтобы их устроить, или в том, чтобы их избежать. Можно подумать, что они готовятся к бегству, когда они об этом менее всего думают; наоборот, когда они принимают такое решение, то можно предположить, что они на это менее всего рассчитывают. Именно, если они замечают свою чрезмерную слабость с точки зрения позиции или численности, то снимаются с лагеря в ночном безмолвии или ускользают при помощи какой-либо военной хитрости; а иногда они медленно отходят днем, но соблюдают при этом такой боевой порядок, что, отступая, представляют не меньшую опасность для нападения, как если бы они наступали. Лагерь они укрепляют весьма тщательно очень глубоким и широким рвом, а удаляемую землю выбрасывают внутрь; для этой работы они не прибегают к помощи наемников; все делается руками самих солдат. Занято этим все войско, за исключением тех, кто стоит на страже на валу на случай внезапных нападений. В итоге такого усиленного старания со стороны многих большие и требующие много места укрепления заканчиваются утопийцами быстрее всякого вероятия.

Оружие для отражения ударов у них очень крепкое и отлично приспособленное для всякого движения и ношения; поэтому тяжести его они не чувствуют даже и при плавании. Привычка плавать в вооружении принадлежит к числу упражнений, связанных с военной наукой. Дальнобойным оружием служат стрелы, которые они — не только пехотинцы, но и конные — пускают с огромной силой и ловкостью. В рукопашном бою они дерутся не мечами, а топорами, которыми и рубят и колют, причиняя смерть их острием и тяжестью. Военные машины они изобретают очень искусно, а после сооружения тщательно прячут, чтобы не обнаружить их раньше, чем они понадобятся, и через это не сделать их скорее предметом насмешки, чем пользования. При устройстве этих машин прежде всего имеется в виду, чтобы они были легкими для перевозок и удобно поворачивались.



Заключенное с врагами перемирие они соблюдают свято, так что не нарушают его даже и тогда, когда их к тому вызывают. Вражеской страны они не опустошают, посевов не сжигают, а даже, по мере возможности, заботятся, чтобы их не потоптали люди или лошади. Утопийцы полагают, что эти посевы растут на их пользу. Из безоружных они никого не обижают, если это не шпион. Сдавшиеся города они охраняют, но и завоеванные не разграбляют, а убивают противившихся сдаче, прочих же защитников обращают в рабство. Все мирное население они оставляют нетронутым. Если они узнают про кого, что они советовали сдаться, то уделяют им известную часть из имущества осужденных: остальное они дарят союзникам. Из среды самих утопийцев никто не берет никакой добычи.

После окончания войны они налагают расходы не на друзей, на которых потратились, а на побежденных. С этой целью утопийцы требуют от них отчасти денег, которые берегут для подобных же военных случайностей, отчасти же имений немалой ценности, которые удерживают у них за собой навсегда.

Подобные доходы имеют они теперь у многих народов. Возникнув мало-помалу по разным причинам, эти доходы возросли до суммы выше семисот тысяч дукатов ежегодно. Для управления ими утопийцы ежегодно посылают некоторых из своих сограждан с именем квесторов, чтобы они могли жить там великолепно и представлять собою вельмож; но и после этого остается значительная часть денег, которая вносится в казну. Иногда же утопийцы предпочитают доверить ее тому же народу и так поступают часто до тех пор, пока она им понадобится. Но едва ли бывает когда-либо, чтобы они потребовали все целиком. Часть указанных имений они уделяют тем, кто по их подговору берст на себя упомянутое мною раньше рискованное предприятие. Если кто-либо из государей поднимает оружие против утопийцев и готовится напасть на их страну, они тотчас с большими силами выходят ему навстречу за свои пределы. Они не ведут зря войны на своей территории, и нет никакой побудительной причины, которая бы заставила их допустить на свой остров чужие вспомогательные войска.

О религиях утопийцев

Религии утопийцев отличаются своим разнообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почитают как бога Солнце, другие — Луну, третьи — одну из планет. Некоторые преклоняются не только как перед богом, но и как перед величайшим богом, перед каким-либо человеком, который некогда отличился своею доблестью или славой. Но гораздо большая, и притом наиболее благоразумная, часть не признает ничего подобного, а верит в некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, превышающее понимание человеческого разума, распространенное во всем этом мире не своею громадою, а силою: его называют они отцом. Ему одному они приписывают начала, возрастания, продвижения, изменения и концы всех вещей; ему же одному, и никому другому, они воздают и божеские почести.

Мало того, и все прочие, несмотря на различие верований, согласны с только что упомянутыми согражданами в признании единого высшего существа, которому они обязаны и созданием вселенной, и провидением. Все вообще называют это существо на родном языке Митрою, но расходятся в том, что этот одинаковый бог у всех принимается по-разному. Однако, по признанию всех, кем бы ни было то, что они считают высшим существом, в итоге это одна и та же природа, божественной силе и величию которой соглашение всех народов усваивает первенство над всем. Впрочем, мало-помалу утопийцы отстают от этих разнообразных суеверий и приходят к единодушному признанию той религии, которая, по-видимому, превосходит остальные разумностью. Нет сомнения, что прочие религии уже давно бы исчезли у них; но если кто задумает переменить религию, а судьба пошлет ему в это время какую-либо неудачу, то страх истолкует ее так, что она произошла не случайно, а послана с неба, именно — будто бы божество, культ которого оставляют, мстит за нечестивое намерение против него.

Но вот утопийцы слышали от нас про имя Христа, про его учение, характер и чудеса, про не менее изумительное упорство стольких мучеников, добровольно пролитая кровь которых привела в их веру на огромном протяжении столько многочисленных народов. Трудно поверить, как легко и охотно они признали такое верование; причиной этому могло быть или тайное внушение божие, или христианство оказалось ближе всего подходящим к той ереси, которая у них является предпочтительной. Правда, по моему мнению, немалую роль играло тут услышанное ими, что Христу нравилась совместная жизнь, подобная существующей у них, и что она сохраняется и до сих пор в наиболее чистых христианских общинах. Но какова бы ни была причина этого, немалое количество их перешло в нашу религию и приняло омовение святой водой.

Между тем из нас шестерых двое скончались, а из четырех оставшихся ни один, к сожалению, не был священником. Поэтому посвященные в прочие таинства утопийцы лишены тех, которые у нас совершают только священники. Однако утопийцы понимают эти таинства и очень сильно желают их. Мало того, они усердно обсуждают между собою вопрос, может ли какой-нибудь избранник из их среды получить сан священника без посылки к ним епископа. И, по-видимому, они склонялись к избранию,

но, когда я уезжал, никого еще не выбрали. Даже и те, кто не согласен с христианской религией, все же никого не отпугивают от нее, не нападают ни на одного ее приверженца. Только одно лицо из нашей среды подверглось в моем присутствии наказанию по этому поводу. Это лицо, недавно принявшее крещение, стало, с большим усердием, чем благоразумием, публично рассуждать о поклонении Христу, хотя мы советовали ему не делать этого. При таких беседах он стал увлекаться до того, что не только предпочитал наши святыни прочим, но подвергал беспрестанному осуждению все остальные; громко кричал, что все они — языческие, поклонники их — нечестивцы и святотатцы и должны быть наказаны вечным огнем. Он долгое время рассуждал на эту тему, но был арестован и подвергнут суду и осуждению как виновный не в презрении к религии, а в возбуждении смуты в народе. По осуждению он был приговорен к изгнанию. Именно, среди древнейших законов утонийцев имеется такой, что никому его религия не ставится в вину.

Действительно, Утоп с самого начала узнал, что до его прибытия туземцы вели между собою постоянную религиозную борьбу; вместе с тем он заметил, что при общем раздоре каждая секта боролась за отечество в розницу, и это обстоятельство дало ему возможность без труда победить всех. Поэтому, одержав победу, он прежде всего узаконил, что каждому позволено принадлежать к той религии, какая ему нравится, если же он будет пытаться обратить к ней других, то может это устраивать только мирным и кротким путем, силой доказательств; если же он не достигнет этого советами, то не должен отворачивать от других верований суровостью; он не должен применять никакого насилия, и ему надо воздерживаться от всяких ругательств. Всякого дерзкого спорщика по этому вопросу они наказывают смертью или рабством.

Утоп провел этот закон не только из уважения к внутреннему миру, который, как он видел, совершенно уничтожается от постоянной борьбы и непримиримой ненависти; нет, мысль законодателя была та, что это постановление необходимо в интересах самой религии. Утоп не рискнул вынести о ней какое-нибудь необдуманное решение. Для него было неясно, не требует ли бог разнообразного и многостороннего поклонения и потому внушает разным людям разные религии. Во всяком случае, законо-

датель счел нелепостью и наглостью заставить всех признавать то, что ты считаешь истинным. Но, допуская тот случай, что истинна только одна религия, а все остальные суетны, Утоп все же легко предвидел, что сила этой истины в конце концов выплывет и выявится сама собою; но для достижения этого необходимо действовать разумно и кротко. Если же дело дойдет до волнений и борьбы с оружием в руках, то наилучшая и святейшая религия погибнет под пятою суетнейших суеверий, как нивы среди терновника и сорняка, так как все скверные люди отличаются наибольшим упорством. Поэтому Утоп оставил весь этот вопрос нерешенным и предоставил каждому свободу веровать, во что ему угодно. Но он с неумолимой строгостью запретил всякому ронять так низко достоинство человеческой природы, чтобы доходить до признания, что души гибнут вместе с телом и что мир несется зря, без всякого участия провидения. Поэтому, по их верованиям, после настоящей жизни за пороки назначены наказания, а за добродетель — награды. Мыслящего иначе они не признают даже человеком, так как подобная личность приравнила возвышенную часть своей души к презренной и низкой плоти зверей. Такого человека они не считают даже гражданином, так как он, если бы его не удерживал страх, не ставил бы ни во что все уставы и обычаи. Действительно, если этот человек не боится ничего, кроме законов, надеется только на одно свое тело, то какое может быть сомнение в том, что он, угождая лишь своим личным страстям, постарается или искусно обойти государственные законы своего отечества, или преступить их силою? Поэтому человеку с таким образом мыслей утопийцы не оказывают никакого уважения, не дают никакой важной должности и вообще никакой службы. Его считают везде за существо бесполезное и низменное. Но его не подвергают никакому наказанию в силу убеждения, что никто не волен над своими чувствами. Вместе с тем утопийцы не заставляют его угрозами скрывать свое настроение; они не допускают притворства и лжи, к которым как ближе всего граничащим с обманом, питают удивительную ненависть. Но они заставляют его вести диспуты в пользу своего мнения, правда, только перед народной массой: отдельные же беседы со священниками и серьезными людьми ему не только дозволяются, но даже и поощряются, так как уто-

пийцы уверены в том, что это безумие должно в конце концов уступить доводам разума.

Есть там и другая секта, отнюдь не малочисленная и не встречающая никакого запрета, так как приверженцы ее не считаются людьми дурными и по-своему не совершенно лишены разума. Именно, они держатся совершенно противоположного превратного мнения, будто и души скотов существуют вечно, хотя они все же по достоинству несравнимы с нашими и не рождены для равного счастья. Что же касается душ людей, то почти все утопийцы считают верным и непреложным их неизмеримое блаженство. Поэтому из больных они оплакивают всех, а из покойников никого, кроме тех, кто, по их наблюдению, расстается с жизнью со страхом и против воли. Именно, они считают это очень дурным предзнаменованием и предполагают, что такая душа боится конца, так как безнадежно томится от какого-то тайного предчувствия грядущего наказания. Сверх того, по их мнению, богу отнюдь не будет угоден приход такого человека, который не бежит охотно на зов, а тащится против воли и упираясь. Взирающие на смерть подобного рода приходят в ужас и поэтому выносят усопших с печалью и в молчании и зарывают труп в землю после молитвы милостивому к душам богу, чтобы он по своей благодати простил их слабости.

Наоборот, никто не скорбит о всех тех, кто скончался бодрым и исполненным доброй надежды. Похороны таких лиц они сопровождают пением, поручают их души богу с большой любовью и в конце концов сжигают их тела скорее с уважением, чем со скорбью, и воздвигают на этом месте столп с вырезанными на нем заслугами умершего. По возвращении домой они разбирают черты его характера и поступки, и ни одна сторона жизни не упоминается так часто и так охотно, как его радостная кончина. Это воспоминание о высоких качествах умершего, по их мнению, служит для живых весьма действенным поощрением к добродетелям; вместе с тем они считают такое уважение весьма приятным и для усопших; они, по предположению утопийцев, присутствуют при разговорах о них, но, по притупленности человеческого зрения, невидимы. Действительно, с уделом блаженства не может быть связан лишение свободы переселяться куда угодно, а с другой стороны, умершие обнаружили бы полную неблагодарность, отказавшись совершенно от

желания видеть своих друзей, с которыми их связывала при жизни взаимная любовь и привязанность, а это чувство, — догадываются утопийцы, — подобно прочим благам, скорее увеличивается после смерти, чем уменьшается. Итак, по их верованиям, мертвые пребывают среди живых, наблюдая за их словами и деяниями. Поэтому, как бы опираясь на таких защитников, утопийцы приступают к своим делам с большой смелостью, а вера в присутствие предков удерживает их от тайных бесчестных поступков.

Утопийцы совершенно презирают и высмеивают приметы и прочие гадания, очень уважаемые другими народами, но основанные на пустом суеверии, а преклоняются перед чудесами, происходящими без всякого пособия природы, считая их деяниями, свидетельствующими о присутствии божества. По их словам, подобные чудесные знамения часто бывают и в их стране. Иногда, в важных и сомнительных случаях, утопийцы призывают их общественными молитвами, в твердом уповании на их действие, и достигают этого.

Утопийцы признают, что созерцать природу и затем восхвалять ее — дело святое и угодное богу. С другой стороны, среди них есть лица, и притом немалочисленные, которые, руководясь религией, отвергают науки, не заботятся ни о каком знании, и в то же время не имеют совершенно никакого досуга: они решили заслужить будущее блаженство после смерти только деятельностью и добрыми услугами остальным. Поэтому одни ухаживают за больными, другие ремонтируют дороги, чистят рвы, чинят мосты, копают дерн, песок, камни, валят деревья и разрубают их, возят на телегах в города дрова, зерно и другое и не только по отношению к государству, но и к частным лицам ведут себя как слуги и усердствуют более рабов. Они охотно и весело берут на себя где бы то ни было всякое дело, неприятное, тяжелое, грязное, от которого большинство уклоняется по его трудности, отращиванию к нему и его безнадёжности. Другим они доставляют покой, а сами находятся в постоянной работе и трудах и все же не порицают, не клеймят жизни других, но не превозносят и своей. Чем более несут они рабский труд, тем больший почет получают от остальных.

Эта секта имеет две разновидности. Одни — холостяки, которые не только совершенно воздерживаются от усад Венеры, но и от употребления мяса, а иные и от всякой животной пищи; они отвергают, как вредные, удо-

вольствия настоящей жизни, стремясь через бдение и в поте лица только к будущей, и сохраняют все же веселость и бодрость в надежде на ее скорое достижение. Другие при не меньшем стремлении к труду предпочитают брак; они не отрицают утех его и считают, что должны исполнить долг природы в этом отношении и дать отечеству потомство. Они не уклоняются ни от какого удовольствия, если оно не удерживает их от труда. Они любят мясо четвероногих по той причине, что, по их мнению, эта пища делает их более сильными для всякой работы. Этих вторых сектантов утопийцы считают более благоразумными, а первых более чистыми. Если бы сектанты первого рода основывали на доводах разума свое предпочтение безбрачия — браку и жизни суровой — жизни спокойной, то они подверглись бы осмеянию; теперь же за свое признание, что они руководятся тут религией, они встречают уважение и почтение. Утопийцы с особым старанием следят за тем, чтобы не высказать какого-либо опрометчивого суждения о какой-нибудь религии. Таковы те люди, которым они дают на своем языке особое название — бутрески; это слово можно перевести латинским «религиозные».

Священники утопийцев отличаются особым благочестием, и потому их очень немного, именно — не более тринадцати в каждом городе при одинаковом числе храмов, за исключением тех случаев, когда предстоит война. Тогда семь из них отправляются с войском и столько же временно замещают их. Но каждый из вернувшихся получает обратно свое место. Заместители остаются временно в свите первосвященника и заменяют по порядку первых, когда те умирают. Первосвященник стоит во главе остальных. Священников выбирает народ, и притом, подобно прочим чиновникам, тайным голосованием, во избежание пристрастия. Избранные получают посвящение от своей коллегии. Они заведуют богослужением, исполняют религиозные обряды и являются, так сказать, блюстителями нравов. Большим позором считается, если они вызывают кого к себе по поводу его недостаточно нравственной жизни или делают ему выговор.

Увещание и внушение лежат на обязанности священников, а исправление и наказание преступных принадлежат князю и другим чиновникам. Но священники отлучают от участия в богослужении тех, кого они признают безнадежно испорченными. Ни одного наказания утопийцы не страшатся больше этого. Именно, подвергшиеся

эму лица испытывают величайший позор, терзаются тайным религиозным страхом, и даже личность их не остается долго в безопасности. Если они не поспешат доказать священникам свое раскаяние, то подвергаются аресту и несут от сената кару за свое нечестие.

Священники занимаются образованием мальчиков и юношей. Но они столько же заботятся об учении, как и о развитии нравственности и добродетели. Именно, они прилагают огромное усердие к тому, чтобы в еще нежные и гибкие умы мальчиков впитать мысли, добрые и полезные для сохранения государства. Запав в голову мальчиков, эти мысли сопровождают их на всю жизнь и после возмужалости и приносят большую пользу для охраны государственного строя, который распадается только от пороков, возникающих от превратных мыслей.

Священниками могут быть и женщины. Этот пол не исключен, но выбирается реже, и это бывают только вдовы, и притом пожилые. И жены священников принадлежат к самым выдающимся женщинам в стране. Вообще ни одно должностное лицо не пользуется у утопийцев большим почетом, и даже в случае совершения какого-либо позорного поступка священники не подлежат суду общества, а предоставляются только богу и себе самим. Утопийцы считают греховным касаться смертной рукою такого человека, который, каким бы он ни был злодеем, посвящен богу, как свособразная священная жертва. Соблюдать этот обычай утопийцам тем легче, что священников очень мало и выбор их производится с особой тщательностью. Да и трудно допустить, что порче и пороку может поддаться наилучший из хороших человек, возвышенный в такой сан из уважения к одной добродетели. А уж если бы это действительно случилось в силу изменчивости человеческой природы, то все же не должно чрезмерно бояться, что священники могут погубить государство, ввиду их незначительного числа и отсутствия у них всякой власти, кроме почета. Столь малое число их установлено у утопийцев именно для того, чтобы от разделения почета между многими не падало достоинство их сословия, которому оказывается теперь такое высокое уважение. Особенно же трудным признают утопийцы найти в большом количестве таких хороших людей, которые соответствовали бы этому сану; для ношения его недостаточно обладать посредственными добродетелями.

Утопийские священники пользуются у чужих народов не меньшим уважением, чем у себя дома. Это легко вид-

но из того, из чего, по моему мнению, это уважение и возникло. Именно, во время решительного боя они не в очень дальнем расстоянии становятся отдельно на колени, одетые в священные облачения; воздев к небу руки, они молятся прежде всего об общем мире, затем о победе для своих, но без кровопролития для той и другой стороны. Когда войска утопийцев начинают брать верх, священники бегут в центр битвы и запрещают свирепствовать против побежденных. Если враги посмотрят на священников и обратятся к ним непосредственно, то этого достаточно для спасения жизни побежденного, а прикосновение его к их развевающимся одеждам защищает даже и его имущество от всякого лишения, связанного с войной. Поэтому все соседние народы питают к ним огромное уважение и так высоко ценят их величие, что священники столь же часто спасали свое войско от врагов, как врагов от своих граждан. Именно, бывали иногда такие случаи, когда войско утопийцев начинало подаваться, положение становилось отчаянным, они готовились даже бежать, а враги устремлялись бить и грабить их, и вот тут вмешательство священников прерывало резню, оба войска размыкались и заключали между собою прочный мир на справедливых условиях. Никогда не было ни одного народа, настолько дикого, жестокого и варварского, который бы не признавал личность утопийских священников неприкосновенной и не подлежащей оскорблениям.

Утопийцы считают праздничными начальный и последний день каждого месяца, а равно и года, который делят на месяцы; срок их ограничен обращением Луны, а год определяется круговоротом Солнца. Первые дни каждого месяца они называют на своем языке цинемерными, а последние — трапемерными; эти слова можно перевести: первые праздники и конечные праздники.

Храмы их представляют выдающееся зрелище; они не только построены с большим искусством, но и могут вместить огромное количество народа, что является необходимым при крайней их малочисленности. Все они, однако, темноваты. По объяснениям утопийцев, это произошло не от невежества в архитектуре, а устроено по совету священников. Именно, по их мнению, неумеренный свет рассеивает мысли, а скудный и, так сказать, сомнительный сосредоточивает религиозное чувство. Религия в Утопии не у всех одинакова, но ее виды, несмотря на свое разнообразие и многочисленность, различными путями как бы

сходятся все к одной цели — почитанию божественной природы. Поэтому в храмах не видно и не слышно ничего такого, что не подходило бы ко всем религиям вообще. Священнодействия, присущие всякой секте в отдельности, каждый отправляет в стенах своего дома. Общественные богослужения совершаются таким чином, который ни в чем не противоречит службам отдельных сект.

Поэтому в храме не видно никаких изображений богов, отчего каждый волен представлять себе бога в какой угодно форме, так сказать с точки зрения своей религии. Обращаясь к богу, они не называют его никаким особым именем, кроме Митры; этим наименованием все согласно признают единую природу его божественного величия, какова бы ни была она. Утопийцы не творят никаких молитв, которых каждый не мог бы произнести без оскорбления своей секты.

Итак, в конечные праздники они натошак вечером собираются в храм с тем, чтобы благодарить бога за благополучно проведенный год или месяц, последний день которого составляет этот праздник. На следующий день, то есть в первый праздник, они рано утром стекаются во храм для совместной молитвы о благополучии и счастье в наступающем году или месяце, который они готовятся освятить этим праздником. Но в конечные праздники, до отправления в храм, жены припадают к ногам мужей, дети — родителей, признают свои прегрешения в том, что они или совершили что-нибудь неподобающее, или небрежно относились к своим обязанностям, и молят о прощении своих заблуждений. Таким образом, всякое облачко, омрачавшее домашний раздор, рассеивается от подобного извинения, и они могут участвовать в богослужении с чистым и ясным настроением. Присутствие же там с нечистой совестью считается греховным. Поэтому человек, сознающий за собою ненависть или гнев на кого-нибудь, идет на богослужение, только примирившись и очистившись; иначе он опасается быстрого и тяжкого возмездия.

По приходе в храм мужчины направляются на правую сторону его, а женщины — отдельно, на левую. Затем они размещаются так, что мужчины каждого дома садятся впереди отца семейства, а вереницу женщин замыкает мать семейства. Это делается в тех видах, чтобы все движения каждого вне дома подлежали наблюдению со стороны тех, чей авторитет и надзор руководит ими дома. Мало того, они старательно следят также за тем, чтобы

младшие сидели там повсюду бок о бок со старшими, иначе дети, порученные детям же, будут проводить в детских шалостях то время, когда они должны особенно проникаться религиозным страхом к божеству, а это служит главнейшим и почти единственным поощрением к добродетели.

Утопийцы не закалывают на богослужении никаких животных и не думают, чтобы бог, даровавший в своем милосердии жизнь людям для жизни же, находил удовольствие в крови и убийствах. Они зажигают ладан, равно как и другие благовония, и сверх этого приносят массу восковых свечей. Им отлично известно, что это, равно как и самые молитвы людей, отнюдь не нужно для природы божества, но им нравится подобный безвредный род богочитания, и они чувствуют, что этот запах, освещение, равно как и прочие обряды, каким-то непонятным образом возвышают людей и пробуждают в них большую бодрость для поклонения богу. Народ в храме одет в белое платье; священник облекается в разноцветное, удивительное по работе и по форме. Материя его не очень дорогая: она не выткана из золота и не украшена редкостными камушками, но очень умело и с замечательным искусством выделана из птичьих перьев, так что стоимость работы не может сравняться ни с какой материей. К тому же, по словам утопийцев, в перьях и пухе этих птиц и в их определенном расположении, в котором они чередуются на одежде священника, заключается некий таинственный смысл. Истолкование его, которое тщательно передается священнослужителями, должно напоминать о благодеяниях божиих к ним, равно как и об их богобоязненности и о взаимных обязанностях друг к другу.

Когда священник в таком наряде впервые появляется из святилища, все немедленно с благоговением падают ниц на землю. При этом со всех сторон царит самое глубокое молчание, так что самая внешность этого обряда внушает известный страх, как будто от присутствия какого-нибудь божества. Полежав немного на земле, они поднимаются по данному священником знаку. Затем они поют хвалы богу, которые чередуют с игрой на музыкальных инструментах, по большей части другой формы, чем те, которые имеются у нас. Большинство из этих инструментов своею приятностью превосходят употребительные у нас, их нельзя даже и сравнивать с нашими. Но в одном отношении, без сомнения, утопийцы значительно превосходят нас; вся их музыка, гремит ли она на органах или

исполняется голосом человека, весьма удачно изображает и выражает естественные ощущения; звук вполне приспособляется к содержанию, есть ли это речь молитвы или радость, умилоствление, тревога, печаль, гнев; форма мелодии в совершенстве передает определенный смысл предмета. В результате она изумительным образом волнует, проникает, зажигает сердца слушателей.



Напоследок священник, равно как и народ, торжественно произносит праздничные молитвы. Они составлены так, что читаемое всеми вместе каждый в отдельности может относить к самому себе. В этих молитвах всякий признает бога творцом, правителем и, кроме того, подателем всех прочих благ; воздает ему благодарность за столько полученных благодеяний, а особенно за то, что попал в такое государство, которое является самым счастливым, получил в удел такую религию, которая, как он надеется, есть самая истинная. Если же молящийся заблуждается в этом отношении или если существует что-нибудь лучшее данного государственного строя и религии и бог одобряет это более, то он просит, чтобы по благодати божией ему позволено было познать это; он готов следовать, в каком бы направлении бог ни повел его. Если же этот вид государства есть наилучший и избранная им религия — самая приличная, то да пошлет ему бог силу держаться того и другого и да приведет он всех остальных смертных к тем же правилам жизни, к тому же представлению о боге. Правда, может быть, неисповедимая воля находит удовольствие в подобном разнообразии религий. Наконец, утопиец молится, чтобы бог принял его к себе после легкой кончины; конечно, молящийся не дерзает определить, будет ли это скоро или поздно. Правда, насколько

это позволительно совместить с величием божиим, для утопийца будет гораздо приятнее перейти к богу после самой тяжелой смерти, чем вести долгую удачную жизнь вдали от него. После произнесения этой молитвы они снова падают ниц на землю, и, встав через короткое время, идут обедать, а остаток дня проводят в играх и в занятиях военными науками.

Я описал вам, насколько мог правильно, строй такого общества, какое я, во всяком случае, признаю не только наилучшим, но также и единственным, которое может присвоить себе с полным правом название общества. Именно, в других странах повсюду говорящие об общественном благополучии заботятся только о своем собственном. Здесь же, где нет никакой частной собственности, они фактически занимаются общественными делами. И здесь и там такой образ действия вполне правилен. Действительно, в других странах каждый знает, что, как бы общество ни процветало, он все равно умрет с голоду, если не позаботится о себе лично. Поэтому в силу необходимости он должен предпочитать собственные интересы интересам народа, то есть других. Здесь же, где все принадлежит всем, наоборот, никто не сомневается в том, что ни один частный человек не будет ни в чем терпеть нужды, стоит только позаботиться о том, чтобы общественные магазины были полны. Тут не существует неравномерного распределения продуктов, нет ни одного нуждающегося, ни одного нищего, и хотя никто ничего не имеет, тем не менее все богаты. Действительно, может ли быть лучшее богатство, как лишенная всяких забот, веселая и спокойная жизнь? Тут не надо тревожиться насчет своего пропитания; не приходится страдать от жалобных требований жены, опасаться бедности для сына, беспокоиться о приданом дочери. Каждый может быть спокоен насчет пропитания и благополучия как своего, так и всех своих: жены, сыновей, внуков, правнуков, праправнуков и всей длинной вереницы своих потомков, исчисление которой принято в знатных родах. Далее, о потерявших работоспособность утопийцы заботятся несколько не меньше, чем и о тех, кто работает теперь. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь посмел сравнить с этим беспристрастием справедливость других народов. Да продолжись мне, если я найду у них какой-нибудь след спра-

ведливости и беспристрастия! В самом деле, возьмем какого-нибудь дворянина, золотых дел мастера, ростовщика или кого-нибудь другого подобного. Какая же это будет справедливость, если все эти люди совершенно ничего не делают или дело их такого рода, что не очень нужно государству, а жизнь их протекает среди блеска и роскоши и проводят они ее в праздности или в бесполезных занятиях? Возьмем теперь, с другой стороны, поденщика, ломового извозчика, рабочего, земледельца. Они постоянно заняты усиленным трудом, какой едва могут выдержать животные; вместе с тем труд этот настолько необходим, что ни одно общество не просуществует без него и года, а жизнь этих людей настолько жалка, что по сравнению с ними положение скота представляется более предпочтительным. В самом деле, скот не несет постоянно такого труда, питание его только немного хуже, а для него и приятнее, и наряду с этим у него нет никакого страха за будущее. Что же касается людей, то их угнетает в настоящем бесплодный и безвыгодный труд и убивает мысль о нищенской старости. Поденная плата их слишком мала, чтобы ее хватало на потребности того же дня; нечего и говорить тут, чтобы ежедневно оставался какой-нибудь излишек для сбережения на старость.

Можно ли назвать справедливым и благодарным такое общество, которое столь расточительно одаряет так называемых благородных, золотых дел мастеров и остальных людей этого рода, ничего не делающих, живущих только ленью и изобретающих никчемные удовольствия, а с другой стороны, не выказывает ни малейшей заботы о земледельцах, угольщиках, поденщиках, ломовых извозчиках и рабочих, без которых не было бы вообще никакого общества? Мало того, обременяя их работою в цветущую пору их жизни, оно не вспоминает об их неусыпном старании, забывает о принесенных ими многих и великих благодеяниях, а когда на них обрушатся старость, болезни и тяжкая нужда, с самой черствой неблагодарностью вознаграждает их жалкой смертью. Далее, из поденной платы бедняков богачи ежедневно урывают кое-что не только личными обманами, но также и на основании государственных законов. Таким образом, если раньше представлялось несправедливым отплачивать черной неблагодарностью за усердную службу на пользу общества, то они извратили это так, что сделали справедливостью путем обнародования особых законов.

При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удержать без страха потери то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за возможно дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплуатировать их, как вьючный скот. Раз богачи постановили от имени государства, значит, также и от имени бедных, соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законами. Но и тут, когда эти омерзительные люди, в силу своей ненасытной алчности, поделили в своей среде все то, чего хватило бы на всех, как далеки они все же от благоденствия государства утопийцев! Выведя деньги из употребления, они совершенно уничтожили всякую алчность к ним, а какая масса тягостей пропала при этом! Какой посев преступлений вырван с корнем! Кто не знает, что с исчезновением денег совершенно отмирают все те преступления, которые подвергаются ежедневной каре, но не обузданию, а именно: обманы, кражи, грабежи, ссоры, восстания, споры, мятежи, убийства, предательства, отравления; вдобавок вместе с деньгами моментально погибнут страх, тревога, заботы, труды, бессонница. Даже сама бедность, которая, по-видимому, одна только нуждается в деньгах, немедленно исчезла бы с совершенным уничтожением денег.

Чтобы это было яснее, вообрази себе какой-нибудь бесплодный и неурожайный год, в который голод унес много тысяч людей. Я решительно утверждаю, что если в конце этого бедствия порастрасти житницы богачей, то там можно было бы найти огромное количество хлеба; и если бы распределить этот запас между теми, кто погиб от недоедания и изнурения, то никто и не заметил бы подобной скупости климата и почвы. Так легко можно было бы добыть пропитание, но вот пресловутые блаженные деньги, прекрасное изобретение, открывающее доступ к пропитанию, одни только и загораживают дорогу к пропитанию. Не сомневаюсь, что богачи тоже чувствуют это; они отлично знают, что лучше быть в таком положении, чтобы ни в чем не нуждаться, чем иметь в изобилии много лишнего; лучше избавиться от многочисленных бедствий, чем быть осажденным большими богатствами. Мне и в голову не приходит сомневаться,

что весь мир легко и давно уже принял бы законы утопийского государства как из соображений собственной выгоды, так и в силу авторитета Христа-спасителя, который по своей величайшей мудрости не мог не знать того, что лучше всего, а по своей доброте не мог не посоветовать того, что он знал за самое лучшее. Но этому противится одно чудовище, царь и отец всякой гибели, — гордость. Она меряет благополучие не своими удачами, а чужими неудачами. Она не хотела бы даже стать богиней, если бы не оставалось никаких несчастных, над которыми она могла бы властвовать и издеваться; ей надо, чтобы ее счастье сверкало при сравнении с их бедствиями, ей надо развернуть свои богатства, чтобы терзать и разжигать их недостаток. Эта адская змея пресмыкается в сердцах людей и, как рыба-подлишала, задерживает и замедляет избрание ими пути к лучшей жизни.

Так как она слишком глубоко внедрилась в людей, чтобы ее легко можно было вырвать, то я рад, что, по крайней мере, утопийцам выпало на долю государство такого рода, который я с удовольствием пожелал бы для всех. Они последовали в своей жизни именно таким уставам и заложили на них основы государства не только очень удачно, но и навеки, насколько это может предсказать человеческое предположение. Они истребили у себя с прочими пороками корни честолюбия и раздора, а потому им не грозит никакой опасности, что они будут страдать от внутренних распрей, исключительно от которых погибли многие города с их прекрасно защищенными богатствами. А при полном внутреннем согласии и наличии незыблемых учреждений эту державу нельзя потрясти и поколебать соседним государям, которые под влиянием зависти давно уже и неоднократно покушались на это, но всегда получали отпор.

Когда Рафаил изложил все это, мне сейчас же пришлось на ум немало обычаев и законов этого народа, заключающих в себе чрезвычайную нелепость. Таковы не только способ ведения войны, их церковные обряды и религии, а сверх того и другие их учреждения, но особенно то, что является главнейшей основой их устройства, а именно: общность их жизни и питания при полном отсутствии денежного обращения. Это одно совершенно уничтожает всякую знатность, великолепие, блеск, что, по общепринятому мнению, составляет истинную славу и красу государства. Но я знал, что Рафаил утомлен рассказом, и у меня не было достаточной уверенности, мо-

жет ли он терпеливо выслушать возражения против его мнения, а в особенности я вспоминал, как он порицал некоторых за их напрасное опасение, что их не сочтут достаточно умными, если они не найдут в речах других людей того, за что их можно продернуть. Поэтому, похвалив устройство утопийцев и речь Рафаила, я взял его за руку и повел в дом ужинать. Правда, я сделал оговорку, что у нас будет еще время поглубже подумать об этом предмете и побеседовать с рассказчиком поосновательнее. Хорошо, если бы это когда-нибудь осуществилось! Между тем я не могу согласиться со всем, что рассказал этот человек, во всяком случае, и бесспорно глубоко образованный, и очень опытный в понимании человечества; но, с другой стороны, я охотно признаю, что в утопийской республике имеется очень много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели ожидаю.

Конец послеполуденной беседы, которую вел Рафаил Гитлодей о законах и обычаях острова Утопии, известного доселе немногим, в записи славнейшего и ученейшего мужа г-на Томаса Мора, лондонского гражданина и викария.

ТОММАЗО КАМПАНИЕЛЛА

Город Солнца





Собеседники:

*Главный Гостинник
и Мореход из Генуи*

Гостинник

Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания.

Мореход

Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого попал я в конце концов на Тапробану, где был вынужден сойти на берег. Там, опасаясь туземцев, укрылся я в лесу; когда же я наконец из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на экваторе.

Гостинник

Ну, а там что с тобой приключилось?

Морсход

Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в Город Солнца.

Гостинник

Скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ правления?

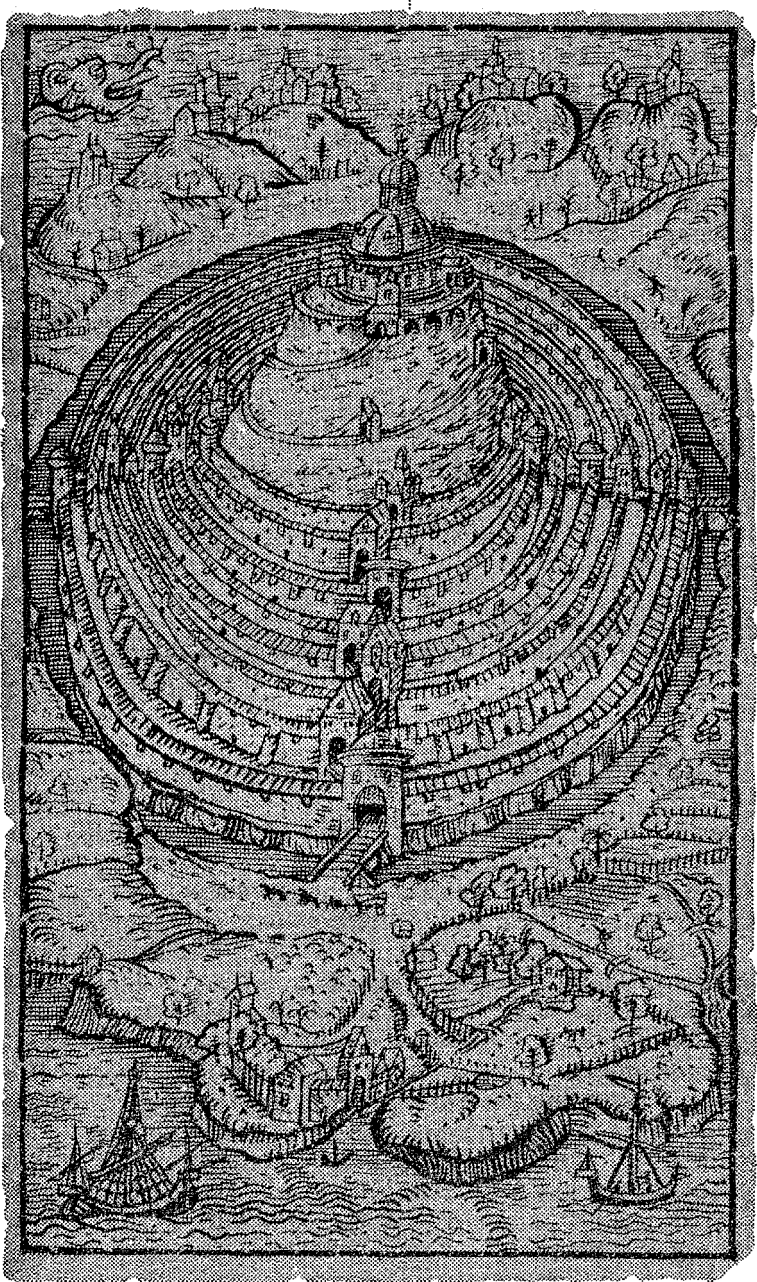
Мореход

*Вид и устройство
Города*

На обширной равнине возвышается высокий холм, на котором и расположена большая часть города; многочисленные же его окраины выходят далеко за подо-

шву горы, размеры которой таковы, что город имеет в поперечнике свыше двух миль, а окружность его равна семи. Благодаря тому, что лежит он по горбу холма, площадь его больше, чем если бы он находился на равнине. Разделяется город на семь обширных поясов, или кругов, называющихся по семи планетам. Из одного круга в другой попадают по четырем мощным улицам сквозь четверо ворот, обращенных на четыре стороны света. И город так, право, выстроен, что если бы взят был приступом первый круг, то для взятия второго понадобилось бы употребить вдвое больше усилий; а для овладения третьим — еще того больше. Итак, чтобы захватить каждый следующий, надо было бы постоянно употреблять вдвое больше усилий и труда. Таким образом, если бы кто задумал взять этот город приступом, ему пришлось бы брать его семь раз. Но, по-моему, невозможно взять и первый круг: настолько широк окружающий его земляной вал и так укреплен он бастионами, башнями, бомбардами и рвами.

Итак, войдя северными воротами (которые окованы железом и так сделаны, что могут легко подыматься и опускаться и накрепко запираются благодаря удивительно ловкому устройству своих выступов, прилаженных для движения в выемках прочных косяков), увидел я ровное пространство шириною в семьдесят шагов между первым и вторым рядом стен. Оттуда можно видеть обширные палаты, соединенные со стеною второго круга так, что они, можно сказать, составляют как бы одно целое здание. На половине высоты этих палат идут сплошные арки, на которых находятся галереи для прогулок и которые поддерживаются снизу прекрасными толстыми столбами, опоясывающими аркады наподобие колоннад или монастырских переходов. Снизу входы в эти здания имеют лишь с внутренней, вогнутой стороны стены; в нижние этажи входят прямо с улицы, а в верхние — по мраморным лестницам, ведущим в подобные же внутренние галереи, а из них — в прекрасные верхние покои с окнами как на внутреннюю, так и на наружную сторону стены и разделенные легкими перегородками. Толщина выпуклой, то есть внешней, стены — восемь пядей, вогнутой — три, а промежуточных — от одной до полутора пядей.



Отсюда можно пройти к следующему проходу между стенами, шага на три уже первого, с которого видна первая стена следующего круга с подобными же галереями вверх и вниз; а с внутренней стороны идет другая стена, опоясывающая палаты, с такими же выступами и переходами, опирающимися снизу на колонны; вверх же, там, где находятся двери в верхние покои, она расписана великолепною живописью. Таким образом, по подобным же кругам и через двойные стены, внутри которых находятся палаты с выступающими наружу галереями на колоннах, доходишь до самого последнего круга, идя все время по ровному месту; однако же при проходе сквозь двойные ворота (во внешних и внутренних стенах) приходится подниматься по ступеням, но устроенным так, что подъем почти не заметен: идешь по ним наискось, и высота лестниц поэтому едва ощутима. На вершине горы находится открытая и просторная площадь, посередине которой возвышается храм, воздвигнутый с изумительным искусством.

Гостинник

Продолжай же, продолжай, говори, заклинаю тебя жизнью!

Мореход

*Устройство храма
на вершине*

Храм прекрасен своей совершенно круглою формой. Он не обнесен стенами, а покоится на толстых и соразмерных колоннах. Огромный, с изумительным искусством воздвигнутый купол храма завершается посередине, или в зените, малым куполом с отверстием над самым алтарем. Этот единственный алтарь находится в центре храма и обнесен колоннами. Храм имеет в окружности свыше трехсот пятидесяти шагов. На капители колонн снаружи опираются арки, выступающие приблизительно на восемь шагов и поддерживаемые другим рядом колонн, покоящихся на широком и прочном парапете вышиною в три шага; между ним и первым рядом колонн идут нижние галереи, вымощенные красивыми камнями; а на вогнутой стороне парапета, разделенного частыми и широкими проходами, устроены неподвижные скамьи; да и между внутренними колоннами, поддерживающими самый

храм, нет недостатка в прекрасных переносных креслах. На алтаре виден только один большой глобус с изображением всего неба и другой — с изображением земли. Затем на своде главного купола нанесены все звезды неба от первой до шестой величины, и под каждой из них указаны в трех стихах ее название и силы, которыми влияет она на земные явления. Имеются там и полюсы, и большие и малые круги, нанесенные в храме перпендикулярно к горизонту, однако не полностью, так как внизу нет стены; но их можно дополнить по тем кругам, которые нанесены на глобусах алтаря. Пол храма блистает ценными камнями. Семь золотых лампад, именующихся по семи планетам, висят, горя неугасимым огнем. Малый купол над храмом окружают несколько небольших красивых келий, а за открытым проходом над галереями, или арками, между внутренними и внешними колоннами расположено много других просторных келий, где живут до сорока девяти священников и подвижников. Над меньшим куполом возвышается только своего рода флюгер, указывающий направление ветров, которых они насчитывают до тридцати шести. Они знают и какой год предвещают какие ветры, и какие перемены на суше и на море, но лишь в отношении своего климата. Там же, под флюгером, хранится написанный золотыми буквами свиток.

Гостинник

Прощу тебя, доблестный муж, разъясни мне подробно всю их систему управления. Это меня особенно интересует.

Мореход

Образ правления

Верховный правитель у них — священник, именующийся на их языке «Солнце», на нашем же мы называли бы его Метафизиком. Он является главою всех и в светском и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя: Пон, Син и Мор, или по-нашему: Мощь, Мудрость и Любовь.

*Ведение правления
Мощи*

В ведении Мощи находится все касающееся войны и мира: военное искусство, верховное командование на войне; но и в этом он не стоит выше Солнца. Он управляет военными должностями, солдатами, ведает снабжением, укреплениями, осадами, военными машинами, мастерскими и мастерами, их обслуживающими.

*Ведение правителя
Мудрости*

Ведению Мудрости подлежат свободные искусства, ремесла и всевозможные науки, а также соответственные должностные лица и ученые, равно как и учебные заведения. Число подчиненных ему должностных лиц соответствует числу наук: имеется Астролог, также и Космограф, Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик, Моралист. И есть у них всего одна книга, под названием «Мудрость», где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее читают народу согласно обряду пифагорейцев.

*Легкость усвоения наук
при помощи картин*

По повелению Мудрости во всем городе стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки. На внешних стенах храма и на завесах, ниспадающих, когда священник произносит слово, дабы не терялся его голос, минуя слушателей, изображены все звезды, с обозначением при каждой из них в трех стихах ее сил и движений.

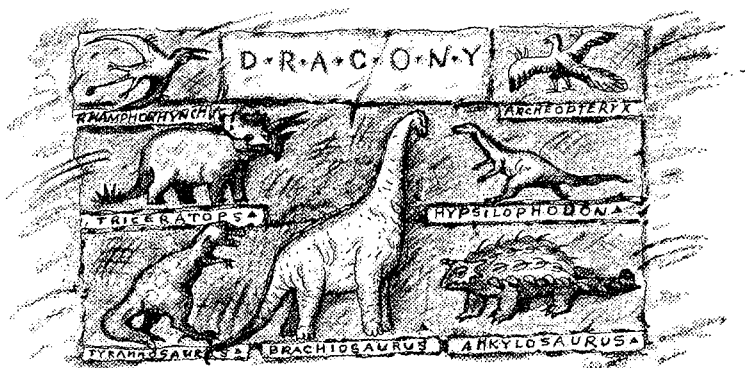
На внутренней стороне стены первого круга изображены все математические фигуры, которых значительно больше, чем открыто их Архимедом и Евклидом. Величина их находится в соответствии с размерами стен, и каждая из них снабжена подходящей объяснительной надписью в одном стихе: есть там и определения, и теоремы, и т. п. На внешнем изгибе стены находится прежде всего крупное изображение всей земли в целом; за ним следуют особые картины всевозможных областей, при которых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, нравов, происхождения и сил их обитателей; также и ал-

фавиты, употребляемые во всех этих областях, начертаны здесь над алфавитом Города Солнца.

На внутренней стороне стены второго круга, или второго ряда строений, можно видеть как изображения, так и настоящие куски драгоценных и простых всякого рода камней, минералов и металлов, с пояснениями при каждом в двух стихах. На внешней стороне изображены моря, реки, озера и источники, существующие на свете; так же как и вина, масла и все жидкости; указано их происхождение, качества и свойства; а на выступах стены стоят сосуды, наполненные жидкостями, выдержанными от сотни до трехсот лет, для лечения различных недугов. Там же, с соответствующими стихами, находятся и подлинные изображения града, снега, грозы и всех воздушных явлений.

На внутренней стороне стены третьего круга нарисованы все виды деревьев и трав, а иные из них растут там в горшках на выступах наружной стены строений; они снабжены пояснениями, где какие впервые найдены, каковы их силы и качества и чем сходятся они с явлениями небесными, среди металлов, в человеческом теле и в области моря; каково их применение в медицине и т. д. На внешней стороне — всевозможные породы рыб речных, озерных и морских, их нравы и особенности, способы размножения, жизни, разведения, какая от них польза миру и нам, равно как и сходство их с предметами небесными и земными, созданными природой или искусственно; так что я был совершенно поражен, увидев рыбу епископа, рыбу цепь, панцирь, гвоздь, звезду, мужской член, в точности соответствующих по своему виду предметам, существующим у нас. Там можно увидеть и морских ежей, и улиток, и устриц и т. д. И все достойное изучения представлено там в изумительных изображениях и снабжено пояснительными надписями.

На внутренней стороне четвертого круга изображены всякие породы птиц, их качества, размеры, нравы, окраска, образ жизни и т. д. И Феникса они считают за действительно существующую птицу. На внешней стороне видны все породы пресмыкающихся: змеи, драконы, черви; и насекомые: мухи, комары, слепни, жуки и т. д., с указанием их особенностей, свойств ядовитости, способов применения и т. д. И их там гораздо больше, чем даже можно себе представить.



На внутренней стороне стены пятого круга находятся высшие земные животные, количество видов которых просто поразительно: мы не знаем и тысячной их части. И такое их множество и таковы их размеры, что изображены они и на внешней стороне круговой стены. Сколько там одних только лошадиных пород, какие все это прекрасные изображения и как толково все это объяснено!



На внутренней стороне стены шестого круга изображены все ремесла с их орудиями и применение их у различных народов. Расположены они сообразно их значению и снабжены пояснениями. Тут же изображены и их изобретатели. На внешней же стороне нарисованы все изобретатели наук, вооружения и законодатели. Видел я там Моисея, Озириса, Юпитера, Меркурия, Ликурга, Помпилия, Пифагора, Замолксия, Солон и многих других; имеется у них и изображение Магомета, которого, однако, они презируют как вздорного и ничтожного законодателя. Зато на почетнейшем месте увидел я образ

Иисуса Христа и двенадцати апостолов, которых они глубоко чтут и превозносят, почитая их за сверхчеловеков. Видал я Цезаря, Александра, Пирра, Ганнибала и других достославных мужей, прославившихся на войне и в мирных делах, главным образом Римлян, изображения которых находятся на нижней части стен, под портиками. Когда же стал я с изумлением спрашивать, откуда известна им наша история, мне объяснили, что они обладают знанием всех языков и постоянно отправляют по свету нарочных разведчиков и послов для ознакомления с обычаями, силами, образом правления и историей отдельных народов и со всем, что есть у них хорошего и дурного, и для донесения затем своей республике; и все это чрезвычайно их занимает. Узнал я там и то, что КитаЙцами еще раньше нас изобретены бомбарды и книгопечатание. Для всех этих изображений имеются наставники, а дети без труда и как бы играючи знакомятся со всеми науками наглядным путем до достижения десятилетнего возраста.

*Ведение правителя
Любви*

Ведению правителя Любви подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. И они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой. В ведении того же правителя находится воспитание новорожденных, врачевание, изготовление лекарств, посевы, жатва и сбор плодов, земледелие, скотоводство, стол и вообще все, относящееся к пище, одежде и половым сношениям. В его распоряжении находится ряд наставников и наставниц, приставленных следить за всеми этими делами.

Метафизик же наблюдает за всем этим при посредстве упомянутых трех правителей, и ничто не совершается без его ведома. Все дела их республики обсуждаются этими четырьмя лицами, и к мнению Метафизика присоединяются во взаимном согласии все остальные.

Гостинник

Но скажи, пожалуйста: все эти их должности, учреждения, обязанности, воспитание, образ жизни — что это: республика, монархия или аристократия?

Мореход

*Возникновение и необходимость
наилучшей республики*

Народ этот появился из Индии, бежавши оттуда после поражения Монголами и насильниками, разорившими их родную страну, и решил вести философский образ жизни общиной. И хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что у них *все общее*. Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так как знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто не может ничего себе присвоить.

Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себялюбие, ибо ведь, чтобы добиться для своего сына богатства и почетного положения и оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и знатен, или же становится скрягою, предателем и лицемером, когда недостает ему могущества, состояния и знатности. Но когда мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине.

Гостинник

Так ведь никто же не захочет работать, раз будет рассчитывать прожить на счет работы других, в чем Аристотель и опровергает Платона.

Мореход

Я — плохой спорщик, но тем не менее уверяю тебя, что они пылают такой любовью к родине, какую и представить себе трудно; гораздо больше даже, чем Римляне, — которые, как известно по преданиям, добровольно умирали за отечество, — потому что значительно превзошли их в отрешении от собственности. Я, по крайней мере, уверен, что и братья, и монахи, и клирики наши, не соблазнившись они любовью к родным и друзьям, стали бы гораздо святее, меньше были бы привязаны к собственности и дышали бы большею любовью к ближнему.

Гостинник

Это, кажется, говорит святой Августин, но я заключаю, что среди этого рода людей никакого значения не имеет дружба, раз у них нет возможности оказывать друг другу взаимные одолжения.

Мореход

Наоборот, огромное: следует ведь обратить внимание на то, что хотя им и неоткуда делать друг другу никаких подарков, — потому что все, в чем они нуждаются, они получают от общины и должностные лица тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше, чем ему следует, никому, однако, не отказывая в необходимом, — но дружба у них проявляется на войне, во время болезни, при соревновании в науках, когда они помогают друг другу и взаимно делятся знаниями; а то в похвалах, словах, при исполнении обязанностей и во взаимном одолжении необходимого.

Все сверстники называют друг друга братьями; тех, кто старше их на двадцать два года, зовут они отцами, а тех, кто на двадцать два года моложе, — сыновьями. И должностные лица внимательно следят за тем, чтобы никто не нанес другому никакой обиды в этом братстве.

Гостинник

Каким же образом?

Мореход

Об обвинениях

У них столько же должностных лиц, сколько мы насчитываем добродетелей: есть должность, называемая Великодушие, есть — именуемая Мужество, затем Целомудрие, Щедрость, Правосудие — уголовное и гражданское, Усердие, Правдолюбие, Благотворительность, Любезность, Веселость, Бодрость, Воздержность и т. д. На каждую из подобных должностей избираются те, кого еще с детства признают в школах наиболее пригодным для ее занятия. Поэтому, так как нельзя среди них встретить ни разбоя, ни коварных убийств, ни насилий, ни кровосмещения, ни блуда, ни прочих преступлений, в которых обвиняем друг друга мы, — они преследуют у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, лень, уныние, гневливость, шутовство, ложь, которая для них ненавистнее чумы. И виновные лишаются в нака-

зание либо общей трапезы, либо общения с женщинами, либо других почетных преимуществ на такой срок, какой судья найдет нужным для искупления проступка.

Гостинник

Скажи, а какой у них порядок выбора должностных лиц?

Мореход

*Об одежде,
воспитании и выборах*

Этого ты как следует не поймешь, прежде чем не познакомишься с их образом жизни. Прежде всего да будет тебе известно, что мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к военному делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин доходит только до колен. И все они обучаются всяким наукам совместно. По второму и до третьего года дети обучаются говорить и учат азбуку, гуляя вокруг стен домов; они разделяются на четыре отряда, за которыми наблюдают поставленные во главе их четыре ученых старца. Эти же старцы спустя некоторое время занимаются с ними гимнастикой, бегом, метанием диска и прочими упражнениями и играми, в которых равномерно развиваются все их члены. При этом до седьмого года они ходят всегда босиком и с непокрытой головой. Одновременно с этим водят их в мастерские к сапожникам, пекарям, кузнецам, столярам, живописцам и т. д. для выяснения наклонностей каждого.

На восьмом году, после начального обучения основам математики по рисункам на стенах, направляются они на лекции по всем естественным наукам. Для каждого предмета имеется по четыре лектора; и в течение четырех часов все четыре отряда слушают их по очереди, так что в то время, как одни занимаются телесными упражнениями или исполняют общественные обязанности, другие усердно занимаются на лекциях.

Затем все они приступают к изучению более отвлеченных наук: математики, медицины и других знаний, постоянно и усердно занимаясь обсуждениями и спорами. Впоследствии все получают должности в области тех наук или ремесел, где они преуспели больше всего, — каждый по указанию своего вождя или руководителя. Они отправляются на поля и на пастбища наблюдать и учиться зе-

мледелию и скотоводству; и того почитают за достойнейшего, кто изучил больше искусств и ремесел и кто умеет применять их с большим знанием дела. Поэтому они издеваются над нами за то, что мы называем мастеров неблагородными, а благородными считаем тех, кто не знаком ни с каким мастерством, живет праздно и держит множество слуг для своей праздности и распутства, отчего, как из школы пороков, и выходит на погибель государства столько бездельников и злодеев. Остальных должностных лиц избирают четыре главных правителя: ☉, Пон, Син и Мор и руководители соответственных наук и ремесел, хорошо знающие, кто наиболее пригоден заведовать тем или иным мастерством и ведать ту или иную добродетель. И никто не выступает сам в качестве соискателя, как это обычно принято, а предлагается на Совете должностными лицами, где каждый на основании своих сведений высказывается за или против избрания определенного лица.

Избрание



Но никто, однако, не может достичь звания ☉, кроме того, кто знает историю всех народов, все их обычаи, религиозные обряды, законы, все республики и монархии, законодателей и изобретателей наук и ремесел и строение и историю неба. Также почитается для этого необходимым ознакомиться со всеми ремеслами (ведь всего в какие-нибудь два дня можно постичь одно из них, хотя и не овладевая им практически, но освоившись с ним по его применению и изображению). Также надо знать и науки физические, и математические, и астрологические. Не так существенно знакомство с языками, так как у них имеется много переводчиков, которыми служат в их республике грамматики. Но преимущественно перед всем необходимо постичь метафизику и богословие; познать корни, основы и доказательства всех искусств и наук; сходства и различия в вещах; необходимость, судьбу и гармонию мира; мощь, мудрость и любовь в вещах и в боге; разряды сущего и соответствия его с вещами небесными, земными и морскими и с идеальными в боге, насколько это постижимо для смертных, а также изучить пророков и астрологию. Таким образом, уже задолго известно, кто станет ☉. Но никто, однако, не возводится в это звание ранее достижения тридцатипятилетнего возраста. Должность эта

несменяема до тех пор, пока не найдется такого, кто окажется мудрее своего предшественника и способнее его к управлению.

Гостинник

Но разве может кто бы то ни было обладать такою ученостью? Да и не способен, мне кажется, к управлению тот, кто посвятил себя наукам.

Мореход

*Возможно ли, чтобы мудрецы
способны были к управлению*

Это же самое возражал им и я. Они же мне ответили: «Мы, несомненно, лучше знаем, что столь образованный муж будет мудр в деле управления, чем вы, которые ставите главами правительства людей невежественных, считая их пригодными для этого лишь потому, что они либо принадлежат к владетельному роду, либо избраны господствующей партией. А наш ☉, пусть он даже будет совершенно неопытен в делах управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном именно потому, что он столь мудр. Но, кроме того, да будет вам известно, что твой аргумент имеет силу применительно к вам, раз вы считаете учеными тех, кто лучше знает грамматику или логику Аристотеля или другого какого-либо автора. Для такого рода мудрости потребны только рабская память и труд, от чего человек делается косным, ибо занимается изучением не самого предмета, а лишь книжных слов, и унижает душу, изучая мертвые знаки вещей, и не понимает из-за этого ни того, каким образом бог правит сущим, ни нравов и обычаев, существующих в природе и у отдельных народов. Но ничего такого не сможет случиться с нашим ☉, ибо ведь никто не в состоянии изучить стольких искусств и наук, не обладая исключительными способностями ко всему, а следовательно, в высшей степени и к правлению. Нам также прекрасно известно, что тот, кто занимается лишь одной какой-нибудь наукой, ни ее как следует не знает, ни других. И тот, кто способен только к одной какой-либо науке, почерпнутой из книг, тот невежествен и косен. Но этого не случается с умами гибкими, восприимчивыми ко всякого рода занятиям и способными от природы к постижению вещей, каковым необходимо и должен быть

наш». Кроме того, как видишь, в нашем городе с такою легкостью усвоятся знания, что ученики достигают больших успехов за один год, чем у вас за десять или пятнадцать лет. Проверь это, пожалуйста, на наших детях».

Я был совершенно изумлен и справедливостью их рассуждений, и испытанием тех детей, которые хорошо понимали мой родной язык. Дело в том, что каждые трое из них должны знать или наш язык, или арабский, или польский, или какой-либо из прочих языков. И они не признают никакого иного отдыха, кроме того, во время которого приобретают еще больше знаний, для чего и отправляются они в поле — заниматься бегом, метанием стрел и копий, стрелять из аркебузов, охотиться на диких зверей, распознавать травы и камни и т. д. и учиться земледелию и скотоводству в составе то одного, то другого отряда.

Троим же соправителям Солнца полагается изучать лишь те науки, которые относятся к их области управления: с другими, общими для всех, они знакомятся только наглядным путем, свои же знают в совершенстве и, естественно, лучше всякого другого. Так, Мощь в совершенстве знает кавалерийское дело, построение войска, устройство лагеря, изготовление всякого рода оружия, военных машин, военные хитрости и все вообще военное дело. Но, кроме того, эти правители непременно должны быть и философами, и историками, и политиками, и физиками.

Гостинник

Теперь мне бы хотелось, чтобы ты рассказал об их учреждениях — подробно о каждом — и разъяснил получше их общественное воспитание.

Мореход

*Общность жизни и занятий
и распределение их между
женщинами и мужчинами*

Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое — у них общее. Но через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй: каждая из них обозначается буквами на притолоке. Занятия отвлеченными науками и ремеслами являются у них общими как для мужчин, так

и для женщин, с одним только различием — наиболее тяжелые ремесла и загородные работы исполняются мужчинами так: пахота, сев, сбор плодов, молотьба да и сбор винограда. Но для дойки овец и приготовления сыра обычно назначаются женщины; точно так же они выходят недалеко за черту города собирать травы и работать в садах. А к женскому труду относятся те работы, какие исполняются сидя или стоя: так, например, тканье, пряденье, шитье, стрижка волос и бороды, изготовление лекарств и всякого рода одежды. Однако для столярных и кузнечных работ и изготовления орудий женщины не применяются. Но к занятию живописью они допускаются, если обнаруживают к ней способности. Что же касается музыки, то ею занимаются исключительно женщины, потому что она у них получается приятнее, да дети, однако на трубах и барабанах они не играют. Они же и готовят и накрывают на стол; но прислуживать за столом составляет обязанность мальчиков и девушек до двадцати лет. В каждом круге есть свои кухни, магазины, кладовые для посуды, съестных припасов и напитков. Для наблюдения за исполнением всех обязанностей по этой части приставлены маститый старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных; и в то же время они замечают и отличают мальчиков и девушек, лучше других исполняющих отдельные обязанности. Вся молодежь прислуживает старшим, кому минуло сорок лет. И вечером, при отходе ко сну, и утром начальник и начальница отправляют одного из молодых людей по очереди прислуживать в каждую отдельную спальню. Друг другу молодые люди прислуживают сами, и горе уклоняющимся!

О принятии пищи

Столы ставят у них в два ряда, сиденьями по обеим сторонам; с одной стороны сидят женщины, с другой — мужчины, и, как в монастырских трапезных, не бывает там никакого шума. Во время еды один из юношей с возвышения читает нараспев внятно и звучно по книге, а должностные лица часто беседуют по поводу какого-нибудь примечательного места из прочитанного. И, право, приятно смотреть, как ловко прислуживает им такая красивая молодежь в подпоясанной одежде, и видеть, как столько друзей, братьев, сыновей, отцов и матерей живут вместе в та-

кой степенности, благообразии и любви. Каждому полагается своя салфетка, миска, похлебка и кушанье. На обязанности врачей лежит заказывать поварам еду на каждый день: что готовить старикам, что молодым и что для больных. Должностные лица получают большие и лучшие порции, и из своих порций они всегда уделяют что-нибудь на стол детям, выказавшим утром больше прилежания на лекциях, в ученых беседах и на военных занятиях. И это считается одной из величайших почестей. А по праздничным дням они любят и петь за столом; поют или в несколько голосов, или кто-нибудь один под аккомпанемент лютни и т. п. И так как все в равной мере принимают участие в домашнем хозяйстве, то никогда ни в чем не оказывается никакого недостатка. Почтенные пожилые люди наблюдают за кухней и прислуживающими в столовой и тщательно следят за чистотой постелей, посуды, одежды, мастерских и кладовых.

Об одежде

Одежду их составляет белая нательная рубаша, а поверх нее платье, являющееся одновременно и камзолом и штанами, сшитое без складок, с разрезами от плеч до голени и от пупа до зада между ляжками. С одной стороны этих разрезов идут петли, а с другой — пуговицы, на которые они застегиваются. Штаны оканчиваются завязками у самых щиколоток; затем носят они высокие гамашы, вроде голенищ, на застегках и поверх них — башмаки. И, наконец, как мы сказали, накидывают они плащ. И так ладно и ловко сидит на них платье, что, когда скидывают они плащ, вся их фигура обрисовывается во всех подробностях. Они меняют одежды четыре раза в год: когда Солнце вступает в знаки Овна, Рака, Весов и Козерога; распределением одежды сообразно с условиями необходимости ведают врачи и хранители одежды отдельных кругов. И удивительно, сколько у них имеется одновременно всякой нужной одежды, плотной или легкой, смотря по времени года. Одежду носят они белого цвета, и стирается она ежемесячно щелоком или мылом.

Нижние помещения заняты мастерскими, кухнями, кладовыми, магазинами, оружейными складами, столовыми и мыльнями. Однако моются они возле колонн галерей, а вода стекает по желобам, ведущим в сточные каналы. На каждой площади отдельных кругов есть свои фонтаны, куда вода подается по трубам из недр горы исклю-

чительно действием искусно устроенного крана. У них имеется вода и ключевая и в водоемах, которые наполняются дождевой водой, скопляющейся на крышах и стекающей по акведукам с песком. Часто также моют они свое тело по указанию врача и начальника. Всеми ремеслами занимаются они внизу, под колоннадами, а отвлеченными науками — наверху, на балконах и галереях, где находятся соответствующие картины; а в храме изучаются священные науки. При входах в дома и на зубцах круговых стен имеются солнечные часы с колоколами и флаги, показывающие время и направление ветра.

Гостинник

Расскажи мне о деторождении.

Мореход

*О деторождении
и воспитании родителей*

Ни одна женщина не может вступать в сношение с мужчиной до девятнадцатилетнего возраста; а мужчины не назначаются к производству потомства раньше двадцати одного года или даже позже, если они имеют слабое телосложение. Правда, иным позволяется и до достижения этого возраста сочетаться с женщинами, но только или с бесплодными, или же с беременными, дабы не довести кого-нибудь до запретных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых потребностей более похотливых и легко возбуждающихся, узнавая об этом или по тайным их просьбам, или наблюдая их во время занятий в палестре. Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения — опытного врача, подчиненного правителю Любви. Тем же, кого уличат в содомии, делают выговор и заставляют в виде наказания два дня носить привешенные на шею башмаки в знак того, что они извратили естественный порядок, перевернув его вверх ногами. При повторном преступлении наказание увеличивается вплоть до смертной казни. Те же, кто воздерживается от совокупления до двадцати одного года, а тем более до двадцати семи, пользуются особым почетом и воспеваются на общественных собраниях. Когда же все, и мужчины и женщины, на занятиях в палестре, по обычаю древних Спартанцев, обнажаются, то начальники определяют, кто спо-

собен и кто вял к совокуплению и какие мужчины и женщины по строению своего тела более подходят друг другу; а затем, и лишь после тщательного омовения, они допускаются к половым сношениям каждую третью ночь. Женщины статные и красивые соединяются только со статными и крепкими мужами; полные же — с худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с пользою уравновешивали друг друга. Вечером приходят мальчишки и стелют им лежа, а затем их ведут спать согласно приказанию начальника и начальницы. К совокуплению приступают, только пересварив пищу и помолившись богу небесному. В спальнях стоят прекрасные статуи знаменитых мужей, которые женщины созерцают, и потом, глядя в окна на небо, молят бога о даровании им достойного потомства. Они спят в отдельных комнатах до самого часа совокупления. Тогда встает начальница и отворяет снаружи обе двери. Час этот определяется астрологом и врачом, которые стараются уловить время, когда Венера и Меркурий находятся на восток от Солнца в благоприятном Доме, в хорошем аспекте Юпитера, а равно и Сатурна и Марса или же вне их аспектов. Особенно это важно для Солнца и Луны, которые всего чаще бывают афетами. Они любят Деву в гороскопе, но тщательно остерегаются того, чтобы в углу не оказалось планет зловредных, потому что они заражают в квадратном и противоположном аспекте все углы, от которых зависит корень жизненной силы в соответствии с гармонией вселенной в целом и в ее частях. Они добиваются не столько сопутствия, сколько хороших аспектов. О сопутствии заботятся они при закладке города и установлении закона, с тем, однако, условием, чтобы при этом не главенствовал ни Марс, ни Сатурн, за исключением лишь случая наилучшего их расположения. Принимают они во внимание и расположение неподвижных звезд.

Они почитают недопустимым, если родители меньше чем за три дня до совокупления запятнали себя семенем и вели себя не безупречно, не примирились с вышним богом и не преданы ему. Что же касается тех, кто имеет сношение с неплодными, или с беременными, или с презренными женщинами для удовольствия, или по необходимости, для здоровья, или по своей страстности, — они этих правил не соблюдают. Лица же должностные, которые все являются в то же время и священниками, а также

и ученые-наставники могут быть производителями лишь при соблюдении в течение ряда дней многих условий, ибо от усиленных умственных занятий ослабевают у них жизненные силы, и мозг их не источает мужества, потому что они постоянно о чем-нибудь размышляют, и производят из-за этого худосочное потомство. А этого они всячески стараются избежать, и потому таких ученых сочетают с женщинами живыми, бойкими и красивыми. Людей же резких, быстрых, беспокойных и неистовых — с женщинами полными и кроткого нрава. И они утверждают, что совершенного телосложения, благодаря которому развиваются добродетели, нельзя достичь путем упражнения; что люди порочные по природе работают хорошо только из страха перед законом или перед богом, а не будь этого, они тайком или открыто губят государство. Поэтому все главное внимание должно быть сосредоточено на деторождении, и надо ценить природные качества производителей, а не приданое и обманчивую знатность рода.

Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, ее сочетают с другим; если же и тут она окажется неплодной, то переходит в общее пользование, но уже не пользуется почетом, как матрона, ни в Совете по деторождению, ни в храме, ни за столом. Это делается с той целью, чтобы ни одна не предотвращала сама беременности ради сладострастия. Те же, которые понесут, в течение двух недель не занимаются физической работой. После этого они персходят к спокойным занятиям для укрепления плода и для притока к нему пищи и затем укрепляют себя, переходя мало-помалу к более усиленной работе. Пищу разрешается им употреблять только здоровую, по предписанию врачей. Когда же они родят, то кормят сами и воспитывают новорожденных в особых общих помещениях; грудью кормят они два года и больше, в зависимости от предписания Физика. Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик. И тут вместе с другими детьми они занимаются, играючи, азбукой, рассматривают картины, бегают, гуляют и борются; знакомятся по изображениям с историей и языками. Одевают их в красивые пестрые платья. На восьмом году переходят они к естественным наукам, а потом и к остальным, по усмотрению начальства, и затем

к ремеслам. Дети менее способные отправляются в деревню, но некоторые из них, оказавшиеся более успешными, принимаются обратно в город. Но в большинстве случаев, родившись под одним и тем же расположением звезд, сверстники сходятся и по способностям, и по нраву, и по наружности, отчего проистекает великое согласие в государстве, поддерживаемое неизменной взаимной любовью и помощью друг другу.

*О наречении
имен*

Имена у них даются не случайно, но определяются Метафизиком в соответствии с особенностями каждого, как это было в обычае у древних Римлян. Поэтому один называется «Красивый», другой — «Носатый», тот — «Толстоногий», этот — «Свирепый», иной — «Худой» и т. д. А ежели кто отличится в своем мастерстве или прославится каким-нибудь подвигом на войне или в мирное время, то к имени прибавляется соответствующее прозвище или сообразно мастерству, например: «Прекрасный Великий Живописец», «Золотой», «Отличный», «Проворный»; или же по подвигам, например: «Носатый Храбрец», «Хитрец», «Великий, или Величайший Победитель», а то и по имени побежденного врага, вроде: «Африканский», «Азиатский», «Тосканский»; или если кто победил Манфреда или Тортеля, то и называется: «Худой Манфредий», «Тортель» и т. д. Даются эти прозвища высшими властями и часто сопровождаются возложением венков, соответственно подвигу, мастерству и т. д. под звуки музыки. Ибо золото и серебро они ценят только как материал для посуды или для общих всем украшений.

*Гостинник
Об искоренении
зависти и честолубия*

Скажи, пожалуйста, а не бывает ли в их среде зависти или досады у тех, кого не выбрали в начальники или на какую-нибудь другую должность, которой они добивались?

Мореход

Нисколько. Ведь никто из них не терпит никакого недостатка не только в необходимом, но даже и в утехах. На деторождение они смотрят как на религиозное дело, на-

правленное ко благу государства, а не отдельных лиц, при котором необходимо подчиняться властям. И то, что мы считаем для человека естественным иметь собственную жену, дом и детей, дабы знать и воспитывать свое потомство, это они отвергают, говоря, что деторождение служит для сохранения рода, как говорит святой Фома, а не отдельной личности. Итак, производство потомства имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц — лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так как частные лица по большей части и дурно производят потомство, и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим, как за первой основой государственного благосостояния, вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за надежность этого может только община, а не частные лица. Поэтому производители и производительницы подбираются наилучшие по своим природным качествам, согласно правилам философии. Платон считает, что этот подбор должен производиться по жребию, дабы те, кому не дают красивых жен, в зависти и гнев не взбунтовались против властей, и полагает, что тех, кто недостойн оплодотворять наиболее красивых, надо властям хитро обманывать при жеребьевке, так, чтобы доставались им всегда подходящие, а не те, коих они сами хотят.

*В чем состоит
красота женщин*

Но Соляриям нет надобности прибегать к такой хитрости, чтобы безобразным мужчинам доставались и женщины безобразные, ибо среди них безобразия не встречается, так как у женщин благодаря их занятиям образуется и здоровый цвет кожи, и тело развивается, и они делаются статными и живыми; а красота почитается у них в стройности, живости и бодрости. Поэтому они подвергли бы смертной казни ту, которая из желания быть красивой начала бы румянить лицо, или стала бы носить обувь на высоких каблуках, чтобы казаться выше ростом, или длиннополое платье, чтобы скрыть свои дубоватые ноги. Но и при всем желании ни одна не могла бы там этого сделать: кто стал бы все это ей доставать? И они утверждают, что у нас все эти прихоти появились из-за праздности и безделья женщин, отчего портится у них цвет кожи, отчего они бледнеют и теряют гибкость и стройность; и потому приходится им краситься, носить

высокие каблуки и добиваться красоты не развитием тела, а ленивой изнеженностью и таким образом вконец разрушать естественное развитие и здоровье не только свое, но и своего потомства.

Кроме того, если кто-нибудь страстно влюбится в женщину, то влюбленные могут и разговаривать, и шутить, и дарить друг другу венки из цветов или листьев, и подносить стихи. Однако, если это может быть опасно для потомства, совокупление им ни в коем случае не разрешается, кроме того случая, что женщина беременна (чего и ждет мужчина) или же она неплодна. Но, впрочем, любовь у них выражается скорее в дружбе, а не в пылком любовном вожделении.

Предметы домашнего обихода и пища их мало занимают, так как всякий получает все, что ему нужно, а представляют для них интерес лишь тогда, когда это выдается в качестве почетной награды. А героям и героиням раздают от государства на празднествах во время трапезы обычно либо красивые венки, либо вкусные блюда, либо нарядная одежда.

*О цвете
одежды*

Хотя днем и в черте города все они носят белую одежду, но ночью и за городом надевают красную — или шерстяную, или шелковую; черный же цвет для них так же отвратителен, как всякая грязь; поэтому они терпеть не могут Японцев за их пристрастие к темному цвету.

*Против
гордости*

Самым гнусным пороком считают они гордость, и надменные поступки подвергаются жесточайшему презрению. Благодаря этому никто не считает для себя унижительным прислуживать за столом или на кухне, ходить за больными и т. д.

*Польза
общего труда*

Всякую службу называют они учением, говоря при этом, что одинаково почтенно ногам ходить, задю испражняться, а глазам видеть и языку говорить; ведь по необходимости и глаза выделяют слезы, а язык — слюни, подобно испражнениям. Поэтому каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее как самую почетную. Ра-

бов, развращающих нравы, у них нет: они в полной мере обслуживают себя сами, и даже с избытком. Но у нас, увы, не так; в Неаполе семьдесят тысяч душ населения, а трудятся из них всего какие-нибудь десять или пятнадцать тысяч, истощаясь и погибая от непосильной и непрерывной работы изо дня в день. Да и остальные, пребывающие в праздности, пропадают от безделья, скупости, телесных недугов, распутства, ростовщичества и т. д. и множество народа портят и развращают, держа его у себя в кабале, под гнетом нищеты, низкопоклонства и делая соучастниками собственных пороков, чем наносится ущерб общественным повинностям и отправлению полезных обязанностей. Обработкой полей, военной службой, искусствами и ремеслами занимаются кое-как и только немногие и с величайшим отвращением.

Но в Городе Солнца, где обязанности, искусства, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. Не разрешается лишь играть в кости, камешки, шахматы и другие сидячие игры, а играют там в мяч, в лапту, в обруч, борются, стреляют в цель из лука, аркебузов, метают копья и т. д.

Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т. д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им. И поэтому они всячески восхваляют благочестивых христиан и особенно превозносят апостолов.

Гостинник

Рассуждение об общности жен

Все это, по-моему, и прекрасно и свято, но вот общность женщин — это вопрос трудный. Святой Климент Римский, правда, говорит, что и жены, согласно апостольским

правилам, должны быть общими, и одобряет Платона и Сократа, которые учат так же, но Глосса понимает эту общность жен в отношении их общего всем услужения, а не общего ложа. И Тертуллиан единомыслен с Глоссою, говоря, что у первых христиан все было общим, за исключением жен, которые, однако, были общими в деле услужения.

Мореход

Сам-то я плохо это знаю. Но я наблюдал, что у Соляриев жены общи и в деле услужения, и в отношении ложа, однако же не всегда и не как у животных, покрывающих первую попавшуюся самку, а лишь ради производства потомства в должном порядке, как я уже говорил. Думаю, однако, что в этом они, может быть, и ошибаются. Но сами-то они приводят в подтверждение себе мнение Сократа, Катона, Платона и святого Климента, хотя, как ты говоришь, и неправильно понятого. Говорят, что святой Августин весьма одобрял общину, но не общность супружеского ложа, так как это ересь Николаитов. А наша церковь частную собственность допустила не для достижения большего блага, а во избежание большего зла. Возможно, однако, что когда-нибудь этот обычай у них бы и вывелся, ибо в подчиненных им городах общим является только имущество, а никак не жены, разделяющие лишь общее услужение и занятия мастерствами. Однако Солярии приписывают подобный порядок несовершенству других людей из-за малой осведомленности в философии. Тем не менее они посылают узнавать обычаи других народов и всегда усваивают себе лучшие из них. А благодаря навыку женщины приучаются и к военным и прочим занятиям. Итак, на основании собственных моих наблюдений над ними я соглашаюсь с Платоном, а доводы Кайеты, и уж особенно Аристотеля, для меня неубедительны.

Но вот что у них превосходно и достойно подражания: никакой телесный недостаток не принуждает их к праздности, за исключением преклонного возраста, когда, впрочем, привлекаются они к совещаниям: хромы несут сторожевую службу, так как обладают зрением; слепые чешут руками шерсть, щиплют пух для тюфяков и подушек; те, кто лишен и глаз и рук, служат государству своим слухом, голосом и т. д. Наконец, ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он рабо-

тает с помощью его в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит.

Гостинник

О военном деле

Расскажи теперь, пожалуйста, о военном деле, а потом об искусствах и ремеслах и об их религии.

Мореход

Правителю Мощи подчинены: начальник военного снаряжения, начальники артиллерии, конницы и пехоты, военные инженеры, стратеги и т. д., имеющие, в свою очередь, много подчиненных им начальников и военных мастеров. Кроме того, ведает он атлетами, обучающими всех воинским упражнениям и которые, будучи зрелого возраста, являются опытными руководителями и учат обращаться с оружием мальчиков, достигших двенадцатилетнего возраста и уже до этого приучившихся к борьбе, бегу, метанию камней и т. д. под руководством низших наставников; теперь же начинают они обучаться битве с врагами, конями и слонами, владеть мечом, копьем, стрелами и пращей, ездить верхом, нападать, отступать, сохранять военный строй, помогать соратникам, предупреждать нападение врагов и побеждать их. Женщины также обучаются всем этим приемам под руководством собственных начальников и начальниц, дабы при надобности помогать мужчинам при обороне города и охранять его стены при неожиданном нападении и приступе, по примеру восхваляемых ими Спартанок и Амазонок.

Благодаря этому они отлично умеют стрелять из аркебузов, отливать свинцовые пули, бросать камни с бойниц, отражать нападение и отучаться от всякого страха, тем более что проявление трусости жестоко наказуется. Смерти они совершенно не боятся, так как верят в бессмертие души и считают, что души, выходя из тела, присоединяются к добрым или злым духам, сообразно своему поведению во время земной жизни. Хотя они и примыкают к брахманам и пифагорейцам, но не признают переселения душ, за исключением только отдельных случаев по воле бога. И они беспощадно преследуют врагов государства и религии, как недостойных почитаться за людей.

Через каждые два месяца делают они смотр войску, а ежедневно производят военное учение или в поле — при кавалерийском учении, — или в самом городе. В эти занятия входят и лекции по военному делу, и чтение историй Моисея, Иисуса Навина, Давида, Маккавеев, Цезаря, Александра, Сципиона, Ганнибала и т. д., а затем каждый высказывается о том, кто, по его мнению, поступил хорошо, кто дурно, кто с пользой, кто достойно, после чего все эти вопросы разрешаются наставником.

Гостинник

Но с кем они воюют и из-за чего, раз они столь счастливы?

Мореход

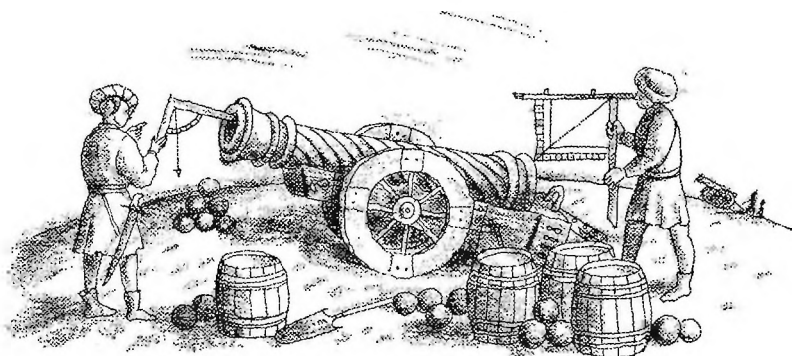
Да если бы им и никогда не приходилось воевать, они все равно продолжали бы заниматься военным делом и охотой, чтобы не изнеживаться и не быть застигнутыми врасплох при всяких случайностях. А кроме того, на том же острове находятся еще четыре царства, сильно завидующих их благополучию, потому что тамошнее население стремится жить по обычаям Соляриев и предпочитает быть под их властью, чем под властью собственных царей. Из-за этого часто начинается война с Соляриями под тем предлогом, что они захватили пограничные владения и живут нечестиво, не поклоняясь идолам и не следуя суевериям язычников и древних брахманов. Нападают на них Индийцы, подданными которых они были раньше, и Тапробанцы, от которых первое время находились они в зависимости.

О способе ведения войны

Тем не менее победителями всегда выходят Солярии. Как только они подвергаются насилию, оскорблению, разбою, или же когда угнетаются их союзники, или призывают их на помощь другие города, находящиеся под гнетом тирании, — они немедленно собираются на Совет. Тут первым делом они коленопреклоненно молят бога о внушении им наилучшего решения, а затем обсуждают обстоятельства дела, после чего уже объявляется война. Тотчас снаряжается священник, именующийся ходатаем; он требует от неприятелей возмещения за грабеж, или пре-

кращения угнетения союзников, или низложения тирании. В случае отказа он объявляет войну, призывая карающего бога Саваофа погубить стоящих за неправо дело. Если же неприятели медлят с ответом, священник дает им время на размышление: царю — один час, а республике — три часа, во избежание возможности какого-нибудь обмана. И так начинается война против нарушителей естественного права и религии.

По объявлении войны все распоряжения отдаются наместником Мощи. Мощь же, подобно римскому диктатору, управляет всем по собственному усмотрению и воле во избежание опасности промедления. В особо же важных случаях совещается с ☉, Мудростью и Любовью. Но для этого на Большом совете причины войны и законность похода излагаются Проповедником. В этот Совет входят все, начиная с достигших двадцатилетнего возраста и выше. И таким образом отдаются все необходимые распоряжения.



Надо иметь в виду, что у них в оружейных палатах имеется всякого рода вооружение, постоянно применяемое ими при упражнениях в примерных сражениях. Внешние стены отдельных кругов в изобилии снабжены бомбардами, при которых находится наготове прислуга. Есть у них и другие подобного же рода военные метательные орудия, называемые пушками, которые перевозятся на поле битвы на повозках, а прочее снаряжение и припасы перевозятся на мулах, ослах и на телегах. Расположившись лагерем в открытом поле, они помещают





в середину обоз, метательные орудия, телеги, лестницы и машины. Сражаются они долго и жестоко, а потом все отходят к своим знаменам. Неприятели поддаются на этот обман, думая, что они отступают или готовы обратиться в бегство, и бросаются за ними, а Солярии, разделившись на два фланга и отряда, собираются с новыми силами и, приказавши артиллерии начать обстрел раскаленными ядрами, снова бросаются в битву со смятенным врагом. Прибегают они и ко многим другим подобным приемам. Своими военными хитростями и машинами они превосходят всех смертных. Лагерь разбивают они по римскому образцу; раскидывают палатки и окапываются ровом и валом с удивительной быстротой. Всякими работами, машинами и метательными орудиями ведают особые начальники, а киркой и топором умеют владеть все солдаты. Пять, восемь или десять командиров, опытных в деле военного строя и военных хитростей, составляют военный совет и отдают приказания своим отрядам согласно заранее выработанному плану. Принято у них брать с собой и отряд вооруженных мальчиков верхом на лошадях, дабы они приучались к войне и привыкали, как волчата и львята, к кровопролитию; в случае же опасности они укрываются в надежное место вместе со многими вооруженными женщинами. А после сражения эти женщины и мальчики ухаживают за воинами, перевязывают им раны, прислуживают им и ободряют ласками и словами. И уж одно это оказывает замечательное действие: воины для доказательства своей храбрости женам и детям бросаются на отчаянные подвиги, и любовь делает их победителями. Тот, кто на приступе первым взберется на неприятельские стены, получает после битвы, при воинственных кликах женщин и детей, венок из травы; выручивший соратника получает гражданский венок из дубовых листьев; убивший тирана жертвует его доспехи в храм, а сам получает от ☉ прозвище, соответствующее его подвигу. Распределяются между ними и другие венки.

Каждый всадник вооружен пикой и двумя подвешенными к чепраку пистолями крепкого закала и суживающимися в отверстии дула, благодаря чему пробивают всякую железную броню; кроме того, носят они меч и кинжал. Другие же, тяжеловооруженные всадники, вооружены железною палицей, с которою, при невозможности пробить железную броню врага ни мечом, ни пи-

столью, нападают они на него, как Ахилл на Кикна, бьют и опрокидывают его наземь. С палицы свешиваются две цепи длиною в шесть пядей с железными шарами на концах; при взмахе палицею они обвиваются вокруг шеи врага, затягивают его, сбрасывают и валят.

*Секрет управления конем
при помощи ног*

А для того, чтобы ловчей орудовать этой палицей, они управляют поводьями коня не руками, а ногами: поводья перекрещиваются на чепраке седла и концами прикрепляются на застёжках к стремянам, а не к ногам; с наружной стороны стремян имеется железный шар, а изнутри — треугольник, который поворачивается попеременным нажимом ноги и вращает шары, прикрепленные застёжками к путлицам; таким образом они натягивают и отпускают узду с удивительной быстротой, правой ногой поворачивая лошадь налево, а левой — направо. Секрет этот неизвестен даже Татарам, ибо хотя они и управляют поводьями при помощи ног, однако не умеют их направлять, натягивать и отпускать посредством стремянного блока.

Сражение начинает легкая кавалерия стрельбою из аркебузов, затем вступают в бой фаланги копейщиков, за ними — пращники, которые ценятся очень высоко и которые сражаются, перебегая, как нитки по основе ткани: одни — выбегая, другие — попеременно отходя назад. Кроме того, войско поддерживают отряды воинов, вооруженных длинными копьями. Завершается сражение боем на мечах.

По окончании войны празднуются военные триумфы по обычаю Римлян и даже еще торжественнее, совершаются благодарственные молебствия богу, и тут во храме предстает полководец, а поэт или историк, бывший с ним по обычаю в походе, повествует об успехах и неудачах. И верховный правитель венчает полководца лавровым венком, а храбрым воинам раздают почетные награды и на несколько дней освобождают от исполнения общественных работ. Но последнего они не любят, так как не привыкли быть праздными, и поэтому помогают своим друзьям. Наоборот, побежденные по собственной вине или упустившие возможность победы встречаются с позором, и первый, обратившийся в бегство, может избежать смерти лишь в том случае, когда за сохранение ему жиз-

ни ходатайствует все войско и отдельные воины принимают на себя часть его наказания. Но это снисхождение применяется редко и лишь при наличии ряда смягчающих обстоятельств. Вовремя не оказавший помощи союзнику или другу наказывается розгами; не исполнивший приказаний бросается в ров на растерзание диким зверям; при этом ему вручается дубинка, и если он одолеет окружающих его львов и медведей, что почти невозможно, то получает помилование.

Все имущество покоренных или добровольно сдавшихся городов немедленно переходит в общинное владение. Города получают гарнизон и должностных лиц из Соляриев и постепенно приучаются к обычаям Города Солнца, общей их столицы, куда отправляют учиться своих детей, не входя для этого ни в какие расходы.

Мне было бы трудно рассказывать еще о разведчиках, об их начальнике, о страже и всем распорядке и прочих установлениях в самом городе и за его пределами, — все это ты можешь представить себе сам. Так как должность каждого определяется с детства сообразно с расположением и сочетанием звезд, наблюдавшихся при его рождении, то благодаря этому все, работая каждый в соответствии со своими природными склонностями, исполняют свои обязанности как следует и с удовольствием, так как для всякого они естественны. Это одинаково относится как к военному делу, так и ко всякого рода другим занятиям.

Город денно и ночью охраняется стражей, стоящей у четырех его ворот и на внешних укреплениях седьмого круга, на бастionaх, башнях и на внутренних валах. Днем сторожевую службу несут женщины, а ночью мужчины. Делается это для того, чтобы не закоснеть в бездействии и всегда быть готовыми на всякий случай. Часовые сменяются, как и у нас, через каждые три часа. На закате солнца стража разводится при звуках тимпана и музыки.

Они занимаются охотой как подражанием войне, а также пешими и конными играми на некоторых площадях во время празднеств, после чего играет музыка и т. д. Они охотно прощают вину и оскорбления своим врагам и, одержав над ними победу, оказывают им благодеяния. Если постановлено разрушить неприятельские стены или казнить кого-нибудь из неприятелей, то это производится в самый день победы над врагами, после чего они непре-

станно оказывают им благодеяния, говоря, что целью войны является не уничтожение, а совершенствование побежденных.

Если между ними возникает ссора за какое-нибудь оскорбление или по другому какому-либо поводу (а спорят они друг с другом почти исключительно по вопросам чести), то правитель и подчиненный ему начальник наказывают виновного тайно, если оскорбление нанесено действием в пылу первого гнева; если же нанесено словесное оскорбление, то решение откладывается до сражения, так как они говорят, что гнев надо извергать на неприятелей; и тот, кто больше отличится на войне, и считается выигравшим дело и восстановившим истину, а противник его этим удовлетворяется. Наказания воздаются по справедливости и соответственно проступку, но поединки не допускаются: тот, кто желает доказать свою правоту, пусть доказывает ее на войне.

Гостинник

Это заслуживает всяческого внимания во избежание развития отдельных партий на погибель отечеству и для уничтожения междоусобных войн, в результате которых часто появляются тираны, как это видно на примере Рима и Афин. Теперь же, прошу тебя, скажи об их работах.

Мореход

О работах

Ты, полагаю, уже слышал, что они все принимают участие в военном деле, земледелии и скотоводстве: знать это полагается каждому, так как занятия эти считаются у них наиболее почетными. А тот, кто знает большее число искусств и ремесел, пользуется и большим почетом; к занятию же тем или иным мастерством определяются те, кто оказывается к нему наиболее способным. Самые тяжелые ремесла, например кузнечное или строительное и т. п., считаются у них и самыми похвальными, и никто не уклоняется от занятия ими, тем более что склонность к ним обнаруживается от рождения, а благодаря такому распорядку работ всякий занимается не вредным для него трудом, а, наоборот, развивающим его силы. Менее тяжелыми ремеслами занимаются женщины. Все должны уметь плавать, и для этого устроены у них водоемы как за стенами города, так и внутри их, около фонтанов. Торго-

вля у них не в ходу, хотя они и знают цену денег и чеканят монету для своих послов и разведчиков. Из разных стран являются к ним в город купцы для закупки излишнего для города имущества, но Солярии отказываются продавать его за деньги, а берут в обмен по соответственной оценке недостающие им товары, которые часто приобретают и за деньги. И дети Соляриев потешаются, смотря, какое множество товара отдают им купцы за ничтожную плату, но старики не смеются этому, ибо опасаются разращения нравов в городе рабами и иностранцами. Поэтому торговля происходит у городских ворот, а рабов, захваченных на войне, они или продают, или употребляют либо на копанье рвов, либо на другие тяжелые работы вне города.

Об охране полей

Для охраны полей постоянно направляются четыре отряда воинов вместе с работниками. Они выходят четырьмя воротами, откуда идут четыре мощенные кирпичом дороги до самого моря для удобства перевозок и передвижения иностранцев.

О гостеприимстве

Иностранцев принимают они приветливо и щедро и в продолжение трех дней содержат их на общественный счет. Первым делом омывают им ноги, затем показывают город и объясняют его устройство, допускают их в Совет и к общественной трапезе. Для услуг и охраны иностранных гостей отражаются особые люди. Если же находятся желающие стать гражданами Государства Солнца, то их подвергают месячному испытанию за городом, а потом в течение месяца в самом городе. После этого выносят соответствующее постановление и принимают их с соблюдением определенных обрядов, присяги и т. д.

О земледелии

Земледелию уделяется исключительное внимание: нет ни одной пяди земли, не приносящей плода. Они сообразуются с ветрами и благоприятными звездами и, оставив в городе только немногих, выходят все вооруженными на поля: пахать, сеять, полоть, жать, собирать хлеб и снимать виноград; идут с трубами, тимпанами, знаменами и исполняют надлежащим образом все работы в самое незначи-

тельное число часов. Они пользуются телегами, оснащенными парусами, которые могут двигаться и против ветра, а когда нет ветра, то благодаря удивительно искусно устроенной колесной передаче повозку тянет всего одно животное. Прекрасное зрелище! Между тем вооруженная полевая стража делает обходы, постоянно сменяя друг друга. Землю они не удобряют ни навозом, ни илом, считая, что от этого загнивают семена и при употреблении их в пищу расслабляют тело и сокращают жизнь, подобно тому как женщины прикрашенные, а не прекрасные благодаря своей деятельности, производят хилое потомство. Поэтому и землю они не прикрашивают, а тщательно ее обрабатывают, пользуясь при этом тайными средствами, которые ускоряют всходы, умножают урожай и предохраняют семена. На этот предмет они имеют книгу под названием «Георгика». Потребная часть земли вспахивается, а остальная идет под пастбище скоту.

О скотоводстве

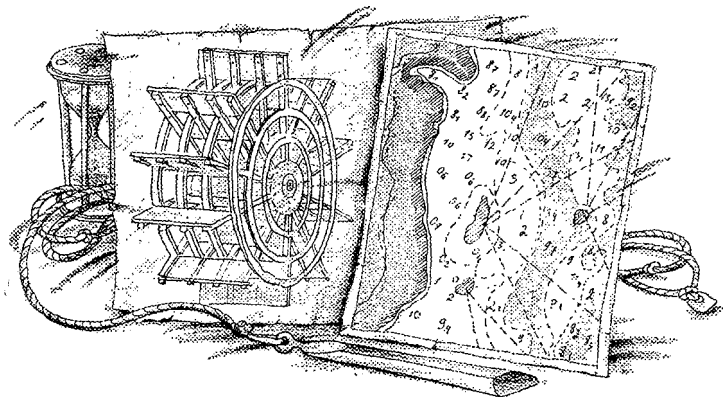
Благородное искусство разведения и выращивания лошадей, крупного и мелкого скота, собак и всякого рода домашних и ручных животных ценится у них так же высоко, как и во времена Авраама. При случае они заботятся, чтобы животные могли давать наилучший приплод, и производят ее перед изображениями породистых быков, лошадей, овец и т. д. Жеребцов-производителей они не припускают к кобылам на пастбище, но случают их во дворе полевых конюшен в надлежащее время, наблюдая за тем, чтобы в гороскопе находился Стрелец в благоприятном аспекте Марса и Юпитера. Для быков они следят за положением Тельца, для овец — за положением Овна и т. д., согласно указаниям науки. Имеются у них и стада кур (под покровительством Плеяд), уток и гусей, которых с большим удовольствием пасут женщины за городом, где находятся птичники и где изготавливаются сыр, масло и другие молочные продукты. Выкармливают они и множество каплунов, и племенной птицы, и т. д. В качестве руководства по этой части служит им книга под заглавием «Буколика».

Всего у них изобилие, потому что всякий стремится быть первым в работе, которая и невелика и плодотворна, а сами они очень способны. Тот, кто главенствует над другими в каком-нибудь, подобном перечисленным, занятии, называется у них царем; и они говорят, что это наимено-

вание присуще именно таким людям, а не невеждам. Достойно удивления, как все, и мужчины и женщины, выступают отрядами и во всем подчиняются своему царю, не проявляя при этом (подобно нам) никакого недовольства, ибо почитают его за отца или за старшего брата. Есть у них и рощи и леса, где они часто охотятся за дикими зверями.

*О морском
деле*

Морское дело находится у них в большом почете. У них имеются особые суда и галеры, ходящие по морю без помощи весел и ветра, посредством удивительно устроенного механизма; но есть и такие, которые двигаются посредством ветра и весел. Они прекрасно знакомы со звездами и с морскими приливами и отливами. В плавание они хо-



дят для ознакомления с различными народами, странами и предметами. Сами они никому не причиняют насилия, но и по отношению к себе его не терпят и вступают в бой, если только на них нападают. Они утверждают, что весь мир придет к тому, что будет жить согласно их обычаям, и поэтому постоянно допытываются, нет ли где-нибудь другого народа, который бы вел жизнь еще более похвальную и достойную. Они находятся в союзе с Китайцами и со многими народами на островах и на материке: с Сиамом, Каукакиной, Каликутом, — откуда только могут получать какие-либо сведения. В сражениях на суше и на море применяют они искусственные огни и многие другие тайные военные хитрости, благодаря которым всегда почти выходят победителями.

Гостинник

Интересно было бы теперь услышать, что они едят и пьют, как проходит их жизнь и какова ее продолжительность.

Мореход

*О жизни и пище
всей республики и ее частей*

Они считают, что в первую очередь надо заботиться о жизни целого, а затем уже ее частей. Поэтому, когда они воздвигали свой город, они установили твердые знаки в четырех углах мира. В гороскопе был Юпитер на восток от Солнца в созвездии Льва; Меркурий и Венера — в Раке, но поблизости, так что образовывали сопутствие; Марс был в Стрельце, в пятом Доме, счастливым аспектом усиливая афету и гороскоп; Луна находилась в Тельце в благоприятном аспекте к Меркурию и Венере и вместе с тем не поражала квадратным аспектом Солнца; Сатурн стремился в четвертый Дом, нисколько, однако, не вредя Солнцу и Луне, но способствуя устойчивости оснований. Фортуна с Алголем была в десятом Доме, что, по мнению Соляриев, предвещало господство, крепость и величие. Да и Меркурий, будучи в хорошем аспекте Девы и будучи озаряем в абсиде Луною, не может быть зловещим; а раз он радостен, то их наука не пребывает в ничтожестве; в том же, чтобы ждать его в Деве и в соединении, они мало заботятся. Соображаются они с положением отдельных звезд в смысле влияния их на жизненные силы и долголетие и при зачатии, как уже было указано.

О пище

Пищу их составляют мясо, коровье масло, мед, сыр, финики и разные овощи. Сначала они были против того, чтобы убивать животных, так как это представлялось им жестоким, но, рассудив затем, что одинаково жестоко убивать и растения, также одаренные чувством, и что тогда пришлось бы им умирать с голоду, они уразумели, что низшие твари созданы для высших, и поэтому теперь употребляют всякую пищу. Однако животных племенных, как, например, коров и лошадей, убивают они неохотно. Они тщательно различают полезную и вредную пищу и питаются согласно требованиям медицины. Пища непрерывно меняется трижды: один день они едят мясо, другой — рыбу, третий — овощи, а затем возвращаются снова

к мясу, дабы и не отягощаться и не изнуряться. Старики употребляют пищу удобоваримую и едят три раза в день и понемногу; община ест дважды в день, а дети — четыре раза, согласно предписанию Физика. Живут они по большей части до ста лет, а некоторые и до двухсот.

О питье

Пьют они чрезвычайно умеренно. Юношам не разрешается пить вина вплоть до девятнадцати лет, за исключением тех случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья. По достижении этого возраста они пьют вино, разбавленное водой, как и женщины. Старики за пятьдесят лет большею частью воды не добавляют.

Пищу они употребляют наиболее полезную по данному времени года и вообще по предписанию наблюдающего за этим Главного врача. Ничего из того, что создано богом, не считается вредным, если только не употребляется это в неумеренном количестве. Поэтому летом питаются они плодами, так как они влажны, сочны и освежительны в летнюю жару и засуху; зимою употребляют сухую пищу, а осенью едят виноград, ибо он создан богом против меланхолии и уныния.

В большом употреблении у них благовония. Вставая утром, все они расчесывают волосы и моют лицо и руки холодною водой; затем либо жуют, либо растирают руками мяту, петрушку или укроп, а старшие растирают ладан. Затем, обратившись на восток, читают краткую молитву, весьма схожую с той, которой научил нас Иисус. После этого одни идут прислуживать старикам, другие — петь в хоре, третьи — исполнять государственные обязанности; затем отправляются на первые лекции, затем идут в храм, затем занимаются физическими упражнениями, затем немного отдыхают и, наконец, завтракают.

О болезнях Соляриев и их лечении

У них не бывает ни подагры, ни хирагры, ни катаров, ни ишиаса, ни колик, ни вспучиваний, ни ветров, ибо все эти болезни происходят от истечения и вспучивания, а они телесными упражнениями разгоняют всякую влагу и ветры. Поэтому чрезвычайно позорно быть замеченным в плеваньи и харканье: они утверждают, что это — признак или недостаточных упражнений, или нерадивости и лени, или опьянения и обжорства. Скорее подвержены

они воспалениям или сухим спазмам, от чего помогает обильная, сочная и здоровая пища. Изнурительную лихорадку они лечат приятными ваннами и молочной пищей, приятным времяпрепровождением в деревне и спокойными и веселыми упражнениями. Венерическая болезнь не может развиваться среди них, так как они очищают тело частыми омовениями из вина и натираются благовонными маслами, а выделением пота во время упражнений удаляют зловредную испарину, разлагающую кровь и мозги. Чахоткой они болеют редко, потому что у них не бывает катара в груди, а совсем редко — астмой, развивающейся вследствие скопления влаги. Горячки лечат они питьем холодной воды. Однодневные лихорадки лечат пряностями и жирным бульоном, или же сном, или музыкой, или весельем; трехдневные — кровопусканием и приемом ревеня, или другими очищающими средствами, или же отваром из послабляющих корней и кислых трав. Но слабительное принимают они редко. Четырехдневные лихорадки они легко излечивают посредством внезапного испуга, а также травами, противодействующими влаге, свойственной четырехдневной лихорадке, или же другими подходящими средствами. Они открыли мне и тайные средства их излечения.

Особенно старательно лечат они длительные лихорадки, которых они очень боятся, и борются с ними и наблюдением звезд, и подбором трав, и молитвами богу. Лихорадки пятидневные, шестидневные, восьмидневные и т. д. среди них совсем почти не встречаются, так как у них не бывает скопления влаги.

Они моются в банях, которые у них построены по образцу римских: натираются маслами и открыли еще гораздо больше неведомых средств для поддержания чистоты, здоровья и силы. Этими и другими способами борются они с падучею болезнью, которой часто бывают одержимы.

Гостинник

Это — признак исключительной одаренности: Геркулес, Скот, Сократ, Каллимах и Магомет страдали этой же болезнью.

Мореход

Борются они с нею молитвами, обращенными к небу, укреплении мозга, принимая для этого кислоты, занимаясь изысканными увеселениями и употребляя жирный

бульон, приправленный лучшей пшеничной мукой. Кушанья они приправляют мастерски, подбавляют в них корицу, мед, сливочное масло и множество сильно подкрепляющих пряностей. Жирные блюда сдабривают они чем-нибудь кислым во избежание отрыжки. Они не пьют ни остуженных снегом, ни искусственно подогретых напитков, как Китайцы, не нуждаясь в таких средствах против влаги для усиления природного тепла, но поддерживают его толченым чесноком, уксусом, тмином, мятой и базиликом, особенно летом и при утомлении. Им известна и тайна обновления жизни через каждые семь лет безо всякого ущерба, способом приятным и прямо удивительным.

Гостинник

Ты до сих пор не сказал еще о науках и властях.

Мореход

*О выборе и управлении
должностных лиц и о Совете
вторично и точнее*

Нет, я говорил, но раз ты этим так интересуешься, я добавлю еще. Каждое новолуние и полнолуние собирается Совет по совершении богослужения. В нем присутствуют все от двадцати лет и старше, и всем предлагается поодиночке высказаться о том, какие ссть в государстве недочеты, какие должностные лица исполняют свои обязанности хорошо, какие — дурно. Также каждый восьмой день собираются все должностные лица, именно Верховный ☉ и вместе с ним Мощь, Мудрость и Любовь, из которых каждому подчинены три начальника, так что всех их — тринадцать. Все они ведают соответствующей отраслью управления: Мощь — военным делом, Мудрость — науками, Любовь — продовольствием, одеждой, деторождением и воспитанием. Собираются и все начальники отрядов — как женских, так и мужских, — десятники, полусотники и сотники для обсуждения государственных дел и выбора должностных лиц, которые на Большом совете только намечаются заранее. Точно так же ежедневно ☉ и трое главных правителей совещаются о текущих делах; проверяют, утверждают и приводят в исполнение постановленное на выборах и обсуждают другие необходимые мероприятия. К жеребьевке не прибегают, кроме тех случаев, когда совершенно не знают, какое следует принять решение. Должностные лица сменяются по воле народа. Но четверо высших несменяемы, если только сами на со-

вещании между собою не передадут своего достоинства другому, кого с уверенностью считают мудрейшим, умнейшим и безупречнейшим. Они действительно настолько разумны и честны, что охотно уступают мудрейшему и сами у него поучаются, но такая передача власти случается редко.

Лица, стоящие во главе отдельных наук, подчинены правителю Мудрости, кроме Метафизика, который есть сам Θ , главенствующий над всеми науками, как архитектор: для него было бы постыдно не знать чего-либо доступного смертным. Таким образом, под началом Мудрости находятся: Грамматик, Логик, Физик, Медик, Политик, Этик, Экономист, Астролог, Астроном, Геометр, Космограф, Музыкант, Перспективист, Арифметик, Поэт, Ритор, Живописец, Скульптор. Под началом правителя Любви: Заведующий деторождением, Воспитатель, Медик, Заведующий одеждой, Агроном, Скотовод, Стадовод, Заведующий приручением животных, Главный кухмистр, Откормщик и т. д. В распоряжении триумвира Мощи находятся: Стратег, Начальник едиnobорцев, Кузнечных дел мастер, Начальник арсенала, Казначей, Заведующий чеканкой монеты, Инженер, Начальник разведки, Начальник конницы, Конюший, Главный гладиатор, Начальник артиллерии, Начальник пращников и Юстициарий. А этим всем подчинены особые специалисты.

Гостинник

Ну, а что ты скажешь об их судьях?

Мореход

*О судопроизводстве
и судьях*

Как раз я хотел сказать об этом. Все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства. Таким образом, все главные мастера являются судьями и могут присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами. К насильникам применяется смертная казнь или наказание — око за око, нос за нос, зуб за зуб и т. д., согласно закону возмездия, если преступление совершено сознательно и с заранее обдуманном намерением. Если же это случилось во время ссоры и совершенно непредумышленно, то приговор смягчается, но не самим судьей, а тремя правителями, от которых мож-

но апеллировать к ☉, но не в порядке судопроизводства, а в порядке просьбы о помиловании, которое он может даровать. Тюрем у них нет, кроме только башни для заключения мятежных неприятелей и др. Письменного судопроизводства (того, что называется процессом) у них не ведется, но перед судьей и Моцью излагается обвинение, приводятся свидетели и говорит в свою защиту ответчик, которого судья тут же или оправдывает, или осуждает; если же он апеллирует к одному из трех правителей, то оправдание или осуждение переносится на следующий день. На третий день ответчик может быть или помилован и отпущен ☉, или же приговор вступает в законную силу, причем ответчик примиряется со своими обвинителями и свидетелями, как с врачами своей болезни, обнимая их, целуя и т. д.

Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые удары наносят обвинитель и свидетели. Палачей и ликторов у них нет, дабы не осквернять государства. Иным дается право самим лишать себя жизни: тогда они обкладывают себя мешочками с порохом и, поджегши их, сгорают, причем присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при этом плачут и молят бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли до необходимости отсечь загнанный член государства. Однако же виновного они убеждают и уговаривают до тех пор, пока тот сам не согласится и не пожелает себе смертного приговора, а иначе он не может быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства, или против бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно. И только такие преступники караются смертью. Повинный смерти обязуется перед лицом народа по совести объяснить причины, по которым, по его мнению, он не должен был бы умирать, объявить проступки других, заслуживающие смерти, и преступления властей, приведя доказательства того, что они заслуживают еще более тяжкого наказания, ежели только он в этом уверен. И если доводы его окажутся убедительными, он сам отправляется в изгнание, а Город очищают молитвами, богослужениями и покаянием. Однако выданных обвиняемых не истязают, а лишь делают им внушения. Прегрешения, совершенные по слабости или неведению, караются лишь выговорами и принудительными уроками воздержания или же изучением той науки или мастерства, к которым относилось прегрешение.

По своим взаимоотношениям они представляются совершенно как бы членами одного и того же тела.

Желательно, чтобы ты обратил внимание на то, что если кто-либо, совершив проступок, сам, не дожидаясь обвинения, добровольно повинится в нем, явившись к начальству, и принесет покаяние, пока его не обвинили, то наказание как за сокрытое преступление к нему не применяется и изменяется на другое. Они ревностно следят, чтобы никто не оклеветал другого, так как ведь клеветник должен подвергнуться наказанию по закону возмездия. И так как они всегда ходят и работают отрядами, то для уличения преступника требуется пять свидетелей; иначе его отпускают под присягой и с предостережением. Если же он будет обвинен вторично или в третий раз при двух или трех свидетелях, то несет сугубое наказание.

Законы их немногочисленны, кратки и ясны. Они вырезаны все на медной доске у дверей храма, то есть под колоннадой; и на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом, чрезвычайно сжатом стиле; именно: что такое бог, что такое ангел, мир, звезда, человек, рок, доблесть и т. д. Все это определено очень тонко. Там же начертаны определения всех добродетелей, и у каждой колонны, на которой начертано соответствующее определение, находятся кресла или судилища судей всех этих добродетелей. Во время судебного производства судьи сидят там и говорят обвиняемому: «Сын мой, ты прегрешил против этого священного определения (благотворительности, великодушия и т. д.). Читай». И по обсуждении дела приговаривают обвиняемого к наказанию за проступок, им совершенный (то есть за злодеяние, малодушие, гордость, нерадивость и т. д.). А обвинительные приговоры являются истинными и верными лекарствами и воспринимаются скорее как нечто приятное, а не наказание.

Гостинник

Теперь ты должен рассказать мне об их священниках, жертвоприношениях, религии и вере.

Мореход

*О священниках, религии,
жертвоприношении и молитвах*

Первосвященник у них сам ☉, а из должностных лиц священниками являются только высшие; на их обязанности лежит очищать совесть граждан, а весь Город на тайной исповеди, которая принята и у нас, открывает свои пре-

грешения властям, которые одновременно и очищают души, и узнают, каким грехам наиболее подвержен народ. Затем сами священноначальники исповедуют трем верховным правителям и собственные и чужие грехи, обобщая их и никого при этом не называя по имени, а указывая главным образом на наиболее тяжкие и вредные для государства. Наконец, трое правителей исповедуют эти же грехи вместе со своими собственными самому ☉, который узнает отсюда, какого рода прегрешениям наиболее подвержен Город, и заботится об искоренении их надлежащими средствами. Он приносит богу жертвы и молитвы и прежде всего всенародно исповедует перед богом грехи всех граждан во храме перед алтарем всякий раз, когда это необходимо для очищения, не называя, однако, по имени никого из согрешивших. И так он отпускает народу его грехи, вразумляя предостерегаться от них впредь, а затем исповедует всенародно свои собственные грехи и, наконец, приносит жертву богу, моля о прощении Города и его грехов, о наставлении его и защите.

Также и верховные правители отдельных подчиненных городов один раз в год исповедуют, каждый в отдельности, их грехи перед ☉. Отсюда становятся ему известны недостатки провинции, и он равным образом врачует и их всеми человеческими и божественными средствами и т. д.

Жертвоприношение совершается так: ☉ спрашивает у народа, кто желает принести себя в жертву богу за своих сограждан, и более праведный отдает себя добровольно. По совершении установленных обрядов и молений его кладут на четырехугольную доску, прикрепленную четырьмя крюками к четырем канатам, спускающимся на четырех блоках с малого купола, и вызывают к богу о милосердии, да будет ему угодна эта добровольная жертва человеческая, а не насильственная животная, какую приносят язычники. Затем ☉ приказывает тянуть канаты, приносимый в жертву поднимается вверх, к середине малого купола, и там отдается горячим молитвам. Пища доставляется ему через окно живущими вокруг купола жрецами, но пища скудная, до тех пор пока не искупятся грехи Города. Сам же он в молитве и посте молит бога, да примет он его добровольную жертву. По прошествии же двадцати или тридцати дней, по умиловивлении гнева божия, он становится жрецом или же (но в редких случаях) возвращается вниз, но уже по наружному, жреческому сходу. И муж этот пользуется впоследствии вели-

ким уважением и почетом за то, что сам обрек себя на смерть за отечество. Бог же не желает смерти.

Кроме того, наверху храма пребывают двадцать четыре жреца, которые в полночь, в полдень, утром и вечером, четыре раза в сутки, поют богу псалмы. На их обязанности лежит наблюдать звезды, отмечать их движения при помощи астрологии и изучать их силы и воздействие на дела человеческие. Таким образом знают они, какие изменения произошли или имеют произойти в отдельных областях земли и в какое время, и посылают проверять, действительно ли там случилось, отмечая и верные и ложные предсказания, дабы иметь возможность предсказывать впредь с наибольшей точностью на основании этих данных. Они определяют часы для оплодотворения, дни посева, жатвы, сбора винограда и являются как бы передатчиками и связующим звеном между богом и людьми. Из их среды по большей части и выходит ☉. Они записывают замечательные события и занимаются научными изысканиями. Вниз сходят они лишь завтракать и обедать, подобно духу, нисходящему из головы к желудку и печени. С женщинами сношений они не имеют, за исключением редких случаев, когда это необходимо для здоровья. Ежедневно к ним поднимается ☉ и рассуждает с ними о том, что они измыслили нового на благо Города и всех народов мира.

Внизу в храме постоянно находится кто-нибудь из народа, молясь перед алтарем; каждый час он сменяется другим, подобно тому как принято это у нас на торжественном сорокачасовом молебствии. Обычай такой молитвы называется у них «непрестанным жертвоприношением». После трапезы они воздают хвалу богу музыкой, а затем воспевают подвиги доблестных христиан, евреев, язычников и всяких других народов, что доставляет им большое наслаждение, ибо они никому не завидуют. Воспевают они и любовь, и мудрость, и всяческие добродетели под управлением своего царя. Каждый выбирает себе женщину, которая ему больше нравится, и начинается стройная и прекрасная пляска под колоннадами.

Женщины носят длинные волосы, собирая и связывая их все узлом на затылке и заплетая в одну косу; мужчины же — только один локон, выстригая кругом него все остальные волосы, повязывая платком и поверх него надевая круглую шапочку чуть пошире головы. На походе носят они шляпы, а дома — береты; белые, красные или пестрые, сообразно со своим мастерством или занятием; у должностных лиц они больше и пышнее.



О праздниках

Они празднуют четыре великих праздника при вступлении Солнца в четыре поворотные точки мира, то есть в знаки Рака, Весов, Козерога и Овна. При этом они разыгрывают глубоко продуманные и прекрасные представления, вроде комедий. Празднуют они и каждое полнолуние и новолуние, и день основания Города, и годовщины побед, и т. п.

О поэтах

Празднества сопровождаются пением женского хора, звуками труб и тимпанов и пальбою из бомбард, а поэты воспевают славных полководцев и их победы. Однако же тот, кто что-нибудь при этом присочинит от себя, даже и к славе кого-либо из героев, подвергается наказанию. Недостоин имени поэта тот, кто занимается ложными вымыслами, и они считают это за распущенность, губительную для всего человеческого рода, ибо допускающий это похищает награду у достойнейших и часто доставляет ее людям порочным либо из страха, либо из лести, низкопоклонства и жадности.

Памятники в честь кого-нибудь ставятся лишь после его смерти. Однако еще при жизни заносятся в книгу героев все те, кто изобрел или открыл что-нибудь полезное или же оказал крупную услугу государству либо в мирном, либо в военном деле. Тела умерших не погребаются, а во избежание моровых болезней сжигаются и обращаются в огонь, столь благородную и живую стихию, которая исходит от Солнца и к Солнцу возвращается. Этим исключается возможность возникновения идолопоклонства. Остаются, однако, изваяния и изображения героев, на которые часто взирают красивые женщины, предназначенные государством для деторождения.

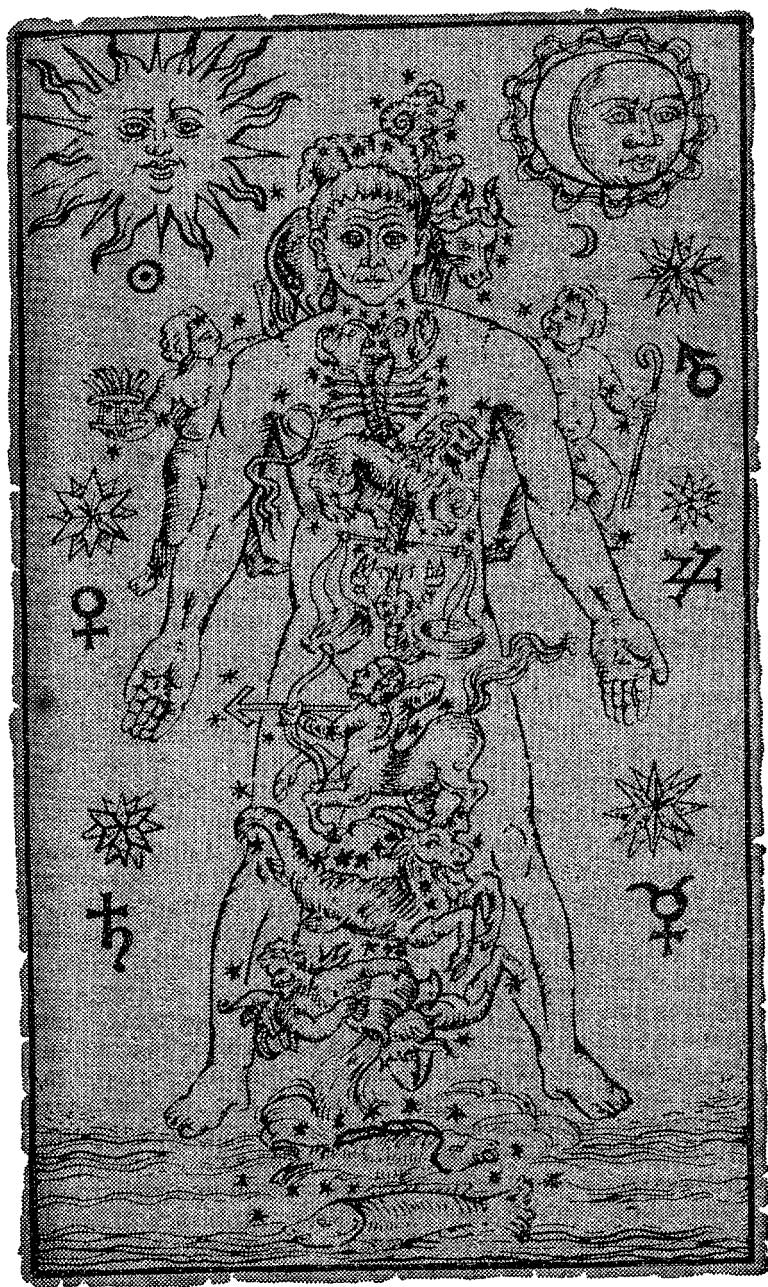
*О совершении
молитвы*

Молитвы совершают они, обращаясь на четыре стороны света: утром сначала на восток, затем на запад, затем на юг и затем на север, а вечером наоборот: сначала на запад, затем на восток, затем на север и затем на юг. При этом повторяют одну и ту же молитву, в которой просят для себя и для всех народов здорового тела, здорового духа и блаженства, заключая ее словами «как будет угодно богу». Впрочем, всенародная молитва пространна, и изливается она к небу. Для того и алтарь у них круглый и разделен крест-накрест идущими под прямым углом проходами, по которым входит ☉ после каждой из четырех повторных молитв и молится, взирая на небо. Это почитается у них за великое таинство. Первосвященнические облачения отличаются великолепием и осмысленностью, подобно облачению Аарона.

*Об астрономии в делах священников
и в гражданском счислении*

Счет времени ведется у них по тропическому, а не по сидерическому году, но ежегодно они отмечают, насколько первый предвывает второй. Они считают, что Солнце непрерывно снижается и поэтому, описывая все более низкие круги, достигает Тропиков и Равнодействий раньше, чем в предыдущем году, или же нашему глазу, наблюдающему его все ниже в наклонности, представляется, что оно достигает и склоняется к ним раньше. Месяцы они исчисляют по движению Луны, а год — по движению Солнца; и ввиду того, что одно совпадает с другим только на девятнадцатый год, когда и голова Дракона завершит свой цикл, создали они новую астрономию.

Они восхваляют Птолемея и восхищаются Коперником, хотя ему и предшествовали Аристарх и Филолай, но они говорят, что один производит расчет движений камешками, а другой — бобами, а ни тот, ни другой не рассчитываются настоящими деньгами и расплачиваются с миром счетными марками, а не чистой монетой. Поэтому сами они тщательно расследуют это дело, ибо это необходимо для познания устройства и строения мира и того, суждено ему погибнуть или нет и когда именно. И они твердо верят в истинность пророчества Иисуса Христа о знамениях в Солнце, Луне и звездах, чего не признают среди нас многие безумцы, которых и застигнет



гибель мира, как вор ночью. Посему ожидают они обновления века, а может быть, и конца. Они признают, что чрезвычайно трудно решить, создан ли мир из ничего, из развалин ли иных миров или из хаоса, но считают не только вероятным, а, напротив, даже несомненным, что он создан, а не существовал от века. Поэтому и здесь, как и во многом другом, ненавидят они Аристотеля, которого называют логиком, а не философом, и извлекают множество доказательств против вечности мира на основании аномалий. Солнце и звезды они почитают как живые существа, как изваяния бога, как храмы и живые небесные алтари, но не поклоняются им. Наибольшим же почетом пользуется у них Солнце. Но никакое творение не считают они достойным поклонения и обожания, которое воздают одному лишь богу, и потому ему одному служат, дабы не подпасть, в возмездие за служение творениям, под иго тирании и бедствия. И под видом Солнца они созерцают и познают бога, называя Солнце образом, ликом и живым изваянием бога, от коего на все находящееся под ним истекает свет, тепло, жизнь, живительные силы и всякие блага. Поэтому и алтарь у них воздвигнут наподобие Солнца, и священнослужители их поклоняются богу в Солнце и звездах, почитая их за его алтари, а небо — за его храм, и зывают к добрым ангелам как к заступникам, пребывающим в звездах — живых их обиталищах: ибо, говорят они, бог явил свое нескончаемое величие в небе и Солнце — своим трофеем и изваянием.

Они отвергают Птолемея и Коперника эксцентрики и эпициклы и утверждают, что существует только одно небо и что планеты сами движутся и поднимаются, когда приближаются к Солнцу и приходят с ним в соединение; поэтому они по большому кругу двигаются вперед, в направлении общего движения, медленнее, а когда подходят к Солнцу, то несколько отклоняются, дабы получить от него свет, и начинают движение по кратчайшему пути, так как находятся ближе к Земле, благодаря чему и движутся вперед быстрее. Когда они идут с тою же скоростью, что и неподвижные звезды, они называются *стоящими*; когда скорее — *идущими вспять*, как говорят обыкновенные астрономы; когда медленнее — *идущими прямо* к большому свету, который они воспринимают, к которому поднимаются и т. д., ибо из квадратур и в противостояниях они снижаются, чтобы от него не отдаляться. Луна же и в противостоянии, а тем более в соединении, поднимается потому, что находится под Солнцем. Таким образом,

все светила, хотя и движутся от востока к западу, кажутся идущими в обратном направлении, так как все звездное небо быстро обращается в двадцать четыре часа, а они не так быстро, но задерживаются на пути, благодаря чему, упреждаемые небом, видны движущимися в обратном направлении. Луну же, которая к нам всего ближе, ни в противостоянии, ни в соединении никогда не видно бегущей обратно, но она только немного уходит вперед, когда полностью освещена сверху или снизу, ибо первое небо обладает в сравнении с нею такой скоростью, что ее движение вперед не может выйти за пределы тринадцати градусов, на которые она от него отходит. Итак, она не движется, а лишь замедляет и ускоряет движение вперед и вспять, из чего становится очевидно, что не надо прибегать ни к эпициклам, ни к эксцентрикам для объяснения подъема, понижения, попятного и замедленного движения. Действительно, Солярии доказывают, что блуждающие светила в определенных частях мира связываются симпатией с явлениями вышними и потому задерживаются там дольше, почему и говорится, что они поднимаются в абсиде. Далее, тому явлению, что Солнце дольше задерживается в северной области, чем в южной, они дают физическое объяснение, а именно: оно поднимается, чтобы накалять Землю там, где ей выпали на долю большие силы, когда оно устремилось на полдень при своем появлении вместе с миром. Поэтому они утверждают вместе с Халдеями и древними Евреями (а не так, как полагают в позднейшее время), что мир возник во время нашей осени и весны южного полушария. Таким образом, поднимаясь для возмещения того, что оно утратило, Солнце больше дней остается на севере, чем на юге, и видно восходящим по эксцентрику. При этом, однако, они не уверены ни в том, является ли Солнце центром нижнего мира, ни в том, неподвижны или нет центры орбит других планет, ни в том, обращаются ли вокруг других планет луны, подобные обращающейся вокруг нашей Земли, но неперестанно доискиваются тут истины.

О физике

Они признают два физических начала всех земных вещей: Солнце — отца и Землю — мать. Воздух считают они нечистою долею неба, а весь огонь — исходящим от солнца. Море — это пот Земли или истечение раскаленных и расплавленных ее недр и такое же связующее звено между воздухом и землею, как кровь между телом и ду-

хом у живых существ. Мир — это огромное живое существо, а мы живем в его чреве, подобно червям, живущим в нашем чреве. И мы зависим не от промысла звезд, Солнца и Земли, а лишь от промысла божия, ибо в отношении к ним, не имеющим иного устремления, кроме своего умножения, мы родились и живем случайно, в отношении же к богу, которого они являются орудиями, мы в его предведении и распорядке созданы и предопределены к великой цели. Поэтому единственно богу обязаны мы, как отцу, и памятуем, что всем ведает он.

Они непреложно веруют в бессмертие душ, которые после смерти присоединяются к сонму добрых или злых ангелов, в зависимости от того, каким из них уподобились в делах своей земной жизни, ибо все устремляется к себе подобному.

О местах наказания и награды в будущей жизни они держатся почти одинаковых с нами воззрений. Относительно существования иных миров за пределами нашего они находятся в сомнении, но считают безумием утверждать, что вне его ничего не существует, ибо, говорят они, небытия нет ни в мире, ни за его пределами, и с богом, как с существом бесконечным, никакое небытие не совместимо.

О метафизике

Начал метафизических полагают они два: сущее, то есть высшего бога, и небытие, которое есть недостаток бытийности и необходимое условие всякого физического становления; ибо то, что есть, не становится, и, следовательно, того, что становится, раньше не было. Далее, от склонности к небытию рождаются зло и грех; грех имеет, таким образом, не действующую причину, а причину недостаточную. Под недостаточной же причиной понимают они недостаток мощи, или мудрости, или воли. Именно в этом и полагают они грех: ибо тот, кто знает и может творить добро, должен иметь и волю к нему, ибо воля возникает из первых двух способностей, а не наоборот.

Изумительно то, что они поклоняются богу-троице, говоря, что бог есть высшая мощь, от которой исходит высшая мудрость, которая точно так же есть бог, а от них — любовь, которая есть и мощь и мудрость; ибо исходящее непременно будет обладать природой того, от чего оно исходит. При этом, однако, они не различают поименно отдельных лиц троицы, как в нашем христианском законе, потому что они лишены откровения, но они

знают, что в бoге заключается исхождение и отнесение самого себя к себе, в себя и от себя.

Таким образом, все существа метафизически состоят из мощи, мудрости и любви, поскольку они имеют бытие, и из немощи, неведения и ненависти, поскольку причастны небытию; и посредством первых стяжают они заслуги, посредством последних — грешат: или грехом природным — по немощи и неведению, или грехом вольным и умышленным, либо трояко: по немощи, неведению и ненависти — либо по одной ненависти. Ведь и природа в своих частных проявлениях грешит по немощи или неведению, производя чудовищ. Впрочем, все это предусматривается и устраняется богом, ни к какому небытию не причастным, как существом всемогущим, всеведущим и всеблагим. Поэтому в бoге никакое существо не грешит, а грешит вне бoга. Но вне бoга мы можем находиться только для себя и в отношении нас, а не для него и в отношении к нему; ибо в нас заключается недостаточность, а в нем — действительность. Поэтому грех есть действие бoга, поскольку он обладает существенностью и действительностью; поскольку же он обладает несущественностью и недостаточностью, в чем и состоит самая природа греха, он в нас и от нас, ибо мы по своему нестроению уклоняемся к небытию.

Гостинник

Господи, какие тонкости!

Мореход

Уверяю тебя, что если бы я все запомнил и не боялся сейчас опоздать, я бы нарасказал тебе изумительных вещей, но я пропущу корабль, ежели не потороплюсь.

Гостинник

Умоляю тебя, не утай от меня только одного: что говорят они о грехопадении Адама?

Мореход

*О причине
зол в мире*

Они ясно сознают, что в мире царит великая испорченность, что люди не руководствуются истинными высшими целями, что достойные терпят мучения, что им не внимают, а что господствуют негодяи, хотя их благополучную

жизнь они называют несчастьем, ибо она есть как бы ничтожное и показное бытие, так как ведь на самом деле не существует ни царей, ни мудрецов, ни подвижников, ни святых, раз они поистине не таковы. Из этого они заключают, что в делах человеческих из-за какого-то случая возникло великое смятение. Сначала они как будто были склонны считать вместе с Платоном, что небесные сферы в прежние времена вращались с нынешнего запада туда, где, мы теперь считаем, находится восток, а впоследствии стали двигаться в обратном направлении. Считали они возможным и то, что делами низшего мира управляет некое низшее божество по попущению первого божества, но теперь полагают, что это мнение нелепо. Но еще нелепее считать, что сначала хорошо правил миром Сатурн, затем уже хуже Юпитер, а затем — последовательно остальные планеты, хотя они и признают, что мировые эпохи распределяются по планетам. Уверены они и в том, что из-за перемещения абсид через каждые тысячу или тысячу шестьсот лет во всем происходят значительные изменения.

Наш век, очевидно, надо считать веком Меркурия, хотя он и перебивается великими соединениями, и роковое действие оказывают возвращения аномалий. В конце концов они признают, что счастлив христианин, довольствующийся верою в то, что столь великое смятение произошло из-за грехопадения Адама. Они полагают также, что от отцов на детей переходит скорее зло возмездия за вину, чем сама вина.

Но от сыновей вина переходит обратно на их отцов, поскольку те с небрежением относились к деторождению и совершали его не в надлежащее время и не в надлежащем месте, пренебрегали подбором и воспитанием родителей и дурно обучали и наставляли детей. Поэтому сами они тщательно следят за деторождением и воспитанием, говоря, что наказание и вина как сыновей, так и родителей затопляет государство. Из-за этого в теперешние времена все города погрязли в бедствиях и, что еще хуже, ныне называют миром и благоденствием самые эти бедствия, пребывая в неведении истинных благ, а мир представляется управляемым случаем. На самом же деле тот, кто созерцает устройство мира и изучает анатомию человека (которую сами они часто изучают на приговоренных к смерти), растений и животных, как и применение отдельных их частей и частиц, неизбежно принужден будет признать во всеуслышание мудрость и провидение бога.

Итак, человек должен быть всецело предан религии и всегда почитать своего творца. Но это невозможно исполнить подобающим образом и без затруднений никому, кроме того, кто исследует и постигает творения бога, соблюдает его заповеди и, будучи правильно умудрен в своих действиях, помнит: *Чего не хочешь самому себе, не делай этого другому, и что вы хотите, чтобы делали люди вам, делайте и вы им.* Откуда следует, что как мы от сыновей и от людей, к которым сами не щедры, требуем уважения и добра, так мы сами гораздо больше должны богу, от которого все получаем, которому обязаны всем нашим существованием и всюду пребываем в нем. Ему же слава во веки.

Гостинник

Поистине, раз они, знающие только закон природы, настолько близки к христианству, которое не добавляет сверх природных законов ничего, кроме тайнств, способствующих их соблюдению, то для меня это служит весьма веским доказательством в пользу христианской религии, как самой истинной из всех и той, которая, по устранении злоупотреблений, будет господствовать на всем земном круге, как учат и уповают славнейшие богословы, которые утверждают, что потому и открыт Новый Свет Испанцами (хотя первым открывшим его был доблестнейший наш Генуэзец — Колумб), чтобы все народности объединились в едином законе. Итак, эти твои философы будут свидетелями истины, избранными богом. Вижу я отсюда, что мы сами не ведаем, что творим, но служим орудиями бога: люди ищут новые страны в погоне за золотом и богатством, а бог преследует высшую цель; Солнце стремится спалить Землю, а вовсе не производить растения, людей и т. д., но бог использует самую битву борющихся к их процветанию. Ему хвала и слава.

Мореход

О, если бы ты только знал, что говорят они на основании астрологии, а также и наших пророков о грядущем веке и о том, что в наш век совершается больше событий за сто лет, чем во всем мире совершилось их за четыре тысячи; что в этом столетии вышло больше книг, чем вышло их за пять тысяч лет; что говорят они об изумительном изобретении книгопечатания, аркебузов и применении магнита — знаменательных признаках и в то же время средствах соединения обитателей мира в единую паству,

а также о том, как произошли эти великие открытия во время великих синодов в треугольнике Рака, при прохождении абсиды Меркурия через Скорпиона и под влиянием Луны и Марса, способствующих в этом треугольнике новым плаваниям, новым царствам и новому оружию. Но как только абсида Сатурна пройдет по Козерогу, абсида Меркурия — по Стрельцу, а абсида Марса — по Деве, после первых великих синодов и явления новой звезды в Кассиопее, возникнет новая монархия, произойдет преобразование и обновление законов и наук, появятся новые пророки, и, утверждают они, предвещает все это великое торжество христианству. Но сначала ведь все исторгается и искореняется, а потом уже создается, насаждается и т. д. — Отпусти меня: у меня еще много дела! — Но вот только, что ты должен знать: они уже изобрели искусство летать — единственно, чего, кажется, недоставало миру, а в ближайшем будущем ожидают изобретения подзорных труб, при помощи которых будут видимы скрытые звезды, и труб слуховых, посредством которых слышна будет гармония неба.

Гостинник

Неужели? Ах, ах, ах, это же замечательно! Но ведь Рак — это же женский знак Венеры и Луны, так как же может быть он благодетелен в воздухе, раз он — знак водный?

Мореход

А они говорят, что женское начало действует плодотворно в небе и над ними начинается господство менее устойчивых сил. Откуда и понятно, что в этом веке начало преобладать правление женщин. Так, между Нубией и Монопотапой явились новые Амазонки, а среди европейцев воцарились: Русская в Турции, Бона в Польше, Мария в Венгрии, Елизавета в Англии, Екатерина во Франции, Бьянка в Тоскане, Маргарита в Бельгии, Мария в Шотландии и в Испании Изабелла, при которой открыт был Новый Свет. Да и поэт этого века начинает с женщин:

Le donne, i cavalier l'arme e gli amori.

Развелись и зловерные поэты, и еретики из-за треугольника Марса и предстояния Меркурия в апогее, и под влиянием Венеры и Луны все время говорят они о распутстве и непристойностях: все мужчины стремятся стать жено-

подобными и в смысле пола, и в выражениях, называя друг друга «Vossignoria».

И в Африке, где главенствует Рак и Скорпион, помимо Амазонок в Фецце и Марокко, существуют публичные лупанары женоподобных мужчин и другие бесчисленные мерзости. Но это еще не значит, что треугольник Рака (знак тропика, и место экзальтации Юпитера, и апогей Солнца, и тройственность Марса), как бы посредством Луны, Марса и Венеры, привел к открытию нового полушария, удивительному пути вокруг всего земного шара и владычеству женщин, а посредством Меркурия и Марса — к изобретению книгопечатания и огнестрельного оружия. И не треугольник Рака был причиной великой перемены законов. Эта перемена заключается в том, что в Новом Свете и по всему побережью Африки и Азии, особенно южному, укоренилось христианство при воздействии Юпитера и Солнца, которые в делах божественных и произвольных склоняют и указуют, а в делах человеческих и естественных даже служат определяющими причинами. В Африке же посредством Луны и Марса укоренилась секта Сетифа, в Персии посредством Венеры и Юпитера — секта Али, восстановленная Софием, одновременно с переменой правления в этих странах. А в Германию, Францию, Англию и во всю почти Северную Европу проникает из-за господствующих там Марса, Венеры и Луны зловещая ересь, спутница похоти и скотства и искоренительница свободной человеческой воли. Испания же и Италия благодаря их знакам Стрельца и Льва твердо сохранились в истинном христианском законе во всей его чистоте. О, если бы и в чистоте нравов!

Благодаря же Луне и Меркурию Солярии изобрели новые искусства при содействии абсиды Солнца, ибо эти планеты способствуют искусству летать по воздуху, который, будучи водянистым и расплывчатым в наших странах, на экваторе легок и летуч благодаря тому, что земля там расположена под небом, сильнее освещаемым Солнцем.

И они создали новую астрономию, так что в другом полушарии, к югу от экватора, Домом Солнца оказывается Водолей, Домом Луны — Козерог и т. д. И все знаки с их силами они, таким образом, переворачивают. И это необходимо, согласно законам природы. О, чего только я не узнал от этих мудрецов о перемещениях абсид, эксцентриситетов, наклона эклиптики, равноденствий, солнцестояний, полюсов, о смещениях в небесных фигурах

при колебаниях небесного механизма на необъятном пространстве времени; о символических соотношениях между предметами нашего мира и того, что находится вне его, о том, сколько изменений последует после великого синода в равноденственных знаках Овна и Весов, при восстановлении аномалий, и какие изумительные явления последуют за великим соединением при утверждении того, что определено при изменении кругового движения.

Но, прошу тебя, не задерживай меня дольше, у меня еще много дела, ты знаешь, как я беспокоюсь. До другого раза. Вот только, чтобы не забыть: они неоспоримо доказывают, что человек свободен, и говорят, что если в течение сорокачасовой жесточайшей пытки, какою мучили одного почитаемого ими философа враги, невозможно было добиться от него на допросе ни единого словечка признания в том, чего от него добивались, потому что он решил в душе молчать, то, следовательно, и звезды, которые воздействуют издали и мягко, не могут заставить нас поступать против нашего решения. Но так как они хотя и неощутимо и мягко, но все-таки воздействуют на наше чувство, то тот, кто следует больше чувству, чем божественному разуму, и оказывается у них в порабощении. Ведь то же самое расположение звезд, которое из трупов еретиков испустило зловонные испарения, одновременно с этим из основателей ордена Иезуитов, Миноритов и Капуцинов источило благоухание добродетели. И под тем же расположением звезд Фернанд Кортес насадил божественную религию Христа в Мексике.

А о многом другом, что теперь ожидает мир, я еще расскажу тебе в другой раз. — Ересь апостол Павел относит к делам плоти; звезды же чувственных людей склоняют к ереси, сообразно характеру склоняемого, а людей разумных — к разумному, истинному и святому закону изначального разума и слова божия. Богу же хвала вовеки. Аминь.

Гостинник

Подожди, подожди еще немного.

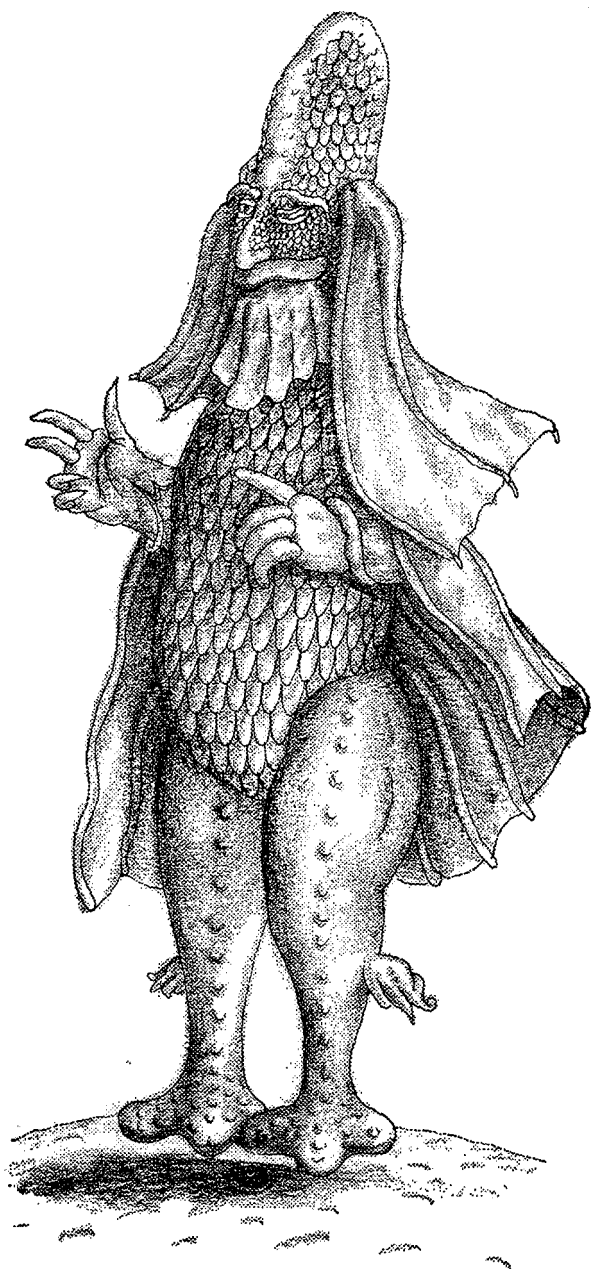
Мореход

Не могу, не могу.

Сирано де БЕРЖЕРАК

Иной свет, или Государства и империи Луны





Светила полная Луна, небо было ясно и уже пробило девять часов вечера, когда я и четверо моих друзей возвращались из одного дома в окрестностях Парижа. Наше остроумие, очевидно, отточилось о камни мостовой, ибо в какую сторону оно ни обращалось, всюду оно заострялось, и как далека ни была Луна, она не могла от него спастись.

Наши взоры утопали в великом светиле; один принимал его за небесное слуховое окно, сквозь которое просвечивало сияние блаженных, другой, убежденный в истинности старых басен, воображал, что, быть может, это Вакх там вверху содержит таверну и полную Луну повесил как вывеску; третий утверждал, что это гладильная доска, на которой Диана разглаживает воротнички Аполлона, наконец, четвертый — что это, быть может, само Солнце, что оно сошло с себя одеяние своих лучей и в халате выглядит сквозь отверстие на то, что творится на свете в его отсутствие.

Что касается меня, воскликнул я, то желая присоединить свои восторги к вашим и не восхищаясь тем острием изуренного воображения, которым вы погоняете время, чтобы заставить его двигаться быстрее, я думаю, что Луна — это такой же мир как и наш и что Земля, в свою очередь, служит ей Луной. Мои спутники ответили мне на это громким взрывом хохота. Точно так же, быть может, продолжал я, там, на Луне, смеются теперь над тем, кто утверждает, что этот земной шар есть мир. Но сколько я ни ссылаясь на то, что Пифагор, Эпикур, Демокрит, а в наши дни Коперник и Кеплер, придерживались такого же мнения, они только громче и громче хохотали.

Однако эта мысль, смелость которой нравилась моему нраву, еще сильнее укре-

пилась во мне благодаря противоречию и так глубоко в меня запала, что в продолжении всего остального пути я вынашивал в себе тысячу различных определений Луны, однако никак не мог разрешиться ими. По мере того как я подкреплял в себе эту шутливую мысль почти серьезными доводами, я сам чуть было не поверил в нее.

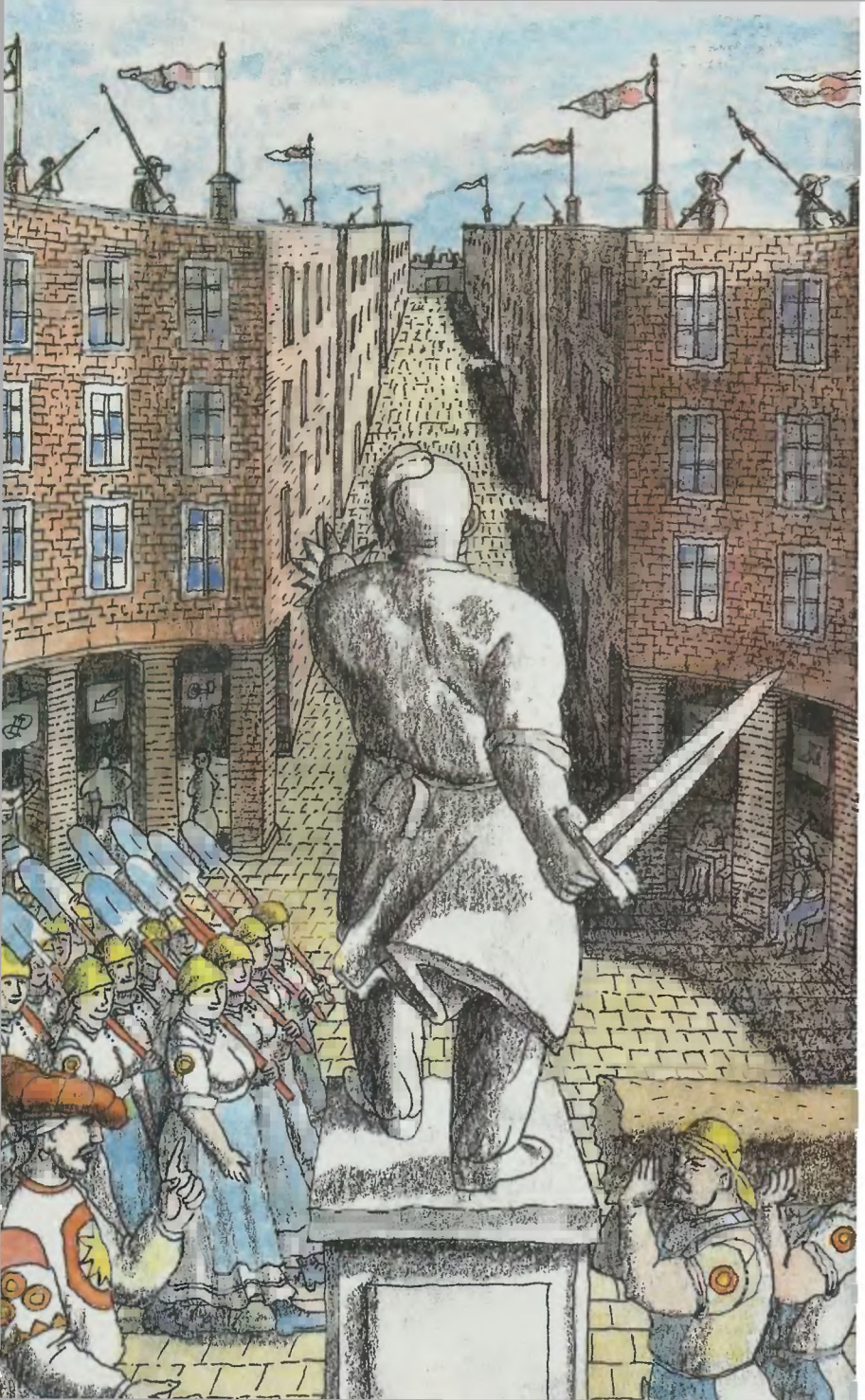
Но послушай, читатель, какое чудо или какая случайность помогли провидению или судьбе утвердить меня на этом пути: вернувшись с прогулки, я вошел в свою комнату, чтобы там отдохнуть, и увидел на столе открытую книгу, которую я туда не клал. Я увидал, что эта книга моя, и потому спросил у своего лакея, на каком основании он принес ее из кабинета; я в сущности спросил его только для формы, ибо это был толстый лотарингец, душа которого не выполняла никаких иных функций чем те, которые выполняет душа устрицы в своей раковине. Он мне поклялся, что сюда ее мог доставить только я или черт, что касается меня, я хорошо знал, что я не прикасался к этой книге уже более года.

Я снова взглянул на нее: это была книга Кардана, и хотя я не намеревался ее читать, однако мои глаза как-то невольно упали на то самое место, где у этого философа мы находим такой рассказ: он пишет, что, занимаясь однажды вечером при свете сальной свечи, он увидел входивших сквозь закрытые двери двух высоких стариков; после многих расспросов с его стороны старики ему сказали, что они обитатели Луны, и в ту же минуту исчезли.

Я был так удивлен, как тем, что увидел книгу, которая сама себя принесла, так и тем, на какой странице она оказалась открытой и в какую минуту все это произошло, что все это сцепление обстоятельств я считал за внушение свыше, требовавшее от меня, чтобы я разъяснил людям, что Луна — обитаемый мир. Как, думал я, после того, как я целый день проговорил об одном предмете, книга, может быть единственная в мире, где специально трактуется об этой материи, летит из моей библиотеки на стол, становится способной рассуждать, открывается на том самом месте, где описано столь чудесное происшествие, насильно притягивает к себе мой взор, внушает моей фантазии нужные соображения, а моей воле нужные намерения. Без сомнения, размышлял я дальше, мою книгу переложили те же старики, которые появились перед этим великим человеком; они же открыли ее на этой странице, чтобы избавить себя от труда держать мне те же речи,



16	5		
5	10	11	8
7	6	7	12
4	15	14	1

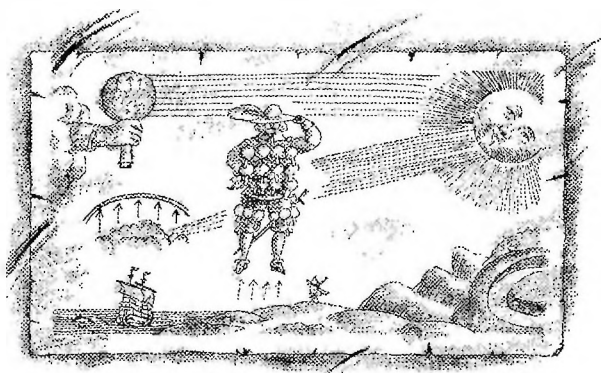


которые держали Кардану. Но, прибавил я, как же мне разъяснить себе эти сомнения иначе, как поднявшись на Луну? И почему же нет, тотчас же отвечал сам себе.— Ведь восходил же Прометей на небо, чтобы похитить огонь. Разве я менее отважен, чем он? И какие же у меня основания не надеяться на такую же удачу?

За этими вспышками горячего бреда последовала надежда, что мне удастся совершить это чудное путешествие.

Чтобы довести дело до конца, я удалился в довольно уединенный дом в деревне, где, предавшись моим мечтаньям и обдумав несколько возможностей их осуществить, я поднялся на небо и вот каким образом.

Я прежде всего привязал вокруг себя множество склянок, наполненных росой; солнечные лучи падали на них с такой силой, что тепло, притягивая их, подняло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказался дальше самых высоких облаков. Но так как это притяжение заставляло меня подниматься слишком быстро и вместо того, чтобы приближаться к Луне, как я рассчитывал, я заметил, наоборот, что я от нее дальше, чем при моем отбытии, я стал постепенно разбивать склянки одну за другой, пока не почувствовал, что тяжесть моего тела перевешивает силу притяжения и что я спускаюсь на землю.



Я не ошибся, и скоро я упал на землю; судя по тому времени, когда я начал свое путешествие, должен был наступить полдень. Между тем я увидел, что Солнце стоит в своем зените и что там, где я нахожусь, полдень. Вы можете себе представить мое изумление! Оно действительно было таково, что, не зная, чему приписать такое чудо, я возымел дерзкую мысль, что я в честь моей отваги

вновь пригвоздил Солнце к небесам, дабы оно могло освещать столь благородное предприятие. Мое изумление, однако, достигло еще большей степени, когда я оглянулся вокруг себя и не узнал местности, в которой находился. Мне казалось, что, поднявшись вверх по совершенно прямой линии, я должен был спуститься на то самое место, откуда я начал свое путешествие.

Все в том же странном уборе я направился к какой-то хижине, заметив поднимающийся из нее дым; я едва дошел до нее на расстояние пистолетного выстрела, как увидел себя окруженным множеством совершенно голых людей. Мне показалось, что вид мой чрезвычайно их удивил, ибо я был первый человек, одетый бутылками, которого им когда-либо приходилось видеть; они заметили, кроме того, что когда я двигаюсь, я почти не касаюсь земли, и это противоречило всему тому, чем они могли бы объяснить мой наряд: ведь они не знали, что при малейшем движении, которое я сообщал своему телу, зной полдневных солнечных лучей поднимал меня и всю росу вокруг меня и что если бы моих склянок было достаточно, как в начале моего путешествия, я мог бы на их глазах быть вознесен на воздух. Я хотел к ним подойти и заговорить с ними, но страх, казалось, обратил их в птиц; в одно мгновение они разлетелись по соседнему лесу. Мне, однако, удалось поймать одного из них, ноги которого, по-видимому, изменили его сердцу. Я спросил его, произнося слова с большим трудом (ибо задыхался), каково расстояние отсюда до Парижа, с каких пор народ ходил голым во Франции и почему они с таким ужасом бежали от меня. Человек, с которым я говорил, был старик с оливковым цветом лица, он сперва бросился на колени и, подняв руки кверху над головой, открыл рот и закрыл глаза. Он долго что-то бормотал сквозь зубы, но я не мог разобрать ни одного членораздельного звука и принял его речь за хриплое щебетание немого.

Некоторое время спустя я заметил приближение отряда солдат, которые шли с барабанным боем; двое из них отделились и подошли ко мне для рекогносцировки. Когда они были достаточно близки, чтобы расслышать мои слова, я просил их сказать мне, где я нахожусь. «Вы во Франции, — отвечали они, — но какой черт привел вас в такой вид и почему же мы вас не знаем? Разве корабли прибыли? Собираетесь ли вы сообщить об этом господину губернатору? И почему вы разлили вашу водку в такое множество бутылок?» На все это я возразил, что в такой вид привел меня не черт, что не знают они меня потому, что

им не могут быть известны все; что я не знал, что по Сене ходят корабли в Париж; что мне нечего сообщать господину де Монбазону, что я нагружен не водкой. «Ого,— сказали они и взяли меня под руки,— вы еще хорохоритесь? Господин губернатор-то вас узнает». Они повели меня туда, где стояла их часть, и здесь я узнал, что я действительно во Франции, но не в Европе, ибо это была Новая Франция. Некоторое время спустя я был представлен вице-королю господину Монмани; он спросил меня, из какой я страны, каково мое имя и мое звание; я ответил на все его вопросы и рассказал о приятном и успешном исходе моего путешествия; поверил ли он мне или сделал только вид, что поверил, я не знаю; как бы то ни было, он был так любезен, что приказал отвести мне комнату в своем собственном доме. Для меня было большим счастьем встретить человека, способного к возвышенным мыслям, который притом не выразил никакого удивления, когда я ему сказал, что Земля, очевидно, вращалась, пока я поднимался, ибо, начав свое воздушное путешествие в двух милях от Парижа, я упал по линии, почти перпендикулярной, в Канаде. Вечером, когда я уже собрался ложиться спать, он вошел в мою комнату и сказал: «Я бы не стал нарушать вашего покоя, если бы я не думал, что человек, обладающий такой тайной силой совершить столь длинный путь в полдня, должен также обладать способностью не уставать. Но вы не знаете,— прибавил он,— какой забавный спор у меня только что был по вашему поводу с нашими отцами иезуитами. Они настаивают на том, что вы колдун, и самое большое снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это то, чтобы сойти за обманщика. Действительно, то движение, которое вы приписываете Земле, разве это не удачный парадокс? Что касается меня, скажу вам откровенно, почему я не разделяю ваших взглядов. Ведь выехав из Парижа вчера, вы могли бы прибыть сюда сегодня, хотя бы Земля и не вращалась; не должно ли было привести вас сюда Солнце, поднявшее вас при помощи ваших бутылок, так как, согласно Птолемею, Тихо Браге и современным философам, оно движется наискось от того пути, которое вы приписываете Земле. А затем, почему вы считаете правдоподобным представление, что Солнце неподвижно, когда мы видим, как оно движется? И почему вы предполагаете, что Земля вращается с такой быстротой, когда мы чувствуем, как она неподвижна под нашими ногами?» «Государь мой,— возражал я,— вот приблизительно те доводы, на основании которых мы догадываем-

ся обо всем том. Во-первых, самый здравый смысл говорит за то, что Солнце помещается в центре вселенной, ибо все тела, существующие в природе, нуждаются в его животворном огне, что оно обитает в самом центре подвластного ему государства, чтобы немедленно удовлетворять всем его потребностям, и что первопричина жизни находится в центре всех тел, чтобы действие ее могло распространяться на них легко и равномерно. Точно так же мудрая природа поместила детородные органы человека в середине его тела, зернышко в сердцевине яблока, косточки в середине плода, точно так же луковица сохраняет под защитой сотни окружающих ее кожиц драгоценный росток, из которого миллионы новых луковиц почерпнут свое существование. Ибо это яблоко само в себе маленькая вселенная, а зернышко, содержащее в себе больше тепла, чем остальные его части, и есть солнце, распространяющее вокруг себя тепло, хранителя целого яблока; росток с этой точки зрения тоже маленькое солнце этого мирка, согревающее и питающее растительную соль этого маленького тела. Исходя из этого предположения, я говорю, что Земля, нуждаясь в свете, в тепле и в воздействии этого великого источника огня, вращается вокруг него, чтобы получить от него силу, сохраняющую ее жизнь и необходимую ей равномерно для всех ее частей. Было бы одинаково смешно думать, что это великое светило станет вращаться вокруг точки, до которой ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного жаворонка, что вокруг него вертелась печь. Иначе, если бы Солнцу приходилось выполнять эту работу, надо было бы думать (пришлось бы сказать), что медицина пуждается в больном, что сильный должен подчиняться слабому, знатный — служить простолюдину и что не корабль плывет вдоль берегов, а берега движутся вокруг корабля. Если вам непонятно, каким образом может вращаться такая тяжелая масса, скажите мне, пожалуйста, разве менее тяжелы светила и небесный свод, который вы считаете таким плотным? Еще скорее можем мы, убежденные в том, что Земля есть шар, заключить о ее движении на основании ее формы. Но почему вы предполагаете, что небо также имеет форму шара, когда знать вы этого не можете и когда ясно, что если оно не обладает именно этой формой, оно не может вращаться. Я нисколько не укоряю вас за ваши эксцентрики, концентрики и ваши эпициклы, но относительно них вы будете в состоянии дать мне лишь самые смутные объяснения, я же исключаю их из своей системы. Будем гово-

рить только об естественных причинах этого движения. Ведь вам, картезианцам, приходится прибегать к предположению о разумных существах, движущих ваши сферы и управляющих ими. Но я, не нарушая покоя верховного существа, который, без сомнения, создал природу совершенной и по мудрости своей завершил ее создание так, что, сделав ее совершенной для одной цели, он не мог ее оставить несовершенной для другой, я, повторяю, нахожу в самой Земле те силы, которые заставляют ее вращаться! Потому я говорю, что солнечные лучи и исходящее из них действие, ударяя по Земле, заставляют ее вращаться, как мы заставляем вращаться шар, ударяя его рукой; точно так же испарения, постоянно поднимающиеся из недр Земли с той ее стороны, на которую светит солнце, задержанные холодным воздухом среднего пояса и отраженные от него, падают на нее обратно и, имея возможность ударить ее только вкось, по необходимости заставляют ее вращаться вокруг самой себя. Объяснение остальных двух движений еще менее сложно. Вдумайтесь, пожалуйста...» На этих словах вице-король меня остановил: «Я предпочитаю, — сказал он, — освободить вас от этого труда; я, кстати, читал об этом предмете несколько книг Гассенди, зато вы должны выслушать, что мне ответил однажды один из наших отцов, поддерживающий вашу точку зрения: «Действительно, говорил он, я представляю себе, что Земля может вращаться, однако не по тем причинам, которые приводит Коперник, а потому что огонь ада заключен в центре Земли, как нас учит об этом священное писание, и души осужденных на вечные мучения, спасаясь от страшного пламени, карабкаются вверх, удаляясь от него в направлении против земного свода, и таким образом заставляют Землю вращаться, подобно тому как собака, когда бежит, заставляет вращаться колесо, на нее наде- тое».

Мы стали расхваливать рвение почетного священника, а, окончив свой панегирик, господин де Монманны сказал, что его очень удивляет, почему же система Птолемея, столь мало правдоподобная, была так распространена. «Большинство людей, — отвечал я, — которые судят только на основании своих чувств, поверили свидетельству своих глаз, и, подобно тому, как тот, кто, сидя на корабле, плывущем вдоль берега, думает, что он сам неподвижен, а движется берег, точно так же и люди, вращаясь вместе с Землей вокруг неба, думали, что само небо вращается

вокруг них. Присовокупите к этому еще всю невыносимую гордость человека, который убежден, что природа создана лишь для него, как будто есть сколько-нибудь вероятия в том, что Солнце, огромное тело, в четыреста тридцать четыре раза больше Земли, было зажжено для того, чтобы созрел его кизил и кочанилась капуста. Что касается до меня, то я далек от того, чтобы сочувствовать дерзким мыслям, и думаю, что планеты — это миры, окружающие Солнце, а неподвижные звезды — точно такие же солнца, как наше, что они также окружены своими планетами, т. е. маленькими мирами, которых мы отсюда не видим в виду их малой величины и потому что их отраженный свет до нас не доходит. Ибо как же по совести представить себе, что все эти огромные шаровидные тела — пустыни и что только наша планета, потому что мы по ней ползаем, была сотворена для дюжины высокомерных плутов. Неужели же, если мы по Солнцу исчисляем дни и года, это значит, что Солнце было сотворено для того, чтобы мы в темноте не стукались лбами об стену. Нет, нет! Если этот видимый бог и светит человеку, то только случайно, как факел короля случайно светит проходящему по улице вору».

«Но, — возразил он, — если, как вы утверждаете, неподвижные звезды — это те же солнца, и сколько на небе неподвижных звезд, столько и солнц, из этого можно вывести заключение, что мир бесконечен, ибо с достаточной вероятностью можно предположить, что обитатели миров, окружающих неподвижную звезду, которую вы принимаете за солнце, откроют над собой другие неподвижные звезды, недоступные отсюда нашему взору, — и так до бесконечности».

«В этом нет никакого сомнения, — отвечал я, — подобно тому, как бог создал бессмертную душу, он мог создать и бесконечный мир, если правда, что вечность не что иное, как беспредельное время, а бесконечность — безграничное пространство. Кроме того, если предположить, что мир не бесконечен, нужно предположить, что и бог конечен, ибо он не может быть там, где ничего нет, и не может увеличить обширность мира, не прибавив и к собственной пространственности, начиная быть там, где его до сих пор не было. Поэтому нужно думать, что подобно тому, как мы отсюда видим Юпитер и Сатурн, точно так же, как находясь на той или другой планете,

мы открыли бы множество миров, которых отсюда не видим, и что именно так и построена вселенная до бесконечности».

«По чести, — возразил он, — что бы вы ни говорили, я совершенно не способен понять, что такое бесконечность». «А скажите мне, — отвечал я, — понимаете ли вы, что представляет из себя ничто, находящееся за пределами этого мира? Вовсе не понимаете, ибо когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки представляете себе по меньшей мере в виде ветра или воздуха, а это уже есть нечто. Но если вы не можете объять бесконечность в целом, вы можете представить ее себе по частям, ибо не трудно вообразить себе землю, огонь, воду, воздух, звезды, небеса; бесконечность же — это не что иное, как беспредельная ткань всего этого. Если вы меня спросите, каким образом были сотворены все эти миры, ибо священное писание говорит только об одном мире, созданном богом, я вам отвечу, что оно говорит только о нашем мире, потому что это единственный из миров, который бог взял на себя труд сотворить собственной рукой, все же остальные миры, развешанные по лазури вселенной, как те, которые мы видим, так и те, которых не видим, — это только пена, выбрасываемая светилами, которые себя очищают. Действительно, как бы могли существовать эти огромные источники огня, если бы они каким-то образом не были связаны с той материей, которая их питает. И точно так же, как огонь гонит далеко от себя золу, которая бы его заглушила; как золото, расплавленное в горниле, отделяется, очищаясь от колчедана, уменьшающего его вес; как сердце освобождается при помощи рвоты от несваримых материй, давящих его, — так и Солнце каждый день выбрасывает из себя остатки материи, питающей его пламя, и очищается от нее. Но когда вся эта материя, которая его поддерживает, сгорит до конца, не сомневайтесь, что оно разольется во все стороны, будет искать новой пищи и бросится на все миры, им же некогда созданные, особенно на те, которые к нему всего ближе, и тогда этот великий огонь смешает и расплавит все эти тела, а затем разгонит их во все стороны, как и раньше; постепенно очистившись, он таким образом опять будет служить солнцем этим маленьким мирам, которые он породил, вытаскивая их вон из своей сферы. Вероятно, это и вызвало предсказание пифагорейцев о всемирном

пожаре, что вовсе не есть забавная выдумка, и Новая Франция, в которой мы находимся, доставляет нам весьма убедительное тому доказательство. Ведь Америка, этот обширный материк, представляет из себя половину всей суши, однако он долго не был открыт нашими путешественниками, хотя они тысячу раз переплывали через океан, и неудивительно, ибо его еще не существовало, точно так же, как не существовало многих островов, полуостровов и гор, которые появились на нашем земном шаре, когда Солнце, очищая себя от ржавчины, отбросило ее далеко от себя; сгустившись в тяжелые, плотные клубки, она была притянута к центру нашего мира, может быть, постепенно мелкими частями, а может быть, сразу целой массой. Эта мысль вовсе не так безрассудна, и святой Августин, наверное, одобрил бы ее, если бы открытие Америки произошло при нем, ибо этот великий человек, ум которого был просвещен святым духом, утверждает, что в его время Земля была плоская, как кухонная плита, и что она плавала над водой, как апельсин, разрезанный пополам. Но если я когда-либо буду иметь честь видеть вас во Франции и доставлю вам возможность наблюдать небо через превосходную трубу, вы увидите, что некоторые темные места, которые отсюда кажутся пятнами, — это целые миры, еще строящиеся».

Мои глаза совершенно смыкались, когда я кончал эту речь, и это заставило господина де Монмани со мной проститься. Как на другой день, так и в следующие мы продолжали вести разговоры на ту же тему, но вскоре затруднения, осложнившие управление провинцией, отразились и на наших философских беседах, и я все более и более стал задумываться над тем, как бы мне подняться на Луну. Как только она всходила, я отправлялся в лес и там принимался мечтать о своем предприятии и о том, как бы довести его до благополучного конца; наконец вечером, накануне Иванова дня, в то самое время, когда в форте шел совет и разрешался вопрос о том, следует ли оказать помощь дикарям против ирокезов, я ушел один на склон небольшой горы, поднимавшейся за нашим домом, и вот как я осуществил свое намерение. Уже раньше я соорудил машину, которая, как я рассчитывал, могла поднять меня на какую угодно высоту; думая, что в ней уже есть все необходимое, я в нее уселся и сверху скалы пустился на воздух. Однако я, очевидно, не принял всех

нужных мер предосторожности, так как я тяжело свалился в долину. Хотя я и был очень помят от падения, однако я не потерял мужества, вернулся в свою комнату, достал мозг из бычачьих костей, натер им все тело, ибо я был разбит от головы до ног. Подкрепив свое сердце бутылкой целебной настойки, я отправился на поиски своей машины, но не нашел ее, так как кучка солдат, которых послали в лес нарезать сучьев для праздничных костров, случайно набрела на нее и принесла ее в форт. Долго рассуждали они о том, что бы это могло быть, наконец напали на изобретенную мною пружину; тогда стали говорить, что нужно привязать к машине как можно больше летучих ракет: благодаря быстроте своего полета они унесут ее очень высоко; одновременно с этим под действием пружины начнут махать большие крылья машины, и не найдется ни одного человека, кто бы не принял ее за огненного дракона.

Долго я не мог найти ее, наконец разыскал посередине площади Квебека, в ту минуту, когда собирались ее зажечь. Увидя, что дело моих рук в опасности, я пришел в такое отчаяние, что побежал и схватил за руку солдата в ту минуту, когда он подносил к ней зажженный фитиль; я вырвал фитиль из его рук и бросился к своей машине, чтобы уничтожить горючий состав, который ее окружал; но было уже поздно, и едва я вступил на нее ногами, как вдруг я почувствовал, что поднимаюсь на облака. Ужас, овладевший мной, однако, не настолько отразился на моих душевных способностях, чтобы я забыл все то, что случилось со мной в эту минуту. Знайте же, что ракеты были расположены в шесть рядов по шести ракет в каждом ряду и укреплены крючками, сдерживающими каждую полдюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий, так что воспламеняющаяся селитра удаляла опасность в то самое время, как усиливала огонь. Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк, и когда я стал уже думать только о том, как сложить голову на вершине какой-нибудь горы, я почувствовал, что хотя сам я совсем не двигаюсь, однако, я продолжаю подниматься, а что машина моя со мной растается, падает на землю.

Это невероятное происшествие исполнило мое сердце такой необычайной радостью, и я был так счастлив, что

избежал верной гибели, что я имел наглость начать по этому поводу философствовать. Итак, в то время как я искал глазами и обдумывал головой, что же могло быть причиной всего этого, я увидел свое опухшее тело, еще жирное от того бычачьего мозга, которым я натер себя, чтобы залечить раны, полученные при падении; я понял тогда, что Луна на ущербе (а в этой четверти она имеет обыкновение высасывать мозг из костей животных), что она пьет тот мозг, которым я натерся и с тем большей силой, чем больше я к ней приближаюсь, причем положение облаков, отделяющих меня от нее, несколько не ослабляло этой силы.

Когда, по расчету, сделанному мною много времени спустя, я пролетел три четверти расстояния, отделяющего Землю от Луны, я почувствовал, что падаю ногами кверху, хотя я ни разу не кувыркнулся; я бы даже не заметил такого своего положения, если бы почувствовал на голове своей тяжесть своего тела. Правда, я скоро сообразил, что не падаю на нашу Землю, ибо, хотя и находился между двумя лунами, я ясно понимал, что удаляюсь от одной по мере приближения к другой; я был уверен, что самая большая из этих лун — земной шар, ибо после дня или двух такого путешествия она стала представляться мне лишь большой золотой бляхой, как и другая луна, вследствие того, что отдаленное отражение солнечных лучей совершенно сгладило все различие поясов Земли и контуров тел. Ввиду этого я предположил, что спускаюсь к Луне, и утвердился в этом предположении, когда вспомнил, что начал падать собственно только после того, как пролетел три четверти пути. Ведь эта масса, говорил я сам себе, меньше чем масса нашей Земли, поэтому сфера ее воздействия тоже должна охватывать меньшее пространство, вследствие чего я позднее почувствовал на себе силу ее притяжения.

Я, очевидно, очень долго падал, о чем могу только догадываться, так как быстрота падения мешала мне что-либо замечать, и самое первое, что я могу вспомнить, это то, что я очутился под деревом, запутавшись в трех или четырех толстых ветках, которые треснули под ударом моего падения, и что лицо мое было мокро от расплющенного на нем яблока.

К счастью, это место было, как вы вскоре узнаете, земным раем, а дерево, на которое я упал, оказалось деревом

жизни. Итак, вы понимаете, что, не будь этого счастливо-го случая, я бы был тысячу раз убит. Часто впоследствии я думал о распространенном в народе представлении, будто, бросаясь с очень высокого места, человек умирает от удушения прежде, чем коснется земли; из случившегося со мной происшествия я заключил, что это ложь, или же, что живительный сок плода, который потек мне в рот, вернул в тело мою душу, так как она еще не была далеко от него, и оно не успело еще остыть и отвыкнуть от своих жизненных функций. Действительно, как только я очутился на земле, всякая боль у меня прошла даже раньше того, чем она исчезла из моей памяти, а о голоде, от которого я раньше сильно страдал, я вспомнил только потому, что перестал ощущать его. Когда я поднялся, я едва успел рассмотреть самую широкую из четырех больших рек, которые, сливаясь, образовывали озеро, как мое обоняние исполнилось самым сладостным ароматом от разлитого по этой местности благоухания незримой души трав. Я узнал также, что подорожный камень здесь неровен и тверд лишь на вид и становится мягким под шагами.

Прежде всего я увидел перекресток, где скрещивалось пять великолепных аллей, обсаженных деревьями, которые по своей необычайной высоте, казалось, поднимались до самого неба в виде высокоствольного леса. Оглядывая их от корня до самых верхушек и еще раз спускаясь взором от верхушек до подножия, я усомнился в том, несут ли их земля или сами они несут землю, прицепившуюся к их корням; их гордые вершины, казалось, тоже гнулись под тяжестью небесных сводов, бремя которых они несли лишь с тяжелыми стонами. Их ветви, распростертые к небесам, казалось, обнимали их, моля светила небесные осенить их благосклонным и очищающим своим воздействием, и о том, чтобы воспринять его еще чистым и не утратившим своей девственности от смешения с земными элементами. Здесь со всех сторон цветы, единственный садовник которых — природа, издают сладостный, хотя и дикий аромат, который возбуждает и радует обоняние. Тут алый цветок шиповника, лазоревая фиалка, растущая под терновником, не оставляют свободы для выбора, и одна вам кажется прекраснее другой; здесь весна не сменяется другими временами года, здесь не вырастает ядовитое растение, а если оно и появляется, то сейчас же погибает; здесь ручьи веселым журчанием рассказывают

камням о своих путешествиях; здесь тысячи пернатых певцов наполняют лес звуком своих мелодичных песен; сборище этих трепещущих божественных музыкантов так велико, что кажется, будто каждый лист этого леса превратился в соловья. Эхо так восхищается их мелодиями, что, слушая, как оно их повторяет, кажется, будто оно само хочет их выучить. Рядом с этим лесом видны две поляны, их сплошная веселая зелень кажется изумрудом, которому нет конца. Весна, рассыпая разнообразные краски по сотням мелких цветочков, смешивает их с восхитительной небрежностью и оттенки их перебрасывает с одного цветка на другой; и не знаешь, друг от друга ли бегут эти цветы, волнуемые летним зефиром, или же они убегают от него, чтобы спастись от шаловливых его ласк. Этот луг можно было бы даже принять за океан, ибо он безбрежен, как море, и мой взор, испуганный тем, что убежал так далеко и не увидел края, поспешил послать туда мою мысль; мысль же моя, сомневаясь в том, что это конец мира, хотела убедить себя, что красота этих мест, быть может, заставила небо соединиться с землей. Среди этого великолепного и обширного цветочного ковра серебряной струей пробивается ключ; трава, окаймляющая его, пестрит кувшинками, лютиками, фиалками и сотней других мелких цветов; они теснятся к воде, будто каждый из них спешит полюбоваться на свое отражение. Но ручей еще в колыбели; он только что родился, и на его юном и гладком лице нет ни одной морщинки. Большие изгибы, которые он делает, по тысячу раз возвращаясь к месту своего рождения, показывают, что он очень неохотно покидает свою родину, и, как бы устыдившись того, что его ласкают в присутствии матери, он журча отталивает мою руку, которая хочет к нему прикоснуться. Животные, подходившие к ручью, чтобы утолить свою жажду, более разумные, чем животные нашей Земли, выражали свое удивление тому, что с неба льется свет, между тем как они видят солнце в ручье; они не решаются склониться к краю воды из опасения упасть на небо.

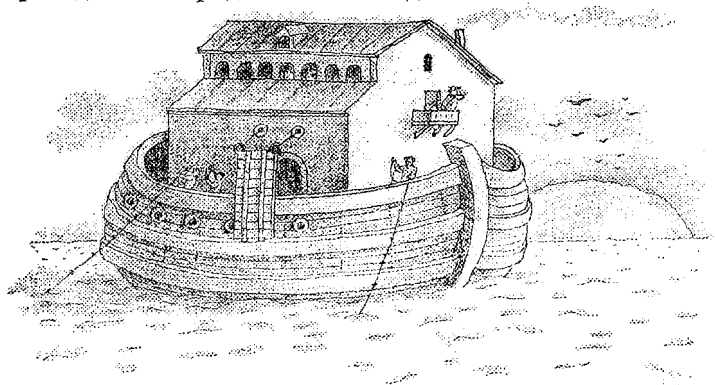
Я должен вам признаться, что при виде стольких красот я ощутил то приятное и болезненное чувство, которое, говорят, испытывает эмбрион в ту минуту, когда вливается в него душа. Старые волосы упали с меня и уступили место другим, более густым и более мягким. Я почувствовал, как загорелась во мне молодая кровь, мое лицо

покрылось румянцем, моя естественная теплота незаметно и гармонически проникла все мое существо, одним словом, я оказался помолодевшим на четырнадцать лет.

Я прошел приблизительно с полмили в лесу жасминов и мирт, когда заметил, что в тени что-то зашевелилось. Это был юноша, величественная красота которого заставила меня с благоговением пасть перед ним на колени. Он встал, чтобы помешать этому. «Не мне,— сказал он,— а богу ты должен поклоняться». «Вы видите человека,— сказал я,— потрясенного этими чудесами настолько, что он не знает, чем он должен прежде всего восхищаться, ибо, прибыв сюда из мира, который вы здесь, без сомнения, считаете Луной, я предполагал, что попал в тот мир, который мои соотечественники с своей стороны точно так же называют Луной; а между тем я очутился в раю, у ног божества, которое не хочет, чтобы ему поклонялись». «Вы совершенно правы, за исключением того звания бога, которое вы мне приписываете,— отвечал он,— между тем я только его тварь, но эта земля действительно есть Луна, которую вы видите с земного шара, а место, где вы сейчас находитесь, это земной рай, куда никто никогда не проникал за исключением шести человек: Адама, Евы, Эноха, меня — я старый Илия, — евангелиста Иоанна и вас. Вам хорошо известно, как двое первых были отсюда изгнаны, но вы не знаете, как они попали в ваш мир. Так знайте же, что после того как они оба вкусили запретного плода, Адам, боясь, что бог, гневаясь на его присутствие, усилит его наказание, стал думать о том, что Луна, т. е. ваша Земля, — единственное убежище, где он может укрыться от преследований своего творца. В то время воображение человека, еще не развращенное ни распутством, ни грубой пищей, ни болезнями, было так сильно, что страстного, возгоревшегося в Адаме желания скрыться в этом убежище было достаточно для того, чтобы он был туда вознесен, тем более, что тело его, охваченное пламенем энтузиазма, сделалось совершенно легким; ведь мы имеем примеры того, как некоторые философы, воображение которых было напряженно направлено на одну мысль, были восхищены на небо в том состоянии, которое вы называете экстазом. Ева, которая по немощи, свойственной ее полу, была слабой и менее пламенной, вероятно, не имела бы достаточно силы воображения, чтобы напряжением воли побороть тяжесть мате-

рии. Но так как прошло очень мало времени с тех пор, как она вышла из ребра своего мужа, симпатия, которая еще связывала эту часть с ее целым, увлекала и ее за ним, по мере того как он поднимался, точно так же, как за янтаре́м тянется соломинка, как магнитная стрелка поворачивается к северу, откуда она была оторвана. Так и Адам притянул к себе эту часть самого себя подобно тому, как море притягивает к себе реки, которые из него же вышли. Прибыв на вашу землю, они поселились в местности между Месопотамией и Аравией. Евреи знали его под именем Адама, язычники — под именем Прометея. О Прометее поэты создали басню, будто он похитил огонь с неба, они при этом имели в виду его потомков, которых он наделил душой столь же совершенной, какой была его собственная душа, данная ему богом. Итак, ради того чтобы обитать в вашей земле, первый человек оставил эту землю безлюдной. Но премудрый не захотел, чтобы такая прекрасная местность оставалась необитаемой: несколько веков спустя он допустил, чтобы Энох, наскучив обществом людей, которые стали развращаться, захотел их покинуть. Однако одно только убежище, казалось этому святому человеку, могло спасти его от честолюбия его родичей, перерезывавших друг другу горло ради того, чтобы разделить между собою вашу землю — это убежище и была та благодатная страна, о которой ему так много рассказывал его предок, Адам. Однако как туда подняться? Лестница Иакова в то время еще не была изобретена. Но благодать всевышнего осенила его, и он обратил внимание на то, как небесный огонь нисходит на жертвоприношения праведных и тех, кто угоден господу, согласно слов из его уст: благоухание жертвы праведника дошло до меня. Однажды, когда это божественное пламя с ожесточением пожирало жертву, приносимую предвечному, он наполнил поднимавшимся от огня дымом два больших сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки. Тогда пар, устремляясь кверху, но не имея возможности проникнуть сквозь металл, стал поднимать сосуды вверх и вместе с ними поднимал этого святого человека. Когда он таким образом долетел до Луны и окинул взором этот чудный сад, наплыв радости, почти сверхъестественный, подсказал ему, что это то самое место, где когда-то жил его праотец. Он быстро отвязал сосуды, привязанные к его плечам наподо-

бие крыльев, и сделал это так удачно, что как только он приблизился к Луне на расстояние четырех сажень, он расстался со своими поплавками. Расстояние это, однако, было еще настолько велико, что при падении он мог бы сильно пострадать, но его спасла его широкая одежда, в которую врывался ветер, раздувая ее, а также сила его пламенной любви. Что касается его сосудов, то они поднимались все выше и выше, пока бог не вправил их в небо. И теперь они все еще там и составляют то, что называется созвездием Весов; каждый день мы ощущаем наполняющее их до сих пор благоухание от жертвы, принесенной праведником, и испытываем то благоприятное воздействие, которое они оказали на гороскоп Людовика Справедливого, родившегося под знаком их.



Энох, однако, не сразу попал в этот сад, а только некоторое время спустя. Это было во время потопа, когда вся Земля исчезла под водами и сами воды поднялись на такую страшную высоту, что ковчег плыл в небесах на одном уровне с Луной. Обитатели ковчега увидели ее через окно, но не узнали ее и подумали, что это маленький участок земли, почему-то не затопленный водой; это случилось потому, что солнечный свет, отраженный от этого огромного, непрозрачного тела, казался им очень слабым ввиду близости ковчега к Луне и ввиду того, что сам ковчег попал в сферу этого отраженного света. Только одна из дочерей Ноя, по имени Ахав, с криком и визгом настаивала на том, что это несомненно Луна. Она, вероятно, заметила, как ковчег приближался к этому светилу по мере того, как поднимался на водах. Сколько ей ни доказы-

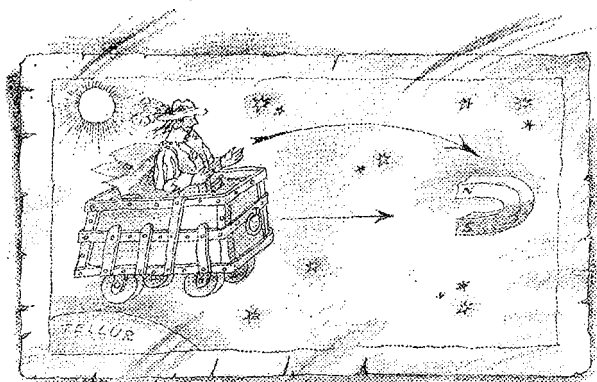
вали, что, когда бросили якорь, в воде оказалось лишь пятнадцать локтей глубины, она все стояла на своем и отвечала, что якорь, очевидно, попал на хребет кита, которого и приняли за Землю, она же с своей стороны совершенно убеждена, что они пристают именно к самой Луне. Наконец, так как всякий соглашается с мнением себе подобных, все остальные женщины убедили друг друга в том же. И вот они, не обращая внимания на запрещение мужчин, спустили в море лодку. Ахав, как самая смелая из них, захотела первая испытать опасность. Она весело бросилась в лодку, и к ней присоединились бы все остальные женщины, если бы поднявшаяся волна не отделила лодки от ковчега. Сколько ни кричали ей вслед, сколько ни обзывали ее лунатиком, сколько ни уверяли, что по ее вине всех женщин обвинят в том, что у них в голове четверть месяца, она только смеялась в ответ на все это. И вот она поплыла вон из мира. Звери последовали ее примеру и большинство птиц, с нетерпением переносивших первое заключение, ограничившее их свободу, и почувствовавших в своих крыльях достаточно силы, чтобы отважиться на это путешествие, вылетели вон и долетели до суши. Даже некоторые четвероногие животные, из самых храбрых, бросились вплавь. Их вышло около тысячи, прежде чем сыновьям Ноя удалось закрыть двери хлебов и стойл, которые открыли настежь вырывавшиеся оттуда звери. Большинство из них доплыло до этого Нового Света. Что касается лодки, то она пристала к живописному холму; здесь вышла из нее прекрасная Ахав; узнав, что эта земля была действительно Луной, она очень обрадовалась и не захотела возвратиться к своим братьям. Она поселилась в пещере, где и прожила некоторое время. Однажды, гуляя и раздумывая о том, жаль ли ей, что она потеряла общество своих, или же напротив рада этому, она вдруг увидела человека, сбивавшего желуди. Восторг, вызванный этой встречей, заставил ее броситься к нему в объятия. Он также радостно стал ее обнимать, ибо прошло еще гораздо больше времени с тех пор, как он не видел человеческого лица. Это был Энох праведный. Они стали жить вместе, нажили потомство, и если бы не безбожный нрав его детей и не гордость его жены, которые заставили его удалиться в лес, они могли бы вместе закончить свои дни в том сладостном спокойствии и счастье, которые бог посылает супружеству праведни-

ков. Там каждый день в самых диких и уединенных местах этих страшных пустынь почтенный старец, очистившись духом, приносил в жертву богу свое сердце. Но вот однажды с древа познания, которое, как вы знаете, находится в этом саду, упало яблоко и попало прямо в реку, на берегу которой оно растет. Унесенное волнами за пределы рая, оно доплыло до того места, где бедный Энох ловил рыбу, которой поддерживал свою жизнь. Чудный плод попал в сети, он его съел; тотчас же он познал, где находится земной рай, и благодаря тайнам, которых вы не можете понять, не вкусив подобно ему плода от древа знания, он нашел рай и в нем поселился.

Теперь я должен рассказать вам, каким образом я сюда попал; вы, я думаю, не забыли, что меня зовут Илия, как я вам уже говорил. Знайте же, что я находился в вашем мире и обитал на берегах Иордана с Елисеем, таким же евреем, как и я сам. Там, среди книг, я вел жизнь достаточно приятную, чтобы о ней не жалеть, хотя она быстро протекала. Однако с увеличением моих знаний все больше возрастало во мне сознание того, как мало я действительно знаю. Никогда наши священники не напоминали мне о знаменитом Адаме без того, чтобы воспоминание о том совершенном знании, которым он обладал, не вызывало во мне вздохов. Я ужасно отчаявался в возможности получить это знание, когда однажды, после того, как я совершил жертвоприношение в искупление немощей своего бренного существа, я заснул и ангел господень явился мне во сне; проснувшись, я тотчас же принялся за выполнение того, что он мне предписал. Я взял магнит, размером приблизительно в два квадратных фута, и положил его в горнило; когда он совершенно очистился от всякой примеси, осел и растворился, я извлек из него притягивающее вещество, раскалил всю эту массу и превратил в шар среднего размера.

В дальнейшем ходе приготовлений я соорудил очень легкую железную колесницу, и несколько месяцев спустя, когда все было готово, я сел в эту искусно придуманную повозку. Вы, может быть, спросите меня, для чего нужен был весь этот сложный снаряд. Так знайте же, что мне поведал ангел во время моего сна; он сказал, что если я хочу приобрести то совершенное знание, к которому стремился, я должен подняться в мир Луны, где в раю Адама я найду древо знания, и что как только я вкушу его

плода, тотчас же моя душа просветится всеми теми истинами, которые способно вместить человеческое существо. Так вот для какого путешествия я соорудил свою колесницу. Наконец я вошел в нее, и когда я прочно уселся и утвердился на сиденье, я бросил очень высоко в воздух свой магнитный шар. Тотчас же поднялась и железная машина, которую я нарочно в середине построил более тяжелой, чем по краям; она поднималась в полном равновесии, так как подталкивалась именно этой своей более тяжелой средней частью. Таким образом, по мере того как я долетел до того места, куда меня притягивал магнит, я тотчас же подхватывал магнитный шар и рукой гнал его вверх впереди себя».



«Но как же, — прервал я его, — удавалось вам бросать ваш шар настолько прямо над вашей колесницей, что никогда она не уклонялась в сторону?» — «Я не вижу в этом ничего удивительного, ведь магнитный шар, подброшенный на воздух, притягивал к себе железо по прямой линии, вследствие чего колесница не могла уклониться в сторону. Скажу вам более: даже в то время, когда я держал свой шар в руке, я все-таки продолжал подниматься, так как колесница не переставала тянуться к магниту, который я держал над ней. Но толчки железных частей по направлению к моему шару были так сильны, что заставляли мое тело гнуться в три погибели, так что я уже не решился еще раз повторить этот опыт. Я должен сказать, что зрелище было необыкновенное: сталь этого летучего дома, которую я отшлифовал самым тщательным образом, отражала со всех сторон солнечный свет так ярко

и резко, что мне самому казалось, что я возношусь в огненной колеснице. Наконец, после того как я долго подбрасывал свой шар и продолжал лететь за ним, я, так же как и вы, долетел до такого места, с которого я начал падать на эту землю; но так как в эту минуту я крепко сжимал в руках свой шар, то моя колесница, сиденье которой, притянутое магнитом, давило меня, никак не могла от меня отделиться. Мне грозила опасность сломать себе шею; чтобы избавиться от нее, я стал от времени до времени подбрасывать свой шар с тем, чтобы замедлить движение машины и таким образом ослабить удар при падении. Наконец, когда я увидел себя на расстоянии двух или трех сажень от земли, я стал бросать шар во все стороны, то туда, то сюда, но так, чтобы он все время оставался на одном уровне с остовом колесницы, и продолжал это делать до тех пор, пока перед моими глазами не открылся земной рай. Тогда я сейчас же толкнул шар в этом направлении, моя машина полетела за шаром, а я начал падать и падать до тех пор, пока подо мной не оказался песок; тогда я подбросил шар приблизительно на расстояние фута над своей головой; это значительно смягчило удар, так что при моем падении он был не сильнее того, как если бы я, стоя на земле, упал во весь рост. Не стану вам описывать удивление, охватившее меня при виде всех окружавших меня чудес, ибо оно было таково, как и то, которое только что, как я видел, поразило и вас. Узнайте одно, на другой же день я нашел древо жизни, плоды которого сохраняют меня юным; змей был вскоре поглощен и должен был выйти вон в виде пара».

На этих словах я перебил его и спросил: «Почтенный и святой патриарх, я очень желал бы знать, что вы разумеете под этим змеем, который был поглощен?» С улыбкой он отвечал мне так: «Я забыл, о мой сын, открыть вам одну тайну, которая не могла быть вам известна. Так знайте же, что после того, как Ева и ее муж вкусили от запретного плода, бог, чтобы наказать змея, искусившего их, загнал его в тело человека. С тех пор не родилось ни одного человеческого существа, которое в возмездие за грех, совершенный его предками, не питало бы в своем чреве змея, рожденного от этого первого змея. Вы называете это кишками и считаете их необходимыми для отправления жизненных функций. Но знайте же, что это не что иное, как змей, сложенный несколько раз двойными

петлями. Когда вы слышите различные звуки в ваших кишках, знайте, что это шипение змея, по обжорливости своего нрава некогда побудившего первого человека объестся; точно так же он и теперь требует для себя пищи. Ибо бог, который хотел наказать вас тем, что сделал вас Смертными, как и остальных животных, сделал вас в то же время одержимыми этими ненасытными животными, так что если вы будете кормить его слишком обильно, вы задохнетесь; если будете отказывать ему в пище, когда он голодный своими невидимыми зубами кусает вас за желудок, он станет кричать, бушевать, извергать из себя тот яд, который ваши доктора называют желчью, и так воспалит вас ядом, который прольет в ваши жилы, что вы скоро истлеете. Наконец, чтобы вы могли убедиться в том, что ваши кишки — это действительно змей, который живет в вашем теле, вспомните, что змея находили в гробницах Эскулапа, Сципиона, Александра, Карла Мартелла и Эдуарда, короля Англии, и что эти змеи питались телом своих хозяев».

«Действительно, — прервал я его, — я заметил, что этот змей всегда старается вырваться из тела человека, и потому видно, как его голова и тело вылезают из тела в нижней части живота. Но бог не захотел допустить, чтобы змей мучил одного только мужчину, он допустил, чтобы он ожесточился и на женщину и чтобы он бросал в нее свой яд, так что опухоль держится целых девять месяцев после укуса. И чтобы показать вам, что мои слова согласны со словом Божиим, я вам напомним, как бог говорил змею, проклиная его, что сколько бы он ни заставлял женщину спотыкаться, идя против нее, она все же в конце концов заставит его склонить голову...» Я хотел продолжать эту чепуху, но Илия остановил меня: «Подумайте о том, — сказал он, — что это место священо». Он немного помолчал, как бы для того, чтобы вспомнить, на чем он остановился, и затем продолжал:

«Я вкушаю плода от древа жизни только раз в сто лет. Его сок по вкусу несколько напоминает винный спирт. Я думаю, что это яблоко, которое ел Адам, было причиной долгой жизни наших праотцев, ибо в их семя проникла часть его силы, которая затем исчезла в водах потопа. Древо знания растет против него. Его плод покрыт кожей, которая вызывает неведение во всяком, вкусившем ее; под толщей этой кожицы сохраняются, однако, все ду-

ховные свойства этого ученого кушанья. Некогда бог, изгнав Адама из этой блаженной местности и боясь, чтобы он не нашел опять дорогу, ведущую сюда, натер ему десны этой кожицей. С тех пор и в течение более пятнадцати лет он заговаривался и до такой степени все забыл, что ни он, ни его потомки до самого Моисея даже и не вспомнили о сотворении мира. Но остатки свойств, присущих этой толстой коже, окончательно рассеялись благодаря пыли и ясности ума великого пророка. Мне, к счастью, попалось одно из тех яблок, которые совершенно поспели и потеряли свою кожицу, и едва моя слюна смочила его, как тотчас же всемирное знание ударило меня прямо в нос: мне показалось, что бесконечное количество мелких глазков открылось в моей голове, и я познал, как говорить с богом. Когда впоследствии я стал обдумывать чудесное свое вознесение, я хорошо понял, что не мог бы обойти бдительности серафима, поставленного богом у врат рая, чтобы охранять его, если бы я пользовался одними скрытыми силами материи; мне это удалось потому, что бог любит иногда действовать косвенными путями. Я думаю, что он внушил мне этот способ проникнуть в рай; точно так же, как он захотел воспользоваться ребрами Адама, чтобы создать жену ему, хотя он мог точно так же сотворить ее из земли, как и его.

Долго я гулял по этому саду, не имея никакого общества. Но наконец, так как ангел при вратах сада был мой главный хозяин, мне пришло желание приветствовать его. После часа пути я дошел до цели своего путешествия, ибо по истечении этого времени я пришел к такому месту, где тысяча молний, сливаясь в одну, давали такой ослепительный свет, что при нем можно было даже видеть тьму. Я еще не совсем оправился от этого происшествия, когда передо мной предстал прекрасный юноша. «Я, — сказал он, — тот архангел, которого ты ищешь. Я только что прочел мысль бога, что он внушил тебе средства попасть сюда и что он хочет, чтобы ты здесь ожидал дальнейшую его волю». Мы с ним беседовали о многих предметах, и между прочим он сказал мне, что тот свет, который, по-видимому, испугал меня, вовсе не страшен; что он загорается почти каждый день во время вечернего обхода ангела и вследствие того, что, во избежание неожиданных выходов со стороны колдунов, которые всюду проникают, ему приходится фехтовать своим

огненным мечом, и этот свет и есть молния, вызванная игрой его стали. «Те молнии, которые вы видите из вашего света, вызываю я. Если иногда они кажутся вам очень отдаленными, это потому, что далекие облака, в которых они отражаются, отбрасывают к вам эти легкие огненные образы, точно так же, как облака, иначе расположенные, могут создать радуго. Я не буду просвещать вас дальше, тем более, что древо знания отсюда недалеко, и когда вы съедите один из его плодов, вы будете так же учены, как и я. Но главное, бойтесь ошибаться: большинство плодов, висящих на этом дереве, окружены такой коркой, что если вы ее попробуете, вы сойдете в состояние ниже уровня человека, тогда как, вкусив мякоть плода, вы подниметесь до высоты ангела».

На этом месте поучений серафима Илия остановился, и в это время к нам подошел небольшого роста человек. «Это Энох, о котором я вам говорил», — тихо сказал мой проводник. Едва он успел произнести эти слова, как Энох предложил нам корзину, полную незнакомых мне плодов, похожих на гранаты, которые он впервые нашел в этот самый день в отдаленной роции. Я положил несколько таких плодов в карман по приказанию Илии, и тут Энох спросил его, кто я такой.

«Рассказ об этом приключении требует длинной беседы, — отвечал мой проводник. — Сегодня вечером, когда мы удалимся на покой, он сам расскажет нам о чудесах и подробностях своего путешествия».

Когда он произносил эти слова, мы подходили к чему-то похожему на шалап, построенный из пальмовых ветвей, очень искусно переплетенных с ветками мирт и апельсиновых деревьев. Тут я увидел в маленьком чуланчике кучи пряжи, такой белой и тонкой, что ее можно было принять за самую душу снега. Я видел также разбросанные по разным местам прялки, я спросил своего проводника, для чего они нужны. «Для того чтобы прясть, — отвечал он. — Когда почтенный Энох хочет дать себе отдых от созерцания, он то расчесывает эту кудель, то крутит из нее нитку, то ткет полотно, которое идет на рубашки одиннадцати тысячам дев. Вы, несомненно, видели в вашем мире, как осенью, приблизительно во время посева, по воздуху летают какие-то белые нити. Крестьяне называют это «нитками богородицы». Это те очески, от которых Энох очищает лен, когда он его расчесывает».

Мы ненадолго остановились, чтобы проститься с Энохом, так как эта хижина была его кельей; нам пришлось его покинуть так скоро потому, что через каждые шесть часов он совершает свои молитвы и шесть часов уже прошло со времени совершения последней. По дороге я стал упрашивать Илию окончить историю вознесений на Луну, которую он начал, и сказал ему, что он остановился, как мне помнилось, на святом евангелисте Иоанне.

«Если,— сказал он,— у вас не хватает терпения подождать, пока плод от древа знания откроет вам все это лучше, чем я могу это сделать, я расскажу вам об этом. Так знайте же, что бог...»

При этих словах не знаю каким образом впутался сюда дьявол. Как бы то ни было, но я не мог воздержаться от насмешек и прервал его: «Я вспоминаю,— сказал я ему,— богу как-то стало известно, что душа этого евангелиста настолько отрешилась от всего земного, что он удерживал ее в своем теле только тем, что крепко сжимал рот. Предвечная мудрость чрезвычайно была удивлена таким неожиданным случаем. «Увы,— воскликнула она,— он не должен вкусить смерти. Он предназначен к тому, чтобы во плоти быть вознесенным в земной рай! И, однако, час, когда, по моему предвидению, он должен был вознестись, почти уже прошел. Боже правый! Что скажут обо мне люди, когда узнают, что я ошибалась!» Итак, в нерешительности предвечный был принужден, чтобы исправить свою ошибку, сразу его туда доставить, не имея времени заставить его потихоньку туда перебраться».

Во время всей этой речи Илия смотрел на меня глазами, которые, казалось, были способны меня убить, если бы я мог умереть от чего-либо другого, кроме голода. «Отвратительное существо,— воскликнул он, отодвигаясь от меня,— ты имеешь наглость глумиться над священными вещами! Получил бы ты наказание поделом, если бы премудрый не захотел оставить тебя назидательным примером своего милосердия перед людьми. Вон, безбожник, вон отсюда! Пойди и объяви как в нашем маленьком мире, так и в другом — ибо ты предназначен к тому, чтобы туда вернуться,— какую непримиримую ненависть бог испытывает ко всем атеистам».

Он едва произнес это проклятие, как схватил меня и силой потащил к воротам. Когда мы подошли к большо-

му дереву, ветви которого, отягощенные плодами, склонялись чуть не до самой земли, он сказал: «Вот древо знания, от которого ты бы мог почерпнуть непостижимые познания, если бы не был неверующим».

Только успел он это произнести, как я, делая вид, что мне дурно, с намерением упал на одну ветку, с которой ловко сорвал одно яблоко, один плод. Мне нужно было сделать еще только несколько шагов, и я был бы за пределами этого восхитительного парка. Однако мною до такой степени владел голод, что я забыл, что нахожусь во власти разгневанного пророка. Поэтому я вынул одно из яблок, которыми набил свой карман, и впился в него зубами, но вместо того чтобы взять одно из тех, которые мне подарил Энох, моя рука упала на плод, который я сорвал с древа знания и который я, к несчастью, не очистил от кожи. Я только что успел отведать от него, как густой мрак окутал мою душу, я уже не видел перед собой ни яблока, ни Илии и никак бы не мог отыскать следов той дороги, которая меня сюда привела.

Обдумывая впоследствии все это чудесное происшествие, я рассудил, что, вероятно, корка от плода, который я вкусил, потому не лишила меня окончательно разума, что мои зубы, прокусывая ее, в то же время слегка коснулись и мякоти, живительный сок которой ослабил злое вредное действие кожицы.

Я был чрезвычайно удивлен, увидя, что я совсем один и в совершенно неизвестной мне стране. Сколько я ни озибался кругом, сколько ни оглядывал окружающую меня местность, я не видел ни одного живого существа, которое радовало бы взор. Наконец я решил идти вперед, до тех пор, пока судьба не пошлет мне навстречу какое-нибудь живое существо или же смерть.

Судьба действительно исполнила мое желание, и, пройдя четверть мили, я увидел перед собой двух больших и сильных зверей. Один из них остановился передо мной, другой с необыкновенной легкостью убежал по направлению к своему жилищу, по крайней мере, я так предположил, ибо некоторое время спустя он вернулся в сопровождении более чем семи или восьми сотен подобных же зверей, которые и окружили меня. Когда я мог их разглядеть поближе, я увидел, что они похожи на нас как лицом, так и сложением и ростом. Это приключение напомнило мне слышанные мною в былые вре-

мена рассказы моей кормилицы о сиренах, фавнах и сатирах. От времени до времени эти звери издавали такое бешеное гиканье, вызванное, вероятно, моим видом, который приводил их в восхищение, что я сам чуть было не поверил, что превратился в чудовище. Наконец одно из этих существ, полулюдей, полужверей, ухватило меня за шиворот, так, как волк хватает овцу, перекинуло меня себе за спину и понесло меня в их город, где я был еще более удивлен, ибо увидел, что эти звери действительно люди, но что ни один из них не ходит иначе, как на четырех ногах.

Когда я проходил мимо толпы этих людей и они увидели, как я мал ростом (большинство из них имеют в длину более двенадцати локтей), а также и то, что мое тело поддерживается двумя только ногами, они не хотели верить, что я человек, ибо считали, что если природа одарила человека, как и зверя, двумя руками и двумя ногами, он должен пользоваться ими так же, как делают это они. И действительно, раздумывая впоследствии по этому поводу, я пришел к заключению, что такое положение вовсе не так нелепо: я вспомнил, что ведь дети ходят на четвереньках, пока единственной наставницей их является природа, и что они становятся на две ноги только по наущению своих нянек, которые сажают их в колясочки и привязывают ремнями, чтобы помешать им вновь упасть на четвереньки, — единственное, собственно, положение, при котором человеческое тело естественно отдыхает.

Оказывается, они говорили (мне это разъяснили уже впоследствии), что я несомненно самка маленького животного королевы. В качестве ли этого животного, или чего-либо другого, меня повели прямо в городскую ратушу, где я понял из общего говора и из жестов как народа, так и членов магистрата, что они совещаются о том, чем бы я мог быть. После того как они долго обсуждали этот вопрос, некий гражданин, на котором лежала обязанность охранять редких зверей, стал упрашивать городских старшин сдать меня ему на хранение, пока королева не пришлет за мной, чтобы соединить меня с моим самцом. Этому не встретилось препятствий, и фокусник принес меня к себе в дом, где научил меня изображать шута, кувыркаться, строить гримасы; в послеобеденное время он брал деньги за вход и показывал меня желающим.

Наконец небо, разгневавшись на то, что оскверняется храм его владыки, сжалилось надо мной, и однажды, когда шарлатан, привязав меня к веревке, заставлял меня через нее прыгать для развлечения праздной толпы, я вдруг услышал голос человека, который по-гречески спросил меня, кто я такой. Я крайне удивился, услышав, что в этой стране говорят так же, как у нас. Он стал расспрашивать меня, я ему отвечал и затем в общих чертах рассказал ему начало и счастливый исход своего путешествия. Он принялся меня утешать, и я помню, как он мне сказал: «Что делать, сын мой, вы расплачиваетесь за слабости людей вашего мира. Как там, так и здесь есть пошлая толпа, которая не терпит ничего такого, что для нее необычно. Знайте, что вам отплачивают той же монетой и что если бы кто-нибудь из этой земли попал в вашу Землю и посмел назвать себя человеком, ваши ученые задушили бы его как чудовище». Он затем обещал мне осведомить двор о моем несчастье, он прибавил, что как только он увидел меня, его сердце тотчас же подсказало ему, что я человек, ибо некогда он сам путешествовал по тому миру, откуда я явился; что моя Земля это Луна, что я галл, что он жил в Греции, где его называли Демоном Сократа; что после смерти этого философа он жил в Фивах, где обучал Эпаминонда и воспитывал его; что потом, когда он перешел в Рим, чувство справедливости заставило его примкнуть к партии младшего Катона; что после его смерти он отдался Бруту, но когда после смерти всех этих великих людей на свете осталось только воспоминание о их добродетелях, он вместе со своими товарищами удалился из мира и жил то в храмах, то в уединенных и пустынных местах. Наконец, добавил он, народ, населяющий вашу землю, так поглупел и так огрубел, что у меня и моих товарищей совершенно пропала охота обучать его чему бы то ни было. Вы не могли о нас не слышать, ибо нас называли оракулами, нимфами, гениями, феями, пенатами, лемурами, ларвами, вампирами, домовыми, няядами, инкубами, тенями, призраками и привидениями. Мы покинули ваш мир в царствование Августа, немного спустя после того, как я явился Друзу, сыну Ливии, который вел войну в Германии, и запретил ему двигаться дальше. Не так давно я во второй раз вернулся оттуда; лет сто тому назад мне было поручено туда съездить; я долго бродил по Европе и разговаривал с людьми, которых вы, мо-

жет быть, знавали. Однажды, между прочим, в то время, как он занимался, я научил его множеству вещей; он обещал мне в награду засвидетельствовать перед потомством о том, что я посвятил его во все эти тайны, о которых он намеревался написать. Я видел там Агриппу, аббата Тритемия, доктора Фауста, Ла Бросса, Цезаря и знал кружок молодых людей, которых непосвященная толпа знала под именем рыцарей ордена Розенкрейцеров; я научил их множеству хитростей и открыл им многие тайны природы, благодаря чему их, конечно, сочли бы за великих магов. Я знал также и Кампанеллу; не кто иной, как я посоветовал ему во время его заключения в тюрьме инквизиции приучить свое тело и свое лицо к положению и выражению, которое принимали те, чьи тайные помыслы он хотел узнать, с тем чтобы таким образом вызывать в себе те же мысли, которые это положение вызвало в них, и, познав их душу, успешнее с ними бороться. По моей просьбе он начал писать книгу, которой мы дали заглавие: *De sensu rerum*. Я точно так же посещал во Франции Ламот Ле Вайе и Гассенди. Этот последний пишет, как истинный философ, точно так же, как первый живет как таковой. Я знал также множество других людей, которых ваш век считает проникнутыми божественной мудростью, но я ничего в них не усмотрел, кроме болтовни и большой гордости. Наконец, переезжая из вашей страны в Англию, чтобы изучить там нравы ее обитателей, я встретил человека, который служит позором своей родной страны. Действительно, разве это не позор, когда знать вашего государства, признавая всю добродетель, воплощением которой он является, в то же время не воздает ему должного, не преклоняется перед ним. Чтобы сократить свой панегирик, скажу, что он весь сердцем, весь ум; сказать, что он обладает в полной мере этими двумя качествами, из которых одного было бы достаточно, чтобы сделаться героем, это значит назвать Тристана Лермита. Я бы не стал называть его, так как уверен, что он не простит мне этого; не рассчитывая больше вернуться в ваш мир, я хочу перед своей совестью засвидетельствовать истину. Правда, я должен сказать, что как только я увидел столь высокую добродетель, я тотчас же подумал, что она не будет признана, поэтому я старался убедить его принять от меня три склянки: первая была полна тальковым маслом, вторая порохом, третья жидким золотом, т. е.

той растительной солью, которая, по мнению ваших химиков, дает вечную жизнь. Но он отказался от этого с более благородным презрением, чем Диоген отказался от предложения Александра, который посетил его в его бочке. Мне нечего добавить к похвалам этому великому человеку, как разве только то, что он единственный ваш поэт, единственный философ и что, кроме него, у вас нет ни одного истинно свободно мыслящего человека. Вот те значительные люди, которых я знавал; все остальные, по крайней мере те, которых я встречал, стоят настолько ниже настоящего человека, что я видал животных, которые выше их. Впрочем, я не происхожу ни из вашей земли, ни из этой; я родился на солнце. Но наш мир иногда бывает перенаселен вследствие продолжительности жизни его обитателей, а также и потому, что в нем почти не бывает ни войн, ни болезней; ввиду этого наши власти от времени до времени посылают колонии в окружающие миры. Что касается меня, то я был командирован в ваш мир и был объявлен начальником того племени, которое было послано со мной. После того я перешел в этот мир по тем причинам, о которых я вам уже говорил; я продолжаю здесь жить потому, что люди здесь любят истину, что нет здесь педантов; что философы здесь руководятся только разумом и что ни авторитет ученого, ни авторитет большинства не преобладает здесь над мнением какого-нибудь молотильщика зерна, если этот молотильщик рассуждает умно. Одним словом, в этой стране безумцами почитаются лишь софисты и ораторы». Я спросил его, какова продолжительность их жизни, он мне отвечал: три или четыре тысячи лет, и продолжал так: «Если я хочу сделать себя видимым, как, например, теперь, но в то же время чувствую, что то тело, которое я заполняю, почти износилось или что органы его уже не выполняют своих функций достаточно хорошо, я дую свое дыхание в молодое тело, только что умершее.

Хотя обитатели Солнца не так многочисленны, как обитатели этого мира, однако Солнце часто выбрасывает их вон из себя по той причине, что народ, его населяющий, одаренный горячим темпераментом, беспокоен и честолюбив и много ест.

Все то, что я вам говорю, не должно казаться вам странным, ибо, хотя наш солнечный шар очень велик, а ваш земной шар мал, хотя мы умираем только после

трех или четырех тысяч лет жизни, а вы после полувека, знайте, что точно так же, как во вселенной больше песка, чем камней, больше камней, чем растений, больше растений, чем животных, больше животных, чем людей, точно так же на свете не может быть меньше демонов, чем людей, вследствие тех осложнений и затруднений, с которыми сопряжено зарождение столь совершенных существ».

На мой вопрос, такие ли у них тела, как и у нас, он мне отвечал, что да, у них тоже есть тела, но не такие, как наши, и непохожие на все то, что мы считаем телами; ибо мы обычно называем телом то, что мы можем осязать; что, впрочем, в природе нет ничего, что бы не было материей, и что хотя они сами состоят из материи, они принуждены, когда хотят сделаться для нас видимыми, принять телесный образ, соответствующий тому, что мы можем познать своими чувствами.

Я сказал ему, что все рассказы о существах, подобных ему, многие, вероятно, потому считают плодом воображения слабоумных, что они появляются только по ночам; он отвечал, что так как они сами бывают принуждены наснаться соорудить себе тело, которое должно им служить, они часто не успевают создать ничего больше, как то, что может действовать на один какой-нибудь орган чувств: или на слух, как голос оракула, или на зрение, как привидения и призраки, или на осязание, как инкубы, и так как их тела не что иное, как сгущение того или другого рода, то свет своей теплотой разрушает их, подобно тому как он рассеивает туман.

Его интересные объяснения возбудили мое любопытство и побудили меня расспросить его о рождении и смерти жителей солнца; мне хотелось знать, происходит ли на солнце рождение человека через органы зарождения, и умирают ли они вследствие разнузданности своего темперамента или вследствие разрушения своих органов. «Между вашим сознанием и пониманием этих тайн слишком мало общего, чтобы вы могли понять их. Вы, жители Земли, представляете себе, что то, что вы не понимаете, имеет духовную сущность, или же что оно вовсе не существует; но этот вывод совершенно ложен; он доказывает только то, что во вселенной существуют миллионы вещей, для понимания которых с вашей стороны потребовались бы миллионы совершенно различных органов. Я, например, при помощи своих чувств познаю

причину притяжения магнитной стрелки к полюсу, причину морского прилива и отлива, понимаю, что происходит с животным после его смерти; вы же можете подняться до наших высоких представлений только путем веры, потому что вам не хватает перспективы; вы не можете охватить этих чудес, точно так же, как слепорожденный не может представить себе, что такое красота пейзажа, что такое краски в картине или оттенки в цветке ириса; он будет воображать их себе или как нечто осязательное как пища, или же как звук или запах. Во всяком случае, если бы я захотел объяснить вам то, что я познаю теми чувствами, которых у вас нет, вы бы представили это себе как нечто, что можно слышать, видеть, осязать или же познать вкусом или обонянием, между тем это нечто совершенно иное».

Когда он дошел до этого места своей речи, фокусник заметил, что публике начинает надоедать мой разговор, которого она не понимала и который принимала за нечленораздельное хрюканье. Он стал вновь изо всей мочи дергать мою веревку, чтобы заставить меня прыгать, и продолжал это до тех пор, пока наконец зрители не разошлись каждый восвояси, досыта нахохотавшись и уверяя, что я почти так же умен, как у них животные.

Жестокость дурного обращения моего хозяина умерялась для меня посещениями этого любезного демона, ибо не могло быть и речи о том, чтобы я мог вести какой-нибудь разговор с теми, кто приходил на меня посмотреть; помимо того, что они принимали меня за животное из категорий самых низких скотов, но ведь ни я не знал их языка, ни они не понимали моего; судите же, каково было между нами общение. Вы должны знать, что во всей стране принято два наречия: одно служит для знати, другое — в употреблении у народа.

Язык знатных не что иное, как различное сочетание нечленораздельных звуков, слегка напоминающих нашу музыку, когда к мелодии не присоединяется слов, и, конечно, это изобретение в то же время и приятное и полезное, ибо когда эти люди устали говорить, или же когда они не хотят более тратить горло для этой цели, они берут лютню или какой-нибудь другой инструмент, которым они владеют так же хорошо, как и голосом, для передачи своих мыслей, так что иногда их соберется целое общество в пятнадцать или двадцать человек и какой-ни-

будь богословский вопрос или сложный процесс обсуждается ими при помощи самого прекрасного концерта, который может ласкать ухо.

Другой язык, тот, который в употреблении у народа, осуществляется посредством движения членов, но не так, как можно было бы думать, ибо движение некоторых частей тела уже прямо обозначает целую речь. Например, движение пальца руки, уха, губы, глаза, щеки составляет каждое в отдельности молитву или же целый период со всеми его членами. Другие движения служат только для того, чтобы обозначать отдельные слова, таковы, например, такие движения, как сморщивание лба, подергивание мускулов, поворот ладони кверху, хлопанье ногами, выворачивание рук, все эти движения выражают отдельные слова, потому что при существующем у них обычае ходить голыми и привычке жестами передавать свои мысли, когда они говорят, члены их находятся в таком непрерывном движении, что кажется, будто имеешь перед собой не человека, который говорит, а тело, которое дрожит.

Демон посещал меня почти ежедневно, и его удивительные беседы делали то, что я мог без особенной скуки переносить тяготу своего жестокого заключения. Наконец, однажды утром в мою каморку вошел неизвестный мне человек; он стал меня сначала лизать, потом мягко схватил меня пастью под мышкой и одной из лап, которой меня поддерживал, чтобы я не ушибся, он перекинул меня себе на спину, где я почувствовал себя так мягко и так удобно, что, несмотря на скорбь, причиненную мне сознанием, что со мной обращаются, как со скотом, у меня не явилось желания бежать, да это было бы и бесполезно, так как эти люди, которые ходят на четырех ногах, движутся с совершенно иной быстротой, чем мы, и самые тяжеловесные из них могут догнать оленя на бегу.

Однако я был очень огорчен, не имея никаких известий о своем любезном демоне, и вечером, во время первой своей остановки в пути, добравшись до места ночлега, я разгуливал во дворе гостиницы в ожидании приготовлявшегося ужина, как вдруг принесший меня сюда человек, очень молодой и довольно красивый, бросил мне на шею свои ноги и расхохотался мне в лицо. Я внимательно его рассматривал, и некоторое время спустя он воскликнул по-французски: «Как, неужели вы не узнаете своего

друга?» Предоставляю вам судить о том, что со мной случилось. Действительно, я был так изумлен, что мне представилось, будто и Луна и все, что со мной здесь случилось, все, что я тут увидел, все это одно только волшебство; а человекозверь, тот самый, который привез меня сюда на своей спине, продолжал: «Вы мне обещали, что все те услуги, которые я вам окажу, никогда не изгладятся из вашей памяти, а между тем теперь оказывается, что вы никогда меня не видели». Я продолжал настаивать на том, что действительно никогда его не видел. Наконец он мне сказал: «Я Демон Сократа, который развлекал вас во время вашего заключения. Я отправился вчера к королю, чтобы предупредить его, как я вам обещал, о вашем несчастье и с тех пор я сделал триста миль в восемнадцать часов; ибо прибыл сюда в двенадцать часов, ожидая вас». «Но,— прервал я его,— как может все это быть, когда вчера вы были большого роста, а сегодня маленького; вчера у вас голос был слабый и разбитый, а сегодня сильный и чистый; вчера вы были старичком, покрытым седinou, а сегодня вы молодой человек? Как неужели же в противоположность тому, как у нас на земле, человек от рождения своего идет к смерти, в здешнем мире животные идут от смерти к рождению и молодеют по мере того, как стареют?» Он продолжал: «Как только я рассказал о вас королю, я получил приказание привести вас ко двору, но тут я почувствовал, что тело, форму которого я принял, настолько измождено, что все органы его отказываются исполнять свои обычные функции; тогда я справился о том, где помещается больница; войдя в нее, я нашел тело молодого человека, который только что испустил дух (вследствие очень странного несчастного случая, весьма, впрочем, обычного в этой стране). Я подошел к нему, сделав вид, что вижу в нем какие-то признаки жизни, и стал уверять присутствующих, что он не умер, что его болезнь даже не опасна, что то обстоятельство, которому приписывали его смерть, не более, как летаргический сон и ловко, так чтобы этого не заметили, я вошел в него через дыхание. Мое старое тело тотчас же упало навзничь, я в этом молодом теле встал, как если бы встал этот молодой человек; присутствующие стали кричать, что совершилось чудо, а я, никому ничего не разъясняя, быстро побежал к вашему фокуснику, откуда я вас и взял».

Он бы продолжал свой рассказ, если бы нас не позвали к столу. Мой спутник повел меня в залу, великолепно убранную, где, однако, я не заметил никаких приготовлений к ужину. Такое отсутствие всего съестного, когда я совершенно изнемогал от голода, вызвало с моей стороны вопрос: где накрыт стол? Ответа я уже не слушал, так как в эту минуту ко мне подошли трое или четверо юношей, дети нашего хозяина; они с большой учтивостью сняли все, что было на мне надето, до самой рубашки. Этот новый обряд меня до такой степени озадачил, что я не решился спросить у своих прекрасных слуг, для чего это делается, я даже не понимаю, как мой гид на свой вопрос, с чего я хочу начать, добился от меня ответа: с супа. Но едва я выговорил эти слова, как я почувствовал запах самого сочного навара, который когда-либо ласкал обоняние дурного богача. Я хотел встать, чтобы носом проследить, где же источник этих приятных испарений, но мой гид остановил меня. «Куда вы? — спросил он. — Мы скоро пойдем гулять, а теперь время еды, кончайте ваш суп, после этого мы закажем что-нибудь другое». «Да где же, черт возьми, этот суп? — гневно крикнул я, — уж не побились ли вы об заклад издеваться надо мной весь сегодняшний день?» «Я думал, — возразил он, — что в том городе, откуда мы пришли, вы видели, как ваш хозяин или кто-либо другой принимает пищу, потому я вам еще не говорил о том, как здесь питаются. Так знайте же, если это вам до сих пор не было известно, что здесь люди питаются одними испарениями. Все поваренное искусство состоит здесь в том, чтобы в большие сосуды, сделанные специально с этой целью, заключить те пары, которые выделяются из мяса во время его варки; когда наберется достаточное количество таких сосудов различных сортов и различного вкуса, то, в зависимости от аппетита гостей, раскупоривают тот сосуд, в котором заключен требуемый запах, затем другой и так далее, пока общество не насытится.

Если вы никогда не питались таким образом, вы не поверите, что один нос, без помощи зубов или гортани, может для питания человека заменить ему рот, но я хочу, чтобы вы убедились в этом по собственному опыту». Не успел он произнести эти слова, как зала стала постепенно наполняться таким приятным ароматом и таким насыщающим, что менее чем через несколько минут я почувствовал себя совершенно сытым. Когда мы встали, он вновь

заговорил: «Это не должно вас особенно удивлять, не могли же вы прожить столько времени и не заметить, что в вашем мире повара и кондитеры, которые едят меньше, чем люди других профессий, в то же время самые толстые. Откуда происходит их полнота, по вашему мнению, если не от тех испарений, которыми они постоянно окружены, которые проникают в их тело и питают их? Потому здоровье обитателей этого мира гораздо крепче и не изменяет им, что питание их почти не вызывает выделений, являющихся причиной чуть ли не всех болезней. Вас, может быть, удивило то, что перед обедом вас раздели, так как это не принято в вашей стране, но здесь таков обычай, и это делается ради того, чтобы тело легче могло проникаться испарениями».

«Сударь, — отвечал я, — то, что вы говорите, кажется мне вполне правдоподобным, тем более, что я сам отчасти уже испытал нечто подобное, но я должен вам признаться, что я не в силах так скоро выйти из скотского состояния и был бы чрезвычайно рад почувствовать под зубами кусок чего-нибудь плотного». Он обещал исполнить мое желание, однако только на следующий день, потому, сказал он, «что если вы будете есть так скоро после обеда, это вызовет у вас расстройство желудка». Мы побеседовали еще некоторое время, затем поднялись наверх, где были наши спальни.

На площадке лестницы нас встретил человек, который нас очень внимательно разглядывал, после чего он отвел меня в комнату, в которой пол был усыпан цветами апельсинового дерева на высоту в три фута; мой демон был отведен в другую комнату, наполненную гвоздикой и жасмином. Заметив, что такая роскошь меня удивила, он мне сказал, что это не что иное, как кровати, которые в употреблении в здешней стране. Наконец мы легли спать, каждый в своей келье; как только я улегся на своих цветах, я увидел при свете тридцати крупных свечечек, заключенных в хрустальном бокале (ибо здесь нет других свечей), тех же трех или четырех юношей, которые меня раздевали перед ужином; один из них стал щекотать мои ступни, другой бедра, третий бока, четвертый руки, и все это так ласково и так нежно, что через минуту я уже заснул.

На другое утро ко мне вошел мой демон и вместе с ним влились в комнату солнечные лучи. «Я хочу испол-

нить свое обещание, — сказал он, — вы более плотно позавтракаете, чем вчера ужинали». При этих его словах я встал, и он повел меня за руку в сад, примыкавший к нашему дому; там один из детей нашего хозяина ожидал нас, держа в руках оружие, напоминающее наши ружья. Он спросил моего руководителя, не хочу ли я дюжину жаворонков, потому что макаки (он думал, что я один из них) питаются этим мясом. Я едва успел ответить утвердительно, как раздался выстрел, и к нашим ногам упало двадцать или тридцать жареных жаворонков. «Вот, — тотчас же подумал я, — точь-в-точь как у нас говорится в пословице о стране, где падают с неба жареные жаворонки». Очевидно, эта пословица пошла от кого-нибудь, кто вернулся отсюда. «Вы можете прямо приняться за еду, — сказал мой демон, — они настолько изобретательны, что умеют примешивать к пороху и к свинцу какой-то состав, который сразу убивает, ошипывает, жарит дичь и приправляет ее». Я подобрал несколько жаворонков, попробовал их, как он мне советовал, и действительно, я во всей своей жизни никогда ничего не ел более вкусного. После этого завтрака мы стали собираться в путь. Наш хозяин с тысячью гримас, которые здесь делают, когда хотят выразить свою привязанность, принял от демона какую-то бумагу. Я спросил его, не обязательство ли это на уплату за наше содержание. Он отвечал, что нет, что он ничего хозяину не должен и что это стихи. «Как стихи? — спросил я. — Содержатели трактиров интересуются здесь рифмами?» «Стихи, — сказал он, — это ходячая монета страны, и расход, который мы здесь произвели, равен шестистистию, которое я ему и вручил. Я не боялся остаться у него в долгу, ибо если бы мы даже пировали здесь целую неделю, мы бы не израсходовали больше сонета, а у меня их четыре, кроме того, две эпиграммы, две оды и одна эклога». «Ах вот как, — подумал я, — это та самая монета, которой платят Гортензию во «Франсионе» Сореля. Он, без сомнения, отсюда это взял. Но от какого черта мог он это узнать? Вероятно, от матери, я слышал, что она была лунастиком». Я затем спросил своего демона, всегда ли бывает годна такая стихотворная монета и достаточно ли стихи для этого переписать. Он отвечал, что нет, и продолжал так: «Сочинив стихотворение, автор несет его в Монетный двор, где заседают присяжные поэты страны. Там эти официальные стихотворцы производят

испытание ваших произведений, и если будет признано, что они хорошей пробы, они оцениваются, но не всегда по твердой стоимости (т. е. сонет не всегда имеет стоимость сонета), а по достоинству вещи, таким образом здесь умирают с голоду только дураки, а умные люди всегда хорошо питаются». Я пришел от этих слов в совершенный восторг и восхищался мудрой политикой этой страны, а он продолжал: «Впрочем, здесь существуют люди, которые содержат гостиницы еще на совершенно других началах: когда вы выходите от них, они требуют от вас согласно стоимости расходов вексель на тот свет. Получив его, они заносят его в большую книгу, которую называют счетом бога. Запись гласит приблизительно так: «Item — цена стольких-то стихов, врученных такого-то числа такому-то, имеющая быть мне возмещенной богом при получении им векселя из первой же имеющейся в наличности суммы. Когда они чувствуют приближение смерти, они велят разрубить эти книги на мелкие куски, проглатывают их, считая, что если они не будут переварены, они не принесут никакой пользы».

Этот разговор не мешал нам продолжать наш путь, т. е. мой четвероногий возница шел подо мной, а я сидел верхом на нем. Я не буду останавливаться на разных приключениях, задерживавших нас в пути, который в конце концов привел нас к тому городу, где король имел свою резиденцию. Как только мы приехали, меня привели во дворец, где вельможи встретили меня с радостными восклицаниями, однако более сдержанными, чем встречал меня народ, когда я проходил по улицам. Но вельможи пришли относительно меня к тому же заключению, как и народ, т. е. что я, без сомнения, самка маленького животного королевы. Так объяснял дело мой гид, однако ему самому была непонятна эта загадка, и он не знал, что за животное было у королевы; вскоре все это разъяснилось, ибо через некоторое время король велел его привести. Полчаса спустя среди толпы обезьян, одетых в панталоны и широкие воротники, вошел небольшого роста человек, сложенный почти так же, как и я, ибо он ходил на двух ногах; как только он меня увидел, он тотчас же стал кричать: «*Criado de vuestra merced!*». Я отвечал на его приветствие почти в тех же выражениях. Но увы, когда они слышали, что мы разговаривали между собой, они еще более утвердились в своем предвзятом мнении, и это не

привело для нас ни к чему хорошему, ибо из всех присутствующих даже тот, кто горячее всех стоял за нас, утверждал, что наш разговор не что иное, как хрюканье, вызванное в нас естественным инстинктом и радостью, испытанной при свидании. Этот маленький человек рассказал мне, что он европеец, уроженец старой Кастильи, что он нашел средство при помощи птиц долететь до той Луны, на которой мы теперь находимся; что он попал в руки королевы, что она приняла его за обезьяну, потому что здешние жители по случайному совпадению одевают своих обезьян в костюм испанцев; что, увидя его одетым в такой костюм, королева не усомнилась в том, что он принадлежит к той же породе. «Надо думать,— возразил я,— что из всевозможных костюмов, которые они на них примеряли, они не нашли ни одного, который был бы смешней; поэтому они так и наряжают своих обезьян, которых держат только для забавы». «Ваши слова показывают,— сказал он,— что вам незнакомо достоинство нашей нации, ради которой вселенная производит человечество, чтобы снабжать нас рабами и в которой природой не создано ничего, что могло бы служить предметом насмешки». Он стал затем упрашивать меня рассказать ему, каким образом я решился подняться на Луну при помощи машины, о которой я ему говорил; я отвечал, что это произошло вследствие того, что он похитил птиц, на которых я собирался взлететь. Эта насмешка вызвала его улыбку, и приблизительно четверть часа спустя король велел сторожам обезьян увести нас, строго наказав им положить меня и испанца вместе для того, чтобы размножить наш род в его королевстве. Воля короля была исполнена в точности, чему я был очень рад, так как мне было приятно иметь около себя человека, с которым бы я мог разговаривать во время своего пребывания в заключении и на положении скотины. Однажды мой самец (меня принимали за самку) рассказал мне, что он объездил всю землю, но нигде не мог найти страны, где бы даже воображение могло быть свободно. Это и заставило его покинуть наш мир для Луны. «Видите ли,— сказал он,— если вы не носите четырехугольной шапочки, клобука или рясы и если ваши слова идут вразрез с принципами, которым учат эти суконные доктора, то, как бы умно вы ни говорили, вы все-таки идиот, сумасшедший или атеист. У меня на родине меня хотели посадить в тюрьму инкви-

зиции за то, что я утверждал в лицо педантам, что существует пустота и что ни одно вещество на свете не весит более другого вещества». Я спросил его, какие у него основания утверждать мнение, столь мало распространенное. «Для того чтобы понять это, нужно предположить, — сказал он, — что существует только один элемент; ибо хотя мы видим воду, землю, воздух и огонь в отдельности, однако нигде они не существуют в совершенно чистом виде, а всегда только в смешанном друг с другом. Когда, например, вы видите огонь, то знайте же, что это не огонь, а очень широко разлитый воздух; воздух не что иное, как сильно разреженная вода; вода — это растворенная земля, а земля — сильно сгущенная вода. Таким образом, если вы хорошенько вникните в то, что такое представляет из себя материя, вы познаете, что она едина, но что, как великолепная актриса, она только играет множество различных персонажей во всякого рода одеждах. Иначе пришлось бы допустить, что существует столько же элементов, сколько различных тел, и если вы меня спросите, почему огонь обжигает, а вода холодит, хотя это одна и та же материя, я вам отвечу, что материя действует по симпатии в зависимости от того, в каком она находится состоянии в ту минуту, когда действует. Огонь, который есть не что иное, как земля в еще более разреженном состоянии, чем в том, в котором она составляет воздух, стремится по симпатии превратить в состояние, подобное своему, все то, что встречается ему на пути. Таким образом тепло, заключающееся в угле, будучи огнем самого тонкого свойства и наиболее способным проникать всякие тела, пробивается сквозь поры нашей кожи и сперва расширяет наше тело, так как это уже новая материя, нас проникающая, а затем выделяется из нее в виде пота; пот, расширяясь под влиянием огня, превращается в пар и становится воздухом; воздух, еще более нагретый и расплавленный жаром антиперистаза или светил, его окружающих, называется огнем; частицы же земли, покинутые холодом и влагой, которые связывали части вашего тела, распадаются в прах. Вода, с другой стороны, хотя она и отличается от огня только тем, что более сжата, не жжет нас потому, что сама, будучи в более сжатом состоянии, по симпатии стремится к тому, чтобы привести в еще более сжатое состояние поднимающиеся ей навстречу тела; холод же, который мы ощущаем, не что

инное, как съезживание нашего тела под влиянием соприкосновения с землей или водой, которые заставляют его им уподобляться. Этим объясняется, почему больные водянкой превращают в воду пищу, которую они принимают, почему больные желчью превращают в желчь всю ту кровь, которая образуется в печени. Итак, если предположить, что существует один только элемент, не подлежит никакому сомнению, что все тела, каждое в зависимости от своих свойств, одинаково притягиваются к центру Земли.

Но вы меня спросите, почему же железо, металлы, земля, дерево скорее падают к этому центру, чем губка, не потому ли, что она наполнена воздухом, который естественно стремится кверху? Причина этого совсем не та, и вот как я вам отвечу: хотя скала падает с большей быстротой, чем перо, однако и скала и перо имеют одинаковую склонность к этому путешествию; но пушечный снаряд, например, если бы он нашел в земле отверстие насквозь, устремился бы к центру с большей быстротой, чем пузырь, наполненный воздухом. Это происходит потому, что эта масса металла содержит в себе большое количество земли, сосредоточенное на маленьком пространстве, а воздух в пузыре содержит в себе очень малое количество земли на большом пространстве, ибо частицы материи, составляющие железо, взаимным своим сцеплением увеличивают свою силу, и так как они очень сжаты, их оказывается много для борьбы против немногих, объем же воздуха, по величине своей равный снаряду, не равен ему по количеству своих частиц, которые под натиском более многочисленных, чем они, и столь же торопливых, уступают им дорогу. Не пытаясь доказывать этого целым рядом доводов, ограничусь тем, что спрошу вас, каким же образом сабля, пика, кинжал могут нас ранить? Не потому ли, что сталь — такое вещество, частицы которого теснее примыкают друг к другу и глубже друг друга проникают, нежели частицы вашего тела; мягкость его и имеющиеся в нем поры показывают, что оно заключает в себе очень мало земли, расположенной притом на очень большом пространстве; железное же острие, прокалывающее нас, состоит из бесчисленного множества частиц материи, направленных против очень небольшого количества материи нашего тела; оно заставляет последнюю уступать под напором силы, точно так же, как тесно

сомкнутый эскадрон легко прорывает ряды менее сомкнутого батальона, рассеянного притом на большом пространстве. И почему стальная плита, добела раскаленная, горячее, чем горящий ствол дерева? Не потому ли, что в стали на малом пространстве сосредоточено больше огня, проникающего каждую частицу металла, чем в дереве, которое, будучи ноздреватым, заключает в себе много пустоты; пустота же есть отсутствие бытия, потому она не может принять формы огня. Но, возразите вы мне, вы говорите о пустоте, как будто считаете ее существование доказанным, а именно об этом-то мы и спорим. Ну так я вам докажу ее существование, и хотя это так же трудно, как развязать гордиев узел, однако руки достаточно сильны, чтобы стать в этом случае Александром.

Пусть же ответит мне тот пошлый дурак, который думает, что он человек только потому, что ему было так сказано! Если предположить, что существует только одна материя, как я, кажется, достаточно убедительно это доказал, как же может быть, чтобы она по собственному желанию расширялась или сжималась? Почему комок земли, все более и более сжимаясь, превратился в камень? Неужели же частицы этого камня проникли одна в другую так, что там, где торчит одна песчинка, там же, т. е. в той же точке, торчит и другая песчинка? Этого не может быть по самому существу материи, так как тела непроницаемы друг для друга. Чтобы это могло случиться, нужно, чтобы материя сжалась, если хотите, чтобы она сократилась и, таким образом, чтобы заполнилось то пустое пространство в ней самой, которое раньше было не заполнено.

Вы скажете: непонятно, чтобы в мире была пустота и чтобы мы сами отчасти состояли из пустоты. А почему же нет? Разве весь мир не окружен пустотой? Если вы признаете это, сознайтесь, что одинаково естественно предположить, что мир имеет пустоту в себе, как и вне и вокруг себя. Я предвижу, что вы меня спросите: почему вода, сжатая в сосуде в виде льда, разрывает этот сосуд, разве не для того, чтобы помешать образованию пустоты? Я же отвечу вам, что это происходит только потому, что воздух, который находится вверху и точно так же, как земля и вода, устремляется к центру, встречает на своем прямом пути пустую гостиницу и размещается в ней; если окажется, что поры этого сосуда, т. е. дороги, ведущие

в пустую комнату, слишком узки, слишком длинны или слишком искривлены, он разбивает сосуд, чтобы удовлетворить своему нетерпению и скорей добраться до жилья.

Не останавливаясь на всех их возражениях, я смею утверждать, что не будь пустоты, не было бы движения, иначе пришлось бы признать проницаемость тел. Смешно было бы думать, что когда муха крылом своим отталкивает частицу воздуха, эта частица отодвигает перед собой другую, эта другая — третью, так что в конце концов движение пальца мушиной ноги вызывает горб по ту сторону вселенной. Когда им уже нечего сказать, они прибегают к выводу о разрежении воздуха, но, говоря по чести, как может это быть, чтобы при разрежении тела, когда одна частица его отделяется от другой, между этими частицами не оставалось пустого пространства? Ведь иначе нужно бы было, чтобы отделившиеся друг от друга тела находились в одно и то же время на том же месте, где было и это третье тело, т. е. чтобы эти все три тела проникали друг друга. Я предвижу, что вы меня спросите: каким же образом возможно при помощи трубы, насоса или спринцовки заставить воду подниматься в направлении, противоположном ее естественному устремлению? Я вам отвечу, что она это делает поневоле; не страх пустоты заставляет ее свернуть с пути, но, соединившись незаметным образом с воздухом, она поднимается кверху вместе с тем воздухом, который ее охватывает.

Это вовсе не так трудно понять тому, кому известно тончайшее переплетение элементов и законченный круг, который они совершают. Если вы внимательно рассмотрите тот ил, который образуется от соединения земли и воды, вы увидите, что это уже не вода и не земля, но что это некоторый посредник при договоре между этими двумя враждующими сторонами. Ведь вода и воздух, ради того чтобы установить между собою мир, взаимно посылают друг другу туман, проникающий в самую сущность того и другого; воздух мирится с огнем при посредстве испарений, служащих между ними связью, объединяющих их».

Думаю, что он хотел продолжать свою речь, но нам принесли наш корм, и так как я был голоден, то я закрыл свои уши и открыл желудок для принятия тех яств, которые нам предлагали.

Помню, как-то в другой раз, когда мы философствовали, ибо ни тот ни другой из нас не любил вести разговор на низкие темы, он мне сказал: «Меня очень огорчает, когда я вижу, что ум такого высокого калибра, как ваш, заражен заблуждениями невежественной толпы. Так знайте же, что вопреки педанту Аристотелю, мнение которого повторяет вся Франция без различия классов, все есть во всем, т. е. в воде, например, есть огонь, в огне — вода; в воздухе есть земля, а в земле есть воздух. Хотя такие слова заставляют ученых таращить глаза, как солонки, однако легче это доказать, чем в этом убедить. Я прежде всего их спрошу, не родит ли вода рыбу, и если они будут это отрицать, я им скажу: выройте канаву, наполните ее из кувшина водой, которую пропустите сквозь сито для муки, чтобы оградить себя от возражений со стороны слепцов, и если через некоторое время в канаве не появится рыба, я готов выпить всю воду, которую туда вылили; если же рыба там окажется, в чем я не сомневаюсь, это будет убедительным доказательством того, что в воде есть соль и огонь. Найти после этого воду в огне уже нетрудное дело. Если даже выбрать форму огня, наиболее свободную от материи, как, например, комету, то и в этом огне все-таки будет много материи; ибо если бы то маслянистое вещество, которое порождает огонь, превращенное в серу жаром антиперистаза, зажигающего его, не встречало препятствий своему порыву со стороны влажной прохлады, умеряющей этот порыв и борющейся против него, комета сторела бы в одно мгновение наподобие молнии. Дальше, что в земле есть воздух, они никак не могут отрицать, или же они никогда не слыхали о страшных содроганиях, которые потрясают горы в Сицилии. Кроме того, мы видим, что вся земля пориста, вплоть до песчинок, из которых она состоит. Однако никогда никто не утверждал, что эти поры заполнены пустотой, и вы легко согласитесь с тем, что воздух мог устроить себе там жилье. Мне остается доказать, что в воздухе есть земля. Но я не хочу даже давать себе этого труда, так как вы убеждаетесь в этом всякий раз, как на нашу голову падают legionы атомов, столь многочисленных, что в них теряется сама арифметика. Но перейдем от простых тел к сложным; примеры, относящиеся к самым обыденным предметам, помогут мне доказать вам, что во всем есть все и не так, чтобы одно тело превраща-

лось в другое, как об этом щебечут ваши перипатетики, ибо я утверждаю им в лицо, что элементы смешиваются, разделяются и вновь смешиваются, так что то, что было сотворено мудрым создателем мира как вода, всегда остается водой; я не утверждаю, как они это делают, ни одного положения, которое я не мог бы доказать.

Итак, возьмите, пожалуйста, полено или какое-либо другое сгораемое вещество и зажгите его; когда оно запылает, ваши ученые скажут, что то, что было деревом, стало огнем. Я же утверждаю, что и тогда, когда все полено пылает, в нем не больше огня, чем до того, как к нему поднесли спичку, но что в нем все тот же огонь, который раньше заключался в нем в скрытом виде и которому мешали проявиться холод и влага; когда же на помощь этому огню пришло пламя, поднесенное со стороны, то он собрал все свои силы и направил их против того застоя, который его душил, и овладел пространством, занятым его врагом, — теперь уже нет ему препятствий и он торжествует над своим тюремщиком. Разве вы не видите, как из обоих концов полена выбегает вода, еще горячая и пылающая от только что выдержанного ею боя? Пламя, которое вы видите сверху, — это огонь, самый тончайший, более всего свободный от материи и потому скорей всего готовый вернуться на свое прежнее место. Он, впрочем, поднимается на некоторую высоту пирамиды, чтобы прорвать вплотную влажность воздуха, который ему сопротивляется; но так как огонь, по мере того как поднимается, все более и более освобождается от враждебных ему прежних своих хозяев, он наконец пускается в открытый путь, не встречая никаких препятствий; однако это легкомыслие часто является для него причиной нового заключения, ибо на своем одиноком пути он иногда заблуждается и попадает в облака. Если он встретит там еще много других огней, то они объединятся, чтобы вместе противостоять окружающим их испарениям, и тогда они разразятся громом и смерть невинных людей бывает последствием грозного гнева этих мертвых элементов. Если же, оцепенев от холода в средних поясах воздуха, он уже не будет иметь достаточно силы, чтобы защищаться, он отдаст себя во власть туче, которая вследствие своей тяжести должна упасть на землю и увлечь с собой своего пленника; тогда этот несчастный, заключенный в капле воды, может быть, очутится у подножия дуба, живитель-

ный огонь которого привлечет к себе бедного странника и пригласит его поселиться с ним; таким образом он возвратится к тому же состоянию, из которого вышел за несколько дней перед тем.

Но посмотрим теперь, какова судьба других элементов, из которых состоит это полено. Воздух возвращается на свое место, хотя он все еще смешан с парами, потому что огонь в гневном своем грубо смешал их. Он служит ветру раздувательным мехом, дает дыхание животным, наполняет пустоту, которую образует природа, и, может быть, окутанный в каплю росы, он будет впитан и переварен жаждущими влаги листьями того дерева, куда удалился наш огонь. Вода, которую пламя выгнало из этого ствола, поднятая теплом до небесного стола, падет вновь дождем на наш дуб, так же как и на другие деревья, а земля, обратившись в золу, исцеленная от бесплодия теплом кучи навоза, куда ее бросили, или же растительной солью какого-нибудь соседнего дерева, или же плодородною водою рек, может быть, тоже очутится около того же дуба, который притянет ее и превратит в часть своего целого.

Таким образом, все эти четыре элемента постигнет одинаковая судьба, и они возвращаются в то же состояние, из которого вышли за несколько дней перед тем. Ввиду этого можно сказать, что в человеке есть все что нужно, чтобы образовать дерево, а в дереве все что нужно, чтобы образовать человека. Наконец, таким образом, все есть во всем, но нам не хватает Прометея, который извлек бы из недр природы и сделал бы для нас осязательным то, что я называю первичным веществом.

Вот приблизительно те беседы, в которых мы проводили время, ибо у этого маленького испанца был привлекательный ум. Мы, однако, беседовали только по ночам, потому что с шести часов утра и до вечера нам мешала огромная толпа народа, которая приходила на нас смотреть. Некоторые бросали нам камни, другие орехи, третьи траву. Только и было разговоров, что о животных короля. Нас каждый день кормили в определенные часы, и король и королева часто брали на себя труд ощупывать мне живот, чтобы посмотреть, не наполняется ли он, ибо они сгорали желанием положить начало роду этих маленьких животных. Потому ли, что я был более внимателен к издаваемым ими звукам и к их гримасам, чем мой

самец, но я раньше его научился понимать их язык и с грехом пополам его коверкал; вследствие этого на нас стали смотреть иначе, чем до тех пор, и тотчас же по всему королевству распространился слух, что появилось двое диких людей, меньшего роста, чем остальные, вследствие дурного питания, доставленного им природой, и передние ноги которых вследствие изъяна в семени отца были недостаточно сильны, чтобы они могли на них опираться. Это мнение стало распространяться и даже укрепляться, если бы этому не воспрепятствовали жрецы той страны; они говорили, что верить в то, что не только животные, но и чудовища принадлежат к той же породе, как и они,— это ужасающее нечестие. Было бы гораздо естественнее думать, прибавляли наименее страстные из них, что домашним животным, родившимся в нашей стране, дано участвовать в привилегиях, дарованных человеку, а следовательно, и в бессмертии, скорее, чем какому-то чудовищному зверю, который утверждает, что родился где-то на Луне. «А затем обратите внимание на то, какая разница между ними и нами. Мы ходим на четырех ногах, ибо бог не хотел доверить столь драгоценный сосуд менее устойчивому положению и побоялся, что если человек будет ходить иначе, с ним случится несчастье; вот почему он взял на себя труд утвердить его на четырех столбах, дабы он не мог упасть. Строением этих двух скотов он пренебрег и предоставил его игре природы, которая, не беспокоясь о возможной гибели такого ничтожества, утвердила его только на двух ногах».

«Даже птицы,— говорили они,— не так обделены, как обделены они, так как получили перья взамен слабости своих ног, для того чтобы взлететь на воздух, когда мы прогоним их от себя; тогда как природа, отняв две ноги у этих уродов, отняла у них возможность бежать, чтобы спастись от нашего правосудия.

Обратите также внимание на то, как у них голова обращена к небу. Ведь она так поставлена вследствие той скудости, с которой бог оделил их во всем, ибо это умоляющее их положение показывает, что они жалуются небу на своего создателя и умоляют его позволить им воспользоваться теми отбросами, которые остаются после нас. А посмотрите на нас, мы совсем другое дело: у нас голова склоняется книзу, чтобы мы могли созерцать те блага, которыми мы владеем, и еще потому, что на небе

нет ничего, чему бы мы могли в нашем счастье завидовать».

Каждый день я слышал в своей конуре, как жрецы рассказывали эти басни или другие, им подобные; они так хорошо овладели умами населения по этому вопросу, что было постановлено считать меня в лучшем случае попугаем без перьев, и тех, кто уже был в этом убежден, они продолжали убеждать в том, что, как и у птицы, у меня только две ноги. Все это кончилось тем, что меня посадили в клетку по чрезвычайному приказу Верховного совета.

Ко мне ежедневно приходил птицелов королевы, на которого была возложена обязанность учить меня насвистывать, наподобие того как здесь учат снегирей; в клетке я был, по правде сказать, счастлив, потому что у меня не было недостатка в корме. Между тем, прислушиваясь к той чепухе, которую несли люди, приходившие на меня смотреть, и от которой у меня уши вяли, я научился говорить, как и они. Когда я достаточно напрактиковался и научился выражать на их языке большинство своих мыслей, я принялся им рассказывать всякие небылицы. В обществе только и было речи, что о прелести моих остроумий и о моем уме. Дело дошло до того, что жрецы были принуждены опубликовать декрет, по которому запрещалось верить, что у меня есть разум; в то же время был издан очень строгий приказ, относившийся одинаково ко всему населению без различия звания и положения, на основании которого все умные мои поступки должны были быть приписаны инстинкту.

Между тем вопрос о том, что же я в конце концов и как определить мою сущность, разделил город на две партии. Партия, стоявшая за меня, росла со дня на день, и наконец, несмотря на все анафемы, которыми жрецы старались утратить народ, мои приверженцы стали требовать собрания штатов, чтобы разрешить этот религиозный спор. Долго не могли договориться относительно того, кто будет иметь право голоса, но третейский суд примирил враждующих, уравнив число заинтересованных лиц обеих сторон. Меня, трепещущего, отвели в зал суда, где со мной обращались так сурово, как только возможно себе представить. Экзаменаторы стали, между прочим, ставить мне вопросы по философии, я совершенно чисто-сердечно рассказал им то, чему научили меня мои учите-

ля; но им не стоило ни времени, ни труда опровергнуть все это очень убедительными доводами. Когда я уже совершенно не знал, что им возражать, я прибегнул как к последнему оплоту к Аристотелю, однако его принципы так же мало помогли мне, как и софизмы, ибо они в двух словах раскрыли мне всю ложность их. Этот Аристотель, говорили мне, ученость которого вы так превозносите, очевидно, прилаживал свою философию к принципам, вместо того чтобы выводить принципы из философии; во всяком случае, он должен был бы прежде всего доказать, что его принципы более разумны, чем принципы других сект, о которых вы нам рассказывали. А потому пусть этот господин остается в покое. В конце концов они убедились, что ничего другого они от меня не услышат, как только то, что они не более учены, чем Аристотель, и что мне запрещено спорить против тех, кто отрицает его принципы, и единогласно вынесли решение, что я не человек, но, быть может, порода страуса, ввиду того, что, как и страус, я держу голову кверху, хожу на двух ногах; после этого птицелову было приказано вновь отвести меня в клетку. Я проводил там время довольно приятно, так как вполне усвоил их язык, и болтовней моей забавлялся весь двор, а прислужницы королевы, между прочим, всегда совали какие-нибудь остатки в мою корзину, та же из них, которая была милее других, прониклась ко мне любовью и приходила в величайший восторг, когда я, сидя в заключении, рассказывал ей о нравах и развлечениях людей нашего света, особенно же о наших колоколах и других музыкальных инструментах, она со слезами на глазах уверяла меня, что если когда-либо я буду иметь возможность полететь и вернуться в наш мир, она охотно последует за мной.

Однажды рано утром я был разбужен неожиданным шумом и увидел, что она постукивает по решетке моей клетки. «Радуйтесь, — сказала она, — вчера в совете было решено объявить войну великому королю. ~~Итак~~ Я надеюсь, что во время суматохи военных приготовлений и во время отсутствия нашего монарха и его подданных мне удастся устроить так, дабы вас спасти». «Как война? — прервал я ее. — Разве между королями вашего мира возникают такие же споры, как между нашими? Вот как! Так, пожалуйста, расскажите мне, как же они ведут войну». «Третейский суд, — отвечала она, — избранный с согла-

сия обеих сторон, определяет время, которое предоставляется для вооружения, и время, назначенное для похода, а также число людей, которые должны участвовать в сражении, наконец, день и место боя, и все это с таким расчетом уравниения сил враждующих сторон, чтобы ни в той, ни в другой армии не было ни одного лишнего человека. Кроме того, все искалеченные солдаты с своей стороны набираются в отдельные роты. Приступая к бою, предводители принимают меры к тому, чтобы выставить искалеченных тоже против искалеченных, с другой стороны во главе великанов идут колоссы, во главе фехтовальщиков ловкачи, во главе доблестных отважные, во главе немощных слабые, во главе нездоровых больные, во главе крепких сильные, и если кому-нибудь вздумается ударить другого, а не указанного ему врага, он осуждается как трус, если только не будет доказано, что это произошло по ошибке. По окончании сражения подсчитывают раненых, убитых, плененных; что касается беглецов, то их не бывает; если потери обеих сторон равны, то бросают жребий и по вытянутой соломинке решают, кому объявить себя победителем.

Но даже в том случае, если одно государство разобьет своего противника в честном бою, это ничего еще не значит, ибо есть еще другие, более многочисленные армии ученых и умных людей и от диспутов между ними окончательно зависит торжество или порабощение государств.

Один ученый противопоставится другому ученому, один умный человек — другому умному человеку, один рассудительный человек — другому. Впрочем, торжество одного государства над другим в этой области считается за три победы, одержанные открытой силой. После провозглашения победителей собрание закрывается и народ-победитель избирает своим королем или своего собственного короля, или короля своих врагов».

Я не мог не рассмеяться этому совестливому способу вести войну; и в пример гораздо более сильной политики я стал приводить обычай государств нашей Европы, где монарх тщательно заботится о том, чтобы не упустить ни малейшего из своих преимуществ для достижения победы; и вот как она мне отвечала:

«Скажите мне, пожалуйста, не ссылаются ли ваши короли на свое право, когда вооружают свою военную силу?» «Конечно, — отвечал я, — а также и на правоту своего

дела». «Почему же они не изберут третейский суд, которому доверяют и который мог бы их примирить? Если же окажется, что права этих королей равны, почему они не поставят город или провинцию, о которой спорят, на ставку случайного хода игры в пикет? Между тем они допускают, что пробиваются головы четырем миллионам людей, которые стоят гораздо больше, чем они, в то время как сами сидят у себя в кабинетах, посмеиваются, рассуждая об обстоятельствах, при которых происходит избивание этих простаков; однако не следует мне порицать доблесть ваших добрых собратьев; надо же им умирать за родину. Дело такое важное: быть вассалом короля, который носит широкий воротник, или того, который носит брыжи».

«Но зачем вам нужны все эти осложнения в ведении сражения? Не достаточно ли того, чтобы в армиях было одинаковое количество людей?» «Вы рассуждаете очень необдуманно, — отвечала она. — Можете ли вы, победив своего врага в поле один на один, по чести сказать, что вы победили его в честном бою, если на вас была броня, а на нем нет, если он был вооружен только кинжалом, а вы шпагой, наконец, если у него была только одна рука, а у вас две? В то же время со всем тем равенством, которое вы предписываете вашим гладиаторам, они никогда не бывают равны в бою; один высокого, другой маленького роста; один ловок, другой никогда не держал в руках шпаги; один силен, другой слаб, и хотя бы даже между ними не было неравенства в этих отношениях и один был бы так же силен и так же ловок, как и другой, все же они никогда не будут равны, ибо один из них может быть храбрее другого хотя бы потому, что эта скотина не признает опасности, потому что он желчен, потому что в нем сильнее играет кровь, потому что сердце у него более крепкое, одним словом, потому что он обладает всеми теми качествами, которые создают храбрость, как будто это не такое же орудие, как шпага, которой нет у врага. И вот он осмеливается без оглядки броситься на него, пугает его и отнимает жизнь у этого несчастного, который предвидит опасность, пыл которого заглушен его жиром и сердце которого слишком обширно, чтобы собрать воедино дух, необходимый для того, чтобы пробить лед, именуемый трусостью. Вы хвалите этого человека за то, что он убил своего врага, одержав над ним победу, и, вос-

хвалая его храбрость, вы хвалите его за противоестественный грех, ибо его отвага ведет к разрушению.

По этом поводу я вам скажу, что несколько лет тому назад военному совету было сделано замечание и предъявлено требование ввести для сражений регламент более добросовестный и более тщательно обдуманный. Философ, который по этому поводу высказывал свое мнение, говорил так:

«Вы воображаете, господа, что уравнили преимущества вражеских сторон, когда выбрали обоих противников рослыми, проворными и храбрыми; но этого недостаточно для того, чтобы победить, нужны еще ловкость, сила и счастье. Если один из противников побеждает ловкостью, это значит, что он ударил своего врага туда, куда тот не ожидал, или скорее, чем можно было ожидать; или же, делая вид, что он нападает с одной стороны, он ударил его с другой; все это значит хитрить, обманывать, изменять, а обман и измена не достойны поистине благородного человека. Если человек восторжествовал над своим врагом благодаря своей силе, будете ли вы считать, что его враг побежден, раз над ним произведено было насилие? Конечно, нет, точно так же как вы не скажете, что человек был побежден, если на него свалилась гора и он не мог одержать над ней победы. Точно так же и нельзя сказать, что и этого человека одолел враг, потому что он в эту минуту не был в таком состоянии, что мог противостоять напору своего противника.

Если тот случайно поверг во прах своего врага, придется восхвалять судьбу, а не его, он сам тут ни при чем; наконец, побежденный не более достоин порицания, чем игрок в кости, который сам выкидывает семнадцать очков, тогда как его противник выкидывает восемнадцать».

Они признали, что он прав, но считали в то же время, что человеческому разумению, по-видимому, нет возможности внести в это дело полную справедливость и что лучше мириться с одним небольшим злом, чем терпеть сотню других, более значительных».

На этот раз она больше со мной не разговаривала, потому что боялась, как бы ее не застали вдвоем со мной так рано поутру. Не то чтобы в этой стране нецеломудренность считалась преступлением, наоборот, за исключением осужденных преступников, всякий мужчина име-

ет здесь власть над всякой женщиной, точно так же как всякая женщина может призвать к суду мужчину, который бы отказался от нее. Но она не решалась открыто посещать меня, потому что в последнем заседании Совета было высказано мнение, что главным образом женщины всюду кричат, что я человек, чтобы прикрыть под этим предлогом страстное свое желание соединиться со скотом и без стыда совершить со мной противоестественное преступление. Ввиду этого я ее долго не видел и не только ее, но ни одну из других женщин.

Однако, по-видимому, кто-то продолжал подогревать споры, касающиеся определения сущности моего существа, ибо в то время, когда я уже стал думать только о том, чтобы умереть в своей клетке, за мной еще раз прислали, чтобы сделать мне допрос. В присутствии множества придворных мне ставили вопросы, касающиеся физики, и мои ответы, поскольку я мог судить, не удовлетворили никого из них, ибо председательствующий очень внушительным тоном стал высказывать мне свою точку зрения на строение мира; его мысли показались мне остроумными, пока он не коснулся вопроса о начале мира, который он считал вечным и находил, что его философия гораздо более разумна, чем наша. Но как только я услышал, что он утверждает идею, столь противоречащую тому, чему учит нас вера, я его спросил, что он может противопоставить авторитету такого великого патриарха, как Моисей, который определенно сказал, что бог создал мир в шесть дней. В ответ на это этот невежда только рассмеялся, тогда я не выдержал и сказал ему, что если до того дошло, то я опять начну верить, что их мир не больше как луна. «Но, — сказали они все, — вы же видите на ней землю, реки, моря; что же все это может быть?» «Это ничего не значит, — отвечал я. — Аристотель утверждает, что это только Луна; если бы вы стали это опровергать в тех школах, где я учился, вас бы освистали». Тут они разразились громким смехом. Нечего и говорить, что это произошло от их невежества, тем не менее меня отвели в мою клетку. Когда жрецы узнали, что я смею говорить, что та Луна, откуда я явился, есть мир, а их мир только Луна, они увидели в этих словах достаточно справедливый предлог, чтобы присудить меня к воде: это их способ истреблять безбожников. С этой целью они в полном составе подали жалобу королю; он обещал им правый суд и приказал

вновь посадить меня на скамью подсудимых. И вот в третий раз меня вывели из клетки. Слово взял старейший из жрецов, который стал меня обвинять. Я совершенно не помню его речи, так как я был слишком испуган, чтобы по порядку воспринимать звуки его голоса, а также и потому, что для произнесения этой речи он пользовался инструментом, шум которого меня оглушал: это была труба, которую он выбрал нарочно для того, чтобы этими мощными воинственными звуками возбудить страсти и настроить судей на казнь, вызывая в них чувства, которые помешали бы рассудку исполнить свое дело, подобно тому, как это происходит в наших войсках, где трубные звуки и барабанный бой мешают солдатам размышлять о значении своей жизни. Когда старейший кончил говорить, я встал, чтобы произнести речь в свою защиту, но был избавлен от этого происшествием, которое я вам сейчас расскажу. Едва я успел открыть рот, как человек, с большим трудом пробравшийся сквозь толпу, пал к ногам короля и долго лежал на спине перед ним. Этот образ действий меня не удивил, ибо я знал, что они принимают эту позу тогда, когда хотят говорить публично. Я вложил в ножны свою собственную речь, и вот та, которую мы услышали от него:

«Судьи праведные, выслушайте меня! Вы не можете осудить этого человека, эту обезьяну или этого попугая за то, что он говорил, будто Луна — это тот мир, откуда он явился; ибо если он человек и если бы он даже не явился с Луны, раз человек вообще свободен, не свободен ли он также воображать себе, что ему вздумается? Как? Разве вы можете его заставить видеть то, что вы видите? Вы можете его заставить говорить, что Луна не мир, но он все-таки этому не поверит; ибо для того, чтобы он мог чему-нибудь поверить, нужно, чтобы его воображению представились некоторые доводы, и больше доводов за, чем против; и если вы не доставите ему таких правдоподобных доводов, или если они сами по себе не придут ему в голову, он хотя и скажет вам, что верит вам, однако это не значит, что он действительно поверит.

Теперь я докажу вам, что он не должен быть осужден, если вы отнесете его к категории зверей. Ибо, предположив, что он животное, лишенное разума, было ли бы с вашей стороны разумно обвинить его за то, что он согрешил против разума? Он говорит, что Луна — это мир;

но ведь животные действуют только по инстинкту, которым одарила его природа. Следовательно, через него говорит природа, а не он сам. Было бы крайне смешно думать, что эта мудрая природа, которая сотворила мир и Луну, не знает, что такое она сама, и что вы, которые свои знания имеете от нее, понимаете что-либо лучше, чем она сама. Но если бы даже страсть заставила вас отказаться от основных ваших убеждений и вы бы предположили, что природа не руководит животными, вы по крайней мере должны были бы покраснеть от стыда за те страхи, которые вам причиняют причуды этого животного. Действительно, господа, если бы вы встретили человека зрелого возраста, который следил бы за порядком в муравейнике, исполнял там роль полицейского, то давая пощечину муравью, который свалил свою ношу, то сажая в тюрьму того, который похитил хлебное зерно у своего соседа, то отдавая под суд того, кто покинул свои яйца, не сочли ли бы вы такого человека безумцем за то, что он заботится о вещах, стоящих настолько ниже его, и за то, что он хочет подчинить разумным требованиям животных, разумом не обладающих. Чем же, почтенное собрание, можете вы оправдать интерес, который в вас возбуждают причуды этого маленького животного? Судьи праведные, я сказал».

Как только он произнес эти слова, громкие и мелодические аплодисменты наполнили залу. После того в течение очень долгого времени обсуждались мнения присутствующих; наконец король вынес такое постановление: отныне я буду почитаться человеком, как таковому мне будет предоставлена свобода, и казнь посредством потопления будет заменена позорным наказанием (ибо в этой стране нет почетных наказаний). Это наказание должно было состоять в публичном покаянии с моей стороны; я должен был отречься от того, что когда-либо утверждал, что Луна есть мир, ввиду той смуты, которую это новшество могло внести в слабые умы. После того как был вынесен этот приговор, меня вывели из дворца; ради большего позора меня облекли в роскошную одежду, возвели на высокое седалище великолепной колесницы; колесницу везли четыре принца, на которых надели ярмо, и вот что заставили меня провозгласить на всех перекрестках города.

«Народ, объявляю тебе, что эта Луна не Луна, а мир; что этот мир не мир, а Луна, вот во что ты должен верить по воле жрецов». После того как я прокричал это на пяти главных площадях города, я увидел своего адвоката, который протягивал мне руки, чтобы помочь мне сойти с колесницы. Я был очень удивлен, когда, взглядевшись в него, узнал в нем своего демона. Целый час мы обнимались. «Пойдемте же ко мне,— сказал он,— ибо если вы вернетесь ко двору после постыдного наказания, на вас посмотрят косо. Впрочем, я должен вам сказать, что вы продолжали бы жить среди обезьян, как вы, так и испанец, ваш товарищ, если бы я всюду не расхваливал во всеуслышание остроуту и силу вашего ума и не добивался бы в вашу пользу покровительства знатных против пророков». Мы уже подходили к его жилищу, а я все еще продолжал изливать ему свою благодарность. До самого ужина он мне рассказывал о тех пружинах, которые он пустил в ход, чтобы заставить жрецов выслушать его, несмотря на все доводы, которыми они обольщали народ. Мы сидели перед пылающим огнем, так как время года было холодное, и он, вероятно, хотел продолжать рассказ о том, что он сделал, пока я его не видел, но нам пришлось сказать, что ужин готов; тут он мне сообщил, что пригласил на следующий вечер двух профессоров из академии этого города, которые и должны были ужинать с нами. «Я наведу их на разговор о той философии, которую они преподают в этом мире,— прибавил он.— Вы, кстати, увидите сына моего хозяина. Этот молодой человек так умен, что я не встречал ему равного, он был бы вторым Сократом, если бы умел пользоваться своими знаниями и не топил бы в пороке те дары, которыми господь бог его непрестанно осыпает, и не прикидывался бы безбожником из какого-то тщеславия и желания прослыть умным человеком. Я поселился здесь, чтобы пользоваться всяким удобным случаем на него воздействовать».

Он замолк как бы для того, чтобы предоставить и мне свободу поговорить, затем он подал знак, чтобы с меня сняли позорный наряд, в котором я все еще красовался.

Почти тотчас после этого вошли те два профессора, которых мы ждали, и мы все четверо пошли в комнату, где был приготовлен ужин и где мы застали молодого человека, о котором мне говорил мой демон. Он уже принялся за еду. Профессора низко ему поклонились и вооб-

ще оказывали ему такой же почет, как рабы своему господину. Я спросил своего демона, почему это так делается, и он мне отвечал, что причина тому его возраст, так как в этом мире старики оказывают всякого рода уважение и почтение молодым и, более того, родители повинуются детям, как только те, согласно постановлению сената философов, достигают разумного возраста. «Вы удивляетесь,— продолжал он,— обычаю, столь противоречащему обычаям вашей страны? Однако это не противоречит здравому смыслу, ибо по совести скажите, когда человек молодой и горячий уже может думать, рассуждать и действовать, не более ли он способен управлять семьей, чем шестидесятилетний дряхлый старик, несчастный безумец, с воображением, застывшим под снегами шестидесяти зим, который в своем поведении руководится тем, что вы называете опытом прежних успехов. Между тем эти успехи не что иное, как простая случайность, возникшая вопреки всяким правилам экономии и благоразумия. Что касается здравого смысла, у старика тоже его немного, хотя толпа в вашем мире считает его принадлежностью старости. Но в этом легко разубедиться; нужно только знать, что то, что в старике называется благоразумием, это не что иное, как панический страх, которым он одержим, и безумная боязнь что-либо предпринять. Поэтому если он не рискнул пойти навстречу какой-нибудь опасности, от которой погиб более молодой человек, это не потому, что он предвидел катастрофу, но потому, что в нем не хватало огня, чтобы зажечь эти благородные порывы, которые делают нас дерзновенными, между тем как удалство молодого человека являлось как бы залогом успеха его предприятия, ибо его побуждал к действию тот пыл, от которого зависят и быстрота и легкость выполнения всякого дела. Что касается вопроса о действии, то я бы недооценивал ваш ум, если бы стал пытаться вам это доказать. Вы знаете, что только молодость способна к действию, а если вы не совсем в этом убеждены, скажите мне, пожалуйста, не за то ли вы уважаете смелого человека, что он может отмстить за вас вашим врагам или тем, кто вас притесняет; а по какому соображению, как не по простой привычке, вы будете его уважать, если батальон из семидесяти январей заморозил его кровь и поразил холодом все благородные порывы к справедливости, которые разжигают сердце молодого человека. Вы оказываете по-

чтение сильному не потому ли, что у него есть перед вами обязательство одержать победу, которую вы не можете у него оспаривать? Зачем же подчиняться старику, когда лень размягчила его мускулы, ослабели его жилы, когда испарился его ум и высох мозг его костей? Если вы поклоняетесь женщине, то не за ее ли красоту? Зачем же продолжать ей поклоняться после того, как старость превратила ее в отвратительный призрак, напоминающий живым только о смерти? Наконец, вы любили умного человека не за то ли, что благодаря живости своего ума он разбирался в сложном деле и распутывал его, забавляя своим остроумием общество самого высокого качества; не за то ли, что одним порывом мысли он охватывал всю науку и что страстное желание походить на него наполняло всякую прекрасную душу? Между тем вы продолжаете оказывать ему почет и тогда, когда его прекрасные органы сделали его слабоумным, тяжеловесным, скучным в обществе и когда он более похож на фигуру божества покровителя очага, чем на здравомыслящего человека. Сделайте отсюда тот вывод, мой сын, что лучше, чтобы управление семьей было возложено на молодых людей, а не на стариков. Было бы очень неумно с вашей стороны думать, что Геркулес, Ахиллес, Эпаминонд, Александр и Цезарь, которые почти все умерли моложе сорока лет, не заслужили никакого почета, а заговаривающемуся старику вы должны воскуривать фимиам только потому, что солнце восемьдесят четыре раза колосило его урожай. Но, скажете вы, все законы нашего мира глубоко проникнуты сознанием того уважения, которое мы обязаны оказывать старикам. Это верно, но ведь устанавливали законы всегда старики, которые боялись, чтобы молодые, и вполне справедливо, не отняли у них тот авторитет, который они себе насильственно присвоили. Поэтому они, как и законодатели ложных религий, создали тайну из того, чего они не могли доказать. Да, скажете вы, но ведь этот старик — мой отец, а небо обещает мне долгую жизнь, если я буду его почитать. Если ваш отец, о мой сын, не приказывает вам ничего противоречащего внушениям всевышнего, я с вами соглашусь; но иначе топчите чрево отца, который вас породил, утробу матери, которая вас зачала. Я не вижу никакого основания верить в то, что то низкопоклонство, которое порочные родители навязали вашей слабости, было бы настолько приятно богу, что-

бы он за это продлил вашу жизнь. Как этот глубокий поклон, которым вы только поощряете гордость вашего отца и которым льстите ей, поможет ли он прорваться нарыву в вашем боку, исцелит ли он вашу гуморальную природу, залечит ли он рану шпаги, пронзившей ваш желудок, растворит ли камень в вашем пузыре? Если это так, то напрасно доктора не прописывают против оспы вместо отвратительных микстур, которыми отравляют человеческую жизнь, трех поклонов натошак, гранмерси после обеда и двенадцати «добрый вечер, мой отец и моя мать» на ночь. Вы мне ответите, что без него вас бы не было на свете. Но ведь и его не было бы на свете без вашего деда и не было бы вашего деда без вашего прадеда, а без вас у вашего отца не было бы внуков. Когда природа произвела его на свет, она сделала это с тем условием, чтобы он возвратил то, что получил взаймы. Поэтому когда он произвел вас на свет, он ничего вам не дал, он только отдал свой долг! Да я бы хотел еще знать, думали ли ваши родители о вас в ту минуту, когда они вас зачинали? Увы, вовсе нет! А вы все-таки думаете, что вы обязаны им подарком, который они сделали, совершенно о вас не думая. Как! Потому что ваш отец был так похотлив, что он не устоял против прекрасных глаз неведомого ему дотоле существа, потому что он за деньги удовлетворил свою страсть, потому что из-за всей этой грязи произошли вы, вы почитаете этого сладострастника, как одного из семи греческих мудрецов! Как! Только потому, что этот скупой приобрел богатое имущество своей жены тем, что сделал ей ребенка, то этот ребенок должен говорить с ним не иначе, как на коленях? Если так, то хорошо, что ваш отец был похотлив и что этот другой был скуп, ибо иначе ни вас, ни сына того скупца никогда бы не существовало. Но интересно знать: если бы он был уверен, что его пистолет попадет в крысу, он не выстрелил бы... Боже правый, в чем только не уверяют людей вашего мира!

От вашего смертного архитектора вы получили только тело. Ваша душа пришла с небес и могла попасть в другой футляр. Ваш отец мог родиться вашим сыном, а вы его отцом. А почему вы знаете, не помешал ли он вам унаследовать корону? Ваша душа, может быть, покинула небеса с тем, чтобы в утробе императрицы одухотворить тело короля римского; по пути она случайно встретила ваш эмбрион и вселилась в него, может быть, ради того, чтобы

сократить свое путешествие. Нет, нет, господь бог, конечно, не вычеркнул бы вас из числа живых, если бы ваш отец умер еще в детстве. Но кто знает, не были ли бы вы сегодня потомком какого-нибудь храброго полководца, который присоединил бы вас к своей славе, так же как и к своему богатству? Поэтому вы можете быть не более обязаны своему отцу той жизнью, которую он вам дал, чем были бы обязаны ею тому морскому разбойнику, который заковал бы вас в кандалы, но кормил бы вас. Я допускаю даже, что он родил бы вас принцем или родил бы вас королем, но подарок совершенно теряет всякую цену, если делается без согласия того, кто его получает. Убили Цезаря, убили и Кассия, но Кассий обязан своею смертию рабу, у которого он ее вымолил, а Цезарь не обязан ей убийцам, ибо они заставили принять ее от них. Разве отец ваш советовался с вами, когда обнимал вашу мать? Разве он спрашивал вас, нравится ли вам этот век, или вы желаете дожидаться другого? Согласны ли вы быть сыном глупца, или вы настолько честолюбивы, что хотите происходить от порядочного человека? Увы! Вы, которого единственно касалось это дело, вы были единственный, мнение которого не было спрошено. Может быть, если бы вы были скрыты не в утробе матери природы, а где-либо в другом месте и если бы ваше рождение зависело от вашего выбора, вы сказали бы Парке: «Милая девица, возьми нитку другого: я уже давно пребываю в пустоте и предпочитаю не существовать еще сто лет, чем начать существовать сегодня, чтобы завтра же в этом раскаться!» Тем не менее вам пришлось пройти через это, и сколько бы вы ни пищали и ни требовали, чтобы вас вернули в тот длинный и черный дом, откуда вас вырвали, все делали вид, будто думают, что вы хотите сосать грудь.

Вот, о мой сын, приблизительно причины того уважения, с которым здесь родители относятся к своим детям. Я сознаю, что уклонился в сторону детей несколько больше, чем это требует справедливость, и что я говорил в их пользу даже против своей совести. Но желая покарать ту гордость, которую некоторые отцы противопоставляют слабостям своих детей, я должен был поступить так, как поступают те, кто, желая выпрямить кривое дерево, тянет его в противоположную сторону с тем, чтобы оно росло прямо между двумя искривлениями. Итак, я воздал отцам то деспотически снисходительное отношение, кото-

рое они себе присвоили, но отнял у них в то же время много того, что им принадлежало по праву, но я сделал это ради того, чтобы другой раз они довольствовались тем, на что имеют право. Я знаю, что этой апологией молодых людей я обидел всех стариков; но пусть они вспомнят, что и они были детьми, прежде чем сделались отцами, и поймут, что я говорил точно так же и за них. Ведь не под капустным листом они были найдены. Но, в конце концов, что бы ни случилось и если бы даже за мои слова мои враги ополчились против моих друзей, от меня останется только добро, ибо я служил всему человечеству и не угодил только половине».

После этих слов он замолчал, а сын нашего хозяина заговорил так: «Позвольте мне, — сказал он, — прибавить несколько слов к тому, что вы сказали, так как благодаря вам я знаком с происхождением, с историей, с обычаями и с философией мира, откуда явился этот маленький человек; я хочу доказать, что дети не обязаны своим родителям своим рождением, потому что их отцы по совести должны были произвести их на свет. Самое узкое из всех философских учений, господствующих в мире, признает, что лучше умереть, чем вовсе не существовать, потому что для того, чтобы умереть, нужно прежде пожить. Не сообщая жизни этому небытию, я его ставлю в положение худшее, чем смерть, и я буду более виновен, если не произведу его на свет, чем если бы я убил его. Ты бы считал, о маленький человек, что совершил убийство, которое никогда тебе не простится, если бы ты зарезал своего сына. Это преступление было бы ужасно, конечно, но гораздо более чудовищно преступление не дать жизни тому, кто мог бы иметь ее; ибо это дитя, у которого ты навсегда отнимаешь жизнь, имело бы удовлетворение некоторое время наслаждаться ею. Правда, мы знаем, что он лишен ее только на несколько веков; и это хорошо; но когда дело идет о сорока малышей, из которых ты мог бы создать сорок хороших солдат твоему королю, то можно сказать, что ты злостно мешаешь им явиться на свет и даешь им гнить в своих чреслах, рискуя ударом паралича, который тебя убьет. Пусть мне не возражают, ссылаясь на преимущества девственности. Все это один только дым, призрак. И в сущности, весь почет, которым толпа окружает девство, не обозначает ничего другого, как совет; но не убивать, не делать своего сына более несчастным, чем

мертвеца, — это заповедь. Почему же — и это меня удивляет, — если в том мире, где вы живете, воздержание ставится выше размножения во плоти, почему же бог не выводит вас из капли весенней росы, подобно грибам, или по крайней мере, из жирного ила земли, разогретой солнцем, подобно крокодилам? Между тем он посылает к вам евнухов только случайно; он не вырывает детородных органов ни у монахов, ни у священников, ни у кардиналов. Вы мне скажете, что их дала им природа, да, но он господин природы. И если бы он считал, что этот орган может помешать спасению людей, он приказал бы им отрезать его, как в Ветхом Завете он приказал евреям обрезать крайнюю плоть. Но все это смешные вздорные идеи. По чести, можете ли вы сказать, что на вашем теле есть места более священные или более проклятые, чем другие? Почему я совершаю преступление, если я прикасаюсь средней частью своего тела, а не тогда, когда чешу себе ухо или пятку? Потому ли, что тут есть щекотание? Так я не должен очищать себя, потому что и это не делается без некоторого чувства сладострастия; и благочестивые люди не должны подниматься до созерцания бога, потому что их воображение испытывает при этом удовольствие? Я удивляюсь, сказать по правде, что при том, насколько противоестественны ваши верования, священники не запрещают у вас людям чесаться ввиду той приятной боли, которая при этом испытывается; я, кроме того, заметил, что предусмотрительная природа располагала всех великих людей, храбрых и умных, к ногам любви, пример тому Самсон, Давид, Геркулес, Аннибал, Карл Великий. Разве они вырывали у себя орган этих наслаждений ударом серпа? Увы, природа дошла до того, что подкачкой развратила Диогена, худого, безобразного и вшивого, и заставила его из ветра, который он дул на свою морковь, сочинять стихи Лаисе. Конечно, она действовала так из опасения, чтобы не перевелись на свете честные люди. Заключение из этого, что ваш отец был по совести обязан выпустить вас на свет и, когда бы он даже воображал, что оказал вам большую услугу, создав вас своим щекотанием, он в сущности вам подарил только то, что последний бык дает своим телятам каждый день по десяти раз ради своего же удовольствия.

«Вы не правы, — отвечал мой демон, — что хотите учить божественную мудрость. Правда, бог запретил нам

злоупотреблять наслаждениями любви. Но как можете вы знать, не потому ли он сделал это, чтобы трудности, которые мы встречаем при борьбе с этой страстью, не заставили нас заслужить славу, которую он нам уготовал? Как можете вы знать, не хотел ли он запрещением их сильнее возбудить желание? Как можете вы знать, не предвидел ли он, что если молодежь будет предоставлена своим страстям, слишком частое соитие ослабит семя и потомков первого человека приведет к концу мира? Как можете вы знать, не хотел ли он помешать тому, чтобы плодородная земля не оказалась недостаточно обширной для удовлетворения нужд множества голодных? Наконец, как можете вы знать, что он не захотел этого сделать вопреки разуму, дабы вознаградить всех тех, кто против всякой разумной видимости положился на его слово?»

Этот ответ, по-видимому, не удовлетворил нашего молодого хозяина, ибо он три или четыре раза качал головой на эти слова, но наш общий наставник замолчал, потому что ужин уже готов был улететь.

Мы улеглись на очень мягких матрасах, покрытых большими коврами, и молодой слуга взял самого старого из наших философов и увел его в отдельную залу, куда мой демон крикнул ему вслед, чтобы он вернулся к нам, как только поест. Он нам это обещал. Эта фантазия принимать пищу в одиночестве заинтересовала меня, и мне захотелось узнать причину этого поступка. «Он не любит, — отвечали мне, — запаха мяса, ни даже запаха растений, если они погибли от насильственной смерти, потому что считает их способными страдать». «Меня не удивляет, — отвечал я, — что он воздерживается от мяса и от всего того, что при жизни обладало чувствами, ибо в нашем мире пифагорейцы и даже некоторые святые анахореты придерживались такого же режима; но не решаться резать кочан капусты из опасения его ранить, это мне кажется совсем смешным». «А я, — сказал демон, — нахожу, что его мнение о себе чересчур высоко. Скажите мне, пожалуйста, этот кочан капусты, о котором вы говорите, не есть ли он так же, как и вы, существо, созданное богом? Не одинаково ли бог и воздержание были матерью и отцом как ему, так и вам? Не думал ли бог извечно о рождении как вас, так и его? Ведь может даже казаться, что он более позаботился о снабжении всем необходимым

растения, чем разумного существа; ибо он предоставил зарождение человека капризу его отца, который может по желанию родить его или не родить; однако он не захотел такую же строгость применить к кочану капусты; и вместо того чтобы предоставить доброй воле отца произвести сына и как бы опасаясь гибели рода капусты более чем рода человеческого, он заставляет капусту волей-неволей давать жизнь другим существам и не так, как человека, который в лучшем случае может народить их двадцать, между тем как капуста может произвести их четыреста тысяч из одного кочана. Сказать, однако, что Природа любит человека больше, чем капусту, это значит щекотать наше воображение забавными представлениями: неспособный к страсти бог не может ни любить, ни ненавидеть, а если бы он и был способен к любви, то скорее почувствовал бы нежность к капусте, о которой вы говорите и которая не может его оскорбить, чем к человеку, который, как он предвидел, будет его оскорблять. Прибавьте к этому, что человек не может родиться без греха, будучи сам часть первого человека, который сделал его грешным, но мы хорошо знаем, что первый кочан капусты не навлек на себя гнева своего создателя в земном рае. Говорят, что мы созданы по образу и подобию первоначального существа, а капуста нет. Если бы это и было так, мы давно утратили это подобие, запятнав свою душу, которая одна только могла быть ему подобна,—ибо нет ничего более противного богу, чем грех. Итак, если наша душа уже не представляет из себя его образа, мы не более уподобляемся ему ногами, руками, ртом, лбом и ушами, чем эта капуста своими листьями и цветами, своим стеблем и кочерыжкой. Не думаете ли вы, что если бы это бедное растение могло говорить, оно бы не сказала, когда стали бы его резать: «Человек, дорогой брат, что я сделала такого, за что я заслужила смерть? Я расту только в огородах, меня нет в диких местах, где я бы жила в безопасности; я пренебрегала всяким другим обществом, кроме твоего; как только меня посеют в твоём огороде, я, чтобы выразить тебе свою благодарность, тотчас же вырастаю, протягиваю к тебе руки, отдаю тебе своих детей в виде семян, а в награду за мою учтивость ты меня обезглавливаешь». Вот та речь, которую повел бы этот кочан капусты, если бы он мог говорить. Как! Неужели потому, что он не может жаловаться, мы имеем право применять ему то зло.

которому он не может помешать? Если я увижу несчастного бедняка связанным, неужели я имею право его убить, и это не будет преступлением, потому что он не может защищаться? Наоборот, его незащищенность еще усугубит мою жестокость, ибо как бы это несчастное существо ни было бедно и лишено всех наших преимуществ, однако оно не заслуживает смерти. Из всех жизненных благ, которыми одарено живое существо, капуста обладает только тем, что может производить ростки, и мы отнимаем у нее и это последнее. Не так велик грех убить человека, ибо он когда-нибудь возродится, как грех разрезать кочан капусты и отнять у него жизнь, когда он не может надеяться на другую. Вы уничтожаете душу капусты, убивая ее, тогда как, убивая человека, вы только заставляете его переменить место жительства. Я скажу больше того: так как бог, общий отец всего существующего, проникнут одинаковой любовью ко всем своим созданиям, то не разумно ли предположить, что он равномерно распределил свои благодеяния между нами и растениями. Правда, что мы родились раньше их, но в семье господ бога нет права старшинства; поэтому, хотя капуста не имеет, подобно нам, участия в уделе бессмертия, на ее долю, вероятно, выпало какое-нибудь другое преимущество, которое, может быть, вознаграждает за кратковременность ее жизни; может быть, это всеобъемлющий разум или совершенное познание всех вещей в их первопричине; потому-то мудрый двигатель вселенной не снабдил ее органами, подобными нашим, из которых мы черпаем свое слабое и часто обманчивое рассуждение, но другими в высшей степени искусно выделанными, более сильными и многочисленными, которые ей служат для ведения отвлеченных разговоров. Вы, быть может, спросите меня, какие из своих великих мыслей капуста когда-либо сообщала нам? Но скажите, пожалуйста, чему же большему научили нас ангелы? Подобно тому, как нет ни соразмерности, ни связи, ни гармонии между тупыми способностями человека и способностями этих божественных существ, точно так же, сколько бы ни старалась эта интеллектуальная капуста объяснить нам тайную причину этих чудесных явлений, мы не могли бы их понять, потому что нам недостает органов, способных воспринять эту высокую материю. Моисей, самый великий из философов, который черпал познание природы из нее самой,

выражал именно эту истину, когда говорил о древе познания; этой притчей он, без сомнения, хотел научить нас тому, что растения преимущественно перед нами обладают совершенным знанием. Помни же, о самый гордый из всех зверей, что хотя капуста, которую ты режешь, молчит и не говорит ни слова, она тем не менее мыслит. Бедное растение не имеет органов, которые позволили бы быть, как воете вы, у него нет органов ни для того, чтобы плакать, рук, чтобы трепетать; однако у него есть такие органы, при помощи которых оно может жаловаться на зло, которое вы ему причиняете, и призывать на вас мщенье небес. Наконец, если вы будете настаивать на том, откуда я знаю, что у капусты такие высокие мысли, я вас спрошу, а почему же вы знаете, что у нее их нет, и почему вы думаете, что тот или другой кочан не скажет, наподобие вас, вечером, закрывая свою дверь: «Остаюсь, сударыня кудрявая капуста, вашей покорнейшей слугою — кочанная капуста».

На этих словах его речь была прервана тем молодым человеком, который увел нашего философа и который теперь привел его обратно. «Как! уже пообедали?» — воскликнул мой демон. Тот отвечал, что пообедал, но не ел десерта, тем более, что физионом разрешил ему попробовать нашего. Молодой хозяин не стал ожидать с моей стороны просьбы разъяснить ему эту загадку. «Я вижу, — сказал он, — что этот образ действий вас удивляет. Так знайте, что хотя в вашем мире вы склонны небрежно относиться к уходу за здоровьем, однако здешним режимом никак не следует пренебрегать. В каждом доме есть физионом, который содержится всем обществом на счет государства; он представляет из себя приблизительно то, что вы называете врачом, с той, однако, разницей, что он занимается только здоровыми людьми; различные способы лечения, которые он применяет, он определяет на основании пропорции, форм и симметрии членов, на основании черт нашего лица, окраски тела, тонкости кожи, гибкости членов, тембра голоса, цвета, степени тонкости и мягкости волос. Вы не обратили внимания на человека невысокого роста, который вас только что пристально рассматривал? Это физионом здешнего дома. Будьте уверены, что в зависимости от того, как он определил ваше сложение, он разнообразил испарения для вашего обеда. Посмотрите, как далеко от наших кроватей

положен матрац, который вам предназначен: очевидно, он нашел, что ваш темперамент сильно отличается от нашего, и побоялся, чтобы запах, испаряющийся из отверстий под нашим носом, не распространился до вас, или чтобы испарения от вас не проникли к нам. Вы увидите сегодня вечером, что он будет выбирать цветы для вашей постели с такой же тщательностью».

Во время этого разговора я делал знаки своему хозяину, прося его навести философов на разговор о какой-нибудь из отраслей той философии, которой они обучали. Он слишком дружественно ко мне относился, чтобы тотчас же не отозваться на мою просьбу и не подать повода для такого разговора. Поэтому я не стану повторять ни тех речей, ни тех просьб, которые привели к исполнению моего желания, тем более, что переход от смешного к серьезному имел слишком незаметный отенок, чтобы его можно было передавать. Как бы то ни было, читатель, тот из ученых, который вошел последний после многих слов, продолжал так:

«Мне остается доказать, что в бесконечном мире существует множество бесконечных миров. Представьте себе вселенную в виде огромного животного; представьте себе, что звезды — эти миры — каждый сам по себе живут в этом огромном животном, как другие животные, в свою очередь, служат мирами же для других народов, каковы, например, мы, наши лошади, слоны; представьте себе также, что мы в свою очередь являемся мирами по отношению к другим животным еще без сравнения меньшим, чем мы сами, каковы червяки, вши, клещи; что эти последние представляют из себя земной шар для других, совсем неуловимых глазом; и точно так же, как каждый из нас представляется этому мелкому народу обширным миром, очень может быть, что наше тело, наша кровь, наша душа — не что иное, как целая ткань из мелких животных, которые поддерживают друг друга, своим собственным движением сообщают нам движение и, как бы слепо отдаваясь руководству нашей воли, которая служит им кучером, в сущности ведут нас сами и сообщая вызывают то явление, которое мы называем жизнью. Ибо скажите мне, пожалуйста, неужели трудно поверить тому, что вошь может принять ваше тело за мир, и тому, что, когда одна из них путешествует от одного вашего уха к другому, ее товарки могут сказать, что она обошла землю от

края до края или что побывала на другом полюсе. Да, без сомнения, этот маленький народ принимает ваши волосы за леса, поры, наполненные потом, за водоемы, прыщи за озера и пруды, гнойные нарывы за моря, опухоли за наводнения; и когда вы расчесываете свои волосы и свою бороду, они принимают это волнение за прилив или отлив океана. Разве зуд не подтверждает мои слова? Клещ, вызывающий его, не есть ли что иное, как одно из этих маленьких животных, которое отказалось от образованного общества и утвердилось тираном в своей стране? Если вы меня спросите, почему же они больше ростом, чем другие неуловимые для глаза существа, я вас спрошу в свою очередь, почему слоны больше нас, ирландцы больше испанцев? Что касается образовавшегося волдыря и корки, причина которых неизвестна, они должны были появиться или вследствие разложения тех врагов, которых убили эти маленькие великаны, или вследствие того, что чума, вызванная отбросами пищи, которой до отвала объелись восставшие, оставила в поле кучи разлагающихся мертвых тел, или же, наконец, потому, что этот тиран, прогнав от себя своих товарищей, которые своими телами закупоривали поры нашего тела, образовал таким образом проход для жидкости; она излилась из сферы нашего кровообращения и потому загноилась. Меня, может быть, спросят, почему один клещ производит так много других? Это не трудно понять, ибо точно так же, как одно восстание вызывает другие, точно так же эти мелкие народцы, возбуждаемые дурным примером своих восставших товарищей, стремятся овладеть властью, разнося повсюду войну, смерть и голод. Но, возразите вы, одни люди гораздо менее подвержены зуду, чем другие, между тем все люди одинаково полны этими маленькими животными, ибо они, по вашим словам, создают жизнь. Это верно; поэтому мы и замечаем, что флегматики менее подвергаются чесотке, чем желчные люди; это зависит от того, что народ находится в зависимости от климата, в котором живет; холодное тело более неповоротливо и медленно в своих движениях, наоборот, разжигаемое жарким климатом обитаемого им края, где все пышет и сверкает, тело становится само подвижным и беспокойным. Так как желчный человек обладает более нежным сложением, чем флегматик, потому что большое количество частей его тела обладает жизнью, и так как его душа есть

результат деятельности маленьких животных, населяющих его тело, он может воспринимать ощущения во всех тех частях своего тела, где копошится эта мелкая скотинка. Между тем как флегматик, обладая меньшим теплом, вызывает деятельность этого подвижного населения лишь в немногих местах своего тела; поэтому он и сам чувствителен лишь в немногих частях. Чтобы еще больше убедиться в этой всемирной клещевидности, достаточно обратить внимание на то, как при нанесении раны кровь немедленно приливает к ней. Наши доктора говорят, что кровью руководит предусмотрительная природа, которая призывает ее на помощь заболевшим частям тела; из этого следовало бы заключить, что, кроме души и духа, в нас есть еще третья сущность, обладающая особыми функциями и органами. Потому я и нахожу гораздо более правдоподобным предположение, что эти маленькие животные, когда на них нападают, посылают к своим соседям просить о помощи; те прибывают со всех сторон, но страна не может выдержать такого наплыва людей; они или умирают от голода, или задыхаются в давке. Эта смертность наступает тогда, когда созреет нарыв; что животные в это время уже задохлись и погибли, вы видите из того, что отгнившие части тела становятся нечувствительными; потому-то так часто удается кровопускание, которое прописывают для того, чтобы отвлечь воспаление. Это происходит потому, что эти маленькие животные, после того как множество их погибло, пройдя через отверстие, которое они пытались заткнуть, отказываются помочь своим союзникам, так как сами в небольшой степени обладают силой защищаться каждый у себя».

Этимися словами он заключил свою речь; второй философ, заметив, что нашими взорами, устремленными на него, мы умоляем его в свою очередь взять слово, заговорил так: «Мужи, я вижу, что вы желаете сообщить этому маленькому животному, нашему ближнему, некоторые сведения из области той науки, которую мы преподаем; я диктую в настоящее время трактат, с которым был бы очень рад его ознакомить ввиду того света, который он проливает на понимание физики; трактат объясняет вечное начало мира. Но так как я очень спешу заставить работать свои меха (ибо завтра город безотлагательно уезжает), вы уж простите мне, я при этом обещаю, что как

только город приедет туда, где ему назначено быть, я вас удовлетворю».

При этих словах сын хозяина позвал своего отца, чтобы узнать, который час; получив ответ, что уже пробило восемь, он гневно выкрикнул: «Подите сюда, негодяй! Разве я не приказал вам предупредить меня в семь часов. Вам известно, что дома завтра уезжают и что стены города уже уехали». «Господин, — отвечал старик, — пока вы обедали, было опубликовано строжайшее запрещение уезжать раньше, чем в следующий за завтрашним день». «Это все равно, — возражал молодой человек, лягнув его, — вы должны слепо повиноваться, не стараясь вникать в смысл моих приказаний и помня только мои распоряжения. Скорей подите, принесите ваше чучело». Когда его принесли, молодой человек схватил его за руки, стал его сечь и сек в продолжение четверти часа. «Вот вам, негодяй, — кричал он, — в наказание за ваше непослушание, я хочу, чтобы вы служили сегодня всеобщим посмешищем, поэтому приказываю вам остальную часть дня ходить на двух ногах».

Бедняга вышел из комнаты весь в слезах, а сын продолжал: «Господа, прошу вас простить проделки этого вспыльчивого старика. Я надеялся, что смогу сделать из него что-нибудь путное, но он злоупотребляет моим хорошим отношением. Я с своей стороны уверен, что этот негодяй меня уморит, уже десять раз он меня доводил до того, что я был готов его проклясть».

Как я ни кусал себе губы, я с трудом воздерживался от того, чтобы не рассмеяться над этим миром «вверх ногами». Чтобы положить конец этой смехотворной педагогике, от которой я бы разразился хохотом, я стал просить его рассказать мне, что он разумеет под путешествием города, о котором он только что говорил.

Он мне отвечал: «Среди наших городов, дорогой чужестранец, есть оседлые и передвижные: передвижные, как, например, тот, в котором мы теперь живем, построены так. Архитектор строит каждый дворец, как вы это видите, из очень легкого дерева; под дворцом он размещает четыре колеса; в толщу самой стены он помещает десять больших раздувных мехов, трубы которых проходят по горизонтальной линии сквозь верхний этаж от одного щипца до другого, так что, когда приходится перевозить на другое место города, которые пользуются пере-

менной воздуха всякий сезон, каждый домохозяин развешивает перед мехами с одной стороны своего дома множество больших парусов, затем заводится пружина, которая заставляет меха выдувать воздух, и с такой силой, что в несколько дней дома уносятся далее чем на сто миль. Что касается архитектуры тех городов, которые мы называем оседлыми, то их дома похожи на то, что вы называете башнями, с той только разницей, что они построены из дерева и что посередине, от погреба до самой крыши, сквозь них проходит большой винт для того, чтобы можно было их по желанию повышать и понижать. Земля же под зданием вырыта настолько же глубоко, насколько здание возвышается над землею, и все оно построено так, чтобы дома могли быть ввинчены в землю, как только мороз начинает студить воздух; при помощи огромных кож, которыми они покрывают как самый дом, так и вырытую яму, они защищают себя от сурового холода. Но едва теплое дыхание весны смягчит воздух, дома поднимаются кверху при помощи того большого винта, о котором я вам говорил».

Он, кажется, хотел прекратить изливание своего красноречия, но я сказал: «По чести, сударь, я никогда бы не подумал, что такой опытный каменщик может быть философом, если бы вы не послужили тому примером. Поэтому, раз сегодня город не уезжает, вы успеете объяснить нам вечное начало мира, о котором вы недавно упомянули. Я вам обещаю, — продолжал я, — что в награду за это, как только я вернусь на свою Луну (а мой наставник, — я указал на своего демона, — подтвердит вам, что я явился оттуда), я распространю славу о вас и расскажу все, что от вас слышал. Я вижу, что вы смеетесь над этим обещанием, потому что вы не верите, что наша Луна — это мир и что я — ее обитатель, но я могу вас с своей стороны уверить, что обитатели того мира, которые считают этот мир только Луной, будут также надо мной смеяться, когда я им скажу, что ваша Луна есть мир, что на ней есть деревни и живут в них люди».

Он отвечал только улыбкой и заговорил так:

«Когда мы хотим дойти до начала великого Целого, мы бываем принуждены прибегнуть к трем или четырем нелепостям. Поэтому самое благоразумное, что мы можем сделать, это пойти по тому пути, на котором мы всего меньше будем спотыкаться. Итак, я говорю, что первое

препятствие, которое нас останавливает — это понятие о вечности вселенной; ум человека недостаточно широк, чтобы обнять понятие вечности, но он в то же время не может себе представить, что эта великая вселенная, столь прекрасная, столь стройная, могла создаться сама собой; поэтому люди прибегли к мысли о сотворении мира; но подобно тем, кто бросается в реку, чтобы не намочнуть от дождя, они из рук карлика отдали себя в руки великана; однако и это их не спасает, ибо вечность, которую они отняли у вселенной, потому что не могли ее понять, они отдали богу, как будто ее легче себе представить по отношению к нему.



Эта бессмыслица, или тот великан, о котором я говорил, это и есть сотворение мира. Ибо скажите мне, пожалуйста, разве мог кто-нибудь когда-нибудь понять, как из ничего могло возникнуть нечто? Увы, между ничем и хотя бы атомом существует расстояние такое бесконечное, что самый изощренный ум не сумеет проникнуть эту тайну; чтобы выйти из безвыходного лабиринта, вы должны признать наряду с вечным богом и вечную материю. Но, возразите вы, если даже и признать вечность материи, каким же образом можно представить себе, что этот хаос организовался сам по себе?

Я вам это сейчас объясню.

Нужно, о мое маленькое животное, суметь в уме своем разделить всякое видимое тельце на бесконечное число еще меньших невидимых телец и представить себе, что бесконечный мир состоит из одних только этих бесконечных атомов, очень плотных, очень простых и совершенно не поддающихся разложению, из которых одни имеют форму куба, другие форму параллелограмма, одни круглые, другие многоугольные, третьи заостренные, некоторые пирамидальные; есть и шестиугольные, некоторые из них овальные, и все они действуют и движутся различно в зависимости от своей формы. А что это так, вы можете убедиться, положив круглый шар из слоновой кости на очень гладкую поверхность: малейший толчок, который вы ему сообщите, передаст ему движение, и он будет безостановочно двигаться в течение нескольких минут. К этому я добавлю, что имей этот шар такую же абсолютно круглую форму, какой обладают некоторые из атомов, и будь поверхность его, на которой он движется, совершенно гладкой, он не остановился бы никогда.

Итак, если искусство способно передать телу непрерывное движение, почему не представить себе, что это может сделать природа? То же самое можно сказать и относительно других форм, из которых некоторые, как, например, квадрат, требуют вечного покоя, другие — движения вкось, некоторые — полудвижения, каково, например, трепетание; шар же, сущность которого есть движение, прикасаясь к пирамидальной фигуре, вызывает, может быть, то, что мы называем огнем, не только потому, что огонь без устали находится в беспрестанном движении, но потому, что он легко все пронизывает и всюду проникает. Огонь производит, помимо этого, еще ряд других действий от широты и свойства углов, под которыми шар встречается с другими формами; так, например, огонь в перце есть нечто иное, чем огонь в сахаре, огонь в сахаре — нечто иное, чем огонь в корице, огонь в корице — иное, чем огонь в гвоздике, а этот последний совершенно иное, чем огонь в вязанке хвороста. И огонь, который есть и разрушитель, и в то же время строитель как отдельных частей, так и всей вселенной, вырастил и собрал в дубе все многообразие форм, необходимых для того, чтобы образовался этот дуб.

Но, скажете вы мне, каким же образом мог случай собрать в одном месте все вещества, необходимые, чтобы произвести этот дуб? Я вам отвечу, что вовсе не в том чудо, что материя, расположившись именно так, образовала этот дуб; чудо было бы гораздо больше, если бы при таком же расположении материи не образовалось бы дуба; будь немного менее одних форм, вышел бы вяз, тополь, ива, бузина, вереск, мох; немного более других форм — образовалась бы чувствующая мимоза или устрица в раковине, червяк, муха, лягушка, воробей, обезьяна, человек. Если вы бросите на стол три игральные кости и у вас на всех трех выпадет одинаковое число двух, трех или четырех, пяти очков или, наконец, две шестерки и одно очко, вы уже не скажете: «О великое чудо! На каждой кости оказалось одинаковое число очков, тогда как могло выпасть множество других чисел. О великое чудо! Выпало трое очков два раза подряд. О чудо великое! Выпало два раза по шести очков и оборот еще одной шестерки». Я убежден, что, будучи умным человеком, вы никогда этого не скажете, ибо раз на кости есть только известное число очков, невозможно, чтобы не выпало ка-

кое-нибудь одно из этих чисел. И после этого вы удивляетесь, что эта материя, кое-как перемешавшись по прихоти случая, могла образовать человека, тогда как требуется так много для образования его существа. Вы, очевидно, не знаете, что миллион раз эта материя по дороге к образованию человека останавливалась по пути для создания то камня, то олова, то коралла, то цветка, то кометы и все это вследствие недостатка или вследствие излишества некоторых форм, которые были нужны или не нужны для того, чтобы мог образоваться человек. Таким образом, нет никакого чуда в том, что при бесконечном разнообразии различных веществ, непрестанно движущихся и перемещающихся, эти вещества столкнулись так, что образовали те немногие животные, растения, минералы, которые мы видим; также мало чудесного и в том, что из ста ходов игральными костями попадется один, когда выкинется равное число очков, и совершенно невозможно, чтобы из непрестанного движения не образовалось нечто, а это нечто всегда будет служить предметом восхищения какого-нибудь олуха, который не знает, как мало было нужно для того, чтобы это нечто не образовалось вовсе. Когда большая река вертит жернова мельницы,  натягивает пружину часов, а маленький ручеек  только и делает, что течет и иногда скрывается, вы не скажете, что река очень умна, потому что вы знаете, что она встретила на своем пути великое произведение человеческого искусства, ибо если бы мельница не оказалась на ее пути, она бы не могла превращать пшеницы в порошок; если бы на ее пути не стояли часы, она не показывала бы времени, а если бы маленький ручеек, о котором я говорил, имел бы те же встречи, то совершил бы те же чудеса. Совершенно то же самое происходит и с огнем, который движется сам по себе, так как, найдя органы, способные к колебанию, необходимому для того, чтобы рассуждать, он стал рассуждать; когда он нашел такие, которые оказались способными чувствовать, он стал чувствовать; когда нашел такие органы, которые могли только произрастать, он стал произрастать. Если бы это было не так, почему же человек, которому дает зрение огонь его души, перестает видеть, когда мы выколем ему глаза, точно так же, как наши большие часы перестанут показывать время, если мы разобьем их механизм. Наконец, эти первые и неделимые атомы образуют круг, по которому ка-

тятся без затруднений самые запутанные проблемы физики; даже деятельность органов чувств я могу объяснить легко при помощи маленьких телец, хотя до сих пор этого еще никто не мог понять.

Начнем со зрения: оно заслуживает того, чтобы с него начать, так как этот орган чувств самый сложный и непонятный из всех. Человек видит тогда, как я себе представляю, когда сквозь оболочки глаз, отверстия которых подобны отверстиям в стекле, он выделяет ту огненную пыль, которая называется зрительным лучом, и когда этот луч, остановленный каким-нибудь непрозрачным предметом, отражается от него обратно; ибо тогда он встречается по дороге образ предмета, отразившего его, этот образ есть не что иное, как бесконечное количество мелких телец, непрестанно выделяющихся с поверхности, равной поверхности рассматриваемого предмета, который прогоняет луч обратно в наш глаз.

Вы, конечно, не преминете возразить мне, что стекло есть тело непрозрачное и очень плотное, каким же образом оно, вместо того чтобы оттолкнуть эти маленькие тельца, позволяет им проникнуть сквозь него? Но я вам отвечу, что поры в стекле высечены по такой же форме, как и огненные атомы, которые через него проходят, что совершенно подобно тому, как решето для пшеницы не годится для овса, а ссылка для овса не годится для того, чтобы просеять пшеницу, точно так же ящик из соснового дерева, как бы тонки ни были его стенки и как бы легко он ни пропускал звуков, непроницаем для зрения, а хрустальный предмет, хотя и прозрачен и проницаем для зрения, но непроницаем для слуха». Тут я не воздержался и прервал его. «Один великий поэт и философ нашего мира, — сказал я, — говорил об этих маленьких тельцах почти в тех же выражениях, как вы, и раньше него о них говорил Эпикур, а еще раньше Эпикура — Демокрит; поэтому ваши речи меня не удивляют, и я прошу вас продолжать их и сказать мне, как же вы объясняете на основании этих принципов отражение вашего образа в зеркале?» «Это очень просто, — отвечал он, — представьте себе, что огни вашего глаза проникли сквозь зеркало и встретили за ним непрозрачное тело, которое их отражает; они возвращаются тем же путем, которым пришли, и, встречая эти маленькие тельца, которые изошли из нашего тела и которые равными поверхностями шествуют

по поверхности зеркала, они возвращают их нашему глазу, а наше воображение, более горячее, чем остальные способности нашей души, притягивает к себе тончайшие из них и создает себе образ в сокращенном виде.

Не менее легко понять деятельность органа слуха. Чтобы быть более кратким, рассмотрим ее только по отношению к гармонии. Вот люгги, по струнам которых ударяет пальцами искусный музыкант.

Вы меня спросите, как возможно, чтобы я слухом воспринимал на таком расстоянии от себя нечто, чего я не вижу. Разве из моих ушей выходит губка, которая всасывает эту музыку, чтобы затем вернуть ее ко мне обратно? Или же этот музыкант, играющий на люгге, порождает в моей голове другого маленького музыканта с маленькой люггней, которому дан приказ напевать мне те же песни подобно эхо? Нет, это чудо происходит оттого, что натянутая струна, ударяясь о те маленькие тела, из которых состоит воздух, этим самым гонит их в мой мозг, в который легко проникают эти мельчайшие атомы, и в зависимости от того, насколько натянута струна, звук становится более высоким, потому что струна гонит атомы с большей силой; орган слуха, через который они таким образом проникают, доставляет воображению материал, из которого оно может построить себе картину; случается, что этого материала мало и память наша не может закончить в себе создание всего образа, так что приходится несколько раз повторять одни и те же звуки, с тем, например, чтобы из тех материалов, которые доставляет музыка сарабанды, память могла присвоить их достаточно, чтобы закончить в себе образ этой сарабанды. Впрочем, в этой стороне деятельности органа слуха нет ничего более чудесного, чем в другой его деятельности, когда через посредство того же органа звуки нас трогают или вызывают в нас то радость, то гнев, то жалость, то мечтательность, то горе. Это происходит в тех случаях, когда при своем движении одно тельце встречает в нас другое тельце, находящееся в том же движении, или же такие тельца, которые их форма делает способными воспринимать те же колебания. Тогда новые пришельцы побуждают и своих хозяев двигаться так, как они движутся. Таким образом, когда воинствующая мелодия сталкивается с огнем нашей крови, они вызывают в нем колебания, подобные своим, и побуждают его вырваться наружу. Это

и есть то, что мы называли воинственным пылом. Если звук мягче и у него хватает силы только на то, чтобы вырвать колеблющееся пламя меньших размеров, то оно, прикасаясь к нервам, тканям и порам нашего тела, возбуждает в нас щекотание, которое мы называем радостью. То же происходит с воспламенением остальных наших страстей, которые зависят от большей или меньшей силы, с которой эти крошечные тельца бросаются на нас, от того колебания, которое им сообщается при встрече их с колебаниями других тел, и от того, что они найдут в нас такого, в чем могут вызвать движение; вот все, что я могу сказать по отношению к слуху.

Доказать то же по отношению к осязанию не трудно, если понять, что всякая осязаемая материя непрерывно выделяет маленькие тельца и что, когда мы к ней прикасаемся, эти тельца выделяются в еще большем количестве, потому что мы выдавливаем их из самого предмета, как воду из губки, когда ее сжимаем. И тогда эти предметы дают органу осязания отчет о себе; твердые — о своей плотности, гибкие — о своей мягкости, шершавые — о своей шероховатости, ледяные — о своем холоде. И если бы это было не так, то мы уже не могли бы ощущать различия, ибо мы не так чутки: руки наши стали заскорузлыми от работы вследствие огрубелой мозолистой кожи, которая, не имея в себе ни пор, ни жизни, лишь с большим трудом может передавать эти эманации материи. Вам хочется узнать, где орган осязания имеет свое пребывание? Что касается меня я думаю, что он распределяется по всей поверхности тела, так как чувство осязания передается посредством нервов, а наша кожа не что иное, как невидимое, но непрерывное сплетение этих нервов. Я представляю себе, однако, что чем ближе к голове тот член, которым мы ощупываем, тем лучше мы осязаем. Мы можем проверить это ощупывая что-нибудь руками при закрытых глазах; мы легко угадываем, что это за предмет, тогда как, если бы мы ощупывали тот же предмет ногами, нам трудно бы было догадаться. Это происходит оттого, что наша кожа повсюду покрыта мелкими отверстиями и наши нервы, которые состоят из материала не более плотного, чем кожа, теряют множество этих атомов сквозь отверстия своей ткани, прежде чем дойдут до нашего мозга, являющегося конечной целью их путешествия.

вия. Мне остается только сказать еще несколько слов о вкусе и обонянии.

Скажите, пожалуйста, когда я отведаваю какого-нибудь плода, не от тепла ли моего рта он тает? Сознайтесь же, что раз груша заключает в себе соли, которые, растворившись, распадаются на множество мелких телец, обладающих другой формой, чем те, которые придают вкус яблоку, то, очевидно, эти тельца проникают в наше нёбо совершенно различным образом, точно так же как боль от раны, нанесенной острием штыка, который меня пронзает, не похожа на внезапную боль, причиненную пистолетной пулей, и эта же пистолетная пуля вызывает во мне совершенно иную боль, чем стальная прямоугольная стрела.

О запахе я ничего не могу прибавить, так как сами философы признают, что он ощущается благодаря постоянному выделению мелких телец, которые отделяются от общей массы и по пути ударяют нам в нос.

На основании этих начал я вам сейчас объясню образование гармонии и действие небесных сфер, а также неизменное разнообразие метеоров».

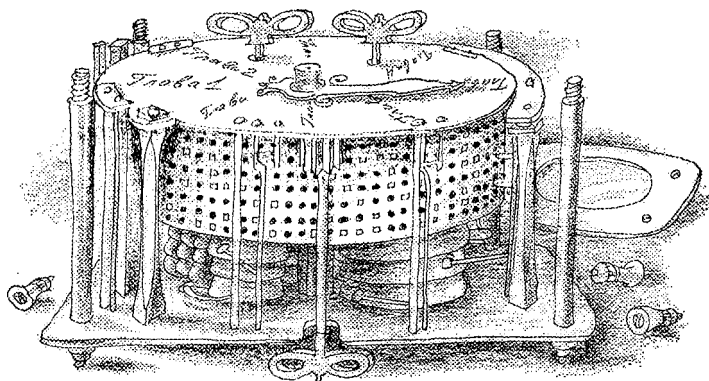
Он хотел продолжать, но в эту минуту вошел старый хозяин и напомнил философу о том, что наступило время удалиться на покой. Он принес для освещения залы хрустальные сосуды, наполненные светляками, но эти огоньки очень ослабевают, когда светлячки не заново пойманы, а принесенные насекомые почти не освещали, так как уже десять дней находились в заключении. Мой демон, не желая, чтобы общество было этим обеспокоено, поднялся в свой кабинет и тотчас вернулся оттуда с двумя такими блестящими огненными шарами, что все удивились, как он не обжег себе пальцы. «Эти неугасимые светочи, — сказал он, — послужат вам лучше, чем ваши стеклянные шары. Это солнечные лучи, которые я очистил от жара, иначе губительные свойства этого огня повредили бы вашим глазам, ослепляя их. Я закрепил свет и заключил его в эти прозрачные бокалы, которые я держу в руках. Это не должно вас удивлять, так как для меня, родившегося на Солнце, сгущать его лучи, которые являются пылью того мира, представляет не более труда, чем для вас собрать пыль или атомы, которые не что иное, как превращенная в порошок земля вашего мира».

После этого был произнесен панегирик детям Солнца, а затем молодой хозяин послал своего отца проводить философов, и так как было темно, то к его ногам была подвешена дюжина стеклянных шаров. Что касается нас, т. е. молодого хозяина, моего наставника и меня, то по приказанию физионома мы отправились спать. Он уложил меня на этот раз в комнату, усыпанную лилиями и фиалками, и прислал по обыкновению молодых людей, которые должны были меня щекотать; на другой день в девять часов ко мне вошел мой демон и рассказал, что он только что вернулся из дворца, куда его вызывала одна из придворных девушек королевы, что она справлялась обо мне и настаивала на своем намерении сдержать данное ею мне слово, т. е. последовать за мной, если я только соглашусь увести ее в другой мир. «Я был особенно обрадован тем, — продолжал он, — что главным побуждением к совершению этого путешествия является ее желание стать христианкой. Поэтому я ей обещал прийти на помощь в осуществлении этого желания всеми силами, находящимися в моем распоряжении, и изобрести с этой целью машину, которая в состоянии будет вместить одновременно трех или четырех людей и при помощи которой вы сможете подняться. Я сегодня же примусь за выполнение этого намерения и потому, чтобы развлечь вас, пока меня с вами не будет, я вам оставлю книгу. Я ее когда-то привез из своей родной страны, она озаглавлена: «Государства и Мистерии на Солнце» с прибавлением: «История Искры». Я вам даю еще и другую, которую я ценю еще выше; это великое произведение философов, которое написал один из величайших умов на Солнце. Он указывает здесь, что истина есть во всем, и объясняет, каким образом можно одновременно признавать противоречивые истины, как, например, то, что белое есть черное, а черное есть белое; что можно одновременно быть и не быть; что может существовать гора без долины и долина без горы; что ничто есть нечто и что все, что существует, в то же время не существует. Но заметьте, что все эти невероятные парадоксы он доказывает без каких бы то ни было софистических рассуждений и хитросплетений. Когда вам надоеет читать, вы можете погулять или побеседовать с сыном нашего хозяина, в его уме есть много привлекательного; что мне в нем не нравится, это то, что он безбожник. Если случится, что он вас скандализи-

рует или каким-нибудь своим рассуждением поколеблет вашу веру, не преминьте тотчас же мне об этом сообщить, и я разрешу ваши сомнения. Другой приказал бы вам прекратить с ним сношения, но так как он чрезвычайно тщеславен, я убежден, что он принял бы ваше бегство за признание вашего поражения, и если бы вы отказались выслушать его доводы, он бы вообразил, что наша вера ни на чем не основана. Обдумывайте свободную жизнь».

Он ушел с этими словами, ибо они служат в здешнем мире прощальным приветом, точно так же, как после принятого у нас приветия «Господин — я ваш слуга»; также и при встрече здесь говорят: «Люби меня, мудрец, ибо и я люблю тебя».

Он едва успел удалиться, как я принялся внимательно рассматривать свои книги и их ящички, т. е. переплеты, которые меня поразили своим великолепием: один был высечен из цельного алмаза, без сравнения, более блестящего, чем наши; другой представлял собою огромную жемчужину, рассеченную на две половины. Мой демон перевел эти книги на язык, который употребляли в здешнем мире. Я не говорил еще о принятом у них способе печатания, потому я вам объясню, каковы были эти два тома.



Открыв ящик, я нашел в нем какой-то металлический непонятный предмет, похожий на наши часы. В нем была масса пружин и еле видимых машинок. Это книга несомненно, но книга чудесная; в ней не было ни страниц, ни букв; одним словом, это такая книга, что для изучения ее совершенно бесполезны глаза, нужны только уши. Поэтому-

му тот, кто хочет читать, заводит при помощи огромного количества разного рода мелких ключей эту машину; затем он ставит стрелку на ту главу, которую желает слушать, и тотчас же из книги выходят, как из уст человека или из музыкального инструмента, все те отдельные разнообразнейшие звуки, которые служат знатым жителям Луны для выражения своих мыслей. Когда я подумал об этом изумительном изобретении, я перестал удивляться, что в этой стране молодые люди в шестнадцать или восемнадцать лет обладают большими знаниями, чем у нас старики; они выучиваются читать одновременно с тем, как выучиваются говорить, и всегда могут читать в комнате, во время прогулки, в городе, во время путешествия, пешком, верхом на лошади; всегда они могут иметь у себя в кармане или привешенными к луке седла штук тридцать этих книг, и им стоит завести пружину, чтобы услышать одну главу или несколько глав, или же целую книгу, если им это вздумается. Таким образом здесь вас всегда окружают великие люди, живые и умершие, которые с вами как бы беседуют.

Более часа я занимался этим подарком, наконец, повесив эти книги себе на уши, в виде серег, я пошел в город, чтобы погулять. Едва я успел пройти по улице, находившейся против нашего дома, как увидел на другом конце довольно многочисленную толпу людей, имевших печальный вид.

Четверо из них несли на своих плечах нечто похожее на гроб и покрытое черным. Я спросил одного из стоявших на улице зрителей, что означает это шествие, напоминающее мне торжественные похоронные процессии в нашем мире; он мне отвечал, что накануне умер человек злой, заклеянный народом посредством щелчка по правой коленке, изобличенный в зависти и неблагодарности. Более двадцати лет тому назад он был осужден парламентом к смерти в своей кровати и после смерти к погребению. Я рассмеялся его ответу, а он спросил меня, почему я смеюсь. «Вы меня удивляете, — сказал я, — когда говорите, что то, что в нашем мире является признаком благодарности, т. е. долгая жизнь, покойная смерть и пышное погребение, что все это в здешнем мире служит примерным наказанием». «Как? Вы считаете погребение за благословение? — возразил мне этот человек. — Но, по чести, можете ли вы себе представить нечто более

страшное, чем мертвое тело, ползающее от множества червяков, которые в нем кишат, отданное на съедение жабам, которые грызут его, одним словом, чуму, облеченную в человеческое тело. Боже милосердный! Одна только мысль о том, что когда я умру, лицо мое будет покрыто простыней и надо мной будет лежать слой земли в пять локтей, уже отнимает у меня дыхание. Этот негодяй, которого несут перед вашими глазами, был приговорен не только к тому, чтобы его тело было брошено в могилу, но и к тому, чтобы во время похорон его сопровождало сто пятьдесят его друзей, а им было приказано в наказание за то, что они любили завистника и неблагодарного человека, явиться на эти похороны с печальным лицом; если бы судьи не сжалились над ними и не приписали его преступления недостатку его ума, то был бы отдан приказ, чтобы они на похоронах плакали. Здесь сжигают всех, кроме преступников; и это обычай очень пристойный и очень благородный, ибо мы думаем, что так как огонь отделяет чистос от нечистого, то тепло, исходящее из пламени, при сожжении по симпатии привлекает то естественное тепло, которое составляло душу умершего, и дает ей силу, поднимаясь все выше и выше, достигнуть какого-нибудь светила, представляющего собою землю, обитаемую другим народом, более бесплотным и более интеллектуальным, чем мы, потому что его температурент соответствует чистоте того светила, на котором он обитает, составляя его часть; и там это животворное пламя, еще более очистившееся благодаря утонченности элементов этого мира, создаст нового гражданина этой огненной страны.

И это еще не самый прекрасный из способов похорон, которым мы пользуемся. Когда кто-нибудь из наших философов достигает того возраста, когда он чувствует, что слабеет его ум и застывают его чувства, он собирает своих друзей на роскошный пир, разъясняет им все причины, заставляющие его принять решение проститься с жизнью, говоря, что он уже мало надеется что-либо прибавить к совершенным им уже деяниям; тогда ему или оказывают милость, т. е. позволяют ему умереть, или дают строгий приказ продолжать жить. Когда же, на основании решения, вынесенного по большинству голосов, ему отдают во власть его дыхание, он сообщает о назначенном для смерти месте и дне своим самым близким и дорогим. Эти

последние очищают себя и воздерживаются от еды в течение двадцати четырех часов; затем, придя к жилищу мудреца, они входят в комнату, где благородный старик ожидает их на парадной кровати. Каждый из них по очереди и согласно своему положению подходит к нему и целует его; когда очередь доходит до того, кого он любит больше всех, то, нежно поцеловав его, он нежно прижимает его к своему животу и, прильнув своим ртом к его рту, он правой свободной рукой пронзает свое сердце кинжалом. Любящий друг не отрывает своего рта от рта умирающего любимого человека, пока не почувствует, что он испустил последнее дыхание; тогда он вынимает кинжал из его сердца и, закрывая рану своим ртом, глотает его кровь, которую высасывает сколько может; его сменяет другой, а первого уносят и укладывают на кровать; когда насытится второй, его тоже укладывают и он уступает место третьему; наконец, после того, как это проделает все общество, каждому приводят шестнадцатилетнюю или семнадцатилетнюю девушку, и в течение трех или четырех дней, которые они проводят в наслаждениях любви, они питаются только мясом умершего, которое должны есть в совершенно сыром виде с тем, что если от ста объятий уродится хотя бы одно существо, они могли бы быть уверены, что это ожил их друг.

Я не дал себе злоупотреблять терпением этого человека и оставил его продолжать свою прогулку. Хотя я недолго гулял, однако на эти зрелища и на посещение некоторых мест в городе я потратил столько времени, что когда я вернулся, обед ждал меня уже два часа. Меня спросили, почему я так запоздал. «Я не виноват, — сказал я повару, который жаловался, — я несколько раз спрашивал на улице, который час, но мне отвечали, только открывая рот, сжимая зубы и поворачивая лицо в сторону».

«Как! — воскликнуло все общество. — Вы еще не знаете, что этим они показывали вам, который час?»

«По чести, им бы долго пришлось выставлять на солнце свои длинные носы, прежде чем я бы это понял!» — «Это большое удобство, которое дает им возможность обходиться без часов, ибо зубы служат им самым верным циферблатом; когда они хотят кому-нибудь указать время, они раскрывают губы, и тень от носа, падающая на зубы, показывает, как на солнечных часах, то время, которое интересует любопытного. Теперь, чтобы

вам было понятно, почему в этой стране у всех большие носы, знайте, что как только женщина родила ребенка, матрона несет его начальнику Семинарии; а в самом конце года собираются эксперты; если его нос находят короче той определенной нормы, которая хранится у старшины, он считается курносым и его отдают в руки людей, которые его кастрируют. Вы спросите меня, какова причина этого варварства и как возможно, что мы, для которых девство есть преступление, насильно производим девственников? Но да будет вам известно, что мы стали поступать так после того, как в течение тридцати веков наблюдали, что большой нос есть вывеска, на которой написано: вот человек умный, осторожный, учтивый, приветливый, благородный, щедрый; маленький же нос — признак противоположных пороков. Вот почему из курносых у нас делают евнухов: республика предпочитает не иметь детей, чем иметь таких, которые были бы на них похожи».

Он еще говорил, когда я заметил, что вошел совершенно голый человек. Я тотчас же сел и надел на себя шляпу, чтобы оказать ему почет, ибо покрыть свою голову — это самый большой знак уважения, который можно оказать в этой стране. «Правительство, — сказал он, — желает, чтобы вы сообщили властям о своем отъезде в ваш мир, потому что один математик только что обещал Совету, что если только вы, вернувшись к себе, согласитесь построить одну машину, устройству которой он вас научит и которая будет соответствовать другой машине, которую он построит здесь, он притянет ваш земной шар и присоединит его к нашему». «Скажите, же, пожалуйста, — сказал я, обращаясь к своему хозяину, когда тот ушел, — почему у этого посланного на пояс был мужской член из бронзы? Я наблюдал это уже несколько раз, пока сидел в клетке, но не решался об этом никогда спрашивать, потому что меня окружали прислужницы королевы и я боялся нарушить уважение, приличествующее их полу и званию, обратив их внимание на столь неприличный предмет». Он же мне отвечал: «Самки здесь, точно так же как и самцы, вовсе не так неблагодарны, чтобы краснеть при виде того, что их создало, и девушки не стыдятся того, что им нравится видеть на нас, в память своей матери природы, единственную вещь, которая носит ее имя. Знайте же, что пояс, данный этому человеку как знак от-

личия, на котором висит в виде медали изображение мужского члена, есть символ дворянина; это тот знак, который отличает человека благородного происхождения от простолюдина». Этот парадокс показался мне до такой степени странным, что я не мог воздержаться от смеха. «Этот обычай представляется мне весьма странным, — возразил я, — ибо в нашем мире признаком благородного происхождения является право носить шпагу». Но хозяин, нисколько не смутившись, воскликнул: «О, мой маленький человечек! Как! Знатные люди вашей страны так стремятся выставить напоказ оружие, которое служит признаком палача, которое выковывается только с целью уничтожения, которое, наконец, есть заклятый враг всего живущего; и в то же время вы скрываете тот член, без которого мы бы не существовали: он есть Прометей всего живого и неутомимый исправитель ошибок природы. Несчастливая страна, где позорно то, что напоминает о рождении, и почетно то, что говорит об уничтожении. И вы называете этот член позорной частью тела, как будто есть нечто более почетное, чем давать жизнь, и нечто более позорное, чем ее отнимать». Во время всего этого разговора мы продолжали обедать, а тотчас после обеда отправились в сад подышать свежим воздухом. Происшествия дня и красота местности заняли наше внимание на некоторое время, но так как я все время был одушевлен благородным желанием обратить в нашу веру душу, стоявшую так высоко над уровнем толпы, я стал увещевать его, умоляя не допустить до того, чтобы погрязнул в материи блестящий ум, которым его одарило небо; я убеждал его освободить из-под звериных тисков свою душу, способную созерцать божество, и серьезно подумать о том, чтобы в будущем проводить свое бессмертие не в страдании, а в радости.

«Как, — возразил он, расхохотавшись, — вы считаете, что ваша душа бессмертна и что в этом ее преимущество перед душой животных? По правде сказать, ваша гордость очень дерзновенна, и откуда заключаете вы, скажите, пожалуйста, об этом бессмертии, которым люди пользуются преимущественно перед животными? Из того ли, что мы одарены способностью рассуждать, а они нет? Во-первых, я это отрицаю и докажу вам, если вы хотите, что они рассуждают так же, как и мы. Но если бы даже было верно то, что разум есть преимущество, предоставленное исключительно человеческому роду, разве это значит, что бог должен одарить человека бессмертием на

том основании, что одарил его разумом? На том же основании я должен был бы сегодня дать этому бедняку десять франков, потому что вчера дал ему пять. Вы сами видите, как ложен этот вывод, и что наоборот, если я справедлив, то вместо того, чтобы дать десять франков этому, я должен дать тому пять, так как он от меня ничего не получал. Из этого нужно вывести такое заключение, мой дорогой товарищ, что бог, который еще в тысячу раз более справедлив, чем мы, не мог излить всех своих благодеяний на одних, с тем чтобы другим не дать ничего. Если вы будете ссылаться на пример старших сыновей в вашем мире, которым выпадает на долю почти все имущество семьи, я вам скажу, что это происходит от немощи родителей, которые, желая сохранить свое имя, боятся, чтобы оно не погибло и не заглохло в бедности. Но бог, который не может ошибаться, конечно, так бы не поступил и так как вечности у бога нет ни раньше ни после, то младшие сыновья у него не моложе старших». — Я не скрою, что эти рассуждения поколебали меня. «Вы мне разрешите прекратить разговор на эту тему, так как я не чувствую себя достаточно сильным, чтобы вам возражать. Я пойду к нашему наставнику и попрошу его разрешить все эти затруднительные вопросы».

Не ожидая его ответа, я тотчас же поднялся в комнату демона и, не теряя времени, сразу сообщил ему все возражения против бессмертия души, которые только что слышал, и он мне отвечал: «Сын мой, этот молодой ветреник страстно желает вам доказать, что нет никакого правдоподобия в том, чтобы душа человека была бессмертна; иначе бог был бы несправедлив, так как он, который признает себя общим отцом всего живущего, одарил бы преимуществами один вид существ, а всех остальных предоставил бы небытию или страданию. Эти доводы кажутся блестящими только издали. Я же его спрошу: почему он знает, что то, что кажется нам справедливостью, есть также справедливость в глазах бога? Почему он знает, мерит ли бог на наш аршин? Почему он знает, что наши законы и наши обычаи, которые были учреждены только для того, чтобы умиротворить наши раздоры, точно так же нужны всемогуществу божьему? Я не буду останавливаться на всех этих вещах, ни на тех божественных ответах, которые давали всему этому отцы вашей церкви, и открою вам одну тайну, которая еще никому не была открыта.

Вы знаете, о мой сын, что из земли образуется дерево, из дерева свинья, из свиньи человек, и так как мы видим,

что в природе все существа стремятся к усовершенствованию, не естественно ли думать, что все они стремятся к тому, чтобы стать человеком, ибо сущность человека есть завершение самого прекрасного смешения, выше которого нельзя себе ничего представить на свете: он один соединяет в себе жизнь животную и жизнь ангельскую. Нужно быть педантом, чтобы отрицать эти метаморфозы; разве мы не видим, что сливное дерево благодаря теплу, заключенному в его семени, всасывает в себя и затем переваривает ту траву, которая растет вокруг него; что свинья пожирает этот плод и превращает его в часть самой себя; что человек, съедая свинью, согревает эту мертвую плоть, присоединяет ее к себе и воскрешает это животное в более благородном виде, так что первосвященник, которого вы видите с митрой на голове, был, может быть, шестьдесят лет тому назад пучком травы в моем саду. И так бог, будучи общим отцом всех тварей, любит их одинаковой любовью, и не правдоподобно ли, что согласно этому учению о перевоплощении, более обоснованному, чем учение пифагорейцев, все, что чувствует, все, что произрастает, одним словом, вся материя должна пройти через человека и после этого уже наступит тот великий день суда, который является у пророков завершительной тайной их философии».

Очень довольный разговором, я спустился в сад и стал пересказывать своему товарищу то, чему научил меня наш учитель, но в это время пришел физионом и увел нас ужинать, а затем спать. Я не буду повторять подробностей этого, так как меня накормили, а затем уложили спать, так же как и накануне.

На другой день, как только я проснулся, я отправился к своему противнику и хотел его поднять с постели. «Видеть такой великий ум, как ваш, погруженный в сон, это такое же великое чудо, как видеть пламя, которое бездействует». Ему был неприятен этот неудачный комплимент. «Но, — закричал он с гневом, к которому примешивалась любовь, — неужели вы никогда не отделяетесь от употребления таких слов, как чудеса? Знайте же, что употреблять эти слова значит клеветать на звание философа и что так как для мудреца нет на свете ничего такого, чего бы он не понимал или не считал доступным пониманию, то он должен ненавидеть все такие слова, как «чудеса», «сверхъестественное», выдуманные глупцами, чтобы оправдать немощь своего разума».

Я считал тогда долгом своей совести взять слово, чтобы вывести его из заблуждения. «Хотя вы и не верите в чудеса, но я должен вам сказать, что они происходят и притом часто. Я видел их своими глазами. Я видел более двадцати больных, исцеленных чудом». «Вы утверждаете, что они были исцелены чудом, — сказал он, — но вы не знаете, что сила воображения способна исцелять все болезни благодаря существованию в природе бальзама целебного вещества, заключающего в себе все свойства противоположные естеству болезней, на нас нападающих. Наше воображение, предупрежденное болью отправляется в поиски за специфическим средством, которое оно противопоставляет яду болезни и исцеляет нас. По той же причине умный врач вашего мира посоветует больному обратиться предпочтительно к невежественному доктору, который считается искусным, чем к очень искусному, который считается невежественным, ибо он знает, что наше воображение, работая на пользу нашего здоровья, вполне может нас исцелить, если только ему сколько-нибудь приходит на помощь и лекарство. Он знает также, что самое сильное лекарство окажется бессильным, если воображение не будет его применять. Ведь вас не удивляет, что первые люди, населявшие вашу землю, жили несколько веков, не имея понятия о медицине.

Здоровье их было еще в полной силе, точно так же как этот всемирный бальзам еще не был рассеян по всем тем лекарствам, которыми вас пичкают ваши доктора; в то время, чтобы выздороветь людям достаточно было этого сильно пожелать и представить себе, что они здоровы. Их фантазия, ясная, мощная и напряженная, погружалась в этот жизненный эликсир и применяла действительное к страдательному, и почти в одно мгновение они чувствовали себя такими же здоровыми, как до болезни. И теперь иногда совершаются удивительные исцеления, но чернь приписывает их чуду. Я со своей стороны совершенно этому не верю на том основании, что гораздо естественнее предположить, что ошибаются эти болтуны, чем допустить, что такое дело действительно совершилось. Я их спрошу: не естественно ли то, что человек, выздоровевши от лихорадки во время болезни, страстно желая исцелиться, давал обеты. По необходимости он должен был или умереть, или продолжать болеть, или же выздороветь. Если бы он умер, сказали бы, что бог вознаграждал его за его страдания: с некоторой насмешливой двусмысленностью сказали бы даже, может быть, что

по молитве больного бог исцелил его от всех недугов; если бы он продолжал болеть, сказали бы, что недостаточна была его вера; а так как он исцелился, то сказали, что это несомненное чудо. Не более ли естественно думать, что его воображение, возбужденное страстным желанием выздороветь, вызвало это выздоровление. Ибо я вполне допускаю, что он спасся от смерти. А сколь многие из тех, кто давали обеты во время болезни, погибли вместе со своими обетами?»

«Но, по крайней мере, — возразил я, — если правда то, что вы говорите об этом бальзаме, это есть признак разумности нашей души, ибо в этом случае, не пользуясь нашим рассудком и не опираясь на нашу волю, даже будучи как бы вне ее, она тем не менее сама по себе применяет действительное к страдательному. Если же, действуя независимо от нас, она действует разумно, необходимо признать, что она имеет духовную сущность; а если вы признаете, что она такова, я вывожу из этого заключение, что она бессмертна, ибо смерть животного наступает только вследствие изменения его форм, а оно возможно лишь в материи». Тут этот молодой человек привстал на кровати, усадил меня около себя и заговорил так:

«Что касается души животных, которая телесного происхождения, то я удивляюсь тому, что она умирает, так как она, быть может, не что иное, как гармония четырех свойств, или сила крови, или же удачно прилаженная соразмерность органов; но меня очень удивляет то, что наша душа, интеллектуальная, разумная, бесплотная и бессмертная, принуждена выходить из нашего тела по тем же причинам, как душа вола. Разве она заключила с нашим телом такой договор, что когда удар саблей пронзит его сердце и свинцовая пуля проникнет в его мозг, или штык проколет его мышцы, она тотчас же покинет свой продырявленный дом? Да и в таком случае ей бы пришлось часто нарушать свой договор, ибо одни умирают от той самой раны, от которой другие выздоравливают. Нужно было бы думать, что каждая душа заключила особый договор с своим телом. Очевидно, эта душа, которая так умна, в чем нас все время хотят уверить, сильно стремится выйти из своего жилища, хотя она знает, что после этого ей будет приготовлено помещение в аду. Но если эта душа духовна и разумна сама по себе, как они говорят, если она способна рассуждать, когда она отделена от нашей плоти, точно так же, как и в то время, когда облечена плотью, — если все это так, скажите, пожалуйста, поче-

му же в таком случае слепорожденный не может даже представить себе, что значит видеть, несмотря на все преимущества, которыми одарена эта душа. Почему глухой не слышит? Не потому ли, что смерть еще не лишила его всех чувств? Как! Неужели же потому, что у меня есть левая рука, я не могу пользоваться правой? Желая объяснить, почему душа не может действовать помимо чувств, хотя бы она была и нематериальна, они приводят пример художника, который не может написать картину, если у него нет кистей. Да, но это не значит, что если бы этот художник вдобавок потерял краски и карандаши и полотно, он написал бы лучшую картину. Наоборот! Чем больше препятствий он встретит, тем менее возможной станет для него работа. И тем не менее они утверждают, что та же душа, которая может действовать весьма несовершенно, утратив в течение жизни одно из своих орудий, может действовать совершенно, когда после нашей смерти она потеряет все эти орудия. Если они будут повторять свой припев, что эти орудия ей не нужны и она без них будет выполнять свои функции, я им повторю свой припев, что нужно высечь тех слепых, которые притворяются, что они ничего этого не видят.

«Но, — сказал я, — если бы наша душа была смертной — а я вижу, что вы хотите вывести из вашей речи это заключение, — это значит, что то воскресение, которое мы ожидаем, — одна лишь иллюзия? Ибо если вы правы, то богу пришлось бы вновь создавать души, а это уже не было бы воскресением?»

«Эх, — прервал он меня, качая головой, — кто убаюкивал вас этими сказками? Как! Вы, я, моя служанка — мы все воскреснем?» — «Это вовсе не вымышленная сказка, это неоспоримая истина, которую я вам докажу». «А я, — сказал он, — докажу вам противоположное. Для начала я сделаю предположение, что вы съели магометанина. Вы, таким образом, превратили его в свою сущность. Этот переваренный магометанин превращается частью в плоть, частью в кровь, частью в спермы. Вы обнимаете вашу жену, а из семени, произошедшего целиком от умершего магометанина, вы производите на свет хорошенького маленького христианина. Я спрашиваю: получит ли магометанин свою плоть в воскресении? Если земля вернет ему эту плоть, то маленький христианин не получит своей, так как она в целом есть только часть тела магометанина. Если вы мне скажете, что маленький христианин получит свою плоть, это будет значить, что бог отнял у магомета-

нина то, что маленький христианин получил только от магометанина. Таким образом, неизбежно, чтобы тот или другой остались без плоти. Вы мне возразите, быть может, что бог создает новую материю, чтобы дать ее тому, у кого ее не хватает. Да, но тут возникает новое затруднение: представьте себе, что воскресает проклятый магометанин и бог доставляет ему совершенно новое тело, так как его тело целиком украл христианин; но ведь ни тело само по себе, ни душа сама по себе не составляют человека, а только соединение того и другого в одном существе, так как и тело и душа одинаково составляют его часть; поэтому если бог даст магометанину другое тело, чем его прежнее, то будет уже не тот магометанин, а другое лицо. Таким образом бог осуждает на вечное мучение другого человека, а не того, который заслужил ад. Это тело развратничало, оно преступно злоупотребило всеми своими чувствами, и бог, чтобы наказать его, повергает в огонь другое тело, девственное, чистое, которое никогда не воспользовалось своими чувствами для совершения малейшего преступления. А еще смешней обстоит бы дело, если бы это тело одновременно заслужило и рай, и ад. Ибо как магометанин он должен быть осужден; как христианин он должен быть спасен; если бог поместит его в рай, он будет несправедлив, заменяя славой осуждение, которое это тело заслужило как тело магометанина; если он ввергнет его в ад, он тоже будет несправедлив, заменив вечной смертью блаженство, которое заслужил христианин. Поэтому, чтобы быть справедливым, он должен одновременно вечно осуждать и вечно спасать этого человека».

Тут я заговорил такими словами: «Я ничего не могу возразить на ваши софистические аргументы против воскресения. Но дело в том, что так сказал бог, а бог не может лгать». «Не спешите, — возразил он, — вы уже прибегаете к аргументу: так сказал бог; но прежде нужно доказать, что бог существует. Что касается до меня, то я отрицаю это совершенно».

«Я не стану терять времени на то, чтобы повторять вам те неопровержимые доказательства, которыми пользовались философы для того, чтобы установить существование бога. Пришлось бы повторить все то, что писали здравомыслящие люди. Я вас спрошу только, какому неудобству вы подвергнете себя, если поверите этому? Я уверен, что вы не можете мне указать ни одного; итак, если от веры в бога не может произойти ничего, кроме пользы, по-

чему вам себя в этом не убедить? Ибо если бог есть, помимо того, что вы, не веря в него, ошибетесь в своих расчетах, вы еще ослушаетесь заповеди, которая требует от вас веры; а если его нет, то ваше положение не будет лучше нашего».

«Это неверно, — возразил он, — оно будет лучше вашего, ибо если бога нет, то вы и я в долгу не останемся. Если он существует — я все-таки не мог оскорбить то, о существовании чего я не знал, ибо для того, чтобы грешить, нужно или знать, что совершаешь грех, или хотеть его совершить. Ведь не правда ли, человек даже неумный не обиделся бы оттого, что его оскорбил мошенник, если бы этот мошенник сделал это нечаянно или приняв его за кого-нибудь другого, или если бы его слова были вызваны вином. Тем более бог, непоколебимый и неуязвимый, не разгневается на вас за то, что мы его не poznали, ибо он сам отнял у нас средства его познавать. Но скажите по чести, мое маленькое животное, если бы вера в бога была для нас необходима, если бы от нее зависела наша вечная жизнь, неужели сам бог не окружил бы нас светом, таким же ярким, как свет солнца, которое ни от кого не прячется. Ибо воображать, что он хотел играть с людьми в прятки, т. е. то надевать маску, то снимать ее, скрываться от одних и открывать себя другим, это значит создавать себе образ бога глупого или злого, ибо если я познал его благодаря силе своего ума, это его заслуга, а не моя, тем более, что он мог дать мне тупую душу или нечувствительные органы, так что я бы его не познал. Если бы, наоборот, он дал мне ум, неспособный его понять, это была бы не моя вина, а его, так как он мог дать мне острый ум, который бы его познал».

Эти смешные и дьявольские речи вызвали содрогание во всем моем теле. Я тогда стал рассматривать этого человека с большим вниманием, чем раньше, и был изумлен, увидев на его лице что-то такое страшное, чего я раньше никогда не замечал. Его глаза были маленькие и сидели глубоко, цвет лица смуглый, рот огромный, подбородок волосатый, ногти черные. «О боже, — подумал я, — несчастный отвержен от этой жизни. А может быть, это сам антихрист, о котором так много говорят в нашем мире».

Однако я не хотел открывать ему своих помыслов, потому что очень ценил его ум, и действительно те приятные дары, которыми природа одарила его в колыбели, сделали то, что я проникся к нему некоторой любо-

зью. Я не мог, однако, воздержаться настолько, чтобы не разразиться проклятиями, грозившими ему плохим концом. Но он еще более гневно воскликнул: «Да, клянусь смертью...» Я не знаю, что он собирался сказать, ибо в эту минуту кто-то постучал в дверь нашей комнаты, и я увидел, как вошел человек высокого роста, черный и весь волосатый. Он подошел к нам и, ухватив богохульника поперек тела, унес его через трубу. Жалость к судьбе несчастного заставила меня ухватиться за него, чтобы вырвать из когтей Эфиопа. Но тот был так силен, что унес нас обоих, так что в одно мгновение мы были уже на облаках. Теперь я крепко сжимал его руки не из любви к ближнему, но из страха упасть. После того как много дней мне все казалось, что мы протыкали небо, и я не знал, что со мной будет, я наконец понял, что приближаюсь к Земле. Я уже начал отличать Азию от Европы и Европу от Африки, но мои глаза, ввиду согнутого моего положения, не могли видеть ничего, кроме Италии, когда сердце мое подсказало, что это, наверное, дьявол уносит в ад моего хозяина в духе и во плоти и что мы приближаемся к нашей Земле, потому что ад помещается в центре ее. Однако я совершенно забыл как это соображение, так и все то, что со мной случилось с тех пор, как черт был нашим возницей, от того страха, который я испытал при виде горы, которая была вся в огне и которой мы чуть не коснулись. Это страшное зрелище вызвало крик из моей груди: Иисус, Мария! Едва я успел произнести последние буквы этих слов, как я уже лежал на вереске на склоне маленького холма; около меня стояли два или три пастуха, которые читали молитвы и говорили со мною по-итальянски. «О, слава богу, — воскликнул я, — наконец-то я нашел христиан на Луне. Скажите мне, друзья, в какой провинции вашего мира я теперь нахожусь?»

«В Италии», — отвечали они. «Как, — прервал я их, — разве на Луне тоже есть Италия?» Я еще совершенно не успел обдумать случившееся со мной происшествие, но, еще сам того не замечая, говорил с ними по-итальянски, как и они со мной.

Когда я наконец окончательно был выведен из заблуждения и ничто уже не мешало мне понимать, что я вернулся на Землю, я позволил крестьянам увести меня, куда они хотели. Но не успел я еще дойти до ближайшего селения, как все местные собаки бросились на меня, и если бы я от страха не спасся в дом, где я накрепко заперся от них, я был бы растерзан.

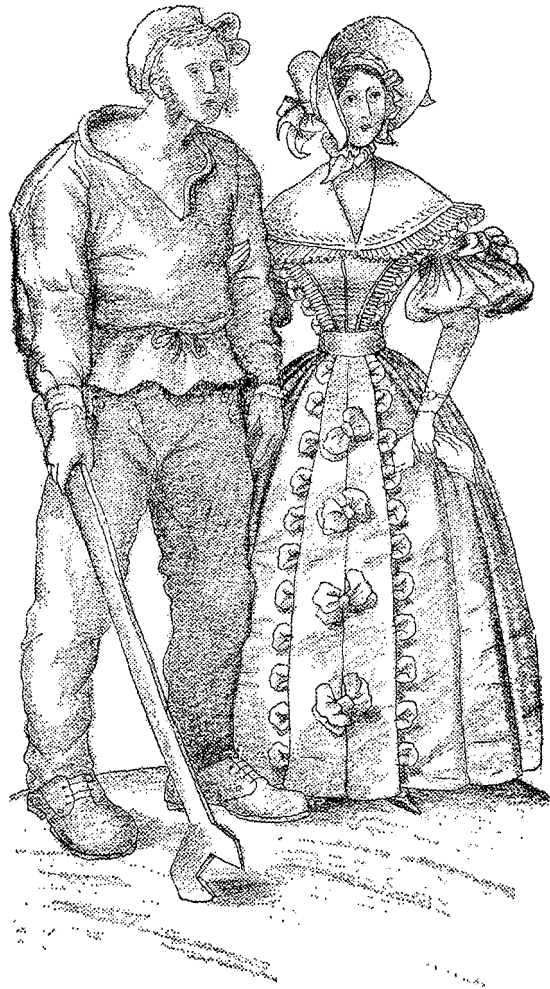
Четверть часа спустя, пока я отдыхал в этом помещении, вокруг дома устроили целый шабаш собаки чуть ли не со всего королевства; начиная от болонок и до догов, они были с таким бешенством, как будто праздновали годовщину своего первого предка.

Это происшествие чрезвычайно удивило всех, кто был этому свидетелем, но как только я оторвался от своих мечтаний и сосредоточил свои мысли на этом обстоятельстве, я тотчас же подумал, что остервенение этих животных против меня вызвано тем, что я появился с Луны, ибо, говорил я сам себе, так как они привыкли лаять на Луну за ту боль, которую она им издали причиняет, они, конечно, хотели броситься на меня, потому что от меня пахнет Луной, а этот запах их раздражает.

Чтобы выветрить этот дурной запах, я совершенно голый уселся на террасе, на самом солнце. Я просидел так часа четыре или пять, после чего сошел вниз, и собаки, не чувствуя более того запаха, который сделал меня их врагом, разошлись каждая восвояси.

В порту я справился о том, когда отплывает корабль во Францию, а с той минуты как я сел на него, все мои мысли были исключительно заняты воспоминаниями о тех чудесах, которые я видел во время своего путешествия. Я восхищался тем промыслом Божиим, который удалил этих людей, по природе неверующих, в такое место, где бы они не могли развратить избранных им, и который наказал их за их самодовольство и гордость, предоставив их самим себе. Поэтому я не сомневаюсь в том, что он до сих пор не послал к ним с проповедью евангелия, потому что он знал, что они употребят его во зло и что это лишь усугубит кару, которая постигнет их на том свете.

Этьен КАБЕ
Путешествие в Икарию
Философский и социальный роман





Часть первая

Глава первая *Цель путешествия* *Отъезд*

Читатель, надеюсь, простит меня, если я сначала объясню ему в нескольких словах, что побудило меня опубликовать рассказ о путешествии, которое было совершено другим лицом.

Я познакомился с лордом У. Керисдоллом в Париже, у генерала Лафайета. Понятно было бы удовольствие, которое я испытал, встретившись с ним в Лондоне в 1834 году, если бы я мог, не задевая его скромности, говорить о всех качествах его ума и сердца. Я мог бы сказать, что он один из самых богатых сеньоров трех королевств и один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел, с самой симпатичной физиономией, какую я знаю. Я мог бы сказать это, не вызывая его недовольства, ибо он не чванится этими милостями случая, но я не буду говорить ни о широте его познаний, ни о благородстве его характера, ни об учтивости его манер. Скажу только, что, лишенный с детства отца и матери, он провел свою молодость в путешествиях и что страстью его было изучение не каких-либо пустых предметов, а только тех, которые представляют интерес для человечества.

Он часто с горечью повторял, что всюду на земле видел человека несчастным, даже там, где природа, казалось, собрала все для его счастья; он жаловался на недостатки общественного строя в Англии, как и в других странах, и все же считал, что аристократическая монархия, наподобие монархии его страны, представляет

форму правления и общества более всего пригодную для человеческого рода.

В один прекрасный день, когда он сообщил мне о своем намерении жениться на мисс Генриетте, одной из богатейших и красивейших наследниц Англии, он заметил на моем столе книгу в красивом и оригинальном переплете, которую подарил мне путешественник, прибывший недавно из Икарии.

— Что это за книга? — спросил он, взяв ее, чтобы рассмотреть. — Какая прекрасная бумага! Какая великолепная печать! Как, это грамматика!

— Да, грамматика и словарь, — ответил я. — Можете радоваться. Вы часто жалуетесь на препятствия, которые ставят успехам просвещения множественность и несовершенство языков. И вот, язык в высшей степени правильный и простой, все слова которого пишутся, как говорят-ся, и произносятся, как пишутся. Правила этого языка немногочисленны и не имеют никаких исключений, все слова, правильно образованные из небольшого числа корней, имеют совершенно определенное значение, грамматика и словарь так просты, что они содержатся в этой маленькой книге, и изучение этого языка так легко, что любой человек может научиться ему в четыре-пять месяцев.

— В самом деле! Значит, это и есть, наконец, столь желанный всеобщий язык.

— Да, я не сомневаюсь в этом. Рано или поздно все народы примут его взамен своего или в дополнение к нему, и икарийский язык станет когда-нибудь языком всего мира.

— Но что это за страна — Икария? Я о ней никогда не слышал.

— Верю вам. Это страна, которая была до сих пор неизвестна и только недавно открыта. Это нечто вроде Нового мира.

— И что вам о ней рассказывал ваш друг?

— О, друг мой говорит о ней, как человек, которого энтузиазм свел с ума. Если верить ему, это страна, столь же населенная, как Франция и Англия, вместе взятые, хотя едва ли больше по территории, чем одна из них. Если послушать его, это страна чудес и сокровищ: дороги, реки, каналы — прекрасны, поля — восхитительны, сады — волшебны, жилища — уютны, деревни — очарова-

тельны, города — великолепны и украшены памятниками, которые напоминают памятники Рима и Афин, Египта и Вавилона, Италии и Китая. Если верить ему, промышленность этой страны превосходит промышленность Англии, а искусства стоят выше, чем искусства Франции. Нигде не встретить такого числа колоссальных машин, как в этой стране; там путешествуют на воздушных шарах, и празднества, которые устраиваются в воздухе, затмевают своим великолепием самые блестящие празднества на земле. Деревья, плоды, цветы, животные всякого рода — все там вызывает удивление. Дети там прелестны, мужчины сильны и красивы, женщины очаровательны и божественны. Все общественные и политические учреждения отличаются разумностью, справедливостью и мудростью. Преступления там неизвестны. Все живут в мире, удовольствии, радости и счастье. Одним словом, Икария — это поистине вторая обетованная земля, Эдем, Элизиум, новый земной рай.

— Ваш друг настоящий фантазер, — заметил милорд.

— Возможно, и я боюсь этого. Однако он имеет репутацию философа и мудреца. Впрочем, эта грамматика, это совершенство переплета, бумаги и печати, в особенности этот икарийский язык, — не являются ли они первым чудом, предвещающим другие чудеса?

— Правда! Этот язык смущает и волнует меня. Не можете ли вы дать мне эту грамматику на несколько дней?

— Конечно. Можете ее взять.

И он ушел от меня с задумчивым и озабоченным видом.

Через несколько дней я зашел к нему.

— Ну как? — сказал он, увидя меня, — едете? Я решил ехать!

— И куда вы направляетесь?

— Как, вы не догадываетесь? В Икарию.

— В Икарию! Вы смеетесь!

— Ничуть. Четыре месяца — дорога туда, четыре месяца, чтобы ознакомиться со страной, четыре — на обратный путь, и через год я расскажу вам все, что я видел.

— А ваше намерение жениться?..

— Ей нет еще пятнадцати лет, а мне — едва двадцать два года. Она еще не вступила в свет, а я не закончил своего образования. Мы никогда еще не виделись. Разлука и этот портрет, который я уношу с собой, заставят меня

еще больше желать оригинал... Я сгораю от желания увидеть Икарию. Вы будете надо мною смеяться, но меня просто лихорадит! Я хочу видеть совершенное общество, вполне счастливый народ... А через год я вернусь и женюсь.

— Мне очень досадно, что друг мой ушел во Францию. Но я напишу ему, чтобы узнать подробности о его путешествии, которые могли бы вам пригодиться.

— Спасибо. Это бесполезно. Мне не нужно больше знать ничего. Я хотел бы забыть даже все, что вы мне сказали. Я хочу испытать полностью удовольствие неожиданности. Паспорт, две или три тысячи гиней в кошельке, мой верный Джон и ваша икарийская грамматика, которую я стащу у вас, — вот и все, что мне нужно. Зная уже семь других языков, я без особых затруднений изучу и этот язык в дороге.

— А если кто-нибудь скажет, что вы оригинал, эксцентричный человек?

— Сумасшедший, быть может?

— Да, сумасшедший!

— Ну, значит, и вы можете присоединиться к нему. Я буду над ним смеяться, если только буду иметь удовольствие встретить народ в таком состоянии, в каком хотел бы видеть весь род человеческий.

— Вы будете вести дневник вашего путешествия?

— Конечно.

Он вернулся в июне 1837 года в еще большем восторге от Икарии, чем мой друг, которого я называл фантазером, но больной, терзаемый скорбью, с разбитым сердцем, точно умирающий.

Я нашел его дневник (ибо он сдержал слово) настолько интересным и признания его столь трогательными, что настаивал на его опубликовании.

Он согласился на это, но, слишком больной, чтобы заняться самому этим делом, он передал мне свою рукопись, предоставив мне право сделать все необходимые сокращения и прося меня исправить небрежность стиля, которая вызвана была спешностью работы.

Я, действительно, счел возможным сократить некоторые детали, которые, вероятно, будут опубликованы позже, но я не внес никаких поправок, предпочитая лучше оставить некоторые ошибки, чем изменить подлинник. Благородный молодой путешественник сам расскажет о своих приключениях и путешествии, о своих радостях и огорчениях.

Глава
вторая *Прибытие в Икарию*

Я покинул Лондон 22 декабря 1835 года и приехал 24 апреля вместе с верным товарищем моих путешествий, моим добрым Джоном, в порт Камирис, на восточном берегу страны Марволей. Ее отделяет от Икарии морской пролив, для переезда через который требуется шесть часов.

Не буду рассказывать о своих многочисленных приключениях в дороге. Меня обворовывали почти на всех постоянных дворах; на одном чуть не отравили; преследовали жандармы или чиповники; терзали и придирались на таможенных. Я был арестован и заключен в темницу на несколько дней за то, что резко ответил на грубость одного таможенного чиновника. Мне грозила часто опасность разбиться вместе с нашим экипажем на отвратительных дорогах. Только чудом спасся я из пропасти, куда меня сбросил несчастный возница, одуревший от пьянства. Раз я был почти занесен снегом, а затем чуть не погиб в песках. Три раза нападали на меня разбойники. Я был ранен, находясь между двумя путешественниками, которые были убиты рядом со мной. И тем сильнее я ощущал невыразимое счастье, когда, наконец, добрался до цели своего путешествия.

Я был тем более счастлив, когда, встретив там икарийцев, убедился, что говорю на икарийском языке, который я сделал единственным предметом своих занятий в дороге.

Радость моя еще возросла, когда я узнал, что иностранцы, не говорящие на этом языке, не допускаются в Икарию; они обязаны остаться на несколько месяцев в Камирисе, чтобы изучить язык.

Я узнал скоро, что марволи являются союзниками икарийцев, а Камирис — почти икарийский город, что икарийский пароход должен завтра отправиться в Тираму, в Икарии, и нужно сперва обратиться к икарийскому консулу, дом которого находится недалеко от пристани, и что этот чиновник всегда готов принять иностранцев.

Я сейчас же направился в консульство и немедленно был допущен.

Консул принял меня весьма радушно и усадил рядом с собой.

— Если вы хотите, — сказал он мне, — покупать какие-нибудь товары, то не сто́ит ехать в Икарию, ибо мы не продаем ничего; если вы едете туда продавать товары, то лучше оставайтесь, ибо мы ничего не покупаем. Но если вас влечет туда только любознательность, вы можете ехать; ваше путешествие доставит вам много удовольствия.

«Они ничего не продают, ничего не покупают», — повторял я про себя с удивлением.

Я объяснил ему мотивы своего путешествия и передал свой паспорт.

— Вы, стало быть, любопытствуете посмотреть нашу страну, милорд? — спросил он, просмотрев мой паспорт.

— Да, я хочу видеть, действительно ли у вас все так хорошо организовано и вы так счастливы, как я слышал, я хочу изучать и учиться!

— Хорошо, очень хорошо! Мои сограждане с радостью принимают иностранцев, и в особенности влиятельных лиц, которые изучают средства быть счастливыми, чтобы переносить их в свою страну. Вы можете посетить и осмотреть всю Икарию, и икарийский народ, считая вас своим гостем и другом, всюду примет вас, как этого требует честь страны.

— Я должен, однако, — продолжал он, — как в интересах моих сограждан, так и в ваших, указать вам условия допущения в нашу страну.

Вы обязуетесь сообразоваться с нашими законами и обычаями, как это подробно указано в «Путеводителе иностранца в Икарии», который вам дали в отеле; вы в особенности обязуетесь сохранять нерушимое уважение к нашим девушкам и женщинам.

Если почему-либо эти условия вам не подходят, не продолжайте своего путешествия.

После моего заявления, что я подчиняюсь всем этим условиям, он спросил меня, сколько времени я предполагаю провести в Икарии.

Когда я ответил, что хочу провести там четыре месяца, он заявил мне, что паспорт мой готов, и пригласил меня внести в кассу двести гиней за меня и столько же за моего спутника, согласно тарифу цен, соответствующих продолжительности нашего пребывания в Икарии.

Несмотря на всю любезность консула, мне показалось, что двести гиней за паспорт чересчур большая цена, и,

опасаясь, что если все цены будут в такой же степени несообразны, кошелек мой, хотя он и был хорошо наполнен, окажется недостаточен для других моих расходов, я осмелился спросить у консула некоторые разъяснения на этот счет.

— А сколько мне придется заплатить за переезд? — спросил я.

— Ничего, — ответил он.

— Сколько мне будет стоить экипаж, который ответит меня в столицу?

— Ничего.

— Как ничего?

— Да, ровно ничего. Двести гиней, которые вы вносите, представляют цену всех расходов ваших в течение четырех месяцев. Вы можете всюду ездить, и всюду вы будете иметь лучшие места во всех публичных экипажах, не платя нигде ничего. Всюду вы найдете отель для иностранцев, где вы будете жить, столоваться, где вам будут стирать белье и где вы можете получить даже одежду. За все это вам ничего не придется платить. Вы будете также бесплатно допущены во все общественные учреждения и театры. Одним словом, нация, получая ваши двести гиней, принимает на себя обязательства обеспечить вас всем, так же как и своих граждан.

— А так как продажа, — продолжал он, — у нас совершенно неизвестна и вы поэтому не сможете ничего купить, и так как пользование деньгами запрещено отдельным лицам с тех пор, как добрый Икар избавил нас от этой язвы, то вы в то же время должны оставить здесь все имеющиеся у вас деньги.

— Как, все мои деньги!

— Не бойтесь, этот вклад будет возвращен вам на границе, через которую вы будете возвращаться.

Я все еще удивлялся всем этим странным новшествам, когда на другой день, в шесть часов утра, мы сели на огромный и великолепный пароход.

Я был приятно удивлен тем, что на пароход можно было попасть непосредственно, что женщины не должны были сначала перейти в маленькие лодки, которые причиняют им больше страха, подвергают их большему риску и часто даже большим страданиям, чем все остальное путешествие.

Я был поражен и восхищен, найдя там пароход, не менее прекрасный, чем лучшие английские и даже лучшие американские пароходы. Хотя его салоны были обиты не красным деревом, а туземным — имитация под красивый мрамор, он казался мне более элегантным и в особенности более удобным и уютным для путешественников.

Житель Пагилии, не видевший еще никогда пароходов, не переставал восторгаться богатством и красотой двух салонов, украшенных коврами, зеркалами, позолотой, цветами, красивыми стульями, даже пианино и другими музыкальными инструментами. Он все время бегал вверх и вниз и приходил в бешеный восторг, когда наблюдал, как в этом плавающем дворце читали, писали, играли, занимались музыкой, и в особенности, когда смотрел, как пароход величественно разбивает волны без гребцов, без парусов, без ветрил на спокойном море.

Что касается меня, то больше всего меня удивляли все меры, принятые для защиты путешественников не только от холода и жары, солнца и дождя, но и от всех опасностей и неудобств путешествия. Кроме длинной и широкой палубы, совершенно чистой и гладкой, уставленной изящными сиденьями, где каждый мог гулять или сидеть и наслаждаться прекрасным видом моря, укрывшись под навесом, кроме двух прекрасных салонов, где все могли погреться у хорошего камина, каждый имел свою закрытую каюту, в которой помещались постель и вся необходимая обстановка.

Икарийский консул простер свою внимательность до того, что приказал напечатать и дать в отеле каждому путешественнику «Путеводитель путешественника по морю», в котором было указано, что каждый должен был делать до путешествия и во время него, соответственно полу и возрасту, чтобы предупредить или смягчить морскую болезнь.

Я просмотрел эту маленькую, столь изящно изданную книжечку, и мне доставило величайшее удовольствие сообщить, что правительство Икарии объявило большой конкурс среди медиков и предложило большую премию тому, кто укажет средство избавления человека от ужасной морской болезни. Я узнал также с еще большим удовольствием, что эту болезнь удалось сделать почти нечувствительной.

Сейчас же после посадки, еще до отправления, начальник парохода, называемый тегар (попечитель) собрал нас и предупредил, что нам нечего беспокоиться: судно, матросы и рабочие в полном порядке, приняты все мыслимые предосторожности, чтобы сделать невозможным кораблекрушение, взрыв паровой машины, пожар и вообще какой-нибудь несчастный случай. Я нашел все эти уверения в моем маленьком «Путеводителе путешественника по морю». Я прочитал с удовольствием, что капитаны, лоцманы и матросы допускаются к работе только после экзамена, завершающего прекрасную теоретическую и практическую подготовку, а рабочие, управляющие паровой машиной, тоже являются механиками, получившими хорошую подготовку, опытными, искусными и рассудительными. Я прочитал с удовлетворением, что всегда до отхода парохода попечитель, сам тоже очень искусный человек, осматривает весь пароход, в особенности машину, и составляет детальный протокол, констатирующий, что возможность несчастных случаев исключается. Восхищение, которое вызвала во мне эта внимательность и все эти заботы о безопасности путешественников, еще более усилилось, когда я узнал, что правительство Икарии, как и для борьбы с морской болезнью, объявило большой конкурс и назначило крупную премию тому, кто представит проект парохода, наиболее совершенного во всех отношениях.

После этого я с большим вниманием и удовольствием осмотрел замеченные мною прежде две бронзовые статуи авторов сочинений, получивших премии в обоих конкурсах, вместе с авторами десяти других лучших работ.

Я тогда хорошо понял, каким образом пароход мог предоставить столько удобств путешественникам, и понял это еще лучше, когда увидел большую и прекрасную книгу для записи в ней замечаний и предложений, которые каждый путешественник хотел бы внести для усовершенствования судна.

Около восьми часов утра, когда мы уже проехали треть пути, мы все вместе позавтракали в салоне. Хотя завтрак был весьма примечателен изяществом сервировки, я заинтересовался только пагийцем, который никак не мог понять, как стаканы и бутылки удерживаются в равновесии, и своими жестами и восклицаниями сильно забавлял всю компанию.

После девяти часов утра со стороны Икарии внезапно поднялся ветер, и мы тотчас же очутились во власти сильной бури, что дало мне случай еще раз удивиться заботливости, которую проявляли по отношению к путешественникам.

Все было рассчитано на то, чтобы устранить всякий повод для испуга. Все предметы были размещены и прикреплены так, что ни один из них не мог скатиться или произвести какой-нибудь шум или беспорядок.

В то время как капитан и матросы занимались исключительно пароходом, попечитель успокаивал пассажиров.

Он говорил нам, что его правительство в тысячу раз больше интересуется людьми, чем товарами, и благополучие путешественников составляет главную цель его хлопот; оно отдает лучшие суда для перевозки людей, кораблекрушения почти невозможны с судами этого рода, и их уже не было больше десяти лет, хотя часто бывали гораздо более сильные бури. Поэтому никто не испытывал страха.

Не найдя ничего более красивого, чем буря на море, я остался на палубе, где любовался волнами: зеленые или белые, как пена, они с ревом двигались на нас, как горы, готовые поглотить нас, и, поднимая наш пароход, то, казалось, бросали нас в глубь черной пропасти, причем мы ничего не видели, кроме воды, то поднимали нас к небу, и мы видели только темные тучи.

Заметив несколько больших пароходов, которые, казалось, наблюдали за нами, я спросил капитана, не таможенные ли это суда.

— Таможенные! — сказал он с удивлением. — Уже пятьдесят лет у нас нет никаких пошлин: добрый Икар уничтожил этот вертеп воров, более безжалостных, чем пираты и бури. Пароходы, которые вы видите, — это спасательные суда, выходящие во время бури, чтобы указать путь или помочь другим судам, находящимся в опасности. Вот они удаляются, потому что буря начинает утихать.

Скоро мы заметили берег Икарии, затем город Тираму, в порт которого мы не замедлили войти.

Я едва успел рассмотреть берег, дома и корабли.

Наш пароход остановился у подножия длинного и широкого, напоминающего Брайтонский мост, железного помоста, построенного для удобства высадки и в то же время служащего местом для прогулок. Великолепная

лестница, по которой мы поднялись непосредственно с парохода, вела на помост. В конце его гигантская арка, украшенная колоссальной статуей, имела следующую надпись огромными буквами: «Икарийский народ — брат всех других народов».

Попечитель, предупредивший нас, что мы должны делать после прибытия, отвел нас всех в отель иностранцев, расположенный около арки, на месте старой таможни, куда наш багаж прибыл сейчас же после нас, причем нам не пришлось о нем заботиться или платить кому-либо.

Люди, казавшиеся хозяевами, а не слугами, с предупредительной вежливостью повели нас в отдельные комнаты, похожие одна на другую, изящные и чистые, обставленные всем, что может быть необходимо для путешественников. В отеле были даже ванны.

В каждой комнате висело в рамке объявление, в котором имелись нужные путешественнику указания и сообщалось, что в специальной зале он найдет карты, планы, книги и всякие сведения, какие ему понадобятся.

Немного спустя нам подали прекрасный обед, во время которого пришло нас приветствовать от имени икарийского народа пользующееся уважением должностное лицо. Он уселся среди нас, чтобы рассказать нам о своей стране и дать указания насчет дальнейшего путешествия.

Его очень обрадовало появление в Икарии английского лорда.

— Так как вы приехали, чтобы изучить нашу страну, — сказал он мне после обеда, — то я советую вам поехать прямо в столицу на дилижансе, который выезжает сегодня вечером, в пять часов. Вы найдете там хорошего спутника в лице прекрасного молодого человека, сына одного из моих друзей. Он с удовольствием будет вам служить в качестве чичероне. А так как вам придется ждать еще три часа, то, если вы желаете взглянуть на наш город, я дам вам проводника, который будет вас сопровождать.

Я еще не оправился от изумления и не успел еще отблагодарить предупредительного представителя икарийского народа за его приветливый прием, как явился проводник, и мы вышли с ним, чтобы бегло осмотреть несколько кварталов города.

Тирана показалась мне новым и правильно построенным городом. Все улицы, которые я обошел, были пря-

мые, широкие, образцово чистые, с тротуарами или крытыми колоннадами. Все дома, которые я видел, были красивые, сплошь четырехэтажные, окружены балюстрадами с изящными воротами и окнами, окрашенными в различные цвета.

Все здания на каждой улице были одинаковы, но сами улицы были различные. Мне казалось, что предо мной красивые улицы Риволи и Кастильоне в Париже или прекрасный квартал Риджент-парка в Лондоне, и я даже находил квартал Тирамы более красивым.

Один из моих компаньонов по путешествию тоже на каждом шагу восторгался изяществом домов, красотой улиц, привлекательностью фонтанов и площадей, великолепием дворцов и памятников.

В особенности показались мне восхитительными сады, которые в то же время служили местами общественного гулянья. Признаюсь, что, поскольку я мог осмотреть этот город, он показался мне самым красивым из всех городов, которые я знал. Я действительно был очарован всем, что видел в Икарии.

Когда проводник предупредил нас, что нам уже пора прекратить осмотр, мы вернулись назад через толпы народа, вид которых свидетельствовал о богатстве и счастье. Я пришел к дилижансу, весьма недовольный тем, что не мог предложить какое-нибудь доказательство моей благодарности лицам, чья предупредительная вежливость меня так очаровала.

Глава третья *Прибытие в Икару*

Вид кареты, называемой старагоми, запряженной шестью лошадьми, доставил мне невыразимое удовольствие, напомнив прекрасные почтовые кареты и лошадей моей дорогой родины. Рысаки походили на наших самых красивых английских лошадей, горячие и в то же время послушные, хорошо вычищенные и лоснящиеся, едва прикрытые изящной и легкой упряжью. Карета, такая же красивая, как и английские, такая же легкая, хотя и несколько больше, так как в ней должны поместиться путешественники и их ручной багаж, казалась мне более совершенною во всем, что касается безопасности путешественников. Я с удовольствием и удивлением увидел в ней

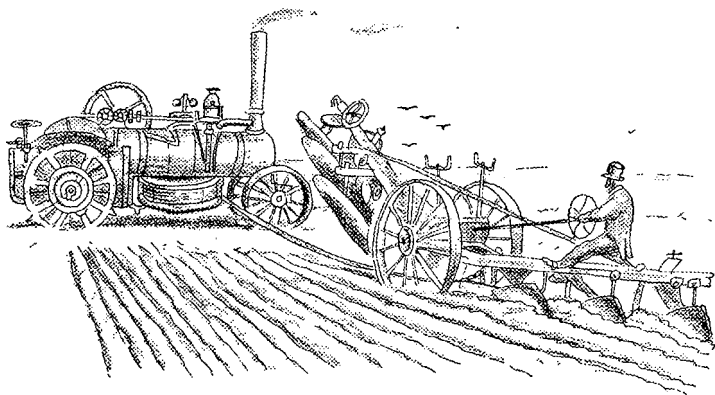
множество мелких приспособлений для защиты от холода, в особенности ног и для предохранения от утомления и всяких несчастных случаев.

Молодой икариец, о котором говорил мне представитель Икарии, любезно предложил мне свои услуги; я охотно согласился, поблагодарив его за внимание.

— Погода прекрасная, — сказал он. — Поднимемся на верхнюю площадку, чтобы лучше видеть поля.

Мы уселись на передней скамейке, обращенной к дороге, и лошади, которые шли медленно в городе пустились вскачь при звуках рожка, исполнявшего боевой марш

Я не переставал удивляться красоте, горячности и грациозным движениям прекрасных рысаков, которые уносили нас быстро вперед и едва давали время различать множество предметов, мелькавших пред нашими глазами



Хотя я привык к прекрасной пашне и прекрасным полям Англии, я не мог удержаться от возгласов удивления при виде совершенства икарийской пашни и восхитительной красоты полей, безукоризненно обработанных поднимающихся посевов, виноградников, лугов, цветущих деревьев, кустарников, посаженных, казалось, для того, чтобы доставлять удовольствие глазам; восхищался фермами и деревнями, горами и холмами, работниками и животными.

Я не менее восхищался дорогой, едва ли не более красивой, чем наши английские дороги: ровная и гладкая, как аллея, окаймленная тротуарами для пешеходов, цве-

тущими деревьями, очаровательными фермами и деревнями, перерезанная на каждом шагу мостами и речками или каналами, со множеством карет и лошадей, мчащихся во всех направлениях, она казалась длинной улицей в бесконечном городе или длинной и великолепной аллеей среди огромного и роскошного сада.

Я скоро познакомился с моим молодым чичероне, который был очень обрадован, когда узнал, кто я и какова цель моего путешествия.

— Вы рассматриваете, — сказал он мне, — нашу карету с большим вниманием.

— Меня больше всего удивляет, — ответил я, — с какой заботливостью предусмотрено все, что необходимо для удобства путешественников.

— Да, — заметил он, — это принцип, установленный нашим добрым Икаром как в нашем воспитании, так и в управлении: во всем искать полезное и приятное, но начинать всегда с необходимого.

— Вы, стало быть, настоящие люди.

— Мы, по крайней мере, стараемся заслужить это название.

— Будьте добры, — сказал я, — объяснить мне затруднительный для меня вопрос, который меня занимает. Ваш консул сказал мне, что вам запрещено пользоваться деньгами, — как же вы платите за ваше место в карете?

— Я не плачу.

— А другие путешественники?

— Карета принадлежит нашей благородной государыне.

— А лошадь?

— Нашей могущественной государыне.

— А все общественные кареты и лошади?

— Нашей богатой государыне.

— И ваша государыня даром перевозит всех граждан?

— Да.

— Но...

— Я сейчас объясню вам.

Когда он сказал эти слова, карета остановилась, чтобы принять двух дам, которые поджидали ее. Если судить по тому уважению и вниманию, с которым каждый предлагал им место или помогал взойти, можно было думать, что это были высокопоставленные дамы.

— Вы знаете этих дам? — спросил я своего компаньона.

— Нисколько, — ответил он, — это, несомненно, жена и дочь какого-нибудь фермера, но мы приучены уважать и помогать нашим согражданкам, как будто бы они были наши матери, наши жены, наши сестры или наши дочери. Разве этот обычай вас шокирует?

— Напротив!

И я сказал правду, ибо этот ответ, сперва смутивший меня, преисполнил меня удивлением пред народом, собственным к таким чувствам.

В свою очередь Вальмор (это было его имя) задавал мне множество вопросов насчет Англии, повторяя ежеминутно, что весьма рад видеть лорда, специально приехавшего, чтобы ознакомиться с его страной.

Он сообщил мне затем, что ему двадцать два года, он готовится стать священником, живет в столице с родными, и все они, в числе двадцати шести, живут в одном доме. Я лишь с большим трудом узнал (настолько был он скромнен и сдержан), что отец его — одно их первых должностных лиц, а Корилла, его старшая сестра, — одна из самых красивых девушек в стране.

Все, что он рассказал мне о своей семье, внушило мне большое желание познакомиться с ней.

При наступлении ночи мы должны были пересечь цепь довольно высоких гор, но луна, светившая полным светом, позволяла нам наслаждаться живописными видами.

И больше всего меня опять-таки удивляла дорога, которая была проложена великолепно. Она поднималась и спускалась совершенно незаметно, и мы постоянно мчались по ней галопом, даже на больших подъемах, потому что припряженные к первым шести две или четыре или шесть свежих лошадей легко преодолевали всякие трудности.

И больше всего меня удивляли предосторожности, принятые всюду, чтобы сделать невозможным всякого рода несчастные случаи.

Так, мы спустились по очень крутой дороге, на краю ревущего потока и страшной пропасти, и спустились все время галопом, потому что дорога была ограждена длинным парапетом, а карета была снабжена такими хороши-

ми тормозами, что лошади без всякого усилия могли везти ее вверх и вниз.

Вальмор никогда не упускал случая заметить мне, с каким вниманием его благодетельная государыня все предвидела для безопасности граждан, тогда как я вспоминал с горечью и ужасом, сколько происходит у нас несчастных случаев вследствие беспечности правительств.

— Эти предосторожности, — говорил он мне с видимым удовлетворением, — предпринимаются нашей доброй государыней всюду, на всех дорогах, реках и улицах потому что в ее глазах безопасность людей есть предмет первой необходимости. Всяду она старается уничтожить или удалить пропасти или принимает все необходимые меры, чтобы устранить всякую опасность, которой они угрожают. Она считала бы нелепым или преступным не произвести всюду, где можно было опасаться падения, все необходимые работы на мостах.

После того как мы проехали много деревень и пять или шесть городов, нигде не останавливаясь (лошади все время быстро сменялись) и не встречая ни разу ни ворот, ни барьеров, ни инспекторов, мы остановились, чтобы поужинать в отеле путешественников, похожем на отель в Тираме.

— Как уплатили вы за ужин? — спросил я Вальмору.

— Я ничего не платил.

— Значит, отель принадлежит вашей государыне, как и кареты и лошади?

— Да.

— Следовательно, ваша государыня кормит и перевозит своих подданных?

— Да.

— Но...

— Терпение! Я объясню вам все, что вас удивляет.

Спустившись в долину, мы перешли на колеиновую дорогу с желобами из железа или камня, по которым карета летела, как по железной дороге.

Немного спустя мы достигли большой железной дороги, по которой паровая машина понесла нас с быстротой ветра или молнии.

Меня мало удивляла эта дорога, когда она проходила через гору или поднималась над долиной, ибо я видел такие дороги в Англии, но я был очень удивлен, когда увидел дорогу, поднимавшуюся эстакадами, как канал, и маши-

ны, поднимавшие и спускавшие вагоны, как шлюзы поднимают и спускают суда.

— Много ли у вас таких железных дорог? — спросил я Вальмора.

— У нас их двенадцать больших, пересекающих страну в различных направлениях, и множество соединяющих их мелких дорог. Но кажется, что открыли силу, более мощную, чем пар, и производимую *сорубом*, веществом, более изобильным, чем уголь, которое произведет революцию в промышленности и позволит еще больше расширить сеть железных дорог.

Мы, кроме того, имеем большое число каналов, не говоря уже о том, что почти все наши реки тоже канализованы. Меньше чем через час мы поедем по одной из наших самых красивых рек.

День едва занимался, когда мы приехали в Камиру, расположенную на берегу широкой реки, с множеством пароходов, предназначенных — одни для перевозки путешественников, другие — для доставки товаров.

Железная дорога доставила нас прямо к пароходу, так что я не имел времени осмотреть город, показавшийся мне, однако, как и все города, которые мы проехали ночью, таким же красивым, как Тирана.

Едва мы оставили за собой город, как нам открылось великолепное зрелище — восходящее пред нами солнце посреди реки, между двумя очаровательными холмами, покрытыми зеленью, цветущими деревьями, беседками и красивыми домами, которые казались замками. Этот вид напомнил мне берега Соны при въезде в Лион.

Вальмор обратил мое внимание на красоту парохода, который вез нас, и в особенности на все мелкие приспособления для восхождения на пароход и спуска с него без помощи небольших лодок. Таким образом, женщины и маленькие дети, даже самые робкие, никогда не испытывают ни малейшего страха.

— И эти пароходы, — спросил я его, — тоже принадлежат вашей государыне?

— Конечно.

— И те, что перевозят товары?

— Тоже.

— И товары, быть может, тоже ей принадлежат?

— Без сомнения.

— Но объясните мне, пожалуйста...

— Да, я вам все объясню... Но посмотрите на людей, ждущих там внизу, чтобы сесть на наш пароход.

Он едва успел кончить, как пароход остановился перед восемью или десятью путешественниками, которые должны были скоро стать нашими спутниками. Среди них были две дамы, казавшиеся матерью и дочерью.

Вальмор побежал к ним, приветствовал их, как очень близких знакомых, и усадил около нас, сам усевшись справа от меня. Я не мог рассмотреть их лиц, так как они были скрыты под большими шляпами и густыми вуалями, но грация их движений, их сложение заставляли меня думать, что обе, и в особенности более молодая, должны быть очаровательны. Я невольно вздрогнул, когда услышал ее голос, один из тех неизъяснимых голосов, которые волнуют душу и вызывают легкую дрожь, голос, какого я больше не слышал с тех пор, как мадемуазель Марс заставила меня плакать от умиления и удовольствия.

Я был убежден, что такой голос может исходить только из божественных уст. Тем не менее я хотел, не знаю почему, убедиться в этом собственными глазами, и чем больше скрывалась ее фигура, тем сильнее хотелось мне ее увидеть, но, несмотря на все мои усилия, ревнивая вуаль и надоедливая шляпа точно хотели наказать мое любопытство.

Но мое разочарование дошло до крайнего предела, и я почти проклинал невидимку, когда часа два спустя Вальмор, занимавшийся почти только ими, пришел сообщить мне, что дамы останавливаются в соседней деревне, а он сойдет вместе с ними и вернется лишь завтра.

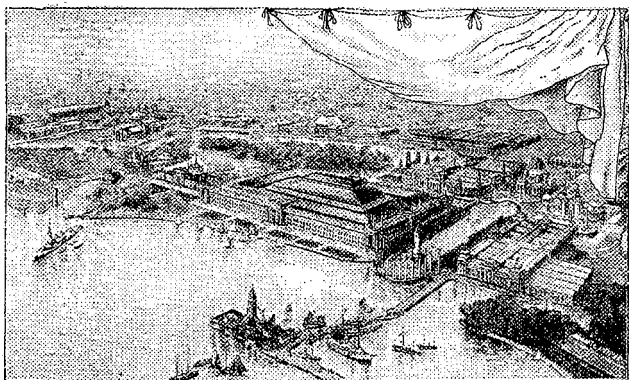
Несмотря на то, что я знал его недолгое время, я с большим огорчением расстался с ним. Однако, уходя, он опять повторил свое приглашение. Он прибавил, что его семья примет меня с большим удовольствием, если я удостою ее своим посещением, и он сам будет счастлив, если его дружеские чувства ко мне заслужат ему мою дружбу.

Хотя он и был весьма усердным в своей учтивости, она казалась мне настолько естественной и искренней, что вызвала во мне чувство признательности. Сам он казался мне таким просвещенным, добрым, любезным, что между нами завязалась горячая дружба, которая с каждым днем становилась более тесной и близкой. Но если она сперва была для меня весьма приятна и дорога, то впо-

следствии она стала источником больших сожалений и горестей.

Немного спустя я вместе с другими путешественниками покинул реку, чтобы перейти на железную дорогу. К одиннадцати часам мы заметили крыши многочисленных зданий столицы.

Вскоре, проехав между двумя рядами высоких тополей, мы прибыли к западной арке, гигантскому памятнику, под огромной аркадой которого я стоял, не будучи в состоянии ни прочитать выделявшуюся на нем надпись, ни разглядеть его.



Там открылся моему взору самый великолепный вход в столицу, какой я когда-либо видел: вдоль длинной и широкой аллеи со слабым уклоном, наподобие Елисейских Полей в Париже, окаймленной с обеих сторон четырьмя рядами деревьев, пред нами предстал город. Два великолепных дворца с колоннадами открывали вид на широкую улицу, пересекавшую город. Уже один этот величественный вход, признаюсь, заставил меня поверить всем рассказам о чудесах Икарии.

Карета остановилась перед отелем для приезжающих из разных провинций страны. Рядом с этим отелем был расположен отель для иностранцев.

Оба отеля были колоссальны, и, однако, все соотечественники могли там легко встретиться, ибо отели были разделены на столько же секций, сколько было провинций в Икарии или народов, населяющих Икарию.

— Сколько места, — воскликнул я при виде этих колоссальных отелей, — занимают, однако, путешественники в Икаре!

— Думаете ли вы, — ответил мне кто-то, — что они заняли бы меньше места, если бы им были отведены сотни и тысячи маленьких отелей во всех кварталах города?

Мне было досадно, что я не встретил там ни одного англичанина. Это обстоятельство сделало для меня еще более ценной встречу с молодым французским живописцем Евгением, изгнанным из Франции после Июльской революции и приехавшим в Икарию за две недели до меня.

Все, что он видел, до такой степени возбуждало его энтузиазм, что он, казалось, был охвачен лихорадкой. Я сначала принял его за сумасшедшего.

Но затем я открыл в нем столько прямоты, такие благородные чувства, такую прекрасную душу и доброе сердце; он был так рад встретить соотечественника (ибо француз и англичанин, которые встречаются на таком расстоянии от своей родины, считают себя как бы соотечественниками), что я тотчас же ответил ему дружбой.

Глава
четвертая *Описание Икарии*
Описание Икары

На другое утро, когда, приняв ванну, я опять улегся в постель, ко мне пришел Вальмор и пригласил меня от имени своего отца провести вечер в его семье. Я охотно принял его предложение, так как горел нетерпением повидать лиц, о которых он рассказал мне в дороге. Мы условились встретиться в четыре часа.

— А прекрасную невидимку, — спросил я, — вы привезли с собой?

— Нет.

— Она должна быть безобразна, если так тщательно скрывает свое лицо.

— Безобразна! Да, ужасно! Но вы, наверное, найдете (так как вы ее увидите позже), что трудно иметь более привлекательный характер.

Когда он вышел, явился Евгений.

— Это мой товарищ по путешествию, о котором я вам говорил, — сказал я ему.

— А как его зовут?

— Вальмор.

— Вальмор! Поздравляю вас. Я слышал о нем, как об одном из самых выдающихся и благородных молодых икарийцев.

— Он говорил мне, что отец его — одно из первых должностных лиц.

— Да, я знаю его. Он — слесарь.

— Сестра его одна из первых красавиц Икарии.

— Да, совершенно верно. Она прелестная швея.

— Но что вы говорите? Слесарь, швея...

— Что же вас удивляет? Разве швея не может быть красивой? Разве слесарь не может быть прекрасным должностным лицом?

— Но здесь имеются благородные?

— Да, очень много благородных, славных, знаменитых: механики, врачи, рабочие, которые отличились каким-нибудь крупным открытием или крупными заслугами.

— Как! Королева не окружена родовитым дворянством?

— Какая королева?

— Королева Икарии, государыня, о которой мне часто говорил Вальмор, расхваливая всегда ее неистощимую доброту, заботливость об общем благе, ее огромные богатства и всемогущество. Я был бы весьма рад узнать, что есть королева, которая приносит столько чести королевской власти.

— Но, еще раз, о какой королеве вы говорите? Как ее зовут?

— Вальмор не назвал мне ее имени. Он сказал только, что именно государыня Икарии владеет каретами, лошадьми, отелями, пароходами, что она перевозит всех пассажиров, заботясь всюду об их безопасности.

— Понял, — воскликнул Евгений, заливаясь смехом, — государыня, которую вы приняли за королеву, — это республика, добрая и прекрасная республика, демократия, равенство. Я понимаю, что вы могли поверить, что королева владеет всей собственностью и располагает всею властью. Но как вы могли подумать?.. Ах, милорд, вам необходимо отказаться здесь от всех ваших аристократических предрассудков и стать демократом, как я, или бежать из этой страны, ибо предупреждаю вас, воздух, которым дышат здесь, губелен для аристократии.

— Мы еще увидим, мы еще увидим, господин демократ! А пока, согласны ли вы сопровождать аристократа по Икаре?

— Охотно, ибо убежден, что я вас дезаристократирую с головы до пяток. Хотите ли вы посмотреть город, не особенно утомляясь?

— Конечно, если это возможно.

— Ну, так следуйте за мной.

Евгений повел меня в громадный общий зал, где развешено было большое число огромных карт и планов.

— Бросим сначала,— сказал он,— взгляд на эту карту Икарии, на которой нанесены только ее границы, провинции и общины.

Вы видите, что Икария ограничивается с юга и с севера двумя горными цепями, которые отделяют ее от Пагилии и Мирона, с востока — рекой, а с запада — морем. Последнее отделяет ее от страны Марволей, через которую мы приехали.

Вы видите также, что территория делится на сто провинций, почти равных по пространству и населению.

А вот карта провинции. Вы видите, что она делится на десять почти одинаковых по величине общин, что главный город провинции находится почти в ее центре, а каждый город общины — в центре последней.

Теперь взгляните на карту общины. Вы видите, что, кроме города, на ней обозначено восемь деревень и много ферм, правильно расположенных на ее территории.

Посмотрим теперь на другую карту Икарии, показывающую горы и долины, плоскогорья и низменности, озера и реки, каналы и железные дороги, большие шоссе и провинциальные дороги.

Смотрите, большие железные дороги отмечены красным цветом, малые — желтым, желобчатые дороги — голубым, а все другие — черным. Вы видите также все каналы, большие и малые, все реки, судоходные или канализованные. Вы видите также все копи и каменоломни, находящиеся в эксплуатации.

Посмотрите также на провинциальные дороги на картах провинций и общинные дороги на картах общин.

Скажите мне, можно ли найти более многочисленные и более удачные пути сообщения!

Я действительно был очарован, потому что все это было еще лучше устроено, чем в Англии.

Мы ознакомились затем с великолепным планом Икары.

— Он поразительно правилен! — воскликнул я.

— Да, — ответил Евгений. — Он был начертан вполне произвольно в 1784 году, а выполнение его, начатое пятьдесят два года тому назад, не будет закончено раньше чем через пятнадцать или двадцать лет. Смотрите! Город, почти круглый, разделен на две приблизительно равные части Таиром (или Величественным), течение которого было выправлено и заперто между двумя стенами по прямой линии, а русло углублено, чтобы принимать суда, прибывающие морем.

Вот порт, бассейны и склады, которые образуют почти целый город!

Вы видите, что посредине города река делится на два рукава, которые удаляются друг от друга, сближаются и снова соединяются в первоначальном направлении, чтобы образовать довольно обширный круглый остров. Этот остров представляет площадь, центральную площадь, усаженную деревьями; посредине ее возвышается дворец с обширным и роскошным садом, поднимающимся террасой, из центра которого выступает высокая колонна, увенчанная колоссальной статуей, господствующей над всеми зданиями. На обоих берегах реки вы видите широкие набережные, окаймленные величественными общественными зданиями. Вокруг этой центральной площади и вдали от нее вы можете заметить два круга других площадей, рассеянных по всему городу почти на одинаковом расстоянии друг от друга.

Посмотрите на все эти прямые и широкие улицы! Вот пятьдесят больших улиц, которые прорезывают город параллельно реке, и пятьдесят, которые прорезывают его перпендикулярно к реке. Другие тоже более или менее длинны. Те, которые отмечены черными точками и сходятся вместе к площадям, усажены деревьями, как бульвары Парижа. Десять больших красных — это железные дороги; все желтые — это улицы с желобчатыми дорогами, а голубые изображают улицы-каналы.

— А что означают, — спросил я его, — все эти широкие и длинные розовые ленты, которые я замечаю всюду между домами двух улиц?

— Это сады, находящиеся позади этих домов. Я вам сейчас их покажу. Но сперва посмотрите на эти массы,

отличающиеся легкими оттенками всех цветов и разбросанные по всему городу Их шестьдесят — это шестьдесят кварталов (или общин), почти одинакового размера, представляющих каждый по площади и населению обычный город общины.

Каждый квартал носит имя одного из шестидесяти главных городов древнего и нового мира и представляет в своих памятниках и домах архитектуру одной из шестидесяти главных наций. Вы найдете поэтому кварталы Пекина, Иерусалима, Константинополя, как и кварталы Рима, Парижа и Лондона. Таким образом Икара — действительно земной шар в миниатюре.

Посмотрите на план одного из этих кварталов! Все что закрашено, представляет собой общественные здания. Вот школа, больница, храм! Красные — это большие мастерские, желтые — большие магазины, голубые — дома собраний, фиолетовые — памятники. Заметьте, все общественные здания распределены так, что они имеются на всех улицах, и все улицы имеют одинаковое количество домов с более или менее многочисленными и обширными зданиями.

А вот план улицы! Вы видите с каждой стороны шестнадцать домов с одним общественным зданием посередине и двумя другими на обоих концах. Эти шестнадцать домов внешне одинаковы или соединены так, чтобы составить один комплекс зданий, но ни одна улица не походит полностью на другие. Вы имеете теперь представление об Икаре. Хотите вы рассмотреть еще план дома и памятника или вы немного пройдетесь?

— Выйдем, поспешим!

— Если хотите, мы сядем на пароход ниже порта, чтобы подняться по реке до центральной площади.

— Да, поспешим, посмотрим сначала несколько садов!

Мы почти тотчас же вошли через великолепный портик в один из этих обширных садов, и я с удовольствием увидел, что это такой же сад, какие я видел в Тираме. Этот сад представлял собой обширный квадрат между домами четырех улиц (из которых две параллельные и две перпендикулярные), перерезанный посередине широким газоном между двумя аллеями, покрытыми прекрасным красноватым песком. Все остальное пространство было за-

нято газоном вплоть до самых стен или покрыто цветами, кустами, плодовыми деревьями.

Все тыловые фасады домов отличались разнообразной сельской архитектурой. Они были украшены разрисованными трельяжами и покрыты зелеными и цветущими ползучими растениями.

Весь этот ансамбль составлял великолепный сад, который наполнял благоуханием воздух и очаровывал взор; являясь восхитительным общественным местом для гулянья, он в то же время увеличивал удобства примыкавших к нему домов.

— Город, — сказал мне Евгений, — покрыт такими же садами, какие вы видели на плане, ибо они имеются на всех улицах, позади домов. Газон посередине часто заменяется то деревьями или крытыми аллеями, то ручейками или даже каналами, окаймленными красивыми балюстрадами, и во все сады, как и в этот, публика входит через четыре роскошных портика в центре четырех улиц, а каждый дом имеет свой отдельный вход.

— Поистине, — воскликнул я с восторгом, — эти сады столь же прекрасны, как и наши великолепные скверы Лондона!

— Как, столь же прекрасны? — возразил Евгений. — Скажите же, во сто раз лучше ваших аристократических скверов, укрытых за высокими стенами или высокими решетками и оградами, зачастую не допускающими проникнуть туда даже глазу народа, тогда как здесь народ свободно гуляет в демократических садах по этим очаровательным аллеям, уставленным красивыми скамьями, и может наслаждаться всем этим видом, в то время как каждый дом имеет для своего исключительного пользования сад, отделенный от других простой железной проволокой, которую вы даже не заметите. Посмотрите, как прекрасно обработаны все эти маленькие сады, как хорошо почищены эти газоны, как красивы эти цветы и как хорошо посажены и подстрижены эти деревья, которые выращиваются в самых разнообразных формах.

— Как? Каждый дом имеет свой сад? Сколько же садовников нужно иметь, чтобы за ними ухаживать?

— Ни одного или очень мало, потому что каждая семья находит большое удовольствие в выращивании цветов и кустов. Вы видите теперь только детей и их матерей, но вечером вы всюду увидите мужчин, женщин, юношей

и девушек, работающих вместе в садах... Но пойдем, если мы хотим окончить нашу прогулку.

— Здесь, наверное, имеются кабриолеты или фиакры, как в Париже и Лондоне; возьмем какой-нибудь, чтобы поспеть скорее!

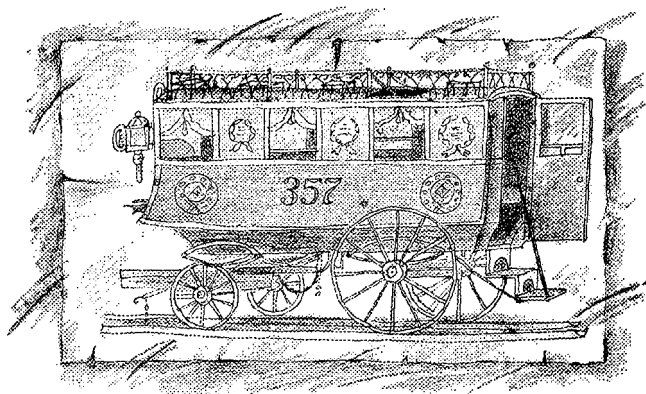
— Да, возьмите, возьмите. В этой жалкой демократической стране нет даже фиакров, нет кабриолетов, нет даже экипажей!

— Что вы говорите?

— Правду! Посмотрите, на всем расстоянии этой большущей улицы вы не заметите ни одного экипажа.

— И нет даже омнибусов?

— Имеются только старagoми (народные кареты), которые вы, наверное, видели. Мы сядем в один из них.



Мы вошли действительно в старagoми, который проходил по соседней улице. Это было нечто вроде двухэтажного омнибуса, который мог вместить сорок человек. Для них было устроено восемь пятиместных скамеек, каждая из которых имела свой отдельный вход сбоку. Все было устроено для наибольшего удобства пассажиров, чтобы зимой в карете было тепло, а летом прохладно, и в особенности чтобы избежать всяких несчастных случаев и даже всяких неприятностей. Колеса были под каретой и направлялись по двум железным желобам, по которым их быстро влекла вперед тройка прекрасных лошадей.

Мы встречали очень много этих старagoми, которые двигались по другую сторону улицы в обратном направлении. Они все имели различную форму и казались более изящными, чем английские и французские омнибусы.

Евгений сказал мне, что половина улиц (чередуюсь попарно) обслуживалась омнибусами. Все пятьдесят больших улиц обслуживались достаточным количеством омнибусов; они могли следовать друг за другом через каждые две минуты, причем среди них были тысячи всяких других со специальным назначением, так что все граждане могли передвигаться с большим удобством, чем если бы каждый имел свой экипаж.

В конце улицы мы перешли железную дорогу и заняли места в другом старомом, который нас повез вниз, в порт, где мы пересели на пароход, чтобы подняться по реке до центра города.

Мне показалось, что я в Лондоне, и я испытал неизъяснимое чувство удовольствия и сожаления, когда увидел огромный бассейн, каналы, другие бассейны меньшего размера, прекрасные набережные, великолепные склады, тысячи мелких паровых и парусных судов, тысячи машин для погрузки и разгрузки, словом — все оживление торговли и промышленности.

— На другом конце города, — сказал мне Евгений, — мы найдем другой, почти такой же красивый порт для судов, которые привозят продукты из провинции.

Я удивлялся все больше и больше, но был восхищен, когда, подвигаясь внутри города по этому Величественному, покрытому множеством легких разрисованных и украшенных лодок и барок, я любовался, как разворачивались предо мною, с правой и с левой стороны, набережные, усаженные деревьями и окаймленные дворцами и памятниками. В особенности восхищали меня берега реки, которые, хотя и были заключены между двумя стенами по прямой линии, были неправильны и излучисты; сближались или удалялись друг от друга и были покрыты газонами, цветами, деревьями, плакучими ивами или высокими тополями, тогда как стены скрывались под ползучими растениями.

Не доезжая до центральной площади, мы встретили два маленьких очаровательных острова, покрытых зеленью и цветами, и прошли под пятнадцатью или двадцатью прекрасными мостами, деревянными, каменными или железными, из которых одни назначались для пешеходов, другие — для карет и повозок, одни были плоские, другие — изогнутые, одни с одной или двумя арками, другие — с десятью или пятнадцатью.

Центральная площадь, место гулянья у воды, расположенные на ней обширный национальный дворец, внутренний сад и гигантская статуя вызывали мое удивление.

Затем Евгений повел меня к причудливому мосту, по названию Сагал, или Со, сделанному из параллельных и изогнутых канатов, прикрепленных с одной стороны к верхушке башни на высоте двадцати футов над набережной, а с другой — к пристани на другом берегу реки. К каждой паре канатов привешена лодочка, вмещающая четырех человек: она принимает на башне пассажиров и, тихо скользя по канатам, высаживает их на противоположном берегу. Другая башня, другие канаты и другие лодочки привозят пассажиров обратно.

Я испытал невыразимое наслаждение (потому что мне тоже захотелось прокатиться), когда я вдруг, точно одним прыжком перемахнул через разверзшуюся под моими ногами пропасть. На этих лодочках катались бы, как когда-то катались на русских горах, если бы не удалили тех, кто приходил сюда только забавы ради.

Я не оправился еще от изумления, когда Вальмор в условленный час явился в отель, чтобы захватить меня с собой.

— Какие у вас старagoми! — сказал я ему. — Неужели же в вашей республике делают и эти народные кареты, как и кареты для путешественников, как и пароходы, заботясь только об удобстве граждан?

— Вы угадали.

— А эти огромные упряжные лошади, которых я видел (они прямо великолeпны, и мне кажется, что ваши упряжные лошади так же красивы, как наши английские колоссы), они тоже принадлежат, вместе с повозками, республике?

— Вы опять угадали!

— Но ваша республика в таком случае превосходный хозяин дилижансов, карет, omnibusов и транспорта!

— Так же как ваша монархия — превосходный хозяин почты, пороха и табака, с той только разницей, что ваша монархия продает свои услуги, тогда как наша республика предоставляет свои услуги даром.

— Но если все лошади и все средства перевозки принадлежат республике, то она должна иметь прекрасные конюшни.

— Она имеет их пятьдесят или шестьдесят на окраинах города.

— Они должны быть интересны!

— Хотите вы видеть одну из них? У нас достаточно времени.

— Идем!

Мы садимся на омнибус — и вот мы в квартале, где расположены конюшни.

Я был поражен. Представьте себе колоссальную конюшню в пять этажей или, вернее, пять колоссальных конюшен, одну над другой, чисто вымытых, красивых, как дворцы, и содержащих от двух до трех тысяч лошадей.

Представьте себе рядом с ними огромные склады зерна и фуража.

Представьте себе колоссальные сараи в несколько этажей для экипажей.

Представьте себе такие же колоссальные каретные мастерские, кузницы, шорные мастерские, в которых рабочие изготовляют все необходимое для ухода за лошадьми и экипажами.

Вальмор с удовольствием указал мне на экономию, порядок и все те выгоды, которые являются следствием этой новой системы концентрации: никаких частных конюшен, никаких сараев в отдельных домах, никакого навоза, сена, соломы, разбрасываемых по улицам.

Я был так удивлен и увлечен, что провел бы там всю ночь, если бы Вальмор не напомнил мне, что пора направиться в дом его семьи.

Мы нашли ее в полном составе в салоне. Там соединены были четыре поколения: дед Вальмора, старик семидесяти двух лет, потерявший несколько лет тому назад свою старую подругу, глава всей семьи; отец и мать Вальмора, в возрасте от сорока восьми до пятидесяти лет; его старший брат с женой и их трое детей; его две сестры, Корилла, двадцати лет, и Селиния, которой было всего восемнадцать лет; наконец, двое дядюшек, из которых один был вдовец, и десять или двенадцать кузенов и кузин разного возраста, — в общем двадцать четыре или двадцать пять человек.

Старец, не отличаясь особенной красотой лица, производил, однако, благодаря седым волосам и широкому, покрытому морщинами лбу, впечатление благородства

и доброты, которое делало его для меня весьма привлекательным.

Отец Вальмора являл собой образ силы и достоинства.

Мать его была менее других находившихся там женщин наделена от природы красотой, но, казалось, ее хотели за это вознаградить, или же ее доброта возмещала недостаток красоты, ибо она была главным предметом всеобщей привязанности.

Дети почти все были очаровательны, в особенности маленький племянник Вальмора, часто усаживавшийся у него на коленях.

Одна из его кузин была, к несчастью, крива на один глаз, но две другие были необычайно красивы. Сестра его Селиния, с прекрасными белокурыми волосами, которые спускались буклями по плечам, и прекрасным цветом лица, показалась мне красивой, как англичанка; а ее сестра Корилла, с черными и жгучими глазами, казалась мне еще более красивой: она обладала всей грацией и живостью француженки.

Все дышало великолепием, прекрасным вкусом, исключительным изяществом в этом салоне, который был украшен цветами и наполнен их ароматом. Но больше всего в моих глазах этот салон украшали радость, счастье и довольство, которые сияли на всех лицах.

Я все еще не мог оправиться от изумления при виде слесаря и швеи, о которых говорил мне Евгений.

Вальмор сперва представил меня отцу, который, в свою очередь, представил меня деду, а уж тот как патриарх представил меня остальным членам семьи.

Разговор сперва шел на общую тему. Мне задавали много вопросов об Англии.

— Я знаю вашу родину, — сказал мне старец, — я ездил туда в 1784 году, чтобы выполнить миссию, порученную мне нашим добрым Икаром, моим другом, и я сохраняю благодарное воспоминание о приеме, который был мне там оказан. Она очень богата и могущественна, ваша родина. Ваш Лондон очень велик, и в нем сосредоточено много больших красот. Но, милорд, позвольте мне вам сказать, что там все же есть нечто весьма отвратительное, весьма возмутительное, весьма позорное для вашего правительства. Это — ужасная нищета, которая истребляет часть населения. Я никогда не забуду, как, выходя после великолепного праздника, устроенного одним из ваших

богатых лордов, я наткнулся на трупы женщины и ее ребенка, которые, почти голые, умерли от холода и голода на мостовой. (В этом месте дети испустили крик ужаса, который произвел на меня горестное впечатление.)

— Ах, вы совершенно правы, — ответил я ему. — Я краснею за свою страну, и это разрывает мне сердце. Но что делать? У нас есть немало великодушных мужчин и добрых женщин, которые делают очень много для бедных...

— Я это знаю, милорд; я знаю даже одного молодого лорда, столь же скромного, как и доброго, построившего в одном из своих имений приют, в котором он содержит пятьдесят пять несчастных. (Я невольно покраснел при этих словах, но сейчас же оправился, не понимая все же, откуда он мог знать то, что касалось меня лично...) Эти люди делают честь своей стране, — продолжал он, — да будут они благословенны! Их благотворительность в наших глазах более привлекательна, чем все их богатства и титулы. Их заслуги даже больше наших, ибо им приходится бороться против преград плохого социального строя, тогда как у нас, благодаря нашему доброму Икару, нет бедных...

— Как! У вас нет бедных?

— Конечно, ни одного! Заметили ли вы хотя бы одного человека в лохмотьях? Хотя бы одно жилище, похожее на лачугу? Разве вы не видите, что республика делает нас всех одинаково богатыми, требуя только, чтобы мы все одинаково работали?

— Как, вы работаете все?

— Конечно, и только этим счастливы и гордимся! Мой отец был герцог и один из крупных вельмож страны, а сыновья мои должны были быть графами, маркизами и баронами, но они теперь: один — слесарь, другой — печатник, а третий — архитектор; Вальмор будет священником, брат его — маляр; а все эти девушки, которых вы видите, имеют каждая свою профессию, и это не делает их ни более безобразными, ни менее привлекательными. Разве наша Корилла не прекрасная швея? Посмотрите на нее в мастерской!

— Действительно, я совершенно подавлен.

— Так как вы, милорд, приехали к нам поучиться, мы покажем вам и много других вещей, но мы не можем вам показать ни праздных, ни слуг.

— У вас нет слуг?

— Их нет ни у кого. Добрый Икар избавил нас от бича слуг, как он избавил их от бича прислужничества.

— Но скажите мне, наконец, кто этот добрый Икар, о котором я так часто слышу? И как вы сумели?..

— У меня не хватит времени, чтобы объяснить вам это сегодня, но Вальмор, — которого вы, кажется, околдовали, так он полюбил вас, — и его друг Динар, один из наших наиболее ученых профессоров истории, доставят себе удовольствие объяснить и показать вам все и ответить на все ваши вопросы. Вы можете даже пользоваться их руководством, изучая нашу Икарию.

— Любите ли вы цветы, милорд? — спросила меня одна из присутствовавших матерей.

— Очень, мадам, я не знаю ничего более красивого.

— Ничего более красивого, чем цветы? — заметила, покраснев, одна из молодых девиц.

— Да, мадемуазель, простите, ничего более красивого, чем... некоторые... розы.

— Вы не любите детей? — спросила меня одна из девочек, примостившись ко мне на колени и посматривая на меня каким-то испытующим взглядом, которого я не мог понять.

— Я люблю только маленьких ангелов, — ответил я, обнимая ее.

— Любите ли вы танцы? — спросила Селиния.

— Я люблю смотреть на танцы, но сам я плохой танцор.

— Так вы научитесь, — заметила Корилла, — потому что я хочу танцевать с вами.

— Любите ли вы музыку? — спросил меня неожиданно ее отец.

— Страстно.

— Вы поете?..

— Немного.

— На каком инструменте вы играете?

— На скрипке.

— Мы не будем сегодня просить милорда, — сказал старый дедушка. — Он уплатит свой долг в другой раз, но так как он любит музыку, споем что-нибудь, дети. Милая Корилла, покажи милорду, что представляет собою икарийская швея.

— Но,— заметил я ему тихо,— не поступаете ли вы, как живописец, который заявляет, что показывает вам все свои картины, а в действительности показывает только свои шедевры?

— Вы увидите, вы увидите,— ответил он с улыбкой.

Дети уже бросились бежать за гитарой, которую одна из девушек с очаровательной улыбкой передала Корилле, а Вальмор взял свою флейту, чтобы аккомпанировать сестре.

Не заставляя себя больше упрашивать и не придавая особого значения своему таланту, Корилла запела. Непринужденность, простота, грация, блестящая красота, чистота дикции, прекрасный голос, глаза, сверкающие умом,— все это привело меня в восхищение.

Вторая песнь, припев которой был повторен всеми молодыми девушками и детьми, еще больше очаровала меня.

— Наш патриотический гимн!— воскликнул отец Вальмора. И Вальмор взял на себя роль запевалы. Все дети пели хором. Мужчины, игравшие в шахматы, и женщины, игравшие за другим столом, приостановили свою игру, чтобы повернуться к певцам. И все, увлеченные общим энтузиазмом, присоединились к хору, чтобы воспеть отечество, да и сам я увлекся и с третьего куплета присоединился к хору, что вызвало всеобщий смех и аплодисменты.

Я никогда еще не видел, ничего более восхитительного.

В одно мгновенье, когда еще смеялись над моим музыкальным энтузиазмом, на стол были поставлены свежие и сухие фрукты, варенье, сливки, пирожные и различные легкие напитки. Все было сервировано изящными руками молодых девиц, все с очаровательной улыбкой было подано молодежию.

— Так вот, милорд,— сказал мне помолодевший старец,— думаете ли вы, что мы нуждаемся в лакеях, чтобы нам обслуживать?

— Конечно, нет, когда (прибавил я тихо, приблизившись к нему) вам прислуживают грации и любовь...

Я сказал, с грехом пополам, несколько комплиментов отцам и матерям по поводу их семейств, поблагодарил за оказанный мне любезный прием и удалился, исполненный сладких воспоминаний. И сон медленно смежил мои очи только для того, чтобы убаюкать меня прекрасными сновидениями.

Глава

пятая *Взгляд на общественный и политический строй и историю Икарии*

Песни вчерашнего дня и чарующие улыбки еще услаждали мой сон, когда меня разбудил Вальмор.

— Как вы счастливы, мой дорогой друг, — сказал я ему, — имея такую милую семью.

— Она, значит, удостоилась понравиться вам?

— Больше, чем я могу вам выразить!

— Тем хуже, — сказал он с видом, который меня очень поразил, — мне очень досадно за вас, но я обязан сказать вам правду. Вот что случилось дома после вашего ухода.

— Говорите, я горю нетерпением..

— Знайте же, что хотя мой дед — глава семьи и может допустить к себе кого ему угодно, он не хочет, однако, ввести в дом никого, кто не нравится хотя бы одному из его детей.

— Не имел ли я несчастье оскорбить кого-нибудь? Расскажите, пожалуйста!

— После вашего ухода он собрал всех нас в круг и поставил вопрос, не имеются ли возражения против вашего допущения в нашу семью, заметив предварительно, что я некоторым образом уже наперед расположил ее в вашу пользу.

— Кончайте же!

— Я сказал, что знаю вас хорошо, весьма хорошо, точно прожил с вами несколько лет, и питаю к вам непобедимое чувство дружбы...

— Еще раз, кончайте!

— Все, казалось, отнеслись вполне одобрительно... но Корилла взяла слово... и вы были...

— Отвергнут! — воскликнул я, вскочив с постели.

— Ничуть, — продолжал он, смеясь, — приняты единогласно со всем пылом, какого только мог желать ваш друг. Простите эту шаловливую проделку, внушенную удовольствием, которое доставило мне допущение вас в нашу семью. Вам следовало бы, впрочем, еще больше сердиться на Кориллу, ибо именно она мне подала эту мысль. Но дабы знать наверное, что вы не досадуете на нее, она требует, чтобы вы сегодня же вечером сделали ваш торжественный визит как друг дома. Вы увидите уче-

ного профессора истории, о котором вчера говорил мой дед, моего друга Динара, брата безобразной, но любезной невидимки. Вы согласны? Вы меня прощаете? (Я мог ответить ему только объятием.)

— Не будем, однако, спешить. Сговоримся сначала об условиях, ибо Корилла ставит одно условие.

— Какое? Говорите скорее!

— Чтобы Вильям пришел сообщить ей, что милорд вышел. Согласны? (Я обнял его во второй раз.)

— Ладно, — сказал он, смеясь, как сумасшедший, — я счастливо выполнил опасную миссию. Бегу теперь отдать отчет о своей миссии моему грозному господину, который ждет меня. Итак, сегодня вечером, в шесть часов.

Если бы земля вращалась, согласно моему желанию, скорее, то вечер настал бы раньше, чем обыкновенно. Чтобы ждать его с меньшим нетерпением, я принял приглашение Евгения посмотреть с ним вместе одну из национальных типографий.

Осмотр этой типографии доставил мне едва ли не большее удовольствие, чем зрелище египетских пирамид.

Прежде всего следует заметить, что эту типографию построила республика и архитектор получил всю необходимую для этого территорию.

Представьте себе теперь огромное по своей длине здание, где в двух этажах, поддерживаемых сотнями небольших железных колонн, работают пять тысяч типографов.

В двух верхних этажах, против стен, расположены полки со сложенным на них разного рода типографским шрифтом, доставляемым наверх машинами. Посредине, на одной линии, стоят наборные кассы, скрепленные спинками по две: перед каждой из них работает наборщик, имеющий под рукой все, что ему нужно.

Сбоку, на одной линии, расположены каменные доски, на которых ставится набор, сверстывается и замыкается форма.

Около каждого из этих столов есть отверстие, через которое форма механически спускается в пресс, находящийся в нижнем этаже.

В каждом этаже находятся три или четыре ряда касс и столов.

Это действительно великолепное зрелище.

В нижнем этаже находятся скоропечатные машины

Налево от типографии расположены огромные заведения для фабрикации бумаги, красок, шрифта и для хранения сырых материалов или фабрикатов, которые доставляются и увозятся по каналу на машинах.

И эти машины имеются в таком большом количестве, что они исполняют почти все, заменяя, сказали нам, около пятидесяти тысяч рабочих. Все так хорошо налажено, что тряпье превращается в бумагу, переходящую непосредственно на печатную машину, которая печатает на ней с обеих сторон и передает ее, отпечатанную и высушенную, в фальцовочную мастерскую. Последняя находится направо от типографии вместе с другими большими зданиями для комплектования, сшивания и брошюровки отпечатанных листов, переплета книг и книжных складов.

Таким образом, все мастерские и все рабочие, связанные с печатным делом, соединены в одном квартале и составляют вместе маленький город, ибо эти рабочие почти все живут по соседству от своих мастерских.

— Подумайте, — повторял все время восхищенный Евгений, — подумайте только, какая экономия места и времени вытекает из этой удивительной организации, не говоря уже об экономии ручного труда, достигаемой благодаря применению машин. И именно республика умеет организовать таким образом свои мастерские, своих механиков и рабочих!

Я был так же удивлен, как и Евгений, при виде этого ансамбля, этого порядка, этой деятельности, и уже предвидел, как много может производить страна, если все отрасли промышленности организованы по такому плану.

Но все это не мешало мне находить, что шесть часов приближались чересчур медленно.

Я пришел, наконец, к Вальмору точно в условленное время и не без волнения входил в салон, где собралась уже вся семья.

Представьте себе мое смущение, когда я увидел, что Корилла быстро поднялась с места, воскликнув:

— А, вот и он! Я хочу его принять! — И побежала ко мне, говоря:

— Да подойдите же, Вильям, и дайте мне руку, сегодня я хочу вас представить моему отцу.

— Милорд, — произнес старец торжественным тоном, протягивая мне руку, — полный благодарности за хороший

прием, который я получил когда-то в вашей стране, я буду весьма доволен, если дом мой будет вам приятен, и вся моя семья будет польщена, если вы будете рассматривать нас как друзей. Допуская вас в среду моих дорогих дочерей и любимых внушек, я даю вам доказательство моего высокого уважения к вашему характеру и полного доверия к вашей чести. Будьте снисходительны к моим детям, которые в своем невинном и шаловливом веселье обходятся с вами как со старым знакомым.

Все дети после этого столпились вокруг меня и взапуски старались меня приласкать. Я был смущен, проникнут почтением, очарован, восхищен, и слова старца запечатлелись в душе моей, как священные.

— Динар не придет, — сказал мне Вальмор, — потому что он ждет свою мать и сестру. Хотите вы посетить его?

Я согласился, и мы поднялись, чтобы уйти.

— Прекрасно, — сказала Корилла, взяв свою шляпу, — мы имеем только одного холостяка брата и одного друга дома, и когда бедная Селиния и я хотим повидать наших друзей, эти галантные господа уходят, не удосуживаясь даже узнать, хотим ли мы, чтобы они нас проводили... Но подождите, господа, мы желаем вас проводить. Селиния, дай руку Вальмору, а я возьму под руку Вильяма.

Почти опьяненный соседством такого очаровательного создания, я все же чувствовал себя совершенно свободно с Кориллой, хотя вообще я очень робок и стесняюсь в обществе женщин.

Какое-то благоухание невинности и добродетели, казалось, давало моей душе свободу и внушало мне сладостную, лишенную какой-либо тревоги, уверенность.

— Мои искренние чувства к вашему брату и даже к вашей семье, — сказал я ей, идя рядом с ней, — и мое уважение к вам, конечно, должны встретить с вашей стороны некоторый отклик, но вы меня просто осыпаете любезностями, и как бы ни были они драгоценны для меня, какое бы удовольствие ни доставляли они мне, я опасюсь, что недостаточно заслужил их.

— Я понимаю вас, несмотря на ваше запутанное объяснение. Вы удивлены, что мы так скоро сдружились с вами, вы поражены моей ветреностью, моим сумасбродством. Ну, так не заблуждайтесь. В нашей республике

столько же шпионов, сколько и во всех ваших монархиях... Вы окружены шпионами... Ваш Джон, которого вы считаете таким верным, — предатель. Допрошенный Вальмором, он все предал и разоблачил все ваши преступления... Мы знаем, кто построил для пятидесяти пяти бедняков приют, о котором говорил вам вчера дедушка. Мы знаем, кто содержит школу для бедных девочек его поместий, мы знаем, чье имя несчастные в одном графстве произносят, только благословляя. Я тоже подвергла вас допросу без того, чтобы вы это заметили, и констатировала, что вы любите детей и цветы, а это для нас является свидетельством чистой и простой души. Одним словом, мы знаем, что вы имеете доброе, прекрасное сердце. А так как доброта является в наших глазах первым из всех качеств, так как дедушка уважает вас и любит, то и мы все любим и уважаем вас, как старого друга... Все теперь, надеюсь, выяснено вполне. Не будем больше говорить об этом... Кстати, здесь нам нужно войти. Подождем Вальмора и Селинию, мы не заметили, что обогнали их.

Вальмор, а вместе с ним и Корилла представили меня Динару, физиономия которого мне чрезвычайно понравилась, а манеры и прием — еще больше.

Так как дамы, которых ждали, не приехали и должны были приехать, вероятно, только на другой день, то мы все вместе с Динаром вернулись к отцу Вальмора, пройдя при этом часть афинского квартала.

— У вас, значит, нет никаких лавок, никаких магазинов в частных домах? — спросил я Вальмора, когда мы вошли в дом.

— Нет, — ответил он, — республика имеет большие мастерские и большие магазины; но добрый Икар избавил нас от лавки и лавочника, избавив в то же время лавочника от всех забот, делавших его несчастным.

— Ну, а теперь, Динар, — сказал маститый дедушка, — объясните милорду чудеса, которые являются для него загадкой, изложите ему принципы нашего общественного и политического строя, расскажите ему о нашем добром Икаре и нашей последней революции. Вас выслушает с удовольствием не один только милорд.

Даже дети бросили свои игры, чтобы послушать своего друга Динара, и молодой историк незамедлительно удовлетворил нашу просьбу.

— Вы знаете, — сказал он, — что человек отличается по существу от всех других общественных животных своим разумом, способностью к совершенствованию и общительностью.

Глубоко убежденные опытом, что не может быть счастья без ассоциации и равенства, икарийцы составляют общество, построенное на основе самого полного равенства. Все — члены ассоциации, граждане, с равными правами и обязанностями, все в равной степени разделяют тяготы и блага ассоциации; все, таким образом, составляют одну семью, члены которой связаны в одно целое узами братства.

Мы образуем, следовательно, народ, или нацию братьев, и все наши законы должны иметь своей целью установление среди нас совершенного равенства, за исключением случаев, когда это равенство невозможно физически.

— Однако, — заметил я, — разве природа сама не установила неравенство, одарив людей физическими и духовными качествами, почти всегда неравными?

— Это правда, — ответил он, — но разве сама эта природа не дала всем людям равное желание быть счастливыми, равное право на существование и счастье, равную любовь к равенству, рассудок и разум, чтобы организовать счастье, общество и равенство?

— Впрочем, милорд, не останавливайтесь на этом возражении, ибо мы решили проблему, и вы сейчас увидите самое полное общественное равенство.

Точно так же, как мы составляем одно общество, один народ, одну семью, так и наша территория, с ее подземными недрами и надземными постройками, составляет одно земельное достояние, которое есть наше общественное земельное достояние.

Все движимое имущество членов ассоциации, со всеми продуктами земли и промышленности, составляет один общественный капитал.

Общественное земельное достояние и общественный капитал принадлежат нераздельно народу, который обрабатывает и эксплуатирует их сообща, который управляет ими сам через посредство своих уполномоченных и затем распределяет поровну все продукты.

— Но ведь это общность имущества! — воскликнул я.
— Именно, — ответил дед Вальмора. — Разве вас эта общность пугает?

— Нет... но... ее всегда считали невозможной!

— Невозможной! Вы сейчас увидите...

— Так как все икарийцы состоят членами ассоциации и все между собой равны, — продолжал Динар, — то все они должны принимать участие в производстве и работать одинаковое число часов, но все их способности направлены на то, чтобы при помощи всевозможных средств сделать труд коротким, разнообразным, приятным и безопасным.

Все орудия труда и сырые материалы для обработки доставляются из общественного капитала, и точно так же все продукты земли и промышленности складываются в общественных магазинах.

Все мы получаем пищу, одежду, жилище и обстановку за счет общественного капитала, и все это в равной мере, соответственно полу, возрасту и некоторым другим обстоятельствам, предвиденным законом.

Таким образом, именно республика, или общество, является единственным собственником всего, организует своих рабочих, строит мастерские и магазины; это она обрабатывает землю, строит дома, производит все предметы, необходимые для питания, одежды, жилища и обстановки; это она, наконец, кормит, одевает, доставляет жилище и обстановку всякой семье и всякому гражданину.

Так как воспитание рассматривается у нас как база и основание общества, то республика дает его всем детям в равной степени, как она дает им всем в равной степени пищу. Все получают одно и то же элементарное образование и специальное обучение, соответствующее особенностям даваемой им профессии. Это воспитание ставит себе целью создать хороших рабочих, хороших родителей, хороших граждан и настоящих людей.

Таков, по существу, наш общественный строй, и эти немногие слова позволят вам угадать все остальное.

— Вы должны теперь понять, — сказал старец, — почему у нас нет ни бедных, ни слуг.

— Вы должны также понять, — прибавил Вальмор, — каким образом республика является собственницей всех лошадей, средств передвижения, отелей, которые вы

видели, и каким образом она даром перевозит и кормит своих путешественников.

Вы должны еще понять, что так как каждый из нас получает все, что ему необходимо, в натуре, то деньги, купля и продажа для нас совершенно бесполезны.

— Да, — ответил я, — все это понятно... Но...

— Как, милорд, — сказал старец с улыбкой, — вы видите пред собой коммунитарное общество, идущее полным ходом, и вы не желали бы верить этому! Продолжайте, Динар, изложите ему основы нашего политического строя.

Принципы политического строя Икарии

— Так как мы — члены ассоциации, граждане, равные в правах, то все мы избираем и можем быть избраны; все мы составляем народ и входим в состав народной гвардии.

Объединенные, мы составляем нацию, или, скорее, народ, ибо у нас народ есть совокупность всех икарийцев без всякого исключения.

Мне нет нужды говорить вам, что народ суверенен и что только ему вместе с суверенитетом принадлежит полномочие составлять или поручать кому-либо составлять свой общественный договор, конституцию и законы; мы не можем даже представить себе, чтобы какой-нибудь индивид, или семья, или класс могли иметь нелепую претензию стать нашим господином.

Так как народ суверенен, то он имеет право регулировать при помощи конституции и законов все, что касается его самого, его действий, имущества, пищи, одежды, жилища, его воспитания, труда и даже развлечений.

Если бы икарийский народ мог легко и часто собираться в полном составе в одной зале или в одной долине, он осуществлял бы свой суверенитет, составляя сам свою конституцию и законы. Ввиду физической невозможности собираться таким способом, он передает власти все функции, которые он не может использовать непосредственно сам, и сохраняет за собой все остальные. Он передает Народному представительству полномочия выработать конституцию и законы, а исполнительному органу (или исполнительному корпусу) — следить за их выполнением. Но он сохраняет за собой право избирать своих

представителей и всех членов исполнительного органа, одобрять и отвергать их предложения и акты, отправлять правосудие, поддерживать порядок и общественное спокойствие.

Все государственные служащие являются, таким образом, уполномоченными народа, все они являются выборными, временными, ответственными и сменяемыми. Для предупреждения с их стороны всяких честолюбивых поползновений законодательные и исполнительные функции признаются несовместимыми.

Наше Народное представительство состоит из двух тысяч депутатов, обсуждающих дела сообща в одной палате. Она — перманентна, всегда или почти всегда в сборе и возобновляется ежегодно наполовину. Наиболее важные законы, принятые ею, как и конституция, подлежат одобрению народа.

Исполнительный орган, состоящий из президента и пятнадцати других членов, половина которых каждый год обновляется, подчинен Народному представительству.

Что касается народа, то он использует все обеспеченные за ним права в собраниях; он производит в них выборы, обсуждает дела и выносит решения.

Чтобы обеспечить народу использование его прав, вся территория разделена на сто небольших провинций, подразделенных, в свою очередь, на тысячу коммун, почти равных по пространству и населению.

Вы знаете, что каждый провинциальный город находится в центре своей провинции, каждый коммунальный город — в центре своей коммуны, и все так организовано, чтобы все граждане могли присутствовать на народных собраниях.

Чтобы интересы всех были соблюдены, каждая коммуна и каждая провинция занимаются специально своими вопросами, в то время как все коммуны и все провинции, т. е. весь народ и его представительство занимаются общими, или национальными, делами.

На тысяче своих коммунальных собраний народ принимает, таким образом, участие в обсуждении законов после совещания его представителей или до этого.

Для того чтобы народ мог обсуждать законы с полным знанием дела, все происходит в свете гласности, все факты регистрируются статистикой, и все публикуется

в народной газете, которая распространяется среди всех граждан.

А чтобы каждая дискуссия проходила с полной основательностью, Народное представительство и каждое коммунальное собрание, т. е. весь народ, разделяются на пятнадцать больших главных комитетов: конституции, воспитания, сельского хозяйства, промышленности, пищи, одежды, жилищ, обстановки, статистики и т. д. Каждый большой комитет составляет, следовательно, пятнадцатую часть всей массы граждан; и весь разум народа, состоящего из хорошо воспитанных и хорошо образованных людей, постоянно стремится изыскивать и применять всякие улучшения и усовершенствования.

Следовательно, наш политический строй — это демократическая республика, и даже почти чистая демократия.

— Да, милорд, — прибавил отец Вальмора, — именно весь народ вырабатывает у нас все законы, и вырабатывает их только в своих интересах, т. е. в общих интересах, и выполняет их всегда с удовольствием, потому что они — его собственное создание и выражение его суверенной воли.

Эта единодушная воля, как мы уже сказали, заключается всегда в том, чтобы творить равенство социальное и политическое, равенство благосостояния и прав, всеобщее и абсолютное равенство. Воспитание, пища, одежда, жилище, обстановка, труд, развлечения, право избирать и быть избранным и право обсуждения — все это одинаково для каждого из нас. Даже наши провинции, наши коммуны, наши города, наши деревни, наши фермы и наши дома, поскольку это возможно, похожи друг на друга; всюду, одним словом, вы увидите здесь равенство и благосостояние.

— Но с какого времени и как, — спросил я его, — вы установили это равенство?

— Уже слишком поздно, — сказал дедушка, — чтобы объяснить это вам сегодня, да вы сможете, впрочем, прочитать нашу национальную историю. Однако мы можем дать вам о ней представление, если Динар не устал или если Вальмор хочет его заместить.

— А разве я, — воскликнула Корилла, — не могу рассказать так же хорошо, как Динар и Вальмор?

— Да, да, — закричали со всех сторон, — Корилла, Корилла!

И Корилла начала рассказывать историю Икарии.

— Не буду рассказывать вам, что бедная Икария была, как почти все другие страны, завоевана и опустошена злыми завоевателями, затем в течение долгого времени ее притесняли и тиранили злые короли и злые аристократы, которые делали рабочих несчастными, а бедных женщин жалкими. Это печальный жребий человечества во всем мире.

Вот почему в течение столетий происходили ожесточенные бои между богатыми и бедными, революции и случаи ужасной резни следовали друг за другом.

Вот, однако, шестьдесят лет,— я не помню точно года (в 1772 году,— сказал Вальмор),— как старый тиран Коруг был свергнут и казнен, молодой сын его изгнан, и на престол взошла прекрасная Клорамида.

Эта молодая королева сначала приобрела себе популярность своей мягкостью и добротой. Но несчастная попала под влияние своего первого министра, злого Ликсдокса, и его тирания вызвала последнюю революцию (13 июня 1782 года,— прибавил дедушка) после двух дней ужасной борьбы и страшной резни.

К счастью, диктатор, избранный народом, добрый и мужественный Икар, оказался лучшим из людей! Именно ему и нашим благородным предкам, его соратникам, мы обязаны тем благополучием, которым мы пользуемся теперь.

Именно он и его соратники, жертвуя своей жизнью и проделав огромную работу, организовали республику и общность имущества, обеспечивающие счастье их жен и детей.

Судите поэтому, Вильям, как должны мы любить нашего дорогого Икара и нашего дорогого дедушку, одного из его ближайших друзей, одного из благодетелей и освободителей своего отечества...

При этих словах старец, который, мне казалось, слушал с удовольствием рассказ своей внучки, мягко упрекнул ее за болтливость, оскорбившую его чувство скромности, но Корилла бросилась к нему на шею, и дед с нежностью обнял ее.

— Нас всех повлек за собою Икар! — воскликнул он. Глаза его блестели, и в них показались слезы.

— Ему одному честь и слава! Споем, дети, в честь Икара и родины!

И мы спели все вместе их гимн благодарности Икару и патриотическую песнь.

Вернувшись к себе, возбужденный всем, что я узнал и видел, я не мог успокоиться и своим воображением старался постигнуть или угадать то, что еще оставалось для меня неизвестным.

Я продолжал думать о красноречии, грации и непринужденности, с какими выражались Вальмор, Динар и в особенности Корилла, и я хотел бы иметь возможность уничтожить ночь, чтобы скорее состоялась прогулка, на которую пригласила меня эта очаровательная девушка.

Глава
шестая *Описание Икары*
(продолжение)

Я с таким трудом уснул, что когда Евгений, как сумасшедший, вбежал в мою комнату, я спал еще. Он рассказал мне о том, что, благодаря странному случаю, узнал накануне, как и я, об Икаре и Икарии.

— Что за человек или, вернее, что за бог этот Икар! — воскликнул он. — Какой народ! Какая страна! Счастливые икарийцы! Ах, почему так случилось, что судьба не послала нам Икара после Июльской революции! Какие это были прекрасные дни! Такие же прекрасные, как два дня у икарийцев! О, парижский народ, как был ты прекрасен, велик, героичен, благороден, великодушен! Какой новый путь славы и счастья открывался для моей родины! Почему же нужно было?.. Несчастная Франция, Франция, от которой я бегу, которую презираю, которую ненавижу... Ах, нет, которую я обожаю больше, чем кто-либо!

И он ходил по комнате большими шагами, как будто был один; глаза его налились слезами, и его возбуждение, которое сперва меня рассмешило, вызвало во мне затем глубокое волнение.

Когда его возбуждение улеглось, он прочитал мне письмо, которое он написал своему брату. Это письмо показалось мне настолько интересным и поучительным, что я попросил у него позволения списать его. Семья Вальмора, которой я прочитал это письмо, выслушала его с та-

ким удовольствием, что выразила желание познакомиться с автором и дала мне разрешение представить ей Евгения.

Вот это письмо.

Образцовый город

Разорви свои планы городов, мой бедный Камилл, и все же радуйся, ибо я тебе посылаю взамен их план образцового города, который ты уже давно желал иметь. Я крайне сожалею, что ты не здесь и поэтому не можешь разделить со мной мое удивление и восхищение.

Прежде всего представь себе, что либо в Париже, либо в Лондоне обещана великолепная премия за план образцового города, что назначен большой открытый конкурс, а многочисленный комитет из живописцев, скульпторов, ученых, путешественников собирает планы или описания всех известных городов, мнения и идеи всего населения и даже иностранцев, обсуждает все недостатки и преимущества существующих городов и представленных проектов и из тысяч образцовых планов выбирает наиболее совершенный. Ты сможешь тогда спроектировать более красивый город, чем все, которые существовали ранее, ты сможешь затем составить себе первое представление об Икаре, в особенности, если ты не забудешь, что все граждане равны, что все делает республика и что правило, неизменно и постоянно соблюдаемое во всем, гласит: прежде всего необходимое, затем полезное и в заключение приятное.

А теперь, с чего начать? Вот это меня затрудняет. Буду держаться правила, о котором я тебе только что говорил, и начну с необходимого и полезного.

Я не буду говорить о мерах предосторожности, принятых, чтобы обеспечить целебность и свободную циркуляцию воздуха, сохранить его чистоту и даже очищать его. Внутри города нет кладбищ, нет вредных производств, нет больниц. Все эти учреждения находятся на окраинах, в открытых местностях, около проточной воды или в деревне.

Мне очень трудно будет перечислить тебе все меры, придуманные для поддержания чистоты улиц. Само собой разумеется, что тротуары каждое утро подметаются и моются, и они всегда безукоризненно чисты. Но улицы так замощены или так устроены, что вода никогда не за-

стаивается на них, так как всюду находятся отверстия и вода исчезает в подземных каналах.

Не только грязь, собираемая и сметаемая при помощи остроумных и удобных орудий, исчезает, уносимая водой фонтанов в те же самые каналы, но и все средства, которые ты только можешь себе представить, пускаются в ход, чтобы скапливать как можно меньше грязи и пыли.

Посмотри прежде всего на устройство улиц! Каждая имеет восемь колеи с железными или каменными желобами для четырех экипажей в ряд, из которых два могут двигаться в одном и два в другом направлении. Колеса никогда не выскакивают из этих колеи, и лошади никогда не сходят с промежуточного тротуара. Четыре тротуара вымощены камнями или щебнем, а все остальные полосы улицы вымощены кирпичом. От колес не остается ни грязи, ни пыли, от лошадей — весьма мало, а машины на улицах — железнодорожных путях — совсем не дают грязи.

Заметь к тому же, что все крупные мастерские и большие магазины расположены по бокам улиц — каналов и улиц — железнодорожных путей; повозки, — впрочем, всегда мало нагруженные, — проходят только по этим улицам; улицы с колеями пропускают только омнибусы, и половина улиц города не пропускает ни омнибусов, ни возов, а только небольшие повозки, в которые впрягают больших собак, развозящих необходимые для семейств предметы.

Никакие нечистоты не выбрасываются на улицы из домов или мастерских, никогда по этим улицам не возят ни соломы, ни сена, ни навоза, так как все конюшни и их запасы находятся на окраинах. Все повозки и тележки запираются так герметически, что их содержимое прекрасно сохраняется, а разгрузка их производится при помощи машин, не грязнящих ни тротуаров, ни улиц.

Фонтаны на каждой улице доставляют воду, необходимую для чистки, поливки и освежения воздуха.

Все, как видишь, организовано так, чтобы улицы были всегда чисты, мало портились и легко чистились.

Закон (ты, быть может, начнешь с того, что будешь смеяться, но кончишь тем, что будешь удивляться) постановил, что пешеходу всегда должна быть обеспечена полная безопасность от каких бы то ни было несчастных случаев со стороны экипажей, лошадей и других животных или с какой-либо другой стороны. Сообрази все это, и ты

скоро увидишь, что для правительства, которое хочет блага народа, нет ничего невозможного.

Прежде всего, что касается рысистых и верховых лошадей, то на них не разрешается ездить внутри города, — прогулки на лошадях разрешаются только вне города, а конюшни находятся на окраинах.

Что касается лошадей, обслуживающих дилижансы, омнибусы и транспорт, то, независимо от того, что приняты всякие меры, чтобы они не понесли, они никогда не могут покинуть свои колеи или выскочить на тротуары. Кучера обязаны сдерживать их шаг при приближении к тем местам, где пешеходы переходят улицы. Эти поперечные переходы окружены всякими предохранительными приспособлениями: они обыкновенно снабжены колоннами, образующими поперек улицы нечто вроде ворот для экипажей, и промежуточными площадками, на которых пешеход имеет возможность остановиться, пока не удостоверится, что может продолжать свой путь, не подвергаясь никакой опасности. Бесполезно говорить тебе, что эти переходы почти так же чисты, как тротуары. На некоторых улицах переходы находятся даже под землей, как тоннель в Лондоне, а на других переходами служат мосты, под которыми проезжают экипажи.

Другая весьма простая мера предосторожности, дающая возможность избежать множества несчастных случаев и которую плохо используют в наших городах, так как ничего не делается для того, чтобы все ее знали и усвоили привычку соблюдать ее, заключается в том, что все экипажи и пешеходы всегда двигаются вперед по правой стороне улицы или дороги.

Ты поймешь, кроме того, что кучера, которые все являются рабочими республики и ничего не получают от пассажиров, не имеют никакого интереса подвергаться таким авариям, а, напротив, заинтересованы в том, чтобы избегать их.

Ты понимаешь также, что так как население находится в мастерских или домах до трех часов, а повозки с грузами циркулируют только в те часы, когда омнибусы не ходят и пешеходы очень немногочисленны, колеса же никогда не могут выскочить из своих колеи, то всякие аварии от повозок и между повозками должны быть почти невозможны.

Что касается других животных, то тут никогда не увидишь стада быков и баранов вроде тех, что загромаждают и позорят улицы Лондона, вызывая там тысячи несчастных случаев, распространяя беспокойство, а часто ужас и смерть, и в то же время приучая народ к мысли о резне, — ибо здесь скотобойни и мясные находятся вне города, так что животные никогда не проникают в его черту. Поэтому здесь никогда не видят ни крови, ни трупов животных или большого числа мясников, которые приучаются смотреть без содрогания на человеческую резню, потому что привыкли омыwać свои руки и ножи кровью других жертв.

Говоря о животных, я не могу не рассказать тебе о собаках, которые в республике содержатся и используются в большом числе. Отличаясь своим ростом и силой, они служат для перевозки различных предметов, а это сопряжено с еще меньшими опасностями, чем перевозка лошаадьми. Все собаки, хорошо откормленные, всегда запряженные и в намордниках или на привязи, не могут никогда ни взбеситься, ни укусить, ни испугать, ни вызвать скандала, который в наших городах в одно мгновение уничтожает все результаты многолетнего воспитания.

Все так хорошо рассчитано, что никогда ни труба, ни горшок с цветами, ни какой-либо другой предмет не может быть сорван бурей или выброшен через окно.

Пешеходы защищены даже от непогоды, ибо все улицы снабжены тротуарами, которые покрыты крышами, стеклянными навесами, чтобы защитить от дождя, не лишая света, и с подвижными шторами, чтобы защитить от жары. Имеются даже улицы, во всю длину покрытые крышами, в особенности между большими складскими помещениями. Все переходы между улицами тоже покрыты крышами.

Предосторожность доведена до того, что на известном расстоянии друг от друга построены крытые места остановок омнибусов, чтобы можно было подниматься на них или спускаться с них, не опасаясь ни грязи, ни дождя.

Ты видишь, мой дорогой друг, что можно прогуляться по всему городу Икаре — в экипаже, когда спешишь, садами, когда погода хороша, и под портиками, когда погода плоха, не нуждаясь ни в солнечном, ни в дождевом зонтике и ничего не опасаясь, тогда как тысячи аварий и несчастных случаев, ежегодно обрушивающихся на жителей

Парижа и Лондона, свидетельствуют о позорном бессилии или варварском равнодушии правительств.

Ты, конечно, представляешь себе, что город прекрасно освещен, так же хорошо, как Париж и Лондон, даже гораздо лучше, так как осветительные материалы не поглощаются ни лавками, ибо таковых нет, ни мастерскими, ибо никто не работает вечером. Освещаются поэтому главным образом улицы и общественные здания. Не только газ не распространяет никакого запаха, ибо найдено средство для его очистки, но и освещение соединяет в самой высокой степени приятное с полезным либо при помощи изящной и разнообразной формы фонарей, либо многочисленными фигурами и цветами, которыми украшают осветительные аппараты. Я видел достаточно много хороших иллюминаций в Лондоне на некоторых улицах в известные праздники, но в Икаре освещение всегда великолепно, а иногда это настоящая феерия.

Ты не увидишь здесь ни кабаков, ни харчевен, ни кафе, ни ресторанов, ни бирж, ни игорных домов, ни постыдных или преступных развлечений, ни казарм и гауптвахт, ни жандармов и шпионов, ни публичных женщин, ни жуликов, ни пьяниц, ни нищих, но вместо них ты всюду найдешь места необходимости, столь же изящные, сколь чистые и удобные, одни для женщин, другие для мужчин, куда может на время заглянуть сама стыдливость, не опасаясь ничего ни по отношению к себе самой, ни в отношении общественного приличия.

Тебе не придется возмущаться такими рисунками, картинками, надписями, которые грязнят стены наших городов и заставляют нас опускать глаза, ибо дети приучены здесь никогда ничего не портить, не грязнить, равно как и не краснеть при виде всего, что непристойно и неприлично.

Ты не будешь даже испытывать удовольствия или досады видеть столько всяких вывесок и табличек над воротами домов или всяких объявлений и торговых плакатов, которые почти всегда обезображивают здания, но зато ты увидишь прекрасные надписи на памятниках, общественных мастерских и складах и всякие полезные объявления, великолепно напечатанные, на бумаге различных цветов в специальных рамках, предназначенных для этой цели, так что сами эти афиши способствуют украшению города.

Ты не увидишь также богатых и красивых лавок всякого рода, которые можно видеть в Париже и Лондоне во всех домах на торговых улицах. Но что представляют собой самые красивые из этих лавок, самые богатые из этих магазинов и базаров, самые обширные рынки или ярмарки в сравнении с мастерскими, лавками, магазинами Икары? Вообрази, что все, например, мастерские и лавки ювелирных и драгоценных изделий Парижа и Лондона соединены в одну или две мастерские и в один или два магазина; вообрази, что это сделано также для всех отраслей промышленности и торговли, и скажи мне, не должны ли эти магазины ювелирных изделий, часов, цветов, перьев, материй, мод, инструментов, плодов и т. д. и т. п. затмить все лавки мира, скажи мне, не доставило ли бы тебе столько же, а может быть, и больше удовольствия побывать в них, чем осматривать наши музеи и памятники изящных искусств! Так вот каковы мастерские и магазины Икары!

И все они размещены с наибольшим удобством для жителей и выгодой для внешнего вида города, и, чтобы украсить его еще больше, все они снаружи построены как общественные здания, отличающиеся простотой и украшенные предметами производства.

Я упомянул об общественных зданиях. Мне нет нужды говорить тебе, что общественные здания, которые можно найти всюду, в еще большем числе имеются здесь: школы, приюты, храмы, здания, отведенные для государственных учреждений, залы для народных собраний, даже арены, цирки, театры, всякого рода музеи и все учреждения, которые благодаря доставляемому ими удовольствию сделались почти необходимыми.

Никаких аристократических отелей, никаких экипажей, но зато и никаких тюрем и домов призрения! Никаких королевских или министерских дворцов, но школы, больницы, залы для народных собраний — это те же дворцы, или, если хочешь, все дворцы служат общественной пользе!

Я никогда не кончил бы, мой дорогой брат, если бы я вздумал перечислить тебе все, что Икара содержит полезного, но я уже достаточно рассказал тебе об этом, быть может, даже слишком много, хотя я уверен, что детали доставят тебе некоторое удовольствие. Я перехожу

к приятному, где ты найдешь разнообразие — постоянно-го спутника единообразия.

Рассмотрим поэтому внешний вид домов, улиц и общественных зданий.

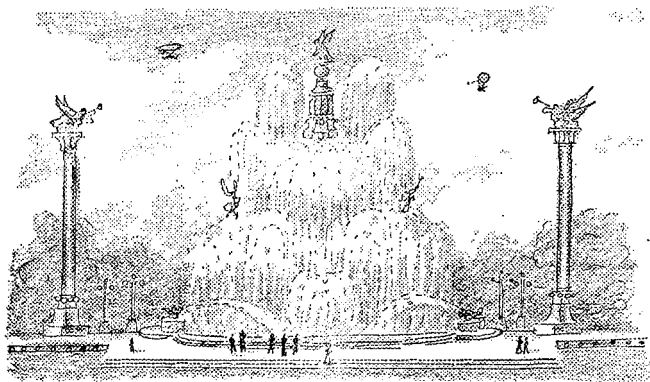
Я уже говорил тебе, что все дома на каждой улице одинаковы, но улицы различны и на каждой воспроизводятся красивые дома других стран.

Взор твой никогда не будет омрачен ни видом лачуг, трущоб и закоулков, которые мы в других местах находим рядом с самыми великолепными дворцами, ни видом отрепьев, которые мы встречаем наряду с роскошью аристократии.

Твой взор не будет также опечален решетками, которые закрывают каналы у лондонских домов и в соединении с мрачными кирпичами придают им вид огромных тюрем.

Дымовые трубы, столь отвратительные во многих других странах, здесь являются украшением или совсем незаметны, тогда как верхушки домов являют глазу изящную железную балюстраду.

Тротуары или портики с легкими колоннами, которые обрамляют все улицы, уже и сейчас великолепные, будут совсем очаровательны, когда, как теперь проектируется, все колоннады будут украшены зеленью и цветами.



Стану ли я описывать формы фонтанов, площадей, мест для гулянья, колонн, общественных памятников, колоссальных ворот города и его великолепных улиц-аллей? Нет, мой друг, у меня не хватило бы слов, чтобы изобразить мое восхищение, да к тому же пришлось бы исписать не один том. Я привезу тебе все планы, а здесь ограничусь тем, что дам тебе общее представление о них.

Ах, как я жалею, что не смогу еще раз осмотреть их вместе с моим братом! Ты увидел бы, что ни один фонтан, ни одна площадь, ни один памятник не похож на другие и что в них исчерпаны все разновидности архитектуры. Здесь ты вообразишь себя в Риме, в Греции, Египте, Индии — всюду, и никогда ты не придешь в ярость, как это случилось с нами в Лондоне перед собором св. Павла при виде лавок, которые мешают охватить одним взглядом весь ансамбль великолепного здания.

Нигде ты не увидишь большего числа картин, скульптурных произведений, статуй, чем здесь в общественных зданиях и в общественных садах. В то время как в других местах произведения изящных искусств спрятаны в дворцах королей и богачей, в то время как в Лондоне музеи, закрытые в воскресенье, никогда не открыты для народа, который не может оставить работу, чтобы посетить их в будни, здесь все достопримечательности существуют только для народа и помещены только в тех местах, которые посещаются народом.

А так как все это создается в республике при помощи живописцев и скульпторов и все художники, получающие полное содержание — пищу, одежду, квартиру и обстановку — от общества, не имеют других побуждений, кроме любви к искусству и славе, и другого руководителя, кроме вдохновения, то ты легко поймешь, каковы последствия этого.

Ничего бесполезного и, в особенности, ничего вредного, но все направлено к полезной цели! Ничего в угоду деспотизму и аристократии, фанатизму и суеверию, но все в интересах народа и его благодетелей, свободы и ее мучеников или против былых тиранов и их приспешников.

Нигде не увидишь нагих фигур или соблазнительных картин, которые выставляются в наших столицах, чтобы угодить могущественным распутникам. По чудовищному противоречию, непрестанно проповедуя пристойность и целомудрие, у нас выставляют напоказ изображения, которые муж хотел бы скрыть от жены и мать от детей.

Нет здесь и произведений невежества или неспособности, которые нищие продают в других местах за дешевку, за кусок хлеба, и которые портят общий вкус, позоря искусства. Ибо здесь в республике ничего не принимают

без испытания. Так же, как в Спарте, где убивали при рождении всех больных или уродливых детей, здесь безжалостно опускают во тьму небытия все произведения, недостойные света лучей бога искусств.

Я кончаю, мой дорогой Камилл, хотя мог бы еще много рассказать тебе об улицах-садах, реке и каналах, набережных и мостах и о памятниках, которые только начаты или проектируются.

Но что ты скажешь, когда я прибавлю, что все города Икарии, хотя и менее крупные, построены по тому же плану и отличаются от главного города лишь отсутствием больших национальных учреждений!

И мне думается, что вместе со мною ты восклицаешь: «Счастливые икарийцы! Несчастные французы!».

Чем больше я знакомился с городом, тем более точным казалось мне это описание Евгения.

Когда я снял копию с его письма, мы пошли вместе, чтобы осмотреть одну из булочных республики.

Мы обошли пять или шесть огромных, построенных параллельно зданий: одно — для муки, другое — для теста, третье — для печей, четвертое — для топлива и пятое, где складывается печеный хлеб, откуда его на повозках развозят по домам.

По каналу доставляются мука и топливо, которые перевозятся в магазины машинами. Из широких труб мука сыплется в месильные чаши, тогда как по другим трубам доставляется туда вода в необходимом количестве. Весьма остроумно сконструированные машины месят тесто, режут его и задвигают в печи, куда другие машины доставляют топливо. Особые машины перевозят хлеб в последнее здание.

Евгений не переставал удивляться тому облегчению, которое давала рабочим эта система, и поразительной экономии, являвшейся ее результатом.

Разделяя его восхищение, я думал о нашем плане прогулки и в пять часов побежал к Вальмору.

Там уже были готовы, и почти вся семья в полном составе направилась вместе со мною в путь. Вальмор предложил руку одной из своих кузин, а очаровательная Корилла взяла мою с такой пленительной фамильярностью,

что я потерял бы голову, если бы я не был столь неуязвим.

Мы шли улицами-садами; многие сады были полны молодыми девушками, детьми и мужчинами, занимавшимися поливкой растений или другими садовыми работами.

Чем больше я рассматривал эти сады, тем более восхитительными казались они мне; газоны, розы и разнообразнейшие цветы, цветущие кусты, стены, покрытые жасмином, виноградом, лилиями, жимолостью, одним словом, зеленью, перемежающейся цветами различной окраски, ароматный воздух, картина трудящихся и детей — все это представляло чарующий ансамбль.

Но место гулянья показалось мне еще более привлекательным: усыпанные песком аллеи, прямые или извилистые, обширные газоны, кусты самых различных видов, великолепные деревья; всюду маленькие беседки и арки из цветов, на каждом шагу изящные зеленые скамьи, искусственные гроты или холмики, усеянные птицами, пруды, ручьи, каскады, фонтаны, струи, изящные мосты, статуи и небольшие памятники, — все, что плодотворное воображение самого искусного художника может вообразить, здесь соединено вместе, даже всякого рода птицы и животные на воде и газонах.

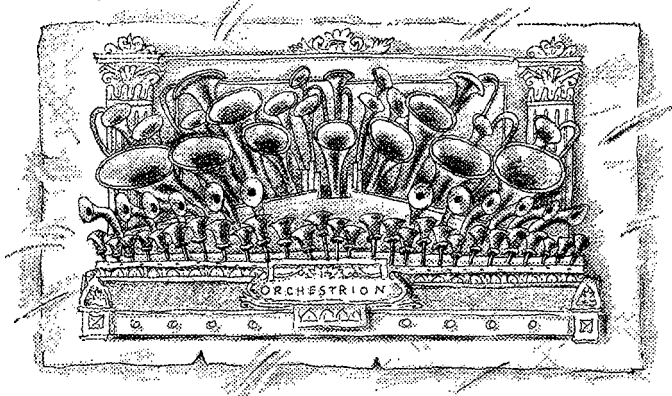
И еще больше, чем все эти чудеса природы или искусства, это место гулянья украшает бесчисленное множество больших семей, которые заполняют его, — отцы, матери, дети, гуляющие обыкновенно вместе. Тысячи юношей и девушек всех возрастов, все чисто и изящно одетые, бегают, прыгают, танцуют и играют в самые разнообразные игры, всегда группами и на глазах собравшихся родителей. Всюду видишь только радость и удовольствие, слышишь только смех, веселые крики, песни и музыку.

— Кажется, — сказал я Корилле, — ваши соотечественники питают страсть к музыке?

— Да, — ответила она, — нам привил к ней вкус добрый Икар, как и к зелени, цветам и плодам. С того времени наше воспитание распространило эти склонности среди всех нас. Все получают общие знания обо всем, что касается растений и их обработки. Все дети без исключения учатся вокальной музыке и умеют петь; каждый умеет играть на каком-нибудь инструменте. Поэтому всюду и везде вы услышите музыку и пение — в семьях и пу-

бличных собраниях, в храмах и мастерских, как и на спектаклях и в местах гулянья.

Мы посещали музыкальные оркестры всякого рода, помещавшиеся в специально устроенных для них красивых салонах, и, кроме того, слушали множество концертов, которые давали музыкальные автоматы, вполне заменяющие музыкантов.



— Сигналы почти все даются трубой, тысячи наших общественных карет отправляются и останавливаются по звуку, который дает рожок. Разве вы не находите их фанфары очаровательными?

— Действительно, они очаровательны.

— И вы еще увидите наши национальные праздники с хорами в пятьдесят и сто тысяч певцов.

Мы тем временем подошли к месту прогулок верхом. Пред нами прошли сотни небольших кавалькад, мужчин и женщин всех возрастов, изящно одетых, хотя и совершенно иначе, чем наши всадники и амазонки в Лондоне и Париже. Так как я выражал свое восхищение грацией дам и красотой лошадей — статных для мужчин, прелестных для женщин, маленьких и красивых — для детей, то Корилла сказала:

— Не удивляйтесь. Решив, что мы будем иметь удовольствие от верховой езды, республика особенно позаботилась о нашем коневодстве и даже закупила за границей лучшие породы лошадей. В силу этой же причины обучение верховой езде составляет часть нашего воспитания с детского возраста, и вы не найдете теперь ни одного икарийца, который не был бы хорошим всадником.

— Но, — заметил я, — каким образом можете вы располагать достаточным количеством верховых лошадей для всех?

— А вот как, — ответила она, — республика имеет только тысячу верховых лошадей для каждого города коммуны и шестьдесят тысяч для Икары, но она распределяет этих лошадей между всеми гражданами так, что каждая семья может пользоваться ими раз в шестьдесят дней.

— И все эти лошади принадлежат республике?

— Конечно, и содержатся в ее конюшнях, и за ними ухаживают рабочие.

Мы беседовали обо всем: о празднествах, театрах, развлечениях, нравах и обычаях страны. Она рассказала мне даже о народных собраниях и газетах и делала это с такой легкостью и так занимательно, что я не заметил, как наступила ночь, пока я с таким удовольствием учился, слушая столь очаровательную учительницу.

Глава седьмая *Пища*

Это был день отдыха, воскресенье Икарии, или, точнее, десятый день икарийской недели, и Вальмор, предупредивший меня об этом за два дня, рано пришел за мною и Евгением, чтобы отправиться с нами в деревню.

Позже я расскажу о средствах, придуманных и применяемых в республике, чтобы облегчить от весны до самой осени эти экскурсии и сельские трапезы, к которым икарийцы имеют большое пристрастие.

Мы отправились все, — одни пешком, другие на красивых осликах, мулах или лошадях, третьи — в омнибусах.

Мы направились к знаменитому источнику, который находится в двух лье от Икары, на склоне прекрасного холма, господствующего над городом.

Я не в состоянии описать зрелище дороги, по которой гуляла публика и двигались кареты, лошади, ослы, мулы, собаки и экипажи с провизией, направлявшиеся в одно и то же место. Я не в состоянии также описать ни чарующую красоту пейзажа, газонов, беседок и источника, где искусство и природа потратили все свои средства украшения, ни восхитительные картины, которые представляли сотни групп, обедающих на траве, поющих, смеющихся,

прыгающих, бегающих, танцующих и развлекающихся самыми разнообразными играми.

Следуя приглашению своего деда, Корилла коротко описала нам два или три десятка сельских мест отдыха, куда население Икары направляется обыкновенно в дни празднеств и отдыха.

Она объяснила нам, что все эти красивые места, составляющие теперь предмет наслаждения всего народа, в прежние времена служили исключительно для удовольствия нескольких семейств, которые закрывали их стенами или рвами своих замков и парков.

Но как бы ни был интересен для меня рассказ Кориллы, которому она умела придать столько прелести, Вальмор заинтересовал меня еще больше, описав мне систему, принятую республикой для обеспечения пищей своих граждан.

Я передал бы здесь сущность его рассказа, если бы не нашел прекрасного изложения этой системы в другом письме Евгения к брату. Это письмо, которое я здесь привожу, заменит, таким образом, мой собственный рассказ. И чтобы перейти сейчас же к нему, я прибавлю только, что возвращение с прогулки было столь же оживленным и радостным, как и сама прогулка, и что душа моя была исполнена счастья; отражение такого же счастья я заметил на всех лицах.

Письмо Евгения к брату

О дорогой мой Камилл, как скорбит мое сердце, когда я думаю о Франции и когда вижу благополучие, которым наслаждается здесь народ Икарии! Суди об этом сам, знакомясь с его учреждениями, ведающими пищей и одеждой.

Пища

Все, что касается этой первой потребности человека, как и других его потребностей, в нашей несчастной стране предоставлено случаю и сопряжено с чудовищными злоупотреблениями. Здесь, напротив, все это весьма разумно и тщательно регулируется.

Представь себе сперва, мой дорогой брат, что нет решительно ничего во всем, касающемся пищи, что не было

бы регулировано законом. Именно он позволяет любой вид пищи.

Комитет ученых, учрежденный Национальным представительством, составил при содействии граждан список всех известных предметов питания, указав хорошие или плохие качества их.

Он сделал больше. Среди хороших предметов питания он указал необходимые, полезные и приятные и напечатал список их в нескольких томах. Каждая семья имеет один экземпляр.

Сделано было еще больше: указаны были лучшие способы приготовления каждого предмета питания, и все семьи имеют такой экземпляр поваренной книги.

Установив таким образом список хороших предметов питания, республика организовала при помощи своих земледельцев и рабочих их производство и распределяет их между семьями. А так как никто не может иметь других средств питания, кроме тех, которые распределяет республика, то ты поймешь, что никто не может потреблять других предметов питания, кроме тех, которые она одобряет.

Она сперва производит предметы необходимые, затем полезные и, наконец, приятные, и все это в таком количестве, какое только возможно.

Она распределяет их между всеми поровну таким образом, что каждый получает одно и то же количество какого-нибудь предмета питания, если его хватает на всех, и каждый получает только по очереди, если его хватает в течение года или дня только для одной части населения.

Каждый, следовательно, имеет равную часть всех предметов питания без различия, начиная с тех, которые мы называем самыми грубыми, и кончая теми, которые мы квалифицируем как наиболее тонкие, и весь народ Икарии питается так же хорошо и даже лучше, чем наиболее богатые жители других стран.

Ты видишь, таким образом, мой бедный друг, что правительство поступает здесь совершенно иначе, чем наша монархия: в то время как монархия так много кричит о добром короле, который хотел, чтобы каждый крестьянин мог в воскресенье есть курицу, республика здесь, ничего не говоря, дает всем и ежедневно все, что можно

в других странах видеть только на столе аристократов и королей.

Республика не только разводит всех необходимых животных, дичь и рыбу, она не только производит и распределяет все овощи и фрукты, которые потребляются в сыром виде, но и использует все средства, чтобы консервировать их, высушивая, варя и т. д., чтобы распределить их между всеми.

Но это не все. Комитет, о котором я только что говорил, обсудил и указал, сколько раз в день следует принимать пищу, в какие часы, число блюд, какие именно и порядок следования, беспрестанно изменяя их не только соответственно сезону и месяцам, но и соответственно дням; таким образом обеды в течение недели совершенно различны.

В шесть часов утра, до начала работ, все рабочие, т. е. все граждане, совместно подкрепляются в своих мастерских очень простым первым завтраком (который наши парижские рабочие называли «капля» или «утренний глоток»), изготовленным и сервированным ресторатором мастерской.

В девять часов они завтракают в мастерской, тогда как жены и дети их завтракают дома.

В два часа все жители данной улицы вместе обедают в республиканском ресторане, где пищу приготовляет один из рестораторов республики.

А вечером, между девятью и десятью часами, каждая семья у себя дома ужинает или ест легкую закуску, приготовленную женщинами.

При всяком обеде первый тост провозглашается во славу доброго Икара, благодетеля рабочих, благодетеля семей, благодетеля граждан.

Ужин состоит главным образом из плодов, печенья и сладостей.

Но общий обед в роскошных залах, изящно декорированных и вмещающих от одной до двух тысяч человек, превосходит своим великолепием все, что ты можешь вообразить.

Самые красивые наши рестораны и кафе в Париже в моих глазах ничто в сравнении с ресторанами республики. Ты, быть может, мне не поверишь, когда я скажу тебе, что, помимо обилия и тонкого качества блюд, помимо убранств из цветов и всего прочего, прекрасная музыка ча-

рует слух обедающих, в то время как обоняние их воспринимает запах восхитительных благоуханий.

Таким образом, когда молодые люди женятся, им нет нужды тратить свое приданое на свадебное пиршество плохого качества и разорять своих будущих детей; обеды, которые муж находит в ресторане жены, жена — в ресторане мужа, и обе семьи вместе в своих ресторанах, заменяют самые прекрасные обеды других стран.

И все же ты легко поймешь, что эти общие обеды дают огромную экономию в сравнении с индивидуальными обедами и, следовательно, позволяют значительно улучшить их качество.

Ты поймешь также, что это общее питание рабочих и соседей имеет и другие большие преимущества, а именно, оно способствует сближению масс и значительно упрощает домашние работы женщин.

А так как республика занята только благом своих детей, ты не будешь также удивлен, что она простирает свою заботливость до того, что дает им возможность по воскресеньям есть у себя дома, в своем кругу, обедать со своими личными друзьями и даже проводить день в деревне. С этой целью во всех ресторанах готовятся холодные блюда, которые доставляются семьям. Когда горожане хотят воспользоваться деревенским воздухом, в их распоряжение предоставляются средства транспорта.

Поистине, брат мой, я не лгу, когда уверяю тебя, что эта страна — рай, который радует душу так же, как и чувства, и, несмотря на это, я прихожу в бешенство... я... француз, обожающий свое отечество, я иногда испытываю за него все муки Тантала!

Но будем мужаться и надеяться. А пока будем изучать!

Ты, несомненно, пожелаешь знать, как организуется и проводится распределение предметов питания. Нет ничего проще. Но восхищайся снова!

Распределение предметов питания

Республика делает то, что мы часто видим в Париже и Лондоне, что делают иногда наши правительства и что делают теперь почти все торговцы.

Ты уже знаешь, что именно республика заботится о возвращении или производстве предметов питания, по-

лучает и собирает их, складывает в своих бесчисленных громадных магазинах.

Ты можешь легко представить себе общие погреба, такие, как погреба в Париже и Лондоне, большие склады муки, хлеба, мяса, рыбы, овощей, плодов и т. д.

Каждый республиканский магазин имеет, как любой из наших булочников или мясников, таблицу ресторанов, мастерских, школ, приютов и семей, которых он должен снабжать с указанием количества, какое он должен каждому доставлять. Он имеет также служащих, тару и все необходимые транспортные средства. Все эти средства снабжения соперничают друг с другом по своим качествам.

Так как предметы питания готовятся в магазине заранее, то в районе магазина рассылают на дом большие запасы продуктов на год, месяц или на неделю, а также провизию на каждый день.

Распределение провизии поистине восхитительное. Я не стану говорить тебе о совершенной чистоте, царящей повсюду, как необходимое условие, но я не премину сказать тебе, что магазин имеет для каждой семьи отдельную корзину, вазу, определенную меру, отмеченную номером ее дома и содержащую ее долю провизии, хлеба, молока и т. д.; и все эти сосуды имеются в двойном количестве, чтобы одни относились наполненными, а другие возвращались пустыми. Каждый дом имеет при входе специально устроенную для этого нишу, в которой развозчик находит пустые сосуды и замещает их наполненными. Таким образом, распределение производится всегда в одно и то же время, причем оно возвещается особым сигналом, совершается без всяких забот для семьи и без потери времени для развозчика.

Ты представляешь себе, мой дорогой друг, экономию времени и все выгоды этой системы массового распределения?

В общем все совершенно в этой счастливой стране, населенной людьми, которые достойны, наконец, звания человека, так как даже в самых малых вещах они всегда делают полезное употребление из высшего разума, данного им провидением для их счастья.

А теперь ознакомься еще с их системой обеспечения одеждой, и снова удивляйся и удивляйся, если только ты не придешь в ярость, как я...

Глава
восьмая *Одежда*
(продолжение
письма Евгения
к брату)

Все, что я сказал тебе о пище, мой дорогой Камилл, относится также к одежде. Все регулирует закон по указанию комитета, который, выслушав разные мнения и ознакомившись с формой одежды разных стран, составил список всех форм и цветов (великолепное издание, которое имеется у каждой семьи) одежды, указал, какие из этих форм и цветов принимаются и какие отвергаются, и классифицировал их соответственно необходимости, полезности и приятности.

Все необходимое сырье выращивается и производится земледельцами по заказу республики. Это она в своих мануфактурах производит все одобренные материи, и она же при помощи своих рабочих и работниц изготавливает всю одежду и распределяет ее между семьями.

Республика начала с производства самых необходимых материй, а теперь заказывает все материи без исключения, как самые приятные, так и самые полезные.

Все, что по форме, рисунку и цвету было фантастично или безвкусно, было заботливо устранимо.

Ты не можешь себе представить ничего более чистого и приятного, чем выбранные цвета, ничего более изящного и простого, чем рисунки материй, ничего более элегантного и удобного, чем форма одежды.

И ты это легко поймешь, когда вспомнишь, что нет ни одного экземпляра обуви, головного убора и т. д., который не был бы обсужден и принят согласно плановому образцу. И хотя при моей страсти к живописи я, как ты знаешь, всегда был очень требователен по части одежды мужчин, и в особенности женщин, клянусь тебе, что не мог найти недостатков в одеждах этой страны.

Я говорил тебе о женщинах. О, дорогой мой Камилл, как любил бы икарийцев ты, такой галантный и такой же поклонник, как и я, этого венца творения создателя, если бы ты видел, как они окружают женщин своими заботами, уважением и почетом, как они сосредоточивают на них свои мысли, заботливость и попечение, как они непрестанно стараются нравиться им и делать их счастливыми, как они украшают их, уже от природы красивых, что-

бы иметь еще больше удовольствия в обожании их! Счастливые женщины! Счастливые мужчины! Счастливая Икария! Несчастливая Франция!

В особенности одежда женщин вызовет твое удивление: твой жадный глаз будет не только очарован, когда увидит в ней все, что ты знаешь наиболее тонкого, великолепного, восхитительного в материях, цветах и формах, но он в известных случаях будет также удивлен роскошью перьев и поражен блеском драгоценностей и камней.

Правда, перья почти все искусственные, как и цветы; драгоценности редко сделаны из чистого золота, но почти всегда из сплавов или других позолоченных или непозолоченных металлов; все драгоценные камни изготавливаются фабричным способом. Но какое это имеет значение? Разве все эти украшения поэтому менее красивы, разве они меньше украшают головы, которые их носят, разве они менее драгоценны как украшения, в особенности когда все женщины носят их и ни одна из них не может выставить напоказ другие? И все эти икарийки, которые презирают и отвергают всякую условную красоту, всякое пустое тщеславие, ценят только настоящие удовольствия и разумные чувства, разве они поэтому менее рассудительны, менее красивы и менее счастливы?

Ты был бы опьянен, вдыхая те нежные и восхитительные запахи, которыми пропитаны одежды женщин и даже мужчин, ибо икарийцы считают привычку к духам не только удовольствием для себя, но и обязанностью по отношению к другим. Тебя удивило бы разнообразие их масел и эссенций, их помад и паст — одним словом, их духов для мужчин, как и для женщин, если бы ты и не знал, что вся страна покрыта цветами и что для них нет ничего легче и дешевле, как иметь духи для всего населения.

Если бы ты попал в республиканскую парфюмерию, тебе показалось бы, что ты находишься во дворце феи.

Все имеют одинаковую одежду, а это исключает завысть и кокетство. Но не думай, пожалуйста, что одинаковость исключает разнообразие. Напротив, именно в одежде разнообразие может самым счастливым образом совмещать свои достоинства с выгодами одинаковости. Не

только оба пола одеты различно, но и в каждом из обоих полов человек часто меняет одежду соответственно возрасту и положению, ибо особенности одежды указывают все обстоятельства и различия положения отдельных лиц. Детство и юность, возраст половой зрелости и совершеннолетия, положение холостяка или женатого, вдовца или вновь вступившего в брак, различные профессии и разные функции — все это отличается в одежде. Все лица одного и того же положения носят одинаковую одежду, но тысячи различных форм одежды соответствуют тысячам различных положений.

Разница в одежде состоит в разнице материй или цветов и в разнице формы или некоторых особенных признаков.

Прибавь к этому, что если материя или форма бывает одинаковой, например у молодых девушек одного возраста, то цвет может быть различным сообразно их вкусу или желанию, так как один цвет, как ты знаешь, идет лучше блондинкам, а другой — брюнеткам.

Прибавь еще, что для одного и того же лица простая и удобная рабочая одежда и одежда домашняя, элегантное платье для салона или публичных собраний и великолепное платье для праздников или церемоний совершенно различны.

И ты поймешь, что разнообразие костюма должно быть почти бесконечным.

Подумай только, что цветы дозволены лишь начиная с определенного возраста, шляпы, перья, драгоценности, камни, прекрасные материи — для других определенных возрастов, и ты легко поймешь, что республика может производить их в достаточном количестве для небольшого числа лиц этих различных возрастов.

Представь себе теперь все население в полном сборе, в праздничных платьях, в цирках, на гуляньях или спектаклях, и ты поймешь, что ложи парижской и лондонской опер, так же как и салоны и даже дворы этих двух столиц, не кажутся более блестящими и великолепными и что эти маленькие привилегированные общества являются только пигмеями в сравнении со всем населением Икары.

Рассказывать ли об изготовлении и распределении одежды?!

Ты понимаешь, как легко для республики установить необходимое количество сырья, материи и одежды, произвести сырье на своих землях при помощи земледельцев или закупить его за границей, изготовить затем материи в массовом количестве в своих огромных мануфактурах при помощи мощных машин и сшить, наконец, платья в своих огромных мастерских силами рабочих и работниц.

Ты можешь даже догадаться, что форма каждой одежды рассчитана была таким образом, чтобы она могла быть изготовлена наиболее легко, скоро и по возможности экономно.

Почти все платья, головные уборы и обувь эластичны, так что могут подойти нескольким лицам разного роста и объема.

Почти все изготавливаются при помощи машин, целиком или частично, так что рабочим остается сделать немного, чтобы закончить их.

Почти все делается в четырех или пяти разных номерах по ширине и величине, так что рабочие не имеют нужды предварительно снимать мерку.

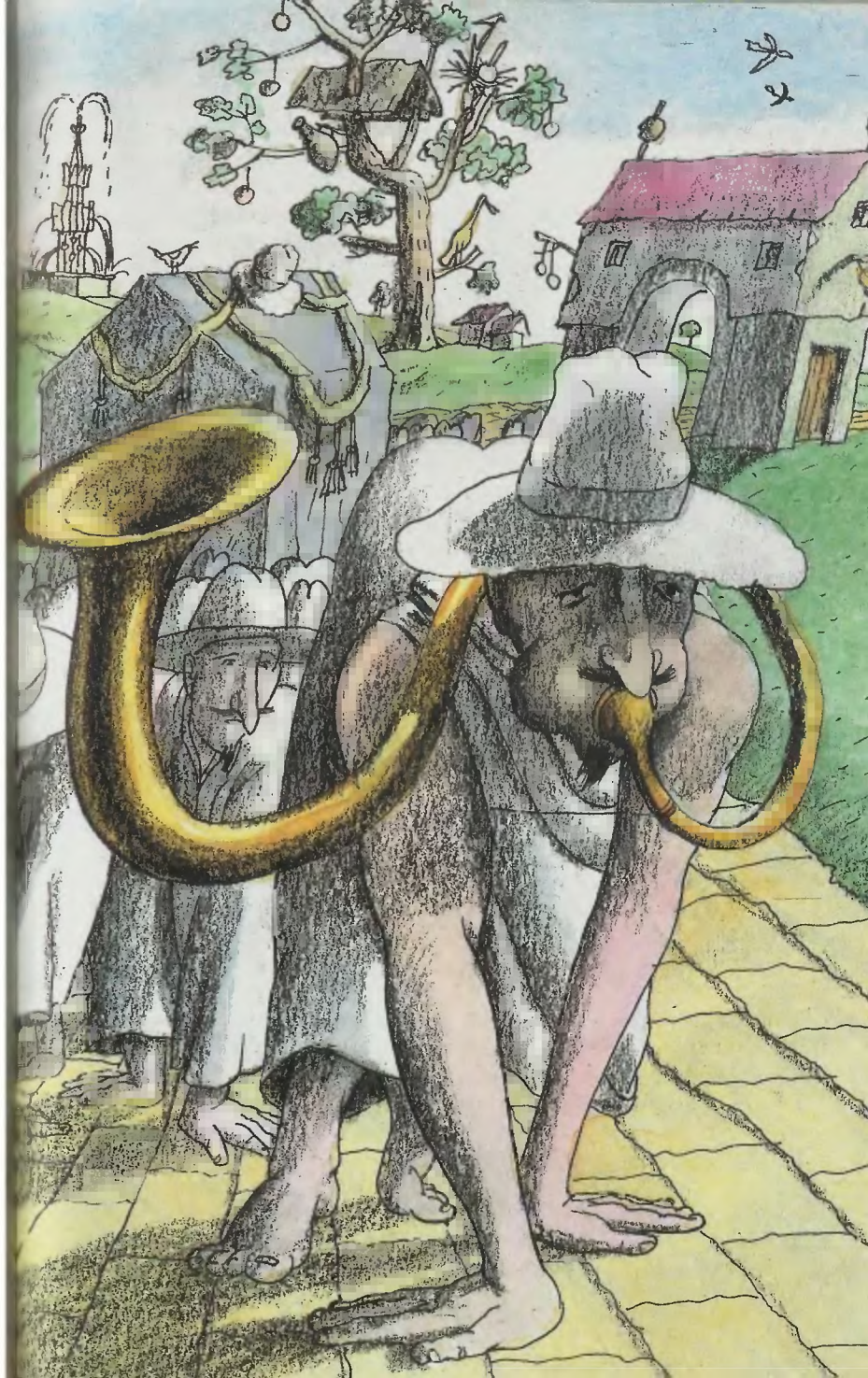
Вся одежда, как и материи, изготавливается в огромных количествах и часто одновременно, а затем она складывается в огромных магазинах, куда каждый может всегда прийти с уверенностью, что тотчас же найдет все необходимые предметы, которые ему полагаются по закону.

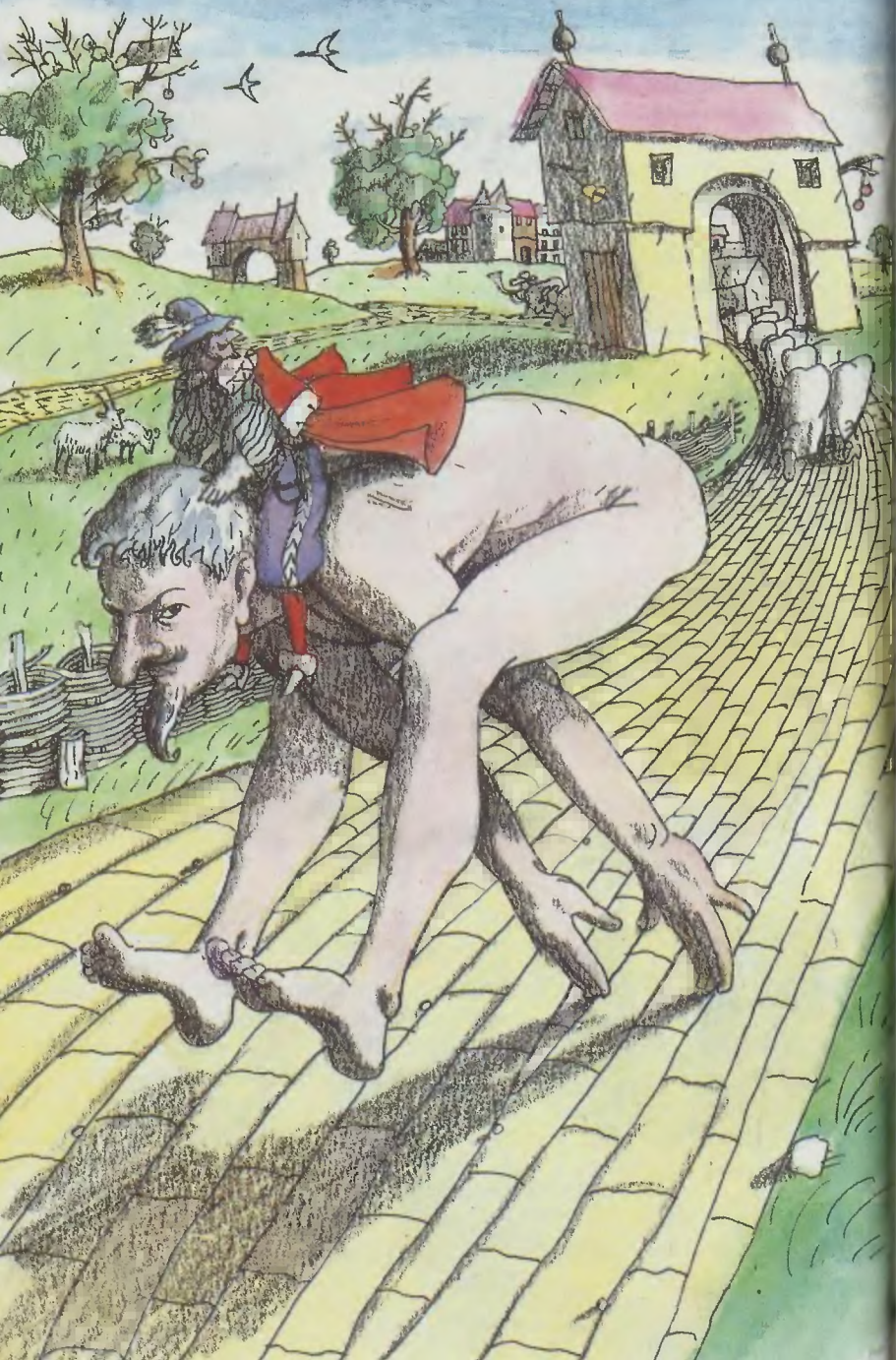
Мне нет нужды отмечать для тебя ни совершенство работы, выполняемой машинами или рабочими, которые всегда выделывают одну и ту же вещь, ни поразительную экономию, которая вытекает из этого массового производства, ни огромные потери, которых избегает республика, предупреждая капризные и смешные изменения моды.

Что касается распределения одежды, то каждый магазин имеет таблицу семей, которые он должен снабжать, с указанием количества, которое он должен доставлять. Он открывает счет каждой из них и посылает то, что ей следует, когда она выбрала, что ей подходит.

Чистка и починка составляют труд женщин в каждой семье, но эта работа очень невелика, а стирка, более хлопотливая, лежит на обязанности национальных прачечных.

Суди о прочем по всему тому, что ты теперь знаешь!





И если я хочу кончить пожеланием тебе счастья, то пожелаю тебе, мой дорогой Камилл, скоро иметь такое отечество, как Икария.

Я направился к Вальмору, который назначил мне свидание в часовой мастерской, где работал один из его кузюлов. Я привел с собой Евгения.

Нет нужды говорить, что Вальмор хорошо принял моего товарища и показал нам все до последних мелочей.

Это нечто удивительное! Все там собрано вместе — от необходимых материалов, находящихся в первом магазине, до стенных часов, маятников, карманных часов, аппаратов всякого рода, расположенных в последнем магазине, который кажется блестящим музеем.

Специальная часовая мастерская представляет собою здание площадью в тысячу квадратных футов. Все три этажа его поддерживаются железными колоннами, которые заменяют самые толстые стены и позволяют сделать из каждого этажа одну залу, прекрасно освещенную при самой простой системе освещения.

Внизу находятся огромные и тяжелые машины для резки металлов и изготовления вчерне разных частей. Наверху — рабочие, разделенные на столько групп, сколько изготавливается различных частей. Каждый рабочий всегда выделяет одни и те же части. Порядок и дисциплина господствуют среди них в такой степени, что их можно назвать армией солдат.

Приятно видеть также, в каком порядке расставлены полки, привязаны и привешены все инструменты.

Кузен Вальмора объяснил нам весь распорядок работы этой маленькой армии.

— Мы приходим в шесть часов без четверти, — сказал он, — снимаем свое платье в раздевальне, которую я сейчас покажу вам, и надеваем наше рабочее платье.

Ровно в шесть часов мы по звуку колокола приступаем к работе. В девять часов мы спускаемся на двадцать минут в столовую, чтобы позавтракать молча, пока один из нас громко читает утреннюю газету. В час работа прекращается, и когда все приведено в порядок, вычищено, мы спускаемся в раздевальню, где мы переодеваемся в свои костюмы, чтобы в два часа пойти пообедать вместе с нашими семьями и затем свободно располагать остатком дня.

Я забыл вам сказать, что в первые два часа работы мы соблюдаем строгое молчание, но в течение двух других часов мы можем говорить с нашими соседями, а в течение остального времени каждый поет для себя или для других, которые слушают его, и часто мы поем хором.

Мы вышли, удивляясь этому разумному распорядку, и направились посмотреть роскошный памятник, о котором я буду говорить позже.

Немного спустя после моего прихода к Корилле вошла дама и шесть или семь детей различного возраста, среди которых находилась молодая девушка прелестной наружности.

Вскочить, побежать к ней, снять с нее шляпу и обнять ее — все это для Кориллы было делом одного мгновения.

— Я имею удовольствие, — сказал отец Вальмора, взяв меня за руку, — представить любезной госпоже Динаме почтенного милорда Керисдолла, о котором ей должен был рассказать ее сын. Он наш друг...

— А следовательно, и наш, — прибавила эта дама самым любезным тоном.

— А я, — сказала в свою очередь Корилла, взяв меня за руку и стараясь говорить торжественно, — имею честь... представить доброго мистера Вильяма злой... [я бы сказал: очаровательной, точно и без меня не видят этого] Динаизе, которая скрывает дьявола под наружностью ангела и расцарапала бы мне лицо, если бы никого не было, что бы меня защитить.

— Ты никогда не перестанешь сумасбродничать, — ответила мадемуазель Динаиза, покраснев.

Трудно сказать, что испытал я, услышав этот голос: это был голос невидимки! Я чувствовал, что краснею или бледнею. К счастью, пылкие ласки детей, которые бегали от одной к другой, мешали заметить мое смущение.

Но каково было мое замешательство, когда насмешливый Вальмор громко сказал мадемуазель Динаизе:

— Вы узнаете пассажира, который ехал с вами, но вы не знаете, что он сказал о вас...

— А что он сказал? — воскликнула Корилла.

— Что сказал он? — воскликнули все.

— Могу ли я повторить это, Вильям?

— Да, да! — закричали со всех сторон.

— Ну, так вот, он сказал... он сказал, что скрывающаяся под вуалью и шляпкой невидимка была, несомненно, ужасно безобразна.

Это вызвало продолжительный взрыв смеха и град шуток по поводу моего искусства угадывать.

— Я не мог тогда думать, — сказал я, почти пролепетами мои слова, — что наружность человека должна быть красива, когда он обладает таким божественным голосом.

Но мой комплимент показался таким неудачным, что заставил Динаизу еще больше покраснеть; он не помешал Корилле и другим беспощадно повторять: «безобразная», «ужасная», «страшная».

Скоро, однако, занялись музыкой, и Корилла, которая подала пример, пела еще лучше, чем прежде.

Мадемуазель Динаиза не хотела петь, но Корилла так настойчиво и ласково просила ее, что она в конце концов согласилась. Она пела робко и плохо, но таким голосом... голосом, который заставлял меня тихо дрожать с головы до ног.

— Не судите о Динаизе по ее робости, — сказала мне мать Вальмора, около которой я сидел, — она очень умна и образованна; это лучшая из дочерей, сестер и подруг. Она привязана к другим, любит их, мила и обходительна, как никто, она забывает о себе и заботится только о других, она обожает своего брата Динара, и, если бы была менее застенчивой, менее меланхоличной или менее робкой, она была бы так же любезна, как моя Корилла. Семья ее тесно связана с нашей; брат ее — друг детства Вальмора; она первая подруга моей дочери, она любит меня, как свою мать, я люблю ее, как свое дитя, и скоро буду иметь удовольствие дать ей это имя, ибо Вальмор безумно влюблен в нее, родители ее так же желают этого брака, как и мы, и через несколько дней мы назначим день их свадьбы.

— Довольно, довольно, — сказала мне Корилла, приближаясь к нам, — теперь ваша очередь петь, г-н Вильям, одному, или с Динаизой, или со мной, выбирайте. Вы очень счастливы, что я предоставляю вам выбор, но вы будете петь.

Мне не хотелось петь, и я извинился насколько мог лучше.

— Вы мне отказываете, — сказала она, — и никто не присоединяется ко мне, чтобы заставить непокорного! Ну, хорошо! Я отомщу вам всем и распоряжусь вами: завтра

мы все поедem смотреть подъем воздушных шаров, и мы подымемcя вместе с милордом. Послезавтра мы проведем вечер у госпожи Динаме и будем заниматься музыкой. Милорд изучит эту пьесу во время воздушного путешествия, и если под чистым небом к нему вернется его голос, он в случае счастливого возвращения будет петь один, затем с Динаизой, затем со мной... Так я постановляю, правда, с согласия доброй госпожи Динаме и с утверждения нашего грозного суверена и господина.

Дедушка и госпожа Динаме засмеялись, мать назвала ее сумасбродкой, мадемуазель Динаиза, казалось, была на нее сердита, но дети аплодировали, прыгая от радости, и вопрос об увеселительных прогулках был решен.

Глава
девятая *Жилище*
Обстановка

Я писал письмо в Англию, когда вошел Евгений, чтобы пригласить меня осмотреть внутренний вид дома одной знакомой семьи, хозяйка которого обещала ему показать его во всех деталях. Я принял его предложение, и мы вышли.

Жилище

Зная, что Икар установил образцовый план дома после совещания с жилищным комитетом и всем народом, после того как исследовал дома различных стран, я ожидал найти дом, совершенный во всех отношениях, в особенности с точки зрения удобства и чистоты. И все же мои ожидания были превзойдены.

Я буду говорить здесь не о внешнем виде и не о том, что касается украшения улицы и города, но о том, что интересует жильца дома.

Здесь было собрано все, что можно представить себе необходимого и полезного и даже приятного.

Каждый дом имеет четыре этажа (не считая партера), каждый в три или четыре или пять окон шириною.

Под партером находятся погребца, погребки, дровяные и угольные сараи, пол которых на пять или шесть футов ниже, чем тротуар, а свод на три или четыре фута выше. Хозяйка объяснила нам, каким образом дрова, уголь и все остальное доставляется машинами от возов до этих под-

земных помещений без прикосновения к тротуару и без загрязнения его. Она показала нам затем, как все эти предметы поднимаются в корзинах или вазах через отверстия в своде до самой кухни и верхних этажей при помощи небольших машин, которые делают ненужным употребление человеческой силы.

В партере нет никаких лавок, нет помещения для швейцара, нет конюшен, сараев, ворот, ни вестибюля, ни двора, зато мы находим там столовую, кухню и все необходимые для нее помещения, небольшую приемную, которая служит библиотекой, ванную с домашней аптечкой, маленькую мастерскую для мужчин и другую для женщин, со всеми инструментами, в которых имеется нужда в хозяйстве, небольшой птичий двор, кладовую для садовых орудий и сад, расположенный за домом.

В первом этаже помещается большой салон, где находятся музыкальные инструменты. Остальные комнаты первого этажа, равно как и комнаты других этажей, представляют спальни или помещения, назначенные для всякого иного употребления.

Все окна открываются внутрь и снабжены балконами.

Все расположено так, чтобы сделать лестницы удобными и изящными, не отводя для них слишком много места.

— Какой прекрасный вид! — воскликнул я, поднявшись на террасу, окруженную балюстрадой и обсаженную цветами. Она как бы окружает дом венком и образует еще другой прелестный сад, из которого открывается великолепный вид.

— В хорошие летние вечера, — сказала хозяйка, — почти все семьи собираются на своих террасах, чтобы подышать свежим воздухом. Они там поют, занимаются музыкой и ужинают. Вы это увидите. Это нечто очаровательное!

Другая маленькая терраса, украшенная цветами поверх нависающей над тротуаром галереи, и цветы почти на всех балконах еще более усиливают привлекательность жилища и наполняют окружающий воздух благоуханием.

Дождевая вода, спускающаяся с террас, не причиняет никаких неудобств; собираемая в резервуаре или цистерне, она используется так же целесообразно, как источник и колодцы, из которых легко черпают воду при помощи насосов.

Мы — Евгений и я — удивлялись также устройству каминов и системе отопления, распространяющей всюду, с соблюдением величайшей экономии, одинаковую и мягкую теплоту с полной гарантией от дыма и пожаров.

— Эти две маленькие статуи, которые вы видите на камине, республика присудила изобретателям средств против пожаров и дыма. Посмотрите, как все скомбинировано в конструкции здания и в выборе материалов, чтобы охранить их от огня! Вот почему мы почти не знаем пожаров ни в наших домах, ни в мастерских, и если вспыхивает пожар, то его почти мгновенно тушат. Говорят даже, что уже нашли средство, чтобы в случае надобности делать дерево и материю нескороаемыми.

— Посмотри, — сказал мне Евгений, — двери и окна двигаются без всякого шума на шарнирах, плотно закрываются и совершенно преграждают доступ внешнему воздуху.

— И, несмотря на это, — сказала хозяйка, — вы видите, как, не открывая дверей и окон, мы прекрасно вентилируем все наши помещения при помощи этих отверстий, которые выходят наружу и закрываются или открываются по желанию!

Но в особенности удивила меня система, придуманная для соблюдения чистоты, а также система, ставившая целью освобождение женщины от всякой тяжелой и грязной работы в домашнем хозяйстве.

Для соблюдения чистоты приняты все меры. Нижние части помещений, больше всего подвергающиеся загрязнению, покрыты оглазуренным фаянсом или краской, которая не допускает грязи и легко моется. Питиевая и непитьевая вода, получаемая из высоких резервуаров и поднимающаяся до верхней террасы при помощи труб и кранов, распределяется по всем этажам и даже по всем комнатам или спускается машинами для мытья, тогда как грязная вода и нечистоты, нигде не застаиваясь и не распространяя никакого дурного запаха, уносятся широкими подземными трубами, которые проведены под улицами. В местах наиболее зловонных техника потратила особенно много усилий, чтобы изгнать из них все неприятное, и одной из самых красивых статуй, присужденных республикой, является та, которую можно видеть во всех домах над дверью маленького очаровательного кабинета:

она должна увековечить имя женщины, которая изобрела средство для устранения неприятных запахов.

Даже грязь, которую ноги могут принести с собой извне, составляет предмет особого попечения. Независимо от того, что тротуары в высшей степени чисты, устроено бесконечное множество мелких приспособлений, чтобы грязные ноги не пачкали комнаты и даже порог двери и лестницу, между тем как воспитание приучает детей к соблюдению чистоты как одной из первых обязанностей.

Мусор и всякие отбросы складываются таким образом, что если их нельзя использовать как удобрение для сада то можно убрать, не испытывая к этой операции отвращения и не тратя на нее большого труда.

Что касается хозяйства, которое должно вестись в каждой семье не слугами, а женщинами и детьми, то я не переставал удивляться той заботливости, с какой республика устраняет из домашних работ все, вызывающее утомление и отвращение.

— Подметать не представляет почти никакого труда, — сказала мать семейства, — а другие работы еще менее утомительны. Не только воспитание и общественное мнение приучают нас, женщин, выполнять наши обязанности без стыда и раздражения, но они делают для нас эти обязанности приятными, непрерывно напоминая нам, что это единственное средство пользоваться неоценимым преимуществом обходиться без наемных людей в обслуживании нас и наших семей.

К тому же благодаря нашему доброму Икару и нашей возлюбленной республике все помыслы наших мужей постоянно устремлены к цели — сделать нас счастливыми и упростить наши домашние работы. Завтрак и обед, две главные трапезы, происходят вне дома и готовятся общественными поварами, тогда как пошивка всей нашей одежды, мужской и женской, а также стирка белья выполняются мастерскими республики, так что нам приходится заботиться только о содержании в порядке одежды и о приготовлении самых простых блюд для двух трапез, требующих лишь наиболее приятной кухонной работы.

А наша кухня — посмотрите ее. Обратите внимание на плиту, печь, краны для холодной и горячей воды и на все эти маленькие инструменты и орудия. Скажите мне, можно ли себе представить что-нибудь более чистое и бо-

лее удобное, и разве не правда, что архитектор, который все это так построил, чтобы мы любили свои работы, столь же остроумен, сколь и галантен!

Поэтому наши молодые девушки любят петь чудесную песню в честь молодого и галантного строителя кухонь.

— Но главная заслуга принадлежит не архитектору, — заметил Евгений, — а республике, этому самому отеческому правительству или самой нежной из матерей, которая все устроила к благу и удовольствию своих детей. Несчастливая Франция!..

— Вы правы, мой дорогой друг, — прибавил я сейчас же, чтобы прервать его и предупредить повторение его патристического энтузиазма.

— Да, — сказала хозяйка, — если бы наша республика подверглась когда-либо нападению наших мужей, мы немедленно развелись бы с ними, старые и молодые, мы стали бы ее защищать! Вы имели бы даже удовольствие слышать, как наши дочери каждое утро клянутся сделать это в другой песне, ибо они работают по хозяйству или в мастерских всегда при звуке песен (так все мы счастливы), и вы можете верить, что их платье хозяек и работников нравится им больше, чем платье для праздников или отдыха.

Таков дом в Икарии! И все дома города внутри абсолютно одинаковы, и каждый дом занят только одной семьей.

Но дома имеются трех размеров — в три, или четыре, или пять окон в ряд для семей, насчитывающих меньше двенадцати, двадцати пяти или сорока человек. Когда семья более многочисленна (что случается часто), она занимает два небольших дома, сообщающихся при помощи внутреннего хода; так как все дома одинаковы, то соседняя семья обыкновенно охотно уступает свой дом, чтобы занять другой, или коммунальное должностное лицо принуждает ее к этому в случае отказа, если многочисленная семья не может найти два свободных смежных дома.

В этом случае, ввиду того, что обстановка абсолютно одинакова, как и дома, каждая семья уносит с собой только личные вещи и покидает свой вполне благоустроенный дом, чтобы занять другой, столь же благоустроенный.

Эти перемены жилья, впрочем, так редки, что республика избегает огромной потери мебели и труда, вызываемой в других странах перемещением и перевозкой всего движимого имущества в постоянных переездах с одной квартиры на другую.

Но самый остов дома или его расположение — это только одна часть, и, чтобы получить полное представление об икарийском жилье, нужно еще рассмотреть его обстановку.

Обстановка

В отношении обстановки сохраняют свою силу те же самые правила: все необходимое, все полезное (что мы называем комфортабельным) и, поскольку возможно, приятное; во всем предусмотрительность и рациональность.

Поэтому всюду можно видеть паркет и ковры, всюду вместо острых выступов и углов округленные формы для того, чтобы избежать несчастных случаев с детьми, а также и со взрослыми. Дверцы шкафов так герметически закрываются, что пыль не может в них проникнуть. Вообще, как заметила хозяйка, по отношению к мебели заботливо приняты такие меры, что пыль не может сесть на нее или же пыль легко ежедневно сметать.

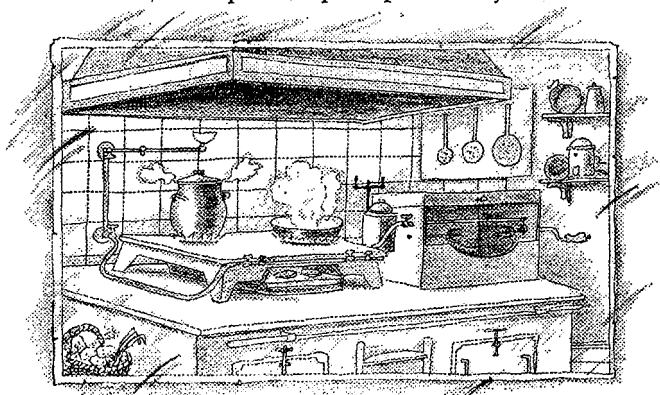
Эта милая дама объяснила нам также с некоторой гордостью, что все выступы и углубления (например, образуемые стенами или панелями) заботливо покрыты гипсом или мастикой и всюду округлены, для того чтобы их легче было чистить.

Она показала нам также с видимым удовлетворением все меры предосторожности, принятые для предохранения жилищ от всяких насекомых, которыми они некогда изобиловали, к прискорбию обитателей, и я должен признать, что все эти маленькие меры предосторожности понравились мне столько же, сколько самые большие красоты квартир.

Все эти квартиры снабжены стенными и простыми шкафами, буфетами, полками и т. д. Стены устроены так, что эта мебель неподвижна; она вделана в них, прислонена или прилажена к ним и состоит только из внутренних отделений или ящиков с дверцами спереди и иногда с полками сверху, что обеспечивает огромную экономию труда и материала.

Все стены обиты обоями или материей или разрисованы, покрыты лаком и снабжены плакатами в рамках, содержащими не картины, а весьма поучительные прекрасные наставления из области общепользных знаний.

Плакаты в кухне, например, указывают наиболее обычные рецепты, так что кухарка может в них сейчас же найти необходимые ей указания, не обращаясь к большой книге. В ванной плакаты указывают температуру, время и т. д., необходимые для пользования ванной. В комнате кормилицы плакаты напоминают с одного взгляда обо всех необходимых мерах предосторожности для кормилицы и ее питомца. В комнате детей плакаты указывают все, что они должны делать в течение дня. Но в этих рамках очень мало гравюр или картин, так как каждый может в национальных музеях и в общественных зданиях видеть коллекции картин, гравюр и статуй.



Все кровати — из железа, спальни меблированы очень просто, хотя и содержат все необходимое, а также особые уборные для мужчин и женщин.

Столовая и небольшая приемная убраны лучше, ванная комната очаровательна, а гостиная великолепна.

Мы знали, что всякая часть мебели в комнатах, спальне, столовой и т. д., находящаяся в доме, допущена законом, изготовлена и доставлена по распоряжению правительства и каждая семья имеет нечто вроде атласа или большого портфеля, в котором содержится список этой «законной» подвижности с гравюрами и эстампами и описывается вид и качество каждого предмета. Мы пожелали видеть эту любопытную книгу и пробежали ее с таким же интересом, как и удовольствием.

— Каждый предмет из этой мебели, — сказала нам хозяйка, — был выбран из тысяч такого же рода и принят по конкурсу соответственно рисунку-образцу. Предпочтение отдано было наиболее совершенному с точки зрения удобства, простоты, экономии времени и материала, наконец, изящества и красоты. И результаты налицо!

Мы были, действительно, очарованы всем, что нас окружало. В коврах, обивке, обоях, мебели разного рода, одним словом, всюду, мы с удивлением замечали простоту, изящество и вкус в выборе цветов, рисунков и форм.

И еще больше удивляло меня то, что во всей этой мебели блистали самые ценные материалы, все металлы, золото и серебро, мрамор и камни, фарфор и всякого рода глины, кристаллы и стекла, дерево всех видов, материи разных качеств и разного цвета — одним словом, всякие минеральные, растительные и животные продукты.

Когда я на каждом шагу выражал свое изумление, Евгений сказал мне:

— Я сперва удивлялся, как и вы, но мне объяснили, что все материалы, добываемые из недр Икарии, в глазах республики одинаково ценны, если она имеет их в изобилии, и республика, например, доставляла бы семьям лопаты из золота и серебра столь же охотно, как лопаты из железа, если бы все три металла были одинаково распространены. Она делит все золото и серебро между гражданами, как она делит между ними железо и свинец. Когда какое-нибудь вещество слишком редко встречается, чтобы его можно было дать всем, его не дают никому, и если оно полезно или приятно, то его используют только для общественных зданий.

— Так вот, — продолжал он, — не понимаете ли вы теперь, как и я, что драгоценные предметы, собранные некогда в дворцах королей и аристократии, имеются в достаточном количестве, чтобы каждый дом получил свою долю?

— Заметьте, между прочим, — продолжала хозяйка, — что легированное золото и серебро, искусственные кристаллы и сфабрикованные камни в наших глазах так же хороши и прекрасны, как и чистое золото и серебро, алмазы и драгоценные камни, и республика имеет достаточно сплавов и смесей, чтобы доставить их каждой семье в нужном количестве. Таким образом, зеркала, кристаллы, стекла, люстры, бронза, алебастр и гипс, искусствен-

ные цветы и духи — одним словом, все, что республика добывает или производит, все она делит между гражданами. И заметьте, как совершенно все, что касается освещения! Не только наши лампы, наши сальные свечи и наш газ не распространяют никакого дурного запаха, но наши масла, наши восковые свечи и все наши другие материалы парфюмированы, и все вместе чаруют обоняние и зрение, не утомляя их.

Внимательно рассмотрите и наш салон.

Хотя я видел уже такие салоны, я был, однако, поражен, осмотрев его с большим вниманием во всех деталях. Не буду перечислять здесь всех его удобств и красоты и ограничусь лишь утверждением, что ни в одном дворце я не видел ничего более изящного, более элегантного и великолепного.

— И все дома в Икарии похожи на этот! — воскликнул восторженно Евгений. — Счастливая страна!

— И это однообразие не утомительно, — прибавил я.

— Прежде всего это бесценное благо, — сказала хозяйка, — даже необходимость и является основой всех наших учреждений; затем оно комбинируется с бесконечным разнообразием в каждой части. Посмотрите: в этом доме, как и во всех других, вы не увидите двух комнат, двух дверей, двух каминов, двух ковров, которые были бы похожи друг на друга, и наши законодатели сумели соединить все привлекательные стороны разнообразия со всеми выгодами однообразия.

Мы ушли, вполне очарованные, поблагодарив хозяйку за ее любезную предупредительность и поздравив ее с тем, что она является членом такого разумного и счастливого народа.

Я с нетерпением ждал полета на управляемых воздушных шарах, а Евгений, которому я предложил пойти со мной, горел не меньшим нетерпением увидеть мадемуазель Динаизу. Но представьте себе мое разочарование, когда, придя к Вальмору, я узнал, что мадемуазель Динаиза не может прийти, она не может нас принять даже завтра, а только на третий день, Корилла же находится у своей подруги и тоже не может пойти с нами. Мы отправились одни, Евгений, Вальмор и я, и не знаю, кто из

нас больше всех досадовал, хотя мы все, казалось, философски покорились своей судьбе.

— Как это возможно, — спрашивал я по пути Вальмора, — управлять шаром в воздухе?

— А разве не говорили то же самое, — ответил Вальмор, — до изобретения кораблей, компаса, до открытия Америки, введения оспопрививания, до изобретения громоотвода, садовых машин, воздушных шаров и тысячи других вещей?

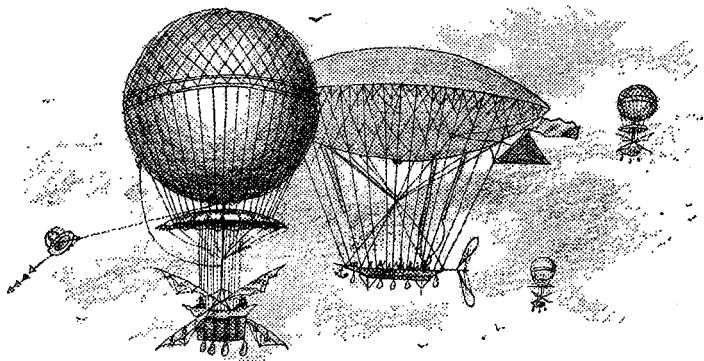
— Нужно было найти точку опоры, и казалось невозможным найти ее в воздухе. Но ведь говорили также, что необходимы вещи, которые невозможно открыть, и все же их открывали. А затем, кто может сказать, что безусловно необходима точка опоры? Или кто может сказать, что эта точка опоры не может быть найдена в воздухе? Конечно, можно сказать, как скажет слепой: «Я не вижу солнца». Но точно так же, как слепой был бы не прав, говоря: «Нет солнца», так никто не имеет права сказать: «Невозможно управлять воздушным шаром».

— Но, — сказал Евгений, — теперь это уже не проблема, ибо мы сейчас увидим, что можно управлять воздушным шаром по своей воле.

— Сначала было много несчастных случаев, — прибавил Вальмор, — как и с паровыми машинами и даже с паровыми повозками. Многие шары сгорели, или были разбиты молнией, или спускались слишком быстро, или падали на острые возвышения или в море, многие воздухоплаватели погибли, но наши ученые были так убеждены, что дело кончится успешно, что республика предоставила в их распоряжение все средства, чтобы возобновить опыты. В результате всех этих опытов случай помог открыть то, что начинали считать невозможным. Найдено было средство разрешить все трудности, и вот уже два года, как воздушное путешествие является не только самым быстрым и самым приятным, но и таким, которое представляет менее всего риска и опасности.

Когда он заканчивал свои объяснения, мы прибыли на место. Какое зрелище! В огромном дворе, наполненном зрителями, пятьдесят колоссальных воздушных шаров, из которых каждый в своей украшенной различными цветами гондоле вмещал от сорока до пятидесяти человек, ожидали начала отправления, как пятьдесят почтовых карет или пятьдесят дилижансов.

По сигналу, данному рожком, пятьдесят шаров величественно поднимаются среди взаимных приветствий пассажиров и зрителей, при звуках рожков, которые слышны еще некоторое время вверху. Затем, достигнув определенной высоты, различной для каждого из них, они выбирают себе разные направления и исчезают, как ветер, но еще долгое время за ними можно следить с помощью сотен направленных на них телескопов.



— Их направляют по желанию, — сказал мне Вальмор, — направо или налево, вверх или вниз, замедляют или ускоряют их полет. Они останавливаются и часто спускаются в городах, расположенных на их пути, чтобы высадить пассажиров или взять других. Говорят даже, что они скоро возьмут на себя перевозку почтовой корреспонденции. Прибавляют еще, что ими будут пользоваться вместо телеграфа.

В это время мы услышали крик: «Вот он!» Это был шар из Моры, прибытия которого ждали; он уже виднелся, как точка, на горизонте.

Мы его скоро увидели над нашими головами. Он сделал поворот и медленно опустился на землю, высадил пассажиров и выложил пакеты.

Никогда не забуду я впечатления, которое произвел на меня вид этих прибывающих и отбывающих шаров. Размышления, которые оно породило, вызвали во мне состояние, похожее на экстаз. Мне казалось, что это сон, и я, должно быть, был похож на безумного.

— Эта новинка сначала произвела на всех такое же впечатление, — сказал Вальмор. — Теперь это зрелище

удивляет нас не больше, чем вид пароходов или вагонов без лошадей, которые мы видим каждый день. Но что скажете вы, когда вы через несколько дней увидите воздушное празднество!

— Я слышал даже, — сказал Евгений, — что вы имеете подводные суда, которые двигаются в воде, как воздушные шары в воздухе.

— Это правда: мы нашли средство подражать механизму рыб, как и механизму птиц, и передвигаться в воде, пробегая все глубины, как мы передвигаемся в воздухе, пробегая все высоты. Вы прочтете описание наших подводных и воздушных путешествий, и вы увидите, что море представляет удивленному взору людей почти столько же чудес, сколько небо и земля. Вы будете одинаково удивлены, — я убежден в этом, — когда вы узнаете все наши другие открытия за последние пятьдесят лет и все чудеса нашей промышленности.

— Но так как вы хотите, — прибавил он, обращаясь ко мне, — чтобы мы руководили изучением вами нашей страны, то я приглашаю вас сперва хорошо ознакомиться с нашей системой воспитания. Динар, который обещал вам объяснить ее, поручил мне сказать вам, что завтра он будет в вашем распоряжении, и если случайно господин Евгений пожелает вас сопровождать, то я уверен, что наш друг имел бы такое же удовольствие видеть его, какое я испытал, познакомившись с ним.

Глава десятая *Воспитание*

Так как Евгений получил приглашение, помешавшее ему пойти вместе со мной, я отправился один к Динару.

— Вы, значит, желаете, милорд, — сказал он мне, — ознакомиться во всех деталях с организацией и состоянием нашей счастливой страны и хотите начать с воспитания. Вы вполне правы, ибо воспитание является для нас основой и фундаментом всей нашей социальной и политической системы, и именно ему народ и его представители посвятили, быть может, наибольшее свое внимание.

Вспоминаю прежде всего, что в эпоху нашего возрождения многочисленный комитет подготовил организацию общественного воспитания, изучив предварительно все древние и новые системы и собрав все мнения.

Затем закон регулировал различные виды воспитания (физическое, умственное, нравственное, профессиональное и гражданское) и для каждого из этих видов — предметы воспитания, время и порядок учебы и методы преподавания.

Все икарийцы, без различия пола и профессии, получают одинаковое общее, или элементарное, воспитание, охватывающее элементы всех человеческих познаний.

Все лица, работающие по одной и той же промышленной или научной профессии, получают, кроме того, одинаковое специальное, или профессиональное, образование, включающее всю теорию и практику этой профессии.

Воспитание разделяется на домашнее, которое проводится родителями в семье, и общественное, или общее, вверенное народным учителям в общественных школах.

Вы сами понимаете, что республика может легко найти любое число нужных ей воспитателей или воспитательниц, потому что учительство считается самой почетной профессией, если принять во внимание, что оно наиболее полезно для общества и наиболее влияет на общее благосостояние.

Вы поймете также, что эти учителя могут легко приобрести в учительских семинариях все желательные знания и практическую сноровку, а в особенности искусство терпения, мягкости и отеческой доброты. Но вам трудно самому разобраться, и я должен вам тут же объяснить вот что: за последние пятьдесят лет в результате абсолютно одинакового воспитания для всех каждый приучался передавать приобретенные им познания другим, и теперь нет отца, который не был бы в состоянии воспитать своих сыновей, матери, которая не была бы способна воспитать своих дочерей, нет брата или сестры, которые не были бы достаточно обучены, чтобы обучать своих младших братьев или сестер. Нет даже просто мужчины или женщины, которые в случае нужды не могли бы воспитать своих более молодых соотечественников.

Я начинаю теперь с физического воспитания, которое мы считаем основой всех других видов воспитания.

Комитет все предвидел и все обсудил; народный закон все регулировал.

Вам надо с самого начала знать, что республика заботится о своих детях не только со времени их рождения, но даже и в период беременности их матерей.

Сейчас же после брака молодые супруги обучаются всему, что они должны знать в интересах матери и детей, так как республика распорядилась, чтобы были составлены сочинения по анатомии, гигиене и т. п., и открыла необходимые для этого курсы.

Новые инструкции на время беременности указывают все предосторожности, которые мать должна принимать для себя и будущего ребенка.

Роды происходят в присутствии членов семьи и почти всегда нескольких акушеров. Врачи постоянно составляют новые инструкции, указывающие в мельчайших деталях все, чего требует здоровье матери и физическое состояние ребенка.

Не думайте, что хотя бы одна женщина не знает того, что она должна знать. Так как создание для республики возможно более совершенных и счастливых детей считается наиболее важной из всех общественных функций, то конституция ничего не упускает для того, чтобы воспитание сделало матерей способными в совершенстве выполнять эту функцию.

Нет ничего интереснее курсов материнства, которые читаются специально подготовленными для этого матерями семейств для будущих молодых матерей, счастливых тем, что они несут в себе первый плод самой чистой любви, ибо только в период беременности они посещают эти курсы, на которых могут присутствовать из мужчин только их мужья.

Там обсуждаются тысячи вопросов, относящихся не только к кормлению ребенка и отнятию его от груди, прорезыванию зубов, обучению ходьбе, его питанию, одежде и купанию, но и к развитию и усовершенствованию каждого его органа, так как мы убеждены, что ребенок может быть известным образом так же сформирован, как и растения и животные, и что пределы усовершенствования человеческого рода еще неизвестны.

Я прибавлю, забегая вперед, что так как на матери лежит воспитание ребенка до пяти лет, то ее инструктиру-

ют также по всем вопросам, касающимся умственного и нравственного воспитания.

И мы придаем такое значение этому начальному воспитанию, проводимому матерями под руководством отца, что республика издает журнал для матерей, где печатаются все полезные указания. Судите, сколько собирается указаний такого рода, когда все женщины и все мужчины достаточно обучены, чтоб делать их!

Вы замечаете уже, что, в то время как прежде наши женщины и мужчины были только большими детьми, неспособными воспитать других, наши матери и отцы теперь являются женщинами и мужчинами, достойными этого имени и вполне способными вести воспитание своих семей и сделать из детей настоящих мужчин и настоящих женщин.

Следствия этого первого большого нововведения неисчислимы, и вы найдете еще массу нововведений такого же рода.

Если ребенок рождается больным или уродливым, то ему оказывается всяческая помощь на дому у матери или, в случае необходимости, в специальной лечебнице, и мало таких болезней или уродств, которых врачебное искусство не могло бы излечить или исправить при помощи недавно изобретенных искусных инструментов, доставляемых республикой, никогда не останавливающейся перед расходами.

Бесполезно говорить вам, что мать всегда сама кормит своего ребенка, и в тех редких случаях, когда она не может выполнять этот долг и наслаждаться этим счастьем, всегда находится достаточно родственниц, или подруг, или соседок, или согражданок, которые с удовольствием соглашаются стать второй матерью ребенка. Для этой цели коммунальное должностное лицо и акушерки имеют всегда список всех женщин, которые в случае нужды способны заменить мать.

Мать не покидает своего ребенка ни во время кормления, ни после него. Она всегда имеет его перед глазами, она окружает его нежностью и как благодетельная богиня устраняет все несчастные случайности, которым подвергали ребенка некогда наемные руки.

Если бы вы знали, как заботятся и ухаживают все окружающие за нашими матерями во время беременности и кормления, как их почитают и уважают, как спокой-

ны они, без забот, — одним словом, как счастливы и какое хорошее молоко приготавливают детям их счастье и здоровье!

Вы не можете себе представить все открытия, которые сделаны за последние сорок лет в области воспитания детей, все улучшения, введенные за это время, все старания, которые пускают в ход теперь матери, чтобы развить физическую силу и красоту, совершенство зрения, слуха, рук и ног детей!

Посмотрите на наших детей! Видели ли вы где-нибудь более красивых, более сильных и лучше сложенных? И если вы сравните наши различные поколения со времени нашей счастливой революции, то увидите, что наше население непрерывно улучшалось и совершенствовалось.

Со дня рождения ребенка мать старается привить ему все физические навыки, которые впоследствии пригодятся ему.

С трех до пяти лет все дети с одной улицы, мальчики и девочки, вместе играют и гуляют под надзором своих матерей или некоторых из них.

С того момента, когда ребенок достаточно окреп, начинаются в родительском доме, а затем в школе все гимнастические упражнения, заботливо установленные законом, чтобы развить и усовершенствовать все члены и органы тела.

Все игры ставят себе целью развить грациозность, силу и здоровье.

Хорошо ходить, бегать, прыгать во всех направлениях, карабкаться, взбираться, спускаться, плавать, ездить верхом, танцевать, кататься на коньках, фехтовать, проделывать, наконец, военные упражнения — все эти упражнения и игры укрепляют тело и совершенствуют его. Некоторые производственные и земледельческие работы, самые простые, дают тот же эффект и доставляют то же удовольствие.

Я сказал сначала — хорошо ходить (т. е. ходить легко, с грацией и долго), потому что в наших глазах — это талант, и талант первой необходимости, которому мы учимся с детства, присоединяя к нему затем танцы и разного рода упражнения. Все прогулки школьников почти всегда носят военный характер.

И большинство этих упражнений обязательно для девочек, как и мальчиков, даже плавание и верховая езда с подходящими упражнениями.

Наблюдайте нашу молодежь и все население, когда дети, мужчины или женщины ходят одни, или парами, или группами! Разве не правда, что наши мужчины совмещают гибкость с силой, а женщины — грацию с здоровьем? Вполне естественно, что от них должны рождаться поколения детей более крепких и более красивых, чем их отцы и матери.

Но вы увидите, что наше умственное воспитание ни в чем не уступает физическому.

Умственное воспитание

Нет нужды повторять вам, что и в этой области тоже все было предусмотрено и обсуждено комитетом и предписано народом или законом.

Вы не забыли также, что либо книги, либо курсы материнства обучают молодых супругов хорошо воспитывать детей.

Однако вы не можете себе представить заботливость, с которой во всех семьях республики наблюдают, изучают, культивируют развитие ума! Если бы вы видели, с какой настойчивостью и удовольствием, в особенности в первые годы детства, мать постоянно, а отец после работы занимаются воспитанием своего ребенка и соревнуются, лаская его!

Так, еще раньше, чем он научится выражать свои мысли, ребенок обнаруживает поразительную понятливость, которая позволяет ему приобрести массу положительных сведений, часто меня поражавших.

До пяти лет проводится домашнее воспитание, и в течение этого времени матери и отцы обучают детей родному языку, чтению, письму и множеству положительных и практических сведений.

Всегда именно мать требует для себя чести и славы дать как сыну, так и дочери первые элементы человеческих знаний. Каждая икарийская женщина всегда готова ответить, как мать Гракхов, указав на своих детей: «Вот мои драгоценности!»

В пять лет начинается общественное воспитание, до семнадцати и восемнадцати лет совмещающееся с домашним, ибо дети отправляются в школу только в девять ча-

сов, после завтрака, а возвращаются в шесть часов, после учения и двукратного приема пищи в школе.

Как и все остальные члены семьи, дети всех возрастов встают в пять часов.

До восьми часов с половиной дети под руководством старших занимаются хозяйством, туалетом и уроками.

Вечером, по возвращении, они находятся в семье и распределяют свое вечернее время между прогулкой, играми, беседой и уроками, но все так рассчитано и согласовано, что всегда является частью воспитания.

Ребенок затем приучается хорошо читать вслух, хорошо произносить, а позже он проходит курс декламации, чтобы быть в состоянии доставить удовольствие другим, прочитав какой-нибудь отрывок — исторический, политический, драматический, или речи оратора.

Таким образом, в то время как прежде трудно было найти одного человека на тысячу, который умел бы хорошо читать и хорошо говорить, вы теперь не найдете ни одного на тысячу, кто не мог бы этого делать. Вы услышите наших детей, наши беседы, наших профессоров, наших священников, наших врачей, наших ораторов и наших актеров!

Ребенок учится также письму под руководством своей матери, и с того момента, как он научился писать, не допускают, чтобы он писал неразборчиво. Таким образом, вы увидите, что многие икарийцы пишут очень хорошо, многие (имеющие специальность копиистов) пишут великолепно; но вы не найдете ни одного неразборчивого почерка, ибо, по нашему мнению, нет ничего легче, как писать разборчиво, а потому ничего более непростительного, как неумение делать это, а также нет ничего более смешного и более дерзкого, чем писать свое имя, адрес или письмо таким манером, что другие лишь с великим трудом могут разобрать написанное.

Наш язык так правилен и легок, что мы усваиваем его незаметно, и менее месяца достаточно, чтобы хорошо усвоить его правила и теорию под руководством наставника, который не столько занимается простым изложением грамматики, сколько заставляет своих учеников составлять ее.

Литература является более поздним занятием, точно так же как и ораторское искусство. Но как только ребенок научился писать, мать приучает его сочинять коро-

тенькие письма и небольшие рассказы для отсутствующих родных и товарищей. Она приучает его также рассказывать устно, отвечать, спрашивать и даже дискутировать.

Вас удивила, как мне показалось, плавность, с которой наши дети рассказывают что-нибудь, но вы были бы еще более удивлены, если бы знали плавность и грацию их письменных рассказов.

Что касается изучения латинского, греческого и других древних и живых иностранных языков, то мы не хотим, чтобы наши дети теряли на эту скучную учебу драгоценное время, которое может быть употреблено более полезным образом.

Наши ученые могут найти в наших публичных библиотеках все иностранные произведения, древние и новые, мы находим там также переводы всех этих произведений, по крайней мере наиболее полезных, и, следовательно, мы можем использовать опыт всех времен и всех народов, не зная их языков.

Что касается изучения этих языков только с филологической и литературной точки зрения, то это такое слабое преимущество, когда есть столько дорогих вещей, более полезных для изучения, и в особенности когда владеешь таким совершенным языком, как наш, что мы считаем чудовищной нелепостью старый обычай тратить все время молодости на изучение греческого и латинского. Мы даже убеждены, что наши старые тираны навязывали эти бесполезные занятия, чтобы помешать своим подданным учиться.

Мы, однако, имеем известное число молодых людей, которые изучают древние языки и иностранные, но к ним принадлежат лишь те, кто превращает это в профессию, как переводчики, толкователи, профессора, ученые и путешественники, посылаемые республикой в чужие страны.

Изучение этих языков является, следовательно, профессией, и эта профессия, как и все другие, составляет часть специального воспитания, которое начинается с восемнадцати лет.

Технический чертеж — одно из первых занятий ребенка, поэтому нет молодого человека или молодой девушки, которые не могли бы зарисовать какой-нибудь предмет, нет рабочего, нет работницы, которые, имея карандаш и альбом, не были бы способны набросать чертеж,

выражающий их мысль. Вы не можете исчислить всего влияния рисования на развитие вкуса, искусства и промышленности.

Что касается живописи, гравюры, скульптуры и всех остальных искусств, то это профессии, которые впоследствии являются предметом специального изучения.

Уже очень рано детям преподаются элементы естественных наук, геологии, географии, минералогии, истории животных и растений, физики, химии, астрономии.

Судите, каким должен быть народ, который вместо пустяков старого воспитания владеет в полном составе элементами этих великолепных наук!

Только после всех этих занятий детям говорят о религии и божестве.

Элементарное исчисление и геометрия также преподаются, а потому нет ни одного икарийца, который не умел бы считать, измерять и даже снимать планы.

Вы знаете, что вокальная и инструментальная музыка также составляет предмет общего воспитания, и каждый обучается ей уже с детства. Поэтому все у нас — мужчины и женщины, дети и старики — музыкальны, тогда как прежде мы имели почти только иностранных музыкантов. Вам трудно представить себе счастливые следствия этой музыкальной революции!

Изучение элементов сельского хозяйства, механики и промышленности также составляет часть нашего общего воспитания.

И все это элементарное воспитание почти одинаково как для девочек, так и для мальчиков, хотя часто в отдельных школах и с различными учителями.

И наши девушки хорошо отомстили за то презрительное мнение, которое существовало о них некогда, будто их умственные способности ниже способностей их братьев, ибо они почти во всем соперничают с ними, и если есть некоторые науки, в которых вообще отличается мужчина, то есть и некоторые другие, в которых пальма первенства, по-видимому, принадлежит женщинам.

Судите теперь, если вы можете, о благодетельных последствиях этой революции в воспитании женщин!

Вы восхищаетесь каждый день изысканным вкусом наших икариек и в их украшениях и во всем, что выходит из их рук. Но что значит эта грация и ум в сравнении с выдающимися талантами, которые ставят многих наших

женщин в первом ряду в медицине, педагогике, красноречии, литературе, изящных искусствах и даже астрономии! Если бы Динаица не была моей сестрой, я сказал бы вам, что ее ум и образование гораздо выше прелести ее лица. Да, мой дорогой, мы не можем оспаривать у них венец красоты, а эти очаровательные повелительницы оспаривают у нас венец ума!

В семнадцать лет для девушек и в восемнадцать для юношей начинается специальное и профессиональное воспитание с целью дать каждому все теоретические и практические познания, необходимые для преуспевания в научной или промышленной профессии.

Но общее воспитание еще не прекращается, ибо только тогда начинается изучение элементарных курсов литературы, всеобщей истории, анатомии и гигиены, так же как и полных курсов материнства, о которых я говорил вам, и все то, что входит в область гражданского воспитания.

Изучение всех этих курсов, обязательных для всех молодых людей, продолжается до двадцати и двадцати одного года; их проходят после дневного труда.

Но воспитание не заканчивается и после двадцати одного года, ибо республика устраивает много курсов для лиц всякого возраста, например курс истории человека.

Журналы и книги (ибо мы умеем учиться и самостоятельно при помощи хороших книг) опять-таки являются средством образования, которое длится всю жизнь. Хотя это дополнительное образование и необязательно, все же очень мало найдется таких икарийцев, которые жадно не стремились бы к нему и не хотели бы говорить, подобно древнему философу: «Я учусь, старея».

Но как можем мы усвоить столько вещей? А вот как.

Метод преподавания

Мы желаем сообщить ребенку как можно больше сведений, а потому употребляем все возможные средства, чтобы сделать для него всякую учебу легкой, скорой и приятной. Наш великий принцип состоит в том, что каждое обучение должно быть игрой и каждая игра — обучением.

Члены комитета поэтому напрягали свои усилия в поисках средств для этого, и, как только опыт открывал новое, его старались применить.

Красота и удобство школ, терпение и мягкость наставников, а равно их искусство, простота методов, ясность доказательств, смесь учебы и игры — все это вместе способствует достижению цели.

Так как мы имеем счастье обладать совершенно правильным языком и все говорят на нем одинаково хорошо, то ребенок усваивает его естественно и без усилий. Тем не менее мы следуем определенной системе, действенность которой доказана опытом, в выборе и порядке слов и идей, сообщаемых учащемуся, заботясь при этом, чтобы всегда, называя ему какую-либо вещь, одновременно показывать ее. С этого момента, и даже раньше, мать и отец с особенным вниманием стараются не внушать любимому ребенку никаких ложных идей, заблуждений или предвзятых суждений, которые им прежде внушали слуги или невежественные и плохо воспитанные родители.

Вы не поверите, к каким только способам не прибегал комитет воспитания, чтобы научить детей чтению как можно скорее и доставляя им при этом максимум удовольствия. После длительного обсуждения лучшего метода был выбран тот, который проводится обычно матерью, превращающей учебу в такое удовольствие для ребенка, что он сам хочет дальнейших уроков, и пыл его, искусно разожигаемый, приходится даже сдерживать. Притом же слова в нашем языке пишутся точно так же, как произносятся, в нем нет ни одной бессмысленной или бесполезной буквы, и вследствие этого легко научиться читать на нем. Вот почему эта первая большая ступень воспитания, которая когда-то стоила стольких слез и времени ребенку и стольких хлопот наставнику, представляет теперь в течение нескольких месяцев столько забав для ребенка и его матери.

Должен ли я сказать вам, что выбор первых книг, употребляемых для обучения чтению, кажется нам настолько важным, что наша республика поручила их составление нашим наиболее знаменитым писателям? Мы имеем только одну книгу для детей одного возраста, и я покажу ее вам (он направился в соседнюю комнату, чтобы взять ее). Смотрите, вот «Друг детей»! Смотрите, какой изящный переплет, какие прекрасные цветные гравюры, какая хорошая бумага и великолепная печать! Возьмите ее с собой и прочтите: вы увидите, сколько простоты, ясности, интереса, очарования и поучительности заключает эта малень-

кая книга, в которой нет ни одного слова, ни одной вещи, ни одной мысли, недоступных пониманию ребенка, ибо в ней нет ни одной мысли, ни одного выражения, ни одного мнения, которое не было бы взвешено и выбрано автором. Маленькая книга, которая у нас служила для этой цели и получила премию в конкурсе среди множества других, была уже почти совершенством, но эта, принятая только двадцать лет назад (ибо мы улучшаем непрерывно), — настоящий шедевр. Что касается меня, то я не знаю более совершенного и более полезного произведения и никакой другой статуи, которая была бы лучше заслужена, чем та, которую республика присудила автору этой книги.

Мать все объясняет ребенку, задает ему вопросы, чтобы убедиться, что он понимает и хорошо знает все прочитанное. Затем в школе, когда все дети одного возраста собираются вместе, наставница (ибо это женщина) заставляет их читать и расспрашивает их, чтобы таким образом приковать внимание каждого. Если один колеблется, отвечает другой, и наставница сама объясняет только тогда, когда никто не может дать объяснение. И когда в конце шести месяцев ребенок прочитал или, скорее, проглотил эту маленькую книгу, вы будете удивлены теми поразительными сведениями, которые он приобрел!

Бесполезно говорить вам, что наставница — это почти вторая мать по той ласке и нежности, с какими она обращается с каждым из своих маленьких воспитанников, потому что один из наших великих принципов требует, чтобы наставник был всегда для своих учеников тем же, чем является самый нежный отец для своих детей. Ругать ребенка, ненавидеть его и вообще раздражаться против него из-за какого-нибудь порока или недостатка кажется нам бессмыслицей и безумием, которые поставили бы человека ниже уровня самого ребенка.

Итак, «Друг детей» — первая книга, которую читают все наши дети, достигшие пяти лет. У нас есть для каждого возраста книги того же рода, и детская библиотека очень немногочисленна, потому что мы думаем, что небольшое число прекрасных книг, которые ребенок хорошо знает, стоит бесконечно больше, чем куча хороших и, в особенности, смесь посредственных и плохих.

Мы ввели даже большое нововведение в составление учебных книг: все наши книги первых лет, например кни-

ги по географии, счету, когда-то такие скучные, написаны в форме очаровательных рассказов.

Дитя обучается письму согласно тем же принципам, забавляясь в игре, под руководством своей матери, которая объясняет ему цель всего, что она делает и заставляет его делать, ибо всегда имеется причина, почему действуют таким образом, а не иным, и один из наших великих принципов состоит в том, что мы упражняем ум детей и их способность рассуждать, приучая их всегда добиваться причины и всегда объяснять мотивы того, что они видят. Мать объясняет ребенку, как он должен держать перо и почему, как он должен положить бумагу и почему. Когда дети собраны в школе, наставник приучает их задавать себе вопросы: «как?» «почему?», какой почерк произведет такое-то положение и какое положение произведет такой-то почерк. Это теория письма. И во всех частях воспитания, даже в гимнастике и играх, мы всегда соединяем теорию и практику. Из этого вам должно быть ясно, что все, кто умеет писать, могут преподавать это искусство другим.

Этот метод упражнять способности рассуждать применяется ко всему и всегда употребляется всеми, кто имеет дело с ребенком. Нисколько не подавляя его любопытства, когда это любопытство вызывается желанием научиться, его поощряют, отвечая на все вопросы, и даже возбуждают беспрестанно, спрашивая у него всегда мотив или причину всего, что он видит.

Его приучают также не краснеть, если он не знает того, что ему еще не сообщали, и отвечать без всякого колебания: «Не знаю», когда он не знает. Вы можете себе представить следствия этой привычки все исследовать и всегда рассуждать!

Элементарный счет и геометрия преподаются в школе при помощи инструментов и таких приемов, что изучение их доставляет детям большое удовольствие, тем более, что здесь совмещают практику с теорией и большинство практических операций производится в национальных мастерских и магазинах, чтобы приучить ребенка считать, взвешивать и измерять всякие виды материалов и продуктов, или в деревне, чтобы научить его измерять поверхности и решать тригонометрические проблемы на земле.

Вы не нуждаетесь в объяснении средств, которые придуманы для того, чтобы научить рисованию, географии, музыке и пр. Впрочем, я вам покажу их, когда мы посетим школу. Но вы должны понять, что, если вся нация непременно хочет, чтобы преподавание каждой науки или каждого искусства было приятно и доступно даже самым ограниченным способностям, эта нация обязательно должна найти средства осуществить свою волю.

Вы будете изумлены, когда увидите наши пособия для преподавания и наши музеи. Я не говорю вам о музеях естественноисторических, минералов и растений, живых животных или их чучел, геологии, анатомии (мы имеем разные научные музеи и музеи искусств, не говоря уже о том, что наши крупные мастерские и крупные национальные магазины являются в то же время и промышленными музеями). Я назову вам только наши географические музеи, где тысячи карт и машин всякого рода представляют земной шар во всех его различных аспектах, — одни только с его странами или народами, другие только с его реками или горными цепями; наши музеи религии, где статуи и картины представляют богов и церемонии всех различных религий; наши астрономические музеи, в одном из которых чудеснейшая машина представляет вселенную в движении и делает совершенно осязательными и наглядными все астрономические явления, которые иначе было бы весьма трудно понять.

Вы должны понять, что благодаря применению всех этих средств, ежедневным прогулкам в деревне в хорошую погоду или посещениям музеев в плохую погоду, нет больше ни усталости, ни отвращения, ни трудностей при усвоении элементов наук и искусств.

Но мы не довольствуемся инструментами и материальными средствами, употребляемыми для облегчения понимания. Один из наиболее действенных приемов преподавания состоит в том, что мы непрерывно упражняем мысль и способность к суждению и обязываем каждого учащегося обучать младших тому, что он уже знает сам. Преподаватель объясняет только то, что необходимо объяснить, чтобы ускорить обучение, руководит своими учениками в их занятиях и больше заставляет их думать самих, нежели думает за них. Талант его проявляется больше всего в искусстве спрашивать или, скорее, в искусстве заставлять своих учеников учиться друг у друга. Так, один

из учеников объясняет или повторяет объяснение, другой спрашивает, каждый отвечает, а преподаватель вмешивается только тогда, когда его вмешательство безусловно необходимо.

Но я должен уйти до завтра! Если вы придете до половины девятого, мы пойдем посмотреть школу нашего квартала, и я расскажу вам о нашем нравственном воспитании.

Глава
одиннадцатая *Воспитание*
(продолжение)
Нравственное воспитание

Я пришел к Динару до указанного часа, и мы вышли, беседуя.

— Вы догадываетесь, — сказал он мне, — что комитет воспитания и наши законодатели сделали для нравственного воспитания то же, что и для воспитания физического и умственного. Они сделали даже больше, если это только возможно, потому что душа и сердце человека нам кажутся более важными, чем его тело и ум.

Вы будете поэтому удивлены, если прочтете дискуссии наших философов и моралистов по этому предмету, а также огромное число рассмотренных ими вопросов и правил, одобренных ими.

Начальное нравственное воспитание опять-таки доверено семье, и главным образом матери, под руководством отца, а потому и на курсах материнства, о которых я вам уже говорил вчера, объясняют отцам и матерям все, что они должны делать, чтобы дети их, по мере возможности, стали совершенными нравственно и физически.

Вы были бы восхищены, если бы видели, с какой тщательностью матери и все те, кто находится около них, внимательно исследуют и направляют первые душевные движения и первые влечения молодого существа, чтобы пресечь дурные наклонности уже при их зарождении и развить в ребенке хорошие качества. Нигде, я убежден в этом, вы не найдете более нежных матерей и детей менее плаксивых, менее крикливых, менее сердитых, менее капризных, одним словом, менее избалованных.

Первое чувство, которое мать старается развить в своем ребенке, — это любовь к родителям, безусловное доверие и, следовательно, беспрекословное повиновение,

крайности которого умеет устранить сама мать. Мать приучает ребенка нежно любить отца, а последний осмысливает его любовь к матери. Поэтому наши дети приучены почитать мать и отца и слушаться их, как высших благодетельных и мудрых божеств.

Как только ребенок физически окрепнет, его приучают самого себя обслуживать и делать все, что он может, без посторонней помощи. Так, например, ребенок с удовольствием чистит сам свое платье и приводит в порядок свою комнату, не подозревая даже, что в старое время он делал бы это только с чувством отвращения и стыда.

Потом его приучают даже обслуживать мать и отца, затем — более пожилых родных, за ними — старших братьев и сестер, затем — друзей и гостей, и нет ничего менее надоедливого и более любящего, чем наши дети, старающиеся хоть чем-нибудь услужить другим.

Ребенка приучают также заботиться о младшем брате или сестре, обслуживать и охранять их, и эта братская заботливость является одним из первых благ детства.

Так ребенок приучается ко всем домашним работам под руководством старших, которые предоставляют более молодым делать все, что они могут, и все эти работы, где каждый подает и получает пример, выполняются весело и с песнями.

Ежедневно ребенок встает в пять часов, зимою так же, как и летом. В продолжение часа или двух он занимается домашними работами в особом рабочем костюме, затем, всегда под надзором старшего, справляет свой туалет, о чистоте которого его приучают заботиться, так же как и о вкусе, грации и изяществе, но не из чувства тщеславия, а из чувства долга и приличия по отношению к другим. Затем он приступает к своим учебным занятиям, под надзором матери или старших, и готовит их до завтрака и отправления в школу.

Вы понимаете, сколько уроков заботливости, внимания и сноровки получает ребенок во время этих занятий по хозяйству и туалету и сколько других полезных уроков ему дают во время занятий и еды, всегда сопровождаемых лаской!

Вы понимаете также, как должны укорениться чувства любви между родными, покровительства и нежности со стороны старших к младшим, уважения и признательности со стороны младших по отношению к старшим!

Я уже сказал вам, что после трех лет, когда ребенок научился говорить, на несколько часов соединяют вместе всех детей с одной улицы, девочек и мальчиков, чтобы под надзором одной или нескольких матерей устроить прогулку или игры для укрепления здоровья детей. Но главная цель объединения — приучить их к обществу, равенству и братству — привычка, которую неустанно стараются еще больше развивать, как только дети начинают посещать школу.

Но вот и школа квартала. Посмотрите, какое монументальное здание, сколько надписей, сколько статуй, какой великолепный фасад! Сколько пространства кругом и какие прекрасные деревья! А сейчас вы увидите, какое великолепие внутри. Разве все это не свидетельствует о том, что республика рассматривает воспитание как первое из благ, а молодежь — как сокровище и надежду отечества! Разве не внушает все это детям нечто вроде религиозного почтения к воспитанию и к республике, которая дает его детям! Видите вы людей, входящих в ту дверь? Это наставники, которые направляются в свою залу.

Бьет девять часов, подождем немного, чтобы увидеть, как собираются дети.

Вот они! Смотрите! Вот дети со всей улицы! Разве не похожи они на маленькую армию, составленную из двенадцати рот, различного роста, возраста и в различных формах? Все дети всех семей собрались под руководством старшего в одном из зданий их улицы; и все дети с этой улицы, соединенные в этом здании, разделились по возрасту и по школам и отправились все вместе в школу.

Сегодня вечером, уходя из школы, они расположатся в порядке домов их улицы, и когда вся эта маленькая армия пройдет по улице, дети каждой семьи войдут в свой дом, дружески попрощавшись со своими товарищами.

Вы видите, как опрятны все они в своих особых формах для каждого возраста и какими они выглядят счастливыми, дисциплинированно приходя в школу! Теперь, когда пред вами прошли дети со всех улиц квартала, поспешим в большую залу!

Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями людей, оказавших величайшие услуги делу воспитания, и я был приятно поражен, увидев столько же девочек, сколько и мальчиков.

— Смотрите, — сказал мне Динар, — вот все преподаватели и школьники, разделенные по школам. Послушайте теперь.

Я был восхищен, слушая, как эти тысячи детей пели все вместе два куплета гимна: первый — в честь Икара, второй — в честь какого-то другого благодетеля молодежи.

— Гимн имеет более ста куплетов, — сказал мне Динар, — и каждое утро школьники поют куплет об Икаре вместе с одним из других куплетов. Так приучаем мы детей к благодарности.

Я вижу, вы удивлены тем, что нашли здесь девочек. Знайте, что они вошли в другую дверь; все здание разделено на две большие отдельные части; одна — для девочек, другая — для мальчиков, с несколькими общими залами.

— Как, — воскликнул я, — девочки от пяти до шестнадцати лет в одной зале вместе с мальчиками того же возраста?

— Конечно! И без всякого неудобства, и даже со множеством преимуществ, потому что мы приучаем мальчиков с детства, в семье и школе, относиться ко всем девочкам, как к собственным сестрам, а девочек — внушать к себе уважение своей благопристойностью.

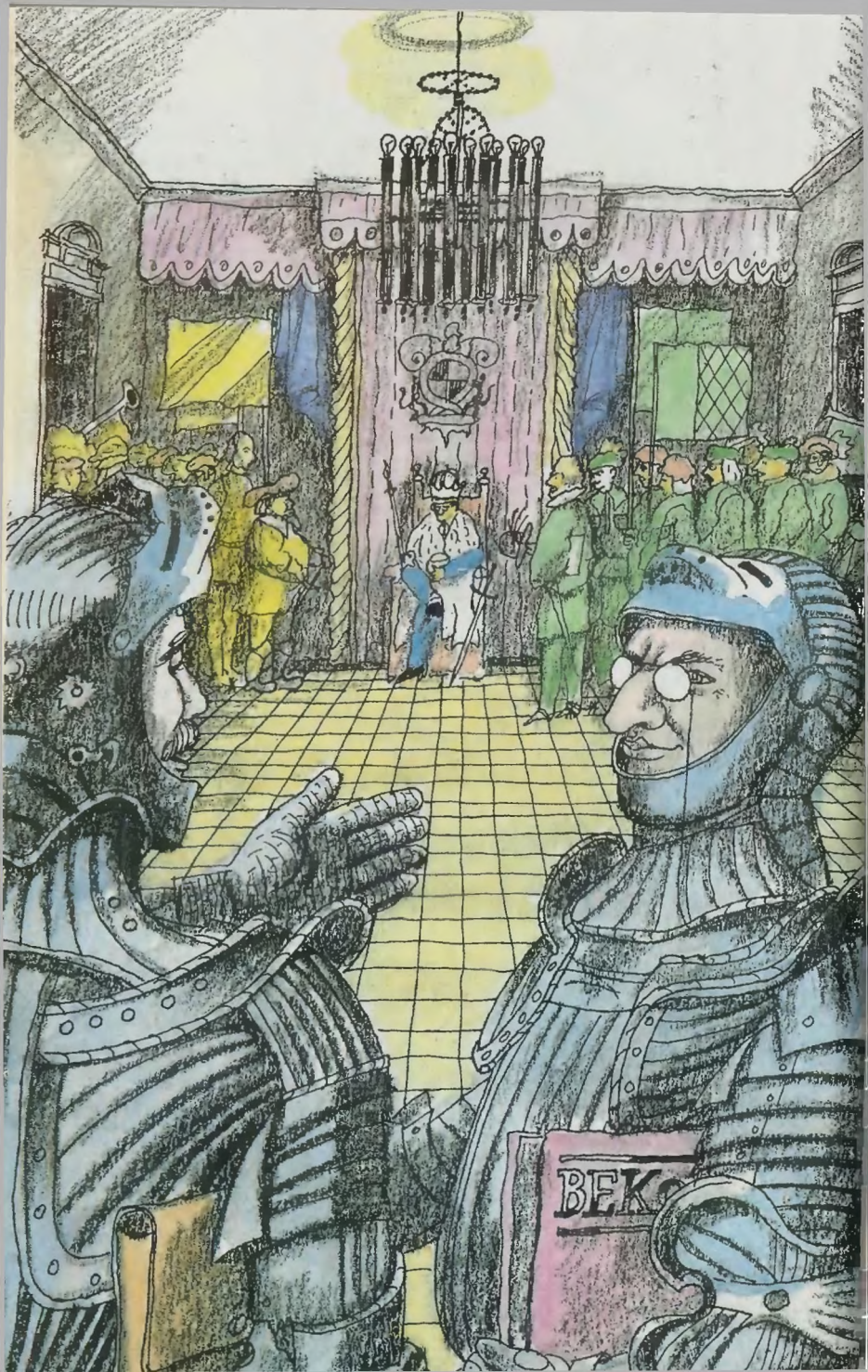
Рассматривая стыдливость как охрану невинности и украшение красоты, мы развиваем в ребенке чувство стыдливости не только в отношениях между обоими полами, но и между девушкой и ее подругами, даже между мальчиком и его товарищами.

Дети теперь в классах, войдем в один из них.

— Смотрите, — сказал мне Динар, — как внимательны и почтительны дети, как ласково говорит с ними учитель! Смотрите также, как все чисто! Ни одного чернильного пятна ни на столах, ни на платьях! Перочинный ножик служит только для чинки перьев! Так могущественна привычка к порядку и чистоте!

Посетив классы, составленные либо из мальчиков, либо из девочек, и другие — для обоих полов, разделенные легкой перегородкой, мы последовали за детьми в гимнастический зал, где увидели множество аппаратов и приспособлений для гимнастических упражнений. Мы там видели также мальчика десяти лет, который забрался на матчу, вышиной в тридцать футов, отвязал веревки,





привязанные к горизонтальному блоку, и спустился, соскользнув вниз вдоль столба.

Нам рассказали, что накануне другой мальчик того же возраста взобрался на блок и прыгнул с высоты в тридцать футов, не причинив себе никакого вреда. Но так как это было запрещено, потому что он рисковал сломать себе ногу, его будут судить за непослушание, и мы сможем присутствовать на этом суде.

В то время как дети возвращались в класс, мы пошли осмотреть две школы плавания, которые находились во дворе; одна — для мальчиков, другая — для девочек. Динар показал мне купальный костюм для каждого из обоих полов и объяснил, что когда ребенок уже умеет плавать, его приучают это делать в полном одеянии, чтобы он мог спастись, если бы упал в воду одетый; его обучают также, как надо спасать другого человека, если он тонет, ибо не пренебрегают никаким случаем, чтобы научить детей быть полезными своим близким.

В ожидании суда над маленьким недисциплинированным прыгуном мы пошли погулять по двору.

— В чем заключаются, — спросил я Динара, — награды, присуждаемые с целью возбудить соревнование?

— Ни в чем, ни в премиях, ни в пенках, ни в отличиях, потому что, желая укоренить в детях чувство равенства и братского благоволения, мы весьма остерегались бы создавать отличия, которые возбуждали бы эгоизм и честолюбие одних и в то же время зависть и ненависть других. Мы, впрочем, имеем столько других средств развивать в детях любовь к занятиям, что считаем полезным скорее сдерживать, чем разжигать пыл учащихся. Единственное отличие, которого желают дети, это быть выбранным — в качестве самого способного и самого достойного — руководить и наставлять товарищей под наблюдением учителя. И это отличие тем более почетно в их глазах, что выборы, как и все экзамены, производятся самими школьниками под надзором учителя.

Поэтому у нас нет лентяев, а если случайно и находят такие, то вместо того, чтобы еще увеличить их отвлечение к занятиям, перегружая их в виде наказания трудом, мы удваиваем мягкость, ласки и заботы, чтобы внушить им вкус к занятиям.

Неспособных детей у нас не больше, чем ленивых, и если такие находятся, то вместо того, чтобы сердиться

на них, мы удваиваем терпение, интерес и усилия, чтобы помочь им победить несправедливое неравенство природы.

Незавидеть неспособных и даже ленивых детей и дурно с ними обращаться кажется нам несправедливостью, нелепостью, безумием, почти варварством, менее прощательным для наставника, чем пороки для ребенка.

У нас даже весьма мало других проступков, заслуживающих наказания, а сами наказания — легкие, и состоят они в лишении виновного некоторых удовольствий или даже некоторых занятий, а главным образом в публичном порицании.

Впрочем, все наказания школьников установлены так же, как и их обязанности и проступки в Своде школьника. И чтобы облегчить выполнение правил этого свода, школьники сами его обсуждают и голосуют, принимая его, таким образом, как собственное произведение и заучивая наизусть, чтобы лучше его применять. Пять лет назад этот свод обсуждался одновременно во всех школах и был принят школьниками почти единогласно.

Когда совершен проступок, школьники организуют свой суд, определяющий проступок и выносящий по нему приговор. Но вернемся в большую залу, и мы, вероятно, скоро увидим один из этих школьных судов.

Зал был уже полон. Как и утром, все учителя и школьники были налицо.

Один из самых старших школьников должен был выступить обвинителем, пять других — предложить наказание, а все остальные составляли жюри.

Изложив дело, учитель, руководивший прениями, призвал обвинителя к умеренности обвинения, обвиняемого — защищаться без страха, свидетелей — давать показания без лжи, присяжных — отвечать, следуя своей совестью, и судей — применять закон без пристрастия.

Обвинитель выразил сожаление, что ему приходится обвинять брата, и свое желание, чтобы он оказался невиновным. Но он понял, что Свод — дело всех школьников и обвиняемого; предписания Свода, все его запреты и все наказания установлены в интересах всех и каждого; обвиняемый мог убить или ранить себя, прыгая с высоты мачты, и общий интерес требует его наказания, если он виновен, но еще больше — его оправдания, если он невиновен.

Маленький обвиняемый защищался с уверенностью. Он откровенно признал, что спрыгнул, он признался, что нарушил закон и заслуживает наказания, хотя и раскаивается в своем непослушании. Но он был увлечен желанием показать товарищам свою смелость и уверенность, что не причинит себе никакого вреда.

Другой школьник заявил, что он сам совершил проступок, побуждая его спрыгнуть и забыв запрещение закона.

Третий, вызванный в качестве свидетеля, сказал, что видел, как обвиняемый прыгнул, и ему, к сожалению, приходится заявить об этом по обязанности говорить правду.

Защитник признал, что совершен проступок, но он выставил как смягчающее и извиняющее обстоятельство признание обвиняемого, его раскаяние и подстрекательство товарищей. Он просил жюри принять во внимание, что его друг — самый бесстрашный прыгун среди его товарищей по возрасту, и именно его бесстрашие и ловкость были причиной того, что он дал себя увлечь.

Обвинитель признал, что обвиняемый заслуживал бы венка, если бы его давали за бесстрашие прыгуна, но поставил вопрос, не было ли установлено запрещение именно с целью сдерживать бесстрашных и не следует ли применять этот закон главным образом к ним, чтобы охранить их от слишком рискованных затей.

Жюри единогласно признало обвиняемого виновным в нарушении Свода, но незначительным большинством присоединилось к мнению, что проступок извинителен.

Комитет пяти предложил не выносить другого наказания, кроме опубликования факта в школе.

Собрание приняло это предложение, и Верховный совет учителей одобрил это решение.

Один из учителей в заключение напомнил детям, что они не должны теперь меньше любить маленького прыгуна, последнему — что он не должен меньше любить своих судей, всем — что они должны еще больше любить республику, которая столько сделала для их благополучия, и любить друг друга еще больше, чтобы быть достойными республики.

Я вышел изумленный и взволнованный всем, что видел, и проводил Динара, который возвращался к себе домой.

— Практический курс морали! — сказал я ему. — Я теперь хорошо понимаю ваших детей, ваших женщин, вашу нацию!

— И мы имеем, кроме того, специальный курс морали, который каждый проходит в течение двенадцати лет и познает все свои обязанности, все достоинства и добродетели, которые нужно приобрести, все недостатки и пороки, которых следует избегать. И этот курс, некогда столь пренебрегаемый и столь скучный, теперь является не менее привлекательным, чем другие, так как с ним связывают историю всех великих добродетелей и великих преступлений, знаменитых героев и знаменитых преступников.

Самые интересные книги, написанные нашими наиболее талантливыми авторами, наши романы, наши театральные пьесы — все содействуют воспитанию в его усилиях привить любовь к нравственности, и республика, неограниченная повелительница, не разрешает издавать никаких безнравственных произведений.

Вы даже можете сказать, что жизнь семьи есть постоянный практический курс морали, как вы только что называли его, потому что, как только дитя раскрывает глаза, оно познает, повторяет и практикует только то, что нравственно: никогда, например, вы не увидите, чтобы дети лгали.

И зачем икарийские дети будут лгать, когда общность делает их такими счастливыми? Как могли бы они не любить эту общность и равенство, когда они дают им столько счастья!

Прощайте, я оставляю вас. Скажу вам только, что специальный «Журнал воспитания», распределяемый между учителями, держит их всегда в курсе всех новых открытий и улучшений, касающихся обучения.

Но вы ведь проведете вечер у моей матери вместе с Вальмором и его семьей. Мы сможем там поговорить немного о нашем гражданском воспитании.

Я уже два дня не видел Кориллу, и, несмотря на все мое возбуждение, мне казалось, что с тех пор прошло уже два века. Я испытывал сильную потребность видеть ее и слышать.

Поэтому я рано направился в дом ее семьи, чтобы провести там некоторое время, прежде чем направиться вместе с ними к госпоже Динаме.

Я еще не видел Кориллу такой красивой и любезной.

— А вот и вы, наконец,— сказала она, подходя ко мне.— Видно, что вам доставляет большое удовольствие видеть нас! Как могли вы не приходить два долгих дня и не засвидетельствовать своего почтения моему дедушке!.. Это плохо, очень плохо, и дедушка вами недоволен. Правда, дедушка? Но вы здесь... и мы прощаем... Ах, да, мы должны вместе петь у Динаизы! Посмотрим, не скомпрометирую ли я себя, когда буду петь с вами.

Мы спели.

— Неплохо,— сказала она,— и выйдет еще лучше, надеюсь, во второй раз.

Во все время пути она была чарующе весела.

Вся маленькая семья госпожи Динаме была в сборе, и нас оказалось около сорока человек. Как все были ласковы, в особенности дети, какое было веселье, радость, счастье!

— Поистине вы счастливый народ,— сказал я Динару, с которым уселся в углу.

— Вероятно, самый счастливый народ на земле,— ответил он,— и это влияние нашей общности.

— И вашего воспитания.

— Да, и нашего воспитания, ибо без него общность была бы немыслима, а именно она приносит нам все радости и обязанности общественной и политической жизни.

Можно сказать, что уже с первых лет своей жизни дитя учится быть гражданином. Оно учится этому главным образом в школе, где обсуждение Свода школьника, экзамены, выборы и дискуссии учащихся готовят детей к гражданской жизни.

Но собственно гражданское воспитание начинается в восемнадцать лет, когда молодой человек знакомится с элементами литературы, ораторского искусства и всеобщей истории.

В более узком смысле оно состоит в углубленном изучении национальной истории, общественного и политического строя, конституции и законов, прав и обязанностей должностных лиц и прочих граждан.

Каждый школьник заучивает наизусть всю конституцию, и нет икарийца, который не знал бы в совершенстве всего, что касается выборов и избирателей, Национального представительства и представителей, народных собра-

ний и национальной гвардии; нет ни одного, который не знал бы всего, что должностные лица могут и чего не могут делать, и всего, что закон разрешает или запрещает. Тот, кто пренебрег бы своим гражданским воспитанием, был бы лишен пользования гражданскими правами, и это было бы позором и несчастьем, которым никто не хотел бы себя подвергнуть.

Даже женщины знакомятся с элементами гражданского воспитания, чтобы не быть чуждыми ничему, что их интересует, и понимать все, что так сильно занимает их мужей.

Наконец, хотя мы надеемся, что у нас всегда будет мир, внутренний и внешний, все граждане являются членами национальной гвардии и обучаются от восемнадцати до двадцати одного года употреблению оружия и военным упражнениям; эти упражнения являются одновременно большим украшением национальных праздников, дополнением к гимнастике, полезным для тела и здоровья дополнением к гражданскому воспитанию.

В двадцать один год молодой человек — уже гражданин, и вы видите, что молодые икарийцы воспитаны так, чтобы быть хорошими патриотами, а также хорошими супругами, хорошими отцами, хорошими соседями, наконец, настоящими людьми.

Я мог бы прибавить, что это люди мира и порядка, ибо основной принцип гражданского воспитания, принцип, который их всегда заставляют применять на практике, состоит в том, что после свободного и исчерпывающего обсуждения, когда каждый может изложить свое мнение, меньшинство должно подчиниться без всякого сожаления большинству, потому что иначе не было бы другого способа решения, кроме грубой силы и войны, победы и завоевания, влекущих за собой тиранию и угнетение.

— При вашей общности и нашем воспитании, — сказал я ему, — у вас не должно быть много преступлений.

— Какие преступления у нас могли бы совершаться? — ответил Вальмор, который нас слушал. — Может ли у нас встречаться воровство какого-либо рода, когда у нас нет денег и когда каждый владеет всем, что он может пожелать? Не сумасшедшим ли нужно быть, чтобы воровать? И как могли бы быть у нас убийства, поджоги, отравления, когда невозможно воровство? Как возможны были бы у нас самоубийства, когда все у нас счастливы?

— Но, — ответил я, — убийства, дуэли и самоубийства могли бы совершаться и в силу других причин, например из любви или ревности.

— Наше воспитание, — опять ответил Вальмор, — делает из нас людей и учит нас уважать права и волю других, следовать во всем советам разума и справедливости. Икарийцы почти все философы, и они с детства умеют укрощать свои страсти.

— Вы видите, следовательно, — сказал Динар, — что общность одним ударом уничтожает и предупреждает воровство и воров, преступления и преступников, и мы не имеем поэтому нужды ни в трибуналах, ни в тюрьмах, ни в уголовных карах.

— Простите меня, милостивый государь, — вскричала Корилла строгим тоном, приближаясь к нам, — имеются воровство и преступления, воры и преступники, нужны трибуналы, чтобы их судить, и кары, чтобы их наказывать. И я, отнюдь не профессор истории, сейчас докажу это вам самым неопровержимым образом. Слушайте вы все! [Все дети подбежали к ней.] Я за полчаса успела уже охрипнуть, распевая, чтобы заслужить аплодисменты этих господ, а они не только лишают меня аплодисментов, которых я заслуживаю, но их болтовня мешают другим мне аплодировать. Вы, следовательно, воры [«браво!»]. Больше того, — и это преступление еще ужаснее, — сейчас будет петь Динаиза, а эти господа продолжают трещать, чтобы мешать нам слушать ее! Они хотят принудить нас слушать их, точно они находятся на кафедре, ораторствуя о республике и общности! Вы, следовательно, смутьяны, захватчики [«браво!»], и я обвиняю вас пред августейшим трибуналом, который заседает здесь [«браво, браво!»], и призываю против вас всю строгость правосудия и законов [продолжительные аплодисменты]. Или, скорее, так как я опасюсь, что могут подкупить недобросовестных судей [ропот], я вас хочу осудить сама, чтобы быть уверенной, что приговор будет справедлив [взрыв смеха]. Я вас поэтому объявляю виновными, уличенными в ужасном преступлении: в оскорблении музыки, и в наказание изгояю вас из общности [ропот] или, вернее (так как сочувственные замечания, которые я слышу, предупреждают меня, что я хотела наказать невиновных вместе с виновными), я осуждаю вас обоих, солидарно и сообща, сначала

слушать соловья, который будет петь, а затем самым выступить соловьями [повторное «браво!»].

— Суровые исполнители закона, — сказала она детям, — привести в исполнение приговор! Сперва установите тишину, а затем вы заставите осужденных петь.

Мадемуазель Динаиза пела, смущаясь и неуверенно, но таким божественным голосом, который вызвал аплодисменты, а у меня — почти слезы.

— А теперь, — сказала Корилла, — очередь за соловьем старшим [все дети подбежали к нему и, ухватившись за него ручками, тащили или толкали его]. И пусть он поет хорошо, или иначе ему грозит музыкальная юстиция!

— Сумасбродка, сумасбродка, — сказал Динар.

— Да, пусть сумасбродка, но вы, господин мрачный философ, имейте мудрость подчиняться время от времени сумасбродству.

Я тоже был принужден петь, сначала с Кориллой, а затем с мадемуазель Динаизой.

— А теперь, — сказала Корилла, — я буду присуждать призы и сделаю это со всем присущим мне беспристрастием. Внимание!

Ученый и красноречивый профессор пел, как простуженный соловей [взрыв смеха]; великий ученик коммунизма пел с Динаизой, как лиса, попавшая в западню [новый, еще более бурный взрыв смеха], а Динаиза пела, как испуганный соловей [продолжительный смех].

Что касается меня, Кориллы, то где безумец, который осмелился бы отрицать, что я богиня или королева пения? Я поэтому ожидаю аплодисментов такой просвещенной аудитории [гром аплодисментов] и приказываю, чтобы сейчас же были выданы прекрасные пирожки, которые приготовила Динаиза [да, да, да!], и все вкусные вещи, которые, как я видела, приготовлены, чтобы эти прекрасные певцы, отличающиеся в искусстве... красть лакомства... имели удовольствие... видеть, как мы будем их поедать [смех и «браво!»].

Вечер прошел восхитительно, в играх и смехе. Корилла просила у меня извинения за свои шалости таким тоном, который продолжал еще чаровать мой слух после того, как я уже долго не слышал ее голоса, и я провел ночь в чарующих снах: как маленькая птичка, прыгал я с цветка на цветок, преследуемый роем молодых девушек, избегая со страхом мадемуазель Динаизы и позволяя

приблизиться ко мне Корилле, чтобы счастливо ускользнуть от нее как раз тогда, когда ее руки собирались меня поймать.

Глава
двенадцатая *Труд*
Промышленность

— Люблю ли я ее? — проснувшись, спросил я себя со страхом. — Люблю ли я ее? Ведь я слышу еще голос консула в Камирисе, рекомендующего мне нерушимое почтение к икарийским девушкам, ведь я слышу в особенности голос почтенного деда, доверяющего своих детей моей чести? Люблю ли я ее, почти связанный словом по отношению к прекрасной мисс Генриетте и желающий выполнить свое обязательство? Люблю ли я ее? Посмотрим, исследуем...

И я вышел, чтобы захватить Вальмора, который должен был повести меня в мастерскую для обработки камня.

— Находишь ли ты ее прекрасной, остроумной, любезной, очаровательной? — говорил я себе на ходу.

— Да.

— Не испытываешь ли ты удовольствия, любуясь ее волосами, глазами, ртом, зубами, руками, ногами?

— Да, все мне нравится в ней.

— Испытываешь ли ты радость, встречаясь с ней, и сожаление, когда расстаешься?

— Да.

— Думаешь ли ты о ней днем и снится ли она тебе ночью?

— Да.

— Несчастный! Я думаю, что ты ее любишь.

Однако радость, которую я испытываю, спокойна и приятна; сожаление, которое я испытываю, расставаясь с ней, лишено горечи и принуждения; я думаю о ней без волнения, я не мечтаю о ней безумно, я встречаю ее без смущения; я прикасаюсь к ее руке без трепета... Нет, я люблю ее только как сестру или как друга!

А она?.. Если бы я смутил ее покой и счастье!.. Ах, как я был бы виновен и как терзался бы! И, однако, когда я вспоминаю... Но нет... Впрочем, мы отправимся сегодня

вечером на прогулку, и я хочу, если только смогу, спросить ее сердце.

Я зашел к Вальмору, который уже ждал меня. И мы сейчас же вышли, беседуя, чтобы осмотреть мастерскую для обработки камня.

— Так как мы идем посмотреть рабочих, — сказал он мне, — то я хочу объяснить вам нашу организацию труда и промышленности, ибо труд есть одна из главных основ нашего общественного строя.

Труд Промышленность

— Вспомните сперва несколько главных фактов, которые являются ключом ко всем другим.

Я уже сказал вам и хочу повторить в немногих словах: у нас установлен режим общности имущества и работ, прав и обязанностей, прибылей и убытков. У нас нет ни собственности, ни денег, ни купли, ни продажи. Мы равны во всем, за исключением случаев, когда это абсолютно невозможно. Мы все одинаково работаем для республики, или общности. Она одна собирает все продукты земли и промышленности и делит их поровну между нами; она одна нас кормит, одевает нас, дает нам жилище, учит нас и доставляет всем нам в равной мере все, что нам необходимо.

Вспомните еще, что цель всех наших законов — сделать народ в меру возможности наиболее счастливым во всем, начиная с необходимого, продолжая полезным и кончая приятным, не ставя при этом никаких пределов. Так, например, если бы можно было дать каждому экипаж, то каждый имел бы экипаж, но так как это невозможно, то никто не имеет их, и каждый может пользоваться общими средствами передвижения, которые стараются сделать возможно более удобными и приятными.

Вы сейчас увидите применение этих принципов в области организации труда.

Республика, или общность, ежегодно устанавливает список всех предметов, которые необходимо производить для пищи, одежды и жилища народа. Она, и только она, предписывает производить их с помощью своих рабочих, на своих предприятиях, так как все отрасли промышленности и все мануфактуры являются национальными и все рабочие также работают для нации. Она строит свои ма-

стерские, выбирая всегда наиболее пригодное местоположение и наиболее совершенные планы, организуя огромные фабрики, соединяя некоторые из них, если это представляет выгоду, и не отступая никогда ни перед каким необходимым расходом для получения полезного результата. Она выбирает способы обработки, отдавая предпочтение всегда наилучшим и стараясь всегда опубликовать все открытия, все изобретения и все усовершенствования. Она обучает своих многочисленных рабочих, доставляет им все сырье и орудия труда и распределяет между ними работы на основе разделения труда наиболее производительным образом и оплачивая их натурой вместо денег. Она, наконец, получает все произведенные предметы и складывает их в своих огромных магазинах, чтобы затем распределить их между всеми своими рабочими или, вернее, детьми.

И республика, которая всем распоряжается таким образом,— это комитет промышленности, Национальное представительство, это сам народ!

Вы должны сразу же увидеть неисчислимую экономию и все неисчислимые выгоды, которые неизбежно вытекают из самых основ нашего строя.

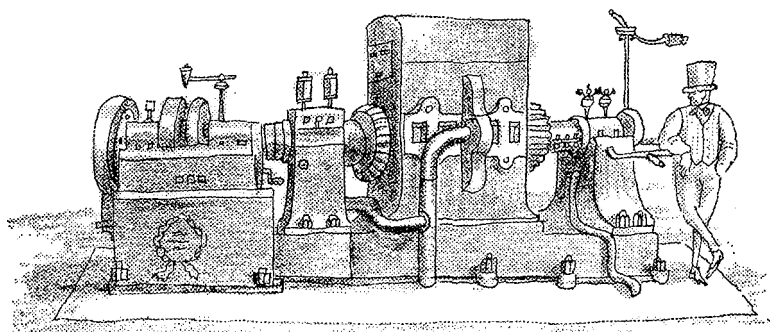
Все являются национальными рабочими, и все работают для республики. Все, мужчины и женщины, без исключения, занимаются каким-нибудь ремеслом, или каким-нибудь искусством, или какой-нибудь профессией, предписанными законом.

Юноши начинают работать с восемнадцати лет, девушки — с семнадцати лет, так как первые годы их жизни посвящены развитию их сил и их воспитанию. Старики освобождены от работы — мужчины от шестидесяти пяти лет, женщины от пятидесяти, но труд так мало утомителен и даже так приятен, что очень немногие требуют для себя освобождения от работы, и все продолжают свое обычное занятие или используют свои силы в другой области.

Нет нужды говорить вам, что больные освобождены от работы. Во избежание каких бы то ни было дурных последствий больной должен отправиться или быть перевезен в больницу, которая имеет вид дворца.

Нет нужды также прибавлять, что каждый рабочий может получить отпуск в случаях, определенных законом, и с согласия товарищей по работе.

Я сказал вам, что труд приятен и неустомителен. Наши законы действительно ничего не жалеют, чтобы сделать его таковым, потому что никогда еще не было фабриканта, столь благожелательного к своим рабочим, как республика по отношению к своим работникам. Число машин огромно: они заменяют двести миллионов лошадей или три миллиарда рабочих; они выполняют все опасные, утомительные, нездоровые или грязные и неприятные работы. Именно в этой области с особенным блеском проявляются разум и та изобретательность наших соотечественников, так как все, что, например, в других местах возбуждает только отвращение, здесь скрывают с наибольшей заботой или содержат в наибольшей чистоте. Поэтому вы не только не увидите на улицах ни сочащегося кровью мяса, ни навоза, но вы никогда не увидите даже в мастерских, чтобы рука рабочего касалась какого-нибудь неприятного предмета.



Все способствует тому, чтобы сделать труд приятным: воспитание, которое с детства приучает любить и уважать труд, чистота и удобства мастерской, пение, которое возбуждает и радует массы рабочих, равенство труда для всех, его умеренная продолжительность и почет, которым окружены все работы в общественном мнении, и все в равной степени.

— Как, — воскликнул я, — все ремесла в равной степени уважаемы, сапожник в такой же мере, как и врач?

— Да, без сомнения, и вы перестанете этому удивляться, потому что только закон устанавливает, какие ремесла или профессии допускаются и какие продукты сле-

дует производить. Никаким другим ремеслам не обучают и их не допускают, как не разрешают никакие другие производства. У нас нет, например, профессии кабатчика, в наших мастерских ножевых изделий не изготавливаются кинжалы. Все наши профессии и наши производства являются поэтому в равной степени законными и в известном отношении в равной степени необходимыми: раз закон предписывает, чтобы были сапожники и врачи, нужно, чтобы были и те, и другие. И так как все не могут быть врачами, то нужно, чтобы сапожники были так же счастливы и довольны, как врачи. Следовательно, нужно установить между ними, в меру возможности, самое полное равенство, и нужно, чтобы оба, посвящая одно и то же время республике, пользовались равным уважением.

— И вы не делаете различия для ума, образования, гения?

— Нет, разве все это не дар природы? Разве справедливо было бы наказывать того, кого судьба одарила меньше? Разве разум и общество не должны компенсировать неравенство, созданное слепым случаем? Разве тот, кого гений делает более полезным, недостаточно вознагражден удовлетворением, которое он испытывает? Если бы мы хотели проводить различие, то это было бы в пользу самых тяжелых профессий или работ, чтобы в известной мере вознаграждать и поощрять занятых ими работников. Одним словом, наши заботы делают врача настолько уважаемым и настолько счастливым, насколько это возможно. Почему же будет он жаловаться на то, что сапожник так же счастлив и уважаем, как и он?

Хотя воспитание в достаточной мере внушает всякому желание быть наиболее полезным общности, все же, чтобы возбудить полезное соревнование, всякий рабочий, делающий из чувства патриотизма больше, чем он обязан, или делающий в своей профессии полезное открытие, пользуется особым почетом или получает публичное отличие, или даже всенародные почести.

— А лентяи?

— Лентяи? Мы таких не знаем. Как могут они быть, когда труд так приятен, когда праздность и леность у нас в такой же степени позорны, как воровство в других странах?

— Следовательно, не правы те, кто говорит, как я слышал во Франции и Англии, что всегда будут пьяницы, воры и лентяи?

— Они правы, поскольку речь идет об общественном строе этих стран; но это неверно по отношению к строю Икарии.

Продолжительность рабочего дня, которая сначала составляла от десяти до восемнадцати часов, постепенно сокращалась и теперь установлена в семь часов летом и шесть часов зимой, от шести или семи часов утра до часа пополудни. Ее будут сокращать и дальше постольку, поскольку это будет возможно, если новые машины заменят рабочих или сокращение производства (например, построек) сделает ненужным труд большого числа рабочих. Но продолжительность труда, вероятно, теперь достигла минимума, потому что если некоторые отрасли производства сократятся, то вместо них будут возникать новые отрасли, тем более, что мы будем постоянно работать над тем, чтобы расширять наши потребности. Так, например, в прошлом году новая мебель была прибавлена к старой, и так как понадобилось сто тысяч рабочих, чтобы доставить эту мебель всем семьям, то эти сто тысяч рабочих были завербованы из рядов трудящегося народа, и общая продолжительность рабочего времени была увеличена на пять минут.

В каждой семье женщины и девушки выполняют вместе все домашние работы от пяти или шести часов утра до восьми с половиной, а от девяти часов до часа пополудни они работают по своей профессии в мастерских.

— Конечно, все беременные или кормящие женщины освобождены от работы?

— Именно так, и даже женщины, находящиеся во главе семьи, освобождены от работы в мастерских, потому что забота о семье и доме есть тоже полезное занятие для республики.

Все рабочие каждой профессии работают вместе в огромных общих мастерских, где во всем своем блеске обнаруживаются проницательность и разум нашего правительства и народа.

— Я посетил несколько мастерских, вызвавших мое глубокое удивление.

— Не правда ли, это великолепно? В особенности следует посмотреть женские мастерские. Видели ли вы их?

— Нет.

— Так вот, я попрошу разрешения, и мы пойдем осмотреть ту мастерскую, где работает моя младшая сестра Целиния, или ту, где работает Корилла.

И вас не удивит совершенство наших мастерских, когда вы вспомните, что план каждой из них был установлен после конкурса, после совещания с рабочими данной профессии, учеными и всем народом.

Передвижные и портативные мастерские для всех работ, которые выполняются на открытом воздухе, представляют равным образом все возможные удобства, как вы увидите сами, потому что мы приближаемся к мастерской для обработки камня, которую я хотел вам показать.

Это была целая улица в процессе постройки: пятьсот или шестьсот рабочих разного рода работали там.

Сбоку находился обширный передвижной амбар, покрытый непромокаемым полотном и содержавший разделальню и столовую, как в больших обыкновенных мастерских.

Все помосты, на которых работали каменщики, были также покрыты, чтобы укрывать работающих от солнца и дождя.

Все материалы, камни и кирпичи, дерево и железо, цемент и даже известковый раствор доставлялись в обработанном виде и были вполне готовы к употреблению.

— Камни,— сказал мне Динар,— обрабатываются в огромных мастерских около каменоломни при помощи машин, которые их распиливают или начерно обрабатывают.

Кирпичи всех размеров также заготавливаются при помощи машин в огромных мастерских, воздвигнутых на участке, глина которого используется для их изготовления.

Цемент и известковый раствор тоже приготавливаются в массовом количестве в других мастерских, а иногда на месте, но всегда при помощи машин.

Все эти материалы, доставляемые по каналам в большие складочные помещения, перевозятся затем на всякого рода возах и фурах к строящимся зданиям.

Посмотрите, как все эти транспортные средства хорошо приспособлены для погрузки и разгрузки, чтобы ничего не испортить или не уронить.

Посмотрите на транспортные приспособления, по которым самые большие тяжести легко двигаются или скользят, и эти бесчисленные машины, большие и малые, которые переносят все вверх, вниз, во все стороны! Так, в этой толпе работающих вы не заметите ни одного с тяжестью на голове или на плечах: они не имеют иной задачи, кроме управления машинами или подачи материалов.

Посмотрите, какие предосторожности приняты, чтобы избежать пыли и грязи! Посмотрите также, как все эти рабочие платья сохраняют чистый вид!

Сегодня утром все эти рабочие, т. е. все граждане, пришли в шесть часов, причем почти все прибыли на общественных омнибусах. Они сняли свое гражданское платье, чтобы надеть рабочее, которое было приготовлено в раздевальне, и в назначенное время, когда они прекратят свой дневной труд, все они переоденутся в свои гражданские платья и услуг в общественных омнибусах, и если вы их встретите, то вы, знающие только каменщиков других стран, никогда не примете их за каменщиков, возвращающихся со своей работы.

— Я понимаю, — сказал я ему, — почему здесь профессию каменщиков избирают так же охотно, как и всякую другую профессию.

— И все рабочие, которые работают вне мастерских, пользуются таким же вниманием республики; все в равной мере находят в своих мастерских орудия, рабочее платье и все, что им необходимо. Даже возчик, как вы видите, имеет всегда место на своем возу.

Замечаете ли вы также, какой порядок господствует среди этого всеобщего движения? Здесь, как и во всех наших мастерских, каждый имеет свое место, свое занятие и, так сказать, свой чин. Одни руководят другими, те доставляют материалы, и все выполняют свою работу точно и с удовольствием. Можно сказать, что весь этот ансамбль образует только одну обширную машину, каждое колесо которой выполняет регулярно свою функцию.

— Да, эта дисциплина кажется мне изумительной.

— Почему изумительной? Во всякой мастерской правила распорядка обсуждаются и должностные лица избираются самими рабочими, в то время как общие законы для всех мастерских вырабатываются выборными всего народа, т. е. выборными рабочих всех мастерских. Гражданин должен всегда подчиняться правилам или зако-

нам, в составлении которых он сам принимал участие, а потому он подчиняется им всегда без колебания и без отвращения.

— Но каким образом,— сказал я ему, возвращаясь вместе с ним,— распределяются профессии? Каждый должен выбрать ту, которая ему нравится, или вынужден принять ту, которую ему навязывают?

Распределение профессий

— Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сперва изложить вам систему нашего промышленного или профессионального воспитания.

Вы помните, что до восемнадцати лет дети получают элементарные сведения в области всех наук и все учатся рисованию и математике.

Мы даем им общее представление о всех искусствах и ремеслах, о сырье (минеральном, растительном и животном), об орудиях и машинах.

И мы не ограничиваемся теоретическим объяснением, а совмещаем его с практикой, приучая детей в особых мастерских обращаться с рубанком, клещами, пилой, напильником и основными инструментами, и это упражнение, которое делает молодого человека умелым и подготавливает его к освоению всяких профессий, является для него настоящим развлечением и вместе с тем первым трудом, полезным для общности.

Молодой человек, таким образом, способен выбрать себе профессию, когда ему исполнится восемнадцать лет. Вот как он делает свой выбор.

Ежегодно в течение десяти дней, которые предшествуют годовщине нашей революции, республика, которая на основании статистических данных знает число рабочих, необходимых в каждой профессии, публикует их список для каждой коммуны и приглашает молодых людей восемнадцати лет сделать свой выбор.

В случае конкуренции профессии распределяются по конкурсу после экзаменов и согласно приговору самих конкурентов, образующих жюри.

Все молодые люди восемнадцати лет, находящиеся на территории республики, распределяются таким образом в один день, ежегодно, по всем профессиям и по всем местностям; это — день рождения рабочего, один из наших больших дней, один из самых главных праздников.

Но это не все! Можно сказать, что до этого времени молодой человек получал в школе индустриальное образование, элементарное и общее. Теперь, в восемнадцать лет, когда он выбрал свою профессию, для него начинается специальное, или профессиональное, обучение.

Это обучение длится довольно долго, потому что требует более или менее обширных специальных занятий для научных профессий.

Оно является теоретическим и дается на курсах, где преподают теорию и историю всякой профессии.

Оно является практическим и дается в мастерской, где ученик проходит через все ступени ученичества и начинает более полно уплачивать общности свой долг труда и пользы.

Точно так же поступают и с молодыми девушками, чтобы обучить их домашним работам или дать им общие понятия, общие навыки в отраслях промышленности, свойственных женщинам, или дать им возможность выбрать профессию в семнадцать лет, или дополнить их профессиональное образование. Судите сами, каковы рабочие и каковы работницы, получившие элементарное и специальное образование!

Видите ли вы теперь все следствия нашей системы труда и промышленности?

— Мне думается, что я вижу некоторые из них: все мужчины должны уметь использовать свои способности, чтобы расширить границы человеческой изобретательности; все женщины должны знать в совершенстве домашние работы; в домах не должно быть магазинов, все дома предназначаются только для семейных квартир; все мастерские должны быть распределены по различным кварталам и снаружи декорированы, чтобы таким образом способствовать украшению всего города; ни у кого нет интереса скрывать или красть полезное изобретение; никто не знает, что такое уплата по векселям и что такое банкротство!

— Наша система имеет еще и другие полезные последствия. В старое время наши рабочие, вынужденные думать только о денежном заработке, работали скоро и плохо; часто они даже сговаривались портить взаимно работу, чтобы обеспечить друг другу дополнительный заработок. Так, когда слесари, или столяры, или маляры работали в каком-нибудь доме, то слесарь, например, пор-

тил нарочно дверь или окраску, чтобы сделать таким образом необходимой новую работу столяра или маляра. Теперь, напротив, рабочий не имеет никакого другого интереса, как только сделать возможно лучше свою работу; все его движения отмечены предусмотрительностью и разумом, и все работы почти совершенно безупречны.

Вы можете поэтому легко заметить чувство достоинства, которым дышат лица наших рабочих или, вернее, наших граждан!

Каждый рассматривает свой труд как общественную службу, точно так же как каждое должностное лицо рассматривает свою службу как труд.

Заметили ли вы также, как регулярен распорядок для движения нашего населения по улицам города. В пять часов все встают; к шести часам все наши общественные средства передвижения и все улицы переполнены мужчинами, которые направляются в свои мастерские. В девять часов вы видите женщин и детей. От девяти до часа полудни все население находится в мастерских или школах. В половине второго вся масса рабочих оставляет мастерские и соединяется со своими семьями и соседями в народных ресторанах. От двух до трех все обедают. От трех до девяти все население наполняет сады, террасы, улицы, места для гуляния, народные собрания, курсы, театры и все другие общественные места. В десять часов все ложатся спать, и в течение ночи, от десяти до пяти, улицы совершенно пустынные.

— У вас, стало быть, также есть закон о тушении огней, закон, который казался таким тираническим?

— Предписанный тираном, он действительно был невыносимым притеснением, но принятый всем народом, в интересах его здоровья и хорошего порядка в работе, — это наиболее разумный, наиболее полезный и наиболее тщательно исполняемый закон.

— Да, я понимаю это, и понимаю также, как должны быть счастливы ваши рабочие.

— Они настолько счастливы, что потомки нашего старого дворянства гордятся званием слесарей, печатников и т. д., которое заменяет титулы герцогов или маркизов.

Все эти детали, сообщенные мне с любезностью, которая удваивала их цену, меня бесконечно интересовали, хотя и не уменьшали моего нетерпения подвергнуть Кориллу допросу, необходимому для моего спокойствия.

Представьте мою досаду, когда, найдя в ее семье господа Динаме, ее дочь и сына, которые зашли к ним, чтобы вместе отправиться гулять, я услышал, как Корилла сказала:

— Мне нужно взять урок истории у профессора, и я пойду с ним: вы, мсье Вильям, дайте руку Динамизе!

Вальмор предложил руку госпоже Динаме.

Я почти хотел бы найти предлог, чтобы уйти, но это было невозможно, и я предложил свою руку как только мог непринужденно. Я бы охотно избил себя, до такой степени я чувствовал себя смущенным рядом с молодой очаровательной девушкой, которую считал еще более любезной, чем красивой, и которую я так горячо желал видеть, когда я впервые услышал ее голос.

Она казалась так же мало довольной, как и я, и ее смущение еще больше увеличивало мое.

Пройдя некоторое время, не говоря ни слова или говоря о хорошей погоде и прекрасных деревьях, я думал доставить ей удовольствие, заговорив о Вальморе и расхваливая его со всем пылом, который мне внушила живейшая и искренняя дружба, тем более, что мне казалось, будто она слушала меня с волнением и некоторым удовольствием.

В свою очередь, она мне говорила о своей подруге Корилле, восхваляя ее ум и веселость, выражая к ней самую нежную привязанность и уверенность, что никто не заслуживал больше, чем она, быть любимой и счастливой.

Но судите о моем удивлении, когда она прибавила, что Корилла с нетерпением ожидала приезда друга ее брата, которого она любила и за которого должна была выйти замуж.

— Мадемуазель Корилла выходит замуж! — воскликнул я.

— Я думала, что вы это знали, — заметила она в крайнем смущении.

Я таким образом узнал случайно тайну, которую желал знать, и все же не знаю (настолько человеческое сердце неисповедимо), доставило ли мне это открытие огорчение или удовольствие. Но оно погрузило меня в мечты и неопределенное смущение, в которых я не мог отдать себе отчета.

Я проводил назад мадемуазель Динамизу, нежный голос которой не мог восстановить спокойствие в моей душе.

Я испытывал такое сильное желание остаться наедине с самим собой, что ускользнул, как только получил возможность сделать это¹.

Глава
пятнадцатая *Женская мастерская*
Роман
Брак

Вальмор, казалось, не мог усидеть на месте. Бедный юноша горел нетерпением узнать свой приговор из уст Динаизы.

Битый час рассказывал он нам — мне и Евгению — о совершенствах своего божества, о своей любви и счастье.

— Но, — воскликнул он, наконец, — мы болтаем, тогда как мы должны были уже быть в пути! Пойдем скорее, не то мы опоздаем.

— Вы пойдете с нами? — сказал он Евгению.

— Нет, мне нужно писать...

— Бросьте, напишете завтра, пойдемте с нами посмотреть наших красивых работниц в их мастерской.

— Ваших работниц! — воскликнул Евгений. — Бегу туда! Подождите только минуту, я сейчас же вернусь.

Мы сели в омнибус, и через десять минут уже входили в мастерскую модисток.

Вальмор повел нас в салон директрис, который господствовал над всей мастерской и откуда можно было видеть все, не будучи замеченным.

Какое зрелище! Две тысячи пятьсот молодых женщин, работающих в одной мастерской, одни сидя, другие стоя, почти все очаровательные, с прекрасными волосами, стянутыми на голове или падающими на плечи буклями, все с изящными фартуками поверх изящных платьев. В руках у них шелка, бархат ярких цветов, кружева и ленты, цветы и перья, роскошные шляпы и изящные шапочки.

Это были работницы, столь же образованные, как и самые воспитанные женщины других стран. Все они были художницы, у которых привычка к рисованию развила прекрасный вкус. Это были дочери и жены различ-

¹ Главы тринадцатая и четырнадцатая, посвященные врачам, писателям, ученым, адвокатам, судьям Икарии, опущены. (Прим. сост.)

ных граждан, работавшие в мастерской республики, чтобы украшать своих согражданок или, скорее, своих сестер.

Вальмор показал нам одну из дочерей высшего должностного лица столицы, затем жену президента республики. Вблизи от нас сидели его сестра и сестра Динаизы, и ни одной из них не приходило в голову, что она может стоять выше какой-либо из своих товарок.

И как здесь все было приспособлено, чтобы доставить удобства и удовольствия этой женской молодежи, цветущей нации! Как чудесно разукрашена вся мастерская! Каким тонким благоуханием был напоен там воздух! Какая чудесная музыка слышалась там время от времени! Все говорило о народе, поклоняющемся женщинам, о республике, более внимательной к удовольствиям своих дочерей, чем к благо других своих детей.

Одна из директрис объяснила нам основы управления мастерской, правила распорядка, обсуждаемые работницами, выборы всех шефов самими работницами, разделение труда и распределение работниц. Можно было подумать, что видишь пред собой великолепно дисциплинированную армию.

Другая рассказала нам, что мода никогда не меняется, имеется только определенное число различных фасонов для шляп, токов, тюрбанов и шапочек, модель каждого из этих фасонов была выбрана и установлена комиссией модисток, живописцев и т. д. и каждый головной убор так скомбинирован, что может по желанию суживаться или расширяться и подходит почти ко всем головам, так что нет надобности снимать мерку с каждой головы.

Так как республика желает, чтобы всякая вещь производилась как можно быстрее, то каждая шляпа, например, комбинируется таким образом, что делится регулярно на большое число отдельных частей, которые фабрикуются в огромных количествах механическим способом, и работнице приходится только сшивать и скреплять эти части; поэтому она может закончить шляпу в несколько минут.

Навык, который приобретает каждая работница, выделяющая всегда одну и ту же вещь, удваивает скорость работы и придает ей совершенство.

Самые изящные головные уборы рождаются тысячами каждое утро в руках их прекрасных создательниц, как цветы в лучах солнца и дыхании зефира.

Хотя регламент предписывает молчание только в течение первого часа, чтобы шефы могли давать свои инструкции всем и уроки ученицам, в мастерской царила такая глубокая тишина, что я был удивлен, хотя уже давно был убежден, что языки собравшихся вместе женщин не более активны, чем языки собравшихся мужчин, и что женщины умеют сохранять молчание и даже тайну так же хорошо, как и их несправедливые обвинители.

Но я весь вздрогнул, когда сейчас же после того, как пробило десять часов, две тысячи пятьсот прекрасных ртов раскрылись, чтобы запеть великолепный гимн, слишком, однако, короткий, в честь доброго Икара, который рекомендовал своим соотечественникам культ женщин, как культ божеств, от которых зависело их счастье. Мне казалось, что среди этих голосов я различаю голос Динаизы, и я был бы убежден, что это ее голос, если бы не знал, что она находится в другом месте.

Затем несколько голосов спели остроумную и изящную песню, посвященную радостям мастерской, и я очень жалею, что не запомнил веселого припева, который вся мастерская подхватывала с очаровательным весельем.

Этот час пения промелькнул, как молния, и опять уступил место тишине. Мы продолжали восхищаться порядком, который поддерживался во время движения директрис, обходивших все ряды.

Я очень хотел видеть час, когда разрешается беседа между двумя тысячами пятьюстами соседок. Я хотел также видеть, как эти красивые работницы снимают свои красивые передники, прячут снова свои красивые головки под своими красивыми шляпками с вуалями и всходят на омнибусы, которые должны отвезти их в различные кварталы города... Я хотел также посмотреть все пристройки, огромный склад материй и других необходимых для мастерской материалов и огромный магазин шляп, шапочек и других законченных произведений... Но Вальмор должен был уйти, и мы вышли вместе с ним, хотя директриса приглашала нас остаться.

— Все женские мастерские, — сказал нам Вальмор, расставаясь с нами, — мастерские швей, цветочниц, бело-

швеек, прачек и т. д., похожи на эту почти целиком, так что, посмотрев эту, вы в сущности видели все.

— Нет, нет! — воскликнул Евгений, — я хотел бы видеть их все и всегда!

И хотя я разделял его восхищение галантностью икарийцев, все же на обратном пути его энтузиазм часто вызывал у меня смех.

Вернувшись в отель, я нашел следующую записку:

«Мы будем в четыре часа иметь столь желаемое *да*. Приходите, приходите! Я сама хочу вам сообщить эту новость. Корилла».

Как же было велико мое изумление, когда два часа спустя я получил другую записку, без подписи, но в которой я сейчас же узнал почерк Вальмора.

«Не приходи... завтра утром в пять часов жди меня у входа в Северный сад».

Почему эта персмена, это новое свидание, это место, этот час. Я решил все-таки пойти.

Я побежал к Корилле: «Их нельзя видеть». Я побежал к госпоже Динаме: «Они выехали в деревню».

В сильном беспокойстве и смущении, не зная, куда деться, я шел машинально вперед и очутился, не заметив того, на берегу ручья, в одном из больших мест гулянья Икары. Найдя себе местечко в уединенном убежище, я, желая немного отдохнуть, хотел начать чтение романа, который мне дала Корилла, но это чтение так сильно захватило меня, что я пожирал книгу — страницу за страницей и остановился, только дочитав ее до конца. Картины, рассказы, анекдоты, стиль — все в этой книге было очаровательно.

Правда, что и сюжет был сам по себе весьма интересен: речь шла о браке, его счастье или несчастье, о качествах, необходимых для супругов, и их обязанностях, чтобы быть счастливыми, о неудобствах и катастрофах, которые являются следствием каждого из их недостатков. Легко догадаться, какие изящные картинки, какие пикантные истории, сколь полезные уроки мог дать подобный сюжет!

Этот же роман был, что касается вопросов брака, прекраснейшим руководством морального воспитания для молодых людей, супругов, отцов и матерей.

Поэтому роман был премирован Национальным представительством. Все национальные писатели были призва-

ны представить свои произведения, все граждане были приглашены представить свои отзывы, и этот роман получил премию среди большого числа других.

Я жалею, что не могу дать здесь детальное изложение этого романа, но рассказ до того сжат, что мне трудно было бы дать его анализ, и я предпочитаю ограничиться некоторыми размышлениями, чем уродовать такое прекрасное произведение.

Начинаю с двух наиболее важных замечаний. Во-первых, согласно системе общности, приданое в Икарии так же неизвестно, как и наследство. Молодые люди и их семьи при вступлении в брак никогда не обращают внимания на состояние, а интересуются только личными качествами. Во-вторых, так как все юноши и девушки одинаково хорошо воспитаны, то все они могли бы быть одинаково хорошими супругами даже в том случае, если бы пары составлялись при помощи жребия.

Но молодые икарийцы, рассматривая брак как рай или ад в этой жизни, вступают в брак только тогда, когда хорошо знают своих избранных, и чтобы лучше узнать друг друга, женихи и невесты должны быть знакомы по меньшей мере в течение шести месяцев, а очень часто они знакомы с самого детства и в течение долгого времени, так как молодая девушка не выходит замуж ранее восемнадцати лет, а молодой человек не женится раньше двадцати.

Чтобы молодые девушки могли хорошо изучить характер своих будущих супругов, им предоставляют полную свободу говорить и гулять с юношами их возраста, но всегда под надзором их матерей, на прогулке, как и в салоне. Воспитание внушает в такой сильной степени мужчинам уважение к женщинам и приучает к их обществу, а общественное мнение так строго отнеслось бы ко всякой слабости, что можно было бы без всякого риска оставлять наедине молодых людей, которые любят друг друга. Не говоря уже о крайней бдительности матери, семьи и общества в целом, о почти непреодолимой фактически трудности избежать людских глаз, воспитание считает преступлением со стороны дочери желание скрыться с глаз матери или иметь от нее какой-нибудь секрет. Молодой человек питает такое же доверие к своему отцу.

Так как мать или отец всегда знают первые чувства своих детей и чувства, которые могут к ним питать дру-

гие, то всякое неподходящее знакомство может быть прекращено с самого начала.

Впрочем, отцы и матери никогда не препятствуют браку, который нравится их детям, и не навязывают того, кто им не нравится, в то время как дети привыкли выслушивать советы своих родителей как советы своих богов-покровителей.

Как только возникает вопрос о браке для молодой девушки или молодого человека, им преподают все обязанности и обязательства, которые он налагает. Это преподавание в первую очередь берут на себя отцы и матери, которым помогают книги и священники, как мужчины, так и женщины.

Поэтому супруги прекрасно знают, что они соединяются на всю жизнь, отдаются друг другу без оговорок, все должно быть у них общее, горе и радость, и счастье каждого из них зависит от счастья другого. Каждый из них вполне добровольно и сознательно обязуется выполнить все эти обязанности.

Но нужно ли говорить об обязанностях супругам, которые любят и уважают друг друга? Все предосторожности, принятые, чтобы они всегда любили друг друга, их воспитание, образование жены, которое делает ее способной говорить обо всем со своим мужем и всюду сопровождать его, их семейная жизнь, привязанность новых родных, их взаимная любовь, действенность трудового, не знающего праздности существования, в особенности счастье, которое доставляют им республика и общность, — разве все это не имеет большего значения, чем все проповеди и увещевания законов, дабы гарантировать выполнение ими своих обязанностей! И разве образцовый общественный строй, данный Икаром своей стране, не состоит в том, что он делает всех супругов добродетельными без всяких с их стороны усилий? Им так легко быть добродетельными, что даже нельзя приписывать им это название. Оно должно быть наградой для той несчастной, которая только в силу долга и из желания остаться верной ненавистному тирану отказывает в любви человеку, обожание которого пленило ее сердце. Икарийке так же трудно было бы обмануть своего любимого супруга, как этой несчастной доводить до отчаяния своего возлюбленного. Икарийка достаточно скромна, чтобы довольствоваться

тем, что она счастлива, не оспаривая у другой заслуженной награды за ее добродетель.

Если бы, однако, в силу какого-нибудь случая счастье хотело, казалось, покинуть семейный очаг, то именно тогда родители, которые не преминули бы это заметить, призвали бы на помощь долг или, скорее, разум, благоразумие, чтобы убедить несчастного супруга или каждого из них, что их настоящий интерес заключается в том, чтобы покориться судьбе и переносить взаимно свои недостатки, как мать переносит недостатки своего ребенка, не переставая его любить. Тут иногда и священники, мужчины или женщины, присоединяют авторитет своих слов к нежным увещаниям семьи, чтобы побудить супругов искать счастье или, по крайней мере, мир в добродетели.

Роман, который доставил мне сильное удовольствие, содержит на этот предмет два прекрасных образа: один — несчастной женщины, которая завоевывает привязанность своего супруга и находит вновь счастье при помощи терпения, мягкости и такта; другой — тоже несчастной женщины, которая удесятеряет свое несчастье, увлекшись мстью.

К тому же незначительное число супругов, не находящихся счастья в своем союзе, достаточно рассудительно, чтобы не нарушать своих обязательств и обязанностей по отношению к республике, разрешающей им развод, когда их семьи считают его необходимым, и позволяющей им искать в новом брачном союзе счастье, которого они не нашли в первом.

Признавая брак и супружескую верность основой порядка в семьях и нации, давая каждому прекрасное воспитание, обеспеченное существование для его семьи и его самого, все возможности вступить в брак и средство развода, республика клеймит добровольное безбрачие как акт неблагодарности и как подозрительное состояние, и заявляет, что неузаконенный брак и прелюбодеяние являются непростительными преступлениями. Этого заявления достаточно и без наказаний, потому что воспитание приучает смотреть на такие преступления с ужасом, и общественное мнение было бы беспощадно к таким преступникам.

Впрочем, республика приняла все меры, чтобы неузаконенный брак и прелюбодеяние были физически невозможны, так как при установившемся строе семейной

жизни и данном устройстве городов прелюбодеяние не может найти для себя убежища.

Роман, о котором я говорил, дает также ужасающее изображение затруднений, тревог, угрызений совести и всеобщего преследования, которым подвергается несчастная женщина, давшая себя соблазнить.

Но это изображение является теперь только продуктом фантазии, ибо если еще можно было встретить несколько редких разводов в последние годы, то уже в течение двадцати лет, говорят, не было ни одной женщины, виновной в нарушении закона.

И общественное мнение в данном случае не подражает несправедливой и жестокой непоследовательности древних времен и других стран, которые, при всем своем снисхождении к соблазнителю, были и бывают беспощадны только к его жертве. Напротив, общественное мнение и закон вдвойне неумолимы по отношению к главному виновнику. Соблазнить девушку, обещая на ней жениться, нарушить после свое обещание, обмануть и покинуть ее было бы по отношению к ней, ее семье и республике изменой, воровством, убийством, преступлением более ненавистным, чем были некогда здесь — и в настоящее время в других местах — все остальные преступления. Вместо того чтобы найти поклонников его опытности, он встретил бы только презрение и проклятия. Вместо того чтобы торжествовать и безнаказанно смеяться над слезами и отчаянием своей жертвы, он был бы отвергнут обществом, а она вызвала бы жалость к себе.

Нет также ничего более ужасающего, чем даваемое в указанном романе изображение соблазнителя замужней женщины, которого преследует общественное презрение, женщины третируют как убийцу, мужа — как вора и все семьи — как врага.

Там фигурирует также кокетка-вдова, доставляющая себе удовольствие в возбуждении страсти молодых людей и испытывающая высшее счастье при виде трупа одного из них, покончившего с собой у ее ног. Все отвергают ее как смутьянку и соблазнительницу.

Но какое бы очарование ни придавал талант автора своим героям высочайшей нравственности, цель их достигнута в такой полноте, что теперь больше нельзя найти подобных им людей, ибо во всей Икарии нельзя было

бы назвать ни одного примера незаконного брака или прелюбодеяния.

Похищение неизвестно, потому что как мог бы похититель увести свою жертву? Даже обольщение почти неосуществимо, ибо что мог бы предложить обольститель?

Нет больше скандальных процессов, поводами для которых являются отказ отца признать ребенка, требование расторжения брака вследствие импотенции супруга, требование развода вследствие побоев: муж, который бил бы свою жену, был бы чудовищем, которого женщины побили бы камнями или разорвали на куски!

Новый язык не имеет даже слов для таких вещей, как аборт, детоубийство и подбрасывание новорожденных, — настолько эти ужасы кажутся невозможными.

Нет больше отравления супруги супругом! Нет больше вероломных ухаживаний, нет больше разрушительной ревности, нет больше дуэлей!

В Икарии имеются только целомудренные девы, почтительные юноши, верные и уважаемые супруги, наслаждающиеся счастьем, которое мой роман изображает с натуры в самых восхитительных красках, показывая, что из всех народов земли, древних и современных, икарский народ, несомненно, наиболее полно наслаждается всеми радостями, которые природа сосредоточила в любви.

И — я обязан это признать — все эти чудеса являются плодами республики и общности.

И вместе с Евгением я готов воскликнуть:

«Счастливая Икария! Счастливая Икария!»¹.

¹ Далее следуют главы, не включенные в настоящий сборник, где рассматриваются сельское хозяйство, религия, политические организации Икарии, пресса, театры и т. д., вплоть до глав сороковой и сорок первой, посвященных внешним сношениям, которыми и заканчивается первая часть книги. (*Прим. сост.*)

Часть
третья *Резюме учения,
или принципы общности*¹

Единственная
глава *Объяснения автора,
учение об общности*

Многие мои друзья были удивлены тем, что я проповедую общность, тогда как прежде я говорил только о прогрессе и улучшении судьбы народа. Поэтому я должен представить им объяснение. Вот оно.

Я был слишком долго жертвой своей преданности народному делу, чтобы не остаться ему преданным всегда, и я решил, подобно Кампанелле, использовать время изгнания, чтобы изучать историю, размышлять и стараться быть полезным согражданам. Я подготовил для народа три элементарные истории (всеобщую историю, историю Франции, историю Англии). Потом мне захотелось прочесть на английском языке «Утопию», о которой я, как и многие другие, часто слышал, но мало знал.

Несмотря на многочисленные недостатки этого произведения, в особенности если пытаться осуществить его план в настоящее время, я был до такой степени поражен его основной идеей, что закрыл книгу, не желая вспоминать о мелочах, дабы серьезно подумать об этой идее общности, которую я никогда не имел времени глубоко исследовать, предубежден-

¹ Вторая часть романа в настоящий сборник не включена. В ней обсуждаются в дискуссионной форме проблемы установления режима общности, вопросы равенства имущества и т. д., для ознакомления с которыми читателю достаточно публикуемой третьей части. (Прим. сост.)

ный против нее, как почти все, кто осуждает общность как химеру.

Но чем больше я размышлял, тем меньше идея эта казалась мне химерической. Я исследовал теоретическое применение ее ко всяким условиям и потребностям общества; чем больше я продумывал ее частичные применения, тем больше для меня выяснялась возможность и даже легкость ее осуществления.

Мне трудно описать радость, какую я испытал, найдя наконец средство против всех недугов человечества, и я уверен, что в своих дворцах и празднествах изгоняющие не имеют столько чистых наслаждений, сколько их имеет изгнанный, с каждым днем все яснее различающий зарю счастья рода человеческого.

Закончив разработку своего плана общности, я прочитал и перечитал сочинения всех знаменитых философов, которые я здесь излагаю в двенадцатой и тринадцатой главах очень сжато, и я опять не могу описать удовольствие, какое испытал, когда увидел, что те из этих философов, которых я не знал, и те, которых я когда-то читал, не замечая всех их сокровищ, подтверждали мое мнение почти по всем интересовавшим меня вопросам.

Подкрепленное таким образом, мое убеждение стало непоколебимым, и я решил опубликовать свой труд.

Однако некоторые друзья во Франции, которым я сообщил свой проект и свои главные идеи, пытались убедить меня отказаться от них.

«Общность! — писали мне одни. — Но это всеобщее пугало, химера! Вы восстановите против себя общественное мнение, или вы встретите полное равнодушие. Вы заставите многих ваших друзей отказаться от вас. Даже народ вас покинет, ибо он слишком просвещен, чтобы не видеть, что его настоящий интерес заключается не в общности, а действительное равенство может быть только равенством нищеты. Вы лишаете себя таким образом всякой надежды на карьеру, на помощь, на будущее. Что же, вы с ума сошли?»

Но эти возражения так же мало удивили меня, как мало заставили меня отступить назад.

Я восстанавливаю против себя, говорят, общественное мнение! — Как? Общественное мнение восстанет против философского обсуждения, против исследования истины и средств излечения всех недугов, терзающих челове-

ство! Нет, нет, для этого нужно было бы, чтобы общественное мнение было слепо, так же слепо (*si parva magnis comprobere licet* — коль сравнить нам малое можно с великим), как тогда, когда оно восстало против Сократа и Иисуса Христа, а это было бы еще одним основанием больше, чтобы стараться просветить его.

Или же оно отнесется к моим идеям совершенно равнодушно? — Тогда они ни в чем не будут мешать другим. И это опять-таки основание, чтобы разбить это равнодушие, столь же гибельное в философии и общежитии, сколько оно может быть в области религии.

Мои друзья отвернутся от меня? — О, я буду огорчен за тех, кого я столь же люблю, сколь уважаю. Но изгнание приучает обходиться без многих проявлений дружбы, и я не колебался бы сказать: «*Amicus Cato, sed magis amicus Plato et magis adhuc amica Veritas*» (люблю Катона, но еще больше Платона, и еще больше Истину). Впрочем, нет, мои истинные друзья не откажутся от меня, ибо я думал, как они, когда не изучал еще вопроса, и они, вероятно, думали бы, как я, если бы они, подобно мне, размышляли о нем в течение трех лет. Я готов обсудить с ними этот вопрос, твердо убежденный, что они обратятся, и готовый позволить обратить себя, если мне докажут, что я ошибаюсь.

Сам народ покинет меня? — Нет, потому что он не имеет друга более искреннего, более постоянного и более преданного. Я, однако, хорошо знаю, что этот народ, всегда в общем хороший, справедливый и великодушный, может быть обманут и слухаться своих врагов, как во время оно лакедемонский народ покинул короля Агиса, как римский народ покинул Гракхов и как иудейский народ дозволил распять Иисуса Христа. Но это еще одно основание посвятить себя его освобождению.

Я лишаю себя всякой надежды на помощь, карьеру и будущее? — О, я это знаю и все делаю для этого уже слишком давно. Но многие из нас думают только о себе; нужно, чтобы были и такие, которые думают только о народе и о человечестве!

Я сошел с ума? — Увы! Разве не всё есть безумие на земле? Разве мы не все безумцы, отличающиеся друг от друга только по роду и виду? Когда столько так называемых мудрецов терзаются из-за эгоистических наслаждений, то разве самые безумные именно те, кто находит на-

слаждение в том, что приносят себя в жертву для своих братьев? И когда являешься безумным вместе с Сократом, Платоном, Иисусом Христом и столь многими другими, то разве Шарантон, в котором находишься вместе с ними, не стоит Шарантона, наполненного честолюбцами, жадными и алчными?

«Как, — писали мне другие друзья, — вы пишете роман, чтобы объяснить вашу систему общности? И вы не начинаете изложением вашего учения?» — Да, я пишу роман, чтобы изложить социальную, политическую и философскую систему, потому что я глубоко убежден, что это самая простая, самая естественная и самая ясная форма, чтобы дать понять самую сложную и самую трудную систему; потому что я хочу писать не только для ученых, но и для всех; потому что я хочу, чтобы меня читали женщины, которые были бы куда более убедительными апостолами, если бы их благородная душа была крепко убеждена в действительных интересах человечества; потому что я не хочу подражать экономистам и их подражателям, которые, как говорит Кондорсе, часто затемняли свои идеи, злоупотребляя научными терминами. Я, быть может, ошибаюсь, но эта форма, которую мне, впрочем, подсказала «Утопия», мне кажется предпочтительнее тех, которыми пользовались современные писатели для изложения аналогичных предметов. Я, несомненно, нуждаюсь в снисхождении моих читателей, в особенности что касается романтической части, но они поймут, что эта часть есть только аксессуар, которому я мог уделить возможно меньше места. Другие сделают это лучше. Что же касается меня, то я достигну моей цели, если романтическая часть может привлечь нескольких читателей без того, чтобы философская часть потеряла кого-либо из них.

Но так как эта система представляет нечто новое, то, вероятно, понадобится, чтобы ее хорошо понять, второе чтение, которое будет значительно легче, так как перед читателем уже пройдет вся совокупность фактов и рассуждений.

Что касается сущности системы, общественного и политического строя Икарии, то я прошу читателя точно отличать то, что является основным принципом, от того, что есть только пример и деталь. Так, когда я говорю, что план образцового дома устанавливается или должен быть установлен законом после конкурса, то это принцип, ко-

торый я считаю неоспоримым; когда я даю план этого дома, то это только одна из тысячи идей, которые можно принять, и представители искусства смогут найти много ошибок в выполнении, которых я мог бы избежать, если бы писал мою работу в Париже, но которые сами по себе безразличны, ибо не в этом состоит система. И когда речь пойдет об исполнении, то народ и собравшиеся ученые сумеют найти лучшие планы и лучшие образцы.

Пусть поэтому не придираются ко мне из-за деталей, ибо я сам отказываюсь защищать их.

Вот, впрочем, то, что я считаю учением или принципами общности.

Принципы и учение об общности

Что такое естественные, или божественные, права? — Это права, которые даруются природой или божеством.

Что такое общественные, или человеческие, права? — Это права, которые даются обществом или придумываются людьми.

Какие права считаются естественными? — Главные из них: право существования и право использовать все свои физические и умственные способности.

Что понимаете вы под правом существования? — Я понимаю под этим право пользоваться всеми благами, созданными природой и служащими нам для пищи, одежды и жилища, и право защищаться против всякого рода нападающих.

Что понимаете вы под правом использовать все свои физические способности? — Я понимаю под этим право передвижения, труда, союзов, собраний — одним словом, делать все, что нравится, не нарушая прав другого. Я понимаю также право иметь супругу и семью, потому что это для каждого индивида, очевидно, завет природы.

Что понимаете вы под правом использовать свои умственные способности? — Я понимаю, что это есть право употреблять все средства для собственного просвещения.

Имеют ли все люди одни и те же естественные права? — Да, потому что права эти связаны со званием человека и все люди — в равной степени люди.

Но разве люди не неравны, по силе, например? — Это верно, но сила не есть право, а несколько слабых могут

соединиться против одного сильного. Люди могут быть различными по силе, росту и т. д., но разум указывает нам, что они равны в правах в глазах природы.

Разделила ли природа землю между людьми? — Конечно, нет: она дала землю всему человеческому роду, не назначая никому особой части.

Все философы признают, что природа дала всё и всем безраздельно и что блага земли образовали естественную и первоначальную общность.

Следовательно, собственность установлена не природой? — Конечно, нет. Природа не установила собственность, она не предписала общности; она предоставила людям свободу пользоваться благами земли, как они хотят, установив собственность или сохранив общность.

Имел ли каждый право на равную часть? — Очевидно да, ибо мы все — дети и наследники природы.

Было ли это равенство полным и безусловным, так что каждый мог иметь одинаковое количество пищевых припасов? — Нет, равенство было относительное к потребностям каждого индивида: тот, кто имел потребность в двойном количестве пищи, чтобы насытиться, имел право взять двойное количество, когда пищи хватало для всех.

Имел ли место когда-либо действительный раздел земли между людьми? — Нет, каждый занимал то, что ему подходило, никого не спрашивая, не получая ни от кого согласия и часто без ведома кого-либо.

Что называется правом первого заимщика? — Это право занимать все, что не занято еще никем.

Почему вы говорите: что не занято еще никем? — Потому что следует уважать владение первого заимщика, если можно найти всё, в чем нуждаешься, среди не занятых еще предметов.

Кто регулирует право первого заимщика? — Естественная справедливость.

Что такое естественная справедливость? — Это мнение, которое разум дает всем людям относительно того, что справедливо или несправедливо, т. е. соответствует или противно природе и естественному равенству.

Имеет ли каждый право, согласно естественному равенству, занимать излишек? — Конечно, нет; это несправедливость, узурпация, воровство по отношению к тем кто не имеет необходимого.

А если другим остаются еще равные части, так что каждый имеет необходимое и даже излишек? — Тогда каждый может занимать излишек, потому что он никому не вредит, но с условием уступить его другим, когда явятся такие, которые в другом месте не могут достать себе необходимое.

Значит тот, кто имел бы излишек, должен был бы уступить его другим, которые не могли бы иначе получить необходимое? — Конечно, в том случае, когда занятие излишка было бы в принципе справедливо, так как несправедливо было бы сохранять его, ибо по существу оно условно. Естественная справедливость не может допустить, чтобы один человек имел излишек, когда другие не имеют необходимого, и удержание излишка в ущерб другим людям, лишенным необходимого, было бы постоянной несправедливостью и узурпацией.

Но если первый заимщик, владелец излишка, лично трудился? — Неважно: излишек составлял долю других, которые начали бы его обрабатывать, если бы он оставил его без обработки; его труд не может ему приобрести долю другого; он обрабатывал излишек только на условии вернуть его; он использовал свой труд в период владения; ничто не может лишить других необходимой им доли, в общих благах, данных природой всем своим детям, и ничто не может дать право владельцу излишка сохранить его.

Вы говорили об обязанности: что понимаете вы под обязанностью? — Я понимаю под этим то, что каждый обязан делать.

Имеют ли все люди естественные обязанности? — Да. Один не может иметь какое-либо право без того, чтобы другие имели обязанность уважать это право; право и обязанность порождаются взаимно, и одно не может существовать без другого, — это две вещи соотносительные и неотделимые.

Все ли люди имеют равные естественные обязанности? — Да, так как все люди имеют права, то все имеют обязанности, а так как все имеют одни и те же права, то они имеют одни и те же обязанности. Все, например, имеют право требовать свою долю в общих благах, и все имеют обязанность оставлять другим части, которые им принадлежат.

Какие обязанности считаются естественными? — Любить себе подобных, как своих братьев, и уважать все их

права, или: «не делать другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, и, напротив, делать другим все, что мы хотели бы, чтобы делали нам».

Вы говорили об общественных правах и об обществе: что такое настоящее общество? — Это союз людей, которые, свободно и добровольно, соглашаются соединиться в союз в их общих интересах.

Почему вы говорите: свободно и добровольно? — Потому что не было бы общества между людьми, которые не были бы все свободны и равны и которые не выразили бы согласия вступить в союз: если бы одни были принуждены к этому другими, то были бы господа и рабы или почти рабы, эксплуататоры и эксплуатируемые, а не члены общества; угнетатели и угнетаемые так же не могут составить общество, как пастухи и стада.

Почему вы говорите, соединенные в союз в их общих интересах? — Потому что нельзя представить себе, чтобы свободные и равные люди могли добровольно соединиться в интересах некоторых из них, когда они могут это сделать в интересах всех.

В чем заключается общий интерес членов общества? — В том, чтобы сохранить и гарантировать их естественные права и помешать более сильным нарушать права более слабых; в том, чтобы поддержать и усовершенствовать естественное равенство.

Следовательно, член общества должен пользоваться социальным и политическим равенством, как и естественным равенством? — Да, социальное и политическое равенство должно быть подтверждением и усовершенствованием естественного равенства.

Представляют ли нации настоящие общества? — Нет, во всех нациях существует общество только между аристократами, но его нет между аристократией и народом, между богатыми и бедными; последние по отношению к первым представляют то же, что рабы в Афинах по отношению к афинянам.

Следовательно, нации не образуются путем нарочитого соглашения? — Ни одна: завоеватели могли соединиться умышленно в целях завоевания, но великие нации были все образованы путем завоевания; всюду и всегда завоевательная аристократия покоряет народ, становящийся ее рабом или подданным.

Могут ли быть хорошо организованы эти так называемые общества? — Нет, потому что они — продукт завоевания, силы, насилия, несправедливости или неопытности, невежества или варварства.

Является ли недостаточным еще и существующий строй этих так называемых обществ? — Да, потому что одни представляют всё, а другие — ничто; аристократия имеет излишек, не трудясь, а народ не имеет необходимого, трудясь чрезмерно. Бедные лишены своих естественных прав.

Имеют ли дети бедных еще и теперь естественные права? — Конечно: теперь, как и всегда, дети при рождении суть все дети природы; все люди теперь так же люди, как и первые люди; все равны в естественных правах; все имеют право на одинаковую часть благ их общей матери; и для всех их природа сегодня, как и всегда, распространяет свет и тепло, которые оплодотворяют землю и без которых их собственность была бы бесполезна.

Значит, все существующие теперь люди имеют еще естественные права? — Без всякого сомнения: социальные законы, лишаящие одних необходимого, чтобы давать другим излишек, являются насилием, нарушающим естественную справедливость. Но божественные права священны, неотчуждаемы и неприкосновенны. Ограбленный сохраняет свое право, хотя он уже не пользуется им, как обворованный сохраняет свое право на украденную вещь, перешедшую во владение вора.

Но этот так называемый общественный строй — был ли он, по крайней мере, хорош для аристократов и богатых? — Нет: он составляет несчастье бедных, не доставляя другим настоящего счастья; он устанавливает между всеми постоянную войну, которая навлекает на всех их неисчислимы бедствия.

Каковы главные недостатки этого так называемого общественного строя? — Их три: неравенство состояния и власти, индивидуальная собственность и деньги. Размышлив хорошенько, мы находим, что это три главные причины всех пороков и всех преступлений, всех беспорядков и всех бедствий.

Почему люди приняли всюду эти три учреждения? — Одни их приняли из эгоизма, в своем исключительно интересе, а другие из невежества, надеясь, что они приведут к общему благу.

В чем заключается главный недостаток политического строя? — В том, что закон вырабатывается аристократами или богатыми.

Есть ли какое-нибудь средство против этого зла? — Конечно, имеется, ибо иначе для чего служил бы человеку разум?

В чем состоит это средство? — Нужно уничтожить причину зла, т. е. отменить неравенство, собственность и деньги, и заменить их равенством во всем и общностью.

Следовательно, общность позволяет сохранить естественное право? — Да, так как ее главный принцип именно и заключается в сохранении и усовершенствовании естественного равенства.

Каков ее принцип по отношению к личности? — Нация или народ образуют настоящее общество, организованное по взаимному соглашению в общих интересах; все члены нации являются членами союза, братьями, совершенно равными в правах и в обязанностях; нация — только единая семья; она также — единая моральная личность.

Каков принцип по отношению к имуществу? — Все блага составляют общую собственность и образуют только единый общественный капитал; территория образует общее достояние, эксплуатируемое сообща.

Каков принцип по отношению к промышленности? — Общественная промышленность едина, т. е. образует лишь одну промышленность, эксплуатируемую народом, как одним человеком, таким образом, чтобы производить все, что необходимо, разделяя и планируя труд, и производить как можно больше, без излишних затрат труда и без потерь.

Каков принцип по отношению к правам и обязанностям? — Они одинаковы для всех; каждый обязан трудиться одно и то же число часов в день, соответственно своим силам, и имеет право получать равную долю соответственно своим потребностям во всех продуктах.

Но разве справедливо, чтобы талантливый и гениальный человек получил равную часть с другими? — Да, потому что талант и гений являются результатами воспитания, которое дает общество, и потому что талантливый человек был бы ничем без общества.

Как относятся к труду? — Как к общественной должности, и все общественные должности рассматриваются

как труд. Труд и должности рассматриваются также как налог.

Имеются ли другие налоги? — Никаких других, кроме равной доли каждого в труде и должности.

Каков принцип по отношению к труду? — Он общий и обязательный для всех; общий в больших общественных мастерских и, по возможности, привлекательный, короткий, и облегчается при помощи машин.

Каков принцип по отношению к машинам? — Их стараются производить как можно больше. При их помощи производят всё, что можно сделать машинами.

Каков принцип по отношению к пище, одежде, жилищу и обстановке? — Они, в меру возможности, одинаковы для всех, приготавливаются общностью и доставляются ею каждому. Все производится согласно образцу, установленному законом.

Каков принцип по отношению к развлечениям и роскоши? — Общность производит сначала необходимое и полезное; затем она производит приятное, ставя только пределы, полагаемые разумом.

Каков принцип по отношению к городам или домам? — Все строятся общностью по утвержденным образцам.

Каков принцип по отношению к дорогам и каналам? — Стараются всемерно увеличить количество механических средств передвижения.

Каков принцип по отношению к торговле? — Внешняя торговля находится в руках республики, а внутренняя торговля есть только распределение, производимое республикой.

Каков принцип по отношению к семье? — Каждая семья живет, в меру возможности, сообща и всегда без домашних слуг, составляя только одно хозяйство.

Каков принцип по отношению к браку? — Каждый может и должен вступить в брак; выбор совершенно свободен; супруги равны: брак может быть расторгнут, если это необходимо.

Каков принцип по отношению к воспитанию? — Оно касается всех сторон жизни человека и составляет основу общности; оно бывает физическим, умственным, нравственным, гражданским и профессиональным; оно частью домашнее и частью общественное; оно общее, или элементарное, и специальное, или профессиональное.

Каков принцип по отношению к общему воспитанию? — Оно дает всем основы всех наук и всех искусств.

Каков принцип политического строя? — Народ суверенен; всё делается народом и для народа.

В чем состоит политическое равенство? — Все члены общества суть в равной степени граждане, члены народных собраний и национальной гвардии, избиратели, избираемые.

Каков принцип по отношению к законодательной власти? — Эта власть суверенна; она организует и регулирует всё при помощи законов.

Осуществляется ли законодательная власть народом? — Да! Законы обсуждаются и готовятся представителями, избранными народом, и передаются затем на одобрение народа.

Значит, законы являются выражением общей воли? — Да, в полном смысле этих слов.

Вы сказали, что закон организует и регулирует все, но не есть ли это покушение на свободу? — Нет, потому что закон вырабатывается народом, а народ вырабатывает только такие законы, какие ему нужны.

Каков принцип относительно исполнительной власти? — Она по существу подчинена законодательной власти и осуществляется выборными, временными и ответственными должностными лицами; провинциальные и коммунальные должностные лица весьма многочисленны.

Каков принцип по отношению к судебной власти? — Так как общность уже сама по себе предупреждает почти все преступления, то уголовные законы бесконечно просты и мягки, а трибуналы почти бесполезны. Судьей является сам народ на своих народных собраниях.

Может ли народ легко посещать народные собрания? — Принимаются все меры, чтобы никто не отсутствовал на них.

Обеспечивает ли общность благополучие всех? Конечно: вся общественная власть осуществляется народом и, следовательно, для блага народа; равенство воспитания, труда, состояния и прав предохраняет от забот и зависти, пороков и преступлений и доставляет все доступные человеку наслаждения.

Одним словом, задача, требующая решения, состоит в отыскании средства сделать счастливыми людей и наро-

ды. А всеобщий опыт показал, что этим средством не являются ни упования на воздаяние в загробной жизни, ни страх перед вечными муками, ни внушающие страх человеческие законы, ни бдительность полиции, ни существующий общественный и политический строй, ни чрезмерное богатство, влияние которого, наоборот, так губительно, что, как говорил Иисус Христос, «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай». Следовательно, средство, которое мы ищем, находится в другом месте, и разум указывает, что его можно найти только в новой системе организации, которая делает: 1) добродетель легкой, 2) порок и преступление трудными и даже невозможными. И этой новой системой может быть только общность, которая путем воспитания приучает человека к братству и всем общественным добродетелям, между тем как установлением равенства, достатка и благополучия, при единственном условии умеренного труда, она не оставляет у него никакого интереса вредить своим братьям.

Возможно ли сразу ввести систему общности вместо системы неравенства и собственности? — Нет, необходим переходный порядок.

Какой переходный порядок? — Порядок, который, сохраняя собственность, возможно скорее искореняет нищету и постепенно отменяет неравенство состояний и власти; который формирует при помощи воспитания одно и несколько поколений для общности и с самого начала дает свободу слова и ассоциаций, а также всеобщее избирательное право.

Почему не уничтожить сейчас же собственность? — Потому что собственники не согласились бы на это, а нужно во что бы то ни стало избегать насилия; потому что физически невозможно выполнить сейчас же все подготовительные работы, необходимые для установления общности.

Какова продолжительность этого переходного порядка? — Тридцать, или пятьдесят, или сто лет, смотря по странам.

Но это очень долго! — Правда, но абсолютно невозможно наладить раньше. К тому же счастье дает себя скоро почувствовать и с каждым днем будет возрастать, как только примут переходную систему и принцип системы общности.

Следовательно, нужно сначала принять принцип общности, если мы не хотим отсрочить ее полное и окончательное осуществление? — Конечно, потому что если аристократия отвергнет принцип общности, она отвергнет также переходный порядок и всякую реформу.

Но как побудить аристократию принять принцип общности? Следует ли употребить силу? — Нет, ни насилия, ни революции, — следовательно, ни заговоров, ни покушений.

Почему? — Я вам мог бы привести много оснований; но я ограничусь теми, которые диктуются интересами народа и общности. Слушайте внимательно!

Насильственные революции являются войной со всеми ее случайностями, они чрезвычайно трудны, потому что правительство, в силу уже одного того, что оно существует, обладает безмерной силой — своей государственной организации, влиянием аристократии и ее богатства, законодательной и исполнительной властью, своей казной, армией, национальной гвардией, трибуналами, жюри и полицией с ее тысячами средств, ведущих к раздорам, и своими подкупам.

Для угнетенных недостаточно быть многочисленными, так как нужно, чтобы они могли организовать армию, а правительство пускает в ход всю свою мощь, чтобы помешать этой организации. Недостаточно иметь мужество, даже героическое мужество, ибо противники могут также обладать храбростью, а сверх того и преимуществами дисциплины и тысячами других преимуществ. Недостаточно иметь безграничную уверенность в своей преданности, потому что нельзя перехватить пушечные ядра голыми руками. И сколько ошибок (чрезмерная любовь к независимости и недисциплинированность, нетерпимость и несогласия, неопытность и неспособность, нетерпение и безрассудство), совершенно естественных, без сомнения, для молодой и преследуемой народной партии, подрывает ее успех!

К тому же народ не только в настоящее время желает революции. Испокон веков не было, быть может, ни одного года, чтобы каждый народ не чувствовал потребность стряхнуть с себя иго аристократии и завоевать обратно свои естественные права. И, однако, как мало произошло революций в сравнении с числом революций, кото-

рых народ хотел осуществить! А среди предпринятых революций как мало окончившихся успехом! А среди последних как мало достигших своей цели и позже ловко использованных или просто сведенных на нет аристократией!

Мне не нужно называть ни революций, которые пытались совершить в течение последнего пятидесятилетия, ни ошибок и предательств, которые обусловили неудачу многих из них. Но я спрашиваю: когда народ обладал такою властью, какую он имел в 1789 г., когда он был господином положения?

И, однако, не был ли он вследствие раскола его вождей и, быть может, излишней поспешности обезоружен, изгнан отовсюду и почти задушен аристократией? Разве в силу недостатка единства и опытности он не дал после 9 термидора два раза вырвать у себя победу!

И какое зло причиняет народу всякая недоконченная — побежденная или неудавшаяся революция! Сколько зла принесли заговор Бабефа и попытка Гренельского лагеря! Сколько силы дали аристократии бунты, заговоры и покушения начиная с 1830 г.! Разве не утвердилось уже общее мнение, что аристократия желает и даже провоцирует насилия, которые ей почти всегда так же выгодны, как они губительны для всего народа, даже когда они являются делом нескольких индивидов! И разве не составляет одну из величайших опасностей революционных времен то, что немногие отдельные люди, — наиболее молодые и наиболее легкомысленные, как и наиболее рассудительные; наиболее безумные, как и наиболее благоразумные; самые порочные, как и самые преданные, — могут компрометировать народ, без его ведома и против его воли, ради своего честолюбия или своего тщеславия и жадности, не сознавая даже, что они ответственны за все зло, которое они приносят своей партии?

И поэтому повторяю, что в интересах самого народа я отвергаю насилие.

Но если бы насилие увенчалось успехом, то не было ли бы справедливым принудить аристократию и богатых? — Нет, потому что насилие не необходимо. Богатые — такие же люди и наши братья, как и бедные; они составляют даже значительную и прекрасную часть человечества. Конечно, следует мешать им быть притесните-

лями, но их следует притеснять так же мало, как им позволять притеснять себя. Общность, придуманная с целью составить счастье всех людей, не должна начать с того, чтобы вызвать отчаяние у значительной их части. Мы не должны даже ненавидеть их, так как их предрассудки и недостатки являются следствием их плохого воспитания и плохого общественного строя в такой же мере, как недостатки и пороки бедных. Этот плохой строй — сатана, который в равной степени портит всех людей. Следует их всех избавить от него, а не сжигать, чтобы изгнать из них беса, как Иисус Христос явился в мир не для того, чтобы истребить богатых, а обратить их, проповедуя только уничтожение изобилия и нищеты. Одним словом, приносить богатых в жертву бедным следует так же мало, как бедных в жертву богатым, иначе вся жалость, всё сочувствие, вся справедливость, все добродетели, все усилия соединились бы против новых притеснителей в пользу новых притесняемых.

Стало быть, не следует ненавидеть эгоиста лавочника? — Вы можете питать отвращение к эгоизму и в особенности к его причине, но ничто не кажется мне менее резонным, менее справедливым и в особенности более неудачным, чем оскорблять многочисленный класс торговцев и фабрикантов или угрожать ему; ибо, каковы бы ни были их недостатки, эти недостатки являются неизбежным следствием общей организации и их особенного положения. Необходимость быть аккуратным в своих платежах, чтобы сохранить свою репутацию и свой кредит, боязнь быть обесчещенным вследствие банкротства, возросшие шансы потерь и разорения, невозможность рассчитывать на помощь других в случае несчастья, постоянные заботы и тревоги в связи с необходимостью платить по векселям в конце каждой недели или каждого месяца, опасения и страхи компаньона или жены (которая при этих условиях знает все дела своего мужа и удваивает его беспокойство и эгоизм, напоминая ему беспрестанно об интересах его детей) — все это соединяется вместе, чтобы сделать эгоистом купца, фабриканта или лавочника. Конечно, это несчастье, что он вообще так мало образован и так легковверен, и аристократии весьма нетрудно сделать из него свое орудие, напоминая ему постоянно о бунтах, грабеже и анархии. Но если он мало образован, то это не его вина; если он легковверен, то это следствие

плохого воспитания; если он верит в планы грабежа, то естественно, что он их боится. Одним словом, влияние его положения до того непреодолимо, что, в общем, рабочий, тот самый, который больше всего кричит против лавочника, сейчас же усваивает себе его убеждения и обычаи, как только заводит лавочку.

Каким же образом можно убедить аристократию принять принцип общности? — Так же, как и Иисус Христос: проповедуя, устно и письменно, обсуждая, уговаривая, убеждая богатых и бедных, пока все — народ, избиратели, законодатели и правители — не признают принципа общности. Народу мало желать реформы и даже совершить революцию — нужно в первую очередь иметь систему, принципы, учение, политическую религию. Недостаточно называть себя гражданином, братом, демократом, республиканцем или коммунистом, — слова, которые агент-провокатор может произносить так же хорошо, как и всякий другой. Нужно быть твердо убежденным и твердо уверенным; нужно хорошо знать и хорошо понимать — и самый великий гений не сумеет сделать булавку, если он не учился этому ремеслу. Нужно, наконец, иметь решимость выполнить все свои обязанности вместе с желанием и волей осуществить все свои права.

Не только теперь народ совершает революции. Почему же так много революций кончилось неудачей? Не потому ли, что народ не усвоил себе определенного учения? Разве революции 1792, 1815, 1830 гг. не привели бы к совершенно иным результатам, если бы народ хорошо понимал все огромные преимущества общности? И если бы начиная с 1830 г. весь народ занимался единственно тем, что изучал бы и пропагандировал эту систему, то не подвинулись ли бы мы теперь бесконечно дальше?

Но разве не следует в первую очередь обратить богатых? — Без сомнения, и самое полезное было бы начать именно с них, потому что богатые и ученые располагают гораздо большим влиянием для обращения других богатых и даже бедных: сколько сторонников завоевали Ламеннэ и Ламартины, Аржансоны и Дюпоны де л'Эр для учения, апостолами которого они себя провозглашали!

Но можно ли надеяться, что богатые будут обращены? — Зачем сомневаться в этом? Разве нет богатых — образованных, справедливых, великодушных? Разве Ликурги, Агисы, Солоны, Гракхи, Томасы Моры, Сиднеи, Гель-

веции, Мабли, Тюрго, Кондорсе и тысячи других не принадлежали к аристократическому и богатому классу? Разве во все времена аристократия не давала Лафайетов, Аржансонов и тысячи других блестящих исключений? Разве среди женщин и молодежи аристократии нашего времени не найдется ни одна душа, горящая священной любовью к человечеству?

За дело поэтому, за дело, все вы, богатые и бедные, признающие общность! Обсуждайте, проповедуйте, обращайтесь, пропагандируйте! Собирайте все мнения и все доводы, которые могут облегчить обращение других! Я начал, другие могут сделать лучше, чем я.

И никаких заговоров, никаких заговорщических обществ, всегда склонных к нетерпению и раздору! Никаких задних мыслей! Только обсуждение.

Не нужно даже частичных опытов общности, успех которых принесет мало добра, но неудача, почти несомненная, принесла бы очень много вреда. Одна только пропаганда, и всегда пропаганда, пока масса не примет принцип общности.

Но если аристократия никогда не захочет его принять? — Это невозможно! Если общность — химера, то уже одного обсуждения будет достаточно, чтобы осудить ее, и сам народ отвергнет ее и примет другую систему. Но если это учение есть сама истина, оно будет иметь многочисленных сторонников в народе, среди ученых, среди аристократии, и чем больше она их будет иметь, тем больше она будет завоевывать их каждый день, между тем как Англия и Америка будут каждый день делать новые завоевания для других народов, как и для себя самих. Будущее принадлежит общности одной лишь силой разума и истины. И как бы медленно общественное мнение ни добивалось своего торжества, оно всегда добьется его скорее и решительнее, чем это сделало бы насилие.

И мое убеждение в этом настолько глубоко, что если бы я держал революцию в своей руке, я оставил бы ее закрытой, даже если бы мне пришлось из-за этого умереть в изгнании.

Таковы мои принципы относительно общности.

Быть может, пожелают искать в моем произведении намеки, ибо как можно не найти намеков в исторических и философских исследованиях, когда Ришелье требовал только пяти любых строк письма человека, чтобы найти

в них преступление, за которое его можно повесить! Но я приобрел, думаю, право претендовать, чтобы не сомневались ни в моем мужестве, ни в моей прямоте, и я заявляю как друзьям, так и врагам, что во всей критической части моей работы я ставил себе целью только указать пороки всех социальных и политических организаций, не желая делать ни одного личного намека.

Люди всех партий, изучайте проблему общности, ибо это вопрос благополучия, первый и самый важный вопрос, — вопрос, который содержит все другие вопросы нравственности, философии, политической экономии и законодательства! Не было ли бы ребячеством скорбеть по поводу недугов человеческого рода, не исследуя их причины и не ища средства против них? Не было ли бы смешно заниматься только описанием недостатков народа и давать ему бесплодные советы, не увещевая властителей лечить зло справедливостью и человечностью?

Люди всех партий, религиозных или политических, послушайте, что говорит Гизо в своей книге «Религия в современных обществах»!

«Это в духе времени — оплакивать положение народа... но это правда; невозможно смотреть без глубокого сожаления на такое множество столь несчастных человеческих созданий... Это прискорбно, очень прискорбно видеть, очень прискорбно думать об этом. И все же нужно об этом думать, думать очень много, ибо забыть это было бы серьезной ошибкой и серьезной опасностью».

Укажите же средство, средство, средство!

Эгоисты, изучайте этот вопрос, ибо речь идет о вашем собственном интересе!

Добрые отцы и матери, изучайте вопрос, ибо речь идет о счастье ваших детей и вашего потомства!

Благородные друзья народа, изучайте вопрос, ибо речь идет о счастье бедноты и народа!

Благородные филантропы, изучайте вопрос, ибо речь идет о счастье всего человечества!

Конец «Путешествия в Икарию»

Гилберт ЧЕСТЕРТОН

Наполеон из Ноттинг-Хилла



МЫ МИРНЫЕ
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ



Книга первая

Глава I. *Вступительная заметка об искусстве прорицания*

Человеческий род, к которому, несомненно, принадлежат некоторые из моих читателей, с момента своего возникновения увлекается детскими играми и будет, по-видимому, увлекаться ими до скончания веков. Одна из любимейших его игр называется «О завтра ни гугу», а в простонародье — «Натяни нос пророку». Закljučается она в следующем. Играющие весьма внимательно и почтительно выслушивают все, что тот или иной мудрец имеет сообщить им относительно грядущих событий, потом терпеливо дожидаются его смерти и хоронят его по первому разряду. Затем все расходятся по домам и занимаются каждый своим делом. Вот и все. При всей своей несложности, игра эта пользуется большим успехом у народов с простыми вкусами.

Ибо люди суть дети — своенравные и упрямые, какими и полагается быть детям. С сотворения мира они ни разу не совершили ничего, что пророки и мудрецы считали неизбежным. Говорят, что в свое время они побивали ложных пророков камнями; но еще с большим правом могли бы они побить камнями пророков подлинных. Индивидуально каждый человек во всех своих действиях — сне, еде, размышлениях — руководствуется велениями разума. Но в целом человечество изменчиво, склонно к мистицизму, взбалмошно и в общем довольно симпатично. Люди суть люди, но Человек есть женщина.

В начале двадцатого столетия «натягивать нос пророку» стало значительно труд-

нее. Объясняется это тем, что пророков к тому времени расплодилось такое множество, что среднему человеку положительно некуда было деться от их прозрений. Стоило кому-нибудь совершить самый невинный, самый непредвиденный поступок, не обусловленный ничьим влиянием, как его немедленно осеяла чудовищная мысль: не предсказано ли это уже кем-нибудь? Герцог, взбирающийся на фонарный столб, декан университета, напивающийся пьяным, — и тот не мог быть по-настоящему счастлив, ибо он не был уверен в том, что не выполняет задания какого-либо пророка. В начале двадцатого столетия по нашей планете шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить на мудреца. Мудрецы были столь обычным явлением, что дураки ценились чуть ли не на вес золота — толпы народа ходили за ними по улицам, их баловали, холили, берегли как зеницу ока, назначали на высшие государственные посты...

А мудрецы тем временем наперебой занимались предсказаниями о грядущих событиях — замечательными предсказаниями, беспощадными, неопровержимыми, глубокими и абсолютно непохожими друг на друга. Старая, добрая игра в околпачиванье предков стала к тому времени почти немыслимой, ибо предки забыли о еде, сне, практической политике и дни и ночи напролет размышляли о том, как будут вести себя и чем заниматься их потомки.

Метод пророков двадцатого столетия заключался в нижеследующем. Они останавливались на каком-нибудь явлении, имевшем место в их эпоху, и говорили, что так оно будет продолжаться до тех пор, пока не случится что-либо из ряда вон выходящее. Иногда они присовокупляли, что где-то за тридевять земель это самое из ряда вон выходящее событие уже случилось и что это — знамение времени.

Так, например, некий м-р Джордж Г. Уэллс вместе со своими последователями утверждал, что о грядущем позаботится наука. Как автомобиль превосходит быстротой извозчика, говорил он, так же точно в будущем какая-нибудь милая штучка будет превосходить быстротой автомобиля и т. д. и т. д. Из пепла этой школы возник д-р Квилл, предсказывавший, что в скором времени люди изобретут чудесную машину, которая будет нестись вокруг света с такой скоростью, что сидящий в ней сумеет гово-

рить длиннейшую, скучнейшую речь к жителям какой-нибудь заброшенной деревушки, произнося по слову в один оборот. Говорят, что опыт этот был проделан с неким престарелым майором, которого закрутили вокруг земного шара с такой быстротой, что обитатели соседней планеты увидели вокруг нашей планеты непрерывную ленту из седых бакенбардов, багрового затылка и цветных брюк — нечто вроде кольца Сатурна.

Существовала также школа, диаметрально противоположная предыдущей. Один из представителей ее, м-р Эдвард Карпентер, утверждал, что в скором времени мы вернемся к матери-природе и будем вести простой, беззаботный, животный образ жизни. Вслед за Эдвардом Карпентером доктор богословия Джеймс Пикки заявил, что человечеству, на предмет улучшения породы, надлежит пастись на лугах и жевать пищу медленно и непрерывно, на манер коров. Он утверждал, что ему удалось добиться блестящих результатов с целым рядом горожан, которых он заставил ползать на четвереньках по полю, засеянному телячьими котлетами.

Потом выступил Толстой, указывавший на то, что мир становится все гуманней и что тем самым недалеко время, когда люди будут чувствовать отвращение к какому бы то ни было убийству. А м-р Мик был не только вегетарианцем, но даже утверждал, что вегетарианство (или «пролитие крови немых тварей», как он называл его) есть занятие крайне предосудительное; тот же м-р Мик указывал, что в более светлые времена человечество будет питаться исключительно солью. А засим появился памфлет, озаглавленный «За что страдает соль?», и вызвал большой переполох.

Другие пророки предсказывали, что с течением времени узы родства, связующие отдельные нации, будут становиться все теснее и теснее. Один из них — м-р Сесил Родс — полагал, что в центре грядущих веков будет стоять Британская империя и что между подданным ее и прочими людьми, между китайцем из Гонконга¹ и китайцем из Пекина, между испанцем из Гибралтара² и испанцем из Мадрида будет существовать бездонная пропасть — такая же, как между человеком и низшим животным. Пользу-

¹ Британское владение в Китае в конце XIX — начале XX века. (Здесь и далее прим. переводчика.)

² Британское владение в Испании в конце XIX — начале XX века.

ясь методом м-ра Родса, его необузданный друг д-р Цоппи (англосаксонский апостол Павел) дошел до логического конца и заявил, что в будущем под людоедством будет пониматься исключительно съедение британского подданного, но отнюдь не съедение представителя какой-либо вассальной нации. Ужас, испытываемый им при мысли о съедении гражданина Британской Гвианы, доказывал, как глубоко не правы были те, кто обвинял его в жестокосердии. Тем не менее занятая им позиция оказалась чревата тяжкими последствиями; говорят, что он решил произвести опыт над самим собой и, живя в Лондоне, употреблять в пищу исключительно итальянских шарманщиков. Конец его был ужасен, ибо как раз в то время, когда он приступил к своему опыту, сэр Поль Свиллер прочел в Королевском обществе длиннейший доклад, в котором доказывал, что дикари, поедающие своих врагов, правы не только по-человечески, но и с точки зрения морали и гигиены, так как, по его изысканиям, все качества съеденного врага передаются съевшему его. Сознание того, что задатки итальянского шарманщика непреодолимо развиваются и дают ростки внутри него, сломило бедного, доброго старика профессора, и он умер.

М-р Бенджамен Кид, со своей стороны, полагал, что отличительным качеством человечества будет обостренный интерес к будущему и глубочайшее проникновение в него. Эта его идея была блестяще развита Вильямом Боркером, написавшим известный каждому школьнику трактат о том, что в грядущие времена люди будут рыдать над могилами своих потомков, а туристов будут водить по полям сражений, имеющих состояться через несколько столетий.

Много толков вызвал м-р Стид, полагавший, что в двадцатом столетии Англия объединится с Америкой, а также и его юный ассистент Грэхэм Подж, включивший в Северо-Американские Соединенные Штаты Германию, Францию и Россию, причем по его схеме штат Россия сокращенно назывался Ра.

Подвизался на пророческом поприще также и некий Сидней Уэбб, предсказывавший чрезвычайное упорядочение и крайнюю аккуратность внешних форм жизни. Несчастный его друг Фиппс сошел на этой почве с ума и бегал по полям и лесам с топором, срубая ветви деревьев, казавшихся ему несимметричными.

Все эти мудрецы с бóльшим или меньшим успехом предсказывали будущее, причем метод у всех их был совершенно одинаков: они просто выбирали какое-нибудь «интенсивное» (так они выражались) явление и утверждали, что оно будет развиваться до последних пределов человеческого воображения. «Когда мы входим в хлев, — писал знаменитый д-р Пеллкинс, — когда мы входим в хлев и видим, что один из населяющих его поросят превосходит размерами прочих, мы знаем, что по непреклонному закону всевышнего он когда-нибудь превзойдет размерами слона. Когда мы гуляем по саду и видим, что цветущие в нем одуванчики с каждым днем становятся все пышней и выше, мы знаем, что когда-нибудь они, несмотря на все наши усилия, перерастут трубы наших домов и скроют их от человеческого взгляда. И точно так же мы знаем, что каждый фактор человеческой политики, в течение того или иного времени проявляющий повышенную деятельность, будет проявлять ее до тех пор, пока не заслонит собою небо».

И в конце концов оказалось, что пророки поставили средних людей (играющих в «Нятяни нос пророку») в чрезвычайно затруднительное и не имевшее прецедентов положение. Повторяем — почти немисливо было совершить какой-нибудь поступок, чтобы не выполнить при этом чьего-либо предсказания.

И тем не менее в глазах рабочих на заводах, крестьян на полях, моряков, детей и в особенности женщин мерцал какой-то странный огонек, который не давал мудрецам покоя. Они никак не могли понять, что значит этот огонек. А между тем рабочие, крестьяне, моряки, дети и женщины смеялись в кулак: они играли в «Нятяни нос пророку».

А мудрецы неистовствовали, мудрецы метались по городу и кричали: «Что же будет? Что же будет? Как будет выглядеть Лондон через сто лет? Неужели мы что-нибудь упустили из виду?.. Дома вниз головой — может быть, это более гигиенично? Люди, ходящие на руках, — может быть, это способствует гибкости ног? Луна... автомобили... безголовые люди...»

И так они металась и томились, пока не умирали; играющие хоронили их по первому разряду, а засим расходились по домам и принимались каждый за свое дело. Пора открыть вам жуткую истину: люди двадцатого века

натянули пророкам нос. К тому моменту, когда над моей повестью взвигается занавес — то есть ровно через восемьдесят лет — Лондон будет выглядеть почти так же, как он выглядит сегодня.

Глава II. *Человек в зеленом*

Немного слов понадобится для того, чтобы объяснить, почему Лондон через восемьдесят лет будет выглядеть почти так же, как он выглядит сегодня, или же — поскольку мне, как истому летописцу, придется прибегать к прошедшему времени — почему Лондон через восемьдесят лет выглядел почти так же, как в те счастливые дни, когда я еще был жив.

Ответ укладывается в одну фразу.

Народ окончательно разуверился в революции. Всякая революция проникнута доктринерством — будь то революция французская или та, что предшествовала водворению христианства. Всякому здравомыслящему человеку ясно, что отказаться от старых истин, понятий и привычек можно только, уверовав в истины новые — истины положительные и божественные. И вот Англия за текущее столетие перестала верить в возможность такой переоценки. Она уверовала в понятие, именуемое эволюцией, и сказала себе:

«Все теоретические перевороты захлебнулись в крови и скуке. Если уж меняться, то меняться медленно, наверняка, как меняются животные. Единственные успешные революции — это революции естественные. В свое время ни один голос не поднялся в защиту хвостов, когда человечество отказывалось от этого пережитка седой древности».

И кое-что изменилось. Изменились те вещи, эволюция которых не бросалась в глаза. То, что случалось не часто, перестало случаться вовсе. Так, например, физическая сила, диктовавшая стране свои законы, — армия и полиция — постепенно таяла, пока не исчезла почти совсем. При желании народ мог бы в десять минут стереть с лица земли уцелевших полицейских; если он не делал этого, то только потому, что он не верил в целесообразность подобной меры. Он разуверился в революции.

Демократия вымерла; ибо никто не считал правящий класс правящим. Англия фактически превратилась в дес-

потию — но деспотия эта не была наследственной. Королем назначался какой-либо представитель чиновничества. Никто не интересовался — как; никто не интересовался — кто. Король был всеобщим секретарем и ничем больше.

Благодаря всему этому в Лондоне раз навсегда воцарились мир и тишина. Та бессознательная, несколько рабская приверженность к безбурности и рутине, которой лондонцы отличались всегда, теперь стала коренным их свойством. И действительно, с какой стати было им делать сегодня не то же самое, что они делали вчера?

И если в одно зимнее облачное утро три молодых человека, служивших в одном и том же государственном учреждении, вместе шли на службу, то вы можете быть уверены, что точно так же шли они туда вчера, и позавчера, и третьего дня.

В ту эпоху весь строй жизни подвергся механизации. В особенности же механизировались правительственные чиновники, ставшие необыкновенно аккуратными. Наши три молодых человека как раз были чиновниками и постоянно ходили на службу вместе. Их знал весь околоток: двое из них были высокого роста, а третий — низкого. Сегодня низенький чиновник вышел из дому несколько позднее обыкновенного. Его приятели ушли вперед, но ему ничего не стоило догнать их. Он мог бы окликнуть их. Но он этого не сделал.

По какой-то причине, которая, по-видимому, останется невыясненной до Судного дня (если день этот вообще когда-нибудь настанет), он не догнал своих приятелей, а предпочел идти за ними следом. Стоял мрачный день; мрачно было их платье; мрачно было все кругом. И все же, влекомый странным каким-то импульсом, он неотступно следовал за двумя коллегами, не окликая их и пристально всматриваясь в их спины.

Есть в Книге жизни таинственный закон. Девятьсот девяносто девять раз, гласит он, можешь ты совершенно безбоязненно смотреть на какую-нибудь вещь; но взгляни на нее в тысячный раз — и пред тобой встанет грозная опасность увидеть ее впервые.

Низкий чиновник не отрываясь смотрел на фалды сюртуков высоких чиновников и — из улицы в улицу, из квартала в квартал — видел перед собою одни фалды,

фалды, фалды. И вдруг — он понятия не имел, как и почему, — случилось нечто неожиданное.

Два черных дракона шли перед ним по улице. Два черных дракона смотрели на него недобрыми очами. Они шли задом наперед и смотрели на него в упор, не отрываясь. Глаза их на самом деле были не чем иным, как двумя парами сюртучных пуговиц; но какая-то смутная догадка о ненужности пуговиц на талии сюртука придавала их взгляду сумасшедшую выпуклость. Разрез между полами был носом чудовища; а когда полы колыхались по ветру, драконы облизывали пасти. То был мгновенный каприз воображения, но низенький чиновник навеки запечатлел его в своей душе. С тех пор все люди в сюртуках казались ему драконами, идущими задом наперед. Впоследствии он в весьма изысканных и тактичных выражениях сообщил двум своим коллегам, что он с некоторого времени не может представить себе их лица иначе, как в виде двух хвостов — хвостов, что и говорить, необыкновенно красивых и взнесенных высоко в воздух. Но если, говорил он, кто-либо из друзей пожелал бы увидеть подлинное лицо их души, ему следовало бы со всяческим почтением зайти им в тыл и посмотреть на них сзади. Два черных дракона со слепыми глазами представились бы ему тогда.

Два черных дракона, вынырнувших из тумана и ринувшихся на низенького чиновника, в первый момент произвели на него впечатление чуда — они перевернули его мир. Он установил факт, известный всем романтикам, — он узнал, что все необычайное случается исключительно в пасмурные дни, а никак не в солнечные. Натягиваясь до последнего предела, струна монотонности лопается со звуком, подобным песне. До того дня он никогда не обращал внимания на погоду; теперь же под пристальным взглядом двух пар мертвых глаз он осмотрелся и воспринял странный, мертвый день.

Было мертвенное, пасмурное утро; тумана не было, но зато над городом висела какая-то снеговая (а может быть, облачная) пелена, создававшая впечатление зеленоватомедных сумерек. Свет в такие дни кажется не столько сиянием ясных небес, сколько фосфорическим мерцанием проплывающих силуэтов. Свинцовые облака на свинцовом небе кажутся свинцовой поверхностью воды, и люди движутся в колодцах улиц, словно странные рыбы по дну океана. В такие дни весь Лондон кажется подводным

царством. Автомобили и люди напоминают морских чудовищ с пламенными глазами. В первый момент наш чиновник был потрясен видом двух драконов. Теперь же он понял, что находится на дне подводного царства, в котором этих драконов было великое множество.

Два молодых человека, шедших впереди него, были, как и он сам, прекрасно одеты. Линии их сюртуков и цилиндров отличались той изысканной строгостью, которая, несмотря на всю пошлость современного костюма, делает его излюбленной темой художников. В них было то, что Макс Бирбом блестяще определяет как «созвучность темного костюма с жесткой непогрешимостью крахмального белья».

Их движения напоминали движение двух покорных улиток; они изредка обменивались замечаниями — по шутке на каждые шесть фонарей.

Они проходили мимо фонарей. Но было в их походке и во всех их жестах нечто до такой степени застывшее, что человек с воображением сказал бы: фонари проходили мимо них, как во сне.

И вдруг низенький чиновник догнал их и сказал:

— Я хочу остричь волосы. Есть тут поблизости приличная парикмахерская? Я все стригу и стригу волосы, а они все растут и растут.

Один из высоких молодых людей посмотрел на него с видом уязвленного естествоиспытателя, но ничего не сказал.

— Ах, вот как раз то, что мне нужно! — с какой-то идиотской резвостью воскликнул низенький чиновник. И действительно, из молочной пелены внезапно вынырнула крикливая витрина фешенебельной парикмахерской. — Представьте себе, гуляя по Лондону, я сплошь и рядом натываюсь на парикмахерские! Сегодня я позавтракаю с вами у Чикконани. Знаете, я положительно влюблен в парикмахерские. Они в тысячу раз приличнее этих противных мясных.

И он вошел в парикмахерскую.

Один из собеседников — стройный господин по имени Джеймс Баркер — вскинул монокль и посмотрел ему вслед.

— Какая муха укусила его? — спросил он своего спутника, бледного юношу с большим носом.

После нескольких минут сосредоточенного молчания бледный юноша ответил:

— Должно быть, нянька в детстве уронила...

— Не думаю, — ответил м-р Джеймс Баркер. — Знаете, Лэмберт, иногда мне кажется, что он нечто вроде артиста.

— Вздор! — отрезал м-р Лэмберт.

— Должен признаться, я по сей день не раскусил его, — рассеянно молвил м-р Баркер. — Стоит ему раскрыть рот, как он начинает нести такую неопишемую чепуху, что прямо-таки уши вянут. И еще одна есть в нем смешная черта. Известно ли вам, что он обладатель лучшей во всей Европе коллекции японских безделушек? Видели вы когда-нибудь его книги? Сплошь греческие поэты, средневековые французы и прочее подобное. А на дому вы у него бывали? Такое чувство, словно вы находитесь внутри аметиста. А сам он расхаживает посреди всего этого сумбура и болтает без конца, точно... точно морковка!

— Будь прокляты все книги! И ваши синие книги тоже! — с дружеской непосредственностью сказал м-р Лэмберт. — А впрочем, вам-то как раз следовало бы понимать его. Что он такое, по-вашему?

— Он вне моего понимания, — ответил Баркер. — Если бы вы спросили меня, какого я о нем мнения, я сказал бы, что он равнодушен ко всему нелепому, — что он, как говорится, «художественная натура» и всякая такая вещь. В одном я твердо уверен: он за свою жизнь наболтал столько вздору, что сам сбился с толку и перестал ощущать разницу между здравым смыслом и сумасшествием. Его дух как бы совершил кругосветное путешествие и остановился на той точке, где запад совпадает с востоком, а максимальная глупость — с глубочайшей мудростью. Впрочем, мне очень трудно объяснить вам эту психологическую игру.

— И не старайтесь, я все равно не пойму ее, — откровенно ответил м-р Лэмберт.

По мере того как они шли по бесконечным улицам, медный сумрак постепенно светлел, переходя в бледно-пальмовое сияние. Когда же они добрались до ресторана, он окончательно уступил место обыкновенному зимнему деньку. Достопочтенный Джеймс Баркер, один из наиболее влиятельных чиновников Англии, был стройный, эле-

гантный мужчина с красивым открытым лицом и холодными голубыми глазами. Он был весьма способным человеком, одним из тех одаренных людей, которые всю свою жизнь поднимаются по служебной лестнице и умирают, достигши высших чинов и знаков отличия, но за всю свою жизнь не согрел и не порадовав ни одной человеческой души. Вилфрид Лэмберт, юноша с большим носом, который, казалось, существовал за счет всего остального его лица, также сделал весьма немного для просвещения человечества; но ему это было простительно, потому что он был дурак.

Лэмберт был, что называется, глуп; Баркер, при всем его уме, — туп. Но глупость первого и тупость второго были детской шуткой рядом с чудовищными, мифическими сокровищами безумия, сосредоточенного в щуплой фигурке, поджидавшей их у ресторана Чикконани. Маленький человек, которого звали Оберон Квин, выглядел чем-то средним между младенцем и совой. Его круглая голова и круглые глаза, казалось, были созданы насмешницей-природой при помощи циркуля. Гладкие темные волосы и непомерно длинный сюртук придавали ему сходство с детской куклой. Люди, не знавшие его лично, при встрече с ним нередко изъявляли желание усадить его к себе на колени и замечали свою ошибку только, когда он начинал говорить, ибо для ребенка он был недостаточно интеллигентен.

— А я жду вас уже очень давно, — мягко сказал он. — Ужасно смешно было увидеть вас в конце концов.

— Что тут смешного? — удивился Лэмберт. — Мы ведь условились встретиться.

— Моя мама очень часто назначала свидания разным людям, — сказал Квин.

Трое приятелей уже собирались было войти в ресторан, как вдруг их внимание привлек какой-то странный шум в конце улицы. Еще дул холодный ветер, но погода уже прояснилась окончательно; по темно-бурым торцам мостовой, между темно-серыми уступами домов, двигалось существо, какого в те годы нельзя было найти во всей Англии, — человек в ярком платье. Небольшая толпа зевак шла за ним по пятам.

Это был высокий, статный мужчина в ярко-зеленом военном мундире с множеством серебряных жгутов и вышук. С плеч его свисала короткая зеленая же накидка,

опушенная мехом и подбитая пурпурным шелком — нечто вроде гусарского ментика. Множество медалей сверкало на груди незнакомца; вокруг шеи его вилась красная лента какого-то иностранного ордена; длинная, прямая сабля в сверкающих ножнах волочилась за ним, громыхая по мостовой. В те годы Европа шагнула в смысле мирного развития так далеко, что все подобного рода пережитки варварских времен были сданы в музей. Единственная уцелевшая военная сила — немногочисленная, но великолепно вымуштрованная полиция — была одета в темные гигиенические куртки. Тем не менее старожилы, помнившие последних лейб-гвардейцев и улан, которые исчезли в 1912 году, с первого взгляда сказали бы, что наряд незнакомца не имел ничего общего с обмундированием английской армии. Что он был представителем какого-то иностранного государства, подтверждалось также и его смуглым орлиным лицом. Голова его, напоминавшая бронзовую голову Данте, гордо вздымалась над зеленым воротником мундира; седые кудри венчали ее. Она дышала мужеством и благородством; в ней не было ничего английского.

Трудно выразить человеческим языком то изумительное достоинство, с которым зеленый человек шествовал по улице. Какое-то врожденное величие, сочетавшееся с простотой, что-то неуловимое в посадке головы и в поступи заставляли будничных прохожих оборачиваться и провожать его взглядом; и в то же время во всем, что он делал, не было ничего сознательно подчеркнутого. В его движениях сквозило какое-то беспокойство, какая-то напряженность; но то была напряженность деспота, беспокойство божества, обремененного тягчайшей ответственностью. Преследовавшие его зеваки шли за ним из-за его ослепительного мундира — иными словами, они руководствовались тем инстинктом, который всех нас заставляет следовать за любым человеком, похожим на сумасшедшего, но еще в большей степени — за любым человеком, похожим на царя.

Внезапно напряженная гримаса почему-то сбежала с его лица и уступила место выражению полного довольства. Сопровождаемый жадными взглядами уличных зевак, великолепный зеленый джентльмен свернул с мостовой на тротуар и остановился перед огромным плакатом

«Горчицы Колмэна», прибитым к деревянному забору. Зрители затаили дыхание.

Он сунул руку в карман мундира, извлек оттуда маленький перочинный ножик, раскрыл его и сделал надрез на прибитой к забору бумаге: потом с помощью пальцев оторвал от рекламы неровную полосу желтой бумаги, а засим в первый раз за все время повернулся к восхищенным зрителям.

— Не найдется ли у кого-нибудь булавки? — сказал он с приятным иностранным акцентом.

М-р Лэмберт, стоявший поблизости, немедленно протянул ему одну из бесчисленных своих булавок, которыми он заменял оторванные пуговицы сюртука. Незнакомец отвесил экстравагантный, но полный достоинства поклон и рассыпался в преувеличенных благодарностях.

Затем он с чрезвычайно довольным и даже гордым видом приколот кусок желтой бумаги к серебряным жгутам, украшавшим его грудь, но через секунду на лице его вновь появилось беспокойное, напряженное выражение.

— Чем еще могу служить вам, сэр? — спросил Лэмберт с нелепой вежливостью, всегда проявляемой англичанами в минуту смущения.

— Красного... — нерешительно сказал незнакомец, — красного...

— Простите?

— Простите и вы меня, сеньор, — кланяясь, ответил незнакомец. — Нет ли у вас чего-нибудь красного?

— Красного?.. Право же... кажется, нет... когда-то я носил красный шарф, но...

— Баркер, — внезапно сказал Оберон Квин, — где ваш красный какаду? Где ваш какаду?

— Чго вы хотите сказать? — в ужасе воскликнул Баркер. — Какой какаду? Когда вы видели у меня какаду?

— Я знаю, что у вас его не было, — смягчившись, ответил Оберон. — Где же он был все время?

Баркер не без раздражения повернулся к незнакомцу.

— Мне очень жаль, сэр, — сказал он кратко, но вежливо. — Я боюсь, что никто из нас не сумеет удовлетворить вашу просьбу. Но к чему вам, смею спросить...

— Благодарю вас, сеньор, это ничего не значит. Я сумею обойтись и собственными средствами.

С этими словами он вонзил лезвие перочинного ножа в ладонь левой руки. Кровь брызнула фонтаном и обогри-

ла мостовую. Незнакомец извлек носовой платок, зубами оторвал от него полосу и омочил последнюю в крови.

— Если уж вы так великодушны, сеньор,— сказал он,— не откажите одолжить мне еще одну булавку.

Лэмберт протянул ему булавку, выпучив глаза, словно лягушка.

Укрепив красную тряпку рядом с желтой, незнакомец снял шляпу.

— Покорнейше благодарю вас, джентльмены,— сказал он и, обмотав окровавленную руку остатками платка, с ошеломляющим величием двинулся дальше.

Смущенная всем виденным толпа не двигалась. Но маленький м-р Квин сорвался с места, помчался за незнакомцем и, сняв шляпу, остановил его. Ко всеобщему изумлению он заговорил с незнакомцем на чистейшем испанском языке.

— Сеньор,— сказал он,— простите мне, что я навязываю свое гостеприимство человеку, который кажется мне высокопоставленным, но — увы! — одиноким гостем в Лондоне. Окажите мне и моим друзьям, с которыми вы только что изволили беседовать, честь позавтракать с нами в ресторане.

Человек в зеленом мундире вспыхнул от удовольствия при звуках родного языка и принял приглашение с великим множеством поклонов, свойственных южным расам и опровергающих утверждение, будто церемонность не имеет ничего общего с подлинными чувствами человека.

— Сеньор,— сказал он,— вы говорите на моем родном языке. Но при всей любви к родине я не могу не позавидовать стране, называющей своим сыном столь безукоризненного рыцаря. Да позволено мне будет сказать: язык испанский, но сердце английское.

И он вместе со всеми вошел в ресторан.

— Я надеюсь,— внешне сдержанно, но внутренне сгорающая от любопытства, сказал Баркер, когда им подали рыбу,— я надеюсь, вы не сочтете невежливым с моей стороны, если я спрошу вас, зачем вы это делаете.

— Что именно, сеньор? — спросил незнакомец. Он говорил по-английски вполне свободно, но с каким-то неуловимым американским акцентом.

— Гм,— несколько смутившись, молвил Баркер,— ну, да этот самый клочок желтой бумаги... и... э... перочинный ножик... и...

Сказать вам это — значит назвать мое имя, — с какой-то грустной гордостью отвечивал незнакомец. — Я Хуан дель Фуего, президент Никарагуа.

С этими словами незнакомец откинулся на спинку кресла и осушил свою рюмку шерри с таким видом, словно для него лично подобное объяснение было вполне исчерпывающе. Лицо Баркера, однако, несколько не проявилось.

— А желтая бумажка, — робко и вкрадчиво начал он, — и красная тряпка...

— Желтая бумажка и красная тряпка, — с неожиданным величием ответил Фуего, — суть национальные цвета Никарагуа.

— Но Никарагуа... — неуверенно сказал Баркер, — Никарагуа больше не...

— Никарагуа завоеван, подобно Афинам! Никарагуа пал, подобно Иерусалиму! — страстно воскликнул старик. — Янки и немцы — жестокие диктаторы современности — растоптали Никарагуа своими бычьими копытами. Но Никарагуа не умер! Никарагуа — идея!

— Блестящая идея, — робко подтвердил Оберон Квин.

— Да, — подхватил чужеземец. — Вы правы, великодушный англичанин. Блестящая идея, пламенная мысль! Сеньор, вы спросили меня, почему я, горя желанием увидеть цвета моей родины, оторвал кусок желтой бумаги и пролил свою кровь. Неужели вы не понимаете древней святости цветов? Символические цвета есть и у церкви. Подумайте о том, что значат для нас цвета, подумайте о человеке в моем положении, во всем мире не знающем и не видящем ничего, кроме этих двух цветов — красного и желтого! Я не интересуюсь формой, я не разбираю, что плохо и что хорошо, для меня все — все равно! Но там, где поле, поросшее куриной слепотой, и красная накидка какой-нибудь старухи, — там Никарагуа. Там, где красные маки и желтая куча песка, — там Никарагуа. Там, где лимон и пурпурный закат, там — Никарагуа. Там, где я вижу красный почтовый ящик и желтый закат, там бьется мое сердце. Кровь и пятно горчицы — моя геральдика. Желтый навоз и красный навоз в выгребной яме мне милее, чем все звезды вселенной.

— И если к завтраку может быть подано желтое вино и красное вино, вы не должны удовлетворяться одной вишневой наливкой! — восторженно воскликнул Квин. —

Позвольте мне заказать бургундское и воссоздать в вашем чреве герб Никарагуа.

Баркер нервно играл ножом и, по-видимому, намеревался принять участие в разговоре. В нем трепетала напряженная нервность общительного англичанина.

— Насколько я понимаю,— промолвил он покашливая,— вы... кх... были президентом Никарагуа в те дни, когда республика... э... хм... отдадим ей должное... героически отражала... э...

Экс-президент Никарагуа махнул рукой.

— Вы можете говорить со мной откровенно,— сказал он.— Я, к сожалению, очень хорошо знаю, что в наши дни весь мир настроен против Никарагуа и против меня. Я отнюдь не найду невежливым с вашей стороны, если вы откровенно выскажете мне все, что вы думаете о тех горестных событиях, которые повергли во прах мою республику.

Баркер посмотрел на него с выражением благодарности и безмерного облегчения.

— Вы чрезвычайно великодушны, г-н президент,— сказал он, слегка поколебавшись относительно титула,— и я воспользуюсь вашим великодушием, чтобы выразить сомнения, гнетущие не только меня, но — не стану скрывать — и всех моих современников. Я, видите ли, сомневаюсь в целесообразности таких явлений, как независимость Никарагуа.

— Итак,— очень спокойно сказал Дель Фуего,— все ваши симпатии на стороне великих держав...

— Прошу прощения, президент,— сердечно промолвил Баркер,— я не симпатизирую ни одному государству в отдельности. Мне кажется, вы недооцениваете интеллекта современного человека. Мы не порицаем пылкий темперамент и экстравагантность вашей республики только для того, чтобы казаться еще более экстравагантными, чем вы. Мы не осуждаем Никарагуа на том только основании, что приписываем Британии еще более никарагуанский дух. Мы не отказываем малым державам в праве на существование потому только, что хотим перенять от них их пламенный дух, их национальное единство, их целостность. Если я, при величайшем моем уважении к вам, не разделяю вашего энтузиазма и поклонения Никарагуа, то причина этого кроется не в том, что против вас одна или хотя бы десять наций, а в том, что против вас ц и в и л и -

з а ц и я. Мы, современные люди, верим в великую международную цивилизацию, создаваемую общими усилиями всех наций, сливших воедино свои таланты...

— Да простит мне сеньор, — молвил президент. — Могу я спросить сеньора, каким способом ловит он диких лошадей.

— Я никогда не ловил диких лошадей, — с достоинством ответил Баркер.

— Вот именно! — подхватил Дель Фуего. — И тут-то кончается ваше слитие воедино. Это-то обстоятельство и смущает меня, когда я думаю о вашем космополитизме. Когда вы говорите о своем желании слить все народы в одну семью, это значит, что вы хотите навязать всем прочим народам нравы и обычаи вашей родины. Если какой-нибудь араб бедуин, что ли, не умеет читать, к нему немедленно отправляют английского миссионера или школьного учителя. Но никому не приходит в голову сказать: «Этот самый учитель не умеет ездить верхом на верблюде. Давайте-ка будем платить бедуину жалованье, чтобы он научил его ездить верхом на верблюде». Вы говорите, что ваша цивилизация умеет использовать все мыслимые таланты. Так ли это? Неужели же вы хотите сказать, что к тому времени, когда эскимос научится голосовать в Областной совет, вы научитесь бить тюленей? Я возвращусь к первоначальному моему примеру. У нас в Никарагуа умеют ловить диких лошадей при помощи лассо; наш способ считается лучшим во всей Южной Америке. Если вы продолжаете утверждать, что цивилизация сливает воедино таланты всех наций, то пойдите и попробуйте поймать дикую лошадь при помощи лассо. Если же вам это не удастся, то позвольте мне повторить то, что я твержу постоянно: в тот день, когда Никарагуа был приобщен к цивилизации, мир кое-что потерял.

— Быть может, вы и правы, — ответил Баркер. — Но это «кое-что» — не более как варварская сноровка. Возможно, что я не умею обтачивать кремень с той ловкостью, с какой его обтачивал первобытный человек, не стану спорить. Одно я знаю наверняка: цивилизованный человек куда лучше первобытного выделывает ножи. Я знаю это и верю в цивилизацию.

— У вас есть веские основания верить в нее, — ответил президент. — Множество умных людей вроде вас верили в цивилизацию — множество умных вавилонян, множе-

ство умных египтян, множество умных римлян времен упадка. Скажите мне, что есть бессмертного в вас, представителей мира, перенесшего столько падений?

— Боюсь, что вы не совсем ясно разбираетесь в нашей психологии, президент, — сказал Баркер. — Вы говорите так, словно Англия все еще бедный воинственный остров. Вы очень давно не были в Европе. За это время многое переменялось.

— Попробуйте вкратце определить эту перемену, — сказал Дель Фуего.

— Перемена эта, — с большим подъемом ответил Баркер, — заключается в том, что мы избавились от каких бы то ни было суеверий, не только от самых простых, но и от наиболее сложных, наиболее распространенных и пользовавшихся наибольшим уважением. Преклонение перед великими нациями — большой грех, но еще больший грех — преклонение перед нациями малыми. Преклонение перед собственной страной — большой грех, но еще больший грех — преклонение перед чужой страной. И так это во всем. Отвратительна вера в монархию, отвратительна вера в аристократию, но еще отвратительней вера в демократию.

Старый испанец удивленно открыл глаза.

— Стало быть, в Англии нет больше демократии?

Баркер рассмеялся.

— Тут напрашивается парадокс, — сказал он. — В одном отношении мы чистейшие демократы. У нас деспотия. Разве вы не заметили, с какой последовательностью на всем протяжении мировой истории демократия превращается в деспотию? Это называется упадком демократии. На самом деле это не что иное, как полное ее завершение. С какой стати возиться с выборами, регистрацией и прочим, с какой стати наделять правами бесчисленных Джонов Робинзонов, когда можно взять одного-единственного Джона Робинзона с тем же самым интеллектом либо с тем же самым отсутствием интеллекта, что у прочих, и раз навсегда покончить с возней? В былые времена идеалисты-республиканцы считали краеугольным камнем демократии утверждение, будто все люди равно интеллигентны. Поверьте мне, подлинная, вечная, разумная демократия строится на ином фундаменте — на том, что все люди равно идиоты. А чем один идиот лучше другого? «Все, что требуется от главы государства, — чтобы он не

был преступником, чтобы он не был круглым дураком, чтобы он умел быстро просматривать различные прошения и подписывать манифесты. Подумать только, сколько времени было потрачено на споры о палате лордов! Тори утверждали, что это учреждение следует сохранить, потому что оно разумно, радикалы утверждали, что его следует упразднить, потому что оно тупо, и никто не подумал о том, что именно тупость и дает ему право на существование. Ибо это сборище дюжинных людей, вознесенных на недостижимую высоту игрой случая, было неким великим демократическим протестом против нижней палаты, против вечного бесстыдства аристократов духа. И вот мы даровали Англии тот строй, к которому бессознательно стремились все политики мира, — тупую деспотию без каких бы то ни было иллюзий. Мы назначаем главой государства одного человека, не потому что он талантлив или добродетелен, а потому что он один человек, а не галдящая толпа. Чтобы избежать дурной наследственности и прочих неприятностей, мы отменили наследственную монархию. Английский король назначается из чиновничьей среды — как присяжный заседатель — в порядке последовательности. В остальном наш строй абсолютно деспотичен. И до сих пор никто еще не роптал.

— Вы хотите сказать, — недоверчиво спросил президент, — что вы берете первого попавшегося человека и назначаете его неограниченным монархом, что вы доверяете свою судьбу алфавитному списку?

— А почему же нет? — воскликнул Баркер. — Разве половина всех известных истории народов не вверяла свою судьбу старшим сыновьям старших сыновей, и разве половина этих старших сыновей не справлялась со своим делом более или менее сносно? Иметь идеальный строй нелегко; иметь какой-нибудь строй необходимо. Все наследственные монархии сводились к игре случая; то же самое и с монархиями алфавитными. Попробуйте-ка философски обосновать разницу между Стюартами и Ганноверской династией. Поверьте мне, я с таким же успехом найду философское обоснование разнице между мрачной трагической буквой «а» и солидной, действенной буквой «б».

— И вы рискуете? — спросил президент. — Вы не боитесь, что ваш властелин будет тираном, циником, уголовным преступником?

— Мы не боимся,— с отменным спокойствием ответил Баркер.— Допустим, он тиран — он оградит нас от сотни тиранов. Допустим, он циник — в его интересах будет править страной как можно лучше. Допустим, он преступник — окружив его атмосферой власти и богатства, мы локализуем его преступные наклонности. Короче говоря, устанавливая деспотический строй, мы окончательно обезвреживаем одного преступника и частично обезвреживаем всех остальных.

Старый никарагуанец нагнулся к Баркеру. Какое-то странное выражение засветилось в его глазах.

— Сэр,— сказал он,— моя церковь учила меня уважать чужую веру. Я менее всего хочу отзываться неуважительно о ваших установлениях, как бы фантастичны они ни были. Но неужели же вы хотите сказать, что вы доверяете первому встречному, что вы верите в то, что каждый и всякий будет хорошим правителем?

— Верю,— просто ответил Баркер.— Он может быть плохим человеком. Но он обязательно будет хорошим королем. Ибо в тот момент, когда он ближе познакомится с деловым, рутинным аппаратом управления, он будет стараться править как можно проще и не мудрствуя лукаво. Разве мы не добились этого в нашем судопроизводстве с участием присяжных заседателей?

Старик усмехнулся.

— Не знаю,— сказал он.— Кажется, мне нечего возражать против вашей блестящей правительственной системы. Но я лично придерживаюсь несколько иных взглядов. И если бы меня спросили, хочу ли я подчиниться вашему строю, я бы прежде всего осведомился, не разрешат ли мне, в качестве альтернативы, избрать себе удел жабы в помойной яме. Вот и все. Трудно спорить с велениями души.

— Души? — повторил Баркер, хмуря брови.— Я не хочу говорить громких фраз, но с точки зрения общественных интересов...

М-р Оберон Квин внезапно вскочил на ноги.

— Прошу прощения, джентльмены,— сказал он.— Я на минуту выйду на свежий воздух.

— Что с вами, Оберон? — участливо спросил Лемберт.— Вам дурно?

— Нет, не совсем,— сказал Оберон, овладевая собой,— скорей даже хорошо. Как-то странно хорошо! Де-

ло в том, что я хочу немножко поразмыслить над изумительными словами, только что произнесенными Баркером. «С точки зрения» — да, так он, кажется, сказал, — «с точки зрения общественных интересов». Нет! Только наедине с собой можно до конца постичь всю красоту этих слов!

— Не спятил ли он с ума? Как, по-вашему? — спросил Лэмберт.

Старый президент проводил Оберона странно внимательным взглядом.

— По-моему, он из тех людей, которые ничем на свете не интересуются, кроме шуток, — сказал он. — Он опасный человек.

Лэмберт расхохотался, поднося ко рту макароны.

— Опасный! — воскликнул он. — Вы не знаете малютку Квина, сэр!

— Опасен каждый человек, который интересуется одной какой-нибудь вещью и ничем больше, — возразил старик. — Когда-то я сам был опасным человеком.

Он мягко улыбнулся, допил свой кофе, поднялся с глубоким поклоном и вышел; сгустившийся туман поглотил его. Три дня спустя они узнали, что он тихо скончался в меблированных комнатах на Сохо...

Мутное море тумана поглотило еще одного человека: где-то вдали корчилась и тряслась его невысокая щуплая фигурка. Не гнев и не ужас были причиной столь непонятного его поведения, а припадок странной, редкостной болезни — припадок одинокого смеха. Захлебываясь и утирая слезы, он снова и снова повторял про себя: «Но с точки зрения общественных интересов...»

Глава III. *Синай юмора*

В скромном саду, полном чайных роз, на берегу моря, жил-был некий священник, никогда в жизни не бывавший в Вимблдоне, — говорил Оберон Квин. — Его родные не знали причин его скорби и не понимали странного выражения его глаз. И вот однажды им пришлось раскаться в своем легкомыслии, ибо им сообщили, что морские волны выбросили на берег труп, совершенно обезображенный, но обутый в лакированные ботинки. Сперва ни-

кто не хотел верить, что это тот самый священник. Но потом труп был обыскан, и в кармане его скюртука был обнаружен обратный билет из Вимблдона.

Наступила краткая пауза. Квин, Баркер и Лэмберт молча шагали по влажной траве Кенсингтонского сада. Наконец Оберон нарушил безмолвие.

— Эта история,— сказал он благоговейно,— пробный камень юмора.

Ускорив шаг, они достигли центрального откоса и начали взбираться на него.

— Я замечаю,— продолжал Оберон,— что вы выдержали испытание. Вы не проронили ни звука — стало быть, мой анекдот показался вам чудовищно смешным. Только самые грубые остроты встречаются аплодисментами и трактирным ржанием. Тончайшее остроумие принимается молча, как некое благословение. Вы чувствуете себя благословенным, Баркер, не так ли?

— Я уловил соль,— несколько высокомерно ответил Баркер.

— А знаете,— подхватил Квин с какой-то идиотской резвостью,— я знаю еще пропасть историй, ничуть не хуже этой! Вот послушайте-ка!

Он слегка откашлялся.

— Как вы все знаете, д-р Поликарп был отъявленным биметаллистом. «Вон идет самый нудный биметаллист Чешира», — говорили про него старожилы. И вот однажды он услышал эту фразу, произнесенную неким архивариусом. Был багряно-серебристый закат. Поликарп обернулся к нему. «Нудный?» — воскликнул он гневно. «Нудный? Quis tulerit Gracchos, de seditione querentes?» Говорят, что с тех пор ни один архивариус не осмеливался задеть д-ра Поликарпа.

Баркер сдержанно кивнул головой. Лэмберт только хрюкнул.

— А вот еще одна,— продолжал ненасытный Квин.— В ложбине среди серо-зеленых холмов дождливой Ирландии жила-была старая-престарая женщина. Был у нее дядя, который на всех гребных гонках неизменно ставил на Кембридж. Затерянная в своей серо-зеленой долине, она не знала об этом: она понятия не имела о гребных гонках. Она даже не знала, что у нее есть дядя, как не знала она и о том, что на свете вообще живут какие-нибудь люди, кроме Георга Первого, слухи о котором до-

шли до нее бог весть каким путем и которому она поклонялась от всей своей простой религиозной души. Так текли годы, и в один прекрасный день выяснилось, что дядя этот вовсе ей и не дядя. И когда к ней пришли и рассказали ей об этом, она улыбнулась сквозь слезы и молвила: «Добродетель сама себе награда».

Вновь воцарилось молчание, прерванное Лэмбертом.

— Довольно таинственная история, — сказал он.

— Таинственная! — воскликнул Квин. — В подлинном юморе всегда есть что-то таинственное. Разве вам неизвестно крупнейшее событие девятнадцатого и двадцатого столетий?

— В чем же оно заключается? — коротко спросил Лэмберт.

— Это же так просто! — воскликнул Оберон. — Когда раньше не понимали шутки, это означало полнейший ее провал. А теперь это величайшая ее победа. Юмор, друзья мои, единственная оставшаяся у человека святыня. Юмор — это единственное, что еще может внушить вам трепет. Взгляните-ка на это дерево!

Собеседники Квина невольно подняли глаза и посмотрели на буквое дерево, венчавшее холм.

— Если бы я сказал, что вы не уясните себе великих научных истин, заключающихся в этом дереве и очевидных всякому интеллигентному человеку, что бы вы тогда подумали, что бы вы ответили мне? Вы сочли бы меня педантом, одержимым какой-нибудь нелепой теорией относительно растительных клеток. Если бы я сказал, что это дерево свидетельствует о вопиющей бесхозяйственности местных политиков, вы сочли бы меня юродивым социалистом, помешавшимся на городском благоустройстве. Если бы я обвинил вас в величайшем богохульстве — в том, что вы смотрите на это дерево и не видите в нем новой религии, нового лучезарного откровения господня, вы просто назвали бы меня мистиком и забыли бы обо мне. Но если бы, — тут Оберон жреческим жестом воздел руку, — если бы я сказал, что вы не видите юмора в этом дереве, а я-де вижу его, клянусь богом, вы бы повалились мне в ноги!

Он на мгновение замолчал, потом заговорил снова:

— Да. Чувство юмора, неземное, тончайшее чувство юмора — вот новая религия человечества. С аскетизмом подвижников будут стремиться к ней люди, долгим иску-

сом подготавливать себя к познанию ее. Недалеко то время, когда вас будут спрашивать: «Вы чувствуете юмор этой железной решетки?» или: «Вы чувствуете юмор этого засеянного поля? Вы чувствуете юмор звезд? Вы чувствуете юмор заката?» О, как часто хохотал я над лиловым закатом!

— Вы правы, — сдержанно ответил Баркер.

— Позвольте, я расскажу вам еще одну историю. Как вам известно, член палаты депутатов от Эссекса нередко опаздывает на заседания. Последним аккуратным представителем Эссекса был Джеймс Вилсон, большой любитель цветов...

Лэмберт внезапно повернулся и с решительным видом воткнул свою трость в землю.

— Бросьте, Оберон, — сказал он. — С меня хватит. Все это вздор!

Двое других недоуменно воззрились на него, ибо слова его прозвучали так, словно они долгое время были закупорены в недрах его души и наконец вырвались на волю.

— Послушайте, — начал Оберон, — у вас нет...

— Мне наплевать, — резко перебил его Лэмберт, — есть ли у меня «тончайшее чувство юмора», или нет! Я больше не желаю слушать вашу гнусную, лживую болтовню! Во всех этих проклятых баснях нет ничего смешного. И вы это знаете не хуже меня!

— Хорошо, — медленно ответил Квин, — совершенно верно, что я с моим посредственным мыслительным аппаратом не вижу в этих рассказах ничего смешного. Но вот вам более тонкий ум Баркера — вы видите, как он воспринимает их?

Баркер побагровел, но продолжал молча смотреть вдаль.

— Осел вы, — сказал Лэмберт. — Отчего вы не можете быть, как все люди? Отчего вы не можете сказать что-нибудь действительно смешное или уж лучше держать язык за зубами? Актер из балагана, садящийся на свою шляпу, и тот в сотню раз смешнее вас.

Квин пристально посмотрел на него. Они достигли вершины холма, и ветер обвевал их лица.

— Лэмберт, — сказал он, — вы великий человек, вы хороший человек, хотя пусть меня повесят, если вы выглядите им. Более того, вы великий революционер, вы осво-

бодитель мира, и, заглядывая в грядущие века, я вижу ваше мраморное изваяние между Лютером и Дантоном — в той самой позе, в какой вы стоите сейчас, — шляпу слегка набекрень. По дороге сюда я говорил о том, что юмор был последней верой человечества. Вы превратили юмор в последнее его суеверие. Пусть так, но я считаю своим долгом предостеречь вас. Хорошенько поразмыслите, прежде чем просить меня, чтобы я изобразил балаганного шута и сел на свою шляпу. Ибо в душе моей из всех земных наслаждений осталось одно безумие. За два пенни я исполню вашу просьбу.

— Ну и пожалуйста, — сказал Лэмберт, нетерпеливо помахивая тростью. — Это будет куда смешнее, чем ваша с Баркером болтовня.

Стоя на вершине холма, Квин простер руку по направлению к главной аллее Кенсингтонского сада.

— В двухстах ярдах отсюда, — сказал он, — разгуливают все ваши фешенебельные знакомые, у которых нет в жизни иного занятия, как глазеть друг на друга и на нас. Мы стоим на возвышении, под открытым небом, мы стоим на некоем фантастическом утесе, на Синае юмора. Мы стоим как бы на огромной эстраде или кафедре; мы залиты солнцем, мы видны доброй половине Лондона. Будьте осторожней, Лэмберт, ибо во мне живет безумие, граничащее с мученичеством, безумие абсолютно праздного человека.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — презрительно бросил Лэмберт... — Одно могу я вам сказать: я предпочел бы, чтобы вы стали на вашу глупую голову, чем болтали бы такой вздор.

— Оберон! Ради бога... — крикнул Баркер, бросаясь к Квину. Но было уже поздно. Со всех скамеек сада, со всех сторон обратились к ним лица любопытных. Гуляющие останавливались и собирались в кучки. А яркое солнце обливало беспощадными своими лучами нелепую сцену в голубых, зеленых и черных тонах, казавшуюся картинкой из детской книжки. На вершине холма м-р Оберон Квин, проявляя незаурядную гимнастическую сноровку, стоял на голове и размахивал в воздухе лакированными ботинками.

— Ради бога, Оберон, встаньте! Не будьте идиотом! — молвил Баркер, ломая руки. — Весь город сбежится смотреть на вас.

— Конечно, встаньте. Да ну же, вставайте! — со смешанным чувством досады и удовольствия сказал Лэмберт. — Я ведь пошутил. Встаньте!

Оберон одним махом встал на ноги, подбросил свою шляпу выше деревьев и с серьезнейшим лицом начал скакать на одной ноге. Баркер бешено топнул.

— Пойдемте домой, Баркер, ну его, — сказал Лэмберт. — О нем позаботится полиция. Да вот она, кстати, и идет.

Два важного вида человека в темных мундирах поднимались вверх по холму. Один из них держал в руке какую-то бумагу.

— Берите его, г-н офицер, — приветливо сказал Лэмберт. — Мы за него не отвечаем.

Полицейский спокойно посмотрел на скачущего м-ра Квина.

— Цель нашего прихода несколько иная, джентльмены, — сказал он. — Мы явились сюда из главного штаба, чтобы сообщить вам об избрании его величества короля. Существует закон, унаследованный от старого режима. Весть об избрании нового монарха должна быть принесена ему немедленно, где бы он ни находился, — так гласит этот закон. И мы последовали за вами в Кенсингтонский сад.

Глаза Баркера вспыхнули на бледном его лице. Всю жизнь снесло его тайное честолюбие. Руководствуясь каким-то смутным чувством, он твердо верил в возможность стать королем путем жеребьевки. Тем не менее мысль о том, что надежды его сбываются, положительно сводила его с ума.

— Который из нас... — начал он.

Полицейский почтительно перебил его:

— К величайшему сожалению, не вы, сэр. Поверьте, сэр, нам известно ваше ревностное служение государству, мы были бы чрезвычайно рады, если бы избранныком оказались именно вы. Но на этот раз жребий пал...

— Господи, спаси и помилуй! — воскликнул Лэмберт, отскакивая назад. — Только не я. Не говорите мне, что я самодержец всероссийский!

— Нет, сэр, — сказал полицейский офицер, слегка кашлянув, и искоса взглянул на Оберона, который в это время умудрился просунуть голову между ногами и издавал какой-то звук, похожий на мычание коровы. —

Джентльмен, которого мы пришли поздравить с избранием, в данный момент, кажется... э... несколько занят...

— Неужели Квин? — взвизгнул Баркер, бросаясь к нему. — Не может быть! Оберон, ради бога, возьмите себя в руки! Вы назначены королем!

Не меняя положения, м-р Квин ответил с отменной скромностью:

— Я не достоин этой чести. Разве могу я сравниться с великими мужами, которые до меня держали в своих руках скипетр Британии? Единственная особенность, на которую я смею претендовать, — это та, что я, по всей вероятности, первый из английских монархов, говорящий со своим народом, стоя на голове. Интеллект, просветленный подобной позой...

Лэмберт и Баркер ринулись на него.

— Неужели вы не понимаете? — крикнул Лэмберт. — Это не шутка. Вас на самом деле выбрали королем. Клянусь богом, у этих людей странный вкус!

— Великие епископы средневековья имели обыкновение трижды отказываться от предлагаемой им чести и потом только принимать ее, — сказал Квин, дрыгая ногами. — Я отличаюсь от этих великих мужей только в мелких деталях. Я готов трижды принять корону, а затем отказаться от нее. О, я потружусь для тебя, мой доверчивый народ! Я устрою тебе пиршество юмора!

К этому времени его окончательно удалось поставить на ноги, и оба его друга принялись втолковывать ему всю серьезность положения.

— Не вы ли сами говорили мне, Вилфрид Лэмберт, — сказал он, — что моя общественная ценность сильно повысилась бы, если бы я облек мой юмор в более доступные формы. Когда же ему и быть доступным, как не теперь, когда я оказался избранником и любимцем народным? Вы не знаете, — обратился он вдруг к ошарашенному полицейскому, — будет ли мое вступление в город обставлено соответствующими церемониями?

— С некоторых пор церемонии у нас не в почете, — смущенно ответил тот. — А что до...

— Что такое церемония? — перебил Оберон Квин, медленно снимая скюртук. — Церемония есть обратное общее место. Когда люди хотят изобразить судей или жрецов, они надевают женское платье. Помогите мне, пожа-

луйста, одеться.— И он протянул ошеломленному офицеру свой сюртук.

— Но, ваше величество,— смущенно пролепетал тот,— вы надеваете его задом наперед!

— Обратное общее место,— спокойно ответил король.— При несовершенстве нашего аппарата, мы не сме-ем пока что мечтать о большем. Ну, идемте!

Вся остальная часть дня показалась Баркеру и Лэмберту кошмаром, которого они впоследствии никогда не могли как следует вспомнить. Оберон в своем нелепом костюме важно шествовал по направлению к королевской резиденции — Кенсингтонскому дворцу. По мере того как он шел по улицам, небольшие кучки следовавших за ним людей превращались в толпу, и толпа эта издавала крики, имеющие очень мало общего с приветствиями новоизбранному монарху. Баркер шел подле него, не зная, на каком он свете; чем гуще становилась толпа, тем необычней казались ему крики. Мало-помалу его оттеснили назад, и он потерял короля из виду. А потом раздался дикий рев — приветствие, не снившееся ни одному земному монарху, и Баркер понял, что шествие достигло дворца.

Книга вторая

Глава I. *Хартия городов*

Лэмберт стоял у входа в королевские покои, оглушенный царившей вокруг него суматохой. Он уже собрался выйти на улицу, как вдруг увидел Джеймса Баркера, решительной поступью направлявшегося в зал.

— Куда вы идете? — окликнул его Лэмберт.

— Положить конец этому безумию, — ответил Баркер, и двинулся дальше.

Он стремительно вошел в зал, хлопнул дверью и с треском поставил на стол свой несравненный цилиндр. Не успел он открыть рот, как король мягко промолвил:

— Дайте мне, пожалуйста, вашу шляпу.

Дрожащими руками, едва ли соображая, что он делает, Баркер подал королю цилиндр.

Король поставил цилиндр на свое кресло и уселся на него.

— Милая древняя традиция, — улыбаясь пояснил он. — Каждый раз, когда король принимает кого-либо из рода Баркеров, шляпа последнего подвергается уничтожению. Действие это означает беспредельную преданность данного Баркера королю. Оно означает, что до тех пор, пока шляпа эта вновь не украсит вашей главы (в чем я лично сильно сомневаюсь), род Баркеров не восстанет против венценосца.

Баркер стиснул кулаки; его губы задрожали.

— Ваши шутки, — начал он, — и моя собственность... — Он крепко выругался и замолк.

— Продолжайте, продолжайте! — воскликнул король, размахивая руками.

— Что все это значит? — вне себя крикнул Баркер. — С ума вы сошли, что ли?

— Отнюдь нет, — мягко ответил король. — Сумасшедшие всегда серьезны; именно отсутствие юмора и является причиной их сумасшествия. У вас тоже очень серьезный вид, Джеймс.

— Послушайте, почему вы не занимаетесь вашими шутками у себя дома? Вы теперь купаетесь в деньгах; у вас есть множество домов, где вы можете валять дурака сколько вам угодно! Но в интересах общества...

— Опять ваши эпиграммы, — сказал король, грустно грозя ему пальцем. — Не пугайте меня ослепительными вспышками вашего интеллекта. Что же касается вашего вопроса, то я не совсем понимаю его. Впрочем, ответ напрашивается сам собой. Я не дурачусь у себя дома потому, что куда смешнее дурачиться публично. Вы, по-видимому, думаете, что на свете нет большего удовольствия, чем быть чествуемым в качестве серьезнейшего человека на каком-нибудь парадном обеде, а у себя дома, у камина (теперь я тоже могу завести себе камин), потешать гостей плоскими остротами. Но ведь это делает всякий и каждый. Всякий и каждый ведет себя на людях чрезвычайно серьезно, а у себя дома чрезвычайно легкомысленно. Мое чувство юмора подсказывает мне как раз обратное: оно велит мне дурачиться на людях и быть торжественным у себя дома. Я хочу превратить все правительственные функции — парламент, коронацию и прочее — в веселую старинную пантомиму. Зато у себя дома я ежедневно забираюсь на два часа в кладовку и веду себя там с таким достоинством, что выхожу на свет божий совершенно больным.

Баркер нервно расхаживал по залу; полы его сюртука развевались, словно крылья какой-то черной птицы.

— Ну что ж! Вы погубите страну, вот и все, — коротко сказал он.

— Мне сдается, — сказал Оберон, — что десятивековая традиция рухнула и род Баркеров восстал против английского венценосца. К величайшему моему сожалению (ибо я не перестаю восхищаться вами), я вижу себя прину-

жденным насильно водрузить на вашу голову остатки сей шляпы. Но...

— Одного я не могу понять, — сказал Баркер, лихорадочно щелкая пальцами. — Неужели же вас ничего не интересует, кроме ваших игр?

Король уронил исковерканный цилиндр на пол и, не спуская с Баркера внимательного взора, подошел к нему вплотную.

— Я дал обет, — сказал он, — никогда не говорить серьезно; ибо говорить серьезно — значит отвечать на глупые вопросы. Но сильный человек всегда должен быть вежлив с политиками. По какой-то причине, которую я не могу постичь даже приблизительно, я чувствую внутреннюю необходимость ответить на ваш вопрос, и при этом ответить так, как если бы на свете действительно существовали серьезные темы для разговора. Вы спрашиваете меня, почему я не интересуюсь ничем, кроме игр. Скажите же мне, во имя всех богов, в которых вы не верите, с какой стати должен я интересоваться чем-нибудь другим?

— Неужели вы не уясняете себе насущных государственных нужд? — крикнул Баркер. — Возможно ли, чтобы такой интеллигентный человек, как вы, не знал, что общественные интересы требуют...

— Неужели вы не верите в Заратустру? Возможно ли, чтобы вы упускали из виду Мумбо-Джумбо? — необычайно оживленно перебил его король. — И такой интеллигентный человек, как вы, приходит ко мне с моралью времен королевы Виктории! Если вы находите в моих манерах и лице сходство с принцем-супругом, вы очень ошибаетесь, уверяю вас. Неужели Герберт Спенсер убедил вас — неужели он вообще может кого-нибудь убедить? — неужели ему удалось в какой-нибудь сумасшедший момент своей жизни убедить самого себя, что в интересы индивидуума входит интерес к общественным нуждам? Неужели вы думаете, что плохо управляя вверенным вам учреждением, вы имеете больше шансов быть казненным, чем рыболов быть увлеченным в реку крупной щукой? Герберт Спенсер воздерживался от воровства по той же самой причине, по которой он воздерживался от втыкания перьев в свои волосы, — потому что он был английским джентльменом с самостоятельными вкусами.

Я тоже английский джентльмен с самостоятельными вкусами. Спенсер любил философию. Я люблю искусство. Спенсеру нравилось писать книгу за книгой — десять книг подряд о природе человеческого общества. Мне нравится видеть моего обер-камергера, шествующего передо мной с прицепленной к фалдам мундира бумажкой. Таково мое чувство юмора. Поняли? Как бы там ни было, я сказал сегодня мое последнее серьезное слово; надеюсь, что никогда в жизни я больше не буду говорить серьезно в этом раю дураков. А сегодняшнюю мою беседу с вами — которая, надеюсь, будет непродолжительна и плодотворна — я намерен продолжать на новом, изобретенном мною лично языке: при помощи быстрых символических движений левой ноги.

И Оберон начал медленно кружиться по комнате, сохраняя крайне озабоченное выражение лица.

Баркер помчался за ним, бомбардируя его вопросами и мольбами.

В конце концов бешено хлопнув дверью, он выскочил из зала с измученным видом человека, выброшенного морскими волнами на берег. После долгих бесцельных блужданий по улицам он внезапно очутился перед рестораном Чикконани. И вдруг перед ним возникла фантастическая зеленая фигура испанского генерала. Он стоял в той самой позе, в какой Баркер видел его в последний раз, и губы его шептали: «Трудно спорить с велениями души».

Король тем временем перестал плясать. С видом порядком порабатанного и уставшего человека он надел пальто, зажег сигару и вышел в лиловую ночь.

— Я хочу смешаться с народом, — сказал он про себя.

Он быстро шагал по какой-то улице неподалеку от Ноттинг-Хилла. Вдруг он почувствовал, что в грудь его уперся какой-то твердый предмет. Он остановился, вставил в глаз монокль и увидел перед собою мальчика в бумажном колпаке с деревянным мечом в руках; лицо ребенка выражало тот робкий восторг, с которым дети созерцают поломанную ими игрушку. Король некоторое время задумчиво смотрел на воинственного человечка, затем медленно вытащил из нагрудного кармана записную книжку.

— У меня есть несколько конспектов предсмертной речи, — промолвил он, перелистывая книжку. — Вот! Предсмертная речь на случай политического убийства; то же — на случай убийства бывшим другом — хм-хм... Предсмертная речь на случай убийства оскорбленным супругом (покаянная); то же — циничная. Ума не приложу, которая из них подходит к данному случаю...

— Я здешний король, — грозно сказал мальчик.

Король Оберон был от природы весьма мягкосердечным человеком; кроме того, он, подобно большинству людей, влюбленных во все смешное, был неравнодушен к детям.

— Дитя, — сказал он, — я от души рад, что ты так ревностно отстаиваешь честь твоего древнего священного Ноттинг-Хилла. Взгляни ночной порой на этот шпиг, дитя мое, вздымающийся к звездам, — какой он древний, какой одинокий, какой невыразимо Ноттинг-Хилльский! Всегда будь готов отдать жизнь за эту священную гору. Пусть все полчища Бейзуотера грозят ей гибелью...

Король внезапно оборвал свою речь; глаза его засияли.

— Быть может, это благороднейшая из всех моих идей, — сказал он. — Величие средневековых городов в применении к нашим славным пригородам! Клэфэм с городской стражей! Вимблдон, окруженный городской стеной! Сербитон, колоколом сзывающий своих граждан! Западный Хэмпстед, идущий в бой под собственным своим знаменем! Так будет! Так говорит король.

Он сунул мальчику полкроны и промолвил: «На военный фонд Ноттинг-Хилла!» — и помчался домой с такой быстротой, что толпы любопытных устремились за ним. Добравшись до своего кабинета, он приказал подать себе чашку кофе и погрузился в размышления. Через некоторое время он вызвал любимейшего своего шталмейстера, капитана Боулера, к которому питал большую симпатию, главным образом из-за пышных его бакенбард.

— Боулер, — сказал он, — нет ли у нас какого-нибудь общества ревнителей истории или чего-нибудь в этом роде, где бы я состоял почетным членом?

— Сэр, — ответил капитан Боулер, потирая нос, — вы состоите членом Общества поощрения египетского Ренессанса, Клуба тевтонских курганов, Общества исследования лондонских древностей и...

— Замечательно! — воскликнул король. — Лондонские древности как раз то, что мне нужно! Сходите-ка в это общество и скажите его секретарю, помощнику секретаря, председателю и вице-председателю следующее: английский король — это звучит гордо, но Почетный Член Общества исследования лондонских древностей звучит еще более гордо. Я счастлив сообщить вам о некоторых открытиях, сделанных мною в области забытых традиций лондонских кварталов. Мои разоблачения могут вызвать величайшее волнение; они могут воспламенить заглушенные воспоминания, растравить старые раны Шепхердс-Буша и Бейзуотера, Пимлико и Южного Кенсингтона. Король колеблется, но Почетный Член тверд и непреклонен. Я следую обету, данному мной Семи Священным Кошкам, Кочерге Совершенства и Ордену Неописуемого Мгновения (простите мне, если я посвящаю вас в обрядные мелочи различных клубов, к которым я принадлежу), и прошу разрешения прочитать на ближайшем заседании доклад «О войнах между лондонскими пригородами». Передайте эти мои слова всему обществу, Боулер. Запомните их как следует, потому что это очень важно, а я уже все забыл. И пришлите мне еще чашку кофе и парочку тех сигар, которые мы держали для наиболее вульгарных и богатых посетителей. Я буду писать доклад.

Месяцем позже Общество исследования лондонских древностей собралось в своем помещении на южной окраине Лондона. К моменту прибытия короля в низком, сводчатом зале, освещенном шипящими газовыми рожками, собралась огромная толпа, потеющая от нетерпения и удовольствия. Король быстро вошел в зал и скинул бальный плащ; он был во фраке, украшенном орденом Подвязки. Его появление за небольшим столиком, на котором стоял всего лишь стакан воды, было встречено почетными рукоплесканиями.

Председатель (м-р Хьюгинс) произнес краткое вступительное слово. Многие выдающиеся лекторы, сказал он, выступали в былые времена перед этой аудиторией (слушайте, слушайте). М-р Бёртон (слушайте, слушайте), м-р Кеймбридж, профессор Кинг (продолжительные рукоплескания), наш старый друг Питер Джессоп, сэр Уильям Уайт (громкий смех) и другие выдающиеся мужи неодно-

кратно оказывали нам честь своими выступлениями (рукоплескания). Но данное заседание отличается от всех прочих (слушайте, слушайте). Насколько ему не изменяет память — а память у него, как и подобает члену Общества исследования лондонских древностей, довольно хорошая (бурные рукоплескания), — он не припомнит, чтобы кто-нибудь из выступавших у них докладчиков носил титул короля. Поэтому он без дальних слов просит короля Оберона открыть заседание.

Король начал с заявления, что данная его речь имеет характер первой его политической декларации.

— В этот торжественнейший час моей жизни, — сказал он, — я чувствую, что только членам Общества исследования лондонских древностей я могу открыть свою душу (рукоплескания). Если моя политика не встретит сочувствия в народе, если над моей главой начнут собираться грозные тучи народной неприязни (нет, нет!), только здесь — я знаю это — среди моих молодцов-исследователей встречу я с мечом в руке грозу. (Громкие рукоплескания.)

Засим его величество сообщил, что теперь, когда к нему подкрадывается коварная старость, он намерен посвятить остаток своих сил возрождению местного патриотизма в многочисленных кварталах Лондона. Сколь немногим из них известны славные предания их предков! Разве знают жители Уондсворта, чему они обязаны названием своей родины? Разве помнит младшее поколение Челси подвиги былых времен? Во что выродился Пимлико? На что похожи Бэттерси?

Наступило краткое молчание. Затем чей-то голос произнес: «Позор».

Король продолжал:

— Будучи призван, хоть и не по заслугам, на высокий пост английского короля, я решил сделать все, что в моих силах, чтобы положить конец этому пренебрежению. Я не хочу военной славы. Я не претендую на мудрость Юстиниана или Альфреда в государственных делах. Если история упомянет меня как человека, который вырвал из когтей забвения несколько древних английских традиций, если потомки наши скажут, что благодаря мне — ничтожнейшему, быть может, из ничтожных — обитатели Фулхэма все еще едят Десять Морковок, а Путнейский

общинный советник все еще бреет половину головы, — я безбоязненно предстану перед великими моими пращурами, когда сойду в место последнего успокоения королей.

От наплыва чувств король замолк, но вскоре овладел собой и возобновил свою речь:

— Я думаю, что перед столь просвещенной аудиторией мне не придется останавливаться на деталях возникновения тех или иных легенд. Самые имена наших пригородов свидетельствуют о нем. До тех пор, пока Хэммерсмит будет именоваться Хэммерсмитом, население его будет жить под сенью своего национального героя, Блэксмита-кузнеца. Не он ли повел демократию в бой на Бродвей, не он ли обратил в бегство конницу Кенсингтона и разбил ее наголову на той площади, которая в память пролитой на ней крови аристократов была названа Кенсингтон-Гор? Жители Хэммерсмита не преминут вспомнить, что самое название «Кенсингтон» впервые было произнесено национальным их героем. На торжественном пиршестве, устроенном в ознаменование мира, когда высокомерные олигархи отказались подпевать песням хэммерсмитовцев, великий республиканский вождь со свойственным ему грубым юмором произнес те самые слова, которые впоследствии были высечены на его памятнике: «Птичек, которые могут, но не хотят петь, нужно заставить петь» (*Little birds that can sing and won't sing, must be made to sing*). И с тех пор восточные рыцари получили прозвище «Кенсинги». Но и у вас есть славные предания о жителях Кенсингтона! Вы доказали, что вы умеете петь — петь дивные боевые песни! И даже после страшного дня Кенсингтон-Гор история не забудет тех трех рыцарей, которые прикрывали ваше отступление от Хайд-Парка (названного так, потому что вы прятались в нем), тех трех рыцарей, по имени которых назван Найтбридж. Не забудет она и дня вашего возвращения, когда вы, закалившись в горниле военных неудач, исцелившись от вашей аристократической расслабленности, с мечом в руках шаг за шагом теснили бойцов Хэммерсмитской империи и, наконец, разбили их наголову в битве столь страшной, столь кровавой, что хищные птицы нарекли ей свое имя: Рэвенскоуртом зовется это место — сколько мрачной иронии в этом названии! Надеюсь, я не затрагиваю патриотических чувств Бейзуотера, Бромптона и прочих историче-

ских городов, выделяя эти два примера. Я остановился на них не потому, что они разительней остальных, но отчасти из личного пристрастия (я сам потомок одного из трех героев Найтбриджа), а отчасти из-за того, что я всего лишь дилетант и не беру на себя смелость исследовать времена и страны более отдаленные и таинственные. Не мне решать спор двух таких знатоков, как профессор Хьюг и сэр Вильям Виски, о том, что значит «Ноттинг-Хилл» — Нёттинг ли Хилл (намек на покрывавшую его некогда богатую растительность), или испорченное Носинг-Илл, свидетельствующее о том, что предки наши считали это место земным раем. Если такие люди, как Подкинс или Джосси, признаются в своих сомнениях относительно границ Западного Кенсингтона (начертанных, согласно преданию, бычьей кровью), то мне нисколько не стыдно покаяться в том же. Я прошу вас простить мне эту экскурсию в область истории и пообещать мне ваше содействие в разрешении ныне встающей перед нами проблемы. Неужели же древний лондонский дух обречен на гибель? Неужели в глазах наших трамвайных кондукторов и полицейских померкнет то сияние, которое мы столь часто видим в них, — мечтательное сияние, говорящее

О древних печалях и радостях,
О древних великих боях,—

как сказал некий малоизвестный поэт, бывший в детстве моим другом. Повторяю, я твердо решил по мере возможности сохранить глазам трамвайных кондукторов и полицейских их мечтательное сияние. Ибо куда годится государство «без грез и снов»? Лекарство же, предлагаемое мной, заключается в нижеследующем: завтра, в десять часов двадцать пять минут утра, если провидение сохранит мне жизнь, я намерен выпустить воззвание к народу. Воззвание это — труд всей моей жизни; оно уже наполовину составлено. С помощью виски и содовой воды я надеюсь закончить его сегодня ночью. Завтра утром мой народ ознакомится с ним. Все города, в которых вы родились и в которых вы мечтаете сложить ваши старые кости, должны быть восстановлены во всем их древнем великолепии — Хэммерсмит, Найтбридж, Кенсингтон, Бейзуотер, Челси, Бэттерси, Клэфэм, Бэлхэм и сотни других.

Каждый из них должен быть немедленно обнесен городской стеной с воротами, запирающимися после захода солнца. Каждый из них должен завести городскую стражу, вооруженную до зубов. Каждый должен придумать себе знамя, герб и, если можно, боевой клич. Я не буду углубляться сейчас в подробности — мое сердце слишком полно. Подробности вы найдете в воззвании. Я хочу еще только сказать, что все граждане до единого будут внесены в списки городской гвардии и в случае нужды будут созываться штукой, именуемой «набатом», смысл этого слова я намерен тщательно исследовать и разъяснить. Я лично полагаю, что «набат» — это род чиновника, получающего большое жалованье. А если у кого-нибудь из вас имеется дома подобие алебарды, я советую обладателю ее поупражняться с нею в саду.

Тут король закрыл лицо носовым платком и, не в силах совладать с обуревавшими его чувствами, покинул эстраду.

Члены Общества исследования лондонских древностей поднялись со своих мест в каком-то смутном, бессознательном волнении. Некоторые из них побагровели от негодования; меньшинство — наиболее интеллигентные — побагровели от смеха; подавляющее же большинство не знали, что и думать. Существует предание, что один из слушателей ни на секунду не сводил с короля огромных голубых глаз, пылавших на бледном лице, и что по окончании доклада какой-то рыжеволосый мальчик, как безумный, выбежал из зала.

Глава II. *Совет градоправителей*

На следующий день король встал с зарей и спустился вниз, прыгая через три ступеньки, словно школьник. Поспешно, но не без аппетита проглотив завтрак, он вызвал к себе одного из высших придворных чинов и вручил ему шиллинг.

— Сбегайте-ка вниз, — сказал он, — и купите мне ящик с красками в один шиллинг ценой. Если мне не изменяет память, эти ящики продаются в лавке на углу второго по счету, более грязного переулка, выходящего на Рочестер-роуд. А насчет картона я уже обратился к обер-егермейстеру. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что картон — это по его части.

Все утро король забавлялся с картоном и красками. Он усердно малевал эскизы военных мундиров и гербы для многочисленных новых городов. В процессе работы он внезапно ощутил тяготеющую над ним ответственность и впал в глубокое раздумье.

— Ума не приложу, — промолвил он, — почему названия провинциальных городов и местечек считаются более поэтическими, чем лондонские. Недоумки-романтики садятся в поезд и едут в разные «Замки в дыре» и «Камни в луже». А между тем они с не меньшим успехом могли бы жить в дивном уголке, носящем таинственное, божественное имя Сент-Джонс-Вуд. Я никогда в жизни не был в Сент-Джонс-Вуде. Я не смею. Я страшусь дремучих сосновых лесов, в которых дремлет ночь, я страшусь увидеть блюдо с окровавленной головой, я страшусь биения огромных крыльев. Но все это можно вообразить себе, не вылезая из трамвая.

И он задумчиво нарисовал черной и красной краской эскиз головного убора для алебардчиков Сент-Джонс-Вуда — сосновую ветку и огромное перо; потом склонился над другим куском картона.

— Вот это будет повеселее, — сказал он. — Лэвендер-Хилл! На каких еще полях, на каких еще лугах и равнинах могла родиться столь благоуханная идея? Представьте себе лавандовую гору, вздымающую в серебряные небеса пурпурную свою вершину и колышущую груди людские дыханием новой жизни. О холм багряных пожаров! Правда, во время моих научных экспедиций в городском трамвае я не сумел точно установить местонахождение этого дивного оазиса. Но где-то он должен быть; вдохновенный поэт назвал его некогда по имени! И этого достаточно, чтобы я (следуя точным указаниям ботаники о строении лаванды) даровал племени, живущему окрест Лэвендер-Хилла, головной убор из торжественных пурпурных перьев. И так повсюду! Я фактически никогда не был в Соутсфилдс, и все же я уверен, что комбинация из лимонов и маслин будет вполне соответствовать царящим там полуденным нравам и обычаям. Не был я и в Парсонс-Грин, и все же я уверен, что придуманные мной бледно-зеленые иезуитские шляпы будут более или менее в духе этой местности. Я принужден идти на ощупь, руководствуясь одной интуицией. Великая любовь

к народу, горящая в моей душе, несомненно укажет мне верный путь и не позволит мне оскорбить неосмотрительным поступком древние народные традиции.

В то время как он предавался подобным размышлениям, дверь в его покои распахнулась, и вошедший придворный возвестил о приходе м-ра Баркера и м-ра Лэмберта.

М-р Баркер и м-р Лэмберт не особенно удивились при виде короля, сидящего на полу среди кусков раскрашенного картона. Как могли они удивляться, когда в предыдущее посещение они застали его за игрой в кубики, а еще как-то — за изготовлением бумажных стрел? Впрочем, на этот раз замечания царственного дитяти, время от времени роняемые им, носили несколько иной характер.

Две-три минуты они спокойно слушали этот лепет, уверенные в полной его бессмысленности. И вдруг страшная мысль заморозила кровь в жилах Джеймса Баркера. «А что если болтовня Оберона не вовсе бессмысленна?» — подумал он.

— Ради бога, Оберон! — внезапно взревел он, спутывая царившую в зале тишину. — Уж не хотите ли вы сказать, что вы на самом деле намерены завести все эти городские стены, городские стражи и прочее?

— Ну конечно, да, — спокойно сказала дитя. — Отчего же нет? Я строго придерживаюсь ваших политических принципов. Вы знаете, что я делаю, Баркер? Я веду себя, как истый баркерист. Я... впрочем, вас, быть может, не интересуют подробности моего баркеристского поведения.

— Говорите, говорите! — крикнул Баркер.

— Мое баркеристское поведение, по-видимому, не только интересует, но даже тревожит вас, — спокойно сказал Оберон. — А между тем в нем нет ничего сложного. Оно заключается в том, что я решил назначить по всему Лондону градоправителей по тому же самому принципу, по которому вы назначаете короля. Они будут назначаться в порядке последовательности и утверждаться моим указом. Так что вы можете спать спокойно, мой милый Баркер.

В глазах Баркера зажглось гневное пламя.

— Но послушайте, Квин, разве вы не видите, что это совсем другое дело? В центре это не играет почти никакой роли, потому что вся система деспотизма построена

на единстве. Но если какая-нибудь дурацкая община или отдельный какой-нибудь болван...

— Я знаю, что вас тревожит, — спокойно сказал король Оберон. — Вы боитесь, что ваши таланты останутся без применения. Так слушайте же! — Он поднялся, исполненный несказанного величия. — Настоящим я, в знак особого благоволения к верноподданному моему Джеймсу Баркеру, нарушаю незыблемые основы Хартии городов и назначаю вышесказанного Баркера лордом Верховным правителем Южного Кенсингтона. Ну, вот и все в порядке, дорогой Джеймс. Будьте здоровы.

— Но, — начал Баркер.

— Аудиенция кончена, лорд-правитель, — улыбнулся король.

«Великая хартия вольных городов» была опубликована в то же утро и немедленно расклеена по всему фронтону дворца. Король деятельно помогал расклейщикам своими указаниями, стоя посередине улицы и, со склоненной набок головой, любуясь результатами их работы. Бесчисленные сэндвичмены побежали с воззванием по главным улицам города. Король выразил желание присоединиться к ним и даже был извлечен придворными из-под рекламного щита, придавившего его своей тяжестью; удержать его дома стоило обер-камергеру и капитану Боулеру большого труда.

Население оказало Хартии городов, выражаясь мягко, довольно смешанный прием. В одном отношении этот замечательный документ имел, однако, определенный успех. Во многих домах зимними вечерами его читали вслух под громовой хохот и выучивали наизусть, подобно произведениям бессмертного древнего классика м-ра В. В. Джекобса. Но когда мало-помалу выяснилось, что король отнюдь не шутит и намерен самым серьезным образом провести в жизнь свои нелепые фантазии об автономных городах с набатами, колоколами и городской стражей, веселье уступило место смущению. Лондонцы ничего не имели против того, чтобы король дурачился, но когда они поняли, что он собирается дурачить их, они вознегодовали; и со всех сторон посыпались протесты.

Лорд Верховный правитель славного и доблестного города Западного Кенсингтона написал королю почтительнейшее письмо, в котором указывал, что в государст-

венных делах он, разумеется, никогда не позволит себе оспаривать какие-либо справедливые, с точки зрения короля, постановления, но что ни один уважающий себя гражданин и отец семейства не может примириться с тем, что при каждой его попытке выйти на улицу за ним увязывается пятеро глашатаев, трубящих в трубы и возвещающих во всеуслышание, что лорд Верховный правитель изволит отправлять письмо.

Лорд Верховный правитель Северного Кенсингтона — зажиточный суконщик — прислал короткое деловое письмо, весьма напоминавшее по стилю жалобу в правление железной дороги. Он указывал на величайший ущерб, причиненный его торговле присутствием алебардчиков, которых он принужден был повсюду таскать за собой. Однажды ему пришлось отказаться от деловой поездки в Сити, ибо в омнибусе не нашлось места для его свиты. Вследствие чего он покорнейше просит и т. д. и т. д.

Лорд Верховный правитель Шепхердс-Буша сообщал, что его жена терпеть не может, когда у нее на кухне толкуются разные люди.

Король выслушивал все эти жалобы с величайшим удовольствием и давал на них исчерпывающие, истинно королевские ответы; но на одном *sine qua non* он настаивал самым решительным образом: на том, чтобы словесные петиции представлялись ему по всей форме — с трубами, перьями и алебардчиками. Увы! Среди градоправителей нашлось очень мало смельчаков, готовых подвергнуться издевательствам уличных мальчишек.

Наиболее выдающимся из них был суровый, деловой джентльмен, правивший Северным Кенсингтоном. Он со дня на день должен был переговорить с королем о делах гораздо более важных и спешных, чем проблема алебардчиков и омнибусов. На очереди стоял наболевший вопрос, уже долгое время волновавший кровь всех подрядчиков и жилищных агентов от Шепхердс-Буша до Мраморной Арки и от Вестбоурн-гров до Хай-стрит, Кенсингтон, — вопрос о работах по городскому благоустройству в Ноттинг-Хилле. План этих работ имел ярых защитников в лице м-ра Бэка, сурового владыки Северного Кенсингтона, и м-ра Вилсона, правителя Бейзуотера, и сводился к прокладке большой улицы через три квартала:



Западный Кенсингтон, Северный Кенсингтон и Ноттинг-Хилл. Улица эта, согласно плану, должна была одним концом упираться в Хэммерсмит-Бродвей, а другим — в Вестбоурн-гров. Переговоры, купля, продажа и прочее тянулись десять лет, причем Бэк, который вел все дело почти единолично, проявил себя твердокаменным, энергичнейшим дельцом и искусным дипломатом. И вот, когда его изумительное терпение и еще более изумительное нетерпение стали приносить блестящие плоды, когда рабочие уже начали сносить дома и стены по намеченной линии, вверх от Хэммерсмита, возникло препятствие, никем не учтенное, никому не пришедшее в голову, — маленькое, глупое препятствие, которое подобно пригоршне песка, брошенного в огромную машину, разрушило всю блестяще налаженную систему и в конце концов вовсе застопорило ее, — смешное препятствие, которое заставило суконщика Бэка надеть парадную форму, с величайшим отвращением вызвать алебардчиков и полететь объясниться с королем.

За десять лет король несколько не устал от своих шуток. Он ждал предстоящего разговора с правителем Северного Кенсингтона с величайшим нетерпением, ибо, по его словам, «чудесная средневековая одежда доставляла ему полное удовольствие, только когда она облакала человека делового и к тому же еще выведенного из себя».

М-р Бэк удовлетворял обоим требованиям. По знаку короля дверь в аудиенц-зал распахнулась, и на пороге появился глашатай в лиловом одеянии с вышитым на груди большим орлом. Орел был позаимствован королем из русской геральдики, ибо Северный Кенсингтон почему-то казался ему некоей полярной страной по соседству с Россией. Глашатай возвестил о том, что правитель вышеупомянутого города просит короля принять его.

— Из Северного Кенсингтона? — милостиво спросил король, поднимаясь с трона. — Какие вести несет он мне из страны высоких холмов и прекрасных женщин? Добро пожаловать!

Глашатай вступил в зал; вслед за ним показалось двенадцать гвардейцев в лиловой одежде, вслед за гвардейцами — два знаменосца со Стягом Орла и ключами города на подушке и, наконец, чрезвычайно озабоченный м-р Бэк. Увидев его твердое лицо и зоркие глаза, король по-

нял, что ему предстоит разговор с человеком большой деловой сметки, и подобрался.

— Я рад видеть вас, — весело воскликнул он, спускаясь со ступеней трона и слегка хлопая в ладоши. — Ничего, ничего, не смущайтесь! Бог с ними, с церемониями!

— Я вас не понимаю, ваше величество, — недоуменно сказал м-р Бэк.

— Ничего, ничего! — весело повторил король. — Знание придворных обычаев не такая уж большая заслуга! Вы загладите свою ошибку в следующий раз.

Суконщик посмотрел на него исподлобья и повторил, нисколько не стараясь быть вежливым:

— Я не понимаю вас.

— Ну, ну, — добродушно ответил король, — раз уж вы меня спрашиваете, я объясню вам, в чем дело, хотя я лично не придаю большого значения всем этим обрядностям. Видите ли, обычно принято — только принято, я подчеркиваю, — чтобы каждый гражданин, предстающий перед светлыми очами его величества, ложился на пол спиной, поднимал обе ноги к небу (как к источнику королевской власти) и трижды произносил: «Монархический строй улучшает манеры». Но в данном случае вся эта помпа не стоит вашей простой, искренней любезности.

Лорд-правитель побагровел от злости, но промолчал.

— Ну, ладно, — мягко сказал король с видом человека, заглаживающего свою резкость. — Какая дивная сегодня погода! Вам, наверно, жарковато в вашем парадном одеянии, милорд? Я ведь придумал его специально для вашей снежной страны.

— Жарко, как в пекле, — коротко ответил Бэк. — Я пришел сюда по делу.

— Правильно, — сказал король, несколько раз с бессмысленной торжественностью кивая головой, — правильно, правильно, правильно. *Les affaires sont les affaires*, — как говаривал в былые времена один персидский философ. Будь аккуратным! Пораньше вставай! Держи перо прямо! Держи перо прямо, ибо ты не знаешь, ни кто ты, ни что ты! Держи перо прямо, ибо ты не знаешь, ни куда ты идешь, ни откуда!

Лорд-правитель извлек из кармана множество бумаг и со свирепым видом развернул их.

— Ваше величество, быть может, слышали о Хэммер-смите и некоей штуке, именуемой улицей, — начал он саркастически. — Мы десять лет занимались скупкой недвижимости, изданием обязательных постановлений, выплатой возмещений и процентов по вложенным капиталам, и вот теперь, когда мы уже почти совсем справились, все дело рушится благодаря вздорному мальчишке. Старик Проут, правитель Ноттинг-Хилла, был деловым человеком, и мы работали с ним к обоюдному удовлетворению. Но он умер, и жребий, будь он проклят, пал на одного молодого человека по имени Адам Вэйн; и вот этот самый Вэйн занимается какой-то совершенно непонятной мне игрой. Мы предлагаем ему цену, которая никому и не снилась, а он, неизвестно почему, упирается и не позволяет нам прокладывать улицу через его квартал. И Совет Ноттинг-Хилла как будто поддерживает его. Форменное сумасшествие!

Король слушал весьма невнимательно, ибо был занят гораздо более важным делом: он рисовал пальцем на оконном стекле нос правителя. Но последние два слова он уловил.

— Что за чудная фраза! — сказал он. — «Форменное сумасшествие!»

— Обидней всего то, — настойчиво продолжал Бэк, — что вся остановка за грязной маленькой улочкой, Пэмп-стрит, в которой всего-то и домов, что скверный трактирчик да грошовая игрушечная лавка. Все наиболее почтенные граждане Ноттинг-Хилла идут нам навстречу. А этот сумасбродный Вэйн уперся на своей Пэмп-стрит. Говорит, что он правитель Ноттинг-Хилла. Правитель Пэмп-стрит — вот кто он такой!

— Блестящая идея! — подхватил Оберон. — Ей-богу, мне это нравится! Почему бы нам на самом деле не назначить Вэйна правителем Пэмп-стрит?

— И погубить все дело? — взревел Бэк. — Будь я проклят, если я допущу это! Нет! Я просто-напросто пошлю туда рабочих — пусть роют, и дело с концом!

— Ратуйте за Лидового орла! — воскликнул король, охваченный историческими воспоминаниями.

— Вот что я вам скажу, — перебил его Бэк, окончательно выведенный из себя. — Если ваше величество будет поменьше оскорблять честных граждан своими дурац-

кими гербами и побрякушками и уделять побольше времени народному благу...

Король задумчиво нахмурил брови.

— Недурная сценка,— сказал он.— Заносчивый вассал поносит короля в собственном его дворце. Голова вассала должна быть откинута назад, а правая рука простерта вперед; левую следовало бы поднять к небу,— но это уж я предоставляю вашим религиозным чувствам. Я откидываюсь на спинку трона, охваченный гневом... Ну-ка еще раз!

Бэк злобно оскалил зубы, но не успел он заговорить, как на пороге появился новый глашатай.

— Лорд Верховный правитель Бейзуотера просит принять его,— провозгласил он.

— Зовите его,— сказал Оберон.— Славный выдался денек.

Алебардщики Бейзуотера были одеты в зеленое, на их стяге красовался зеленый лавровый венок на серебряном поле, который, согласно изысканиям короля, являлся древней эмблемой Бейзуотера.

— Сия эмблема достойна носителей ее,— говаривал король.— Неувядаемые лавры! Пусть Фулхэм стремится к богатству, пусть Кенсингтон поощряет искусство — что может быть бейзуотерцам дороже славы?

Из-под складок огромного знамени вышел правитель Бейзуотера, одетый в роскошную зеленую мантию, расшитую серебром и отороченную белым мехом; на голове его красовался лавровый венок. Это был робкий маленький человечек с рыжими бакенбардами, некогда владелец скромной кондитерской.

— Дорогой кузен! — воскликнул король, захлебываясь от удовольствия.— Чем мы можем служить вам? — Засим он явственно пробормотал: — Ветчина, телятина, цыплята холодные, — и замолк.

— Я явился к вашему величеству по поводу Пэмп-стрит,— молвил правитель Бейзуотера, именовавшийся Вилсоном.

— Я только что ввел его величество в курс дела,— сказал Бэк кратко, но вежливо.— Впрочем, его величеству, быть может, неизвестно, что дело это касается вас также.

— Оно касается нас обоих, ваше величество, потому что в прокладке улицы заинтересовано все население Бей-

зуотера. Так вот, мы с м-ром Бэком пораскинули мозгами...

Король всплеснул руками.

— Изумительно! — воскликнул он в каком-то экстазе. — Пораскинули мозгами! Покажите мне, как вы это делаете! О, пожалуйста, покажите!

По рядам алебардщиков прокатилось заглушенное хихиканье; м-р Вилсон выразил на своем лице величайшее недоумение, а м-р Бэк весь перекосялся от ярости.

— Я думаю, — желчно начал он, но король остановил его повелительным жестом.

— Тсс! — воскликнул он. — Кажется, кто-то идет. По-моему, это глашатай — я слышу, как скрипят его сапоги.

Не успел он договорить, как с порога раздался возглас:

— Лорд Верховный правитель Южного Кенсингтона просит принять его.

— Лорд Верховный правитель Южного Кенсингтона! — воскликнул король. — Да ведь это же мой старый друг Джеймс Баркер! Что ему нужно, хотел бы я знать! Если нежная память дружбы еще не заглохла в нем окончательно, он, по всей вероятности, пришел занять у меня два-три фунта. Как поживаете, Джеймс?

Гвардия м-ра Джеймса Баркера была одета во все синее и несла того же цвета стяг с изображением трех золотых поющих птиц; сам он был облачен в пышную синюю мантию с золотым шитьем. Следует отметить, что наряд этот, при всей своей нелепости, шел Баркеру гораздо больше, чем прочим правителям, хоть и внушал ему то же отвращение, что и им. Он был джентльмен, красивый мужчина и, помимо своей воли, выглядел в шутовской мантии весьма представительно. Он говорил кратко и твердо, но, обращаясь к королю, слегка запинаясь, словно ему стоило большого труда называть его «вашим величеством», а не просто Обероном.

— Да простит мне ваше величество мое вторжение, — сказал он. — Я пришел по поводу Пэмп-стрит и тамошнего правителя. Я имею удовольствие видеть тут м-ра Бэка, по всей вероятности, он уже рассказал вам все, что нужно...

Король растерянным взглядом обвел зал, сиявший мишурой трех городов.

— Тут нужна всего одна вещь, — сказал он.

— Что именно, ваше величество? — несколько подобострастно спросил м-р Вилсон.

— Чутьочку желтого, — твердо сказал король. — Пошлите за правителем Западного Кенсингтона.

Немедленно был снаряжен курьер, и через несколько минут прибыл правитель Западного Кенсингтона в сопровождении своей желтой гвардии; сам он был одет в шафрановую мантию и вытирал влажный лоб носовым платком.

— Добро пожаловать, Западный Кенсингтон, — промолвил король. — Я давно хотел услышать ваше мнение о землях, что лежат к югу от Роутонхоуза. Вы хотите, чтобы правитель Хэммерсмита отдал их вам в лен? Ну что же, для этого вам надо только бить ему челом, всунув руку в левый рукав его пальто.

— Я предпочел бы не делать этого, ваше величество, — ответил правитель Западного Кенсингтона, бледный молодой человек с аккуратными усиками и бакенбардами, небезуспешно торговавший молочными продуктами.

Король дружелюбно ударил его по плечу.

— Взыграла гордая кровь Западного Кенсингтона! — сказал он. — Глупец тот, кто ждет от кенсингтонца челобитной!

Он снова обвел комнату внимательным взором. Она была наполнена всеми красками царственного заката, и Оберон испытывал наслаждение, доступное немногим художникам, — он видел перед собой живые переливы своих грез, воплотившихся в кровь и в плоть. На переднем плане тянулась линия желтых туник Западного Кенсингтона, упиравшаяся в темно-синее пятно Южного Кенсингтона, которое, в свою очередь, внезапно вспыхивало лесной зеленью Бейзуотера. И надо всей этой гаммой красок веяли почти похоронным аккордом огромные лиловые перья Северного Кенсингтона.

— Здесь чего-то недостает, — сказал король. — Определенно чего-то недостает. Что бы это могло... Вот! Вот оно!

На пороге появилась новая фигура — глашатай в пламенно-красном одеянии.

— Лорд Верховный правитель Ноттинг-Хилла просит принять его! — громким, бесстрастным голосом возвестил он.

Глава III. *Входит Помешанный*

В тот день фея сказок, бывшая крестной матерью короля Оберона, была особенно благосклонна к своему взбалмошному крестнику, доставив ему появлением ноттинг-хиллской гвардии ни с чем не сравнимое удовольствие. Представительствовавшие Бейзуотер и Кенсингтон, испытые бродяги и сэндвичмены, нанятые поденно для ублажения королевской прихоти, слонялись по залу с видом приговоренных к повешению; вопиющий контраст между их пышной одеждой и жалкими лицами доставлял королю духовное наслаждение. Ноттинг-хиллские же алебардчики в красных своих туниках и золотых поясах имели вид торжественный до нелепости. Казалось, они участвовали в игре. Они вошли в комнату и выстроились с потрясающим достоинством и блестящей воинской выправкой.

Их желтое знамя было украшено большим красным львом — эмблемой, заимствованной королем у какого-то маленького ноттинг-хиллского трактирчика, в который он в свое время частенько заходил.

И вот, минуя ряды красных алебардчиков, к трону приблизился высокий рыжеволосый юноша с тяжелыми чертами лица и смелыми голубыми глазами. Его можно было бы назвать красивым, если бы не какая-то странная форма слишком большого носа и огромные ступни, придававшие ему неуклюжий вид и подчеркивавшие его крайнюю молодость. Он был одет в красную мантию и, единственный из всех градоправителей, был опоясан огромным мечом. Это был Адам Вэйн, своевольный правитель Ноттинг-Хилла.

Король откинулся на спинку трона и потер руки.

— Что за денек! Ну и денек! — сказал он про себя. — Сейчас будет потеха! Ей-богу, я не ожидал, что это выйдет так весело! Эти правители так рассудительны, так справедливы, преисполнены такого негодования! А он, этот Вэйн, судя по его глазам, негодует еще больше их и, по-видимому, даже не подозревает, что все это шутка. Он жаждет сразиться с ними, они жаждут сразиться с ним,

и все вместе жаждут доставить себе высшее удовольствие — сразиться со мной!

— Добро пожаловать, милорд, — сказал он вслух. — Какие вести несете вы мне с Холма ста преданий? Чем намерены вы уладить слух вашего короля? Я знаю, что между вами и прочими моими кузенами возникли трения; я буду горд и счастлив уладить их. И я не сомневаюсь — могу ли я усомниться? — что вы питаете ко мне не менее горячую, не менее нежную любовь, чем они.

М-р Бэк скроил кислую мину, м-р Баркер раздул ноздри; Вилсон тихонько хихикнул, правитель Западного Кенсингтона последовал его примеру. Но выражение больших голубых глаз Адама Вэйна не изменилось. Станным мальчишеским голосом, пронесшимся по всему залу, он воскликнул:

— Привет моему королю! Все, что я принес ему, — мой меч!

И широким жестом он бросил свой меч на пол и опустился перед ним на одно колено.

Воцарилась мертвая тишина.

— Виноват... — растерянно промямлил король.

— Сир, вы, как всегда, произнесли великое слово, сказав, что моя любовь к вам не менее горяча, чем любовь этих людей. Ибо я наследник ваших замыслов, я дитя Великой хартии! Здесь, перед вами, я буду отстаивать данные мне ею права и — клянусь священной вашей короной — не отступлю ни на шаг!

Король и четыре градоправителя молча выпучили на него глаза.

Наконец Бэк сказал своим смешным, скрипучим голосом:

— Ей-богу, весь мир сошел с ума!

Король вскочил на ноги; глаза его пылали.

— Да! — восторженно воскликнул он. — Весь мир сошел с ума, кроме Адама Вэйна и меня! О, как потрясающе верно то, что я давным-давно твердил вам, Джеймс Баркер! Серьезность сводит людей с ума. Вы сумасшедший, потому что вы думаете об одной только политике, вы такой же сумасшедший, как люди, собирающие трамвайные билетки. Бэк — сумасшедший, потому что он думает об одних только деньгах; такой же сумасшедший,

как человек, вечно живущий в дурмане опиума. Вилсон — сумасшедший, потому что он считает себя правым во всем, что он делает; такой же сумасшедший, как человек, воображающий себя всемогущим богом. Правитель Западного Кенсингтона — сумасшедший, потому что он считает себя респектабельным; такой же сумасшедший, как человек, считающий себя цыпленком. Все люди — сумасшедшие, кроме юмориста, не интересующегося ничем и обладающего всем. Я думал, что в Англии есть всего-навсего один юморист. Дураки! Болваны! Откройте пошире ваши коровьи глаза! Их двое! В Ноттинг-Хилле — на этой неблагоприятнейшей почве — родился художник! Вы думали испортить мне мою игру, отбить у меня охоту к ней, становясь все более и более современными, все более и более практическими, все более и более деловыми и рассудочными. О, какое это было счастье — бороться с вами, становясь все более и более царственным, все более и более милостивым, все более и более несовременным! О, этот мальчишка знал, чем взять меня! Он ответил мне ударом на удар, позой на позу, краснобайством на краснобайство! Он прикрылся единственным щитом, которого я не в силах пробить, — щитом неуязвимой помпезности. Слушайте его! Вы пришли переговорить относительно Пэмп-стрит, милорд?

— Относительно города Ноттинг-Хилла, — гордо ответил Адам Вэйн, — неотъемлемой частью которого является Пэмп-стрит.

— Не больно большой частью, — презрительно вставил Баркер.

— Достаточно большой, чтобы богач протягивал к ней свою лапу, — сказал Адам Вэйн, вскидывая голову, — достаточно большой, чтобы бедняк защищал ее.

Король откинулся на спинку кресла и восторженно задыгал ногами.

— Все самые именитые граждане Ноттинг-Хилла на нашей стороне, — промолвил Бэк своим холодным, хриплым голосом. — У меня есть множество друзей в Ноттинг-Хилле.

— Ваши друзья — это те люди, которые продали вам за ваше золото чужой очаг, милорд Бэк, — ответил правитель Вэйн. — Я охотно верю, что они ваши друзья.

— Во всяком случае, они никогда не торговали грошовыми игрушками, — рассмеялся Бэк.

— Они торговали грошовыми игрушками, — спокойно ответил Вэйн, — они торговали собой.

— Нехорошо, нехорошо, мой милый Бэк, — заметил король, ерзая в своем кресле. — Вам не совладать с этим рыцарским красноречием. Вам не угнаться за художником. Вам не перещеголять ноттинг-хиллского юмориста. О, ныне отпускаеши — наконец-то я дожился до этого дня! Тверды ли вы, правитель Вэйн?

— Пусть они убедятся, — сказал Вэйн. — До сих пор я был тверд, неужели же я поколеблюсь теперь, когда я видел моего короля? Ведь я борюсь за великое дело, за нечто большее — если это вообще возможно, — чем очаг моего народа, чем Город льва. Я борюсь за ваше царственное видение, за вашу великую грезу о Союзе вольных городов. Вы сами дали мне это право! Если бы я был нищим и вы бросили мне монету, если бы я был крестьянином и вы подарили мне какую-нибудь ленточку на память, — неужели вы думаете, что я отдал бы ее грабителю с большой дороги? Власть над вольным Ноттинг-Хиллом — дар вашего величества, и — видит бог! — его отнимут у меня только в битве — в битве, грохот которой будет слышен от Челси до Сент-Джонс-Вуда.

— Нет, это слишком, это слишком! — воскликнул король. — Я не могу больше! Будем откровенны, снимем маски, брат-художник! Позвольте мне задать вам один торжественнейший вопрос. Адам Вэйн, лорд Верховный правитель Ноттинг-Хилла, не находите ли вы все это замечательным?

— Замечательным? — воскликнул Адам Вэйн. — Изумительным, божественным!

— Снова вывернулся, — усмехнулся король. — Вы упорно не хотите перестать кривляться. В шутку — это, разумеется, серьезно. Но всерьез — разве это не смешная шутка?

— Что именно? — спросил Вэйн, глядя на него младенческими глазами.

— Ну, довольно кривляться, будьте вы прокляты! Да вся эта история — Хартия городов! Потрясающая штука, не правда ли?

— «Потрясающая» — недостойное столь великого деяния слово.

— Фу, черт!.. Ага, понимаю! Вы хотите, чтобы я выставил за дверь этих рассудительных свиней. Вы хотите, чтобы два юмориста остались наедине. Оставьте нас одних, джентльмены!

Бэк бросил кислый взгляд на Баркера, и после минутного колебания пестрая толпа, недовольно ворча, покинула зал, в котором остались двое: король, сидящий в своем кресле под балдахин, и человек в пламенно-красной мантии, все еще коленопреклоненный перед своим мечом.

Король спрыгнул с возвышения и хлопнул правителя Вэйна по плечу.

— Еще до того, как были созданы звезды, мы были созданы друг для друга! — воскликнул он. — Ах, как это замечательно! Независимость доблестной Пэмп-стрит! Что за прелесть! Ведь это же прямо апофеоз смешного!

Человек в красном вскочил на ноги.

— Смешного? — гневно переспросил он.

— Ну, бросьте, бросьте, — нетерпеливо сказал король. — Со мной-то уж вам незачем кривляться. Авгурам иногда волей-неволей приходится мигать — просто потому, что веки устают. Давайте-ка позабавимся полчаса, не как актеры, а как театральные критики. Ну что, славная была шутка?

Адам Вэйн совсем по-детски опустил глаза и произнес сдавленным голосом:

— Я вас не понимаю, ваше величество. Я не могу поверить, что в то время, как я борюсь за ваш царственный замысел, ваше величество покидает меня, бросает на растерзание этим псам, этим золотым мешкам!

— Ах, черт побери! Что это? Что же это?

Король уставился на юного правителя и в сгущающемся сумраке увидел, что лицо последнего бледно как мел, а губы трясутся.

— Ради бога, в чем дело? — крикнул Оберон, хватая его за руку.

Вэйн поднял голову — в глазах его стояли слезы.

— Я всего только мальчик, — сказал он, — но правда на моей стороне. Если бы у меня не было ничего, кроме

моей крови, я кровью моей начертал бы на этом щите эмблему Красного льва.

Король Оберон выпустил его руку и застыл, словно пораженный молнией.

— Боже великий! — прошептал он. — Неужели в Англии нашелся человек, принимающий Ноттинг-Хилл всерьез?

— Боже великий! — страстно подхватил Вэйн. — Неужели в Англии найдется человек, не принимающий его всерьез?

Король ничего не ответил; оглушенный, поднялся он на возвышение, повалился в свое кресло и задрогал ногами.

— Если так пойдет дальше, — растерянно сказал он, — я начну сомневаться в превосходстве искусства над жизнью. Ради бога, перестаньте разыгрывать меня! Неужели вы серьезно считаете себя — господа, помогите мне! — ноттингхиллским патриотом? Неужели вы думаете, что вы на самом деле...

Вэйн болезненно содрогнулся, и король поспешил успокоить его:

— Ну, ладно, ладно, я верю вам. Только дайте мне переварить все это. Итак, вы на самом деле намерены объявить войну этим отцам города с их комиссиями, инспекторами, зрителями и прочим?

— А разве мощь их так велика? — презрительно спросил Вэйн.

Король снова выпучил на него глаза, словно на какое-то невиданное чудо.

— И вы думаете, — продолжал он, — что зубные врачи, мелкие лавочники и старые девы, населяющие Ноттинг-Хилл, с боевыми песнями стекутся под ваше знамя?

— Если в их жилах есть хоть капля крови, они пойдут за мной, — ответил правитель.

— И, по-видимому, — сказал король, откидывая голову на подушки, — вам никогда не приходило в голову — тут его голос окреп, — вам никогда не приходило в голову, что всякому и каждому этот ноттингхиллский идеализм покажется смешным?

— Конечно, он покажется смешным, — ответил Вэйн. — Насмешки и глумление — удел всех пророков.

— Ради бога, ответьте мне, — сказал король, склоняясь к юноше, — откуда явилась к вам эта дивно безумная идея?

— Вы были моим пестуном, сир, — ответил правитель, — во всем, что есть в мире высокого и достойного.

— А, — сказал король.

— Не кто иной, как вы, ваше величество, раздули тлевший во мне патриотизм в мощное пламя. Десять лет тому назад, когда я был еще ребенком (мне и теперь только девятнадцать лет), я играл на окраине Пэмп-стрит с деревянным мечом; бумажный шлем венчал мою голову, и я грезил о великих войнах. В каком-то диком забвении взмахнул я мечом и замер потрясенный, ибо меч мой поразил вас, сир, — вас, моего короля, гулявшего в царственном одиночестве, полного дум о благе страны. Но мне не следовало пугаться. Тогда впервые в жизни познал я, что такое царственность. Вы не отшатнулись, вы не разгневались. Вы не вызвали стражей. Вы не пожелали покарать меня. Нет, в царственных, пламенных словах, неизгладимо запечатлевшихся в моей душе, вы завещали мне всю жизнь обращать мой меч против врагов дивного моего града. Подобно священнослужителю, указующему на алтарь, указали вы мне на холм Ноттинга. «Всегда будь готов умереть за священную гору», сказали вы, «даже если все полчища Бейзуотера соберутся у ее подножия». Я не забыл этих слов, и теперь я повторяю их, ибо час настал и пророчество ваше исполняется. Священный холм окружен полчищами Бейзуотера, и я готов умереть.

Король лежал в своем кресле, словно обломок крушения.

— О боже, боже, боже, — бормотал он, — подумайте, подумайте! Дело моих рук! Оказывается, во всем виноват я! Итак, вы тот самый рыжий мальчишка, который ткнул меня своим мечом в жилет. Что я наделал! Господи, что я наделал! Я думал, что создал шутку, а создал чуть ли не эпос. Что делать! Неужели же моя шутка была недостаточно ясна, недостаточно понятна? Я пустил в ход весь свойственный мне тонкий юмор, чтобы позабавить вас, и вместо этого вызвал на ваших глазах слезы! Но к чему я распинаюсь! К чему я обращаюсь с вопросами к милому молодому человеку, окончательно и бесповоротно спятив-

шему с ума? Какой в этом смысл? Какой смысл во всем, что мы делаем? О, господа, господа!

Внезапно он взял себя в руки и выпрямился.

— Вы не находите, что священный Ноттинг-Хилл — полная бессмыслица.

— Бессмыслица? — растерянно переспросил Вэйн. — Почему?

Король тупо уставился на него.

— Простите, — сказал он.

— Что такое Ноттинг-Хилл? — просто сказал Вэйн. — Ноттинг-Хилл — это самый обыкновенный пригорок, на котором люди строили дома, чтобы жить в них, на котором они рождались, любили друг друга, молились, женились и умирали. Почему же я должен находить его бессмыслицей?

Король улыбнулся.

— Да потому, мой Леонид, — начал он и вдруг, неизвестно почему, запнулся и почувствовал, что ему нечего сказать. В самом деле, почему Ноттинг-Хилл обязательно должен был быть бессмыслицей? Почему? Ему почудилось, что почва ускользает у него из-под ног. Он почувствовал то, что чувствуют все люди, когда основные их принципы рушатся от одного беспощадного вопроса. Так постоянно чувствовал себя Баркер, когда король спрашивал его: «Какое вам дело до политики?»

Мысли короля беспорядочно разбегались; он никак не мог собрать их.

— Да потому, что все это смешно, — неуверенно сказал он.

— Скажите, — промолвил Адам, внезапно обращая к нему гневное свое лицо, — как, по-вашему, распятие на кресте было серьезным делом или нет?

— Гм... гм... — начал Оберон. — Признаюсь, я всегда полагал, что в нем имелись и некоторые серьезные стороны...

— Вы ошибаетесь, — с невероятной страстностью перебил его Вэйн. — Распятие на кресте комично. Распятие на кресте забавно до последней степени. Распятие на кресте — смешная, непристойная вариация сажания на кол, выдуманная специально для любителей погоготать — для рабов и мещан, для зубных врачей и мелких лавочников, как сказали бы вы. Уличные мальчишки Древнего Рима

в шутку малевали кресты — ведь это все равно, что виселица — на заборах, а теперь они сияют над кровлями всех храмов мира. Я видел их! Неужели же я отступлю?

Король молчал.

Адам продолжал говорить; его голос гулко разносился по залу.

— Этот смех, этот тиранический смех — не такая уж большая сила, как вы думаете. Петр был распят на кресте — распят вниз головой. Что может быть смешнее почтенного старого апостола, висящего вниз головой? Разве это не в духе вашего современного юмора? А какой из всего этого толк? Вниз ли головой, вверх ли головой — Петр остался для человечества Петром. И вниз головой висит он по сей день над Европой, и миллионы людей все еще живут и дышат его учением.

Король Оберон поднялся на ноги.

— В ваших словах что-то есть, — сказал он. — Вы, я вижу, кое о чем думали, молодой человек.

— Я только чувствовал, сир, — ответил правитель. — Как и все люди, я родился на клочке земли, который я полюбил, потому что играл на нем ребенком; я полюбил то место, где я влюблялся и беседовал с друзьями ночи напролет, ночи, когда ко мне сходили боги. Эти крошечные садики, в которых мы шептали любовные слова! Эти улицы, по которым мы несли наших мертвых! Отчего им быть пошлыми? Отчего им быть абсурдом? Отчего же это смешно — говорить, что в почтовом ящике есть поэзия, — когда еще год тому назад я не мог видеть красный почтовый ящик на фоне желтого вечера, чтобы не почувствовать себя во власти некоего дивного чувства, смутного, непостижимого, но более сильного, чем все радости и все печали? Я не вижу ничего смешного в словах «величие Ноттинг-Хилла» — Ноттинг-Хилла, где тысячи бессмертных душ трепещут страхом и надеждой.

Оберон несколько секунд молча смахивал с рукава пылинки. Лицо его было серьезно и сосредоточенно; его выражение не имело ничего общего с той совиной торжественностью, которая была излюбленной его маской.

— Все это чрезвычайно сложно, — сказал он наконец. — Все это чертовски сложно. Я понимаю все, что вы хотите сказать. Я согласен с вами во всем, кроме одного: верней сказать, я согласился бы с вами, будь я достаточно

молод, чтобы быть пророком и поэтом. Я чувствую, что вы во всем правы, но только до тех пор, пока вы не произносите слова «Ноттинг-Хилл». Тогда мне начинает казаться, что старый Адам просыпается с громовым хохотом и в пух и прах разбивает нового Адама — Адама Вэйна.

В первый раз за все время правитель ничего не ответил; он стоял недвижно, уставившись в пол мечтательным взглядом. Надвигался вечер — в зале становилось все темнее.

— Я знаю, — сказал он вдруг странным, дремотным голосом. — В том, что вы говорите, тоже есть доля правды. Трудно не смеяться над будничными именами, только я говорю, что над ними не следует смеяться. Есть одно целебное средство, я уже думал о нем. Но такие мысли ужасны.

— Какие именно? — спросил Оберон.

Правитель Ноттинг-Хилла, казалось, впал в подобие транса: какое-то нездешнее пламя мерцало в его глазах.

— Есть магический жезл, я знаю его. Но только два-три человека умеют как следует обращаться с ним, и то редко. Это волшебный, грозный жезл; он сильнее того, кто держит его в руках. Порой он ужасен, порой он приносит горе взявшему его. Но то, к чему он прикоснется, навеки теряет частицу своей пошлости. То, к чему он прикоснется, загорается волшебным светом. Если я прикоснусь им — этим магическим жезлом — к трамвайным путям и переулкам Ноттинг-Хилла, люди навеки полюбят их и навеки будут бояться их.

— О чем вы говорите, черт вас побери? — крикнул король.

— Он превратил жалкие рожицы в райские кущи, а грязный хлев в собор, — продолжал безумец. — Отчего же не превратить ему фонарные столбы в сказочные греческие светильники, а омнибус — в расписной корабль? Его прикосновение совершенствует все и вся.

— Что это за жезл такой? — нетерпеливо крикнул король.

— Вот он, — сказал Вэйн, указывая на меч, пламенным лучом лежащий на полу.

— Меч? — крикнул король и одним прыжком укрылся под балдахин.

— Да! Да! — хрипло крикнул Вэйн. — То, к чему он прикоснется, никогда уже не будет вульгарным! То, к чему он прикоснется...

Король Оберон сделал жест ужаса.

— И ради этого вы хотите пролить кровь? — вырвалось у него. — Ради идиотской какой-то идеи...

— О короли, короли! — крикнул Адам, задыхаясь от презрения. — Какие вы гуманные, какие мягкосердечные, какие осмотрительные! Вы готовы вести войну из-за какой-нибудь границы, из-за какого-то ввоза и вывоза! Вы готовы проливать кровь ваших подданных ради любой побрякушки, любого каприза! А когда дело касается того, ради чего действительно стоит жить и умереть, — какими гуманными становитесь вы тогда! Я заявляю вам в полном сознании того, что я говорю: действительно необходимы войнами были только войны религиозные. Действительно праведными войнами были только войны религиозные. Действительно гуманными войнами были только войны религиозные. Ибо те, что вели их, по крайней мере, сражались за идею, которая обещала счастье и вечную радость. Какой-нибудь крестоносец был, по крайней мере, уверен в том, что ислам ранит душу каждого человека, который попадает к нему в плен, будь то король или лудильщик. А я уверен в том, что Бэк и Баркер и прочие богатые коршуны ранят душу каждого и всякого, кого они встречают на своем пути, ранят каждый дюйм земли, по которой они ходят, каждый кирпич дома, в котором они живут. Неужели же именно вы отказываете мне в праве сражаться за Ноттинг-Хилл — вы, кого английское правительство так часто обвиняло в шутовстве? Если богов действительно не существует, как утверждают ваши друзья-богачи, если небеса над нами действительно темны и безответны, то за что же сражаться человеку, как не за тот клочок земли, где находился рай его детства, где над ним краткое мгновение сияло небо его первой любви? Если не священны храмы и речения святых, то что же тогда священно, как не священная наша юность?

Король беспокойно расхаживал взад и вперед по своему возвышению.

— Очень трудно присоединиться к такому безнадежному взгляду, — сказал он, кусая губы, — взять на себя такую ответственность...

В это мгновение дверь тронного зала распахнулась, и из смежной комнаты, подобно чириканию птицы, донесся высокий, гнусавый, но вполне корректный голос Баркера:

— Я так прямо и сказал ему — общественные интересы...

Оберон яростно обернулся к Вэйну.

— Что все это значит, черт возьми? Что за вздор я болтаю? Что за вздор болтаете вы? Вы загипнотизировали меня! Будь они прокляты, ваши невинные голубые глаза! Пустите меня! Отдайте мне мое чувство юмора! Отдайте мне его, отдайте, говорю я вам!

— Даю вам слово, — грустно ответил Вэйн, — я не отнимал его у вас.

Король откинулся на спинку трона и разразился громовым хохотом.

— Я этого и не думаю, — воскликнул он.

Книга третья

Глава I. Умонастроение Адама Вэйна

На девятый год царствования Оберона вышла в свет небольшая книжка стихов под названием «Гимны с Холма». Стихи были неважные, и книжка имела весьма сомнительный успех; тем не менее она привлекла к себе обостренное внимание со стороны одной критической школы. Король, примыкавший к этой школе, посвятил «Гимнам с Холма» обстоятельную статью в журнале «Прямо из Конюшни» — спортивном органе, в котором он сотрудничал в качестве литературного обозревателя. Школа эта именовалась Школой гамака, так как один из ее недоброжелателей однажды подсчитал, что не менее тринадцати статей, принадлежавших перу ее последователей, начинались словами: «Я читал эту книгу, лежа в гамаке. Не жась в теплых лучах солнца, я...»; засим уже шли вариации. Критики, примыкавшие к Школе гамака, любили всякого рода книги, в особенности же книги глупые.

«Наравне с положительными качествами книги, — говорили они, — которых мы — увы! — ни в одной еще не нашли, мы ищем и приветствуем качества отрицательные».

И вследствие этого авторы отнюдь не стремились заслужить их похвалу (как признак того, что их книги блещут отрицательными качествами) и чувствовали некоторое беспокойство, когда взоры Школы гамака устремлялись на них с благоволением.

«Гимны с Холма» отличались от прочих сборников стихов своим восторженным восхвалением городской поэзии Лондона как чего-то прямо противопо-

ложного поэзии сельской. Эта страстная любовь к городу как таковому была явлением довольно обычным для двадцатого века, и, несмотря на излишнюю подчеркнутость и проскальзывавшую порой искусственность, она была во многом оправданна.

В одном отношении город на самом деле поэтичней и гораздо ближе человеческой душе, чем деревня. Ибо если Лондон и не может называться созданием рук человеческих, то он, по крайней мере, создание человеческого греха. Улица, безусловно, гораздо поэтичней лужайки, ибо в улице есть тайна. Улица ведет куда-то, а лужайка не ведет никуда. Впрочем, в «Гимнах с Холма» была еще одна особенность, тщательно выделенная королем в его обзоре. Неудивительно, что он проявил столько внимания к такому, казалось бы, незначительному литературному событию — в свое время он сам выпустил под псевдонимом «Мечтательная маргаритка» сборник лирических стихов о Лондоне.

Особенность «Гимнов», подчеркнутая королем, заключалась в следующем: сторонники чистого искусства, как, например, «Мечтательная маргаритка» (к изысканному стилю которой король, подписывавший свои критические статьи «Удар грома», был незаслуженно строг), воспевая Лондон, сравнивали его с природой, то есть пользовались последней как фоном, как источником всех поэтических образов. Более же смелый автор «Гимнов с Холма», напротив, пользовался городом как фоном и все свои образы черпал из городского обихода.

«Возьмем, к примеру, — писал критик, — типично женские строки «Мечтательной маргаритки»:

«Изобретателю кеба» —

Ты раковину изваял, поэт,
Где вдвоем так сладок любовный бред.

Только женщина могла создать подобные строки. Всякая женщина питает некоторую слабость к природе; женское творчество только тогда и может быть прекрасным, когда оно — эхо, когда оно — тень природы. Формально «Маргаритка» славит кеб, но в душе она все еще ребенок, собирающий ракушки на берегу моря. Она никогда не сумеет безраздельно принадлежать городу, как принадлежит ему мужчина. Разве мы сами сплошь да рядом не говорим «городской мужчина». А кому придет

в голову сказать «городская женщина»? Более того, как бы женщина физически ни была «городской», она всегда ориентируется на природу; она старается таскать природу за собой; она позволяет травам расти у нее на голове и мохнатым зверям вгрызаться в ее глотку. В сердце туманного города она придает своей шляпе вид сельского сада, полного ярких цветов. А мы, мужчины, с нашим уклоном в урбанизм, придаем нашим шляпам форму дымовой трубы — символа цивилизации. Женщина готова на все, лишь бы не остаться без птиц, лишь бы превратить свою голову в дерево и украсить последнее мертвыми птицами, поющими в его ветвях».

Подобные рассуждения занимали несколько страниц; в конце концов критик вспоминал о первоначальной своей теме и возвращался к ней:

Ты раковину изваял, поэт,
Где вдвоем так сладок любовный бред.

«Итак, особенность этих тонких, насквозь женских строк, — продолжал «Удар грома», — заключается в том, что они, воспевая кеб, сравнивают его с раковиной — созданием природы. А вы посмотрите, как трактует ту же самую тему автор «Гимнов с Холма»! В конце своего великолепного ноктюрна, озаглавленного «Последний омнибус», он внезапно переходит от тончайшей, терпкой меланхолии к порыву, к динамике:

Грохочущий ветер из-за угла
Рванулся стремительным кебом...

Разница очевидна. «Мечтательная маргаритка» считает величайшим комплиментом для кеба сравнение его с морской раковиной. А автор «Гимнов с Холма» считает величайшим комплиментом для бессмертного урагана сравнение его с городской пролеткой. Из двух наших поэтов настоящий поклонник Лондона, разумеется, он и только он. Недостаток места не позволяет нам распространяться о всех его прекрасных вариациях на указанную тему, о той поэме, например, в которой он сравнивает глаза любимой женщины не со звездами, а с двумя яркими уличными фонарями, указующими путь страннику. Недостаток места не позволяет нам остановиться на чудесном лирическом отрывке, воскрешающем дух елизаветинской эпохи, в котором наш утонченный модернист

вместо того, чтобы сказать: «Роза и лилия спорят о красе своих лепестков», говорит: «Красный омнибус Хэммерсмита бросает вызов белому омнибусу Фулхэма». Какой великолепный образ — два омнибуса, бросающих друг другу вызов!»

Тут статья неожиданно обрывалась, по всей вероятности, потому, что королю, сильно нуждавшемуся в деньгах, пришлось спешно отправить рукопись в редакцию. Каким бы ни был Оберон плохим королем, критиком он был превосходным и попал прямо в точку. «Гимны с Холма» на самом деле не были похожи на прочие стихи, воспевавшие поэзию Лондона. Объяснялось это тем, что они были написаны человеком, который в жизни своей ничего не видел, кроме Лондона, и для которого Лондон тем самым олицетворял всю вселенную. Они были написаны неуклюжим семнадцатилетним мальчиком, родившимся в Ноттинг-Хилле; они были написаны Адамом Вэйном. Семи лет от роду он должен был уехать на морское побережье, но обстоятельства воспрепятствовали этому, и он на всю жизнь остался в родной Пэмп-стрит. Следствием этого явилось его отношение к уличным фонарям как к чему-то столь же вечному, как звезды. Он не знал, где кончаются фонари и где начинаются звезды. Дома были для него нерушимыми, неприступными горами. Он писал о них так, как иной поэт писал бы о горах.

Соприкасаясь с людьми, природа надевает маску; на этот раз она надела маску Ноттинг-Хилла. Для поэта, рожденного на Кумберлендских островах, «природой» были бы зубчатые скалы и грозовые тучи, клубящиеся на горизонте. Для поэта, рожденного в Эссекской долине, — широкие, сверкающие реки и огневые закаты. А для Вэйна природой была цепь лиловых крыш и лимонных фонарей — светотень города. Он не задумывался над тем, умно ли, стоит ли воспевать тени и краски города; он никогда не видал других теней и красок и воспевал эти, потому что они были тенями и красками. Он видел их, потому что он был поэтом, — плохим, но все-таки поэтом. Как часто мы забываем, что плохой поэт не перестает быть поэтом, как плохой человек не перестает быть человеком.

Книжка стихов м-ра Вэйна никуда не годилась. Он безропотно примирился с этим, вернулся к своим обычным занятиям — он был приказчиком в мануфактурном магазине — и больше не писал. Но чувство свое к Нот-

тинг-Хиллу он сохранил, потому что иначе чувствовать он не мог, потому что чувство это было альфой и омегой его мировоззрения. Внешне же он, по-видимому, навсегда откасался от мысли как-нибудь выразить его.

Он был от природы чистейшим мистиком, одним из тех людей, что вечно живут на грани чудесного. И, быть может, он первый из них постиг, как часто дуновение чудесного проносится над нашими прозаическими городами. На расстоянии двадцати шагов — он был очень близорук — красные, желтые и белые солнца газовых фонарей таяли, сливались и создавали образ радужного фруктового сада, лесной опушки сказочной страны.

Но как это ни странно, именно благодаря тому, что он был плохим поэтом, на его долю выпал единственный, небывалый триумф. Именно потому, что он был пустым местом в английской литературе, он занял видное место в английской истории. Он был один из тех людей, которым природа даровала великое томление и отказала в средствах для художественного выявления его. Он с раннего детства был косноязычным поэтом; он мог бы остаться им до самой смерти и неспетой унести в могилу свою чудесную, неслыханную доселе песню. Но он родился под счастливой звездой — обстоятельства благоприятствовали ему. Случай поставил его во главе родного захолустья как раз в те годы, когда осуществлялась королевская шутка — как раз в то время, когда всем городским кварталам было повелено расцвести знаменами и цветами. Из бесконечной вереницы молчаливых поэтов, прошедших по миру с первого дня творения, он один оказался в центре геральдической грезы, в которой он мог действовать, говорить и жить как истый лирик. В то время как автор шутки и жертвы ее относились к ней как к глупой гигантской шараде, он один принял ее всерьез и внезапно вступил на престол художественного всемогущества. К его услугам были латы, копыя, военная музыка, знамена, сторожевые огни, рокот барабанов и прочий театральный реквизит. Этот жалкий рифмоплет, сжегший свои стишки, вступил в подлинную вольную жизнь и начал творить поэму, о которой тщетно грезили все поэты мира, — вступил в жизнь, в сравнении с которой «Илиада» показала бы грошовым суррогатом.

Адам Вэйн был еще ребенком — сильным, молчаливым, рассеянным ребенком, — когда в нем уже начало

проявляться то свойство, то качество, которое в современных городах почти всегда является чем-то искусственным, но которое, тем не менее, может быть естественным. В нем пробудился патриотизм. Подобно всем добродетелям и порокам, патриотизм может существовать в подлинном, неразведенном виде, нестесненный, не смятый привходящими обстоятельствами. Дитя, рассказывающее о своем родном городе или родной деревне, может ошибаться, как Геродот, и лгать, как Мюнхгаузен, — и все же в его рассказе будет не больше психологической лжи, чем в лучшей из народных песен. Адам Вейн, в бытность его мальчиком, питал к убогим улицам Ноттинг-Хилла то всеобъемлющее древнее чувство, которое родилось в Афинах и Иерусалиме. Он ведал тайну могучей страсти, он ведал ту тайну, которая заставляет старые народные песни звучать так странно, так непривычно для нашего цивилизованного слуха. Он знал, что истинный патриотизм чаще повествует о горестях и разбитых надеждах, чем о победах. Он знал, что половина очарования, исходящего от народных преданий, заключается в именах собственных. И, помимо всего, ему была известна существенная психологическая особенность, столь же присущая патриотизму, как тайный стыд любовнику: он знал, что истинный патриот никогда, ни при каких обстоятельствах не хвастается богатством своей страны, а наоборот, всегда, во что бы то ни стало подчеркивает ее бедность.

Все это он знал не потому, что был философом или гением, а потому, что он был ребенком. Если вы возьмете на себя труд прогуляться по одному из грязных переулков, выходящих на Пэмп-стрит, вы неминуемо встретите там какого-нибудь маленького Адама, именующего себя королем одной определенной тротуарной плиты. И чем меньше будет эта плита, тем сильнее будет он гордиться ею и любить ее.

Как раз в такой момент, когда он грезил о великой оборонительной войне и в упоении властью намечал границы своего государства, простиравшегося от водосточного желоба до края тротуара, король и наткнулся на него и двумя-тремя шуточными фразами навеки закрепил странные устремления его души. С тех пор фантастическая идея вооруженной защиты Ноттинг-Хилла стала для него чем-то органическим, чем-то непреложным, как еда, сон, курение. Ради нее он жил, о ней он думал, лежа без

сна в постели, с ней он вставал по утрам. Две-три лавчонки были для него арсеналом; дворик — крепостным рвом; балконы и тумбы — прикрытием для кулеврин и лучников. Человеку со средним воображением не понять, не обнять того головокружительного полета фантазии, с которым Адам Вэйн окрасил свинцовый лондонский пейзаж золотом романтики. Процесс этот начался в нем чуть ли не с пеленок и мало-помалу стал для него обычным состоянием, чем-то вроде клинического сумасшествия.

Особенно ярко проявлялось в нем это состояние по ночам — в тот единственный час, когда Лондон обретает себя, когда огни его мерцают во тьме, словно глаза бесчисленных кошек, а темные остовы домов сбрасывают все покровы и маячат в тумане голыми синими холмами. Сокровеннейшие тайны открывались ночью Адаму, и до самой зари, до самого полдня читал он книгу жизни при свете темноты. Для него — единственного из всех людей, быть может, — невозможное стало возможным. Искусственный город стал для него природой, уличные тумбы и газовые фонари — святынями, древними, как небеса.

Иногда бывает достаточно толчка. Гуляя однажды по Пэмп-стрит в сопровождении одного друга, он сказал, мечтательно глядя на чугунную ограду какого-то садика:

— Как эта решетка волнует кровь!

Его друг (а также и ревностный его почитатель) пристально посмотрел на него, но ничем не выдал своего волнения. Между тем он был так встревожен замечанием Адама, что в течение многих вечеров возвращался на это место и упорно всматривался в решетку. Он тщетно ждал, чтобы с его кровью что-нибудь случилось. Наконец он обратился за разъяснениями к самому Вэйну. Оказалось, что центр тяжести лежал в одной мелочи, которой он не заметил на протяжении всех своих шести визитов: решетка была, как и большинство лондонских решеток, украшена наконечниками в виде копий. В детские годы эти наконечники напоминали Вэйну копья на изображениях Ланчелота и св. Георгия, и эта ассоциация осталась с ним на всю жизнь. И теперь, когда он смотрел на них, они казались ему самыми настоящими копьями, стальной щетиной, ограждающей священные дома Ноттинг-Хилла. Теперь он уже не был властен отказать от этой ассоциации. То было отнюдь не случайное сравнение. Было бы неправильно сказать, что знакомые прутья решетки напо-

минали ему копы, скорее знакомые копы напоминали ему прутья решетки.

Спустя несколько дней после знаменательного разговора с королем Адам Вэйн, словно плененный лев, расхаживал взад и вперед по Пэмп-стрит, не спуская глаз с пяти лавок, лепившихся одна к другой. То были парикмахерская, аптека, бакалейная, антикварный магазин и магазин игрушек, в котором продавались также и газеты. Эти-то пять лавок и казались его прихотливому детскому уму неприступной цитаделью Ноттинг-Хилла. Если Ноттинг-Хилл был сердцем вселенной, а Пэмп-стрит сердцем Ноттинг-Хилла, то они были сердцем Пэмп-стрит. То обстоятельство, что все они были малы и лепились друг к дружке, вызывало в нем чувство огромной уютиности и компактности — чувство, которое, как мы уже говорили, является стержнем не только его, но и вообще всякого патриотизма. Бакалейщик (торговавший также вином и спиртом) был включен в его схему, потому что он мог снабжать гарнизон провиантом; антикварная лавка — потому что в ней имелось достаточное количество мечей, пистолетов, алебард, самострелов и аркебузов, чтобы вооружить целую иррегулярную армию; магазин игрушек, в котором продавались газеты, — потому что Вэйн считал свободную печать насущной необходимостью для души Пэмп-стрит; аптека — для борьбы с эпидемиями, буде таковые вспыхнут в осажденном городе; и парикмахерская — потому что она находилась поблизости и еще потому, что сын парикмахера был близким другом Вэйна и весьма утонченной натурой.

Был безоблачный октябрьский вечер. Над крышами и трубами маленькой крутой улочки, в которой чудилось что-то мрачное, жестокое и драматическое, темно-лиловые тона сменялись серебряными. В глубокой тени газовые фонари лавок мерцали пятью таинственными огнями, а перед ними, словно призрак на фоне неких адских костров, словно какая-то гигантская птица, шагал Адам Вэйн.

Он взволнованно размахивал тростью и отрывисто бормотал:

— Да, в конце концов, даже горячо верующему человеку приходится сталкиваться с загадками. Есть сомнения, с которыми не совладать даже самому беспощадному философскому анализу. И вот одно из них. Что выше — нор-

мальная человеческая потребность, нормальное человеческое уmonoстроение или тот странный строй души, который зовет к сомнительной, гибельной славе, тот редкий комплекс духовных сил — познания и жертвенности, — существование которого возможно только в силу существования зла? Что милее нашему сердцу — длительное благополучие мира или безумная красота битвы? Что важнее — человек, великий своей будничностью, или человек, великий своей внезапностью, своей оригинальностью? Что нужнее — вот она, загадка, встающая передо мной, — бакалейщик или аптекарь? Кто из них подлинная опора Ноттинг-Хилла — стремительный ли, рыцарственный аптекарь, или приветливый, всевидящий бакалейщик. В минуту великих сомнений и метаний духа я вижу один исход: руководствоваться интуицией и ждать. Как бы там ни было — жребий брошен! Да простит мне история, если я совершил ошибку, но мой выбор пал на бакалейщика.

— Доброе утро, сэр, — сказал бакалейщик, пожилой мужчина с жесткими рыжими усами и бородой и лысым лбом, на который невзгоды мелкого лавочника наложили свою неизгладимую печать. — Чем могу служить, сэр?

Вэйн вошел в лавку и церемонным жестом снял шляпу. Глаза бакалейщика округлились.

— Сэр, — торжественно молвил правитель, — я пришел к вам, чтобы воззвать к вашему патриотизму.

— Гм, — промычал бакалейщик, — это напоминает мне мои детские годы, когда у нас еще устраивались выборы.

— Они воскреснут вновь! — сказал Вэйн. — И еще многое другое воскреснет, гораздо более великое. Слушайте, м-р Мид. Я знаю, что бакалейщикам приходится бороться с соблазнами космополитической философии. Я очень хорошо понимаю, что значит сидеть весь день среди товаров со всех концов земли, товаров, прибывших по странным, чуждым водам, неведомым нашим морякам, из лесов, которых мы даже представить себе не можем. Какой восточный владыка может похвалиться столь драгоценными дарами с заката и восхода? Сам Соломон в расцвете своей славы не обладал такими сокровищами. Индия лежит у вас под боком! — воскликнул он, повышая голос, и махнул тростью на ящик с рисом; бакалейщик испуганно заерзал на своем стуле. — Китай у ваших ног, Гвиана за вашей спиной, Америка над вашей головой,

и в этот самый момент, что вы разговариваете со мной, вы, подобно древнему испанскому адмиралу, держите в руках Тунис.

М-р Мид выронил из рук коробку фиников, потом нерешительно наклонился и поднял ее.

Вэйн продолжал более сдержанным голосом, в котором трепетало, однако, нарастающее волнение.

— Повторяю, мне известны соблазны вашего интернационального, вашего вселенского богатства. Я знаю, что вам грозит иная опасность, чем прочим лавочникам. Не ограниченной, тупой торговой машиной можете вы стать, а наоборот, слишком необузданным, слишком смелым, слишком либеральным фантазером. Подобно тому как пирожнику, изготовляющему родные яства под родным небом, грозит опасность впасть в узкий патриотизм, так бакалейщику грозит опасность впасть в интернационализм. Но я пришел к вам во имя патриотизма, которого не в силах заглушить никакие странствия, никакие соблазны. Я прошу вас вспомнить о Ноттинг-Хилле. Ибо, в конце концов, он сыграл немалую роль в расцвете вашего космополитического великолепия. Ваши финики срезаны со стройных пальм Берберии, ваш сахар прибыл с диковинных тропических островов, ваш чай — из затерянных селений Империи Дракона. Чтобы обставить эту комнату, под Южным Крестом рубились леса, а под Полярной звездой остроги поражали левиафанов. Но вы сами тоже ведь немалое сокровище, вы сами — мозг, управляющий всей этой огромной системой, вы сами выросли, окрепли и прониклись мудростью среди этих серых домов, под этим дождливым небом. Городу, который создал вас, а тем самым и ваши богатства, угрожает война. Идите за мной и по всем концам земли разнесите великую весть: жир — с Севера, плоды — с Юга, рис — из Индии, пряности — с Цейлона, овцы — из Австралии, мужи — из Ноттинг-Хилла!

Бакалейщик присел на стул, раскрыл рот и на несколько секунд застыл, глядя перед собой оловянными глазами; он был похож на рыбу, вытащенную на песок. Потом он почесал в затылке, но не произнес ни слова.

— Что прикажете отпустить, сэр? — пробормотал он наконец.

Вэйн обвел лавку растерянным взглядом. Увидев пирамиду ананасных консервов, он взмахом трости указал на них.

— Вот это, — сказал он.

— Все? — спросил бакалейщик.

— Да, все, — ответил Вэйн с таким видом, словно его окатили холодной водой.

— Слушаюсь, сэр! Благодарю вас, сэр, — с воодушевлением подхватил бакалейщик. — Можете рассчитывать на мой патриотизм, сэр.

— Я всегда рассчитывал на него, — сказал Вэйн и вышел в зияющую ночь.

Бакалейщик поставил финики на место.

— Что за славный парень, — пробормотал он. — Прямо удивительно, как часто эти помещанные бывают милейшими людьми. Куда симпатичней, чем иной нормальной человек.

Тем временем Адам Вэйн дошел до аптеки и остановился, охваченный сомнением.

— Опять эта слабость, — пробормотал он. — С самого детства я никак не мог избавиться от страха перед этой лавкой чудес. Бакалейщик романтичен, бакалейщик красочен, бакалейщик поэтичен в полном смысле этого слова, но он не сверхъестествен. А аптекарь? Все прочие лавки находятся в Ноттинг-Хилле, его же лавка — в Стране чудес. Взять хотя бы эти огромные груши, пылающие цветными огнями! Создавая солнечный закат, бог копировал именно их. Они сверхъестественны, но есть в них и что-то благодатное. В них источник страха божьего. Я трепещу! Но я мужчина и должен войти.

Он был мужчиной и вошел. Низкорослый темноволосый молодой человек в очках поднялся из-за конторки и приветствовал его сияющей, но вполне деловой улыбкой.

— Добрый вечер, сэр, — сказал он.

— О да, таинственный кудесник, — ответил Адам, каким-то странным жестом простирая руки. — Вечер хорош. Именно в такие ясные, мягкие ночи ваше убежище обретает истинный свой вид. В такие ночи они кажутся особенно прекрасными — эти зеленые и пурпурные луны, из века указующие путь истомленному пилигриму и влекущие его в сию обитель благого волшебства.

— Вам, собственно, что угодно? — осведомился аптекарь.

— Сейчас, сейчас, — дружелюбно, но как-то нерешительно сказал Вэйн. — Дайте-ка мне летучей соли.

— На восемь пенсов, на девять или на полтора шиллинга? — бойко спросил молодой человек.

— Полтора, полтора, — с какой-то дикой покорностью ответил Вэйн. — М-р Боулс, я хочу задать вам один страшный вопрос.

Он остановился и собрался с духом.

«Надо быть тактичным, — пробормотал он, — надо с каждым из них разговаривать по-своему».

— Я хочу задать вам вопрос, — повторил он вслух, — который коснется самой сущности вашего дивного ремесла. М-р Боулс, неужели все это должно погибнуть? — И он обвел тростью всю аптеку.

Ответа не последовало, и он продолжал с большой страстностью:

— Мы, ноттингхиллцы, чувствовали чудесную тайну вашей профессии до самых ее глубин. И вот Ноттинг-Хиллу грозит беда.

— Еще что прикажете, сэр? — спросил аптекарь.

— Ах, да что-нибудь, — несколько нетерпеливо ответил Вэйн. — Скажем, хинин. Спасибо. Неужели он должен погибнуть? Я говорил с людьми из Бейзуотера и Северного Кенсингтона — м-р Боулс, они материалисты! Они не видят ничего чудесного в вашей профессии. Они считают аптекаря будничным явлением. Они считают его человеком!

Аптекарь на секунду замер, чтобы пережить нанесенное ему оскорбление, но тотчас же пришел в себя.

— Еще что, сэр?

— Квасцы! — в бешенстве крикнул правитель. — Я режюмирую: только в нашем священном городе умеют уважать ваш жреческий подвиг. Стало быть, сражаясь за нас, вы будете сражаться не только за себя самого, но и за все, что вы в себе воплощаете. Вы будете сражаться не только за Ноттинг-Хилл, но и за Страну чудес, ибо если Бэк, Баркер и присные победят, Страна чудес навеки погибнет.

— Еще что, сэр? — спросил неуживимо приветливый м-р Боулс.

— Свинцовой примочки, валериановых капель, магнeзии! Опасности не избежать! Но я чувствую, что я борюсь не только за родной мой город (хотя я и обязан ему всем, что во мне есть), но и за все точки земного шара, где жи-

вут такие великие идеи. Я борюсь не за один только Ноттинг-Хилл, я борюсь и за Бейзуотер, и за Северный Кенсингтон. Ибо если золотые мешки одержат победу, эти города тоже потеряют все свои древние традиции, всю тайну своей национальной души. Я знаю, я могу рассчитывать на вас.

— О да, сэр, — пылко ответил аптекарь. — Мы всегда рады услужить хорошему клиенту.

Адам Вэйн вышел из аптеки с чувством глубокого удовлетворения.

— Какое счастье обладать тактом, — пробормотал он, — уметь использовать слабые места человеческой души — космополитизм бакалейщика и древний, как мир, мистицизм аптекаря. Куда бы я годился, если бы у меня не было такта?

Глава II. *Мистер Тэрнбул*

Побеседовав с антикваром и парикмахером, Адам несколько усомнился в своих дипломатических способностях и знании человеческой души. Несмотря на величайшее внимание, проявленное им к психологическим и бытовым особенностям каждого лавочника в отдельности, он встретил у обоих довольно суровый прием. Ему только оставалось теряться в догадках относительно причин его и спрашивать себя, не руководствовались ли лавочники бессознательной неприязнью к человеку с улицы, пытавшемуся приподнять завесу над масонскими тайнами их ремесла.

Начало беседы с владельцем антикварной лавки посулило ему успех. Антиквар с места в карьер пленил его одной фразой. Он угрюмо сидел на пороге своей лавки — морщинистый старик с остроконечной седой бородкой и с видом опустившегося барина.

— Как идут ваши дела, о странный страж былого? — любезно спросил его Вэйн.

— Не слишком бойко, сэр, — ответил старик покорным тоном, столь обычным для людей его порядка. — Ужасно тихо.

Глаза Вэйна внезапно вспыхнули.

— Великие слова! — воскликнул он. — Они достойны человека, торгующего историей человечества! «Ужасно тихо». В этих двух словах — весь дух нашего поколения. Именно так я ощущал его еще в пеленках. Порой я спра-

шиваю себя, чувствует ли еще кто-нибудь, кроме меня, весь гнетущий ужас этой тишины? Я вижу чистейшие, вылизанные улицы, я вижу беззаботных, себялюбивых людей в черном, гуляющих по ним. И так день за днем, день за днем, без перебоев, без событий! Но для меня эта жизнь — сон, и я хочу проснуться — застонать и проснуться. Для меня тишина нашей жизни не что иное, как ужасная тишина туго натянутой струны. В любой момент может она лопнуть с оглушительным грохотом. Вы сидите среди обломков великих войн, вы как бы сидите на поле брани — вы должны знать, что война не так страшна, как этот гнусный мир. Вы знаете, что праздные гуляки, носившие эти мечи во времена Франсуа и Елизаветы, жестокие дворяне и бароны, крушившие этими булавами черепа на полях Пикардии и Нортумберленда, были, быть может, ужасно шумны, но уже, во всяком случае, не были похожи на нас — ужасно тихих!

Был ли то смутный трепет сознания, взбудораженного великими именами и датами, которые называл Вэйн, или же просто врожденная подавленность, но на лицо «стража былого» легла тень какой-то тревоги.

— Но я не думаю, — продолжал Вэйн, — чтобы эта ужасная тишина современности длилась еще долго; хотя в ближайшем будущем она должна, по моим расчетам, еще усилиться. Современный либерализм — какой это фарс! Свобода слова в условиях современной цивилизации фактически означает, что мы должны говорить только о несущественном. Мы не смеем говорить о религии, потому что это не либерально; мы не смеем говорить о хлебе и сыре, потому что это торгашество, мы не смеем говорить о смерти, потому что это действует угнетающе; мы не смеем говорить о рождении, потому что это неэтично. Это не может длиться долго! Что-то должно взорваться, что-то должно нарушить это странное безразличие, этот странный, сонный эгоизм, это странное одиночество скученных миллионов. Оковы должны быть сорваны! Отчего бы не нам с вами сорвать их? Неужели же вы только и умеете, что стеречь реликвии?

Лицо антиквара прояснилось; странное выражение появилось на нем — выражение, которое дало бы недругам Красного Льва повод думать, что из всего сказанного Вэйном старик понял только последнюю фразу.

— Я слишком стар, чтобы менять профессию, — сказал он, — и к тому же я не представляю себе, чем бы я еще мог заняться.

— Отчего бы, — вкрадчиво сказал Вэйн, чувствуя, что решительный момент наступил, — отчего бы вам не быть полковником?

Тут, по всей вероятности, в разговоре и наступил роковой перелом. Сперва антиквар, казалось, был склонен рассматривать предложение Вэйна как нечто, лежащее за пределами немедленного и всестороннего обсуждения. Продолжительная лекция о неизбежности освободительной войны в связи с покупкой сомнительного средневекового меча по непомерно вздутой цене несколько разрядила атмосферу. Тем не менее Вэйн покинул лавку древностей, явно зараженный меланхолией ее владельца.

Посещение парикмахерской только усилило эту меланхолию.

— Прикажете побрить, сэр? — осведомился цирюльник из глубины своего ателье.

— Война! — ответил Вэйн, стоя на пороге.

— Виноват? — отозвался цирюльник.

— Война! — сердечно повторил Вэйн. — Война за все связанное с эстетикой и искусством! Война за красоту! Война за общество! Война за мир! Вам представляется редкий случай смыть с себя позор, уничтожить ходячее мнение о трусости славных художников, полирующих и украшающих лицо нашей жизни. Отчего бы парикмахерам не быть героями? Отчего бы...

— Пошли вон! — гневно крикнул парикмахер. — Знаем мы вашего брата! Пошли вон!

И он двинулся на Вэйна с безграничной яростью кроткого человека, выведенного из себя.

Адам Вэйн на мгновение положил руку на эфес меча, но тотчас же снова уронил ее.

— Ноттинг-Хиллу не нужны трусы, — сказал он и мрачно побрел к игрушечной лавке.

Эта была одна из тех своеобразных крошечных лавок, которые так часто встречаются в лондонских переулках и называются игрушечными только потому, что игрушек в них несколько больше, чем других товаров. Множество разнообразнейших вещей лежит на их полках — табак, школьные тетради, сладости, книжки для чтения, зажимы для бумаги, перочинные ножики, шнурки для сапог и дешевые фейерверки. Продаются в них также и газеты, бурой гирляндой развешанные над входом и окнами.

— Боюсь, что я разговаривал с этими лавочниками не так, как следует, — пробормотал Вэйн, входя в лавку. — То ли я недостаточно выявил смысл и значение их профес-

сий, то ли в них скрыта тайна, недоступная ни одному поэту, так или иначе...

Он подошел к прилавку с весьма угнетенным видом, но тотчас же взял себя в руки и бодро заговорил с владельцем магазина — невысоким человеком с преждевременной сединой в волосах и взглядом взрослого младенца.

— Сэр, — сказал он, — я хожу по этой улице из дома в дом и пытаюсь разъяснить здешним жителям опасность, угрожающую нашему городу. И нигде еще мой долг не казался мне таким тяжелым, как у вас. Ибо владелец игрушечной лавки постоянно соприкасается с тем немногим, что осталось нам от рая, существовавшего в блаженные времена, не ведавшие войны. Вы сидите здесь и размышляете о дивном исчезнувшем времени, когда каждая лестница вела в небо и каждая тропинка сада в никуда. Как это неумно с моей стороны — думаете вы про себя — прийти бить тревогу в старинный детский рай. Но обождите минутку, не торопитесь осуждать меня. Ведь даже и этот рай содержит в себе зачатки той опасности, о которой я говорю. Не в раю ли, созданном для безгрешной жизни, произрастало древо зла? Обратимся к вашим же товарам, радующим детские взоры. Вы продаете кубики; тем самым вы свидетельствуете о том, что созидательные инстинкты гораздо старше инстинктов разрушительных. Вы продаете куклы; тем самым вы становитесь жрецом божественных идолов. Вы продаете игрушечные Ноевы ковчеги; тем самым вы напоминаете людям о том дне, когда было спасено все сущее — о дне незабываемом и великом. Но разве только этими символами доисторической уравновешенности, только этими эмблемами младенчески рассудительной земли торгуете вы, сэр? Не торгуете ли вы гораздо более страшными вещами? Что такое эти коробки, которые я вижу вон там за стеклом, коробки, полные, по-видимому, оловянных солдатиков? Не свидетели ли они той грозной и прекрасной жажды смерти, которая заставила род человеческий уйти из рая? Не презирайте оловянных солдатиков, м-р Тэрнбулл!

— Я и не презираю их, — коротко, но с большим пафосом сказал м-р Тэрнбулл.

— Рад слышать, — ответил Вэйн. — Признаюсь, я боялся, что невинный характер вашего ремесла повредит моим военным планам. Сумеет ли, думал я, этот человек, привыкший только к деревянным мечам, несущим радость, применить к мечам стальным, несущим муку.

И вот я спокоен, хотя бы наполовину. Ваши слова дают мне уверенность в том, что я достиг по крайней мере ворот, ведущих в вашу сказочную страну, ворот, которыми проходят солдаты. Ибо я не стану отрицать — я не смею отрицать, сэр, — что именно о солдатах пришел я поговорить с вами. Да поможет вам ваше кроткое ремесло быть милосердным к мирским тревогам! Да внесет ваш жизненный опыт успокоение в нашу кровавую юдоль! Ибо в Ноттинг-Хилле война.

Маленький человек неожиданно вскочил на ноги и, словно двумя веерами, хлопнул по прилавку пухлыми ладонями.

— Война? — воскликнул он. — Не может быть! Неужели это правда, сэр? О радость! О счастье!

Вэйн чуть не упал от неожиданности.

— Я несказанно рад, — пробормотал он, — я и понятия не имел...

Он отскочил в сторону как раз вовремя, ибо м-р Тэрнбулл одним прыжком перемахнул через прилавок и вылетел на улицу.

— Взгляните-ка, сэр! — крикнул он. — Нет, вы только взгляните!

Он вернулся, размахивая двумя газетами, которые еще минуту тому назад висели над входом в лавку.

— Взгляните-ка! — повторил он и бросил их на прилавок.

Вэйн наклонился и прочел заголовок одной из них:



В другой значилось:

Вэйн еще раз прочел эти строки, явно смущенный чем-то, потом посмотрел на даты. Общим газетам было по пятнадцать лет.

— Чего ради бережете вы это старье? — спросил он, совершенно забыв о своем нелепом мистическом такте. — Чего ради вывешиваете вы их на улицу?

— Потому что они напоминают мне о последней войне, — просто ответил лавочник. — А вы как раз помянули о войне. Это мое больное место.

Вэйн поднял свои большие голубые глаза, в которых сияло детское изумление.

— Идемте, — коротко сказал Тэрнбулл и повел его в комнату, примыкавшую к лавке.

В центре этой комнаты стоял огромный письменный стол. Он был уставлен бесконечными рядами жестяных и оловянных солдатиков. Сперва Вэйну показалось, что они принесены сюда за недостатком места в лавке и расставлены как попало; но потом он заметил, что в их расстановке есть система, отнюдь не случайная и не имеющая ничего общего с коммерческим расчетом.

— Вам, без сомнения, известно, — сказал Тэрнбулл, глядя на Вэйна своими большими глазами, — вам, без сомнения, известно расположение американских и никарагуанских войск в последнем сражении. — И он махнул рукой в сторону стола.

— Боюсь, что нет, — ответил Вэйн. — Я...

— А! Вы, вероятно, были в то время заняты восстанием дервишей? Вы найдете его в том углу. — И он указал на пол, уставленный теми же детскими солдатиками.

— Вы, как видно, очень интересуетесь военными делами, — сказал Вэйн.

— Это единственное, чем я интересуюсь, — просто ответил лавочник.

Какое-то странное, подавленное возбуждение заставило Вэйна содрогнуться.

— В таком случае, — сказал он, — я доверю вам великую тайну. Разбирая вопрос о защите Ноттинг-Хилла, я...

— Защита Ноттинг-Хилла? Пожалуйста, сэр, — сказал Тэрнбулл чревычайно взволнованным голосом. — Вот сюда, сэр, — и он повел Вэйна в другую комнату, посередине которой стоял стол, покрытый прихотливым узором из

детских кубиков. Оправившись от первого изумления, Вэйн увидел, что узор этот не что иное, как идеально точный план Ноттинг-Хилла.

— Сэр,— торжественно сказал Тэрнбулл,— волею судьбы вы раскрыли тайну всей моей жизни. В раннем детстве я был свидетелем последних войн. Я помню день, когда была разбита армия Никарагуа и стерты с лица земли дервиши. И война стала моим пунктом помешательства, сэр, как у других пунктом помешательства бывает астрономия или набивка чучел. Я никому не желал ни малейшего зла, нет, я был заинтересован в войне как в науке, как в игре. И меня лишили ее. Великие державы, проглотив все малые нации, подписали это проклятое соглашение о вечном мире. Что мне было делать? Мне только и оставалось, что забраться в свою нору и читать полуистлевшие газеты, повествующие о былых сражениях, и воссоздавать эти сражения при помощи оловянных солдатиков. А потом я выдумал себе новую забаву и выработал план защиты нашего квартала на случай войны. По-видимому, моя игра интересует вас тоже?

— Вы ждали войны, м-р Тэрнбулл? — торжественно воскликнул Вэйн. — Вы дождались ее! Я благодарю бога за то, что он позволил мне принести хотя бы одному человеческому существу ту весть, которая, по существу, должна была бы быть для сыновей Адама единственной благой вестью. Вы недаром прожили вашу жизнь! Ваш труд не был игрой! Только теперь, когда седина засеребрилась в ваших волосах, настала для вас пора юности, Тэрнбулл! Боги не лишили вас ее навеки,— они только отсрочили ее. Давайте сядем — вы объясните мне подробно ваш план защиты Ноттинг-Хилла. Ибо вы и я — мы вместе будем защищать Ноттинг-Хилл.

М-р Тэрнбулл две-три секунды недоверчиво смотрел на Адама, потом опустился на стул рядом с ним. С этого стула он встал только через семь часов, когда первые лучи солнца осветили спящий город...

Штаб-квартира правителя Адама Вэйна и его верховного главнокомандующего помещалась в небольшой, убогой сливочной на углу Пэмп-стрит. Они устроились в ней рано утром, когда над сонным Лондоном только начала брезжить белесая зоря.

В характере Вэйна было много женского; он принадлежал к тому разряду людей, которые в момент возбуждения забывают о еде. За последние шестнадцать часов он ничего не ел и только время от времени залпом выпивал стакан молока, тотчас же отставляя его в сторону и снова принимаясь писать и чертить, писать и чертить с непостижимой быстротой. Тэрнбулл обладал более мужским характером — чувство ответственности только возбуждало в нем аппетит. Не отрываясь от папок и чертежей, он то и дело прикладывался к стопке сандвичей, лежавших подле него на куске бумаги, и к кружке эля, принесенной из ближайшего трактира, который уже был открыт, несмотря на ранний час. Оба молчали. Ни один звук не нарушал напряженной тишины — только карандаш Адама скрипел по бумаге да какая-то заблудшая кошка урчала под стойкой. Наконец Вэйн нарушил молчание:

— Семнадцать фунтов восемь шиллингов девять пенсов, — произнес он.

Тэрнбулл кивнул головой и приложился к кружке.

— Не считая тех шести фунтов, что вы взяли вчера, — прибавил Вэйн. — Куда вы их дели?

— А! Это страшно забавно! — отвистил Тэрнбулл, прожевывая сандвич. — Я истратил их на благотворительность.

Вэйн удивленно посмотрел на него своими странными, невинными глазами.

— Я роздал эти пять фунтов не менее чем сорока уличным мальчишкам, — продолжал Тэрнбулл, — чтобы они покатались в кебах.

— С ума вы сошли, что ли? — воскликнул правитель.

— Не совсем, — ответил Тэрнбулл. — Эти прогулки в кебах поднимут настроение нашего юношества, дорогой мой друг, расширят его кругозор, укрепят его нервную систему, познакомят его с многочисленными памятниками старины нашего великого города. Воспитание, Вэйн, воспитание! Не указывали ли глубокомысленнейшие наши мыслители на бесцельность политических реформ до тех пор, пока не будет создан новый тип человека и гражданина? Через двадцать лет, когда эти мальчишки подрастут...

— Сумасшедший! — сказал Вэйн, кладя карандаш. — Плакали мои денежки!

— Вы ошибаетесь, — ответил Тэрнбулл. — Вы, серьезные люди, никогда не поймете, что любая работа идет куда успешней при наличии хорошего обеда и изрядной порции бессмыслицы. Словом, я сделал следующее: вчера вечером я роздал сорок полукрон сорока мальчишкам и приказал им собрать кебы со всего Лондона и доставить их сюда. Через полчаса будет объявлена война. К этому времени в Пэмп-стрит начнут съезжаться кебы; вы вызовете гвардию, лошади будут реквизированы для укомплектования кавалерии, из кебов устроены баррикады, а кучерам будет предложено либо вступить в наши ряды, либо очутиться в наших тюрьмах и бастионах. Мальчишки могут быть использованы в качестве разведчиков. Самое существенное то, что на нашей стороне сразу же окажется неведомое всем прочим армиям мира преимущество — лошади. Ну, ладно, пойду помущтрую солдат. — Он осушил кружку и вышел из сливочной, даже не повернувшись в сторону окончательно сбитого с толку правителя.

Через несколько минут правитель рассмеялся. Он смеялся всего лишь один-два раза за всю свою жизнь, да и то как-то странно, как-то неумело, словно смех был для него искусством, которым он еще не вполне овладел. Комбинация из сорока полукрон и сорока мальчишек показалась ему почему-то смешной. Он совершенно не уяснял себе всей чудовищной нелепости затеянной им войны. Он радовался ей как некоему крестовому походу, т. е. больше, чем полагается радоваться удачной шутке. Тэрнбулл же радовался ей отчасти как шутке, но еще больше как протесту против всего, что было ему ненавистно, — протесту против современности, однообразия и цивилизации. Взорвать сложнейший механизм современной жизни и использовать обломки его в качестве орудий войны; превратить omnibuses в баррикады и дымовые трубы в наблюдательные пункты казалось ему игрой, стоящей любого риска и любых лишений. В нем пылала рассудочная, глубоко продуманная любовь — та любовь, которая будет вечной угрозой всемирному миру, — любовь к жизни короткой, но веселой.

На имя короля поступила пространная красноречивая петиция за подписями Вилсона, Баркера, Бэка, Свиндона и др. В ней выражалось пожелание, чтобы на имеющее состояться в присутствии его величества совещание о судьбах Пэмп-стрит вышеуказанным лицам, отнюдь не намеренным нарушать политический декорум и свято чтущим волю его величества, было тем не менее разрешено явиться в обыкновенной форме одежды, а не в одеяниях, присвоенных градоправителям. В конечном итоге вся компания явилась на совещание в сюртуках, и даже король несколько умерил свою любовь к церемониалу и явился в обыкновенном фраке, украшенном одним-единственным орденом, — на этот раз не Подвязки, а Клуба любителей старых кляч, который он выклянчил как-то у мальчишки-газетчика. Вследствие этого единственным красочным пятном в зале оказался Адам Вэйн, облаченный в широкую красную мантию и опоясанный огромным мечом.

— Мы собрались для того, чтобы решить самую жгучую из всех современных проблем, — сказал Оберон. — Да увенчается наше совещание успехом, — прибавил он и торжественно сел на место.

Бэк слегка передвинул свое кресло и заложил ногу на ногу.

— Одного я не могу понять, ваше величество, — весьма добродушно начал он, — почему нам не уладить всю эту историю в пять минут? Имеется крошечный клочок земли, который, в сущности, не стоит и сотни фунтов, но за который мы готовы дать тысячу. Я знаю, деловые люди так не поступают; нам бы следовало приобрести эту землю по гораздо более низкой цене; вся эта комбинация вообще не имеет для нас никакого смысла, крайне невыгодна и пр. и пр. Все это так, но будь я проклят, если я понимаю, в чем тут затруднение!

— Затруднение это нетрудно определить, — сказал Вэйн. — Вы можете предложить миллион, и все-таки вам будет очень трудно купить Пэмп-стрит.

— Но послушайте, Вэйн, — вмешался Баркер тоном, в котором звучала холодная ярость. — Вы не имеете права так ставить вопрос. Вы можете назначить любую цену, но так разговаривать вы не смеете. Вы отказываетесь от блестящего дела — что оно блестящее, вы прекрасно знаете,

всякий здравомыслящий человек знает это, — отказываетесь просто из духа противоречия, отказываетесь нам назло, не иначе как нам назло! Это преступление против общества! Королевское Правительство будет абсолютно право, если оно силой принудит вас уступить.

Он уперся своими тонкими пальцами в стол и выжидательно уставился на Вэйна. Но тот не шелохнулся.

— Силой принудит вас уступить, — повторил Баркер.

— Оно должно принудить вас, — буркнул Бэк, резко поворачивая свое кресло. — Мы сделали все, что могли.

Вэйн медленно поднял свои большие глаза.

— Вы, кажется, сказали, лорд Бэк, что английский король должен сделать что-то?

Бэк побагровел.

— Должен был бы, хотел я сказать, — огрызнулся он. — Повторяю, мы проявили максимум благородства. Кто осмелится сказать, что это не так? Я не хочу быть невежливым, м-р Вэйн. И я надеюсь, что я не буду невежливым, если скажу, что вас бы следовало запрятать в тюрьму. Это преступление — останавливать общественные работы из-за какого-то каприза! Вы имеете столько же права делать это, сколько сжечь в саду перед вашим домом десять тысяч головок лука или пустить ваших детей бегать нагишом по городу. В свое время существовало право принудительного отчуждения. Король может принудить вас, и я надеюсь, что он это и сделает.

— А пока что, — спокойно ответил Вэйн, — правительство нашей великой родины на моей стороне, а не на вашей. Кто осмелится утверждать, что это не так?

— То есть как это? — крикнул Баркер, лихорадочно стискивая руки. — Каким образом правительство оказалось на вашей стороне?

Одним коротким движением Вэйн разостлал на столе огромный пергамент. На полях этого диковинного документа акварельными красками были изображены какие-то странные люди в коронах и гирляндах.

— Хартия городов... — начал он.

Бэк прорычал какое-то проклятие и грубо расхохотался.

— Это шутовство? Не довольно ли...

— Вы пришли сюда, — трубным голосом крикнул Вэйн, вскакивая на ноги и выпрямляясь во весь свой ги-

гантский рост, — вы пришли сюда оскорблять вашего короля в его же присутствии?

Бэк тоже вскочил, глаза его сверкали.

— Меня не так-то легко поддеть... — начал он и замолк.

— Мой лорд Бэк, — мягким, но невыразимо важным тоном заговорил король, — я принужден напомнить вам о присутствии вашего короля. Не часто приходится ему защищаться от собственных подданных.

Баркер яростным движением повернулся к Оберону.

— Ради бога, не поощряйте этого безумца, — взмолился он. — Приберегите ваши шутки для другого раза. Заклиная вас.

— Лорд-правитель Южного Кенсингтона, — важно сказал король Оберон. — Я не склонен следовать вашим указаниям, преподанным мне с необычной для придворных традиций стремительностью. Тем менее может убедить меня ваша неумеренная жестикуляция. Я говорю: лорду-правителю Северного Кенсингтона, к которому я обращаю эти мои слова, не следовало бы в присутствии монарха отзываться столь непочтительно о монарших мероприятиях. Вы несогласны со мной?

Баркер беспокойно заерзал в своем кресле, Бэк пробормотал какое-то проклятие.

— Лорд-правитель Ноттинг-Хилла, продолжайте, — мягко сказал король.

Вэйн поднял на короля свои голубые глаза, и все присутствующие, к вящему своему изумлению, заметили, что в них сияло не торжество, а какая-то тихая детская грусть.

— Я в отчаянии, ваше величество, — сказал он. — Боюсь, что я достоин еще большего порицания, чем лорд-правитель Северного Кенсингтона. Мы спорили слишком запальчиво, и оба вскочили на ноги. К великому моему стыду, я сделал это первый. Правитель Северного Кенсингтона тем самым не так уж виноват. Ваше величество, я молю вас обрушить весь ваш праведный гнев на меня одного. Если лорд Бэк в чем и виноват, так только в том, что он не побоялся в пылу спора отозваться непочтительно о вашем величестве. В остальном же его поведение было безукоризненно.

Лицо Бэка расплылось в довольную улыбку, ибо он был деловым человеком, а все деловые люди чрезвычай-

но простодушны; это свойство роднит их с фанатиками. Король же по каким-то неведомым причинам впервые в жизни, быть может, имел весьма пристыженный вид.

— Благородное выступление ноттинг-хиллского правителя убеждает меня в том, что мы, по крайней мере, нашли почву для дружественных переговоров, — весьма дружелюбно начал Бэк. — Итак, м-р Вэйн, мы предложили вам пятьсот фунтов за недвижимость, которая, по вашим же словам, не стоит и сотни. Ладно, я человек богатый и не хочу, чтобы меня упрекали в недостатке благородства. Сойдемся на полутора тысячах и покончим с этим делом. Вашу руку! — И он встал, сияя и захлебываясь от смеха.

— Полторы тысячи! — прошептал м-р Вилсон из Бейзуотера. — Можем ли мы поднять полторы тысячи?

— Я отвечаю, — весело сказал Бэк. — М-р Вэйн — джентльмен; он заступился за меня. Итак, переговоры закончены, я полагаю?

Вэйн поклонился:

— Вы правы, переговоры закончены. К сожалению, я не могу продать вам эту землю.

— Что такое? — крикнул м-р Баркер, поднимаясь.

— М-р Бэк говорил вполне корректно, — вставил король.

— Да, да! — крикнул Бэк, в свою очередь вскакивая на ноги. — Я сказал...

Вслед за ним вскочили и прочие присутствующие. В возникшей суматохе один Вэйн сохранил полное спокойствие.

— Могу ли я удалиться, ваше величество? — спросил он. — Я сказал мое последнее слово.

— Можете идти, — сказал Оберон, улыбаясь, но не поднимая глаз. И среди мертвой тишины правитель Ноттинг-Хилла вышел из зала.

— Ну? — сказал Вилсон, поворачиваясь к Баркеру. — Ну?

Баркер безнадежно покачал головой.

— Этому человеку место в сумасшедшем доме, — сказал он. — Одно, во всяком случае, ясно — нам незачем больше церемониться с ним. Будем относиться к нему как к помешанному.

— Вот именно, — сказал Бэк, с мрачной решимостью поворачиваясь к Баркеру. — Вы совершенно правы, Бар-

кер. Он довольно славный парень, но он безусловно помешанный. Пойдите к любому жителю любого города, пойдите к любому доктору и скажите им, что на такой-то улице живет человек, который отказывается взять полторы тысячи фунтов за вещь, не стоящую и четырехсот, и ссылается при этом на какую-то священную гору и нерукотворную святость Ноттинг-Хилла. Посмотрим, что они вам на это скажут! Всякий здравомыслящий человек будет на нашей стороне — разве это не говорит в нашу пользу? Впрочем, о чем тут толковать? Я вам скажу, Баркер, что мы должны сделать. Мы должны просто-напросто послать рабочих в Пэмп-стрит — пусть начинают рыть. А если приятель Вэйн промолвит хоть одно слово, мы немедленно арестуем его как помешанного. Вот и все!

Глаза Баркера загорелись.

— Бэк, я всегда считал вас — не обижайтесь на меня — крепким парнем. Я согласен с вами.

— И я тоже, — сказал Вилсон.

Бэк снова поднялся.

— Ваше величество! — сказал он, купаясь в лучах популярности. — Я моллю ваше величество отнестись к нашему решению благосклонно. Увещевания вашего величества, равно как и наши разговоры, не возымели должного действия на этого чудака. Быть может, он прав. Быть может, он бог. Быть может, он дьявол. Но мы — с нашей практической точки зрения — скорей всего склонны думать, что он помешанный. И до тех пор, пока у него будут развязаны руки, все человеческие дела будут идти прахом. Мы решили покончить с ним и немедленно же приступить к работам в Ноттинг-Хилле.

Король откинулся на спинку кресла.

— Хартия городов... — начал он размеренным голосом.

Но Бэк, окончательно овладевший собой, был на страже и не дал поймать себя на непочтительности.

— Ваше величество, — с низким поклоном сказал он, — я не позволю себе возразить ни одного слова против мероприятий вашего величества. Вы гораздо образованней меня и, несомненно, имели веские основания принять те или иные меры. Но позвольте же мне воззвать к вашему общечеловеческому здравому смыслу и попросить у вас искреннего ответа на один мой вопрос. Когда вы создавали Хартию городов, учитывали ли вы возмож-

ность возникновения этого Адама Вэйна? Ожидали ли вы, что эта самая Хартия, чем бы она ни была — опытом ли, эскизом ли декорации или шуткой, — в один прекрасный день разрушит обыкновенный крупный деловой план, воспрепятствует прокладке улицы, затруднит движение кэбов, омнибусов и трамваев, дезорганизует половину города и вызовет призрак гражданской войны? Подумали ли вы об этом?

Баркер и Вилсон посмотрели на него с великим удивлением; с не меньшим удивлением посмотрел на него король.

— Правитель Бэк, — сказал он, — вы обладаете незаурядными ораторскими способностями. Я отвечу вам правду, потому что я художник, а художнику свойственны высокие порывы. Вы правы. Создавая мою схему, я не учитывал возможность появления Адама Вэйна. Увы! У меня не хватило творческой прозорливости.

— Благодарю вас, ваше величество, — вежливо, но кратко ответил Бэк. — Слова вашего величества всегда ясны и определены; а посему я позволю себе сделать из них вывод. Поскольку вы, создавая вашу схему, не включили в нее м-ра Вэйна, постольку она сможет существовать и без него. Отчего бы нам не упразднить эту комическую Пэмп-стрит, существование которой идет вразрез с нашими планами и, по собственному вашему признанию, не входит в планы вашего величества?

— Берите ее! — восторженно и ни к кому в частности не обращаясь, воскликнул король; можно было подумать, что он следит за состязанием в крикет.

— Любой доктор засадил бы этого человека за решетку, — продолжал Бэк. — Но мы готовы уладить конфликт мирным путем. Ни чьи интересы — ни даже, по всей вероятности, его собственные — не пострадают от задуманного нами дела. Не пострадают наши интересы, потому что мы уже десять лет бьемся над прокладкой этой улицы. Не пострадают интересы Ноттинг-Хилла, потому что все его передовые граждане хотят этой прокладки. Не пострадают интересы вашего величества, потому что вы сами со свойственным вам прямотошеством признались, что появление этого маньяка отнюдь не входило в ваши расчеты. Не пострадают, повторяю, и его собственные интересы, потому что он, в общем, человек порядочный и весьма одаренный, и два хороших доктора, по всей вероятности, помо-

гут ему больше, чем все вольные города и священные горы вселенной. На основании вышесказанного я полагаю (если мне позволено будет употребить столь смелое выражение), что ваше величество не захочет препятствовать нашим начинаниям.

И м-р Бэк сел на место среди сдержанных, но тем не менее восторженных рукоплесканий своих единоплеменников.

— М-р Бэк, — сказал король, — разрешите мне не излагать вам целого ряда гениальных, дивно-прекрасных мыслей, осенивших меня, мыслей, в которых вы классифицируетесь как дурак. Но ведь мы не учили еще одной возможности. Допустим, вы пошлете ваших рабочих в Пэмп-стрит, а м-р Вэйн возьмет и выкинет коленце, на которое я считаю его — увы! — вполне способным, иными словами, возьмет и выбьет вашим рабочим зубы.

— Я уже думал об этом, ваше величество, — поспешно возразил м-р Бэк. — Нам ничего не стоит оградить себя от подобных случайностей. Мы пошлем туда солдат — человек, скажем, сто — сотню алебардчиков Северного Кенсингтона (он мрачно усмехнулся), к которым ваше величество так равнодушно. А то и полтора. Во всей Пэмп-стрит наберется, пожалуй, не больше сотни обитателей.

— А вдруг они поднатужатся и все-таки поколотят вас, — задумчиво сказал король.

— В таком случае две сотни, — весело ответил Бэк.

— Может случиться, что один ноттингхиллец будет стоять двух северокексингтонцев, — тревожно сказал король.

— Возможно, — холодно ответил Бэк, — тогда отправим двести пятьдесят человек.

Король закусил губы.

— А если и они будут разбиты? — яростно спросил он.

— Ваше величество, — ответил Бэк, слегка откидываясь на спинку кресла, — допустим, что так оно и будет. Но ведь существует одна незыблемая истина. Она гласит: война есть не что иное, как арифметика. Допустим, что в Ноттинг-Хилле имеется полтора солдата. Ну, скажем, двести. И если каждый из них стоит двух наших, мы можем послать туда не четыреста, а шестьсот человек и все-таки раздавить Вэйна. Вот и все! Едва ли один ноттингхиллец сумеет справиться с четырьмя кенсингтонца-

ми. Но я скажу еще больше: не будем рисковать. Покончим с ним разом. Пошлем туда восемьсот человек и раздавим его — раздавим, как букашку. И примемся за работу.

М-р Бэк вытащил цветной платок и громко высморкался.

— Знаете ли, м-р Бэк, — промолвил король, не поднимая глаз, — изумительная ясность ваших суждений вызывает во мне некое странное чувство — вы не обидитесь, я надеюсь, — вызывает во мне желание проломить вам череп. Вы положительно бесите меня. Что бы это могло быть? Уж не остатки ли нравственности закопошились в моей душе?

— Итак, ваше величество не препятствует нашим мероприятиям? — вкрадчиво спросил Баркер.

— Дорогой Баркер, ваши мероприятия — такая же гадость, как ваши манеры. Я не желаю иметь с ними ничего общего. Допустим, я не дам вам своей санкции. Что тогда будет?

Баркер очень тихо ответил:

— Революция.

Король быстрым взглядом обвел сидевших за столом. Все они были внешне очень спокойны, но лица их пылали.

Он порывисто вскочил на ноги. По лицу его разлилась необычайная бледность.

— Джентльмены, — сказал он, — вы победили меня. Поэтому я могу говорить откровенно. Адам Вэйн — сумасшедший, трижды сумасшедший, пусть так, и все же он стоит миллиона таких, как вы. Но на вашей стороне сила и — я готов признать это — здравый смысл. Ну что ж! Берите ваших восемьсот алебардчиков и давите его! Но если бы вы были истыми спортсменами, вы взяли бы не восемьсот человек, а двести.

— Истыми спортсменами? — огрызнулся Бэк. — А по-моему, жестокими животными! Мы, к сожалению, не художники и не можем как следует оценить эффект красной крови, струящейся по серой мостовой.

— Жаль, жаль! — сказал Оберон. — Восемьсот против ста пятидесяти — какая же это битва?

— Надеюсь, что битвы и не будет, — ответил Бэк, вставая и натягивая перчатки. — Мы не хотим войны, ваше величество. Мы мирные, деловые люди.

— Ладно, — зевнул король. — Объявляю заседание закрытым.

И прежде чем присутствующие успели опомниться, он вышел из зала.

Сорок рабочих, сто алебардчиков из Бейзуотера, двести из Южного и триста из Северного Кенсингтона собрались на Холлэнд-уок и отправились в поход под командой Баркера, одетого в полную парадную форму и выглядевшего чрезвычайно торжественно. В хвосте процессии ковыляла какая-то маленькая смешная фигурка, похожая на гнома. То был король.

— Баркер, — внезапно заговорил он умоляющим тоном. — Вы мой старинный друг, вы так же хорошо понимаете мои причуды, как я понимаю ваши. Откажитесь от вашей затеи! Я так рассчитывал на этого Вэйна! Дайте мне позабавиться. Откажитесь от вашей затеи! Неужели вам это так важно — эта улица и тому подобное? А для меня это шутка, которая может спасти меня от пессимизма. Уменьшите ваш отряд и дайте мне позабавиться хоть часок. Право же, Джеймс, если бы вы коллекционировали монеты или колибри и если бы я мог откупить у вас хотя бы одну штуку за те деньги, что стоит Пэмп-стрит, я бы сделал это. Я коллекционирую происшествия — эти дивные, эти редкостные драгоценности. Уступите мне штуку! Дайте ноттингхиллцам возможность подраться. Прощу вас!

— Оберон, — мягко сказал Баркер, забывая в столь редкую минуту полной искренности все королевские титулы, — я понимаю вас. У меня у самого бывали моменты, когда я не мог совладать со своими причудами. У меня бывали моменты, когда я сочувствовал вашим шуткам. У меня бывали моменты — хоть вам и трудно будет поверить в это, — когда я сочувствовал безумию Адама Вэйна. Но мир, Оберон, настоящий, реальный мир, строится не на причудах. Его фундамент — голые жестокие факты; вы реете вокруг них беззаботно, пестрой бабочкой, а Вэйн — назойливой мухой.

Оберон открытым взором посмотрел на Баркера.

— Благодарю вас, Джеймс. То, что вы говорите, — святая правда. Мне только остается утешаться мыслью, что мухи и бабочки относительно интеллигентны. Но мухам и бабочкам сужден краткий век, а каменные фундаменты

незыблемы. Ну что ж! Если так, идите вашим путем. Прощайте, старина!

И Джеймс Баркер пошел своим путем, посмеиваясь и помахивая своей бамбуковой тростью.

Король проводил уходящее войско грустным взглядом. В этот миг он более чем когда-либо был похож на ребенка. Потом повернулся и махнул рукой.

— Единственное, что остается делать в этом мире, лишенном юмора, — промолвил он, — это кушать. И что это за дивное занятие! Как могут люди становиться в гордую позу и утверждать, что дела идут как нельзя лучше, когда смехотворность жизни доказывается не чем иным, как самым способом поддержки ее? Человек ударяет по струнам лиры, говорит: «Жизнь реальна, жизнь серьезна!» — а потом идет и набивает дыру в своей голове какими-то совершенно чуждыми ей веществами. По-моему, природа проявила в данном случае слишком много юмора. Но ведь все мы впадаем в клоунаду, как я с моей Хартией городов. Вот и природа тоже придумала два-три фарса: на грубый вкус — процесс еды, телосложение кенгуру и пр., а для тех, кто умеет разбираться в более тонких штуках, — звезды и горы.

Он повернулся к сопровождавшему его шталмейстеру: — Но я сказал: «кушать»! Устроим же небольшой пикник, как два веселых, маленьких школяра. Сбегайте-ка куда следует и принесите сюда стол, не менее дюжины закусок и море шампанского! Под сенью этих трепещущих деревьев мы вернемся в лоно природы, Боулер!

Приготовления к скромной монаршей трапезе заняли около часа, в продолжение которого Оберон ходил взад и вперед и посвистывал; лицо его, однако, не прояснилось. У него на самом деле была отнята забава, которую он восторженно предвкушал, и теперь он испытывал то болезненное чувство опустошенности, которое бывает у детей, когда их не берут в цирк. Когда же он вместе с шталмейстером уселся за стол и выпил изрядное количество шампанского, настроение его начало мало-помалу улучшаться.

— Слишком все медленно делается в этом мире, — сказал он. — Ненавижу я эти баркеровы рассуждения об эволюции и постепенной модификации бытия! Я хотел бы, чтобы мир был создан в шесть дней и в столько же дней разрушен. И еще я хотел бы, чтобы это было дело

моих рук. Солнце, луна, образ и подобие божии и пр. — все это очень мило и хорошо, но чертовски, невыносимо медленно. Тосковали ли вы когда-нибудь по чуду, Боулер?

— Нет, сир, — ответил Боулер, бывший убежденным сторонником эволюции.

— А я — да, — сказал король. — Как-то раз я гулял по улице. Лучшая сигара вселенной торчала у меня во рту, а в утробе моей колыхалось большее количество бургундского, чем вы видели за всю вашу жизнь. И вдруг мне захотелось, чтобы уличный фонарь превратился в слона и спас меня от проклятой серости земного бытия. Послушайте, друг мой Боулер, неужели вы думаете, что люди ждут каких-то небесных знаков и верят в чудеса только потому, что они невежественны? Нет, они ждут и верят в них потому, что они мудрецы, — подлые, низкие мудрецы — слишком мудрые, чтобы терпеливо есть, спать, шнуровать ботинки! То, что я говорю, замечательно! Я создал теорию, не уступающую в смысле абсурдности новой теории о происхождении христианства, которую я намерен придумать в ближайшем будущем. Налейте себе еще вина!

Вкруг их маленького стола, покрытого белой скатертью и уставленного цветными бокалами, метался ветер, яростно трепавший и бивший друг о друга деревья Холлэнд-парка. Солнце на горизонте позолотило все кругом.

Король отодвинул свою тарелку, медленно раскурил сигару и продолжал:

— Вчера я думал: прежде чем стать добычей могильных червей, я еще успею насладиться каким-нибудь настоящим, блистательным чудом. Видеть этого рыжеволосого маньяка, размахивающего мечом и произносящего зажигательные речи перед несравненными своими сподвижниками, — это все равно что заглянуть в Страну юности, из которой Рок изгнал нас когда-то. Я задумал целый ряд замечательнейших вещей. Конгресс на Найтбридже, мирный договор, я сам — на троне, пожалуй, еще триумф в римском стиле и добрый старый Баркер в цепях! И вот пришли гнусные воры и растоптали чудесного Вэйна!.. Я уверен, что они в конце концов засадят его в сумасшедший дом — так ведь это водится у этих проклятых нормальных людей. Подумайте, какие водопады духовных сокровищ будут ежедневно изливаться на невежественного

больничного сторожа! Как, по-вашему, не разрешат ли мне быть сторожем при нем?.. Жизнь — это долина. Никогда, ни при каких обстоятельствах не забывайте, что жизнь — это долина. И если вы не познали этого в юности...

Король внезапно замолк с поднесенной ко рту сигарой — он заметил остановившийся, испуганный взгляд своего сотрапезника. Несколько мгновений он не двигался; потом резко повернул голову к высокому дощатому забору, отделявшему сад за его спиной от переулка. Из-за этого забора доносился какой-то странный скребущий шум, словно какое-то плененное существо пыталось выбраться из деревянной клетки. Король отшвырнул сигару и вскочил на стол. С этого наблюдательного пункта он увидел пару рук, отчаянно цеплявшихся за верх забора. Через секунду руки судорожно затрепетали, и над забором появилась голова с выпученными глазами и растрепанными бакенбардами — голова одного из членов Бейзутерского городского совета. Беглец перевалился через забор и с громким непрекращающимся стоном упал ничком на землю. В следующее же мгновение тонкие доски содрогнулись, как от пушечного выстрела, и загудели, словно литавры. Люди, изрыгавшие проклятия, в изодранных одеждах, с обломанными ногтями и окровавленными лицами, бешеным потоком хлынули через забор. Король прыгнул со стола и отскочил в сторону. В то же мгновение стол опрокинулся, бутылки и стаканы разлетелись во все стороны, и людской поток захлеснул и унес обломки посуды. Тем же потоком был унесен и Боулер — «подобно плененной птице», как впоследствии выразился король в своей блестящей газетной статье. Высокий забор заколебался и осел под тяжестью карабкавшихся и перелезавших через него людей. Чудовищные бреши были пробиты в нем снарядами человеческих тел. И в эти бреши король видел все новые и новые лица, перекошенные, словно в кошмаре, все новые и новые толпы бегущих людей. Внешним своим видом они напоминали содержимое опрокинутого мусорного ящика. Одни были невредимы, другие избиты и окровавлены, одни выражены, как на параде, другие растерзанны и наполовину голы, одни — в фантастических одеяниях, придуманных Обероном, другие — в будничных, современных костю-

мах. Король смотрел на всех сразу — на короля не смотрел никто. Внезапно он рванулся вперед.

— Баркер! — крикнул он. — Что это значит?

— Разбиты! Разбиты в пух и прах! — прохрипел тот и помчался дальше, раздувая ноздри, словно лошадь. Через секунду человеческий поток поглотил его.

Не успел замереть звук его голоса, как последняя уцелевшая доска забора согнулась, выпрямилась и, точно из катапульты, выбросила на дорогу новую фигуру. Пришелец был одет в огненно-красную тунику алебардщиков Ноттинг-Хилла; оружие его было обгажено кровью, а на лице сияла победа. В следующее мгновение в брешу забора хлынула красная волна, и преследователи, потрясая алебардами, ринулись на дорогу, мимо маленького человека с совиными глазами, который смотрел на них, не вынимая рук из карманов.

Король испытывал чувство человека, несомого ураганом, — его как бы вовлекло в бешеный водоворот. А потом произошло нечто такое, чего впоследствии не мог описать он сам, а тем менее возьмемся описывать мы. Внезапно в темном отверстии, среди обломков опустошенного сада, словно в раме, возникла огненная фигура.

Адам Вэйн, победитель, с закинутой головой, с развевающейся львиной гривой, с простертым к небу мечом, стоял в заревом сиянии своей мантии, распластавшейся по ветру, подобно красным крыльям архангела. И король увидел — он сам не знал, как и почему, — нечто невиданное и потрясающее. Огромные зеленые деревья и широкая красная мантия трепетали под ударами ветра и сливались воедино. Меч казался лучом закатного солнца. Нелепый маскарад, рожденный прихотью короля, стал мощной действительностью, переросшей его и охватившей весь мир. Здесь была нормальность, здесь был здравый смысл, здесь была естественность. А он, со своим рационализмом, со своей отчужденностью, с черным своим сюртуком, был случайностью, чем-то лишним, чем-то ненужным — черным пятном в мире багреца и золота.

Книга четвертая

Глава I. *Бой фонарей*

М-р Бэк, несмотря на обремененность государственными делами, нередко захаки-вавший в свое дело на Кенсингтон-Хай-стрит, медленно запирает магазин, из которого вышел последним. Был дивный вечер, зеленый и золотой, но это весьма мало беспокоило м-ра Бэка. Впрочем, если бы вы указали ему на прелесть вечера, он немедленно согласился бы с вами, ибо все богачи хотят быть художественными натурами.

Он вышел на свежий воздух, застегивая на ходу легкое светлое пальто и пыхтя сигарой. Вдруг из-за угла вынырнул человек в таком же точно пальто, только расстегнутом и развевающимся по ветру.

— Хэлло, Баркер! — воскликнул су-конщик. — Пришли приобрести себе летний костюм? Опоздали, опоздали! Восьмичасовой рабочий день. Гуманность и прогресс, мой мальчик!

— Перестаньте болтать вздор! — крикнул Баркер, топая ногой. — Мы разбиты!

— Разбиты? Кем? — изумленно спросил Бэк.

— Вэйном!

При свете уличного фонаря Бэк в первый раз увидел искаженное, бледное лицо Баркера.

— Идем пропустим рюмочку, — сказал он.

Они зашли в ярко освещенный бар. Бэк поудобнее устроился в мягком кресле и вытащил портсигар.

— Закуривайте, — сказал он.

После минутного колебания Баркер сел в кресло с таким видом, словно он

каждую минуту готов был снова вскочить на ноги. Они молча заказали выпивку.

— Как это случилось? — спросил наконец Бэк, вперяя в Баркера свои большие пронизательные глаза.

— Откуда я знаю? — крикнул Баркер. — Это было, как... как во сне! Как могли двести человек побить шестьсот? Как они могли?

— Действительно, — холодно сказал Бэк, — как они могли? Вы должны это знать.

— Я не знаю. У меня нет слов, — ответил Баркер, барабанив пальцами по столу. — Кажется, дело было так: нас было шестьсот человек, мы были вооружены этими проклятыми обероновыми секирами — и ничем больше. Шли по двое в ряд, вверх по Холлэнд-уоку, между высокими заборами, которые тянутся до самой Пэмп-стрит. Я шел почти в самом хвосте отряда, а отряд, надо вам сказать, растянулся чуть ли не на милю. В то время как хвост еще находился на Холлэнд-уок, голова уже пересекала Холлэнд-парк-авеню. А потом голова нырнула в лабиринт узких улочек по другую сторону авеню, а хвост — в том числе и я — дополз до перекрестка. Когда же и мы, наконец, перебрались на северную сторону и завернули в узкий извилистый переулок, выходивший, по-видимому, на Пэмп-стрит, мы почувствовали себя как-то странно. Улицы вились и переплетались так, что голова нашего отряда, казалось, исчезла вовсе: с таким же успехом она могла находиться в Северной Америке. И все время мы не видели ни одной живой души.

Бэк, лениво стряхивавший свою сигару в пепельницу, начал задумчиво водить ею по столу, рисуя нечто вроде примитивной географической карты.

— Улицы были пустынно — кстати, это ужасно действовало мне на нервы, — но по мере того как мы углублялись в них, с нашим отрядом происходило что-то странное. Порой далеко впереди — за двумя-тремя поворотами — раздавался шум, грохот, звучали чьи-то подавленные крики, потом все снова затихало. И в такие минуты по всему нашему отряду пробегало какое-то содрогание, какой-то трепет, словно отряд наш был неким живым существом, словно его били по голове, словно по нему пробегал электрический ток. Никто из нас не знал, что это такое, и все же мы содрагались и трепетали. Потом мы снова приходили в себя и двигались дальше узкими гряз-

ными улицами, огибая углы, оставляя за собой перекрестки и распутья. Я смотрел на узкие извилистые улицы, и — я не знаю, поймете ли вы это, — мне казалось, что я вижу сон. Мне казалось, что все кругом нас утеряло смысл и что мы никогда уже не выберемся из этого лабиринта. Не правда ли, странно слышать от меня такие слова? Все эти улицы были хорошо известны мне: они были отмечены на любом плане города. Но факт остается фактом. Я не боялся, что что-нибудь случится. Я боялся, что ничего не случится — никогда не случится, до окончания веков...

Он осушил свой стакан и приказал подать еще виски. Выпив его, он продолжал:

— И вот что-то случилось. Бэк, клянусь вам, с вами никогда ничего не случилось за всю вашу жизнь. Со мной никогда ничего не случилось за всю мою жизнь.

— Никогда ничего не случилось? — удивленно воскликнул Бэк. — Что вы этим хотите сказать?

— Никогда ничего не случилось! — с истерической настойчивостью повторил Баркер. Разве вы имеете представление, как это выглядит — когда что-нибудь случается? Вы сидите в вашей конторе, поджидаете клиентов — клиенты приходят. Вы гуляете по улицам, поджидаете друзей — вы их встречаете. Вам хочется выпить — вы выпиваете. Вам хочется заключить пари — вы заключаете пари. Вы рассчитываете либо выиграть, либо проиграть — и вы либо выигрываете, либо проигрываете. Но когда что-нибудь случается... — он содрогнулся и замолчал.

— Продолжайте, — коротко сказал Бэк, — продолжайте.

— И вот пока мы медленно огибали один угол за другим, что-то случилось. Запомните: сначала что-нибудь случается, а потом вы начинаете понимать, что что-то случилось. И все, что случается, случается само по себе — вы не имеете с ним ничего общего. Это доказывает одну пренеприятную вещь: что кроме вас на свете существует еще что-то. Иначе я объяснить не могу. Мы обогнули один угол, второй угол, третий угол, четвертый, пятый. А потом я медленно поднялся из сточной канавы, в которую только что свалился без чувств, и снова был опрокинут в нее человеком, прыгнувшим мне на голову. И тут весь

мир наполнился воем, грохотом и огромными детинами, валившимися на нас, словно кегли.

Бэк нахмурился и взглянул на свою карту.

— Это было на Портобелло-роуд? — спросил он.

— Да, — сказал Баркер, — на Портобелло-роуд. Я это понял впоследствии. Но, боже ж ты мой, что это был за ужас! Бэк, знаете ли вы, что это за ощущение, когда молодец шести футов росту молотит вас по голове шести-футовой дубиной с шестифутовым стальным наконечником? Если да, то вы должны были испытать то, о чем говорит Уолт Уитмен, — вы должны были «переоценить все философии и все религии».

— Не сомневаюсь, — ответил Бэк. — Но если вы находились в Портобелло-роуд, неужели вы и теперь не понимаете, что произошло?

— Понимаю как нельзя лучше. Меня четыре раза опрокидывали на землю — переживание, скажу я вам, которое сильно отражается на человеческой психике. И случилось еще кое-что. Я сам опрокинул на землю двух людей. После четвертого падения (особенного кровопролития там не было — больше грохота, тумачов и затрещин, потому что из-за давки никто не мог воспользоваться оружием), после четвертого падения, говорю я, я как черт вскочил на ноги, вырвал у кого-то секиру из рук и начал крушить — крушить направо и налево, всюду, где мелькали красные туники вэйновых молодцов. Благодарение богу, двое из них, обливаясь кровью, повалились на камни мостовой! А я расхохотался и снова был сброшен в канаву, снова вскочил, снова крушил и изломал свою алебарду в куски. Одному человеку я все-таки успел проломить череп!

Бэк с размаху поставил свой стакан на стол и разразился градом проклятий.

— В чем дело? — удивленно спросил Баркер, ибо собеседник его, до сих пор спокойно слушавший его повесть, теперь казался возбужденным не меньше его самого.

— В чем дело? — желчно переспросил Бэк. — Неужели вы не понимаете, что эти маньяки заразили нас своим бредом! Как могли два идиота — один клоун, а другой буйный помешанный — до такой степени воздействовать на совершенно нормальных людей? Послушайте, Баркер, я нарисую вам картину! Благовоспитанный, современный

молодой человек в сюртуке откалывает дикую пляску и размахивает нелепой средневековой алебардой, пытаясь убить подобных себе в центре Лондона. Ах, черт! Понимаете, как они заразили нас? Что вы там чувствовали — это неважно. Важно то, как вы выглядели! Король склонил бы набок свою проклятую голову и сказал бы, что все это прелестно. Вэйн задрал бы кверху свой проклятый нос и сказал бы, что все это героично. Но во имя здравого смысла — что сказали бы вы сами два дня тому назад?

— Вы не прошли сквозь это, Бэк, — сказал Баркер, кусая губы. — Вы не знаете, что такое бой, атмосфера боя.

— Я не отрицаю атмосферы, — огрызнулся Бэк, стукнув кулаком по столу. — Я только говорю, это их атмосфера. Это атмосфера Адама Вэйна. Это та атмосфера, которая навсегда исчезла из цивилизованного мира, — так, по крайней мере, думали мы с вами.

— Так вот, она не исчезла! — сказал Баркер. — И если вы еще сомневаетесь в этом, одолжите мне секиру, и я докажу вам ее жизненность.

Воцарилось долгое молчание. Потом Бэк повернулся к своему собеседнику и заговорил спокойным, добродушным тоном, который появлялся у него в моменты заключения крупнейших сделок, — тоном человека, умеющего смотреть фактам в лицо.

— Баркер, — сказал он, — вы правы! Эта старинная штука — война — вернулась в мир. Она вернулась внезапно и застигла нас врасплох. Первую кровь пролил Адам Вэйн. Но поскольку здравый смысл и математика еще не вовсе полетели к черту, в следующий и, надеюсь, последний раз кровь прольем мы. Когда из земли внезапно начинает бить источник, нужно немедленно изучить его и постараться направить его в свое русло. Баркер! Поскольку источник этот — война, мы должны научиться понимать войну. Я должен научиться разбираться в войне так же спокойно и методично, как я разбираюсь в сукнах. Вы должны научиться разбираться в войне так же спокойно и методично, как вы разбираетесь в политике. Считайтесь с фактами! Я возвращусь к моей первоначальной формуле. При численном перевесе на чьей-либо стороне война не что иное, как математика; должна ею быть, во всяком случае. Вы только что спросили меня, как двести человек могли победить шестьсот. Я отвечаю вам. Двести

человек могут победить шестьсот человек, когда эти шестьсот ведут себя, как последние идиоты; когда они забывают об условиях, в которых им приходится сражаться; когда они сражаются в болотах, как если бы это были горы; когда они сражаются в лесу, как если бы это была равнина; когда они сражаются на улицах, забывая о назначении улиц.

— А в чем назначение улиц? — спросил Баркер.

— В чем назначение улицы? — в бешенстве крикнул Бэк. — Да разве же это не ясно? Что может быть проще и яснее стратегии? Назначение улицы — вести из одного места в другое; вследствие этого все улицы соединены одна с другой; вследствие этого уличные бои весьма своеобразная вещь. Вы двигались по этому лабиринту улиц так, словно вы шли по открытой равнине, где ничто не могло укрыться от вашего взора. А на самом деле вы находились внутри крепости. Улицы упирались в вас, улицы убегали от вас, улицы бросались на вас — и все они были в руках неприятеля. Знаете, что такое Портобелло-роуд? Портобелло-роуд была единственной улицей на вашем пути, на которую выходят два переулка, расположенных прямо друг против друга. Вэйн поместил своих людей в глубине этих двух переулков и, по мере прохождения вашего отряда, резал его на части, как червяка. А вы догадываетесь, что могло спасти вас?

Баркер покачал головой.

— Не поможет ли вам ваша «атмосфера»? — ехидно сказал Бэк. — Я попробую изъясниться в вашем же романтическом стиле. Представьте себе, что, сражаясь вслепую с красными ноттингхиллцами, ударившими на вас с двух сторон, вы вдруг услышали бы вдалеке шум и крики. Представьте себе, о романтический Баркер, что за красными туниками ноттингхиллцев вы увидели бы синее с золотом Северного Кенсингтона, напавшего на них с тыла, окружившего их со всех сторон и погнавшего их под удары ваших алебард!

— Если бы это было возможно... — начал Баркер.

— Это могло быть возможно! — перебил его Бэк. — Это простейшая арифметика. На Пэмп-стрит выходит определенное число переулков. Их не девятьсот; их не девять миллионов. Они не вырастают за ночь; они не растут как грибы. При таком численном перевесе, какой имеется у нас, нам ничего не стоит продвигаться по всем этим переулкам сразу. В каждый из них мы можем послать по-

чти столько же людей, сколько Вэйн может выставить на всем протяжении фронта. Послушайтесь моего совета — и он у вас в руках! Это все равно что теорема Евклида.

— Вы думаете, это так? — робко, но уже с некоторой надеждой в голосе спросил Баркер.

— Я говорю вам все, что я думаю, — ответил Бэк, вставая. — Я думаю, что Адам Вэйн задал вам хорошую баню. Он изобретательный парень, и я его от души жалею.

— Бэк, вы великий человек! — воскликнул Баркер, в свою очередь поднимаясь на ноги. — Вы вернули мне рассудок! Стыдно сказать, я уже готов был стать романтиком. Разумеется, все, что вы говорите, — золотые слова. Война есть явление чисто физическое и тем самым базируется на чистой математике. Мы были побеждены, потому что мы не позаботились ни о математике, ни о логике, ни о чем бы то ни было вообще — словом, потому что мы заслуживали поражения. На этот раз мы займем все подступы и победим, потому что на нашей стороне будет сила. Когда мы открываем кампанию?

— Сейчас же, — сказал Бэк и направился к выходу.

— Сейчас? — воскликнул Баркер, догоняя его. — Неужели вы хотите сейчас? Сейчас уже поздно!

Бэк резко повернулся к нему и топнул ногой.

— По-вашему, на войне тоже существует восьмичасовой рабочий день? В Ноттинг-Хилл! — крикнул он проезжающему кебу. Кеб остановился, и оба приятеля сели в него.

Иногда славная репутация создается в один час. В следующие шестьдесят — восемьдесят минут Бэк проявил себя подлинно великим человеком, обладающим кипучей энергией. Ураганом носился он в кебе от короля к Вилсону, от Вилсона к Свиндону, от Свиндона к Баркеру; маршрут его был извилист, но то была извилистость молнии. Две вещи повсюду сопровождали его — неразлучная сигара и план Северного Кенсингтона и Ноттинг-Хилла.

— Пэмп-стрит имеет в общем девять подступов на протяжении четверти мили, — снова и снова твердил он всем, с кем ему приходилось говорить, — три от Вестбурн-гров, два от Лэдброк-гров и четыре от Ноттинг-Хилл-Хай-стрит. — И когда последнее зеленоватое

мерцание странного заката сменилось непроглядной тьмой, в каждом из девяти переулков уже было сосредоточено по отряду в двести человек.

Эта самая непроглядная тьма и побудила некоторых участников похода высказаться против беспредельного оптимизма Бэка. Но он лишь рассмеялся в ответ.

— Ночь не может помешать нам, — заявил он. — Надо будет только держаться уличных фонарей. Взгляните-ка на карту! Двести лиловых северокемсингтонцев под моей командой маршируют вверх по Оссингтон-стрит, двести гвардейцев под командой капитана Брюса вверх по Клэнрикард-Гарденс. Двести желтых пехотинцев Западного Кемсингтона под командой правителя Свиндона ведут наступление с Пембридж-роуд. Двести других — с восточных улиц, от Квинс-роуд. Два отряда желтых идут двумя переулками от Вестбоурн-гров. И, наконец, двести зеленых беизуотерцев спускаются с севера через Чепстоу-плейс, а еще двести под командой правителя Вилсона пересекают верхнюю часть Пембридж-роуд. Мат в два хода, джентльмены! Неприятель должен будет либо запереться в Пэмп-стрит и погибнуть в ней, либо отступить мимо Газовой компании и наскочить на мои четыре сотни. В случае же отступления мимо церкви св. Луки он наскочит на западный отряд в шестьсот человек. Все ясно как на ладони, если только мы все не сошли с ума. Вперед! Прошу всех разойтись по штабам и ждать, пока капитан Брюс не подаст сигнала к наступлению. А там держитесь фонарей, руководитесь математикой и положите конец всей этой нелепой шутке. Завтра мы снова будем штатскими!

Пламя его оптимизма пылало в ночи и смыкалось вокруг Ноттинг-Хилла, в котором плененным зверем метался Вэйн. Война близилась к концу. Энергия одного человека в один час спасла город от кровопролития.

В течение следующих десяти минут Бэк молча расхаживал по фронту своего отряда, бесформенной глыбой маячившего в темноте. Он не считал нужным менять свой внешний вид, не снял своего светлого пальто и только нацепил на себя кобуру с револьвером. Его современный костюм казался странным рядом с ярко-лиловыми туниками его алебардщиков, мерцавшими во мраке.

Наконец из тьмы донесся пронзительный вопль трубы, то был сигнал к наступлению. Бэк кратко скомандовал

поход, и лиловый отряд, тускло мерцающая сталью, свернул в длинный прямой переулок.

В течение четверти часа они молча шли вперед и наконец оказались в самом центре обреченной твердыни. Ни один звук, ни один шорох не выдавали присутствия врага. Но на этот раз они знали, что с каждым шагом приближаются к нему, и шли сквозь мрак, придерживаясь линии фонарей и не испытывая того гнетущего чувства неизвестности, которое так томило Баркера, вступившего во вражеский стан вслепую.

— Стой — готовься! — внезапно крикнул Бэк; издали донесся грохот ног по камням мостовой. Но то была ложная тревога. Вынырнувшая из мрака фигура оказалась посланцем из северного отряда.

— Победа, м-р Бэк! — задыхаясь, крикнул он. — Они бежали. Правитель Вилсон занял Пэмп-стрит.

Бэк в страшном возбуждении ринулся вперед.

— Каким путем они отступили? Если на церковь св. Луки — там Свиндон! Если мимо Газовой компании — они наткнутся на нас! Летите к Свиндону, пусть он держит Сент-Люкс-роуд! Об остальном позаботимся мы! Они в капкане! Летите!

Вестник пропал во тьме, и гвардия Северного Кенсингтона двинулась дальше с уверенностью машины. Но уже через сотню ярдов алебарды снова дрогнули и оцетинились, мерцающая в лучах газа, — снова раздался топот чьих-то ног и снова вынырнувший из мрака человек оказался вестником.

— Правитель! — крикнул он. — Желтые кенсингтонцы держат Сент-Люкс-роуд уже двадцать минут, они заняли ее еще до занятия Пэмп-стрит. А до Пэмп-стрит не более двухсот ярдов; так что ноттингхиллцы никак не могли отступить на церковь.

— Значит, они отступают мимо газового завода, прямо на нас! — весело крикнул Бэк. — Какое счастье, что наш переулок освещен! Нам нечего бояться его извилин. Вперед!

На протяжении последних трехсот ярдов, отделявших их от цели, Бэк — впервые в жизни, быть может, — впал в своего рода философическую грусть, ибо он принадлежал к тому типу людей, которых успех делает мягкими и даже меланхоличными.

— Жалко мне беднягу Вэйна, ей-богу, жалко, — думал он. — Он так заступался за меня на совещании! А как он обработал старика Баркера! Но что поделать — такова судьба всех, кто восстает против математики, не говоря уже о цивилизации. Что за бесстыдное вранье — весь этот хваленый военный гений! Кажется, я открыл то, что до меня еще открыл Кромвель: лучшие генералы — это лавочники. Люди, умеющие продавать и покупать людей, могут командовать ими и убивать их. Это все равно что щелкать на счетах. Если Вэйн располагает двумястами людей, он никак не может послать их сразу в девять мест. Если они ушли из Пэмп-стрит, они должны были направиться куда-нибудь. Если они не направились к церкви, значит, они направились к газовым заводам. И тут-то мы их и поймал. Мы — лавочники и дельцы — ничего не могли бы поделать, не будь у более умных, чем мы, людей тысячи всевозможных причуд, которые мешают им рассуждать логически. Вот и выходит, что мы самые рассудительные. И в результате я — относительно тупой человек — смотрю на мир так, как смотрел на него господь бог: как на огромную машину. Господи, что это? — он вдруг закрыл глаза руками и попятился назад.

Потом крикнул прерывистым голосом:

— Господь покарал меня за богохульство! Я ослеп!

— Что это? — раздался во мраке другой голос, — голос, принадлежавший некоему Вилфреду Джервису из Северного Кенсингтона.

— Ослеп! Ослеп! — повторил Бэк.

— Я тоже! — крикнул Джервис в смертельной тоске.

— Дураки вы, — раздался чей-то грубый голос за их спиной, — мы все ослепли. Фонари потухли!

— Фонари? Но почему? Кто потушил их? — яростно крикнул Бэк, мечась в темноте. — Как же мы будем идти дальше? Как мы отразим неприятеля? Куда он направился?

— Неприятель направился... — произнес грубый голос и замолк, как бы колеблясь.

— Куда? — прохрипел Бэк, бешено топая ногами.

— Мимо газового завода, — продолжал голос. — Он воспользовался темнотой.

— Боже великий! — прогремел Бэк, хватаясь за револьвер. — Вы хотите сказать, что он...

Не успел он договорить, как некая неведомая сила оторвала его от земли и, словно камень из пращи, бросила в гущу его же собственных людей.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — загремели во тьме страшные голоса. Казалось, они неслись отовсюду, со всех сторон, ибо кенсингтонцы, незнакомые с местностью, потеряли всякое представление о пространстве в этом мрачном царстве слепоты.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — кричали невидимые люди, и кенсингтонцы падали под страшными ударами черной стали — стали, на которую не падал ни один ответ фонаря.

Несмотря на разбитую ударом алебарды голову и гнев, туманивший его мозги, Бэк сохранил рассудок. Он кое-как пробился к стене, обшарил ее скрюченными пальцами, нашел какое-то отверстие и нырнул в него с остатками своего отряда. То, что они пережили в эту жуткую ночь, не поддается описанию. Они не знали, куда они идут: навстречу ли врагу, или прочь от него. Они не знали, где они находятся, они не знали, где находится неприятель, и меньше всего они знали, где находится ядро их армии. Ибо на Лондон спустилась тьма, небывалая, неслыханная, — тьма, царившая над миром до сотворения звезд; они блуждали в ней так, словно они сами были сотворены раньше звезд. Время от времени они натыкались в этой тьме на каких-то людей, которые избивали их и которых они избивали с идиотской яростью. А когда наконец забрезжила серая заря, выяснилось, что они за ночь вернулись к Эксбриджу. Выяснилось, что в непроглядном мраке бейзуотерцы, северные и южные кенсингтонцы все время сталкивались и избивали друг друга, в то время как Адам Вэйн сидел, забаррикадировавшись, в Пэмп-стрит.

Глава II. *Корреспондент «Судебной газеты»*

В те годы журналистика, подобно множеству других занятий, зачахла и захирела. Произошло это отчасти из-за отсутствия митингов, партийных и прочих дискуссий, отчасти из-за международного соглашения о вечном мире, но главным образом из-за того, что общество давно уже находилось в состоянии некоего столбняка. Наиболее популярной из уцелевших газет была «Судебная газета», помещавшаяся в довольно элегантном, но сильно заброшен-

ном помещении на Кенсингтон-Хай-стрит. Ибо таков закон: чем более тусклыми, бессодержательными и оптимистическими становятся с годами газеты, тем более шансов на успех имеет самая тусклая, бессодержательная и пессимистическая из них. В конкуренции периодических изданий, тянувшейся до середины двадцатого столетия, окончательная победа осталась за «Судебной газетой».

По каким-то таинственным причинам король любил болтаться утром по редакции «Судебной газеты», покуривая папироску и просматривая гранки. Как и всем убежденным бездельникам, ему нравилось слоняться и бить баклуши в местах, где другие люди занимаются делом. Впрочем, следует отметить, что даже в прозаической Англии того времени он без труда мог бы найти гораздо более кипучий центр.

В описываемое утро он вышел из Кенсингтонского дворца гораздо более быстрым шагом и с более занятым видом, чем обыкновенно. Он был одет в карикатурно-длинный сюртук, светло-зеленую жилетку и ярко-желтые перчатки; галстук его был завязан необычайно пышным, свободным узлом. Так выглядела форма полковника им же самим придуманного Первого полка зеленых декадентов, находившегося под его непосредственным начальством. Закурив на ходу папироску, он быстро пересек Парк- и Хай-стрит и влетел в редакцию «Судебной газеты».

— Слышали новости, Палли? — воскликнул он.

Фамилия редактора была Хоскинс, но король именовал его Палли, производя эту кличку от сокращенного «Палладиума английских вольностей».

— Да, ваше величество, — медленно ответил Хоскинс, (изможденного вида джентльмен с растрепанной русой бородой). — Да, ваше величество, я слышал много забавного, но я...

— Услышите еще больше, — перебил его король, проделывая несколько па какой-то диковинной негритянской пляски. — Гораздо больше, мой народный трибун, мой громовержец! Знаете, что я хочу сделать?

— Нет, ваше величество, — растерянно ответил Палладиум, — не знаю.

— Я намерен оживить вашу газету, придать ей силу, сделать ее захватывающей и сенсационной! — сказал ко-

роль. — Дайте-ка мне ночные телеграммы с театра военных действий.

— Ваше величество, я никому не заказывал телеграмм, — ответил редактор.

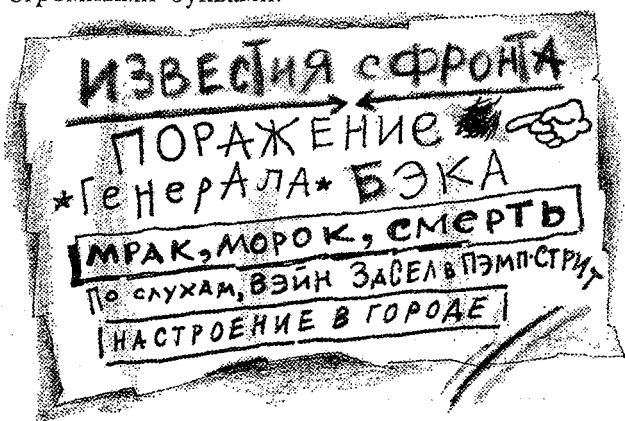
— Бумаги, бумаги! — иступленно крикнул король. — Пуды бумаги, вагоны бумаги! Пойдите, я должен скинуть сюртук! — С какой-то неестественной стремительностью он сорвал с себя сюртук и игриво швырнул его в голову редактора. Потом подошел к зеркалу и начал разглядывать себя. — Без сюртука и в шляпе, — пробормотал он. — Совсем как настоящий выпускающий. Ей-богу, в этом вся сущность выпускающего. Ну-с! — внезапно набросился он на Хоскинса. — Где же бумага?

Палладиум почтительно высвободился из-под обвиняемого его королевского одеяния и промолвил с ноткой удивления в голосе:

— Боюсь, ваше величество...

— Ах, у вас нет ни на грош предприимчивости! — перебил его Оберон. — Что это за сверток там в углу? Обои? Украшение вашего семейного очага? Интимное искусство, Палли? Давайте их сюда — я напишу на их оборотной стороне такие телеграммы, что, оклеивая вашу гостиную, вы повернете их рисунком к стене. — Король бросил сверток обоев на пол и развернул его. — Ножницы! — скомандовал он и сам схватил их, прежде чем Хоскинс успел шевельнуться.

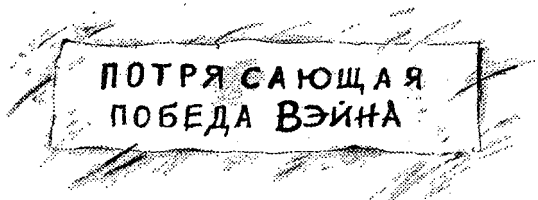
Он разрезал бумагу на пять кусков, каждый величиной с дверь; потом схватил большой синий карандаш, опустился на колени и пополз по пыльному линолеуму, выводя огромными буквами.



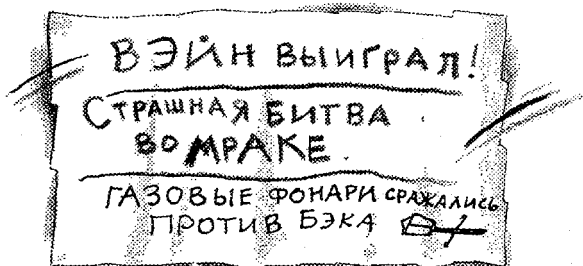
Склонив голову набок, он несколько мгновений созерцал свое произведение, потом вздохнул и поднялся на ноги.

— Недостаточно сильно! — сказал он. — Не ударно! Я хочу, чтобы «Судебную газету» не только любили, но и боялись. Попробуем что-нибудь позабористей. — Он снова опустил на колени, задумчиво пососал карандаш и снова начал писать.

— Ну, а теперь как? — промолвил он, снова поднявшись.



— Как, по-вашему, — умоляющим тоном спросил он Хоскинса, — нельзя ли написать «Пэйна»? «Потресаящая победа Пэйна»? Нет, нет! Филигранность, Палли, филигранность! Придумал!



— Это вам не стиль «Судебной газеты»! Что бы еще такое запустить? Давайте-ка позлим старика Бэка.

И он приписал более мелким шрифтом:

«Слухи о предании генерала Бэка военно-полевому суду».

— Ну, пока хватит, — сказал он и повернул листы текстом книзу. — Клею, пожалуйста.

Палладий с чрезвычайно испуганным видом принес из соседней комнаты клей.

Король с детским восторгом размазал его по обоям. Потом схватил два исписанных листа, выбежал на улицу и принялся расклеивать их по фасаду здания, выбирая наиболее видные места.

Эта работа, по-видимому, нисколько не умерила его пыла, ибо через несколько минут он вбежал в редакцию с радостным воплем:

— Есть! А теперь передовицу!

Он поднял с пола широкую полосу обоев, положил ее на письменный стол, извлек вечное перо и начал лихорадочно писать, читая про себя отдельные слова и фразы и, словно вино, смакуя их на языке, чтобы удостовериться, имеется ли в них настоящий газетный букет.

«Весть о поражении нашей армии в Ноттинг-Хилле, несмотря на всю ее чудовищность — всю ее чудовищность — (нет, трагичность будет лучше), — имеет и свои хорошие стороны. Благодаря этому поражению страна наконец-то обратит внимание на бессовестную — (нет, лучше возмутительную) — халатность правительства. В данный момент, за отсутствием исчерпывающей информации, было бы преждевременно — (что за славное слово) — было бы преждевременно так или иначе расценивать поведение генерала Бэка, чьи подвиги на многих поприщах — (ха-ха!), — чьи почетные раны и лавры дают право судить его строже, чем кого бы то ни было.

Но есть во всем этом деле одно обстоятельство, которое требует подробного и откровенного обсуждения. Мы долгое время замалчивали его, руководствуясь чувством неправильно понятого такта, а может быть, и неправильно понятой лояльности. Никогда бы положение не обострилось до такой степени, если бы не безответственное (мы не можем найти иного названия) поведение короля. Как нам ни тяжело говорить об этом, но общественные интересы — (я заимствую у Баркера его замечательную эпиграмму) — повелевают нам называть вещи своими именами, пренебрегая интересами отдельных лиц, хотя бы и самых высокопоставленных. В бедственный час, когда стране грозит гибель, весь народ спрашивает как один человек: «Где наш король?» Что делает он в этот роковой миг, когда подданные его режут друг друга на части на улицах столицы? Неужели его забавы и развлечения (увы, кто не знает о них!) настолько поглотили его, что он не может уделить ни одной минуты судьбам гибнущего народа?» Глубокое чувство ответственности повелевает нам предостеречь венценосца. Ни высокое положение, ни многочисленные блестящие таланты не спасут его в час расплаты от судьбы всех тех, кто в опьянении роскошью и тиранией навлек на себя народный гнев».

— Ну вот! А теперь — рассказ очевидца, — сказал король, поднимая с пола четвертый кусок обоев. Но в этот момент в редакцию вбежал Бэк; голова его была забинтована.

— Мне говорили, что ваше величество здесь, — сказал он с обычной своей грубой вежливостью.

— Какая удача! — восторженно воскликнул король. — Вот вам и очевидец! Но, увы! Очевидец с одним только оком. Вы можете написать для нас специальный отчет, Бэк? Достаточно ли изыскан ваш стиль?

Бэк не обратил ни малейшего внимания на идиотскую резвость короля.

— Ваше величество, — сказал он с самообладанием, граничившим с вежливостью, — я взял на себя смелость пригласить сюда м-ра Баркера.

И действительно, в ту же секунду в редакцию с обычным своим озабоченным видом вошел Баркер.

— Как дела? — облегченно вздыхая, спросил его Бэк.

— Сражение все еще продолжается, — ответил Баркер. — Четыреста западных кенсингтонцев получили ночью основательную трепку. Их теперь калачом туда не заманишь. А бейзуотерцы бедняги Вилсона оказались молодцами. Они дерутся, как львы. Один раз даже взяли Пэмп-стрит. Что за дикие вещи творятся на этом свете! Подумать только, что из всех нас один малютка Вилсон вел себя как следует!

Король отметил на обоях:



*Романтическое поведение
м-ра Вилсона*

— Да, — сказал Бэк, — тут поневоле задумаешься над относительностью всего земного.

Король внезапно смял свою бумагу и сунул ее в карман.

— Идея! — воскликнул он. — Я сам буду очевидцем! Я буду посылать вам такие письма с фронта, что факты лопнут от зависти. Дайте мне мой скюртук, Палли! Я вошел в эту комнату английским королем. Я покидаю ее специальным военным корреспондентом «Судебной газеты». Бесполезно останавливать меня, Палли! Тщетно цепляйтесь вы за мои колени, Бэк! Не надо рыдать у меня на плече, Баркер! Когда призывает долг, личные чувства молчат. Вы получите мою первую статью сегодня вечером с восьмичасовой почтой!

И, выбежав из редакции, он вскочил в синий бейзуотерский омнибус, медленно плывший вверх по улице.

— Так, — мрачно сказал Баркер, — так.

— Баркер, — воскликнул Бэк, — быть может, купцы и не стоят политиков, но, ей-богу, война имеет гораздо больше общего с коммерцией, чем с политикой! Вам, политикам, демагогия до такой степени въелась в кровь и плоть, что даже при деспотическом режиме вы только и думаете, что об общественном мнении. Вы лавируете, изворачиваетесь и боитесь малейшего ветерка. А мы упираемся лбом в стену и пробиваем ее. Мы учимся на собственных ошибках. Знайте же! Сейчас, в тот самый момент, что мы с вами разговариваем, Вэйн разбит наголову!

— Вэйн разбит? — повторил Баркер.

— Разумеется, разбит! — воскликнул Бэк, простирая к нему руки. — Слушайте меня! Вчера вечером я утверждал, что мы справимся с ним, заняв девять подступов. Так вот, я ошибался! Мы справились бы с ним, если бы не случилось одного непредвиденного события — если бы не потухли фонари. В остальном мы играли наверняка. Подумали ли вы о том, дражайший Баркер, что с того времени кое-что изменилось?

— Что ж именно? — спросил Баркер.

— По удивительному стечению обстоятельств взошло солнце! — сдерживая бурлящее в нем волнение, ответил Бэк. — Какой дьявол мешает нам занять эти подступы теперь — теперь двинуться на Пэмп-стрит? Мы должны были сделать это на заре, но проклятый доктор не позволил мне выйти на улицу. Вы будете командовать.

Баркер хмуро усмехнулся.

— Я рад сообщить вам, дорогой мой Бэк, что мы предвосхитили ваш план. С первыми лучами солнца мы заняли все девять переулков. К сожалению, пока мы убивали друг друга, словно пьяные грузики, м-р Вэйн со своими людьми не терял даром времени. В трехстах ярдах от Пэмп-стрит, в начале каждого из девяти переулков, возведена баррикада вышиной в дом. Когда мы подошли, они как раз заканчивали последнюю баррикаду, у Пембридж-роуд. Наши ошибки! — внезапно крикнул он, желчно бросая недокуренную папиросу на пол. — Кто угодно учится на них, только не мы сами!

Воцарилось молчание. Баркер в изнеможении лежал в кресле. Мерно били стенные часы.

Вдруг Баркер заговорил.

— Бэк, — сказал он, — вы не задумывались над положением вещей? Прокладка улицы, соединяющей Хэммерсмит с Мейда-Вейл, была для нас с вами чрезвычайно выгодным делом. Мы рассчитывали хорошо заработать на ней. Но стоит ли она таких колоссальных затрат? Усмирение Вэйна обойдется нам в тысячи фунтов. Не лучше ли нам оставить его в покое?

— И позволить этому рыжему маньяку, с которым могли бы справиться двое врачей, публично опозорить нас? — вскричал Бэк, вскакивая на ноги. — Что вы намерены делать, м-р Баркер? Извиниться перед Вэйном? Пасть на колени перед Хартией городов? Прижать к сердцу знамя Красного Льва? Расцеловать по очереди каждый священный фонарный столб, спасший Ноттинг-Хилл? Нет, никогда! Мои войска сражались отменно — они попались в ловушку! И они будут сражаться опять!

— Бэк, — сказал Баркер, — я всегда восхищался вами. И все, что вы вчера говорили, — чистейшая правда.

— Что именно?

— Да то, что мы все прониклись атмосферой Вэйна и отрешились от своей собственной. Друг мой, земная власть Адама Вэйна простирается всего лишь над девятью забаррикадованными улицами. Но духовная власть его простирается бог знает как далеко — до этой комнаты, во всяком случае. В этой комнате мятется неугомонная, пламенная душа этого рыжего маньяка, с которым «могли бы справиться двое врачей». И не кто иной, как этот рыжий маньяк произнес в свое время те самые слова, которые только что сказали вы.

Бэк молча подошел к окну.

— Вы понимаете, надеюсь, — сказал он наконец, — что я абсолютно не согласен с вами.

Тем временем король сидел на верхушке тряского омнибуса. События прошлой ночи, разумеется, очень мало отразились на уличном движении Лондона. Синие омнибусы попросту огибали Ноттинг-Хилл, словно там производился ремонт мостовой. Омнибус, в котором ехал корреспондент «Судебной газеты», завернул в Квинс-роуд, Бейзуотер.

Король был единственным его пассажиром и наслаждался быстротой хода.

— Вперед, мой красавец, — говорил он, нежно поглаживая скамейку, — вперед, мой араб, быстрееший из всех скакунов мира! Хотел бы я знать, какие у тебя отношения с твоим вожатым? Так же ли он заботится о тебе, как бедуин о своем коне? Спит ли он рядом с тобой на земле?..

Его размышления были прерваны резким шумом и внезапной остановкой колесницы. Перевесившись через перила, он увидел, что омнибус окружен людьми, одетыми в мундиры Вэйна, и услышал голос офицера, выкрикивавшего слова команды.

Король Оберон с большим достоинством сошел с омнибуса. Отряд красных алебардчиков, остановивший его, насчитывал не более двадцати человек под командой невысокого темноволосого молодого человека с весьма интеллигентным лицом. В отличие от своих солдат он был одет в обыкновенный сюртук и опоясан огромным средневековым мечом на красной португее. Блестящий цилиндр и очки довершали его несколько необычный туалет.

— С кем я имею честь говорить? — спросил король, пытаясь быть похожим на Карла I.

Молодой человек в очках с большой торжественностью снял цилиндр.

— Меня зовут Боулс, — сказал он. — Я аптекарь, а в данный момент — капитан ноттингхиллской армии. Я очень сожалею, что мне пришлось остановить ваш омнибус, но этот район на осадном положении — тут возбраняется какое бы то ни было уличное движение. Кстати, с кем я имею честь... ах, боже мой, простите меня, ваше величество! Я никак не был подготовлен к встрече с королем.

Оберон остановил его несказанно величественным движением руки.

— Не с королем, — сказал он, — а со специальным военным корреспондентом «Судебной газеты».

— Виноват, ваше величество... — растерянно начал м-р Боулс.

— Опять «ваше величество»! Повторяю, — твердо сказал Оберон, — я представитель печати. В полном сознании возложенной на меня ответственности я решил отныне

именоваться «м-р Пинкер». Прошлое похоронено без возврата.

— Слушаюсь, сэр,— покорно ответил м-р Боулс.— Пресса пользуется у нас не меньшим уважением, чем королевский престол. Мы ждем от нее всестороннего и беспристрастного освещения всех наших достижений и ошибок. Скажите, м-р Пинкер, вы ничего не имеете против того, чтобы я представил вас Правителю и генералу Тэрнбуллу?

— Я уже имел удовольствие встречаться с Правителем,— весело ответил Оберон.— Мы, старые журналисты, знакомы со всем светом. Я был бы чрезвычайно рад возобновить с ним старую дружбу. С генералом Тэрнбуллом я тоже был бы счастлив познакомиться. Я так люблю молодежь. Мы, обитатели Флит-стрит, совершенно оторваны от нее.

— Будьте добры следовать за мной,— сказал капитан Боулс.

— Я всегда добр,— ответил м-р Пинкер.— Ведите меня.

Глава III. *Великая армия Южного Кенсингтона*

Статья специального корреспондента «Судебной газеты» прибыла в назначенный срок. Она была написана на обрывках копировальной бумаги затейливым почерком короля — по три слова на странице, и то неудобочитаемых. Но самое удивительное в ней было то, что она открывалась целым рядом тщательно зачеркнутых абзацев. Автор, по-видимому, принимался за статью несколько раз, прибегая каждый раз к другому стилю.

На полях одного из таких опытов значилось:

«Попробуйте американский стиль»;

самый же отрывок начинался словами:

«Король должен уйти. Нам нужны сильные люди. Довольно трактирных шуток! Мы...» —

и внезапно обрывался; засим следовало примечание:

«Добрый старый стиль лучше. Попробуйте».

Опыт «доброе старое стиля» начинался:

«Величайший из английских поэтов сказал, что роза...» — и обрывался столь же внезапно. Примечание на полях его (поскольку можно было разобрать королевские

каракули) гласило: «Не попробовать ли старый добрый стиль с последующей правкой?»

«Утро устало улыбалось мне над темными крышами Кэмпден-Хилла. В глубокой тени зданий, казавшихся картонными декорациями, я долгое время не мог разобрать ни одной краски.

Но наконец я разглядел во мраке коричневато-желтое пятно и понял, что это отряд южно-кенсингтонской армии Свиндона. Отряд этот находился в резерве и занимал высоты над Бейзуотер-роуд. Главные силы Свиндона были расположены у большой водокачки на Кэмпден-Хилле. Я забыл упомянуть, что водокачка выглядела довольно мрачно. Миновав этот отряд и перейдя Силвер-стрит, я увидел синее пятно — то были солдаты Баркера, сапфирным облаком — (хорошо!) — замыкавшие подступ к главной улице.

Общее расположение союзных войск, находящихся под верховным командованием м-ра Вилсона, сводится к следующему: Желтая армия (я имею в виду западных кенсингтонцев) занимает, как я уже сказал, высоты над Бейзуотер-роуд, на западе упираясь в Кэмпден-Хилл-роуд, а на востоке в Кенсингтон-Гарденс. Зеленая армия Вилсона расположена на Ноттинг-Хилл-Хай-роуд от Квинс-роуд до Пембридж-роуд и, заворачивая за угол последней, тянется на триста ярдов по направлению к Вестбоурн-гров, занятой Баркером из Южного Кенсингтона. Четвертая сторона четырехугольника — Квинс-роуд — занята отрядом лиловых воинов Бэка.

В общем и целом картина эта напоминает цветочную клумбу в изысканном, староголландском стиле. Вдоль хребта Ноттинг-Хилла мерцают золотые крокусы Западного Кенсингтона. Они образуют как бы огненную раму картины. На севере цветет наш гиацинт Баркер с прочими своими гиацинтами. На юго-запад от него льется зеленый поток Вилсона, а лиловые ирисы (в лице м-ра Бэка) завершают эту гамму красок. Серебристые края... — (Я теряю чувство стиля. Надо было назвать гиацинты «нечаянными». Я не могу за всем уследить. Прошу редакционного рассыльного внести необходимые поправки.)

Говоря откровенно, писать абсолютно не о чем. Обывательщина, готовая в любой момент поглотить все, что есть на свете прекрасного (подобно тому как черная свинья из ирландской мифологии пожирает звезды и бо-

гов), — обывательщина, повторяю, самым свинским образом пожрала все романтические возможности ноттингхиллского восстания. Нелепые, но захватывающие уличные бои былых времен выродились в нечто до крайности прозаическое — в осаду. Осада может быть определена следующей формулой: мир + все неудобства военного времени. Само собой разумеется, Вэйн долго не продержится. Помощи ему ждать неоткуда — разве что с луны прилетят воздушные корабли. И если бы он даже набил свою улицу мясными консервами так, что солдаты могли бы сидеть на них, он и то не продержался бы больше одного-двух месяцев. А он фактически почти так и сделал. Он нагромодил в Пэмп-стрит столько провианту, что там, должно быть, повернуться негде. А какой из этого толк? Держаться бесконечно долгое время, чтобы в конце концов все-таки сдаться — что это значит? Не значит ли это — дожидаться, пока все ваши победы не будут окончательно забыты, а потом напроситься на поражение? Не думал я, что у Вэйна так мало художественного чутья!

Как странно! Когда знаешь, что та или иная вещь обречена на гибель, начинаешь смотреть на нее совсем иными глазами. Я всегда думал, что Вэйн — человек особенный. Но теперь, когда я знаю, что он обречен, мне начинает казаться, что на свете ничего не существует, кроме Вэйна. Все улицы протягиваются к нему, все трубы указывают на него. Вероятно, это нездоровое чувство; но Пэмп-стрит едва ли не единственная часть Лондона, которую я ощущаю физически. Повторяю, вероятно, это нездоровое чувство. Вероятно, точно такое же чувство бывает у человека со слабым сердцем. Пэмп-стрит... А сердце — это насос¹. Я заговариваюсь.

Талантливейший из наших военачальников, вне всякого сомнения, — генерал Вилсон. Из всех правителей он единственный носит форму своих войск, хотя — надо сознаться — это изысканное средневековое одеяние несколько дисгармонирует с его рыжими бакенбардами. Генерал Вилсон — тот самый смельчак, который, сломив отчаянную оборону, ворвался прошлой ночью в Пэмп-стрит и держался в ней целых полчаса. Впоследствии ноттингхиллскому генералу Тэрнбуллу после кровопролит-

¹ Pump — по-английски «насос».

ной схватки удалось выбить его оттуда — и то лишь благодаря наступлению жуткого мрака, имевшего неизмеримо худшие последствия для генералов Бэка и Свиндона.

Правитель Вэйн, с которым я имел чрезвычайно интересную беседу, отозвался о поведении генерала Вилсона и его солдат с величайшей похвалой. Он сказал буквально следующее: «С четырехлетнего возраста я покупаю сладости в его смешной маленькой лавке. И должен, к стыду своему, сознаться — я никогда не замечал в нем ничего особенного, кроме того, что он говорит сильно в нос и не слишком тщательно моется. И вот он двинулся на баррикаду, как дьявол из преисподней». Я повторил эти слова генералу Вилсону, внеся в них некоторые необходимые поправки, и, по-видимому, доставил ему большое удовольствие. Впрочем, самое большое удовольствие доставляет ему военная форма, и в частности меч. Из весьма достоверных источников мне сообщают, что генерал Вилсон вчера не брился. В военных кругах полагают, что он намерен отпустить усы.

Как я уже говорил, писать совершенно не о чем. В данный момент я направляюсь к почтовому ящику на углу Пембридж-роуд, чтобы опустить в него эту статью. В лагере союзников все спокойно — они, по-видимому, готовятся к длительной осаде, в продолжение которой я едва ли понадоблюсь на фронте. Впрочем, глядя на Пембридж-роуд, над которым ступают сумерки, я вспоминаю одну подробность, о которой стоит упомянуть. Генерал Бэк, со свойственной ему остротой мышления, предложил генералу Вилсону во избежание повторения катастрофы, имевшей место во время последнего наступления на Ноттинг-Хилл (я имею в виду погасшие фонари), снабдить каждого солдата зажженным фонариком, имеющим быть повешенным на шею. Эта черта в генерале Бэке достойна восхищения. Он обладает тем свойством, которое обычно именуется «скромностью истинного ученого», иными словами, он постоянно учится на своих ошибках. Быть может, Вэйну снова удастся перехитрить его — но только уж не этим путем. Я смотрю на Пембридж-роуд — фонарики мерцают на ней, словно светлячки.

Позднее. Я пишу с трудом, потому что кровь струится по моему лицу и пятнает лежащую передо мной бумагу. Кровь — чудесная вещь; потому люди и прячут ее

так тщательно. Если вы спросите меня, почему по моему лицу струится кровь, я отвечу вам: потому что меня лягнула лошадь. Если вы спросите меня, какая лошадь лягнула меня, я отвечу не без гордости: кавалерийская. Если вы спросите меня, каким образом на театре нашей прозаической, пешей войны появилась кавалерийская лошадь, я принужден буду исполнить тягостный для каждого военного корреспондента долг — рассказать обо всем, что я пережил.

Как я уже говорил, я стоял перед почтовым ящиком и, собираясь опустить в него мою статью, случайно взглянул на мерцающую кривую Пембридж-роуд, усеянную огоньками Вилсоновых солдат. Не знаю, что заставило меня всмотреться в нее пристальней, — факт тот, что мне внезапно показалось, будто с линией огней, трепещущих в неясных коричневых сумерках, творится что-то неладное. Мне показалось, будто в одном определенном месте улицы, где только что было пять огней, их стало четыре. Я напряг зрение: я сосчитал их снова — теперь их было три. Через секунду осталось всего два, а еще через секунду один; а потом и наиболее близкие ко мне фонари закачались, словно колокола, задетые неосторожной рукой. Они вспыхнули и погасли. И в тот миг, когда они погасли, мне почудилось, будто солнце и звезды упали с неба. Воцарился довременный мрак. Впрочем, было еще не совсем темно. В небе еще трепетали красные лучи заката, и коричневые сумерки были как бы согреты вспышками дальнего костра. Но через три секунды после того, как взметнулись и погасли фонари, я увидел перед собою черную громаду, загородившую небо, а через четыре секунды я понял, что громада эта не что иное, как человек, сидящий верхом на лошади. И в тот же миг из-за угла вылетел шквал всадников, смявший и отшвырнувший меня в сторону. Посмотрев им вслед, я увидел, что они не черные, а красные — то была вылазка осажденных, руководимая Вэйном.

Я поднялся из сточной канавы, ослепленный кровью, струившейся из неглубокой царапины на моем лбу. Как это ни странно, я не думал ни о своей слепоте, ни о ране. В течение одной минуты после того, как пронеслась ураганная конница, в узкой улице царило мертвое молчание. А потом показался Баркер со своими алебардчиками. Они гнались за всадниками как черти. В их обязанности

входила охрана ворот, через которые была произведена вылазка. Они никак не ожидали — и в этом их нельзя обвинить! — появления кавалерии. Как бы там ни было, Баркер и его люди бежали с прямо-таки потрясающей быстротой, чуть не хватая Вэйновых лошадей за хвост.

Вылазка эта остается необъяснимой загадкой. Лишь самая малая часть осажденных принимала в ней участие. Главное их ядро во главе с Тэрнбуллом, несомненно, все еще отсиживается в Пэмп-стрит. Подобного рода вылазки были вполне естественной вещью в большинстве известных истории осад, как, например, осада Парижа в 1870 году, ибо осажденные всегда рассчитывали на какую-то помощь извне. Но на что они рассчитывают в данном случае? Вэйн знает (а если он так основательно сошел с ума, что не знает вообще ничего, то уж Тэрнбулл, во всяком случае, не может не знать), что помощи им ждать решительно неоткуда, что подавляющее большинство здравомыслящих лондонцев относится к его смехотворному патриотизму с тем же презрением, с каким оно относится к породившему этот патриотизм безумию — безумию нашего злополучного короля. Что в данный момент делают Вэйн и его всадники, покрыто мраком неизвестности. Здесь господствует мнение, что он попросту оказался предателем и бросил осажденных на произвол судьбы. Но все эти мелкие и более или менее разрешимые загадки бледнеют перед загадкой такой же мелкой, но абсолютно неразрешимой: откуда они достали лошадей?

Позднее. Странные слухи дошли до меня. Оказывается, генерал Тэрнбулл, этот замечательный человек, правящий Пэмп-стрит в отсутствие Вэйна, утром накануне объявления войны набрал огромное количество уличных мальчишек, дал им по полкроны на брата и приказал нанять все кебы Лондона. В Пэмп-стрит было доставлено не менее ста шестидесяти кебов, немедленно реквизированных военными властями. Кучера были отпущены, кебы использованы для баррикад, а лошади задержаны в Пэмп-стрит, где их в течение нескольких дней кормили и муштровали, пока они не оказались достаточно подготовленными к этой бешеной скачке по городу. Если это так — а источник моей информации заслуживает всяческого доверия, — то история вылазки ясна. Но тем более необъяснимой остается ее цель.

Не успели синие воины Баркера обогнуть угол, как произошла новая остановка — на этот раз их остановил не враг, а голос человека, оказавшегося другом. Вилсон из Бейзуотера бежал по улице как помешанный, размахивая алебардой, вырванной из рук часового. Он был старше чином, а потому Баркер остановился на углу и стал ждать его, не скрывая своего изумления. Из мрака раздался громкий крик Вилсона; я никогда не думал, что этот хилый человек обладает таким мощным голосом.

— Стой, Южный Кенсингтон! — кричал он. — Стерегите этот выход, не пускайте их обратно! Я буду преследовать их! Вперед, Зеленая гвардия!

Солдаты Баркера двумя тесными рядами заграждали устье улицы, но из-за стены темно-синих туник и леса алебард, окутанного туманом, ко мне донеслась четкая команда, сменившаяся бряцанием оружия, и я увидел, как зеленая армия Вилсона двинулась на юг. То была краса и гордость наших войск. Вилсон сумел зажечь своих солдат пылавшим в его душе огнем; в несколько дней они стали ветеранами. На груди каждого из них висела серебряная медаль с изображением пасоса — память о том, что они, единственные из всех союзников, побывали в Пэмп-стрит.

Мне удалось проскользнуть мимо сторожевого поста синих, охранявшего конец Пембридж-роуд, и после стремительного бега догнать арьергард зеленых, гнавшихся за Вэйном. Сумерки ступились в непроглядный мрак; некоторое время я слышал только топот маршировавших солдат. Потом внезапно раздался крик, и волна воинов отхлынула назад, чуть было не раздавив меня. Фонари снова взметнулись и зашипели во мгле. Я услышал фырганье лошадей. Они вернулись и атаковали нас!

— Безумцы! — прогремел голос Вилсона, сковавший начавшуюся было панику; дивное, холодное бешенство звучало в нем. — Разве вы не видите? Кони без всадников!

Он был прав. Мы были атакованы табуном лошадей с пустыми седлами. Что бы это могло значить? Не наскоки ли Вэйн на наши войска? Не потерпел ли он поражение? Или же это была какая-нибудь хитрость, один из тех новых сумасшедших способов ведения войны, к которым он питал такое пристрастие? Или же ноттингхиллцы спрятались где-нибудь в домах?

В тот момент Вилсон был дивно прекрасен. Никто еще (даже я сам) не вызывал во мне такого беспредельного восторга. Не говоря ни слова, он указал алебардой (которую он ни на минуту не выпускал из рук) на южный конец улицы. Как вам известно, переулки, ведущие от главной улицы на вершину Кэмпден-Хилла, отличаются необычайной крутизной и напоминают гигантские ступени. Мы стояли как раз против Обри-роуд, самой крупной из них; взобраться на нее верхом на лошадях было трудней, чем доскакать до ее вершины на одной ноге.

— Налево кругом марш! — скомандовал Вилсон. — Тут они вскарабкались наверх, — прибавил он, обращаясь ко мне (я как раз стал подле него).

— С какой целью? — осмелился я спросить.

— Не могу вам сказать наверняка, — ответил беизуотерский генерал. — Как бы там ни было, они взобрались сюда, причем страшно спешили. Они попросту бросили своих лошадей, потому что не могли втащить их наверх. Кажется, я догадываюсь об их намерениях. По всей вероятности, они намерены перебраться в Кенсингтон, Хэммерсмит или еще куда-нибудь. А это место они выбрали только потому, что оно находится вне пределов досягаемости. Наши проклятые болваны не догадались занять всю улицу до конца. Вэйн попросту обошел наш фланг. Но в четырехстах ярдах отсюда стоит Лэмберт. Я уже связался с ним.

— Лэмберт? — воскликнул я. — Не Вилфрид ли Лэмберт, мой старый друг?

— Да, так его зовут, — сказал генерал, — этаким глуповатый малый с большим носом. Из того типа людей, которые обязательно лезут добровольцами на любую войну и, что смешней всего, оказываются довольно пригодными ребятами. А этот Лэмберт вовсе молодец. Я всегда считал желтых из Западного Кенсингтона самой слабой частью нашей армии, а он подтянул их прямо на славу, хоть он и подчинен ослу Свиндону. В ночной атаке на Пембридж-роуд он проявил незаурядное мужество.

— В свое время он проявил еще большее мужество, — заметил я. — Он критиковал мое чувство юмора. Это было его первое боевое крещение.

К сожалению, доблестный вождь союзных войск не расслышал моего замечания. В это время мы как раз преодолевали вторую, необычайно крутую половину Об-

ри-роуд, которая напоминает огромный старинный план, прислоненный к стене. Сходство это создают главным образом ряды низкорослых деревьев, расположенных одно над другим.

Пыхтя и задыхаясь, мы вскарабкались наверх и уже собирались двинуться дальше, как вдруг целое полчище панически бегущих людей въехало нам (я не могу подобрать иного выражения) в живот. Они были одеты в красные туники; алебарды их были изломаны; по лицам струилась кровь.

— Славный, старый Лэмберт? — заревел обычно уравновешенный м-р Вилсон не в силах побороть свое возбуждение. — Ах ты черт этакий! Он уже тут! Он гонит их на нас! Ура! Ура! Зеленая гвардия, вперед!

Мы ринулись вперед — за угол. Впереди всех, размахивая алебардой, бежал Вилсон.

Простите ли вы мне капельку эгоцентризма? Эгоцентризм — вполне приемлемая вещь, когда он преподносится в той форме, в какой преподнесу его вам я, — в форме меня же развенчивающего признания. Я думаю, мой рассказ заинтересует вас, потому что он свидетельствует о том, как глубоки в людях моего покроя художественные навыки. Более волнующего события мне не приходилось переживать за всю мою жизнь. Летя вперед вместе со всеми, я был возбужден до последних пределов. И все же, когда мы завернули за угол, первое впечатление, испытанное мной, не имело никакого отношения к сражению как таковому. словно удар грома, обрушилась на меня гигантская башня кэмпденхиллской водокачки. Я не знаю, уясняют ли себе лондонцы, как страшно высока она, когда на нее смотришь, стоя у самого ее подножия. На мгновение я почувствовал, что подле нее все человеческие войны — глупая, пошлая шутка, на мгновение мне почудилось, будто я напился пьяным на какой-то пошлой пирушке и теперь мгновенно отрезвел, потрясенный тенью этой громады. Секундой позже я увидел, что у подножия ее вершится нечто более вечное, чем камень, нечто более головокружительное, чем головокружительнейшая высота, — агония человека. И тут я понял, что по сравнению с этой агонией даже потрясающая башня — пошлость, глупый кусок камня, который разлетится от прикосновения человеческой руки.

Я не знаю, почему я так много разглагольствую о глупой, старой башне водокачки, бывшей, в лучшем случае, только фоном, на котором вершилась трагедия. Правда, фон этот сам по себе был жутким и трагичным. Но вероятней всего, самое сильное впечатление на меня произвел резкий переход от мертвого камня к живой человеческой плоти.

На углу улицы, огибавшей башню, чернея в серебряных лучах молодой луны, стоял Лэмберт. Он выглядел великолепно — настоящим героем; но не это было самое интересное в нем. Он стоял почти в той самой упрямой позе, в которой он стоял пятнадцать лет тому назад — в тот день, когда он взмахнул тростью, воткнул ее в землю и заявил мне, что вся моя изысканность — чушь. И — клянусь богом — для того, чтобы сказать это, ему требовалось больше мужества, чем теперь, когда он дрался с Вэйном. Ибо тогда он сражался с чем-то нарождающимся, молодым, победоносным, а теперь он сражался (несомненно, рискуя своей жизнью) с чем-то ущербным, немыслимым, бесплодным — более немыслимым и бесплодным, чем та безумная вылазка, которая вовлекла его в круговорот событий. Современные мыслители уделяют бесконечно мало внимания психологической уверенности в победе — уверенности, которая является решающим фактором в каждом жизненном конфликте. Пятнадцать лет тому назад Лэмберт атаковал упадочного, но несомненно победоносного Квина, теперь же он атаковал блестящего, но вконец истощенного Вэйна.

Это имя напоминает мне о подробностях сражения. Отряд красных алебардщиков двигался вверх по улице, придерживаясь северной ее стороны, застроенной службами водокачки. В это время из-за угла вылетел Лэмберт со своими желтыми кенсингтонцами и ударил на отряд Вэйна; наиболее трусливые из ноттингхиллцев обратились в бегство и, как я уже говорил, попали прямо в наши объятия. И в этот момент всем стало ясно, что Вэйну пришел конец. Его любимый цирюльник был убит на месте, бакалейщик оглушен. Сам он, раненный в ногу, был отброшен к стене. Он попался в наш капкан, железные челюсти которого медленно смыкались.

— Это вы? — крикнул Лэмберт Вилсону через головы смятенных ноттингхиллцев.

— Я! Я! — откликнулся генерал Вилсон. — Жмите его к стене!

Ноттингхиллцы падали один за другим. И вдруг Адам Вэйн схватился длинными своими руками за карниз стены, у которой он стоял, и одним прыжком очутился наверху, загораживая своей гигантской фигурой луну. Он вырвал из рук стоявшего под ним солдата знамя и высоко взмахнул им.

— За Красного Льва! — заревел он. — Смыкайте мечи вокруг Красного Льва! Алебарды, щетиньтесь вокруг Красного Льва! У нашей розы есть шипы!

Его голос и треск развевающегося знамени внесли некоторое расстройство в наши ряды. Лэмберт, чье идиотское лицо, овеянное дыханием боя, было почти прекрасно, инстинктивно понял опасность и крикнул: — Давай сюда твою трактирную тряпку, подонок! Давай ее сюда!

— Стяг Красного Льва еще ни перед кем не склонялся! — гордо крикнул Вэйн, не переставая потрясать знаменем.

Дорого обошлась ему его страсть к театральности. Лэмберт одним прыжком вскочил на стену и ударил Вэйна мечом по голове прежде, чем тот успел освободить руки и обнажить оружие. Вэйн отпрянул, чтобы избежать вторичного удара, и выронил знамя; оно легло вдоль карниза, указуя наконецником на Лэмберта.

— Стяг склонился! — голосом, разнесшимся по всему Лондону, крикнул Вэйн, — Стяг Ноттинг-Хилла склонился перед героем! — С этими словами он схватил знамя и с размаху вогнал стальной наконецник и половину древка в грудь Лэмберта. Камнем на камни мостовой повалился Лэмберт.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — в каком-то божественном исступлении крикнул Вэйн. — Еще священней наш стяг от крови доблестного врага! Сюда, патриоты! Сюда, ко мне! Ноттинг-Хилл!

Мощными руками он втащил на стену одного из своих воинов; вслед за ним и другие начали карабкаться наверх, подсаживая и втаскивая друг друга. Через минуту вся стена над нашими головами была усеяна защитниками Пэмп-стрит.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — не переставал кричать Вэйн.

— А Бейзуотер? — рывкнул какой-то рабочий из армии Вилсона. — Да здоровствует Бейзуотер!

— Мы победили! — крикнул Вэйн, ударяя древком знамени оземь. — Да здоровствует Бейзуотер! Мы научили их патриотизму!

— Расшибите эту банду вдребезги, покончите с ними раз навсегда! — взревел заместитель Лэмберта, доведенный чуть ли не до сумасшествия павшей на него ответственностью.

— Попробуем! — грозно крикнул Вилсон. И обе армии сомкнулись вокруг роковой стены.

Я просто не в силах писать. К сожалению, существуют такие вещи, как физическая усталость, физическая тошнота и, если можно так выразиться, физический ужас. Достаточно сказать, что предыдущий отрывок написан около 11 часов вечера, а сейчас уже два часа ночи, а сражение все еще не кончилось и, судя по всему, не кончится еще долго. Достаточно сказать, что по крутым улицам, ведущим от водокачки к Ноттинг-Хилл-Хай-роуд, кровь струилась и продолжает струиться широкими красными змейками, вьющимися по мостовой и мерцающими в лунном свете.

Позднее. Последний штрих. Прошли часы. Наступило утро. У подножия башни и на углу Обри-роуд все еще корчатся и дерутся люди. Бой еще не кончен. Но теперь я уже знаю — все это фарс.

Я получил известия из города. Они говорят о том, что вся эта изумительная вылазка и вся эта изумительная многочасовая оборона были ни к чему. Какова была цель странного ночного исхода, мы едва ли когда-нибудь узнаем по той простой причине, что в течение двух-трех ближайших часов все, кто мог бы раскрыть эту тайну, будут изрублены в куски.

Три минуты тому назад я узнал, что Бэк со своим методом в конце концов одержал победу. Разумеется, он был глубоко прав, утверждая, что одна улица никак не может — физически не может — победить целый город. Пока мы думали и гадали, он проверил со своей лиловой армией все восточные подступы. Пока мы носились по улицам и махали алебардами и фонарями, пока бедняга Вилсон рассуждал, как Мольтке, и дрался, как Ахилл, пы-

таясь сломить грозного ноттингхиллского правителя, м-р Бэк, бывший суконщик, попросту сел в кеб, поехал в город и сделал дело, ясное, как шоколад, и не менее полезное и прозаическое. Он объехал Южный Кенсингтон, Бромптон, Фулхэм и, раздав четыре тысячи фунтов из личных своих средств, организовал армию в четыре тысячи человек, иными словами, армию, способную раздавить не только одного Вэйна, но и Вэйна вместе со всеми его противниками. Насколько мне известно, армия эта расположена на Хай-стрит в Кенсингтоне, от церкви до Эддисон-роуд-Бридж. Она движется на север десятью различными улицами.

Я больше не в силах оставаться здесь. Очень уж все плохо — хуже чем надо. Над Кэмпден-Хиллом, например, уже занялась заря; в небе пробиты лучезарные серебряные бреши, окаймленные золотом. И, что еще хуже, Вэйн и его люди видят эту зарю. Их лица, бледные и окровавленные, дышат какой-то странной надеждой... Они невыносимо патетичны. А самое худшее — в настоящий момент они побеждают. Если бы не новая армия Бэка, они могли бы одержать решительную победу.

Повторяю, я больше не в силах выносить этого. Это все равно что смотреть пьесу старика Метерлинка (вы ведь знаете, что я равнодушен к доброй, старой, здоровой литературе двадцатого века), когда сидишь, видишь, что какие-то люди спокойно беседуют в гостиной, и знаешь, что в это время за дверями стоит человек, любое слово которого внесет в их жизнь непоправимую трагедию. А тут еще хуже, потому что тут действующие лица не разговаривают, а бьются, корчатся, падают мертвыми — сражаются за то, что уже предрешиено — предрешиено не в их пользу. Огромный серый клубок человеческих тел все еще мечется, трепещет, дергается вокруг огромной серой башни. А башня молчалива и недвижна — молчаливой и недвижной будет она всегда. Эти люди будут уничтожены еще до того, как зайдет солнце. И новые люди встанут на их место и будут уничтожены, и новые ошибки будут совершаться, и тирания, подобно солнцу, будет возникать все вновь и вновь, и несправедливость будет вечно свежа и благоуханна, как весенний цветок. И каменная башня будет вечно взирать на мир. Вечно будет Материя, в жестокой красоте своей, взирать на великих

безумцев, жаждущих смерти и еще больших безумцев, жаждущих жизни».

На этом месте первое и последнее донесение специального корреспондента «Судебной газеты» резко обрывалось.

Сам корреспондент, как упоминалось выше, был положительно раздавлен известием о триумфе Бэка. С грустным видом побрел он вниз по крутой Обри-роуд, на которую прошлой ночью карабкался в столь несвойственном ему возбуждении. Выйдя на залитую солнцем пустынную улицу, он осмотрелся — ему нужен был кеб. Вместо кеба он увидел вдали какое-то сине-золотое существо, мерцавшее на солнце и летевшее к нему во весь опор. На первый взгляд он принял его за очень большого жука, но при ближайшем рассмотрении оно оказалось Баркером.

— Слышали добрые вести? — спросил он, подбежав к королю.

— Да, — сдержанно ответил тот, — слышал. Не съездить ли нам в Кенсингтон? Вон там кеб.

Они сели в кеб и через четыре минуты уже ехали по фронту неисчислимой, непобедимой армии. Квин всю дорогу не проронил ни слова; чуткий Баркер, искоса взглянув на него, в свою очередь, воздержался от разговора.

Великая армия медленно ползла вверх по Кенсингтон-Хай-Стрит. Тысячи любопытных высовывались из окон и провожали ее взглядом, ибо она поистине была велика — больше всех армий, которые когда-либо проходили по Лондону. По сравнению с этой огромной, неповоротливой машиной, во главе которой шествовал Бэк, а в хвосте король-журналист, красная армия Ноттинг-Хилла и зеленая Бейзуотера казались ничтожными, бродячими шайками, жалким муравейником под копытом быка. Каждый, кто видел это неисчислимое полчище, понимал, что оно воплощает в себе жестокую арифметику Бэка. Достигши Кенсингтонской церкви в начале Черч-стрит, громада остановилась и замерла, уверенная в своем могуществе.

— Надо послать к нему парламентаря, — сказал Бэк, поворачиваясь к Баркеру и королю, — и предложить сдать-ся во избежание дальнейшего кровопролития.

— А что мы ему скажем? Какие у нас основания требовать сдачи? — спросил Баркер.

— Основание — фактическое положение дел, — ответил Бэк. — Только на этом основании армии вообще и сдаются. Ему надо просто сказать, что наша армия, которая сражается с его армией, и его армия, которая сражается с нашей армией, вместе насчитывают не более тысячи человек, а у нас, дескать, есть еще четыре тысячи. Очень просто! Из тысячи сражающихся на его долю приходится самое большее триста человек — стало быть, ему придется сражаться со своими тремя сотнями против четырех тысяч семисот человек. Пусть попробует, если ему это нравится!

И правитель Северного Кенсингтона расхохотался.

Парламентер в сопровождении двух трубачей двинулся вверх по Черч-стрит, сияя на солнце своими золотыми позументами.

— Как они будут вести себя в случае согласия? — спросил Баркер, чтобы хоть чем-нибудь нарушить гнетущее молчание.

— Я знаю Вэйна как свои пять пальцев, — рассмеялся Бэк. — Даже если он решит сдаться, он все равно пришлет к нам герольда в красном одеянии с пламенным Львом Ноттинг-Хилла. Даже поражение может доставить ему удовольствие, поскольку оно романтично и выдержано в смысле стиля.

Король, пробравшийся вперед, впервые за все время нарушил молчание.

— Я не удивлюсь, — сказал он, — если он презрит вас и вовсе не пошлет герольда. По-моему, вы не так уж хорошо знаете Вэйна.

— Вы находите, ваше величество? — отозвался Бэк. — В таком случае не считите меня нахалом, если я позволю себе облечь мои политические выкладки в наиболее доступную форму. Я отвечаю десятью фунтами против вашего шиллинга, что он пришлет герольда с согласием на сдачу.

— Хорошо, — сказал Оберон. — Может быть, я и ошибаюсь, но в одном я уверен: Адам Вэйн скорее умрет в своем городе, чем сдастся. А до тех пор, пока он не умрет, вы никогда не будете чувствовать себя безопасно в Ноттинг-Хилле.

— Состоялось, ваше величество,— сказал Бэк.

Снова воцарилось долгое молчание. Бесконечные ряды войск не двигались, и только неугомонный Баркер расхаживал взад и вперед по фронту.

Вдруг Бэк нагнулся вперед.

— Пропали ваши деньги, ваше величество,— сказал он.— Так я и знал. Вон идет герольд Адама Вэйна.

— Неправда! — крикнул король, всматриваясь вдаль.— Вы лжете, тварь! Это красный омнибус!

— Нет, это не омнибус,— спокойно сказал Бэк. Король ничего не ответил, ибо по середине широкой, безмолвной Черч-стрит медленно шел герольд Красного Льва, сопровождаемый двумя трубачами.

В душе Бэка таились кое-какие задатки благородства. В минуту успеха он хотел быть великодушным по отношению к Вэйну, которым он искренне восхищался; по отношению к королю, которого он публично поднял на смех; и в особенности по отношению к Баркеру, который формально именовался вождем великой южнокенсингтонской армии, созданной стараниями Бэка.

— Генерал Баркер,— сказал он, кланяясь,— не угодно ли вам будет принять неприятельских парламентаров?

Баркер, в свою очередь, поклонился и вышел навстречу герольду.

— М-р Адам Вэйн, ваш начальник, получил наше предложение сдаться? — спросил он.

Герольд молча и чрезвычайно торжественно кивнул головой.

Баркер слегка откашлялся и продолжал более бодрым тоном:

— Каков ответ вашего начальника?

Герольд снова отвесил глубокий поклон и заговорил несколько монотонным голосом:

— Вот его ответ. Адам Вэйн, волей короля Оберона и милостью божьей лорд Верховный правитель вольного города Ноттинг-Хилла, приветствует Джеймса Баркера, лорда Верховного правителя Южного Кенсингтона и доблестного вождя великой армии Юга. Исполненный дружеских чувств и всяческого уважения к союзной конституции, он предлагает Джеймсу Баркеру, а также всей его армии сложить оружие.

Не успел герольд закончить свою речь, как король убежал вперед. Глаза его сияли. Вся остальная огромная аудитория несколько секунд безмолвствовала, словно пораженная громом. Наконец она пришла в себя — и громовой раскат хохота потряс площадь.

— Лорд Верховный правитель Ноттинг-Хилла, — продолжал герольд, — не намерен в случае вашей сдачи использовать свою победу в целях принятия против вас каких-либо репрессивных мер, вроде тех, что замышлялись против него. Он не ограничит ваших свободных законов, он оставит вам ваши вольные города. Он будет уважать ваш правительственный строй, он будет чтить ваши знамена. Он не посягнет на веру Южного Кенсингтона, как не посягнет он на древние обычаи Бейзуотера.

— Определенно в этой шутке замешан король! — воскликнул Бэк, хлопая себя по ляжке. — Какова наглость? Прямо прелесть! Выпьем по стаканчику, Баркер!

Расщедрившись от полноты чувств, он в самом деле послал солдата в ближайший ресторан и достал два стакана.

Когда смех мало-помалу улегся, герольд возобновил свою монотонную речь:

— Если вы согласитесь сдать, сложить оружие и разойтись по домам под контролем наших войск, за вами будут сохранены все ваши права. На случай же отказа лорд Верховный правитель Ноттинг-Хилла повелел мне сообщить вам, что он только что занял кэмпденхиллскую водокачку, которая помещается как раз над вами, и что по истечении десяти минут, т. е. в тот момент, когда он узнает от меня о вашем отказе, он намерен открыть главный резервуар и затопить долину, в которой вы стоите. Боже, храни короля Оберона.

Бэк уронил стакан — большая лужа вина расплзлась по мостовой.

— Но... но... — пролепетал он. Потом последним, великолепным усилием собрал весь свой здравый смысл и взглянул фактам прямо в лицо.

— Придется сдать, — сказал он. — Мы ничего не можем сделать с шестьюдесятью тысячами тонн воды, которая хлынет на нас с крутого откоса. Придется сдать. Наши четыре тысячи все равно что четыре человека. Ты

победил, галилеянин. Перкинс, можете налить мне еще стакан вина.

Так сдалась великая армия Южного Кенсингтона и так основалась Ноттингхиллская империя.

Остается еще добавить, что после одержанной им победы Адам Вэйн приказал прибить к башне кэмпденхиллской водокачки огромную золотую доску с длиннейшей эпитафией, в которой указывалось, что башня эта представляет собой памятник героическому вождю Бейзутера Вилфриду Лэмберту. На верхушке ее была поставлена статуя того же Лэмберта, причем скульптор, изва-
явший ее, погрешил против истины, сделав герою нос несколько меньше, чем он был в действительности.

Книга пятая

Глава I. *Ноттингхиллская империя*

Вечером третьего октября, ровно через двадцать лет после великой победы, даровавшей Ноттинг-Хиллу власть над всем Лондоном, король Оберон, как встарь, вышел из Кенсингтонского дворца.

За исключением одной-двух прядей, серебрившихся в его волосах, он внешне изменился очень мало, ибо лицо его всегда было старообразным, а походка медлительной и как бы расслабленной.

Но если он и выглядел стариком, то отнюдь не по причине каких-либо физических или духовных немощей. Происходило это потому, что он с каким-то странным, настойчивым консерватизмом продолжал носить длинный сюртук и цилиндр довоенной эпохи. «Я пережил потоп, — говаривал он. — Я пирамида и соответственно с этим должен вести себя».

Он шел по улице, и кенсингтонцы в своих живописных синих туниках почтительно приветствовали его и провожали взглядами, полными любопытства; им казалось странным, что люди носили когда-то такое диковинное платье.

Король (или же, как его теперь называли близкие друзья, «дедушка Оберон») совершал свою ежедневную прогулку. Он остановился у Южных ноттингхиллских ворот — всего этих огромных сооружений из стали и бронзы было девять — и мечтательно посмотрел на украшавшие их барельефы с изображениями давно забытых битв, изваянные рукой самого Чиффи.

— Ах, — вздохнул он, качая головой и стараясь выглядеть старше, чем он был на самом деле. — Ах! Я помню те времена, когда здесь не было ворот.

Он прошел под Оссингтонскими воротами, украшенными огромным Красным Львом на желтом щите с девизом «Nothingyll». Стража в красных с золотом туниках отсалютовала ему алебардами.

Закат уже отгорел; на улицах мерцали фонари. Оберон остановился и долго смотрел на них, ибо его глаза — глаза художника и эстета — никогда не уставали любоваться этим гениальным произведением Чиффи. В память Великого боя фонарей каждый фонарь был увенчан фигурой, которая держала в одной руке меч, а в другой нечто вроде железного колпака или огнетушителя, словно готовясь опустить его на светильник при первой попытке армий Юга или Запада вторгнуться в пределы города. Фонари эти напоминали ноттингхиллским детям, играющим у их подножия, о грозных днях войны и чудесном спасении родины.

— В одном отношении старик Вэйн был прав, — промолвил король. — От прикосновения меча вещи становятся прекрасными. Весь мир стал благодаря ему романтичным. И подумать только, что когда-то меня считали шутком за то, что я твердил о романтике Ноттинг-Хилла! Охо-хо-хо (кажется, так это говорится), у меня такое чувство, словно все это происходило на какой-то другой планете.

Завернув за угол, он очутился на Пэмп-стрит, перед теми самыми четырьмя лавками, которые двадцать лет тому назад посещал Адам Вэйн. От нечего делать он зашел в бакалейную лавку м-ра Мида. Как и все на свете, м-р Мид заметно состарился; его длинная, пышная рыжая борода, дополнявшаяся ныне усами, сильно поседела и выцвела. Он был одет в длинную синюю хламиду, богато изукрашенную коричневыми и пурпурными восточными узорами и вышитую сложными рисунками, которые символизировали редкостные товары, прибывавшие к нему со всех концов земли. На шее его на золотой цепи висела бирюзовая звезда Голубого Руна, которую он носил в качестве гроссмейстера ордена бакалейщиков. Вся лавка отличалась той же мрачной пышностью красок, что и наружность ее владельца. Расстановка товаров была та же, что и встарь, но теперь в ней чувствовалась забота о гармонии красок и очертаний, которой так часто пренебрегали легкомысленные бакалейщики былых времен. Все товары были выставлены напоказ, но не так, как выставил бы их древний бакалейщик, а скорей, как утонченный коллекционер выставляет свои сокровища. Чай лежал в

больших голубых и зеленых вазах, украшенных девятью великими речениями китайских мудрецов. В других вазах — более скромных и мечтательных, переливчато-оранжевого и лилового цвета — хранился индийский чай. В гладких серебряных ларцах лежали мясные консервы. На каждом из этих ларцев был выгравирован примитивный, но полный ритма барельеф — раковина, бычьи рога, яблоко, указывавший на его содержимое.

— Ваше величество, — сказал м-р Мид, отвечивая глубокий поклон на восточный лад, — вы оказали мне великую честь, но еще большую — моему городу.

Оберон снял шляпу.

— М-р Мид, — ответил он, — все, что связано с Ноттинг-Хиллом, преисполнено чести. Нет ли у вас случайно солодкового корня?

— Солодковый корень, сир, не последняя из пряностей, добываемых нами из темных недр Аравии, — ответил м-р Мид.

И, торжественно подойдя к зеленому с серебром ящику в виде арабской мечети, он достал из него солодковый корень.

— А я вот о чем все время думаю, м-р Мид... — медленно сказал король. — Не знаю, с чего это мне приходят подобные мысли, но я думаю о том, что было двадцать лет тому назад. Помните довоенные времена?

Бакалейщик завернул покупку в кусок бумаги (снабженный соответствующей сентенцией), мечтательно поднял свои большие серые глаза и посмотрел на темное небо.

— О да, ваше величество, — сказал он. — Я помню, как выглядели эти улицы до того, как лорд Правитель принял власть над нами. Я не понимаю, как мы могли жить в них! Все эти великие битвы и песни так меняют человеческую душу! По-моему, мы никогда не можем как следует оценить все то, чем мы обязаны Правителю. Одно я помню ясно: как он пришел в эту лавку двадцать два года тому назад и что он говорил тогда. Удивительней всего то, что, насколько я помню, все его слова показались мне тогда необычайно дикими. А теперь мне кажется диким все, что говорил я, диким, как бред сумасшедшего.

— А! — сказал король, с неизмеримым спокойствием взглянув на него.

— В те времена я не задумывался над тем, что значит быть бакалейщиком, — продолжал м-р Мид. — Не странно ли это? Я понятия не имел о дивных странах, откуда при-

бывают мои товары, и о чудесных способах их изготовления. Я не знал, что фактически я король, рабы которого бьют острогами гигантских рыб у Северного полюса и собирают плоды на дальних островах тропических морей. Я был безумцем!

Король отвернулся к окну и уставился в непроглядную тьму, в которой вот-вот должны были вспыхнуть фонари, увековечивающие память великого боя.

— Не это ли конец бедняги Вэйна? — промолвил он как бы про себя. — Воспламенять каждого и всякого так, чтобы самому в конце концов раствориться в пожарище. В этом ли победа, что он, мой несравненный Вэйн, ныне всего лишь один из множества Вэйнов? Он победил и в силу победы своей стал общим местом. И м-р Мид, бакалейщик, говорит его языком. О боже! Что за странный мир, в котором человек не может остаться единственным в своем роде, даже взвалив на себя бремя сумасшествия.

И он вышел из лавки походкой сомнамбулы.

Он остановился перед дверью следующей лавки так же точно, как остановился перед ней двадцать лет тому назад Адам Вэйн.

— Как таинственно выглядит эта лавка, — сказал он, — и в то же время как завлекательна она, как гостеприимна! Она напоминает какую-то старую-престарую нянину сказку — слушая ее, вы трясетесь от страха и все-таки знаете, что все кончится благополучно. Эти низкие жесткие своды, сникающие, словно вялые крылья гигантской летучей мыши, эти странные цветные груши, сияющие, словно глаза сказочного великана! Как все это похоже на пещеру доброго волшебника! По-видимому, это аптека.

Не успел он договорить, как на пороге лавки показался аптекарь, м-р Боулс. На нем была длинная ряса из черного бархата, напоминавшая монашескую, но в то же время имевшая в себе что-то дьявольское. Ни одной серебряной нити не было в его волосах, а лицо его даже казалось бледнее, чем раньше. Единственным красочным пятном в мрачном его одеянии была красная звезда из какого-то драгоценного камня, висевшая на его груди. Он был кавалером Красной Звезды Милосердия — ордена врачей и аптекарей.

— Добрый вечер, сэр, — сказал м-р Боулс. — Виноват, если не ошибаюсь, я имею счастье лицезреть короля. Войдите, ваше величество, и распейте бутылочку летучей со-

ли — она разгонит ваши мрачные думы. Кстати, в моей келье в данный момент находится один старый знакомый вашего величества, распивающий прохладительные напитки.

Король вошел в аптеку. Яркостью красок и оттенков она показалась ему садом Аладдина. Аптекарь, по-видимому, обладал большим вкусом, чем бакалейщик, ибо краски на палитре его товаров были не только ярче, чем у того, но и подобраны с большим чутьем и фантазией. Но при всей своей радужности, при всей своей пышности этот вечерний *interieur* тускнел перед фигурой, стоявшей у прилавка. То был высокий, статный мужчина в ярко-синем бархатном костюме в стиле Ренессанс с лимонно-желтыми и палевыми брыжами. На шее его висело несколько цепей, а берет был украшен множеством перьев золотого и бронзового оттенка, ниспадавших до золотой рукоятки его огромного меча. Он держал в руках стакан летучей соли и любовался ее опаловыми переливами. Король нерешительно подошел к высокому незнакомцу, лицо которого находилось в тени, и вдруг воскликнул:

— Боже ты мой, да ведь это же Баркер!

Тот снял берет, и король увидел знакомое продолговатое, слегка лошадиное лицо, которое в былые годы так часто улыбалось ему над крахмальным воротничком. Баркер нисколько не изменился, за исключением припудренных сединой висков.

— Ваше величество, — молвил он, — эта встреча овеяна великими воспоминаниями — октябрь позолотил ее. Я пью за былые дни. — И он с чувством осушил свой стакан.

— Рад видеть вас, Баркер, — сказал король. — Давненько мы с вами не встречались. Едва ли больше двух раз со времен Великой войны.

— Я хотел бы знать, — задумчиво сказал Баркер, — могу ли я говорить с вашим величеством вполне откровенно.

— Конечно! — ответил Оберон. — Теперь уже так поздно, что вам не стоит говорить со мной почтительно. Ну, пой, моя вольная птичка!

— Так вот, ваше величество, — сказал Баркер, понижая голос, — кажется, мы на пороге новой войны.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил Оберон.

— Мы больше не в силах терпеть! — страстно крикнул Баркер. — Мы еще не стали рабами, оттого что Адам Вэйн

двадцать лет тому назад одурачил нас пожарной кишкой. Ноттинг-Хилл еще не весь мир! У нас, кенсингтонцев, тоже есть кое-какие традиции — и надежды тоже. Если они могли сражаться за свои дрянные лавчонки и несколько штук фонарей, почему бы нам не сразиться за великую Хай-стрит и Музей естественной истории?

— Боже великий! — воскликнул потрясенный Оберон. — Неужели чудесам не будет конца? Неужели случилось еще и это величайшее чудо — вы стали альтруистом, а Вэйн эгоистом? Неужели вы патриот, а он тиран?

— Не в Вэйне корень зла, ваше величество, — ответил Баркер. — Вэйн окончательно ушел в грезы и сны и целый день сидит со своим мечом у камина. Ноттинг-Хилл — вот кто тиранит нас, ваше величество! Успех Вэйновых людей и методов до такой степени опьянил ноттингхиллский совет и ноттингхиллских обывателей, что они считают долгом повсюду совать свой нос, всех учить уму-разуму, всех воспитывать, надо всеми командовать. Я не спорю — война за Пэмп-стрит, как это ни странно, сыграла большую роль в развитии современной городской жизни. Когда она разразилась, я был еще относительно молод, и благодаря ей мой кругозор очень расширился. Но мы больше не желаем терпеть постоянных глумлений и издевательств над нашими городами за то небольшое, что Вэйн сделал для нас около четверти века тому назад. Я как раз жду решительных вестей. Ходят слухи, что Ноттинг-Хилл наложил запрет на статую генерала Вилсона, которую беззастенчиво воздвигли на Чепстоу-плейс. Если это так, то это постыднейшее нарушение условий, на которых мы сдались двадцать лет тому назад генералу Тэрнбуллу. Нам была обещана полная неприкосновенность наших традиций. Нам было обещано самоуправление. Если это так...

— Это так! — раздался громкий возглас. Король и Баркер обернулись.

На пороге стояла тучная фигура в лиловом одеянии, с серебряным орлом на шее и с усами не менее пушистыми, чем перья ее берета.

— Да, — сказал вошедший, кланяясь королю. — Я — правитель Бэк, и то, что я говорю, — святая правда. Люди с Холма забыли, что мы сражались у Башни не хуже их и что нет большего безумия, а также и низости, чем презирать побежденного врага.

— Выйдем на улицу, — с мрачной решимостью сказал Баркер.

Бэк последовал за ним, остановился перед аптекой и обвел взглядом залитую светом улицу.

— Я готов взяться за оружие и разнести все это вдребезги, — пробормотал он. — Хотя мне и за шестьдесят...

Вдруг он вскрикнул и отшатнулся, закрыв лицо руками — тем самым жестом, которым он закрыл его двадцать лет тому назад.

— Тьма! — крикнул он. — Снова тьма! Что это?

И действительно, все фонари внезапно потухли; собеседники перестали видеть друг друга. Вдруг из мрака раздался приветливый голос аптекаря

— Разве вы не знаете? — произнес он. — Разве вам не говорили, что сегодня — Праздник Фонарей, годовщина великой битвы, чуть не погубившей, но в конце концов спасшей Ноттинг-Хилл. Разве вы не знаете, ваше величество, что ровно двадцать один год тому назад мы увидели на нашей улице зеленые туники Вилсоновых солдат, которые гнали Вэйна и Тэрнбулла на газовый завод, крича и дерясь, как черти? Тогда-то, в грозный час, Вэйн вскочил в окно газового завода, ударом кулака погрузил весь город во мрак, с мечом в руках и лвиным криком, разнесшимся за пять улиц, ринулся на бейзуотерцев и вытеснил их, растерявшихся и незнакомых с местностью, из священного города. Разве вы не знаете, что с той ночи каждый год фонари тушатся на полчаса, пока мы поем во мраке гимн Ноттинг-Хилла? Тише! Вот он!

Рокот барабанов раздался в ночи, а за ним послышалось пение тысяч голосов:

Звезды тихие сияли, ночь над городом плыла,

(Ночь над городом плыла):

Лучше дня она была.

Вдруг на Ноттинг-Хилл, где свет был фонарей и очагов,

От пустынь, от океанов пал неведомый покров —

Тьма спустилась, тьма спустилась, тьма спустилась на врагов!

И старая гвардия ринулась в бой,

Ибо гвардия господ ринулась в бой, ринулась в бой!

Звезды ясные склонились перед нею чередой,

Ибо в час, когда смыкались клещи вражеской орды,

В час, когда мечи ломались, в час смятения и беды,

Пала тьма драконом божьим на насильников ряды,

Когда старая гвардия ринулась в бой...

Невидимые голоса уже затянули второй куплет, как вдруг произошло нечто неожиданное. С криком «Южный Кенсингтон!» Баркер выхватил кинжал и бросился вперед. В следующее же мгновение вся улица наполнилась дикими проклятиями и шумом свалки. Баркер был отбро-

шен к витрине аптеки; он воспользовался секундой передышки, чтобы обнажить меч, и с криком «Не в первый раз проливаю я вашу кровь!» ринулся в гущу врагов. По-видимому, ему удалось ранить кого-то, потому что вопли усилились и в слабом свете окон замерцали мечи и кинжалы. И в тот момент, когда Баркер, казалось, окончательно выбился из сил, на арену боя выступил Бэк. Он был безоружен, ибо предпочитал мирное великолепие важного сеньора воинственному дэндизму, заменившему былой, штатский дэндизм Баркера. Но он одним ударом кулака разбил витрину соседней лавки — лавки древностей, — выхватил оттуда нечто вроде ятагана и с криком «Кенсингтон! Кенсингтон!» устремился на помощь Баркеру.

Меч последнего сломался, но он работал кинжалом. В тот момент, когда Бэк пробился к Баркеру, какой-то ноттингхиллец опрокинул последнего наземь, но тотчас же свалился сам под ударами Бэка. Баркер вскочил на ноги — лицо его было залито кровью.

Внезапно чей-то мощный голос покрыл шум и крик. Бэк, Баркер и король содрогнулись — им показалось, что голос этот звучит с неба; но самое жуткое в нем было то, что он был знаком им и в то же время бесконечно чужд и далек.

— Зажгите фонари, — произнес он. Смутный ропот был ему ответом.

— Именем Ноттинг-Хилла и Великого городского совета — зажгите фонари!

Снова раздался ропот. Толпа мгновение колебалась, а потом яркий свет внезапно залил улицу, гоня тьму. Подняв головы, они увидели на балконе под крышей одного из самых высоких домов Адама Вэйна; его красные волосы, кое-где прорезанные серебряными нитями, развевались по ветру.

— Что это такое, народ мой? — заговорил он. — Неужели же нельзя создать ничего хорошего, ничего великого, чтобы вы не захотели тотчас же опошлить, загадить его. Я долгие годы сидел у камина, грезя о лучезарной славе Ноттинг-Хилла, добывшего себе независимость, и все не мог упиться ею. Неужели же вам ее недостаточно — вам, у кого есть такое множество иных поводов для радости и скорби? Ноттинг-Хилл стал нацией. К чему ему опускаться до уровня простой империи? Вы хотите свергнуть памятник генералу Вилсону, который бейзуотерцы по заслугам воздвигли ему на Вестбурн-гров? Безумцы!

Кто воздвиг этот памятник? Бейзуотерцы? О нет! Ноттинг-Хилл воздвиг его! Неужели вы не понимаете, в чем величайшее наше достижение? Не в том ли, что мы заразили все города идеализмом Ноттинг-Хилла? Мы создали не только одну сторону медали, мы создали обе стороны ее. О вы, безумные рабы! Для чего хотите вы уничтожить ваших врагов? Вы сделали нечто значительно большее. Вы *создали* наших врагов! Вы хотите свергнуть гигантский серебряный молот, возвышающийся подобно обелиску в центре Хэммерсмита? Безумцы! До того, как возник Ноттинг-Хилл, разве думал кто-нибудь, что в центре Хэммерсмита будет возвышаться гигантский серебряный молот? Вы хотите уничтожить исполинскую бронзовую фигуру рыцаря, венчающую Нейтбридж? Безумцы! Кто думал о ней до того, как возник Ноттинг-Хилл? Более того, я слышал — о, с какой глубокой болью душевной! — что завистливые очи вашего империализма обратились на запад — туда, в далекую даль, где вздымается огромный черный ворон, увенчанный короной, ворон, свидетельствующий о достопамятной стычке в Рэвенскоурт-парке. Кто создал все эти памятники? Где они были до нас? Неужели вы не хотите удовольствоваться уделом, которым удовлетвовались Афины и Назарет? Неужели вам недостаточно быть создателями нового мира? Разве были Афины недовольны тем, что римляне и флорентийцы заимствовали их фразеологию для выражения собственных своих патриотических чувств? Разве был Назарет недоволен тем, что он — ничтожная деревушка — стал прообразом всех ничтожных деревушек, из которых, как утверждают снобы, не может быть ничего хорошего? Разве Афины приставали к кому-нибудь с просьбой носить хламиду? Разве последователям назареянина было предписано носить тюрбаны? Нет! Но душа Афин распространилась по миру и научила людей пить цикуту, а душа Назарета распространилась по миру и научила людей безропотно идти на Голгофу. И так же распространилась по миру душа Ноттинг-Хилла и научила людей понимать, что значит «жить в городе». Ноттинг-Хилл научил мир чтить древние символы, обряды и традиции. А вы — не сошли ли вы с ума, что ополчаетесь на них? Ноттинг-Хилл прав. Он всегда был прав. Он сам вылепил, он сам создал себя. Он собственное свое *sine qua non*. Он создал себя, потому что он нация; и потому, что он нация, он может уничтожить себя. Ноттинг-Хилл всегда будет сам себе судьей. И если вы хотите объявить войну Бейзуотеру...

Бешеный рев прервал его — говорить дальше было немислимо. Побелев как полотно, великий патриот тщательно пытался продолжать свою речь. Но даже его незыблемый дотолер авторитет не мог утихомирить темную толпу, бушевавшую у его ног. Он сказал еще что-то, но никто не услышал его. Тогда он скорбно спустился со своей мансарды на улицу и смешался с толпой, неистовствовавшей у подножия домов. Он отыскал генерала Тэрнбулла, с какой-то странной нежностью положил ему руку на плечо и торжественно промолвил:

— Старик, завтра нам с вами предстоит испытать нечто новое, нечто девственно-новое, как весенние цветы. Завтра мы будем разбиты. Мы с вами побывали в трех сражениях и ни разу не испытали этого странного наслаждения. К сожалению, мы едва ли сможем поделиться впечатлениями, потому что, по всей вероятности, оба умрем.

Тэрнбулл удивленно посмотрел на него.

— Я не так уж боюсь смерти, — сказал он, — но почему вы думаете, что мы будем разбиты?

— Ответ очень прост, — спокойно ответил Вэйн. — Потому что мы должны быть разбиты. Нам приходилось бывать в самых ужасных передрягах. Но я всегда был уверен, что звезды на нашей стороне и что мы должны благополучно выбраться. А теперь я знаю, что рок не судил нам выбраться. И это-то лишает меня всего того, что дарует мне победу.

Вэйн резко оборвал свою речь, ибо он увидел, что кто-то третий прислушивается к их разговору — невысокий человечек с круглыми глазами.

— Вы действительно уверены, дорогой мой Вэйн, что завтра вы будете разбиты? — спросил король.

— В этом не может быть сомнения, — ответил Адам Вэйн. — И я только что сказал, почему. Другой причины нет и быть не может. Но в виде уступки вашему материализму я готов прибавить, что на их стороне сто городов, что у них сто организованных армий против нашей одной. Однако само по себе это обстоятельство не играло бы никакой роли...

Глаза Квина все больше округлялись.

— Итак, вы действительно уверены, что будете разбиты? — говорил он со странной настойчивостью.

— Боюсь, что так оно и будет, — мрачно заметил Тэрнбулл.

— В таком случае,— воскликнул король, простирая к ним руки,— в таком случае дайте мне алебарду. О, дайте мне алебарду кто-нибудь! Да будет весь мир свидетелем, что я, Оберон, английский король, отрекаюсь от престола и молю правителя Ноттинг-Хилла позволить мне вступить в ряды его армии. Дайте мне алебарду!

Он вырвал из рук проходящего гвардейца алебарду и с торжественным видом зашагал в хвосте колонны ноттингхиллских солдат, с пением маршировавшей по улице. В свержении статуи генерала Вилсона, имевшем место в ту же ночь, он, однако, не принял участия.

Глава II. *Последний бой*

Небо было покрыто тучами в тот день, когда Вэйн со своей армией пошел умирать в Кенсингтон-Гарденс. Оно снова покрылось тучами в час, когда его полки были поглощены неисчислимыми войсками нового мира. Только на краткое сверхъестественное мгновение проглянуло солнце. Это было в тот миг, когда правитель Ноттинг-Хилла со спокойствием зрителя устремил взгляд на вражеские полчища, покрывавшие зеленую равнину у его ног. Огромные зеленые, синие и золотые квадраты и прямоугольники лежали вокруг парка, словно Евклидовы теоремы на пышной парче. Солнце улыбнулось — что-то болезненное и как бы влажное было в этой улыбке — и скрылось. Вэйн говорил с королем о военных операциях каким-то странным тоном, холодным и дремотным. Свερшалось его ночное пророчество: лишившись уверенности в своей правоте, он лишился всего. Он был обломком старины, беспомощно барахтавшимся в океане нового мира — мира компромиссов и соревнования, мира восстающих друг на друга империй, мира относительной правды и относительной неправды. Но когда он посмотрел на короля, сосредоточенно маршировавшего вслед за остальными в черном своем цилиндре и с алебардой на плече, его лицо слегка прояснилось.

— Ну что ж, ваше величество,— сказал он,— сегодня вы должны гордиться. Кто бы ни победил, победителями будут ваши дети. Другие монархи создавали законы, вы же создали жизнь. Другие монархи правили нациями, вы же создали нации. Другие создавали царства, вы же родили их. Посмотри на своих детей, отец! — И он простер руку по направлению к неприятелю.

Оберон не поднимал глаз.

— Посмотрите, как они прекрасны! — воскликнул Вэйн. — Как они прекрасны — новые города на той стороне реки! Смотрите, вон идет Бэттерси — знамя Пса веет над ним. А Путней! — Вы видите всадника на белом вепре на стяге Путнея? Как он сияет в лучах солнца! Это грядет новое поколение, ваше величество! Ноттинг-Хилл не просто империя. Ноттинг-Хилл, как Афины, — колыбель новой жизни, колыбель нового *modus a vivendi*, который вернет миру его юность. Ноттинг-Хилл — Назарет. Помню, в былые, трудные дни, когда я был молод, ученые тупицы писали книги о том, как весь мир станет одним государством, а с Луной будет установлено трамвайное сообщение. Еще ребенком говорил я себе: «Гораздо вероятней, что мы вернемся к крестовым походам или будем поклоняться городским богам». Так и вышло! И я счастлив, хоть это и последний мой бой!

Не успел он договорить, как слева раздался стальной лязг и грохот оружия.

— Вилсон! — каким-то радостным голосом воскликнул он, поворачивая голову. — Рыжий Вилсон ударил на нас с левого фланга! Никто не может устоять против него — он презирает смерть! Он такой же храбрый воин, как Тэрнбулл, только он менее терпелив — в нем нет истинного величия! Ха! И Баркер двинулся. Как он шагнул вперед! Как красиво он выглядит! И дело не только в перьях! Он обрел душу — раз в жизни обрел душу! Ха!

Снова раздался лязг оружия, на этот раз справа — то Баркер сошелся с ноттингхиллцами.

— Вот и Тэрнбулл! — воскликнул Вэйн. — Смотрите, он отбросил их! Баркер поддается! Тэрнбулл наступает — победа! Но наше левое крыло разбито! Вилсон смял Боулса и Мида — они пятятся! Гвардия Правителя, вперед!

И центр ноттингхиллской армии двинулся в бой — туда, где пылали кудри, лицо и меч Адама Вэйна.

Король ринулся вперед.

В следующее же мгновенье по всему отряду пробежала дрожь — он соприкоснулся с неприятелем. И Оберон увидел справа, сквозь лес ноттингхиллских алебард, Лилового Орла правителя Бэка.

На левом фланге рыжий Вилсон продолжал наседаť на уже поколебленные ряды ноттингхиллцев. Его маленькая зеленая фигурка, пламенно-рыжие усы и лавровый венок выделялись даже в этой сумасшедшей свалке. Боулс ударил его мечом по голове; веноч осыпался, и кровь выступила на лбу Вилсона. Заревев, словно бык,

он ринулся на аптекаря и после недолгой схватки пронзил его мечом. С криком «Ноттинг-Хилл!» Боулс пал на землю. Трепет пробежал по рядам красных алебардчиков — еще один натиск бейзуотерцев, и они обратились в бегство.

Зато на правом фланге Тэрнбулл все сильнее теснил Баркера; стяг Золотых Птиц уже склонялся перед Красным Львом. Кенсингтонцы падали один за другим. В центре же кипел ожесточенный, упорный бой между Вэйном и Бэком. До сих пор шансы были равны. И все же это сражение было фарсом. Ибо в тылу трех малочисленных армий, с которыми билась армия Вэйна, простиралось необозримое море союзных войск. Спокойно и насмешливо наблюдали они за ходом битвы — им достаточно было пошевелить пальцем, чтобы стереть с лица земли и Вэйна, и его врагов.

И вот они двинулись. Впереди в пастушеских своих одеяниях шли копыеносцы Шепхердс-Буша, а за ними суровые воины Пэддингтон-Грина. Они вовремя вступили в бой, ибо Бэк, правитель Северного Кенсингтона, уже давно подавал им отчаянные сигналы: он был окружен и отрезан. Его полки, истерзанные и смятые, казались островком в красном море Ноттинг-Хилла.

Союзники проявили преступную беспечность. Они позволили Тэрнбуллу разнести в пух и прах армию Баркера. Как только доблестный старый вождь Ноттинг-Хилла справился с этим делом, он скомандовал «кругом» и атаковал Бэка с тылу и с флангов. В тот же момент Вэйн крикнул: «В атаку!» и, подобно удару грома, обрушился на фронт кенсингтонцев.

Две трети Бэковых людей были изрублены в куски, прежде чем союзники пробились к ним. А потом прибой ста городов со знаменами, реющими над ним, словно пена морская, хлынул на Ноттинг-Хилл и поглотил его навеки. Сражение еще не кончилось, потому что ни один из солдат Вэйна не хотел сдаваться живым. Оно длилось до поздней ночи. Но исход его был уже предрешен: Ноттинг-Хилл перестал существовать.

Увидев это, Тэрнбулл на мгновение перестал драться и посмотрел кругом. Вечернее солнце озаряло его лицо. Оно казалось лицом дитяти. «Я познал юность», — сказал он. Потом вырвал из рук ближайшего солдата секиру, ринулся в гущу копыеносцев Шепхердс-Буша и пал мертвым где-то в самой глубине их смятенных рядов. Сражение

продолжалось. К полуночи не осталось в живых ни одного ноттингхиллца.

Вэйн стоял под деревом. Он был один. Несколько человек, вооруженных секирами, устремились на него. Одному из них удалось нанести ему удар. Он поскользнулся, но, протянув руку, схватился за дерево и прислонился к его стволу.

Баркер подскочил к нему с мечом в руках, весь трясясь от возбуждения.

— Велика ли теперь Ноттингхиллская империя, мой лорд? — крикнул он.

Вэйн улыбнулся в зияющий мрак.

— Достаточно велика, — ответил он, и меч его рассек воздух, черта серебряный полукруг.

Баркер упал, пораженный в шею; и рыжий Вилсон дикой кошкой прыгнул через его бездыханное тело на Вэйна. В то же мгновение за спиной владыки Красного Льва раздался рев. Червонное золото вспыхнуло во мраке — отряд западных кенсингтонцев бегом спускался с откоса, по колено в траве. Желтое знамя города развевалось над их головами.

И в тот же миг Вилсон упал навзничь, пораженный ударом Вэйна. Огромный меч снова взметнулся в воздухе, словно вспугнутая птица; но одновременно он как бы оторвал от земли Вилсона, который прыгнул на Вэйна, подобно бешеной собаке. Желтые алебардчики уже добежали до дерева, и один из них замахнулся секирой на Вэйна. Король Оберон с проклятием занес свою алебарду и вонзил ее в лицо кенсингтонца. Тот закачался и повалился на траву рядом с Вилсоном, которого Вэйн отбросил вторично. И снова правитель Бейзуотера вскочил на ноги и снова прыгнул на Вэйна. Он был отброшен опять, но на этот раз из груди его вырвался торжествующий смех. Он сжимал в кулаке желто-красную ленту, которую Вэйн носил в качестве правителя Ноттинг-Хилла. Двадцать пять лет висела она на том месте, откуда сорвал ее Вилсон.

Кенсингтонцы с диким ревом сомкнулись вокруг Вэйна. Их огромное желтое знамя трепетало над его головой.

— Где ваша лента, правитель? — крикнул вождь Западного Кенсингтона.

Громовой смех покрыл его слова. Адам нанес знаменосцу страшный удар и заставил его пошатнуться. Знамя качнулось вперед, и правитель Ноттинг-Хилла молниеносным движением оторвал от него кусок желтой ткани.

Какой-то алебардщик рассек ему плечо, из которого брызнула кровь.

— Вот один цвет! — крикнул Вэйн, затыкая желтую тряпку за пояс. — А вот, — он указал на кровь, струящуюся по его груди, — а вот другой!

В то же мгновение на короля обрушился удар алебарды, и он упал навзничь, оглушенный или мертвый. В последней вспышке меркнувшего сознания перед ним возникло странное видение из давно забытых времен — фантом, привидевшийся ему когда-то на пороге ресторана. Перед его затуманенными глазами проплыли цвета Никарагуа — желтый и красный.

Квин не увидел конца. Опынев от радости, Вилсон снова ринулся на Адама Вэйна, и огромный меч ноттингхиллского правителя еще раз рассек воздух. Алебардщики инстинктивно отпрянули при жутком свисте меча, разившего, казалось, с неба, и Вилсон, правитель Бейзуотера, пал на смятую траву, словно раздавленная муха. Он был мертв; но клинок, проломивший его череп, сломался сам. Умирая, он схватился за него и так и не выпустил его: в руках Вэйна осталась одна рукоять. Натиск врагов снова заставил Вэйна прислониться к дереву. Кенсингтонцев было так много, что они не могли воспользоваться ни алебардами, ни даже мечами: они стояли плечом к плечу, носом к носу. Тем не менее Бэку удалось вытащить кинжал.

— Убейте его! — странным, сдавленным голосом крикнул он. — Убейте его! Плохой ли, или хороший — он не наш! Не ослепляйтесь его лицом... Господи! Достаточно долго были мы слепы! — Он занес руку для удара и закрыл глаза.

Вэйн не шевельнул рукой, лежавшей на суку дерева. Только мощный вздох всколыхнул его грудь и все его исполинское тело, словно землетрясение, пронеслось над зелеными холмами. Судорожным усилием он оторвал сук от дерева вместе с корой и мясом. Один только раз взмахнул он им и опустил на голову Бэка. Со сломанной шеей пал лицом на землю творец Большой дороги, не выпуская кинжала из стальных своих пальцев.

— Доброе вино нацезено, брат мой, — молвил Вэйн своим странным, напевным голосом, — вам и мне и всем храбрецам в харчевне на краю света.

Кенсингтонцы сделали еще одну отчаянную попытку осилить его. Было так темно, что им приходилось драться вслепую. Он снова прислонился к дубу и засунул руку

в широкую трещину ствола, словно желая вырвать из дерева внутренности. Весь отряд, насчитывавший около тридцати человек, сделал попытку оторвать его от дерева. Они повисли на нем всей своей тяжестью, но он не шелохнулся. Была мертвая тишина. Не было в мире пустыни безмолвной этой кучи напряженных тел. Потом послышался какой-то слабый шум.

— Его рука скользит! — раздался радостный крик.

— Вы не знаете его, — яростно ответил один из алебарщиков — участник Великой войны. — Скорее, кости его трещат!

— Ни то ни другое, ей-богу, ни то ни другое! — крикнул кто-то.

— Что же тогда?

— Дерево падает, — ответил ветеран.

— Как дерево падает, так оно и ляжет, — раздался из толпы голос Вэйна. Он доносился как бы издалека, и что-то сладостное и в то же время страшное звучало в нем: даже когда Вэйн дрался как помешанный и изворачивался как угорь, он разговаривал как зритель.

— Как дерево падает, так оно и ляжет, — повторил он. — Люди называют это речение жутким, а между тем оно сущность, квинтэссенция всяческой радости. Сейчас я делаю то, что я делал всю мою жизнь, то, в чем единственное счастье, то, что действительно объемлет все. Я цепляюсь за что-то. Пусть оно падает, пусть оно лежит. Глупцы, вы шествуете по миру, вы видите царства земные, вы свободолюбивы, мудры и космополитичны — это все, что дьявол может предложить вам. А я делаю то, что делают истинные мудрецы. Когда дитя, гуляя по саду, хватается за дерево и говорит: «Пусть это дерево будет всем, что у меня есть», — в тот миг корни дерева уходят в преисподнюю, а ветви его вздымаются к звездам. Радость, испытываемая мной ныне, знакома влюбленному, для которого любимая женщина — все. Она знакома дикарю, для которого его идол — все. Она знакома мне, для которого Ноттинг-Хилл — все. У меня есть город. Пусть он падает там, где он стоял.

Пока он говорил, дерн зашевелился у его ног, словно живое существо, и медленно, подобно чешуйчатым змеям, выползли из него корни дуба. Потом мощная глава дерева, казавшаяся зеленым облаком среди серых облаков, словно исполинская метла, вымела небо, и дерево опрокинулось тонущим кораблем, погребая под собой все и вся.

Был мрак, и было безмолвие. Проходили часы. Потом из мрака возник голос.

— Таков конец Ноттингхиллской империи, — громко произнес он. — В крови она зародилась — в крови погибла. Ибо все сущее одинаково.

И снова было безмолвие, и снова был голос, но теперь он звучал иначе. Казалось, это был другой голос.

— Если все сущее одинаково, то это потому, что все сущее героично. Если все сущее одинаково, то это потому, что все сущее ново. Каждому человеку дана только одна душа, и каждой душе дана только одна беспредельно малая власть — власть в предопределенный час вырваться на волю и взлететь к звездам. Все, что заставляет человека чувствовать себя старым, — низко, будь то империя или портновская лавка. Все, что заставляет человека чувствовать себя юным, — велико, будь то великая война или любовное увлечение.

В самой темной из книг жизни есть закон, есть истина, она же загадка. От новшеств люди устают — от новых фасонов, от новых законов, от усовершенствований, от перемен. Только старина потрясает и дурманит. Только в старине юность. Нет такого скептика, который не сомневался бы в том же самом, в чем до него сомневались сотни людей. Нет такого взбалмошного богача, который не чувствовал бы, что все его новшества стары, как мир. Нет такого любителя новизны, который не чувствовал бы на своих плечах все бремя мировой усталости. Но нам — нам, воскрешающим старину, — природа даровала вечное детство. Разве поверит влюбленный, что в мире до него уже была любовь? Разве поверит мать, кормящая ребенка, что в мире до нее уже были дети? Разве могут люди, сражающиеся за свой город, ощутить на себе бремя всех империй, поверженных во прах? Да, темный голос, мир всегда одинаков, ибо он всегда неожидан!

Легкий ветерок пронесся в ночи, и первый голос ответил:

— Но в мире есть люди — мудрецы или безумцы, — которых не потрясает и не дурманит ничто. В мире есть люди, для которых все ваши боренья — жужжанье назойливых мух. Пусть весь мир смеется над вашим Ноттинг-Хиллом и восторженно изучает Афины и Иерусалим — они знают, что Афины и Иерусалим были такими же глупыми пригородами, как Ноттинг-Хилл. Они знают,

что вся земля — пригород, и единственное, что они чувствуют, рассказывая по ней, это — смутное, грустное удовольствие.

— Они философы либо дураки, — ответил второй голос. — Они не люди. Повторяю, люди живут, из поколения в поколение наслаждаясь тем, что превышает всяческого прогресса, — сознанием, что с каждым младенцем в мире возникают новое солнце и новая луна. Если бы ваше древнее человечество было одним-единственным человеком, человек этот, вероятно, сломился бы под грузом воспоминаний о всех подвигах и доблестях Земли. Груда различнейших проявлений героизма раздавила бы его, доброта и самоотверженность человечества сковали бы его ужасом. Но природе угодно было обособить каждую отдельную душу, чтобы она познавала все прочие души только понаслышке и чтобы все счастье и вся благодать мира нисходили на нее, как молния, — мгновенной, чистой, нечаянной, ослепительной вспышкой. И бремя ошибок и падений, тяготеющее на всех сынах Земли, тревожит их не более, чем неизбежные могильные черви тревожат детей, играющих на лужайке. Ноттинг-Хилл пал. Ноттинг-Хилл умер. Но нет в этом трагедии. Ноттинг-Хилл жил!

— Но если всеми этими усилиями достигается только пошлое животное довольство — ради чего же люди так мучительно борются, так безропотно умирают? Что сделал Ноттинг-Хилл такого, чего несколько тупых фермеров или племя дикарей не сделали бы без него? Что было бы с Ноттинг-Хиллом, если бы мир был не таким, какой он есть, — важный вопрос; но есть вопрос еще важнее. Что было бы с миром, если бы Ноттинг-Хилла не существовало вовсе?

Второй голос ответил:

— То же самое, что было бы с миром и со всеми звездными системами, если бы яблоня принесла шесть яблок вместо семи. Что-то было бы навеки потеряно для мира. В мире никогда, до скончания веков, не будет ничего вполне тождественного ему. Я верю в то, что небо любило его, как любит оно все, что довлеет себе, все, что незаменимо. Но даже и это для меня неважно. Если бы бог со всеми своими громами и молниями ненавидел Ноттинг-Хилл, я все равно любил бы его.

Голос замолк, и из мрака поднялся странный высокий силуэт.

После долгого молчания заговорил другой голос — он звучал как-то хрипло.

— Но допустите, что вся эта история была фарсом. Допустите, что в то время, как вы ломали себе голову над смыслом происходящего, смысл его был уже ясен. Допустите, что все это было издевательством, допустите, что все это было безумием. Допустите...

— Я прошел сквозь это, — ответил странный высокий силуэт, — и я знаю, что там не было ни издевательства, ни безумия.

Вторая, маленькая, фигура закопошилась по земле.

— Допустите, что я бог, — произнес первый голос, — и допустите, что я от нечего делать создал мир. Допустите, что звезды, которые вы считаете вечными, в сущности не что иное, как идиотский фейерверк неутомонного школяра. Допустите, что солнце и луна, которых вы воспеваете, в сущности не что иное, как немигающие глаза злобного великана, отверстые в вечной усмешке. Допустите, что деревья не более, как огромные, дурацкие мухоморы. Допустите, что для меня Сократ и Карл Великий — глупые твари, разгуливающие на задних ногах только для того, чтобы казаться смешнее. Допустите, что я бог и, создав мир, смеюсь над ним.

— И допустите, что я человек, — ответил второй. — И допустите, что я дам вам ответ, перед которым окажется бессильным даже смех. Допустите, что я не отвечу вам глумлением, что я не оскорблю, не прокляну вас. Допустите, что я, стоя под этим самым небом, всеми фибрами моего существа, всем своим разумением, благодарю вас за шутовской рай, который вы создали. Допустите, что в мучительном экстазе я восхваляю вас за шутку, которая дала мне такую страшную радость. Если мы придали ребяческой игре значимость крестового похода, если мы наполнили ваши нелепые городские сады кровью мучеников, — мы тем самым превратили детскую в храм. Во имя неба, я спрашиваю вас — кто же из нас победил?

Небо надвинулось на гребни холмов, и черные деревья начали мало-помалу сереть — приблизилась заря. Маленькая фигурка, казалось, подползла к большой. В голосе ее звучали более теплые нотки.

— Но допустите, друг, что все это было издевательством в самом горьком, в самом голом смысле. Допустите, что с самого начала этих великих войн существовал человек, который следил за ними с невыразимым, неописуемым чувством — чувством оторванности, ответственно-

сти, иронии, агонии. Допустите, что был человек, который знал, что все это шутка.

— Он не мог этого знать, — ответил высокий силуэт. — Ибо не все было шуткой.

Порыв ветра смел облака, плывшие по небу, и обнажил узкую полоску утреннего серебра. Маленькая фигурка подползла еще ближе.

— Адам Вэйн, — произнесла она, — есть люди, которые каются только *in articulo mortis*, есть люди, которые хулят себя только, когда они никому уже больше не могут помочь. Я — один из этих людей. Здесь, на этом поле, где весь ваш замысел захлебнулся в крови, я открыто скажу вам то, чего вы никогда не могли понять. Вы знаете, кто я?

— Я знаю вас, Оберон Квин, — ответил высокий силуэт, — и я буду рад снять с вашей души любую тяжесть, которая давит ее.

— Адам Вэйн, — произнес первый голос, — едва ли вы будете рады снять с моей души ту тяжесть, о которой я расскажу вам. Вэйн, все это было шуткой! Когда я создавал эти города, я относился к ним не более серьезно, чем к какому-нибудь кентавру, тритону, рыбе с ногами, свинье, покрытой перьями, и прочей неправдоподобной чепухе. Когда я торжественным и проникновенным тоном говорил вам о знамени вашей вольности и о святости вашего города, я издевался над порядочным, честным человеком. Двадцать лет разыгрывал я комедию! Быть может, никто не поверит мне, но клянусь вам, — я человек одновременно робкий и нежный. Никогда — ни в те дни, когда пламя вашего фанатизма только разгоралось, ни в те дни, когда вы были победителем, — я не решался сказать вам это. Я не решался нарушить потрясающий покой вашего лица. Один бог знает, почему я делаю это теперь, когда мой фарс разрешился трагедией и гибелью вашего народа! Но я должен сказать вам все. Вэйн, это была шутка!

Воцарилось молчание. Свежий ветерок снова пронесся по небу, открывая огромные поля серебряной зари.

Наконец Вэйн очень медленно промолвил:

— Итак, вы все это делали в шутку?

— Да, — коротко ответил Квин.

— Когда вас осенила идея о бейзуотерской армии, — дремотным голосом продолжал Вэйн, — и о знамени Ноттинг-Хилла, вам ни на одну минуту, ни на одну секунду

не пришло в голову, что такие вещи могут быть напоены страстью и романтикой?

— Нет, — ответил Оберон, с великолепной, пасмурной искренностью обращая свое круглое белое лицо к заре, — не пришло.

Вэйн соскочил с пригорка, на котором он стоял, и протер к Оберону руки.

— Я не перестану благодарить вас, — сказал он голосом, в котором трепетала какая-то странная радость, — за все, что вы даровали миру. Минуту тому назад ваш голос казался мне голосом злого духа, осмеивающего все и вся, — и тем не менее я сказал вам, что я думаю о свершившемся. Меня и вас, Оберон Квин, — нас обоих бесчисленное количество раз называли помешанными. Мы и есть помешанные! Мы — помешанные, потому что мы не два человека, а один человек. Мы — помешанные, потому что мы две половинки одного и того же мозга — мозга, расколотого пополам. И если вы потребуете доказательства, мне нетрудно будет дать его вам. Дело не только в том, что вы, юморист, были лишены в те мрачные дни великой радости серьезного подхода к жизни. Дело не только в том, что мне, фанатику, пришлось расти, не зная юмора. Дело в том, что мы, казавшиеся такими противоположными друг другу, были взаимно противоположны, как мужчина и женщина, в определенный час стремящиеся к одной и той же жизненной цели. Вы и я — мы отец и мать Хартии городов.

Квин опустил голову и долго смотрел на истоптанные листья и ветки, тускло мерцавшие в первых лучах зари. Наконец он сказал:

— Ничто не может уничтожить нашу вражду. Как забыть, что я смеялся надо всем, чему вы молились?

Лучи солнца ударили в поднятое к небу лицо Вэйна. Что-то божественное засияло в нем.

— Я знаю вещь, которая уничтожит нашу вражду, — вещь, которая вне нас, вещь, о которой, быть может, и вы и я за всю нашу жизнь думали слишком мало. Простая бессмертная человеческая душа уничтожит нашу вражду, ибо человеческое существо не ведает вражды между смехом и уважением — человеческое существо, простой человек, которому все гении, как вы и я, должны поклоняться, как богу. В темные, тяжкие дни горя и бедствий человечество нуждается в вас и во мне — в чистом фанатике и в чистом сатирике. Мы вместе исцелили тяжелую болезнь человечества. Мы даровали современным городам

ту поэзию, которая неизмеримо более свойственна им, чем самые будничные проявления городской жизни. Каждый, кто знает человечество, знает и это. В здоровом народе не может быть вражды между вами и мной. Мы с вами не более как две половинки мозга одного пахаря. Смех и любовь неразлучны. Соборы, воздвигнутые в те века, когда люди еще любили бога, украшены кощунственными гротесками. Мать вечно улыбается своему дитяте, возлюбленный вечно улыбается своей возлюбленной, жена — мужу, друг — другу. Оберон Квин, слишком долго были мы разлучены: настал час воссоединения. У вас — алебарда, у меня — меч, идемте же в мир — нам предстоят великие странствия! Ибо мы сущность мира. Идемте, уже день!

Залитый бледными лучами зари, Оберон мгновение колебался. Потом он поднял свою алебарду, салютуя Вэйну, и, взявшись за руки, они вступили в неведомый мир.

Примечания

В сборник включены произведения утопического жанра, созданные зарубежными авторами в период с XVI по начало XX века и публикуемые в хронологии их написания.

Томас Мор (1478—1535)

Томас Мор родился в семье зажиточного юриста, потомственного горожанина Лондона, и, согласно традиции, должен был унаследовать профессию отца. Первоначальное образование получил в грамматической школе при госпитале св. Антония, где овладел чтением и письмом по-латыни. Почти два года проучившись в Оксфордском университете — центре гуманизма в Англии, — он, по настоянию родителей, перешел в специальную юридическую школу Лондона и около 1502 года стал адвокатом.

Дальнейшая карьера Мора блистательна и трагична. Избрание в парламент, служба помощником лондонского шерифа, высший государственный пост лорда-канцлера Англии, многочисленные заслуги перед родиной не спасли его от обвинения в измене и заключения в Тауэр. Причиной опалы явились разногласия с королем Генрихом VIII, отказ потворствовать деспотизму. Месяцы тюрьмы не сломили твердости английского гуманиста. Приговоренный к казни, он был обезглавлен.

Томас Мор был одним из самых образованных людей своего времени. Изучение сокровищ древнегреческой литературы и философии, общение с кружком оксфордских гуманистов, дружба с Эразмом Роттердамским, Петром Эгидием и другими единомышленниками сформировали его мировоззрение. Идеи свободолюбия и ненависти к тирании он воплотил в сочинении «История Ричарда III». Остроумны его латинские эпиграммы, как бы дополняющие главное произведение — «Золотую книгу, столь же полезную, как забавную, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии» (1516).

В России «Утопия» Мора известна с XVIII столетия. Первое ее печатное издание было осуществлено под надзором Эразма Роттердамского и Петра Эгидия. Оно вышло в г. Лувене (Бельгия) в 1516 году и является большой редкостью, тем более что рукопись «Утопии» не сохранилась. В последующих изданиях публикаторы стремились исправить неточности и опечатки. Наиболее верным является комментированное издание Лептона (Оксфорд, 1895), по которому и сделан настоящий перевод А. И. Малеина и Ф. А. Петровского.

Текст печатается по изданию: Утопический роман XVI—XVII веков. — М.: Художественная литература, 1971.

С. 19. ...*Эгидию*. — Петр Эгидий (1486—1533), гуманист, друг Томаса Мора и Эразма Роттердамского (1469—1536).

С. 20. *Иоанн Клемент* — Джон (Иоанн) Клемент (ум. в 1572 г.), воспитанник Мора, был женат на его приемной дочери.

Гитлодей — выдуманное Мором имя, образованное от греческих корней, в переводе — «опытный говорун».

Амауротский мост — Амаурот, в переводе с греческого — непознаваемый, темный, то есть в действительности не существующий, возможно, иносказательное обозначение «туманного» Лондона.

Анидр — название реки, которой нет на самом деле, образовано от греческого слова, в переводе — «бездонная».

С. 23. ...*немаловажные спорные дела...* — Конфликт между английским королем Генрихом VIII (1491—1547) и испанским принцем, будущим императором Карлом V (1500—1558) из-за расстроившегося династического брака между ним и сестрой Генриха VIII, в результате чего была прекращена торговля Англии с Фландрией и Нидерландами, управляемыми Испанией. На переговоры в 1515 г. отбыл Мор, добившийся успеха.

Кутберт Тунсталл (1474—1559), участник этих же переговоров, друг Мора и Эразма, крупный светский и духовный деятель.

Георгий Темзиций (ум. в 1536 г.) — настоятель монастыря на севере Франции.

С. 25. *Палинур* — моряк, кормчий из поэмы Вергилия «Энеида».

Улисс — главный герой поэмы Гомера «Одиссея».

Платон (427—348 г. до н. э.), древнегреческий философ-идеалист, своими сочинениями (диалогами) оказавший большое влияние на развитие утопической мысли; много путешествовал.

Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н. э. — 65 н. э.) — римский философ-стоик и писатель, автор трагедий.

Цицерон Марк Туллий (106—43 г. до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель.

Америго Веспуччи (1451—1512), флорентийский мореплаватель; его именем названа Америка, которую он четырежды посетил и дал первое ее описание.

Небеса не имеющих урны укроют... — Цитата из «Фарсалии» римского поэта I в. н. э. Марка Аннея Лукана.

Дорога к всевышним отовсюду одинакова. — Сознательно измененная цитата — изречение древнегреческого философа Анаксагора (ок. 500—428 г. до н. э.) в передаче Цицерона, где Мор поставил слово «всевышним» вместо «ада, преисподней».

Тапробана — так называли римляне остров Шри-Ланка, в переносном смысле — очень далекий остров, край света.

Каликуит — теперешний Каликут, портовый город в Индии.

С. 27. *Сцилла* — в греческой мифологии — морское чудовище, губившее проплывающие мимо корабли.

Целено — в греческой мифологии — гарпия, отвратительное крылатое существо, полуженщина-полуптица.

Лестригоны — в греческой мифологии — людоеды.

С. 30. ...*после поражения западных англичан...* — Упоминание о восстании северо-западного графства Корнуэлл в Англии против Генриха VII в 1491 году, которое закончилось разгромом. *Иоанн Мортон* — Джон Мортон (1420—1500) — государственный деятель, архиепископ Кентерберийский, кардинал, был лордом-канцлером; покровитель и наставник молодого Т. Мора.

С. 32. ...*после битвы при Корнуэлле и немного ранее* — после войн с Францией... — Речь идет о так называемом корнуэлльском мятеже 1497 года из-за увеличения налогов, об осаде французского города Булони в 1492 году Генрихом VII, а также о военных действиях против Франции Генриха VIII.

С. 33. *Саллюстий* — Крисп Гай Саллюстий (86—34 г. до н. э.), римский историк; цитируется «Заговор Катилины».

С. 34. *Ваши овцы... поедают даже людей.* — Метафора ярко выражает бесчеловечный характер огораживаний, когда крестьян сгоняли с земли, занимая ее под пастбища и оставляя сельских жителей без куска хлеба. К. Маркс в «Капитале» использовал рассуждение Мора (см. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 731).

С. 35. *Олигополия* — право на торговлю для немногих, слово образовано от греческих «немногий» и «продавать».

С. 38. *...достойные Манлия законы...* — Манлий — римский диктатор середины 4 в. до н. э., приказал казнить собственного сына за нарушение запрета вступать в битву будучи вне строя.

Закон Моисеев — изложен в Библии, в книге «Исход».

Закон милосердия — подразумевается Евангелие.

С. 39. *Полилериты* — много болтающие, суетловы, образовано от греческих слов «многий» и «болтовня», «вздор». Мор таким образом подчеркивает, что речь идет о вымышленном, несуществующем народе.

С. 42. *...привилегия заповедных мест...* — Право убежища, где преступник считался неприкосновенным, обычно предоставлялось церкви.

С. 44. *Елисей* — библейский пророк, жестоко наказавший детей за насмешку над его плешивостью; цитируется средневековое песнопение.

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 г. до н. э., славился своей мудростью.

С. 45. *...если философы будут царями, или цари философами...* — Мысль Сократа, проводимая в «Государстве» Платона.

...при дворе Дионисия... — Дионисий Младший, правитель Сицилии (с 367—356 и 346—343 г. до н. э.). Приглашал Платона, чтобы философ учил его управлять государством, но попытка ни к чему не привела, а жизнь Платона при дворе постоянно подвергалась опасности из-за придворных интриг.

С. 46. *...умилостивить золотом... гнев императора...* — Имеется в виду Максимилиан I Австрийский (1493—1519), император Священной Римской империи, известный своей алчностью.

...с королем Арагонии... — Фердинанд Арагонский (1474—1516), отец первой жены английского короля Генриха VIII.

...брачными надеждами короля Кастилии... — Речь идет о браке кастильского принца с дочерью Людовика XII для укрепления союза Кастилии с Францией.

С. 47. *Ахорийцы* — жители вымышленной страны.

С. 48. *...повысить стоимость монеты...* — английские короли Эдуард IV и Генрих VII совершали такие операции с деньгами.

...прекратил кровопролитие... — Английский король Генрих VII в 1492 году заключил мир с Францией, не начав войны.

...старинные, съеденные червями законы... — Обращение к устаревшему законодательству при Генрихе VII.

С. 49. *Красс* — Марк Лициний Красс (ок. 115—53 г. до н. э.), римский полководец, богат.

С. 50. *Фабриций* — римский консул и полководец, II в. до н. э.

Макарийцы — в переводе с греческого — «счастливые», «блаженные».

С. 51. *Схоластическая* — официальная церковная философия средневековья; против которой выступали гуманисты Возрождения.

С. 52. *Плавт* — Тит Макций Плавт (сер. III в. — ок. 184 г. до н. э.) — римский комедиограф.

«Октавия» — трагедия, приписываемая философу Сенеке, воспитателю Нерона (37—68), об отвергнутой жене этого римского императора.

С. 53. *Теренциева Микиона...* — Микион — герой комедии «Братья» римского писателя Публия Теренция Афры (195—159 г. до н. э.).

С. 58. *Остров утопийцев* — есть немало предположений, какую из стран Мор описал в качестве Утопии: Англию, Атлантиду, о которой писал Платон в «Критии», или южнославянскую общину (мнение М. П. Алексеева).

С. 59. *Абракса* — в современном коптском языке — «священное имя». В средневековые встречается у алхимиков и у философов-гностиков.

...на острове пятьдесят четыре города... — Соответствует количеству городов тогдашней Англии.

С. 60. *Филарх* — в переводе с греческого — «начальник».

...цыплят они выраивают... — Искусственным выведением цыплят занимались в Египте, Китае, Индии до н. э., затем это умение было утрачено до XVIII века.

С. 64. *...стеклом...* — Окна из стекла в XVI веке были дороги и редки.

Сифогрант — вероятно, от греческого слова «мудрый», «старший»...

...транибор, а ныне протофилах... — Вероятно, от греческих слов «властитель», «первый начальник».

С. 69. *Барзан* — в иранских языках — «высокий».

Адем — в переводе с греческого — «без народа».

С. 74. *...каждая мать сама кормит ребенка...* — Этого требовали античные авторы (Тацит, Плутарх), которым подражали гуманисты.

С. 79. *...бросают орехи, амулеты и куклы...* — То есть расстаются с детскими игрушками и с детством.

Анемолійцы — в переводе с греческого — «ветренные», «пустые».

С. 82. *Диалектика* — здесь — умение вести диспуты и рассуждения по канонам средневековой формальной логики.

«Малая логика» — учебник схоластической логики XIII века, составлен Петром Испанцем (папой Иннокентием XXI), критиковался гуманистами. Мор шутил, что в этой книге «мало логики».

...«вторые интенции»... — термин логики, подразумевающий не сами предметы, а их роды и виды.

С. 84. *...мнению, защищавшему удовольствие...* — Подразумевается учение древнегреческого философа Эпикура (341—270 г. до н. э.). Противники его — философы-стоики, основой этики которых является отвлеченная добродетель.

С. 88. *...увлекается жемчугом и камушками...* — сатирический намек на алчность и пристрастие к драгоценностям Генриха VIII и его приближенных.

С. 95. *Феофраст* — Теофраст (372—287 г. до н. э.), древнегреческий естествоиспытатель и философ, ученик и друг Аристотеля. Впервые его сочинения напечатаны в 1497 году в Венеции.

Ласкарис — Константин Ласкарис (ум. 1150), византийский ученый, автор грамматики — первой книги, напечатанной греческим шрифтом в 1476 году в Милане.

Федор Газа (1398—1478) — византийский ученый, чья греческая грамматика напечатана в 1495 году в Венеции.

Гесикий — греческий грамматик (V или VI в. н. э.). Его греческий словарь издан в Венеции в 1514 году.

Диоскорид Педаний — греческий врач I в. н. э., чьи сочинения напечатаны в 1499 году в Венеции.

Далее Мор приводит перечень древних авторов, без которых, по его мнению, образование немислимо. Это древнегреческие историки *Фукидид* (640—595 г. до н. э.), *Геродот* (ок. 480—425 г. до н. э.), *Геродиан* (170—240), *Плутарх* (ок. 45—ок. 127); древнегреческие писатели — сатирик *Ауклиан* (ок. 117—ок. 190), комедиограф *Аристофан* (ок. 446—385 г. до н. э.), *Гомер* — легендарный автор «Илиады» и «Одиссеи», драматурги *Еврипид* (ок. 480—406 г. до н. э.) и *Софокл* (ок. 496—406 г. до н. э.); древнегреческие врачи *Гиппократ* (ок. 460—ок. 370 г. до н. э.) и *Гален* (131—210), автор «Малого искусства» — сборника его медицинских работ.

Альд Мануций (ок. 1450—1515) — известный венецианский типограф, впервые напечатавший у себя в мастерской многие произведения древнегреческих и римских авторов.

Триций Апинат — вымышленный спутник Гитлодея, чье имя образовано от латинских слов «ерунда», «пустяки». Указывает, что персонаж придуман автором.

С. 105. *Нефелогеты* — вымышленный народ, назван путем соединения двух греческих слов, в переводе означающих «облако» и «рожденный».

Алаополиты — наименование, образованное от греческих слов «слепой» и «гражданин».

С. 109. *Заполеты* — выдуманное название народа, в переводе с греческого — «вполне продажные». Автор намекает на швейцарских наемников.

С. 115. ...называют это существо на родном языке *Митрою*... — Митра в древневосточных религиях — бог света, добра, покровитель мирных, доброжелательных отношений между людьми, его культ был распространен в Риме, соперничал с христианским. Язык утопийцев, по словам Мора, происходил от греческого, но был близок персидскому, персами Митра также почитался.

С. 120. *Бутрески* — вымышленное название, в переводе с греческого «очень религиозные».

С. 122. Первые дни каждого месяца они называют на своем языке *цинемерными*, а последние — *трапемемерными*... — Видимо, следует принять перевод Мора — «первые праздники и конечные праздники».

Томмазо Кампанелла (1568—1639)

Джованни Доменико Кампанелла родился на юге Италии, в Калабрии, находившейся под властью испанцев. Способности к наукам проявил с детства, учился логике у монаха-доминиканца, писал стихи, а в пятнадцать лет ушел в монастырь вопреки желанию отца, мечтавшего о юридической карьере сына.

В монашестве Кампанелла принял имя Томмазо. Он серьезно занялся философией и богословием, переписывался с Галилеем, взгляды которого позже неоднократно защищал. Самостоятельно приобретя разностороннее образование, Кампанелла написал великое множество со-

чинений по оккультным и естественным наукам, теологии, метафизике, астрономии, физике, физиологии, излагая свои мысли стихами и прозой в форме вдохновенных сонетов, философских трудов по-латыни и по-итальянски.

Большую часть работ Кампанелла создал в тюрьмах, куда был ввергнут за участие в заговоре против испанских завоевателей и где провел долгие двадцать семь лет. Оправданный по одному обвинению, он попал под другое, ибо, как верно замечал сам, «злодеи не преступления искали, а стремились изобразить меня преступным». Осужденный как мятежник и еретик, Кампанелла семь раз подвергался жестоким пыткам инквизиции, но сохранил неукротимую бодрость духа и продолжал творить. В заключение возникла его утопия «Город Солнца» (1602), где воплотилась мечта о совершенном государстве.

Интерес папы Урбана VIII к астрологии, которой занимался Кампанелла, способствовал освобождению последнего, но из-за обвинения в организации нового заговора против Испании Кампанелла вынужден был бежать во Францию, где умер, успев издать с помощью друзей лишь два первых тома собрания сочинений.

«Город Солнца» был написан на итальянском языке, а в 1613 году переведен автором на латинский и впервые издан в 1623 году. Русскому читателю эта книга известна в переводе 1906 года, напечатанном в приложении к журналу «Всемирный вестник», и по неоднократным изданиям перевода А. Г. Генкеля, впервые вышедшего отдельной книгой в 1907 году. В настоящем сборнике представлен сделанный с первого латинского издания перевод Ф. А. Петровского.

Текст печатается по изданию: Утопический роман XVI—XVII вв. — М.: Художественная литература, 1971.

С. 134. *...по семи планетам.* — По геоцентрической системе мира в трудах древнегреческого астронома Птолемея, это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.

С. 136. *Устройство храма* — соответствует схеме Солнечной системы в представлении Кампанеллы.

С. 137. *Ветров... они насчитывают до тридцати шести.* — Кампанелла намеренно увеличивает общепринятое число направлений ветра (в навигации — 32, в метеорологии — 16 румбов), т. к. исходит из мистического значения чисел.

Верховный правитель... «Солнце»... — Далее в тексте он фигурирует как Метафизик или обозначается астрономическим знаком солнца ☉.

Пон, Син и Мор — для наименования этих правителей автор берет буквы из итальянских слов, обозначающих мощь, мудрость и любовь (Possanza, Sapienza, Amore) и в совокупности, по мнению Кампанеллы, составляющих положительную основу бытия.

С. 138. *Пифагорейцы* — последователи учения древнегреческого мыслителя Пифагора (6 в. до н. э.), считавшие число основой всего существующего и разработавшие систему обрядов, на которые ссылается Кампанелла.

С. 139. *Феникс* — сказочная птица, по представлениям древних, сжигающая себя и вновь возрождавшаяся из пепла, символ вечного обновления.

С. 140. *Моисей* — в библейской мифологии — пророк и законодатель.

Озирис — в древнеегипетской мифологии — бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых.

Юпитер — в римской мифологии — бог-громовержец, царь богов и людей (в Древней Греции — Зевс).

Меркурий — в римской мифологии — бог торговли, покровитель путешественников (в Древней Греции — Гермес).

Ликург — легендарный спартанский законодатель (9—8 вв. до н. э.).

Помпилий — полубог-полумифический римский царь, учредитель законов Древнего Рима.

Пифагор Самосский (6 в. до н. э.) — древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, основатель пифагореизма, математик.

Замолксий — согласно преданию, ученик Пифагора.

Солон — греческий мудрец (между 640 и 635 — ок. 559 г. до н. э.), реформатор, законодатель, афинский архонт (высшее должностное лицо).

С. 141. *Цезарь* — Гай Юлий Цезарь (102 или 100—44 г. до н. э.), римский диктатор, полководец.

Александр — Александр Македонский (356—323 г. до н. э.), царь Македонии, завоеватель.

Пирр (319—273 г. до н. э.) — царь Эпира, чья победа при Аускулуме (279) достигнута ценой огромных потерь (отсюда — «пиррова победа»).

Ганнибал (247 или 246 — 183 г. до н. э.) — карфагенский полководец.

...республика, монархия или аристократия? — По Аристотелю, различные формы государственного устройства, от каждого из которых отличается строй Города Солнца.

С. 143. *Августин* — Августин Блаженный (354—430), христианский теолог и церковный деятель, автор сочинения «О граде божием», где покой, счастье и справедливость человеку предполагалось обрести лишь в «загробной» жизни.

С. 149. *Знаки Овна, Рака, Весов и Козерога* — знаки зодиака, соответствующие первым месяцам времен года (март, июнь, сентябрь, декабрь).

С. 151. *...статуи знаменитых мужей, которые женщины созерцают...* — Считалось, что ребенок будет похож на изображение, созерцаемое перед зачатием.

Час этот определяется астрологом и врачом... — Кампанелла, приверженец астрологии — учения о якобы существующей связи между судьбами людей и расположением небесных светил, — рассуждает о наиболее благоприятном их нахождении, влияющем на будущего младенца.

...в благоприятном Доме... — В астрологии воображаемый неподвижный небесный круг (круг генитуры), по которому движется зодиак с созвездиями и планеты, причем над горизонтом видна лишь половина круга, делится на двенадцать «Домов» (жизни, прибыли, детей, вражды и неволи и проч.).

...в хорошем аспекте Юпитера... — Вписывая в зодиакальный круг, поделенный на двенадцать знаков зодиака (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы), геометрические фигуры (шестиугольник, квадрат, треугольник) и проводя диаметры, астрологи получали аспекты, в которых одни точки находились по отношению к другим; их разделяли на хорошие и дурные, так же как небесные тела считали благотворными (Солнце, Луна, Юпитер, Венера) или вредными (Марс, Сатурн), а Меркурий — изменчивым.

...для Солнца и Луны, которые чаще всего бывают афетами. — По Птолемию, механистически понимавшему процессы биологии, жизнь зависела от начального импульса, или «пуска», по-гречески «афета». «Пускающие-

ми» жизнь, или «афетами», становились Солнце, Луна или планета, находившаяся в одном из пяти мест круга генитур.

...*Деву в гороскопе*... — Созвездие Девы на восточном краю горизонта по таблице взаимного расположения планет и звезд.

...*сопутствия*... — В астрологии — близкого нахождения планет, движущихся в одном направлении.

С. 154. *Святой Фома* — Фома Аквинский (1225—1274), философ-схоласт и богослов.

С. 156. ...*превозносят апостолов*. — Утописты идеализировали черты «потребительского коммунизма» в библейских «деяниях апостолов».

Климент Римский — в I в. н. э. епископ римской церкви.

С. 157. *Глосса* — с греческого — толкование непонятного слова, текста.

Тертуллиан (ок. 160—222 г.) — христианский теолог и писатель.

Катон Младший (95—46 г. до н. э.) — республиканец в Древнем Риме, противник Цезаря.

Ересь николаитов — последователей Николая, одного из первых христианских диаконов.

Кайета (Гаэтано) (1480—1547) — итальянский богослов, комментировал труды Фомы Аквинского.

С. 158. *Брахманы* — в Индии каста жрецов, придерживающихся учения о переселении душ.

С. 159. *Иисус Навин* — в библейской мифологии продолжатель дела Моисея.

Маккавеи — династия правителей Иудеи в I в. до н. э.

С. 162. *Кикн* — в греческой мифологии — неуязвимый для оружия сын бога Посейдона, задушен Ахиллом ремнями от шлема.

С. 166. *«Георгика»* — возможно, поэма Вергилия о земледелии; *«Буколика»* — сборник «пастушеских» стихотворений.

Авраам — по библейской мифологии — патриарх, родоначальник еврейского народа.

Плеяды — по греческой мифологии, семь дочерей Атланта, превращенные Зевсом в созвездие.

С. 168. ...*воздвигали свой город*... — Кампанелла говорит о соблюдении астрологических правил при строительстве города, указывая наиболее благоприятное расположение небесных тел.

...*твердые знаки в четырех углах мира*... — Знаки Тельца, Льва, Стрельца и Водолея, следующие за знаками начал времен года.

Фортуна с Алголем — в астрологии Фортуна — точка гороскопа, определявшаяся из положения Солнца и Луны. Алголь (по-арабски «дьявол») — звезда в созвездии Персея.

Апсида — одна из крайних точек планетной орбиты.

С. 170. *Скот Дунс* (1265—1308) — видный богослов-схоластик.

Каллимах (ок. 310 — ок. 240 г. до н. э.) — древнегреческий поэт.

С. 177. *Четыре поворотные точки мира* — знаки Рака — летнего солнцестояния, Весов — осеннего равноденствия, Козерога — зимнего солнцестояния и Овна — весеннего равноденствия.

С. 178. ...*счет времени ...по тропическому, а не по сидерическому году*... — Тропический год — промежуток времени между двумя последовательными прохождением Солнца через точку весеннего равноденствия; сидерический — время одного оборота Солнца по небесной сфере относительно неподвижных звезд (чуть длиннее).

Голова Дракона — точка пересечения восходящего узла лунной орбиты эклиптической...

Аристарх (3 в. до н. э.) — древнегреческий астроном, первым высказавший идею гелиоцентризма.

Филолай (5 в. до н. э.) — ученик Пифагора, астроном.

Пророчество Иисуса Христа — о знамениях, предвещающих «конец мира».

С. 180. ...*Птолемеи и Коперники эксцентрики и эпициклы*... — теории этих ученых о движении планет с последующими объяснениями Кампанеллы, астролого-физического характера.

С. 181. *Халдеи* — древний народ Месопотамии, славились как астрономы и астрологи.

С. 184. ...*из-за перемещения абсид*... — От медленного изменения форм и положений планетных орбит, замеченных астрономами, астрологи ждали великих мировых переворотов. Не случайно сам Кампанелла назвал восстание в Калабрии на 1600 год.

С. 186. ...*великих синодов в треугольнике Рака*... — Астрологические предсказания автора. «Синоды» — соединения планет в знаках зодиака в астрологии.

Новая звезда в Кассиопее — вспыхнула в 1572 году, а в 1574 году исчезла, описана датским астрономом Тихо Браге (1546—1601).

Рак... женский знак Венеры и Луны... — В астрологии знаки зодиака и планеты делились на «мужские», «женские», «водные», «огненные», «воздушные» и проч.

...*правление женщин*... *Русская в Турции* — жена султана Солимана II (1520—1566) Роксолана; *Бона в Польше* — королева, жена Сигизмунда I (1506—1548); *Мария в Венгрии* — королева Мария (1505—1558), жена венгерского короля Людовика II (ум. в 1522); *Елизавета в Англии* — Елизавета Тюдор (1558—1603), английская королева; *Бьянка в Тоскане* — Бьянка Капелли (ум. в 1587 г.), жена великого герцога тосканского Франциска; *Екатерина во Франции* — Екатерина Медичи (1519—1589), королева французская, жена Генриха II; *Маргарита в Бельгии* — Маргарита Пармская, наместница в Нидерландах (с 1558 г.); *Мария в Шотландии* — Мария Гиз (1515—1560), мать Марии Стюарт; *Изабелла* — королева кастильская (1450—1504), жена испанского короля Фердинанда V.

Цитата из поэмы Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд».

С. 187. *Секта Али, восстановленная Софием* — Али — зять пророка Магомета, его приверженцы — шииты, а секта Суфи — шиитская.

Знаки Стрельца и Льва — каждая страна, по Птолемею, находится под влиянием одного из знаков зодиака, планеты тоже, по мнению астрологов, влияют на разные страны, далее — астрологические рассуждения о «домах» планет в знаках зодиака и проч.

С. 188. *Иезуиты* — католический монашеский орден, основан в Париже в 1534 году Игнатием Лойолой.

Минориты — члены монашеского ордена францисканцев, учрежденного в 1209 году Франциском Ассизским.

Капуцины — члены католического монашеского ордена, основанного в 1525 году в Италии как ветвь ордена францисканцев; самостоятельны с 1619 года.

Фердинанд Кортес — Кортес Эрнан (1485—1547), испанский конкистадор, завоеватель Мексики.

Сирано де Бержерак

(1619—1655)

Савиньен де Сирано родился в Париже, в семье адвоката-дворянина. Следуя распространенному обычаю, присоединил к фамилии название небольшого поместья отца — Бержерак (Мовьер), где провел детство. Учился Сирано в иезуитском коллеже, где увлекся античной литературой, но на всю жизнь возненавидел жестокие порядки католического воспитания. Бурная юность в Латинском квартале, служба в королевской гвардии, ранение, отставка, слушание лекций критика Аристотеля и поклонника Эпикура, философа-материалиста Пьера Гассенди — таково начало пути Сирано. Он сочинял стихи и письма-памфлеты, высмеивающие людские пороки, духовенство, политику первого министра Франции Мазарини, создал комедию «Проученный педант» и трагедию «Смерть Агриппины». Много работал Сирано над главным своим произведением — «Новый свет, или Государства и империи Луны» и продолжаящим это сочинение трактатом «Иной свет, или Государства и империи Солнца», который остался незавершенным. Личность писателя — остроумного, необычайно храброго, неистощимого на выдумки — породила немало легенд. Его раннюю кончину связывают с ненавистью к писателю иезуитов, против которых направлены многие обличительные строки произведений Сирано.

Трактат «Иной свет, или Государства и империи Луны» был напечатан после смерти автора в 1656 году с предисловием школьного друга Сирано Никола Лебре, пытавшегося защитить сочинителя от обвинений в антирелигиозности. Две рукописи «Государств Луны», хранящиеся в Мюнхене и Париже, и издание 1659 года легли в основу сводного текста, опубликованного немецким ученым Лео Иорданом в 1910 году. С него сделан первый русский перевод (1931) под редакцией академика В. И. Невского, который и предлагается читателям.

Текст печатается по изданию: Сирано де Бержерак. Иной свет, или Государства и империи Луны. /Ред. и вступ. ст. В. И. Невского. — М. — Л., «Academia», 1931.

С. 191. *Вакх* — в римской мифологии — бог виноградарства и веселья.

Диана (в Греции *Артемида*)... *Аполлон* — античные боги Луны и Солнца, сестра и брат.

С. 192. *Кардано Джироламо* (1501—1576) — итальянский математик, медик, философ и астролог, занимался предсказаниями по гороскопу.

С. 195. *Господин де Монбазон* — губернатор Парижа в 1649 году.

Новая Франция — часть Канады, французская колония.

Монманны — Шарль де Монманны, мальтийский рыцарь, губернатор Квебека и Новой Франции с 1636 по 1647 год.

Тихо Браге — датский астроном (1546—1601).

С. 196. ...*смешно думать, что великое светило станет вращаться вокруг точки*... — Сирано остроумно доказал далее нелепость геоцентризма, согласно которому Солнце обращалось вокруг Земли.

С. 197. *Картезианцы* — последователи философа Декарта (1596—1650).

Гассенди Пьер (1592—1655) — французский философ-материалист, математик, астроном, чьи лекции посещал Сирано.

С. 198. ...Солнце... в четыреста тридцать четыре раза больше Земли... — По данным современной науки — в 1283 раза больше.

С. 200. ...солнце, очищая себя от ржавчины... — Далее высказана гипотеза об образовании планет Солнечной системы, позже возникшая у Лапласа (1749—1827).

Августин — Аврелий Августин (354—430), видный деятель ранней христианской церкви, писатель.

Ирокезы — группа индейских племен.

С. 202. ...это место было... земным раем, а дерево... деревом жизни... — По библейской мифологии, рай находился в Месопотамии, там росло древо жизни, плоды которого давали здоровье и бессмертие.

С. 205. *Энох*, или Енох — по библейской мифологии — патриарх, отличался чистотой и святостью, за что живым взят в рай и обрел бессмертие.

Илия — библейский пророк, согласно легенде, на огненной колеснице живым взят в рай.

Иоанн Богослов — один из 12 апостолов, возможный автор одного из евангелий, легенда о взятии его живым в рай, вероятно, апокриф.

С. 206. *Лестница Иакова* — по библейской мифологии, праотец Иаков видел во сне лестницу, поднимающуюся на небо, к престолу бога.

С. 207. *Людовик Справедливый* — французский король Людовик XIII (1601—1643).

С. 212. *Эскулап* — в римской мифологии — бог врачевания, изображался со змеей, символом медицины.

Сципион — один из рода древнеримских полководцев.

Александр — Александр Македонский (356—323 г. до н. э.), царь Македонии.

Карл Мартелл — в 715—741 годах правитель франкских королевств в Западной Германии и Северной Франции.

Эдуард Английский — возможно, король Англии Эдуард II (1307—1327), которого ненавидели дворяне и духовенство.

С. 214. ...одиннадцать тысяч дев... — Ироничное упоминание о мучениках, почитаемых церковью, еще один пример вольномыслия Сирано.

С. 218. *Демон Сократа* — в греческой мифологии «демон» — божество, дух-хранитель, способствующий или препятствующий человеку в исполнении его намерений. Сократ признавал воздействие своего демона, которого Сирано якобы встретил на Луне.

Эпаминонд — греческий полководец и политик 4 в. до н. э.

Катон... Брут — республиканцы, боролись с диктатурой Цезаря.

Друз Нерон Клавдий — сын Ливии, второй жены императора Августа, умер, возвращаясь из похода в Германию.

С. 219. *Агриппа Неттесгеймский* (1486—1538) — немецкий гуманист, врач, философ. Занимаясь алхимией, прослыл чародеем.

Аббат Тритемий — Иоганн Гейденберг (1462—1516), ученый-гуманист, изобрел криптографическое письмо, прославившее его как колдуна.

Ла Бросс Пьер — любимец короля Франции Филиппа III, казнен за чародейство в 1285 году.

Цезарь — Цезарь Нострадамус (1505—1566), известный французский астролог, или *Цезарий* Гейстербахский (ок. 1180—1240), автор «Бесед о чудесах».

Орден Розенкрейцеров — тайное общество мистиков и алхимиков XVII в., возникло в Гааге в 1622 году.

Ламот де Вайе Франсуа (1588—1672) — французский писатель.
Тристан Лермит Франсуа (1601—1655) — французский драматург, приятель Сирано.

С. 220. *Диоген* (414—323 г. до н. э.) — греческий философ-циник; по легенде, Александр Македонский предложил ему исполнить любое желание, но Диоген лишь попросил его отойти и не загромождать солнцем.

С. 227. *Гортензий* — комический персонаж популярного в XVII в. романа Ш. Сореля «Франсион», из которого Сирано делал заимствования.

С. 228. «Я слуга Вашей милости!» (*исп.*)

С. 229. *...уроженец старой Кастильи...* — Доменико Гонзалес, герой «Путешествия на Луну» Фрэнсиса Годуина (французский перевод 1648 года).

С. 235. *Перипатетики* — школа последователей философии Аристотеля; здесь — оторванные от жизни, бесплодно умствующие ученые.

С. 248. *...Геркулес, Ахиллес, Эпаминонд, Александр и Цезарь...* почти все умерли моложе сорока лет... — Верно лишь для Александра Македонского, умершего в 33 года.

С. 249. *Из семи греческих мудрецов...* — жившие в 7—6 вв. до н. э. Питак из Митилены на о. Лесбос; Солон Афинский; Клеобул с о. Родоса; Периандр Коринфский; Хилон, эфор из Спарты; Фалес Милетский и Биант из Пирены в Малой Азии.

С. 250. *Парки* — в римской мифологии — три богини судьбы (рождения, жизни и смерти), в Греции — мойры.

С. 252. *Ланса* — имя нескольких греческих гетер.

С. 253. *...пифагорейцы... придерживались такого же режима...* — Иными словами, были вегетарианцами, верили в переселение душ.

С. 278. *...сила воображения способна исцелять все болезни...* — мнение античных врачей.

Этьен Кабе

(1788—1856)

Этьен Кабе родился в Дижоне, во Франции. Отец его, ремесленник-бондарь, отдал способного мальчика в Дижонскую Центральную школу. Окончив ее, Этьен Кабе преподавал в лицее и одновременно учился на юридическом факультете, а в 1812 году получил звание доктора прав.

Будучи по профессии адвокатом, Кабе интересовался политикой, выступал защитником противников реставрации. В начале 20-х годов стал членом организации карбонариев, а вскоре эмиссаром этого движения. Участвовал в Июльской буржуазной революции 1830 года, но его мечта о «республиканской монархии» Луи-Филиппа была иллюзорной, а предложенная программа демократических реформ не осуществилась.

Кабе получил назначение генеральным прокурором на о. Корсика, потом избирался от Дижона в палату депутатов, вел разнообразную политическую работу. Критика июльской монархии в его книге «История революции 1830 г.», ряд выступлений, издаваемый с 1833 года республиканско-демократический еженедельник «Попюлер» вызвали судебные преследования и вынужденную эмиграцию на пять лет в Англию. Там Кабе создал несколько исторических работ, а также роман-утопию «Пу-

тешестве в Икарию» (1838), где пропагандировал идеи «мирного коммунизма». Вернувшись на родину, он возобновил издание журнала и вел агитацию за икарийский образ жизни. У Кабе возникло немало сторонников, но организация икарийских ячеек вызвала преследования правительства. Практически построить коммунистическую общину «Икария» Кабе попытался в Америке — в штате Техас, затем Иллинойс, но эксперимент оказался нежизнеспособным.

Роман «Путешествие в Икарию» впервые вышел в Париже в 1840 году и не раз переиздавался. На русском языке сокращенный перевод романа появился в 1924 году, затем в 1935 и 1948 годах в переводе под редакцией Э. Л. Гуревича.

Текст печатается по изданию: Этьен Кабе. Путешествие в Икарию. Философский и социальный роман: В 2 т. / Вступ. ст. В. П. Волгина. — М.: Изд-во АН СССР, 1948.

С. 287. ...у *генерала Лафайета*... — Лафайет Мари Жозеф (1757—1834), маркиз, французский политический деятель, участник войны за независимость в Северной Америке. Во время Июльской революции командовал Национальной гвардией, содействовал вступлению на престол Луи-Филиппа, основал «Союз защиты прав человека».

С. 288. ...*желанный всеобщий язык*... — Мысль о нем высказана в XVII в. Декартом. Идею всеобщего языка поддерживали Лейбниц и Вольтер.

С. 289. *Икария — это поистине вторая обетованная земля, Эдем, Элизиум* — обетованная земля была обещана по библейской мифологии богом; туда Моисей должен был вывести евреев. *Эдем* — в библейской мифологии — земной рай. *Элизиум* — в греческой мифологии — обитель блаженных, где царит вечная весна.

С. 304. *Мадемуазель Марс* — псевдоним Анны Франсуазы Буте (1779—1847), актрисы французского театра в Париже, прославившейся в пьесах Мольера, Мариво и Бомарше в начале XIX века.

С. 305. *Елисейские Поля* — одна из красивейших главных улиц Парижа, идущая от площади Согласия к площади Звезды.

С. 309. *Бульвары Парижа* — линия больших бульваров, засаженных у тротуаров деревьями, тянется от церкви Мадлен до площади Бастилии.

С. 312. *Кабриолеты* — одноконные двухколесные экипажи; *фиакры* — закрытые двухместные четырехколесные кареты; *омнибусы* — закрытые четырехместные или шестиместные (иногда двухэтажные) экипажи для общего пользования, запрягающиеся парой или четверкой лошадей и содержащиеся обыкновенно для регулярных городских или междугородных сообщений; *старомомы* — икарийские омнибусы, более вместительные и снабженные удобствами для пассажиров.

С. 327. ...*все мы... входим в состав народной гвардии*... — Во времена Кабе во Франции существовала Национальная гвардия, созданная как гражданское ополчение во время Великой французской революции в 1789 году. В ней обязывались служить все граждане от шестнадцати до шестидесяти лет.

С. 334. *Тоннель в Лондоне* — проложен под Темзой в 1823 году английским инженером Брюнелем. Строили это замечательное для того времени сооружение семь лет.

С. 336. ...*город прекрасно освещен*... — Идеалом городского освещения представлялось Кабе газовое, впервые введенное в Англии, где в 1798 году благодаря опытам французского химика Лёбона газовое осве-

щение было установлено на мануфактуре Д. Уатта. В 1804 году в Лондоне было основано первое общество газового освещения, а в 1818 году газовые фонари осветили Париж.

С. 339. *Собор св. Павла* — кафедральный собор в Лондоне, выдающееся произведение архитектуры. Построен в 1675—1710 годах в стиле английского Ренессанса известным архитектором Рен на месте старого собора, уничтоженного пожаром.

С. 345. *...монархия так много кричит о добром короле...* — Подразумевается французский король Генрих IV, о котором существует предание, что во время охоты он зашел в хижину крестьянина и, съев варившуюся в котелке курицу, выразил желание, чтобы каждый крестьянин мог по воскресеньям есть курицу.

С. 347. *Муки Тантала* — Тантал в греческой мифологии — лидийский царь, обреченный богами на вечные муки: стоя по горло в воде и видя висящие на ветвях плоды, он, будучи прикован к дереву, не мог утолить жажду и голод — вода уходила из-под его губ, а ветвь с фруктами ускользала прочь.

С. 372. *...Мать Гракхов...* — Корнелия, дочь Сципиона Африканского, жена Тиберия Семпрония Гракха (II в. до н. э.) — женщина широко образованная, отличалась строгостью нрава и красотой. Равнодушная к украшениям, она в ответ на вопрос, где же ее драгоценности, указала на сыновей Тиберия и Гая (будущих знаменитых трибунов) и произнесла слова, приведенные в тексте. Когда ее дети погибли в борьбе с сенатской знатью, Корнелия сказала: «Никогда я не буду считать себя несчастной — ведь я родила Гракхов».

С. 409. *...приданое в Икарии так же неизвестно, как и наследство...* — Во времена Кабе во Франции действовал кодекс Наполеона, тщательно регулирующий вопросы брака, включая имущественные отношения супругов. По специальному соглашению, закрепленному в брачном договоре, приданое жены становилось имуществом мужа. Кабе относился к приданому, как к типично буржуазному обычаю, и, естественно, аннулировал его в Икарии вместе с наследством — одним из видов нетрудового дохода, согласно взглядам автора.

С. 411. *...республике, разрешающей им развод...* — По французским законам времен Кабе, развод не допускался, что, как полагал автор «Икарии», было ущемлением индивидуальной свободы.

С. 414. *...всеобщую историю, историю Франции, историю Англии...* — Автор упоминает свои сочинения.

...прочсть... «Утопию»... — Речь идет об «Утопии» Томаса Мора, которую изучали практически все создатели последующих утопий.

С. 416. *...лакедемонский народ покинул короля Агиса...* — Агис IV (ок. 262—241 г. до н. э.) — царь Спарты, провел ряд реформ с целью улучшить положение народа: наделил неимущих землей и проч., но был казнен по обвинению в стремлении к тирании.

...римский народ покинул Гракхов... — братья Гракхи — Тиберий (162—133 г. до н. э.) и Гай (153—121 г. до н. э.) — народные римские трибуны, пытались провести демократические земельные реформы, приостановить разорение крестьян, но погибли в борьбе за осуществление этих реформ. Здесь и ранее автор порицает пассивность народа в отношении тех, кто действует в его интересах.

С. 417. *Шарантон* — дом для умиленных близ Парижа.

Кондорсе — Жан Антуан Кондорсе (1743—1794), французский философ-просветитель, математик, философ, политический деятель; развил

концепцию исторического прогресса, в основе которого — развитие разума.

С. 428. *Заговор Бабефа* — Бабеф Гракх, настоящее имя Франсуа Ноэль (1760—1797) — французский коммунист-утопист. В период Великой французской революции отстаивал интересы неимущих слоев населения. В 1796 г. возглавил Тайную повстанческую директорию, готовившую народное восстание. Был казнен как заговорщик.

С. 430. *Ламеннэ* — Фелисите Робер де Ламенне (1782—1854), французский публицист и религиозный философ, аббат, один из родоначальников христианского социализма, с позиций которого критиковал капитализм.

Ламартин — Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790—1869), французский писатель-романтик, политический деятель, апологет умеренного реформизма.

Аржансон — Марк Рене маркиз д'Аржансон (1771—1842) был адъютантом Лафайета, во время 100 дней — членом палаты депутатов, выказал себя сторонником политической свободы.

Дюпон д'Элер — министр юстиции, личным секретарем которого после революции 1830 года был одно время Кабе.

Ликург — легендарный спартанский законодатель (9—8 вв. до н. э.), создатель государственного устройства Спарты.

Гельвеций — Клод Адриан Гельвеций (1715—1771), французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии.

С. 431. *Мабли* — Габриель Бонно Мабли (1709—1785), французский коммунист-утопист, предлагавший мелкобуржуазные уравнилельные мероприятия.

Тюрго — Анн Робер Жак Тюрго (1727—1781), французский философ-просветитель, государственный деятель, экономист.

Ришелье — Арман Жан дю Плесси (1585—1642), кардинал, с 1624 года глава королевского совета, фактический правитель Франции.

С. 432. *Гизо* — Франсуа Гизо (1787—1874), французский историк, один из создателей домарксовской теории классовой борьбы.

Гилберт Честертон

(1874—1936)

Гилберт Кит Честертон родился в Лондоне в семье жилищного агента. Учился в привилегированной школе Сент-Пол, а затем в так называемой школе Слейда при Лондонском университете. Усердно занимался живописью. В литературе впервые выступил в 1890-х годах, а в 1900 году выпустил два сборника стихотворений. В журнале «Спикер» в 1901 году появился ряд публикаций, направленных против англо-бурской войны и прославивших Честертон как замечательного эссеиста.

Честертон проявил себя в самых разнообразных литературных жанрах, создавая поэмы и шуточные стихи, романы и пьесы, рецензии и теологические статьи, газетные заметки и детективы, политические памфлеты и книги биографического характера.

Парадоксальность мышления писателя, любовь к острословию, оригинальность стиля отразили даже названия его сборников эссе: «При всем при том», «Непустяшные пустяки», «Смятения и шатания», «При-

горшня авторов», а также заглавия романов: «Человек, который был Четвергом», «Перелетный кабак» и т. д.

В настоящем издании читателю предлагается первый — и один из лучших — роман-антиутопия «Наполеон из Ноттинг-Хилла», вышедший в Лондоне в 1904 году. На русском языке существует единственный перевод этого произведения, выполненный В. И. Сметаничем в 1925 году.

Текст печатается по изданию: Честертон Г. Наполеон из пригорода (The Napoleon of Notting-Hill). — Л.: Сеятель, 1925.

С. 435. Здесь и далее Честертон иронизирует над прогнозами будущего в трудах и выступлениях «пророков» — своих современников, писателей и ученых разных стран.

С. 436. *Джордж Г. Уэллс* — Герберт Джордж Уэллс (1866—1946), английский писатель, автор многих научно-фантастических романов, в том числе утопического характера.

С. 437. *Толстой* — Лев Николаевич Толстой (1828—1910), русский писатель-классик.

Сесил Родс — Сесил Джон Родс (1853—1902), активный сторонник политики английского колониализма, организатор захвата территорий Южной и Центральной Африки на рубеже 1880—1890 годов, один из главных инициаторов англо-бурской войны 1899—1902 годов.

С. 438. *Бенджамин Кид* — английский философ и социолог конца XIX — начала XX века, пытался применить к истории биологический метод.

Сидней Уэбб (1859—1947) — английский экономист, историк рабочего движения, идеолог тред-юнионизма, руководитель «Фабианского общества», пропагандировавшего реформистские идеи преобразования капитализма в социализм путем реформ. Одним из учредителей этого общества (1884) был Б. Шоу.

С. 443. *Макс Бирбом* — друг Честертона, автор известной карикатуры на него и Б. Шоу, названной «Лидеры мысли». Послужил прототипом Квина для романа «Наполеон из Ноттинг-Хилла».

С. 444. *Синяя книга* — сборник дипломатической переписки, ежегодно публикуемый министерством иностранных дел.

С. 446. *Данте* — Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт, автор «Божественной комедии» и др.

С. 453. *Стюарты* — королевская династия в Шотландии (1371—1714) и в Англии (1603—1649, 1660—1714).

Ганноверская династия — английская королевская династия в 1714—1901 годах.

С. 455. *Синай* — по библейской мифологии, на горе Синай бог дал Моисею скрижали с «10 заповедями».

С. 456. *Биметаллист* — сторонник двойной монетной системы, при которой золото и серебро составляют основу денежного обращения страны, по поводу чего в 1880—1890 годах усилились международные дебаты. Англия отстаивала золотой монополизм.

«Quis tulerit Gracchos, de seditione querentes?» — «Кто бы стал терпеть Гракхов, жалующихся на мятеж?» (лат.)

Георг Первый — английский король Георг I (1660—1727).

С. 459. *Лютер* — Мартин Лютер (1483—1546), деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства.

Дантон — Жорж Жак Дантон (1759—1794), деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев.

С. 465. *Заратустра* (между 10 и нач. 6 в. до н. э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризм.

Королева Виктория — королева Великобритании (1819—1901), последняя из Ганноверской династии.

Принц-супруг — принц Альберт, муж королевы Виктории, не принимавший никакого участия в делах правления.

Герберт Спенсер (1820—1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, в этике — сторонник утилитаризма.

С. 467. *Ноттинг-Хилл, Клэфэм, Сербитон, Хэмпстед, Шепхердс-Буш, Бейзуотер, Пимлико, Южный Кенсингтон* — названия пригородов Лондона или отдельных частей этого города.

С. 469. *Юстиниан* — Юстиниан I (482—565), византийский император, провел кодификацию римского права.

Альфред — Альфред Великий (ок. 849—ок. 900), король англосаксонского королевства Уэссекс, объединил под своей властью ряд соседних королевств; при нем составлен 1-й общенглийский свод законов.

С. 470. *Хэмммерсмит (англ.)* — дословно: «молот кузнеца». Здесь и далее — игра слов, буквальное понимание названий.

Кенсингтон-Гор (англ.) — «гор» — дословно: «кровь».

Хайд-Парк — от английского слова «прятаться».

Найтбридж (англ.) — «Мост рыцарей».

Рэвенскорт — от английского слова «ворона».

Ноттинг-Хилл, Носинг Илл (англ.) — «Холм орехового дерева», «ничего плохого».

С. 473. *Сент-Джонс-Вуд* — «Лес св. Иоанна», часть города в Лондоне.

Лавендер-Хилл (англ.) — «Лавандовый холм».

Соутфилдс (англ.) — «Южные поля».

Парсонс-Грин (англ.) — «Зелень священника».

С. 475. В. В. *Джекобс* — известный в пору Честертона английский юморист конца XIX — начала XX века.

С. 479. «Les affaires sont les affaires» (*фр.*) — «Жульничество — это жульничество».

С. 481. *Бейзуотер (англ.)* — «Лавровая вода».

С. 501. *Геродот* (между 490 и 480 — ок. 425 г. до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории».

С. 502. *Ланчелот* — Ланселот, герой рыцарских романов средневековья.

С. 533. *Уот Уитмэн* (1819—1892) — американский поэт.

С. 539. *Кромвель* — Оливер Кромвель (1599—1658), деятель английской буржуазной революции XVII в., организатор армии парламента, опираясь на которую содействовал казни короля и провозглашению республики, установил режим военной диктатуры.

С. 548. *Карл I* — (1600—1649) — английский король, казнен в ходе английской буржуазной революции XVII века.

С. 549. *Флит-стрит* — улица Лондона, где сосредоточено большинство редакций и издательств.

С. 555. *Пэмп-стрит (англ.)* — насосная улица.

С. 560. *Мольтке* — Хельмут Карл Мольтке (Старший) (1800—1891), германский фельдмаршал и военный теоретик.

Ахилл — легендарный герой «Илиады» Гомера, храбрейший из греков, осаждавших Трою.

С. 561. *Метерлинк* — Морис Метерлинк (1862—1949), бельгийский драматург, поэт-символист.

С. 575. *Назарет* — по христианской легенде, место, где жил Иисус Христос.

Голгофа — гора, на которой, по преданию, распяли Христа.

sine qua non — неперемное условие (*лат.*).

С. 578. *modus vivendi* — образ жизни (лат.).

С. 579. *Шепхердс-Бум* (англ.) — «Пастуший куст».

С. 585. *Сократ* — (ок. 470—399 г. до н. э.) — древнегреческий философ, воплощение идеала мудреца.

Карл Великий (742—814) — французский король, основатель империи.

С. 586. *in articulo mortis* — в момент кончины (лат.).

В предисловии и примечаниях использованы наблюдения и факты, содержащиеся в трудах советских ученых С. С. Аверинцева, В. П. Волгина, В. С. Муравьева, Г. О. Гордона, Э. Л. Гуревича, Г. М. Гусева, А. А. Елистратовой, А. Ф. Лосева, А. И. Малеина, В. И. Невского, И. Н. Осинковского, Ф. А. Петровского, В. П. Шестакова, Ф. Б. Шуваевой и других.

И. Семибратова

Содержание

Ирина Семибратова	<i>Путешествие по странам Мечты</i>	5
Томас Мор	<i>Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии.</i> Перевод с латинского А. И. Малеина и Ф. А. Петровского	19
Кампанелла	<i>Город Солнца.</i> Перевод с латинского Ф. А. Петровского	133
Сирано де Бержерак	<i>Иной свет, или Государства и империи Луны.</i> Перевод с французского под редакцией академика В. И. Невского	189
Этьен Кабе	<i>Путешествие в Икарию.</i> Перевод с французского под редакцией Э. Л. Гуревича	287
Гилберт Х. Честертон	<i>Наполеон из Ноттинг-Хилла.</i> Перевод с английского В. И. Сметанича	435
	<i>Примечания</i>	589

Зарубежная фантастическая проза прошлых веков: Пер. с лат., англ., фр. / Сост., вступ. ст. и примеч. И. Семибратовой; Ил. С. Михайлова. — М.: Правда, 1989. — 608 с., ил., 4 л. ил.

В настоящий сборник включены произведения предшественников научного социализма, в художественной форме знакомящие читателя с идеями коренного преобразования общества: «Утопия» (1516) Томаса Мора, родоначальника жанра утопического романа, «Город Солнца» (1602) Томмазо Кампанеллы, философский роман Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Лунны» (1657), философский и социальный роман идеолога «мирного коммунизма» Этьена Кабе «Путешествие в Икарию» (1840), а также остросюжетное произведение Гилберта Честертона, написанное в жанре «антиутопии» — «Наполеон из Ноттинг-Хилла» (1904), предупреждающее людей об опасности фашизма задолго до его появления.

З $\frac{4703000000-1758}{080(02)-89}$ 1758—89

84.4

Литературно-художественное издание

Зарубежная фантастическая проза прошлых веков

Составитель	Семибратова Ирина Всеволодовна
Редактор	В. Т. Башкирова
Оформление художника	Н. А. Яцука
Художественный редактор	Т. Н. Костерина
Технический редактор	Т. Б. Слизун

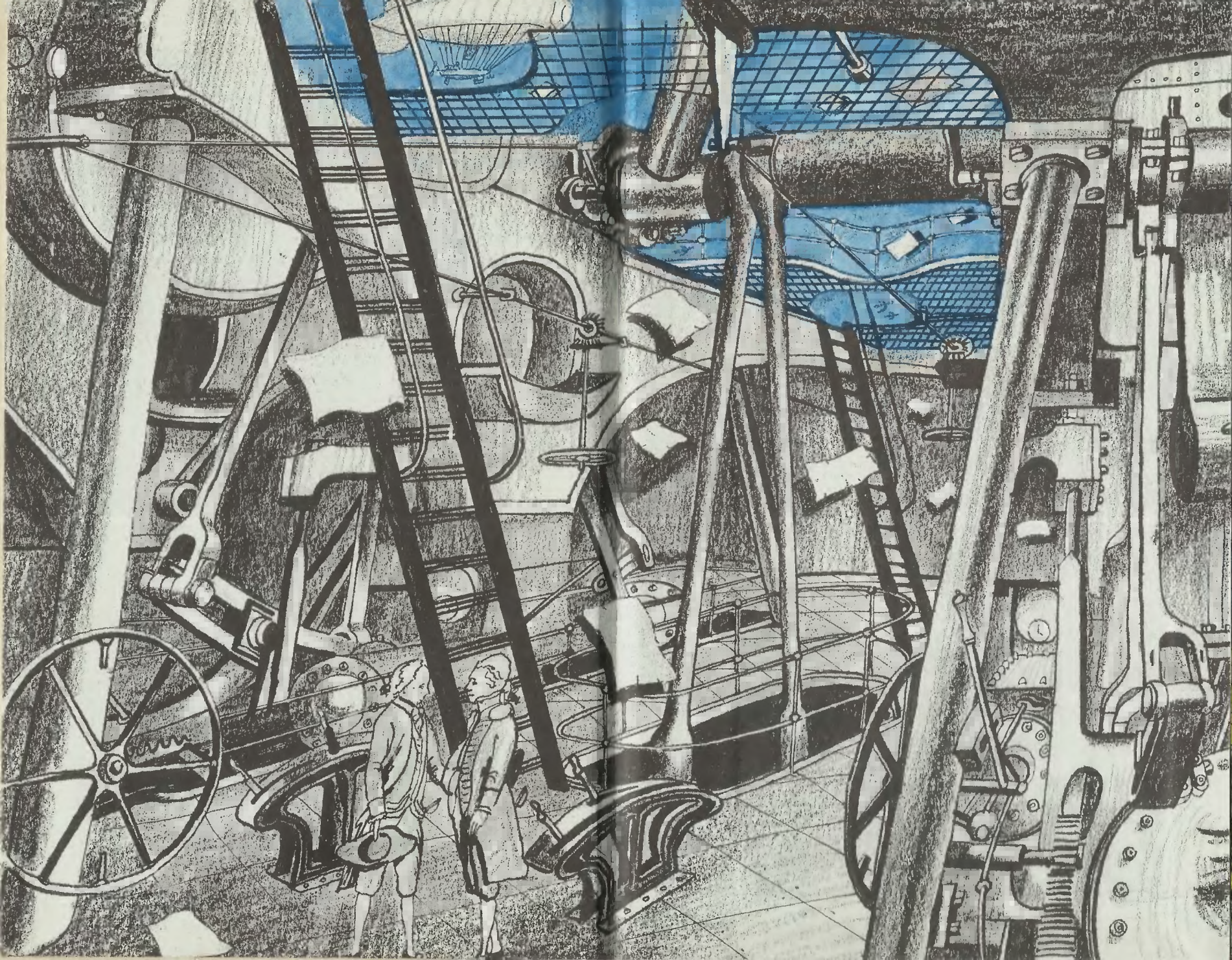
ИБ 1758

Сдано в набор 15.08.88. Подписано к печати 05.06.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Гарамонд». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,34. Усл. кр.-отт. 34,65. Уч.-изд. л. 34,76. Тираж 400 000 экз. (2-й завод: 200 001—400 000 экз.). Заказ № 472. Цена 3 р. 10 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Уральский рабочий», 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.







3 р. 10 к.

ДАЧАСТЯКИ
БИБЛИОТЕКА

Зарубежная фантастическая проза
прошлых веков